ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
1661-1682

С. Мосияш

ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

А. Лавинцев

ЦАРИЦА-ПОЛЯЧКА

Москва
АРМАДА
1995

ББК 84Р7 (2Рос=Рус)1
Ф 33

Составитель
И. В. Новиков

Редакция и комментарии
Л. Ю. Савельева

Оформление серии
В. И. Харламова

Ф $\frac{4702010101-55}{9С3(03)-95}$ Без объявл

ISBN 5-7632-0028-4

© Состав., художественное оформление, комментарии, АРМАДА, 1995
© Мосияш С. П., 1995

ЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ — царь московский (1676—1682), сын Алексея Михайловича от первой жены его Марии Ильиничны Милославской. Родился в 1661 г. 1 сентября 1674 г. был объявлен наследником московского престола, а 30 января 1676 г., после смерти отца, сделался царем.

Он был воспитанником западнорусского монаха Симеона Полоцкого; знал по-польски, по-латыни; главный характер его воспитания был церковный. Слабый, болезненный от природы, Федор очень легко поддавался разным влияниям. Этой чертой его характера воспользовались немедленно враги второй жены Алексея Михайловича Натальи Кирилловны и боярина Артамона Сергеевича Матвеева. Среди этих врагов первое место занимали родственники царя Милославские.

Царица Наталья Кирилловна с сыном Петром принуждена была жить в селе Преображенском, а Матвеев был сослан в Пустозерск. Вслед за Матвеевым был сослан в Кожеезерский монастырь духовник царя Алексея Михайловича Андрей Саввинов; была отягчена также участь патриарха Никона: из Ферапонтова он был переведен в Кирилло-Белозерский монастырь. В это время любимцами царя делаются постельничий Иван Максимович Языков и стольник Алексей Тимофеевич Лихачев.

В июле 1680 г. царь женился на Агафье Семеновне Грушецкой. Так как Милославские всячески старались препятствовать этому браку, то после женитьбы царя их влияние при дворе падает; Языков и Лихачев получают преобладающее влияние на дела, и царь их слушается во всем. При их посредстве издан ряд распоряжений для устранения злоупотреблений и запутанности в делах по владению вотчинами и поместьями, уничтожены губные старосты и целовальники, предпринято межевание вотчинных и помещичьих земель, уничтожены откупа на винную продажу и на таможенные сборы; все уголовные

дела соединены в Разбойном приказе, окончательно уничтожен Холопий приказ.

В 1682 г. был созван собор «для устроения и управления ратного дела». Собор этот нашел нужным уничтожить местничество. На основании соборного приговора были сожжены разрядные книги. Около того же времени был созван и церковный собор, на котором был основан ряд новых епархий, приняты некоторые меры для поднятия нравственности среди духовенства, главным образом монахов, и для борьбы с расколом, к противодействию которому была призвана светская власть.

Во внешней политике первое место в царствование Федора Алексеевича занимал вопрос малороссийский, а именно борьба между Дорошенко и Самойловичем, вызвавшая так называемые чигиринские походы. В 1681 г. между Москвой, Турцией и Крымом было заключено перемирие на 20 лет, по которому Турции было уступлено все опустошенное в то время Заднепровье.

14 июля 1681 г. умерла царица Агафья Грушецкая. 14 февраля 1682 г. царь женился вторично, на родственнице Языкова Марфе Матвеевне Апраксиной. Эта женитьба отразилась на судьбе Матвеева: он был объявлен невиновным и его воротили из ссылки. Еще раньше, в 1681 г., царь велел вернуть из ссылки патриарха Никона, но престарелый патриарх умер в пути 17 августа 1681 г. Со второй женой царь прожил недолго: 27 апреля 1682 г. он умер, не оставив детей.

Энциклопедический словарь.
Изд. Брокгауза и Ефрона.
Т. XLI^A, СПб., 1904 г.

РОМАН

Глава 1

ПОКА ПУСТ ПРЕСТОЛ

Великому государю всея Руси Алексею Михайловичу плохо стало среди ночи. Окликнул постельничего:

— Ива-а-ан...

— Что, государь? — встрепенулся Языков с перины, лежавшей на полу.

— Зови Костериуса, что-то худо мне.

Лечец государя Костериус давно уж днюет и ночует рядом за стенкой. Быстро явился с баулом своим, в коем и инструменты и лекарства во флакончиках и порошках. Он знает, что надо бы дать взвар боярышника, но делать этого без окольничего Матвеева не может сметь. Любое лекарство, предназначаемое царю, прежде должны попробовать лечец и боярин Матвеев Артамон Сергеевич как лицо, отвечающее за царскую аптеку. И командовать царским постельничим не лечцу бы, но тут случай серьезный и потому Костериус громким шепотом, словно гусак, прошипел в сторону Языкова, занявшегося возжиганием свечей:

— Ж-живо за Артамоном.

Тот не стал спесивиться, мигом исчез из покоев, но вскоре воротился.

— Ну? — свирепо выпучился на него Костериус.

— Послал за ним казачка. Скоро будет.

Но царю все хуже и хуже, он уж и очи прикрыл, дышит тяжело, часто, запаленно. Видимо догадываясь, отчего задержка с лекарством, шепчет, разлепив спекшиеся губы:

— Кровь, кровь отвори пока...

И Костериус вспоминает, как однажды в присутствии бояр отворил кровь Алексею Михайловичу и как ему сразу получшало. Да так, что царь тут же велел пустить кровь всем присутствующим, чтоб и им было хорошо после этого. Никто перечить не посмел, уперся лишь боярин Стрешнев:

— Я стар, государь, во мне крови-то чуть осталось. Уволь.

— Так что? Выходит, твоя кровь дороже моей,— осерчал Алексей Михайлович.— Стыдно, Родион Матвеевич. А еще родня. Царь тебе добра желает, а ты...

Огорчать далее высокого родственника Стрешнев не решился, позволил и себе кровь отворить. Правда, ему не получшало оттого, наоборот, похудшало, голова закружилась и темные бабочки в очах затрепыхались. И Алексей Михайлович сам устыдился своей настойчивости:

— Ты уж прости меня, Родион Матвеевич. Я ведь как лучше хотел. Прости, брат.

Отпустив домой занедужившего после такого «лечения» боярина, велел царь послать ему в подарок лучшего своего сокола, дабы загладить вину, а лечцу своему выговорил:

— Ты что ж, Костериус, али не знал, что ему нельзя отворять?

— Знал, государь.

— А что ж молчал?

— Не хотел царскому велению перечить,— нашелся хитрый лечец.

— Дурак. И у царского веления бывают помутнения.

Пока пускал царю кровь, явился запыхавшийся окольничий Матвеев. Костериус тут же достал черный флакон, ткнул его в нос окольничему, затем, плеснув темной жидкости в склянку, протянул:

— Пей, да скоренько.

— А ты?

— Я уже пробовал.

— Это не в счет без свидетелей,— сказал Матвеев и, единым духом опорожнив склянку, сунул ее лечцу.— Теперь себе налей.

«Пока пробуем,— подумал раздраженно Костериус,— царю, может статься, уж и не понадобится». Но все ж налил и себе зелья, выпил.

Оно и вправду, когда налили царю и поднесли пить, он уж в полусознании обретался и половину склянки на себя пролил. Что-то пробормотал. Матвеев не понял что, переспросил:

— Что, государь, что?

— Патриарха звать велит,— раздраженно сказал лечец.— Соборовaться хочет.

Артамон Сергеевич обернулся к постельничему, спросил с нескрываемой укоризной:

— Аль не слышал, Иван Максимыч?

— Слышал. Бегу

Все наоборот поворотилось. Постельничему, самому близкому к царю человеку, по сути второму лицу в царстве, все приказы выдают, словно он казачок на посылках. Но что делать? Случай-то из ряда вон. Царь помирает.

«Прости, Господи,— крестится Матвеев, подумав такое.— Ведь еще не старый, сорок семь всего, и не болел вроде очень. А вот поди ж ты, Всевышний зовет».

— Что ж не легчает-то государю? — спросил лечца окольничий строго.— Сделай еще чего, не стой орясиной.

— Да, да, да,— согласился Костериус и достал другой пузырек, наливал в склянку дрожащими руками. Именно по дрожанию этому Матвеев понял: худо дело. Выпил и это зелье. Оказалось горькое. Сплюнуть хотел, но сдержался, царю ведь питье-то назначено. Ревниво проследил, как пил сам лечец.

Но и это лекарство более половины на сорочку государю пролилось. А что и в рот попало, не прошло. Закашлялся Алексей Михайлович, почитай, все и разбрызгал. Открыл глаза, спросил с натугой, но ясно:

— Где Иоаким?

— Послали за ним, государь. Скоро будет.

— Скоре бы, скоре,— пробормотал царь, опять смежая веки.

Патриарх влетел в покои, принеся холод и мокреть улицы на рясе. Он был решителен и тверд, и это передалось всем, даже у Костериуса руки трястись перестали. Он сделал свое дело, чем мог помог, теперь приспела пора патриарху делать его дело — соборовать умирающего. Все отступили от ложа царского, дабы не мешать высокому иерею. И тут окольничему Матвееву в ум пало: «А престол-то пуст будет! Господи, надо к утру поспеть, пока все не узнали, надо поспеть». Однако во дворце уже начиналась суматоха. Первыми появились в покоях государевых его сестры: во главе со старшей Татьяной Михайловной — Ирина и Анна, а там и плачущая дочь Софья Алексеевна прибежала.

Окольничий Матвеев, выйдя из спальни умирающего, поймал кого-то из слуг, наказывал строго:

— Беги к Апраксиным, всех обеги, скажи, чтоб чуть свет в Думе были, потом к Лихачевым.

— Всем?

— Всем: и Тимофею, и Михайле, и Ивану.

— А Милославским?

Артамон Сергеевич поморщился:

— Ну, этим, если успеешь, напоследок.

Назвал еще несколько знатных фамилий, на поддержку которых мог рассчитывать. И слуга помчался.

Сам Матвеев направился к покоям молодой царицы Натальи Кирилловны, столкнулся с ней в дверях опочивальни. Она была уже одета,— видимо, ей сообщили о муже.

— Наташа,— схватил ее за руку Матвеев,— ты куда?

— К нему, куда ж еще.

— Не надо. Ты уж ему ничем не поможешь. Патриарх соборует его. Там все сестры и милославские девки. Не ходи. Поднимай Петрушу.

— Среди ночи-то?

— Идем! Поднимай! — И Матвеев силой повлек царицу к покоям царевича.

— Но дите же спит,— пыталась убедить боярина царица.— Артамон Сергеевич, зачем беспокоить ребенка?

— Наталья, неужто не понимаешь.— Матвеев перешел на шепот.— Престол-то впусте, надо Петра на него сажать. Петра царем провозглашать.

— Но ему всего четыре года. Какой он царь?

— Эх, бабий ум,— поморщился Матвеев.— А мы-то на что? Ты, я, братовья твои, отец, наконец.

— Но Федор-то старше. А Иван?

— Что — Федор? Он уж с постели не встает, ноги — что бревна. Не сегодня завтра за отцом последует. А Иван,— Артамон Сергеевич махнул рукой,— всем ведомо,— дурак, да к тому ж почти слепой. Какой он царь.

Он буквально втащил царицу в покои царевича, сам от лампады возжег свечи в бронзовом шандале.

— Ну! Буди!

Наталья Кирилловна склонилась над спящим ребенком, окликнула нежно:

— Пе-тя, Петенька.

— А-а,— внезапно открыл тот большие, навыкате глаза.— Что, маменька?

— Вставай, миленький, вставай, родной.

— Уже светает? Да? — спросил царевич, позевывая.

И тут подступился окольничий.

— Петр Алексеевич, вставай, а то проспишь престол-то. Быстро одевайся. Где твои порты?

Мальчик быстро откинул одеяло, соскочил на пол и, наклонившись, полез под кровать, достал горшок.

— Я сначала пописаю.

— Пописай, пописай.

Наталья Кирилловна помогала сыну, поддерживала горшок, пока он справлял малую нужду Матвеев взял было штаны, дабы помочь царевичу одеться, но тот выхватил у него их из рук.

— Я сам.

Боярину понравилась такая самостоятельность, молвил удовлетворенно:

— Ну вот, чем не царь. Все сам норовит, не то, что те дохлики.

Матвеев с видимым удовольствием ущипнул мальчика за тугую щеку А когда царевич оделся, взял его за руку и, наклонившись, сказал серьезно и почти торжественно:

— Сейчас, Петр Алексеевич, мы пойдем с тобой садиться на престол. Он освободился, и окромя тебя его некому более наследовать. Понял?

— Ага,— кивнул царевич.— А саблю с собой можно взять?

— Какую саблю? — не понял Матвеев.

Мальчик вырвал свою руку, вспрыгнул на кровать, потянулся к стене и извлек из-под одеяла саблю. Небольшую, но настоящую.

Поймав недоуменный взгляд Матвеева, Наталья Кирилловна пояснила:

— Днями купец приезжал из Сибири, подарил ему. Он чуть с ума не сошел от радости, вот и спать с ней ложится.

— Так можно взять? — спросил мальчик боярина.— Дядя Артамон, можно?

— Да нет, Петр Алексеевич. Царю полагается скипетр и державу, сиречь царское яблоко, в руку, особливо на престоле.

— А саблю?

— Саблю тоже можно, но лишь на походе.

Мальчик, вздохнув, с сожалением положил саблю на кровать.

— Ладно. После престола обязательно в поход пойдем.

В Думе собрались бояре: одни сидели на лавках, другие ходили взад-вперед, встревоженные худой вестью — умер государь.

Матвеев ввел Петра и направился с ним прямо к престолу, стоявшему на возвышении. Наталья Кирилловна осталась за раскрытой дверью, сочтя неприличным являться: ей, женщине, в Думе, да еще в такой час.

— Вот садись сюда, Петр Алексеевич,— указал Артамон Сергеевич мальчику на царское седалище и хотел подсадить его, но тот сам прыгнул на место.

«Эк шустер,— с удовлетворением отметил Матвеев.— Молодчага!»

— А скипетр, а царское яблоко,— напомнил царевич.— Ты ж обещал.

— Все будет, Петр! Потерпи. Как Дума провозгласит, все получишь: и скипетр, и царское яблоко, и шапку Мономаха. Сиди. Я побегу

Наталья Кирилловна видела, как сбежал с царского возвышения окольничий Матвеев, как стал перебегать от одного думца к другому, что-то жарко говорить каждому. Она догадывалась: Артамон Сергеевич хлопочет за сына ее Петюшу, за царство для него.

Но Петюшка-то, Петюшка! Сидит на престоле, болтает ногами. Потом стал ковыряться в подлокотнике. И вдруг — о ужас! — забрался на престол с ногами, мало того, встал там, поворотясь к Думе спиной, начал разглядывать резьбу на спинке седалища.

Наталья Кирилловна в великом волнении и отчаянии смотрит на думцев, которые тоже видят, что там вытворяет на престоле царевич, говорят меж собой, смеются чему-то. Ясно, чему смеются.

«Господи, вразуми Ты неразумного,— бормочет Наталья Кирилловна.— Неужто Артамон Сергеевич не видит этот срам?»

Но Матвееву уже не до этого, ему надо уговорить как можно больше думцев кричать Петра на царство. Он понимает, что в эту ночь решается судьба не только царевича Петра, но и его, окольничего Матвеева, и воспитанницы его, ныне овдовевшей Натальи Кирилловны Нарышкиной, и всего ее рода, наконец, решается судьба царства. Ах, как обидно, что Петр мал еще, хошь бы лет восемь — десять было ему. Тогда б легче склонять думцев на его сторону. А то мнутся, посмеиваются: да какой он царь, глянь, звон престол на цацки разберет. Крикнуть бы: «Петя, сядь на место!» Но на престоле он уж не Петя, а почти государь.

— Петр Алексеевич,— окликает его Матвеев.— Петр Алексеевич!

Мальчик оглядывается: ну что? Окольничий укоризненно головой качает. Слава Богу, ребенок сообразительный, вмиг понял, чего от него дядя Артамон хочет. Опять сел как положено, хотя все видят, как не сидится ему на святом седалище, того гляди, опять вскочит или че другое отчебучит. Оно и понятно — дите.

И вдруг в переходах шум послышался, топот ног, говор — и все это катилось к Думе. Наталья Кирилловна отступила в тень и тут увидела, как к двери подошел князь Долгорукий Юрий Алексеевич — высокий седой старик в сопровождении дворецкого Хитрово Богдана Матвеевича и князя Хованского Ивана Андреевича по прозвищу Тараруй, которым, сказывают, наделил его сам государь за язык долгий и неугомонный. А ныне по всей Москве заглазно его иначе и не кличут как Тараруй. Вот уж русский язык — бритвы острей, печати страшней! Назовет как припечатает — и на звание не поглядит. Тараруй! А то, что ты князь, уж давно позабыто. Тараруй!

Князь Долгорукий не стал в Думу входить, посмотрел из-под белых косматых бровей на престол и сидевшего на нем царевича, пробормотал:

— Наш пострел и тут поспел.

И, резко поворотившись, закричал хриплым басом:

— Где патриарх?

— Он в покоях государя, князь,— с готовностью отозвался Хитрово.

— Да, да,— подхватил Тараруй,— патриарха спросить надо.

И они опять с шумом покатились в сторону царских покоев. Наталья Кирилловна сердцем почувствовала: сгонят Петеньку с трона. Этот Долгорукий неприязнен ко всем Нарышкиным. Оно и понятно: род захудалый. «Выскочки смоленские» — так, не стесняясь, говорит о них князь, а теперь, когда умер ее главный защитник и опора, великий государь Алексей Михайлович, всяк может обидеть ее, молодую вдову, и ее сына Петеньку. Разве что боярин Матвеев, Апраксины встанут за них, но только устоять ли им пред Долгоруким — начальником Стрелецкого приказа. Да он кого хошь скрутит в бараний рог.

Князь Долгорукий вошел в покои царские, забыв даже перекреститься, взглянуть на покойника. А сразу к патриарху:

— Святой отец, кому государь царство завещал?

— Старшему сыну, князь,— неодобрительно покосился Иоаким на Долгорукого, внесшего шум туда, где должна царствовать тишина.

— Федору, значит.

— Значит, ему.

Князь повернул назад. За ним добровольные клевреты.

— Идем за Федором.

— Но он сильно болен,— догнал их уже в переходе Костериус.— Ему нельзя вставать.

Долгорукий и бровью не повел в сторону лечца, словно это комар или мошка прожужжала.

Царевич Федор, плохо спавший ночь из-за болезни, услыша шум во дворце, велел своей постельнице:

— Родимица, выдь, узнай, что там?

Та вышла и вскоре воротилась. Колебалась: говорить ли, но женское естество пересилило:

— Батюшка ваш помер, Федор Алексеевич.

Царевич всхлипнул, притих. Постельница подошла, поправила подушку, подняла сползшее на пол одеяло. Погладила мальчика по голове:

— Сиротинушку моя, жаль моя...— И у самой слезы закапали, вспомнилась родная Украина, старый батька с маткой.— Не плачь, дитятко. Воны теперь в раю, батюшко наш Алексей Михайлович. Не трави душу, серденько, молись за него.

А меж тем шум во дворце все усиливался, кто-то бегал по переходам, где-то плакали навзрыд, топали ноги, скрипели половицы.

— Родимица, запри дверь на запор,— попросил Федор, догадавшись наконец, что возня эта его не минует. Обязательно хватятся его, прибегут за ним. А он никого не хочет видеть, даже родных, хочет один поплакать.

Едва успела Феодора Родимица запереть дверь, как тут же в нее постучали.

— Федор Алексеевич, отвори,— послышался голос князя Долгорукого.— Это я — Юрий Алексеевич.

Федор взглянул на испуганную постельницу, приложил палец к губам: молчи, мол. Хитрово стал звать ее:

— Родимица-а, слышь, отвори. Ты оглохла там, че ли?

Но Федор уже и кулачок показал бедной женщине: не отзывайся.

— Ломайте дверь! — приказал Долгорукий.

Двери оказались крепкие, дубовые. Сколько ни давили на них снаружи, выдержали.

— Топоры несите,— хрипел князь.— Рубите!

Принесли топор, начали рубить. Прорубили дыру у засова, кто-то сунул руку через нее, отодвинул задвижку Ввалились запыхавшиеся, злые.

— Ах ты ведьма заднепровская! — кинулся было на постельницу дворецкий Хитрово.

— Не сметь! — крикнул тоненьким голоском царевич Федор. — Тронешь хоть пальцем, велю засечь,— пригрозил мальчик.

Хитрово остановился на полпути, знал уже, кем стал царственный отрок и чем может грозить его единое слово.

— Федор Алексеевич, Бог призвал твоего батюшку к себе,— начал Долгорукий, и даже не забыл на этот раз перекреститься.— А великий государь, отходя в мир иной, отказал царство на тебя. Пожалуйста, изволь сесть на трон.

— Не хочу. Я болен. Идите все отсюда, сажайте крестника моего, Петра.

— Но он еще не смыслен. И потом, царство-то тебе отказано, не ему. Федя, сынок, не огорчай душу отца твоего. Ведь он сейчас с неба взирает на нас и каково ему слышать такое твое слово. Скорбит душа его, Федя.

— Но я же болен, Юрий Алексеевич,— со слезами взмолился царевич.— Ну пожалейте вы меня, за ради Христа. Я по горнице ходить не могу

— И не надо ходить, Федор. Мы тебя на руках унесем. Не упрямься.

Заметив колебание царевича, Долгорукий кивнул спутникам:

— Ну, чего стоите? Берите государя, да осторожней.

Сам князь и рад бы подставить свое плечо, да уж стар, себя б хоть донести. Охотников нести Федора и так довольно сыскалось. Окромя Хитрово да Хованского-Тараруя тут же и дядя царевича объявился — Милославский Иван Михайлович, князья Куракин Федор и Волынский Василий.

Волынский прибежал последним, когда понял, чей перевес будет, хотя полчаса тому обещался Матвееву за Петра кричать. И то, пока шел разговор, он в дверях стоял на всякий случай, а ну Федор откажется и настоит на своем, тогда б он успел назад в Думу добежать и за Петра провопить.

Милославский с Куракиным одного роста оказались, им и взгромоздили на плечи царевича, Хитрово с Тараруем ноги царевича держали, им как раз по ноге досталось. Ну а Волынскому выпало впереди бежать по переходам и путь очищать:

— Дорогу, дорогу, государь идет.

Сына дворецкого Ивана Хитрово князь Долгорукий вперед послал:

— Беги, скажи Матвееву, чтоб уводил Петра. Не ронял бы царскую фамилию.

Однако беспокоился князь напрасно. Матвеев, узнав, что государь отказал царство старшему, сам увел Петра из Думы, передал царице, шепнул обнадеживающе:

— Не горюй, Наташа, сие ненадолго. Помяни мое слово, скоро, очень скоро Петр на троне будет.

Менее всего огорчился сам виновник, царевич Петр, что там ему скипетр да держава, когда его в спальне настоящая сабля дожидается.

А меж тем бедного Федора Алексеевича внесли в Думу, усадили на трон. Слезы катились по щекам четырнадцати-

летнего отрока и от боли и от горя, свалившегося на его хрупкие плечи. Он плакал об отце, а другие словно забыли о случившемся. Им важно было публично провозгласить его царем, хотя, видит Бог, он не рвался на трон. Несколько раз он пытался сказать: «Отнесите меня к отцу». Но его словно и не слышали или не хотели слышать. Князь Долгорукий нашептывал ему:

— Ты — царь, Федор. Слышишь — царь. Надо утвердиться. Потерпи. Успеешь с батюшкой попрощаться.

Боярин Стрешнев Родион Матвеевич сунулся к Долгорукому с советом:

— Надо бы скипетр, князь, и державу.

— Ты что, сдурел, Родион, он же не удержит.

— Но все одно неладно это,— не сдавался Стрешнев,— царем объявлять, и без державы.

Сошлись на том, что скипетр и державу будут держать Стрешнев с Милославским, как родственники царя, а руки Федора будут лишь касаться этих атрибутов. Принесли и шапку Мономаха, но ее Федор сам решительно оттолкнул, даже примерять не стал. Оно и без примерки видно было, что велика она для мальчика, утонет он в ней.

— Шапка ему в плечах тесна станет,— угрюмо съязвил стольник Матвей Васильевич Апраксин, сидевший неподалеку от трона и видевший слезы царевича и посему сочувствующий отроку.— Ослобонили б дите, аспиды. Ведь эдак они его вслед за отцом отправят.

— Эт верно,— согласился казначей Лихачев, сидевший рядом.— Дали б хоть на ноги подняться ребенку.

Гудела Дума, заполнявшаяся боярами, ждали возглашения царевой воли, вздыхали по усопшему, жалели вступающего в нелегкую упряжь царскую. А по щекам Федора катились крупные, с горошину слезы, и никто не смел осудить его, все понимали состояние отрока. Лишь князь Долгорукий не мог с этим смириться. Сипел над ухом царевича:

— Вытри слезы, Федор. Стыдись.

Глава 2

ПРОЩАЛЬНАЯ ГРАМОТА

После похорон великого государя Алексея Михайловича собрались родные его в верхней горнице погоревать вместе, поплакать, ну и посоветоваться, как дальше жить.

— А где ж Наталья Кирилловна с крестником? — хватился Федор Алексеевич.— Позовите кто-нибудь.

Но отчего-то никто не шевельнулся, а Софья Алексеевна сказала:

— Обойдемся без мачехи.

— А и верно,— поддержал ее Иван Михайлович Милославский.— С какими глазами ей являться после той ночи с беззаконным притязанием на престол.

— Да уж что и говорить,— отозвалась Татьяна Михайловна.— Такая молодая, да ранняя. Не ожидала я от Наташки такой прыти, не ожидала.

Неожиданно захихикал сидевший у окна царевич Иван, все оборотились к нему: с чего это он? А он смеялся, не замечая, что привлек общее внимание.

— Ваня, что с тобой? — спросила тетка Анна Михайловна, сидевшая рядом.

— Хы-хы, когда гроб-то с крыльца несли, боярин-то Одоевский споткнулся да растянулся на ступеньках-то. Гы-гы-гы.

Все переглянулись: что, мол, взять с глупенького, мал еще, всего десять годков. Но Софья Алексеевна оборвала весельчака строго:

— А ну-ка перестань, дурак.

Иван испугался, притих, но ухмылку с лица так и не мог согнать, из похорон ему больше запомнилось падение на крыльце старого боярина.

— Надо что-то с нарышкинским гнездом делать,— сказал Иван Михайлович.— Ванька не оставит нас в покое, уж наверняка плетет что-то.

— Выгнать их обратно в Смоленск,— предложила Татьяна Михайловна.

— Нет, в Смоленск нельзя, там у них сторонников много сыщется. Еще и поляков могут натравить на Москву. Надо в другую сторону.

— А зачем выгонять-то? — спросил Федор.— Дядь? Теть? За что вы на них?

— Федя, ты молод, всего не понимаешь...— ласково начал Милославский.

— Но я же царь, должен знать.

— Царь ты, царь, Федор, но пока во всей этой паутине разберешься, позволь нам, старикам, с этим управляться.

— Но крестника своего я в обиду не дам,— сказал твердо Федор.— Как-никак, я перед Богом отец ему

— А никто и не собирается Петра обижать. Пусть живет себе, мы разве о нем говорим. Мы о недругах наших речь ведем. О твоем, Федя, спокойствии печемся. О твоем!

— Да,— неожиданно вспомнила Татьяна Михайловна.— Надо послать кого к патриарху Никону в Ферапонтов мо-

настырь, пусть он пришлет грамоту о прощении покойного государя Алексея Михайловича.

— Это верно ты заметила, Татьяна. Я пошлю туда боярина Федора Лопухина. Он уговорит упрямца.

— Надо бы как-то облегчить ему ссылку, Федя,— посмотрела Татьяна Михайловна на племянника.

— Э-э, нет,— возразил Милославский.— Еще рано. Греха с патриархом Иоакимом не оберешься.

— А что они не поделили? — спросил Федор.

— Как что? А патриаршество. Никона-то за что выслали? Он решил выше царя возвыситься, вот на этом и свернул себе шею А после него патриархом рукоположен Иоаким. Теперь если вернуть Никона, что ж получится? Он себе доси патриархом считает, Иоакима клянет Пусти его в Москву, впору будет бежать отсель, мамаево побоище начнется. Нет уж! Пусть лучше сидит в Ферапонтовском. Тут ты, Татьяна, не сбивай царя. Не толочь, что не скисло

— Но, Иван Михайлович, я же не говорю везти его в Москву, я ж о полегчении участи.

— Не боись, Таня, он и там не трудно живет. Всех поколачивает, даже из пищали палит, сказывают, по птицам. За одно это можно из иереев извергнуть.

Вдруг резко отворилась дверь и на пороге появился протопоп Андрей Савинов — духовник умершего царя. Глаза его недобро поблескивали, да и весь его вид являл скорее кулачного бойца, чем мирного иерея.

— Ага-а, весь царствующий дом здесь,— вскричал он.— Это хорошо. Все сразу узнаете, какое кощунство свершил ныне патриарх, какое беззаконие, какую поруху порядку!

Духовник царя — лицо особое. Только ему исповедуется царь, только он знает самое сокровенное о царе, о его грехах явных и тайных. Именно он, духовник, утишает душевные страдания своего высокого подопечного. Поэтому он вхож к царю в любой час дня и ночи.

Оттого протопоп Андрей и ворвался в верхнюю горницу безо всякого стеснения и разрешения. И всеми присутствующими это было воспринято как должное.

— В чем дело, святой отец? — спросил Милославский.— Какую поруху совершил патриарх?

— Вы разве не видели? Он на отпевании вложил в руку государя прощальную грамоту

— Ну и что?

— Как «ну и что»? — взвизгнул протопоп.— Я! Я должен был вложить государю эту грамоту. Я его духовник — не Иоаким. Я!

Все переглянулись. Татьяна Михайловна сказала:

— А ведь верно. Духовник должен вкладывать прощальную грамоту.

Слова царевны подлили масла в огонь. Протопоп, сжав кулачки, забегал по горнице, заговорил сбивчиво, бессвязно, через едва сдерживаемые рыдания:

— Я этого так не оставлю... Я этого не попущу... Я убью его... Я его... У меня уже есть полтыщи оружных людей. Я им только прикажу.

Все видели, что бедный протопоп впал в истерику, и молчали, дабы не усугублять дела. Татьяна Михайловна уже жалела о том, что поддержала несчастного. А он, приняв молчание едва не за согласие с ним царствующей семьи, распалял себя все более и более и под конец начал грозить уже им, царствующим:

— ...Ежели вы не скините тотчас этого злодея Иоакима, то я вас прокляну. Слышите? Прокляну весь род ваш.

Последние слова он буквально прорыдал и выбежал из горницы, хлопнув дверью, словно из пищали пальнул.

Все долго и недоуменно молчали. Наконец Федор вздохнул:

— Бедный отец Андрей, до чего обидели его.

— Э-э, нет, Федор Алексеевич,— заговорил Милославский,— такого не след спускать даже духовнику. Ишь ты гроза: «прокляну». Да за одно это на плаху можно послать.

— Но он же был любимцем у батюшки.

— Ну и что? Так теперь можно детям покойного проклятьем грозить? Нетушки, Федя, ты не заступайся. Я ныне ж Иоакиму слово в слово все передам. Он на него сыщет управу.

— А может, не стоит патриарха расстраивать.

— Стоит, стоит,— вмешалась Софья.— Не скажет Иван Михайлович, так я передам. Ишь, вздумал кому грозить! Мы эту грозу кнутом так уходим, что навек заречется.

Милославский сдержал свое слово, в тот же день пересказал все патриарху и еще добавил к этому:

— Государь надеется, что ты достойно накажешь оскорбителя царской чести, но и твоей тоже, владыка.

Иоаким, супя косматые брови, отвечал Милославскому:

— Спасибо, боярин, что не утаил такой крамолы. Сотворю там, что Андрюхе небо с овчинку покажется. Передай государю, сего дела я не спущу. У меня четырнадцатого марта Собор, мы его на Соборе не токмо извержем из сана, но и упечем туда, где Макар телят не пас.

— И в железы его, в железы, то-то бы государя порадовали.

— Ино ладно. Будут Андрюхе и железы.

Говорить Иоакиму о Никоне Милославский не стал, потому как знал, что одно упоминание о нем приведет патриарха в неистовство. Знал он и то, что если Никон узнает, что просьба о прощальной грамоте исходит от Иоакима, то тоже не даст прощения усопшему ни за какие посулы. Поэтому, вызвав к себе боярина Лопухина, повел речь издали:

— Ты, Федор Авраамович, очень уважаемый человек в царской семье. Государь так и сказал, что, кроме тебя, никто не сможет сотворить сие богоугодное дело быстро и хорошо ко всеобщему удовлетворению

— Какое дело, Иван Михайлович? — спросил Лопухин в нетерпении, вполне насладившийся столь лестной аттестацией.— Для государя я горы сворочу

Милославский, опустя очи долу, дабы в глазах боярин не угадал искру насмешки, сказал:

— Горы, Федор, сворачивать не надо будет. Тут гораздо все проще, хотя и очень ответственно и важно.

Для вящей значительности Иван Михайлович помолчал, словно колеблясь, доверять ли сие дело своему собеседнику. И опять начал издали:

— Ты же, наверное, знаешь о бывшем патриархе Никоне.

— Знаю, как не знать, Иван Михайлович. В Думе же ему ссылку приговаривали.

— Дело в том, что Никон, живя в ссылке, великие хулы возводил на покойного государя Алексея Михайловича. Никогда во здравие его не поминал.

— Ах, негодяй,— возмутился Лопухин.— И это бывший владыка!

— Может, оттого и покинул нас безвременно государь, царствие ему небесное.— Милославский трижды перекрестился.

— Вполне, вполне возможно, Иван Михайлович,— с готовностью согласился Лопухин.— Зло — оно, сказывают, тоже накликивается, даже вполне просто.

— Так вот, Федор Авраамович, царь повелел ехать тебе в Ферапонтов монастырь, что в Белоозерском, и привезти от Никона письменное прощение покойному государю.

— Да я... да для государя,— вскочил Лопухин в искреннем порыве благодарности.— Привезу хошь десяток прощальных грамот.

— Десять не надо, Федор,— осадил боярина Милославский.— Привези одну, и писанную рукой Никона чтоб

Деньги на дорогу получишь у Лихачева, государь ему уже указал. Ступай. Не мешкай. Завтра же отъезжай с Богом.

Царское повеление выполнять — честь великая, не всякому выпадает такое счастье. Другой всю жизнь просидит в передней у государя, да так и не сподобится этой милости. Оттого Федор Лопухин едва не на крыльях летел из дворца и под ноги себе не глядел и на Красном крыльце так оступился, что все ступени ребрами пересчитал. И, катясь вниз с крыльца, об одном Бога молил: «Хошь бы ничего не сломать». А то царь другого пошлет кого. Тогда до скончания живота о Лопухине не вспомнит.

Вниз скатившись, вскочил боярин, ребра пощупал: целы вроде. Ноги? Так стою же. Слава Богу, ничего не сломал. Правда, на голове шишка взыгралась, но она не может помешать исполнить волю государеву.

В стороне загыгыкали держальники боярские, видевшие кувырки Лопухина с Красного крыльца.

«Жеребцы стоялые,— подумал о насмешниках Лопухин.— Знали бы, по чьему указу спешу я, небось не оскалялись бы».

И, схватив оброненную на ступенях шапку, помчался готовиться к отъезду.

На Собор 14 марта 1676 года приехали митрополиты Корнилий из Новгорода, Иона из Ростова, Маркел из Пскова, Филарет из Нижнего Новгорода, Павел из Рязани да Илларион из Суздаля, архиепископы Сергий из Твери, Никита из Коломны, епископы Леонтий из Тамбова да Митрофан из Воронежа. Было еще около двадцати архимандритов и игумнов.

На столь представительном Соборе и выступил духовник покойного государя Андрей Савинов. Он думал, что тут-то он и разоблачит патриарха, как нарушителя церковных канонов. Но безмерная ненависть к Иоакиму сослужила ему худую службу. Начав тихо свой рассказ святому Собору о прощальной грамоте, которую бесчестно перехватил у него патриарх, протопоп заканчивал его на крике. И чем более кричал он на патриарха, тем тише и смиреннее отвечал Иоаким, более того, даже покаялся за свершенное им неумышленно, что в великой печали и слезах о государе вполне простительный проступок.

Но когда протопоп откричался, настроив Собор против себя, Иоаким встал и совсем не касаясь прощальной грамоты, за которую уже покаялся, не спеша стал перечислять грехи духовника царского:

— Когда Андрей Савинов по изволению покойного государя взят был в духовники, то он без архиерейского соизволения самочинно провозгласил себя протопопом.

— Это ложь! — вскричал Савинов, окончательно губя себя в глазах Собора.

— Какая ж это ложь, если ты доси не имеешь ставленной грамоты,— продолжал спокойно патриарх.— Вместо заступничества за обиженных и несчастных пред царем, к чему тебя сан твой обязывал, ты, напротив, употребил его во зло и многих людей по твоему наущению ссылали и бросали в темницы. Не ты ли, Андрей, пьянствовал с зазорными лицами, услаждаясь блудническими песнями, бесовскими играми и бряцанием? А не ты ли положил вражду между царем и нами, патриархом.

— Все неправда, царь сам не любил тебя! — опять прокричал Андрей.

— Нет, Андрей, ты, ты убедил государя не ходить в соборную церковь и избегать нашего благословения, взяв сие на себя лишь. А еще кричишь о прощальной грамоте.

Иоаким приготовил главный удар напоследок. И ударил:

— И последнее. Недостойное самого низкого попика. Ты, Андрей, нуждою увел черную жену от мужа, прелюбодействовал с ней, а его, дабы не мешал, ты упек в заточение. Так чего ты достоин? Скажи?

Сразу сделавшись белее стенки, Савинов молчал. Он никак не ожидал, что самое тайное его, сокровенное известно этому злодею патриарху. Откуда он мог прознать про это? Убить! Только убить осталось ему Иоакима.

А Иоаким спокойно сел в свое патриаршее кресло и сказал смиренно:

— Что решит Собор, пусть так и будет.

И Собор решил: Андрея Савинова извергнуть из священства, оковать и немедля сослать в Кожеезерский монастырь на самые тяжелые работы, по прибытии в который ради милости оковы можно будет снять, если в пути ссыльный будет вести себя смиренно и достойно. На что, судя по поведению на Соборе, надежды было мало.

А в это время Федор Лопухин приехал в Ферапонтов монастырь и, дабы преуспеть в деле предстоящем, первым долгом явился за благословением к Никону, и сан его, ради того же, не умалил:

— Благослови, владыка.

А раз владыка, значит, верховный правитель. Понимал хитрый боярин, что это будет приятно ссыльному иерею,

давно лишенному сана. Никон продолжал всюду подписываться святым патриархом, и даже на дороге перед монастырем поставил кресты, на которых было написано: «Смиренный Никон Божьей милостью патриарх, поставил, будучи в заточении за слово Божие и св. церковь».

Читая по дороге эти надписи, Лопухин понял, не сломлен Никон, и дело, с которым он ехал к нему, будет весьма трудным.

Никон благословил приезжего и спросил:

— С чем пожаловал, сын мой? Уж не донос ли на меня снова проверять?

— Нет, нет, владыка. Я с вестью горькой. Преставился ныне великий государь Алексей Михайлович. Велено мне оповестить тебя об этом.

— Царство ему небесное,— перекрестился Никон.— Что-то шибко раненько он отправился туда.

— Что делать, владыка. Всевышний призывает не когда тебе хочется, а когда он сам решит.

— Это верно, сын мой, все в руце Божьей,— отвечал Никон,— смахивая вдруг явившуюся на щеке слезу.— Но он будет судиться со мной в страшное пришествие Христово, ибо не было мира меж нами. Не было.

— Но ты, владыка, должен простить его как истый христианин,— подступился Лопухин к главному.— И простить письменно, дав прощальную грамоту.

— Подражая учителю своему Христу, повелевшему оставлять грехи ближним, я говорю: Бог да простит покойного. Но письменного прощения я не дам.

— Но почему, владыка?

— А потому, что он при жизни своей не освободил нас от заточения.

У Лопухина все похолодело внутри. Вот тебе и «горы сверну», вот тебе и «десять грамот».

— Владыка, я умоляю тебя.

— И не проси, сын мой, ворочайся лучше к тем, кто прислал тебя. За то, что уведомил меня о смерти государя, спасибо. Но писать ему прощальную грамоту я не стану. Не заслужил таковой покойник.

Возвращался в Москву Федор Лопухин псом побитым, ничего не вез в оправдание своей неблизкой поездки. Вот уж истина: не хвались едучи на рать.

Явился в Милославскому на доклад.

— Ну где грамота? — спросил Иван Михайлович.

— Не дал Никон. На словах простил, а письменно не дал.

— Эх ты, Федя-я, а хвалился, что десять привезешь.

— Кабы знал, что он упертый такой,— вздохнул виновато Лопухин.— Да и примета худа мне пред тем случилась.

— Что за примета?

— Да споткнулся на Красном крыльце, все ступени боком пересчитал.

— Примета сия худом и Никону обернется,— нахмурился Милославский.— Зашлем его еще подале да потеснее. А то пристав при нем Шайсунов пишет, что зажировал он в Ферапонтовом, всех под себя пригнул.

Глава 3

ПАДЕНИЕ МАТВЕЕВА

Не забыли Матвееву Милославские его попытку посадить на престол Петра мимо старшего брата. Не забыли. Едва Федору получшало и он уже без посторонней помощи поднимался на престол, хотя по-прежнему ни державу, ни скипетр не хотел в руки брать, тяжелы они были для слабых рук его, тут ему начали в уши дуть:

— Экий твой батюшка, государь, Алексей Михайлович здоровущий был, а в одночасье раз и занедужил и, не болея, помре.

— Да,— соглашался Федор,— я тоже думал, ему износу не будет.

— А не задумывался ли ты, государь, отчего сие могло приключиться? — спрашивал Милославский тоном, показывающим, что уж он-то знает отчего.

— А ты думаешь, Иван Михайлович, была причина?

— Ха! Еще какая! Аптека-то царская у кого в руках?

— У Артамона Сергеевича.

— Верно. У Матвеева. Он же с лекаришком там всякие зелья варил. Вот и смекай, государь, какое зелье этот Матвеев мог поднести Алексею Михайловичу.

— Да ну уж, что ты так, Иван Михайлович, на него?

— Как что? Он же и смерть государя хотел утаить, и бояр всех взбулгачил за Петра кричать. Это хорошо, Алексей Михайлович в слове последнем патриарху указал на тебя. А то б что было?

— Ну, это, может, совпадение,— усомнился царь.

— Совпадение? А отчего твой старший брат Алексей Алексеевич помер? Кто теперь узнает? А какой умница-то был. В двенадцать лет владел латынью, сочинял стихи. Его в тринадцать лет прочили на польский трон. Какую речь на

латынском он произнес перед польскими посланцами, как они ему хлопали, видя в нем уже не отрока, а зрелого мужа. И вот в январе семидесятого он скончался. Внезапно, неожиданно. Может, скажешь, и это совпадение? А ты, Федор, отчего болезнен такой? А?

— Я от роду такой.

— От роду ли? А може, от тех зелий, которыми тебя потчует Матвеев с лекаришкой. А? Вот то-то, государь.

Умел Иван Михайлович убеждать царственного племянника, умел. И когда в Думе предложили освободить Матвеева от должности начальника царской аптеки, царь согласился.

Но Милославский этим не довольствовался. Он был убежден, что воеводой в Астрахань царь Алексей послал его когда-то по подсказке Матвеева. Это было равносильно ссылке. Иван Михайлович едва не помер там от болезни живота. Разве это можно простить Матвееву? Рьяного союзника в травле Матвеева Милославский нашел в лице дворецкого Богдана Хитрово. Тот тоже ненавидел Матвеева: именно Матвеев доложил государю Алексею, что Хитрово, управляя Приказом большого дворца со своим племянником Александром Хитрово «...из всех Сытного, Кормового и Хлебного дворцов премножественным похищением всяких дворцовых обиходов явственно и бесстыдно по вся дни корыстовалися, великими посулами с дворцовых подрядчиков богатили себя».

И если б не внезапная смерть государя, еще неизвестно, чем кончилось бы это дело для Хитрово. Однако царь умер, донос, соромивший дворецкого, был выкраден. Теперь подоспело время мести доносчику.

После изгнания Матвеева из царской аптеки надо было извергнуть его из Посольского приказа, который он возглавлял. Недруги искали повод, и он вскоре нашелся. В Думу пришла жалоба от датского резидента Гея, отъезжавшего на родину: «Управитель Посольского приказа окольничий Матфеев браль на пятьсот рублей рейнские вина у меня, якобы поставленное им ко двору. И на мой требований прислали из Посольского приказа фальшивый контракт. Пусть Матфеев воротит мне эти деньги».

— Хэ-хэ,— потирал радостно руки Хитрово.— Испекся наш Артамошка.

Жалобу прочли царю, тот сказал:

— Пусть уплатит все сполна тому Гею, дабы не ронять лицо государства перед иностранцами.

Однако Дума, подогретая Милославским и Хитрово, подняла шум.

— Как так? Человек, опозоривший перед всем миром державу, стоит во главе Посольского приказа.

— Гнать такого,— кричал Волынский.

— В ссылку его,— подпевал Хованский-Тараруй.

А тут подоспела из Польши от русского резидента Тяпкина слезница, которую думный дьяк Иванов подсунул Стрешневу для прочтения государю.

— «В Краков на коронацию мне нечем подняться,— читал Стрешнев жалобу-грамоту Тяпкина, писанную им для начальника Посольского приказа, но никак не для государя.— Занять не добуду без заклада, а заложить нечего, одна была ферезеишка соболья под золотом и та ныне в Варшаве пропадает в закладе, потому что выкупить нечем. Поневоле не поеду на коронацию, ежели денег на подъем не добуду. Лошадь одна и была, на которой волочился на двор королевский и к панству, и та теперь пала. Выбресть не на чем в люди, придется и самому так же издохнуть от скудости. Не такие тут порядки, что в государстве Московском, где, как пресветлое солнце в небеси, единый монарх и государь по вселенной просвещается и своим государским повелением, яко солнечными лучами, всюду един сияет: единого слушаем, единого боимся, един дает и отнимает по данной ему, государю, свыше благодати. А здесь что жбан, то и пан, не боятся и самого Создателя, не только избранного государя своего, никак не узнаешь, где у кого добиться решения дела, все господа польские на лакомствах души свои завесили».

Стрешнев кончил чтение, государь спросил:

— Отчего наш посол в Польше в такой скудости пребывает?

— А это, государь, с Посольского приказа спрос,— сказал Хитрово.

— Вот сором-то державе нашей,— поддакнул Милославский.— Дума уж приговорила, государь, тебе лишь указать осталось.

— Что-то ты, Иван Михайлович, навыворот все поворачиваешь. Сначала я указать должен, а уж после Думе приговаривать.

— Ну, укажи, Федор Алексеевич, чего ж медлишь. Укажи, а в Думе приговор уж готов.

— А каков приговор-то?

— Ссылка.

Федор задумался, потом спросил не очень решительно:

— А не строго ли это? Может, уволить от Приказа, и довольно.

— Не строго, государь. Он вон нас и перед Данией, и перед Польшей осрамил.

— Нет, не могу я ему ссылку указать. Все-таки его отец жаловал. Не могу я его всего лишать. Перед памятью отца не могу

— Но, государь, вся Дума просит.

Царь хоть и юн был, и здоровьем слаб, но не захотел в ссылку отправлять Артамона Сергеевича. Тогда Милославский, вспомнив свой горький опыт, предложил:

— Хорошо, Федор Алексеевич, давай тогда отправим его воеводой куда подале.

— Ну вот воеводой — это можно,— обрадовался царь.— А то ссылка. Он ведь не враг мне. А куда воеводой-то?

— В Верхотурье хотя бы

— А где это? Покажите чертеж.

Принесли чертеж Русской земли, показали Федору

— Так это ж аж за Уралом?

— Да, это за Уральским камнем, государь

— А нельзя ли ближе? Не хотелось бы обижать.

— Везде уж есть воеводы, государь. На живое место не пошлешь.

— Это верно.

И уж на следующий день едва Матвеев появился в передней, как от царя вышел Стрешнев с указом в руках и объявил ему:

— Указал великий государь: быть тебе, Артамон Матвеев, на служении воеводой в Верхотурье. И отъезжать туда со всем поспешанием.

Матвеев поклонился указу и сказал:

— Передай государю, Родион Матвеевич, что я служил верой и правдой отцу его, Алексею Михайловичу, и ему послужу еще, в любом качестве и на любом указанном им месте

Хорошо понимал Артамон Сергеевич, от кого все исходит, за что мстят ему и что отрок-государь тут вовсе ни при чем. И был отчасти даже доволен, что уедет подальше от этого осиного гнезда. Он был уверен, что едет ненадолго, что может так случиться, что воротят его даже с дороги. Потому как, имея неплохие познания в медицине, знал, что Федор не жилец, что здоровье у него еще хуже, чем было у старшего брата Алексея. А когда (Господи, прости ему мысли грешные) Федор уйдет из жизни, то престол наследует Петр, а по малолетству его правительницей станет Наталья Кирилловна, и уж она-то первое, что сделает на троне,— воротит Артамона Сергеевича в столицу, ибо из всего притронного окружения доверяет только

ему, своему воспитателю. Ведь именно его стараниями она стала женой Алексея Михайловича, царицей стала.

Матвееву было разрешено взять с собой дворни и поклажи сколько сможет увезти. А так как ехал он воеводой, то взял с собой не только пищали, но и две пушки с запасом пороха и свинца. Предполагалось, что в пути могут напасть разбойники и пушки тогда сделают свое дело.

Отправлялся окольничий Матвеев на воеводство длинным обозом, что-то около двадцати телег со скарбом, слугами, их женами и даже детьми. Взял с собой десятилетнего сына Андрея и даже племянников, которых дорогой учил чтению и письму, если позволяли обстоятельства. Даже карл Захарка, призванный в пути потешать господ, ехал с обозом.

Однако, выпроводив Матвеева из Москвы, недруги не успокоились. Если с сидящим на троне царем — даже и юным — спорить было не принято, то уж в верхней горнице, куда собиралось все семейство, сестрам и теткам царя представлялась возможность уговаривать царственного отрока, а то и требовать хором исполнения женских желаний и капризов. Туда, в верхнюю горницу, была вхожа и Хитрово Анна Петровна, как кормилица царевича, ненавидевшая молодую царицу Наталью Кирилловну и ее воспитателя Матвеева. Само собой, на эти семейные посиделки мачеху никогда не приглашали, а Федору, однажды пожелавшему позвать ее, дали понять, что мачехе здесь делать нечего.

Вот Милославский и Хитрово стали действовать через верхнюю горницу, дабы «упечь-таки Артамошку в ссылку».

— Федя,— обращалась тетка Ирина Михайловна,— сказывают, Матвеев увез книгу с рецептами из аптеки и в той книге указаны цифирью составы зелий.

— Надо книжку-то посмотреть эту,— подхватывала Софья Алексеевна.— В народе слухи ходят, что батюшку отравили, поди, в книжке той зелье это и записано.

Федор, за день уставший от сидения в Думе, обычно лежал, и сестры наперебой ухаживали за ним: кто подавал питье, кто укрывал ноги или поправлял подушку. И самая старшая Романова — Татьяна Михайловна по-матерински ласково советовала:

— Ты, Феденька, вели ту книжку-то у него забрать. Пусть хоша кто-то знающий посмотрит ее. Хотя бы твой учитель Симеон Полоцкий. Пошли кого-нито вослед.

А уже через день в переднюю был вызван полуголова стрелецкий Лужин Петьша, и Стрешнев, выйдя туда от царя, прочел:

— Государь указал тебе, Петр Лужин, ехать вслед за Матвеевым, пусть встанет в Лаишеве под Казанью впредь до особого указу. И забери у него книгу аптекарскую, в которой многие статьи писаны цифирью, а еще забери у него Ивана-еврея и карлу Захарку. И вези книгу и людей сюда, на Москву.

У Красного крыльца, подозвав к себе полуголову Лужина, Иван Михайлович Милославский вручил ему грамоту запечатанную:

— Заедешь в Казань к воеводе Ивану Богдановичу Милославскому и передашь эту грамоту.

— Хорошо, боярин. Исполню, как велишь.

А грамота была невеликой, в ней было написано: «Иван! Матвеев, недоброжелатель наш, ныне в опале, не чинись с ним, и я помогу тебе на Москве быть».

Поехал Лужин вдогон за Матвеевым в коляске, вооруженный саблей и пищалью. Воротился через две недели, похудевший, почерневший за дорогу, и привез только Ивана да Захарку.

— А книга? — спросил Милославский.

— Он сказал, никакой книги у него нет, все рецепты оставлены в аптеке. Вот людей отпустил.

Через час по прибытии Иван-еврей и карла Захарка были в пытошной под башней.

Всего свету было, что три свечи в шандале, стоявшем на столе, за которым сидел подьячий с пером за ухом, а перед ним чистые листы и чернильница. В углу в горне тлели угли, по краям лежали пытошные щипцы и шилья. С потолка свисали веревки от блока дыбы.

Милославский присел к столу, спросил стоящих и испуганных Ивана с Захаркой:

— Ну что, голуби, скажете добром или под кнутом?

— О чем, боярин? — пролепетал Захарка, который, имея детский рост, едва возвышался над столом. Иван вообще говорить не мог, стучал от страха зубами.

— О книге.

— О какой книге?

— Так кто кого пытает,— нахмурился Милославский.— Ты меня или я тебя? Я спрашиваю о книге, которая была у вашего хозяина.

— Книга, книга,— забормотал Захарка, подводя глаза под лоб.— А она какого цвета?

— Сысой,— позвал Милославский.

От стены, словно выйдя из нее, отделился и подошел здоровенный детина в посконной черной рубахе до колен.

— Дай ему, Сысой, пару горячих, а то он цвет забыл.

— Ой, не надо,— пискнул Захарка, но Сысой одной рукой зажал ему рот, другой, ухватив за ворот, приподнял и как щенка понес в дальний угол. Там привязал несчастного к столбу. Взял кнут, откинул небрежно назад длинный змеистый хвост его.

— Да не переруби гляди,— успел сказать Милославский, как раздался тонкий свит и щелчок там в углу, где был привязан Захарка.

— А-а-а,— вскричал несчастный.

И опять тонкий свист и щелчок. Захарка захлебывался от рыданий.

— Ну, вспомнил цвет книги? — спросил Милославский.

— Вспо... вспо... мнил,— прорыдал Захарка.— Он-на че, черная.

— Все расскажешь?

— Все... все.

— Сысой, подведи его к столу.

В это время словно подкошенный рухнул возле стола Иванка-еврей.

— Это еще что? — удивился Милославский и кивнул подьячему — Посмотри его Ни били, ни жарили, а он уж готов.

Подьячий встал из-за стола, склонился над упавшим.

— Живой он С перепугу, кажись, в порты наложил Фу-у-у!

— Вот еще Не хватало тут вони Сысой, выкинь этого за дверь.

Сысой подвел Захарку к столу, а сомлевшего Ивана схватил за пояс и вынес за дверь, выбросил на ступени лестницы.

Лицо Захарки изморщилось от боли, словно печеное яблоко, по щекам лились слезы, он со страхом смотрел на боярина, пытаясь угадать, что надо говорить, чтобы угодить этому человеку, чтобы опять не попасть под кнут Он понял, что боярина интересует какая-то книга, и он начал вспоминать.

— Я раз спал в горнице за печкой, а проснувшись, увидел, что за столом в горнице сидят, склонясь над черной книгой, Артамон Сергеевич, Стефан и Спафарий. И читают ее.

— Какой Стефан?

— Доктор Стефан.

— Ну, сказывай далее, что видел, слышал. Да не спеши, а то подьячий не успевает писать за тобой.

Захарка дождался, когда подьячий поставит точку и поднимет от листа голову, и продолжал:

— Я не понимал, что они читали. Книга была не на нашем языке, но она такая черная.

— Черная, ты уже говорил. Сказывай, что дальше было.

Бедный Захарка весь напрягся, пытаясь хоть что-то добавить к сказанному. Ах, как бы понять ему, что нужно боярину? И вдруг его осенило:

— Да. Вспомнил. Потом к ним явились какие-то духи, такие страшные. И они им сказали, что в горнице есть еще один человек, спрятанный...

Захарка видел, что рассказ его весьма заинтересовал боярина, и, поняв, что попал в точку, продолжал без запинки:

— ...А когда духи так сказали, Артамон Сергеевич кинулся за печку, нашел меня. Выволок, стал ругать и колотить.

— А за что ругал-то?

— Как «за что»? Я ведь помешал им заниматься ведством.

Захарка врал, но лишь в этом он видел спасение от страшного кнута. Главное понимал, его вранью верят, что даже записывают. И понимал карлик, что этим навлекает беды на своего хозяина, но остановиться не мог, не имел сил на это. Ему важно было сегодня, сейчас уйти от кнута. А хозяин? Что хозяин? Он — боярин, птица высокая, ему кнута не дадут.

А вечером в верхней горнице отсутствие книги, о которой так много говорил Захарка, вызвало однозначный вердикт:

— Он ее сжег.

— Да, чтобы не попасться, он ее сжег, а ты, Федя, его в воеводы, когда надо было в железы.

— Ну, ничего,— оправдывала племянника Татьяна Михайловна.— Он еще молодой, поживет с наше, все поймет.

Через день званы были в переднюю думный дьяк Семенов и думный дворянин Соковнин. И Стрешнев, выйдя от царя, прочел им указ:

— Великий государь указал вам, тебе, Семенов, и тебе, Соковнин, без промедления ехать в Лаишев, осмотреть у Матвеева все письма, рухлядь, и если случится найти книгу, привезти ее в Москву государю. Если этого не случится, то допросить всех людей Матвеева с пристрастием и с самого его взять подробную скаску, как готовилось лекарство больному государю, кто вкушал его до государя и после.

Артамон Сергеевич среди ночи подхватился от громкого стука в окно избы.

— Кто там?

— Отворяй ворота, государевы люди.

Екнуло сердце от недоброго предчувствия, в полумраке натянул портки, прикрыл устроившегося у стены сынишку Андрея. Вышел во двор, заставленный повозками, в которых спали его многочисленные спутники. Кое-где уж торчали над телегами взлохмаченные головы, поглядывали встревоженно на ворота. Священник отец Сергий, крестясь, спросил негромко:

— Что, Артамон Сергеевич, опять?

— Опять,— кивнул Матвеев.— Пособи, батюшка, засов вынуть.

Вдвоем они вынули заложенную в проушины жердь, отворили ворота.

Вошли Семенов с Соковниным. Последний закричал:

— А ну, все подымайся! А ты,— обернулся к Матвееву,— давай все бумаги, письма, книги. Всех людей давай.

— Люди — вот они,— показал Матвеев на возы.— А бумаги, какие есть, все в избе.

— Идем в избу,— сказал Соковнин и пошел первым.

За ним последовал Матвеев, а рядом — Семенов.

— Василий Григорьевич, что за пожар? — спросил окольничий дьяка.

— Книгу какую-то твою черную государю надо. Ты бы уж отдал ее, Артамон Сергеевич.

— Да нет у меня никакой книги.

В избе вздули свет, хозяев, спавших на печи, выгнали на улицу. Соковнин велел открыть все баулы, развязать узлы, мешки: рылся в них, как пес в лисьей норе. Разбудил Андрея, забравшись под подушку на которой отрок спал.

Затем обыск продолжился во дворе на телегах. Даже в дуло пушки заглянул Соковнин, что рассмешило стоявшего около повара.

— Я те посмеюсь, я те посмеюсь,— пригрозил думный дворянин.— Всех на съезжую!

Повели на съезжую всех, даже и попа с монахом; из слуг оставили только конюха кормить и обихаживать коней. Уже светало.

Матвеев вошел в избу, где все было перевернуто вверх дном. Андрей сидел на кровати, прижавшись спиной к стене.

— Во. Как Мамай воевал,— усмехнулся горько Артамон Сергеевич.— Обалачайся, сынок. Пришла беда — отворяй ворота. Скоро, видно, и меня на съезжую потянут

— А зачем на съезжую-то? — спросил Андрей.

— Допрос чинить, для чего ж еще. Скаску писать.

И верно. Скоро пришел посыльный.

— Тебя на съезжую требуют, боярин. И немедля.

На съезжей в дальней горенке сидели Соковнин с Семеновым. Дьяк писал, перед ним лежали листы уже исписанные. Матвеев догадался: брали скаски с его людей.

— Ну, сказывай, Артамон, как составлялись лекарства государю? — спросил Соковнин, напуская на себя важность.

«Мог бы и по отчеству, чай, в два раза меня моложе,— подумал Матвеев.— От спеси-то эко вспучился, что тесто в деже». Но вслух сказал:

— Лекарства государю составляли доктора Костериус и Стефан.

— А ты? Ты разве не участвовал?

— Я в этом плохо смыслю, а они — люди ученые.

— А рецепты где, которые составлялись?

— Рецепты все в аптеке.

— А как давали лекарство государю?

— Всякое лекарство отведывал прежде доктор, потом я и после меня дядьки государевы: князь Федор Федорович Куракин и Иван Богданович Хитрово, а тогда уж давали государю.

— А если лекарство оставалось, куда его девали?

— Остатки всегда я допивал на глазах у государя.

— А в ночь смерти государя кто пробовал?

— В ту ночь только лекарь и я. Куракина близко не случилось и Хитрово не было.

— А что это за черная книга, которую ты дома ночью читал со Стефаном?

— Это учебная книга, по ней я сына учил латыни.

— А вот карла твой, Захарка, сказывал, что по той книге вы духов вызывали.

— Каких духов? — возмутился Матвеев.— Ему это приснилось, наверно.

— Злых духов, злых, Артамон. Не хочешь признаваться, тем хуже для тебя.

— А вы б спросили у Захарки, какие они из себя, духи-то.

— Да уж спросили кому надо.

«Ясно. Захарку в застенке пытали,— догадался Матвеев.— И карлика не пощадили, изверги».

Выпытав все, что возможно, Соковнин сказал:

— Скаска твоя к государю пойдет. Хорошего не жди, Артамон.

— Да уж куда хуже.

Но впереди ждало его и худшее. Опять ночью прибыли солдаты и, взяв его за караул, повезли в Казань. Там был ему прочитан указ государя, по которому всех его людей отпускали на деревню, а у него отбирали все имения, ли-

шали боярства и вместе с сыном отправляли в Пустозерск к студеному морю в ссылку. Когда дьяк Горохов читал ему указ, в котором перечислялись его вины, и Матвеев хотел возразить на одну несуразицу, Горохов рявкнул на него, как на простого мужика:

— Замолчи! И не говори! Слушай!

И у Артамона Сергеевича не выдержало сердце, слезы полились сами собой от горькой обиды: «И это почти за полувековую службу мою государю; за мои дела ратные, за мои раны боевые».

Глава 4

ДЕРЖАЛЬНИКИ БОЯРСКИЕ

Пожары в деревянной Москве не редкость. Как ни берегутся жители, то в одном конце «красный петух» хвост покажет, то в другом закукарекает. Правда, тушить бегут всем миром, зная, что «птица» эта зловредная и до тебя доберется, если соседу не поможешь с ней управиться.

После обеда, когда все домочадцы подремывали, а то и спали напропалую, случился пожар в усадьбе стольника Апраксина Матвея Васильевича.

Заметил подозрительный дым, струившийся из-под застрехи, случайно проезжавший от Москвы-реки водовоз. Соскочил с воза, застучал кнутовищем в ворота:

— Эй, православные, горите-е-е!

Вмиг взбулгачился весь дом. Водовоз тоже оказался с бочкой своей в самый аккурат, снял ведерко с облучка и ну лить туда, где огонь замечал. Соседи бежали со всех сторон, кто с ведром, кто с багром, гасить огонь в самом зародыше, не дать ему перекинуться на соседние дома. Сам стольник не дома был, в Кремле, в передней обретался, там ему и сообщили: «Матвей Васильевич, скорее беги, твои хоромы горят».

Прискакал стольник к хоромам на коне, когда уже крыша огнем взялась, слетел с седла, и первое, что закричал:

— Дети! Где дети?

Явился старший перед ним, Петьша, весь перемазанный, потный:

— Я здесь, отец.

— А Федька?

— Федька вон воду с колодца таскает.

— А Марфинька? Где Марьфинька, сукины дети? — вскричал Матвей Васильевич, нутром почуяв самое страшное. Он знал, дочка, девятилетняя Марфинька, всегда наверху была. Тут как тут жена явилась стольникова, зарыдала, запричитала, как по покойнику:

— Ой, дитятко мое-е.. доченька-а родная-а-а.

Матвей Васильевич вне себя ударил жену по щеке:

— Дура! Живую хоронишь.— И тут же оборотился к Петру: — Лестницу, живо лестницу, окаянные.

Притащили лестницу, приставили к подоконнику верхней светелки, кинулся было по ней сам стольник вверх, но лишь бороду опалил, свалился вниз. Попробовал пятнадцатилетний Федька сунуться к окну, тоже жара не выдержал, воротился.

— Лейте туда! Лейте туда! — кричал хозяин вне себя, указывая на верхнее окно девичьей светелки.

Плескали воду ведрами вверх, но пользы от того чуть было, едва ли четвертая часть долетала до окна. И тут у лестницы появился Тимка — подручный кузнеца апраксинского.

— Лейте на меня,— закричал.

Облили его, он мигом влетел вверх по лестнице, выломал оконные переплеты, исчез в светелке.

— Господи, помилуй. Господи, пособи,— бормотал Матвей Васильевич, не сводя глаз с окна, в котором исчез Тимка. И воду теперь пуще прежнего плескали в это окно. Время тянулось столь тягостно и долго, что кто-то не выдержал в толпе, сказал:

— Все. Пропал парень.

Словно бык на забое взревел было Матвей Васильевич от тех страшных слов, но тут явился в окне Тимка с ребенком на руках. Охнула толпа в радостном удивлении.

— Тима! Тимофей! Милый! — закричал, рыдая, стольник.— Кидай, мы пымаем.

Но Тимка ступил на лестницу и почти с такой же скоростью, как и вверх, сбежал с ношей своей вниз. Волосы на нем дымились, и первое, что сказал он:

— Облейте нас! Скоре облейте!

Их облили сразу из нескольких ведер, и тогда Тимка шагнул к Апраксину:

— Возьми дочку, Матвей Васильевич. Жива еще. Едва отыскал. Под кровать забилась, угорела.

Так в един час лишился Апраксин хором. Хорошо безветрие было, смело бы огнем все подворье, а то и всю улицу. Спасибо и народу, сбежавшемуся на пожар, хоромы не отстояли, но хоть перекинуться огню на амбары и конюшню не позволили.

Отчего загорелось? Только догадки строили и на одном все сходились: наверное, от лампады под образами. Ухватился огонек за какую-нито стружку или бумажку — и пошло. Если б был злой умысел, то наверняка б другое время выбрал поджигальник, ночку б темну да ветрену. А так ни отчего, на пустом месте приключилось, от беспечности русской, от того самого «авося».

Едва отходили любимицу отцову Марфиньку от угара и испуга, как вспомнил стольник о спасителе ее, Тимке с кузницы, и решил, что это сам Бог его отблагодарил за участие в Тимкиной судьбе. Лет пять тому возвращался стольник из Смоленска, спешил, гнал тройку сколь дорога позволяла. На одном из поворотов угодил под пристяжную мальчишка, не успел на обочину выскочить. Закричал, словно заяц подраненный.

Апраксин велел кучеру остановиться, вылез с возка, подошел к мальчишке, скулившему от боли и испуга.

— Что у тебя? — спросил участливо.

— Ногу, ногу повредило,— заплакал мальчишка.— Как идти теперь.

— А куда идешь-то?

— По миру, пан, по миру.

— А где живешь?

— Где ж мне жить, матка померла, батька утек, або пропал де. Кормлюсь с того, что люди добрые подадут.

— Нищий, стало быть.

Мальчишка не ответил, заплакал горько. Вспоминая ныне о давнем том случае, Матвей Васильевич благодарил Бога, что надоумил его подобрать нищего, привезти домой, отдать в кузню свою.

«Господи, а кинь я его тогда на дороге, не привези домой, кто б спас мою Марфиньку ныне?»

От такой мысли жутко становилось стольнику, и он точно знал, что этим самым отблагодарил его Всевышний за давний его поступок богоугодный: ты помог нищему ребенку, а он спас твою дочь. Все-то Ему ведомо, за все-то Он сполна оплачивает, и за доброе дело, и за злое. От таких мыслей слезы наворачивались на глаза Матвею Васильевичу, смотрит он на радостное лицо дочки и сам улыбается.

— Ничего у тебя не болит, Марфинька?

— Ничего уже, батюшка.

— Ну и слава Богу, слава Богу. А не хочешь взглянуть на своего спасителя?

— Хочу, батюшка. А кто он?

— Сейчас узнаешь.

Апраксин вышел из амбара, куда перебрался с семьей после пожара, велел кому-то из дворовых позвать из кузницы Тимку. Тот явился прямо в прожженном своем фартуке, прокопченный, с обгоревшими напрочь в пожаре бровями.

— Звал, Матвей Васильевич?

— Звал, Тима, звал,— впервые назвал так ласково парня стольник.— Спасенная твоя тебя видеть пожелала.

— Тим,— улыбнулась девочка кузнецу.— Так это, значит, ты. Спасибо тебе.— И ручку протянула ему.

Но он сразу спрятал свои за спину. Сказал смущенно:

— Прости, Марфа Матвеевна, у меня грязные.

— Давай, давай руку-те, раз тебе протягивают,— проворчал Матвей Васильевич добродушно.— Если бы не эти грязные... Ну, чего ты?

Девочка с явным удовольствием потрясла руку своему спасителю.

— Чем же мне наградить тебя, Тимофей,— спросил Апраксин, впервые назвав парня полным именем.— Может, на волю отпустить, свободу дать тебе?

— Как на «волю»? — не понял Тимка.

— Ну чтоб сам себе хозяин, чтоб шел куда хотел, делал что хотел.

— Нет, боярин. Я уж был на такой воле. Не гони меня, Матвей Васильевич.

— Да я не гоню, чудак. Я думаю, как лучше тебе сделать.

— Ты подари ему кафтан дорогой, батюшка,— неожиданно предложила Марфинька и засмеялась, видимо представив чумазого Тимку в позолоченном кафтане.

— Мне лучше остаться при вашем доме, Матвей Васильевич, мне родней его ничего нет.

— Ну хорошо, хорошо, Тимофей. Тогда скажи, чтоб ты хотел делать, где трудиться при доме?

— Мне б хотелось при конях,— вздохнул Тимка.— Я всегда мечтал.

— Все. Можешь считать, что мечтания твои исполнились. Ныне ж сбрасывай все с себя. Отмывайся в бане. Надевай чистые порты, а от Марфиньки будет тебе кафтан. Ну и пойдешь на конюшню. Впрочем, погоди... Как твоя фамилия?

— Что это?

— Ну, по отцу как назвать тебя? У меня, например, отец Василий, вот и зовут меня Васильичем. А как твоего отца звали? Ты помнишь?

— В веске дразнили его Пройдзисветом.

— Как, как?

— Пройдзисвет.

— Пройдзисвет, Пройдзисвет,— повторил улыбаясь Апраксин.— А что? Твой отец был пройдзисветом, а ты — сын — сквозь огонь прошел. А огонь — это свет. Славно даже звучит: Тимофей Пройдзисвет.

И вдруг, решительно хлопнув парня по плечу, сказал как припечатал:

— Все, Тима. Будешь у меня держальником.

— Но ведь вы обещали к коням.

— А это и есть к коням. Будешь меня сопровождать в Кремль к государю, а по моем уходе держать коней до моего возвращения.

У Тимки испуганно вытянулось лицо, спросил почти шепотом:

— И государя увижу?

— Может быть, и увидишь, когда он на Красном крыльце явится.

— О-о,— протяжно воскликнул Тимка, не имея возможности выразить в слове предстоящее счастье от лицезрения великого государя всея Руси.

А Марфинька звонко хохотала, глядя на Тимкины гримасы то от испуга, то от восторга.

— Ой, Тим, с тебя умереть.

Видя, что девочке это доставляет удовольствие, Тимка того более лицедействовал, к чему, видимо от природы, имел наклонность.

Так в один день, вовсе неожиданно для себя, безродный Тимка превратился из чумазого подручного кузнеца в добра молодца в расшитом кафтане, в козловых сапожках, в держальника при выездных конях знатного стольника Матвея Апраксина. И наконец впервые назван своим полным именем Тимофей с прибавлением почти забытой фамилии Пройдзисвет.

Перед первой поездкой своей в Кремль Тимка волновался так, что ночь не спал. Утром Апраксин, садясь в карету, заметил состояние своего кучера, ободрил ласково:

— Не волнуйся, Тима. Главное, за чей-нито угол не зацепи. А дорогу я буду подсказывать.

— Да я знаю путь-то к Кремлю. А все боязно, а ну — царь.

— В огонь лез — не боялся, а тут заробел.

— Огонь что. К нему я в кузне навык.

— Ну раз путь к Кремлю знаешь, правь к Спасским воротам.

Прокачавшись по ухабам Варварки, карета выехала на Красную площадь и, минуя Лобное место, направилась к Спасским воротам. Тимка обернулся к хозяину: а теперь,

мол, куда? Апраксин махнул рукой на Спасские ворота: прямо.

«Мать честна! В Кремль!» — обомлел Тимка и едва вожжи не выронил. Тут его сами кони выручили, бежали-то привычным путем. Пронеслись сквозь гулкие ворота и сразу поворотили налево, где стояло уже с десяток карет.

— Правь вон к желтой,— крикнул Апраксин.— Это нарышкинская, мы всегда около становимся.

Тимка тут уж взялся за ум, малость очухался от испуга, подкатил к нарышкинской карете ось в ось, так что его кони с нарышкинскими стали ухо в ухо.

— Ну молодец, Тима,— похвалил Апраксин, выставляя ногу на подножку. Сойдя на землю, полез в карман, достал две медные монеты, протянул Тимке:

— Возьми.

— Да вы что, Матвей Васильевич,— вытаращил глаза Тимка.— Да рази я за деньги.

— Возьми, дурачок. Тут два алтына. Они тебе ох как сгодятся,— и подмигнул хитро.— Бери, говорят.

Куда денешься, хозяин велит, пришлось взять. Апраксин не спеша направился к крыльцу. И еще он не взошел на него, как около Тимки появился добрый молодец, тоже, как и Тимка, в дорогом кафтане.

— Ага!— Потер он радостно руки.— Новенький. А? Как зовут-то?

— Тимка... Кхы... Тимофей.

— Ну а я Иван Орел, нарышкинский держальник. Так что, Тимофей, с тебя въездные полагаются.

— Какие въездные? — удивился Тимка.

— Вот те на,— вскричал Орел, явно обращаясь к другим кучерам, направлявшимся в их сторону.— Он в Кремль въехал, и еще спрашивает «какие въездные». Давай-ка, Тимофей, угощай всех.

— А сколько надо?

— Два алтына на вино и закуску.

И тут-то Тимка сообразил, зачем дал ему стольник два алтына: «Ай да умница, Матвей Васильевич. Да за такого хозяина я жизни не пожалею».

— Ну что ж, въездные так въездные,— сказал он и с солидным видом полез в карман портов и вынул деньги.— Держи, Иван.

Орел поймал деньги, подмигнул весело.

— Я мигом до Охотного сбегаю. Посмотри моих коней, Тимка.

— А ежели твой боярин явится?

— Не явится. Они там в передней дотемна лавки протирают, до ветру боятся отлучиться. А ну как государь потребует. Так что успеешь еще и выспаться в своей карете.

Держальник нарышкинский и впрямь скоро обернулся. Притащил четверть водки и десятка два пирожков с требухой.

— А во что будем наливать-то?

— У кого есть посудинка какая?

— Да у меня колокольчик есть под облучком,— назвался один из кучеров.

— С язычком?

— То-то что без язычка.

— Подойдет. Тащи.

Принесли бронзовый колокольчик, налили первому.

— Кому?

— Ведомо, новичку, а посля Ваньке.

Так Тимка Пройдзисвет оглоушил в Кремле первый «колоколец» с водкой, но пред тем как выпить, сказал, что пьет за государя. Ранее никогда не пивший, но не желая в этом признаваться, он лихо опрокинул в рот содержимое колокольчика и взял пирог. Тимка почти сразу же опьянел, и тут же полюбил всех держальников. Все пили по очереди и брали по пирожку.

— Как я вас люблю, братцы. Какой вы все хороший народ,— лепетал Тимка и лез ко всем обниматься, дабы показать свою любовь и приязнь.— Мы все держальники как семья едина.

В самый разгар попойки подошли два стрельца.

— Кто тут Иван Орел?

— Ну я, а что? — обернулся к ним нарышкинский держальник.

— Слово и дело государево,— четко и громко произнес один из стрельцов.

Все словно окаменели, ужас явился на лицах, сам Орел побледнел и, кажется, сразу протрезвел.

— Да вы что, братцы,— кинулся к стрельцам Тимка, но его тут же ухватили за полы новые его товарищи.

— Нишкни, дурак.

— Может, и ты с нами хошь? — недобро усмехнувшись, спросил стрелец.

— Нет, нет. Это он спьяну,— вступились за Тимку.— Он еще первый раз, без понятиев. Молчи, дурень.

К удивлению Тимки, с Ивана Орла сразу слетела вся бравада, он, не сказав ни слова, молча последовал за стрельцами.

— Куда они его? — спросил Тимка.

— К теще на блины,— зло буркнул один из держальников и пошел к своей карете.

Но другой пояснил:

— В пытошную, Тимофей.

— За што?

— Они найдут «за што». Болтнул где лишнее, вот и загудел.

В пытошной, в одном из подвалов Кремля, куда привели Ивана, было сумрачно и несколько дымно от кадившей в углу печки. Трехсвечный шандал, стоявший на столе, освещал бумаги и подьячего. Остальное помещение и пытошные орудия едва угадывались. Два или три человека стояли у стен, один сидел за спиной подьячего, и именно этого признал Иван Орел. Это был боярин Милославский Иван Михайлович.

Орла поставили перед столом, подьячий взял перо, макнул в чернильницу. Боярин спросил:

— Ну что, голубь, может, так, без кнута и дыбы изволишь повиниться?

— В чем, боярин?

— Ай запамятовал? Что ты со своим господином Иваном Нарышкиным умышлял супротив государя?

— Ничего мы не умышляли, боярин. Истинный Христос, ничего.

— Сысой,— окликнул Милославский.— Пособи молодцу разоблачиться. А то в кафтане-то несподручно на дыбе.

— За что, боярин? — взмолился Орел.— Я ведь ни сном ни духом.

Палач подошел к Орлу, посоветовал:

— Сыми сам кафтан-от, зачем добрую одежу портить.

Дрожащими руками Иван расстегивал пуговицы, и едва снял кафтан, как палач, ухватив за ворот сорочку, разорвал ее, обнажив до пояса тело несчастного Орла. И, заломив руки, потащил к дыбе.

Глава 5

ДОНОС

Федор Алексеевич воцарился на престоле в возрасте юном — четырнадцати лет, здоровьем слаб, но сердцем добр и незлопамятен. Впрочем, и отец его Алексей и дед Михаил Романовы венчаны на царство были тоже в юношестве — шестнадцати лет. И самодержцами в первые годы они разве что назывались, а уж державу держать находи-

лось вкруг их премного охотников. Сыскались такие и около Федора. Первым из них стал Долгорукий Юрий Алексеевич, несмотря на дряхлость возглавивший вознесение Федора на престол. И конечно же все Милославские, родственники Федора, не говоря уже о его родных сестрах Софье и Марфе. Чуя, на чьей стороне сила, сюда примыкал и дворецкий Хитрово Богдан Матвеевич — выходец из мелких алексинских дворян.

Федор же, к неудовольствию своих клевретов, любил брата и крестника Петра Алексеевича и уважал его мать Наталью Кирилловну. При встрече всегда справлялся о здоровье и нуждах, и если таковые являлись, всенепременно помогал мачехе.

Не имея возможности изгнать из дворца саму Наталью с сыном, Милославские начали гонения на ее родственников и сторонников.

— ...А Иван Нарышкин при лекаре Давыдке своему держальнику Ивашке Орлу сказывал: ты-де Орел старый, а молодой-де Орел на заводи ходит.— монотонно читал Ми-

— За такие страшные вины и воровство бить кнутом Ивана Нарышкина, клещами жечь и смертию казнить.

— Да ты что, Иван Михайлович? Нарышкины родня царствующему дому, а ты «клещи, кнут», да еще и смерть. На этого моего позволения не будет.

— Федор Алексеевич, но нельзя того попускать, чтоб на жизнь твою зло умышляли.

— Нет, нет. Я не Иван Грозный и быть таковым не хочу. Не хочу. Мне противно сие. Вы приговорите — и в сторону, а грех, а кровь на мне, на царе останется. Я против.

Так и не смог уговорить Милославский своего царствующего племянника, а ведь как все хорошо задумано было. Чтобы добраться до царицы Натальи, надо начать с ее братцев, тем более что они болтуны изрядные и шутники. А любую шутку на дыбе можно в государственное преступление очень даже просто перелицевать.

Однако не таков был боярин Милославский, чтоб начатое не докончив бросить. Столько часов просидел в пытошной, нагляделся страданий, наслушался рыданий и воплей, что

скве. И во всю жизнь его бурно авантюрную если и бывали у него крепкие союзы, то более с татарами и султаном. Именно их конница помогла ему в знаменитых битвах при Желтых Водах и Крутой Балке.

И государю Федору Алексеевичу досталось нелегкое украинское наследство, где до настоящего воссоединения, тем более умиротворения, было еще далеко. В Чигирине на Правобережье сидел гетман Дорошенко Петр Дорофеевич, в Батурине — гетман Самойлович Иван Самойлович. И если последний добился булавы с помощью Москвы и старался служить ей верно и прилежно, то Дорошенко десять лет назад был избран казаками, Москве мало был чем обязан. Хотя в письмах своих государю клялся в верности и приязни, но почти беспрерывно пересылался с крымцами и султаном.

В Москве знали об этом, не без помощи Самойловича, а потому в будущем видели Украину под одной булавой. В Сечи маячила уже и третья булава — кошевой атаман Иван Серко, тоже на словах клявшийся в верности Москве, а на деле искавший покровительства Крыма. Оно и понятно: Москва эвон где, а Крым под боком и у него разрешения даже на рыбную ловлю надо спрашивать. А что возьмешь с Москвы? Обещания.

Но и это еще не все. Украину считает кровно своей Польша, во всяком случае Правобережье это уж ихо, «ляцкое», хотя еще не забыто крестьянское восстание против шляхты, вылившееся в жуткую резню, когда убивали даже за польское платье, убивали тысячами без разбора, от новорожденных до стариков. И с того времени Правобережье все еще впусте пребывает: жутко полякам осваивать землю, пропитанную кровью их единоверцев. Даже Киев — матерь городов русских — по Андрусовскому трактату должен стать польским. Но Москва никогда его не отдаст (это Киев-то!), и поляки столь обессилены войной с Турцией, что не могут потребовать оговоренного в Андрусове. Не до жиру — быть бы живу.

И Турция тоже требует свой кус от Украины, ни много ни мало Правобережье от Днестра до Белой Церкви. Проглотила Подолию (откусила от Польши) и теперь рвет Украину.

— Вот такие наши невеселые дела на Украине, государь,— сказал Иван Михайлович, обрисовав состояние дел на сегодня.

— И что ж мы должны предпринять немедля? — спросил Федор Алексеевич.

— Надо убрать Дорошенко, он все еще клонится к туркам. Это видно из его отказа присягнуть тебе.

— Что он говорит, почему не хочет присягать?

— Говорит, я уж присягнул государю вместе со своими казаками. И довольно.

— А он действительно присягал?

— А иди проверь. Говорит, присягал. А если, говорит, не верите, пришлите ко мне из Москвы знатную особу, я перед ним присягну.

— Может, действительно надо послать?

— Как укажешь, государь.

— Составь грамоту, Иван Михайлович, обнадежь в нашем покровительстве и пошли кого из стольников.

По указу государя с грамотой Дорошенко поскакал в Чигирин стольник Деремонтов с наказом обязательно заехать в Батурин к гетману Самойловичу, дабы знал он об этом предприятии.

Узнав о цели поездки Деремонтова, гетман сказал твердо:

— К Дорошенко я тебя не пущу.

— Но почему? Я же послан государем.

— Государь не знает, что все переговоры с этим оборотнем покойный Алексей Михайлович передал князю Ромодановскому Григорию Григорьевичу. Только он чует уловки этой лисы.

Самойлович понимал, что будь в Москве Матвеев, он бы не допустил такой промашки; ясно, что сейчас возле юного государя люди, не имевшие представления о дипломатии.

— Государь еще его и величает «Петр Дорофеич». Не стоит этот выскочка «вича». Он спит и видит Правобережье под султаном. Его надо смещать, и чем скорее, тем лучше. Хорошо бы заманить в Москву. Езжай, стольник, назад к государю и вези мое письмо ему, в нем я все объясню. Сидят там около советчики говенные.

Выслушав рассказ воротившегося с Украины Деремонтова и прочтя письмо гетмана, Федор Алексеевич сказал:

— Ну что ж, Иван Самойлович прав. Тут мы промашку дали, Иван Михайлович. Переменять указы отца я не буду, пусть князь Ромодановский шлет к Дорошенко своего человека и ведет ту ж линию, которой ранее держался. Пишите в Курск грамоту князю Григорию.

— Он, говорят, держит у себя тестя Дорошенкова в заложниках.

— Вот это напрасно. Пусть отпустит старика. А то мы так Дорошенко на Москву никогда не дозовемся.

Несмотря на молодость и слабость здоровья, Федор Алексеевич быстро вникал в дела государственные, многое

схватывая на лету, рассуждая здраво, а если где ошибался, то не упорствовал, а признавал ошибку, даже с некой благодарностью тому, кто указывал на нее. Был терпелив и добр даже к своим недоброжелателям. И если делалось его именем зло, то лишь за его спиной, обманными, лукавыми путями. Эвон какую «паутину» в верхней горнице наплели, дабы свалить в яму лучшего дипломата Матвеева. И все ведь «государевым именем». Федор был юн и в силу этого «паутины» видеть не мог, а прозрению еще не пришло время.

Князь Григорий Григорьевич Ромодановский — старый заслуженный воин, уже успел и с поляками и с Стенькой Разиным повоевать, и с Хмельницким Богданом участвовал в Переяславской Раде, провозгласившей воссоединение Украины с Россией. И ему-то как раз горше всех видеть хилые плоды этого «воссоединения».

Князь в мечтах видит Украину частью России: и Правый и Левый берег, и Слободскую Украину, и, разумеется, Киев.

— При чем тут поляки? — спрашивает Ромодановский и сам же отвечает:— Когда Киев освящен, окрещен нашим русским князем Владимиром Святым. Он издревле наш. Так нет, какой-то там, смешно сказать, выборный король Ян Собеский на него рот разевает.

Как человек военный Ромодановский считает, что Сечь Запорожскую можно сделать не разбойным гнездом, каким она ныне является, а царевой военной частью. Стоит толь-

— Зря. Такого мужа, отличного вояку и отменного дипломата. Зря. Надо было лучше туда того, кто его спихивал, по крайней мере полезнее б было для державы.

Князь не назвал имени того, кто «спихивал» Матвеева, но знал: «Ваньки Милославского да Тараруя проделки».

И когда от государя пришла к Ромодановскому грамота с просьбой продолжить переговоры с Дорошенко «поелико возможно обнадеживая его и не отпугивая угрозами», Григорий Григорьевич не задумываясь отправил туда Горяинова с наказом:

— Посмотри, чем дышит этот чигиринский сиделец, в чью сторону клонится. Самойлович поливает его грязью, и это ясно отчего, ему одному хочется гетманствовать на Украине. Оно и нам бы это надо, и государю. Но государь хочет все миром кончить, а Самойловичу драку подавай. Государь зовет Дорошенко в Москву, судя по письму, с искренним желанием добра. Однако в Думе Милославский и Долгорукие верховодят, не удивлюсь, если Дорошенко в Сибирь следом за Многогрешным спровадят. Езжай и, дабы тебе легче было с Дорошенкой говорить, бери с собой его тестя, а то он тут у меня хлеб проедает да вшей кормит.

Тесть Дорошенко Яненка Хмельницкий оказался живым, подвижным старикашкой, всю дорогу напевал, как он «копав, копав криниченьку во зеленому саду», и на всякой остановке искал, где б достать горилки. А достав, напивался, и тогда «криниченьку» было слышно за семь верст.

— Ну пьешь же ты, отец — как-то обмолвился Горяинов

довольство, а городовым жителям мирное и безобидное пребывание под чужими забралами. Неужели это защита — войска отводить на свою сторону? Неужели это мирное пребывание — чужие углы портить? Вы подвинули свои войска к Днепру, как пишете, для того, чтоб нам надежнее было, покинув город, дома, жен и детей, переехать с клейнодами войсковыми и старшиною к вам для принесения присяги новому государю и сложения регимента. И прежде писал я о причинах, почему не могу ехать, и теперь (так как вижу, что ваша милость больше всего хлопочет о клейнодах) напоминаю: ехать мне не только к вам, но и в столицу, как человеку ни в чем невинному, не страшно; но отдать вашей милости клейноды, поверенные мне не один раз в продолжение десяти лет всем войском,— это было бы с моей стороны слишком смело. Какой бы я благодарности за это дослужился? Какой на будущее время славы и чести дому своему добыл? Рассуди сам высоким своим разумом и оставь это дело. Имеет ваша милость от его царского величества свой регимент, никто вашей милости не завидует, не мешает. Пишете, что если не послушаю вашего совета, то полковнику черниговскому велено против нас промышлять с войском. Очень хорошо для временной чести и прихоти начинать междоусобие! Благословит ли нас за это Бог? Не будет ли неприятель над нами смеяться? Не будем ли за это осуждены? Я при моей невинности никому зла не желаю и всякому прошению ответ дать готов»

— Фу-уф! — отложил грамоту Самойлович.— По нему выходит, это я затеваю междоусобие. Эх, с больной головы на здоровую! Что он хоть на словах говорил?

— Без согласия запорожцев слагать с себя регимент не станет,— отвечал Бурковский.— Но полковник его, Петриковский, с глазу на глаз умолял не верить ему

— А я верю, что ли?

Гетман встал, прошелся по шатру, вздохнув, молвил:

— Государь вон к нему доверчив шибко. Опять грамоту прислал, просит не ссориться с ним. И с Серко велит ладить. А как?

— Надо, наверное, к Серко послать кого-то.

— Надо, конечно. Вон и государь велит обнадежить их и жалованьем, и прочим довольствием.

— Кого-то из казаков. Они меж собой быстро сладят.

— Нет. Казака нельзя. Он либо споется с ними, либо они его утопят как предателя. Слать надо из рейтар кого-то. А ты веди полки назад, распускай по домам. Не будем поперек государеву желанию вставать.

Иван Дмитриевич Серко старый заслуженный казак-запорожец, многажды избиравшийся в кошевые за его сметку и ум и искреннее желание всегда бороться за интересы Сечи и ее жителей. Казаки даже не ставили ему в укор, что в нескольких верстах от Сечи живет его жена с детьми на невеликом хуторке с огородом и пасекой. Хотя в Сечи исповедуется строгое безбрачие, дабы с «жинкой не возиться», кошевому прощается это нарушение запорожского товарищества ради его высокого и заслуженного авторитета. Да и отъезжает он к жене редко, разве что занедужит, или меду взять товарищей угостить, или браги хмельной, которую женка его Гапуся готовить великая мастерица.

В Сечи не принято выделяться богатым платьем, и даже на кошевом надет старый, вытертый бешмет с уже выцветшими позументами. Поэтому посланец гетманский рейтар Иван Пчеломед выглядит против кошевого королевичем, хотя в пути долгом пропылился и загорел, как природный арап.

Выслушав гетманского посланца, Серко сказал:

— Все это слова, которыми мы по маковку сыты. А вот почему гетман наши клейноды, отобрав у Ханенка, у себя держит?

— Того я не ведаю, Иван Дмитриевич.

— А на кой ляд тогда бежал сюда через всю Украину? На заднице чирьи давить?

Рейтар Пчеломед не мог сказать о тайном поручении гетмана «понюхать, чем дышит Сечь, не ждет ли хана» и он отвечал, как велено:

— Я ехал сюда, Иван Дмитриевич, чтоб сообщить вам о государевых милостях запорожцам и о скором их удовлетворении.

— Вот пойдешь ныне на круг и послушаешь казаков, что они тебе скажут. Особливо о любви к гетману и к его милостям.

Иван Пчеломед был не робкого десятка, но то, что он услышал, стоя на бочке посреди бушующей казачьей вольницы, заставило екать его сердце: «А ведь убьют, черти драные, и фамилии не спросят. Убьют»

— Ты зачем ихав, москальска душа? Жданики ваши мы давно зъилы!

— Эй, хлопцы, кто там блыще, снимить з его портки, оторвить яйця!

— К чертям свинячим твого гетмана! Вин сука и кровопивец!

— Пусть вин тика сюда зьявится, мы его на угольях поджарим.

— Ни, хлопцы, мы его в Днепру утопим!

— Шоб ему трясучка, окаянному, приключилась.

Со всех сторон неслось такое срамословие, что Пчеломед пожалел о согласии выйти на круг. «Сказал бы кошевому да в обрат. Все равно этого гетману не перескажешь. А перескажешь, кнута заробишь».

С бочки посланец слез мокрый, как мышь из пива. И на обратном пути к гостевой избе его едва не поколотили, придравшись отчего-то к его лампасам.

— Ишь, высветился, злыдень.

Кошевой не появился, и где он, никто не мог сказать или не хотел. Старый казак принес глиняную миску с кашей и, молча поставив на стол, ушел, не сказав ни слова.

Пчеломед догадался, что это его обед, но нигде не мог обнаружить ложки. Подождав некоторое время в надежде, что ложку принесут, он подступился к миске. Сперва попробовал через край, но лишь перемазался, и тогда, сложив два пальца по-старообрядчески, стал ими орудовать, как ложкой, гордясь собственной находчивостью и стыдясь такого своего свинства. И каша-то пшеничная была приготовлена разве что для свиней, но Пчеломед понял, что именно она и является основной пищей для запорожцев и что если б и он поел ее с неделю, то, наверное, тоже взбесился бы и срамословил начальство не хуже сегодняшнего круга.

Спал он на лавке, подложив под голову свою дорожную сумку. Утром опять принесли ему ту же кашу, и опять без ложки.

— А ложки нет, что ли? — спросил он казака.

— Ложка, как и сабля, у каждого своя,— отвечал тот

На этот раз он приспособил вместо ложки какую-то щепку, найденную у печи. Вскоре явился пьяный казак и сказал Пчеломеду:

— Ходим до кошевого. Он зараз выдаст тебе ответ для гетмана.

Пчеломед пошел за казаком. Когда вошли в избу, за столом сидели пьяные кошевой, писарь и есаул, а перед ними наполовину опорожненная четверть с горилкой.

— Ну-у,— насупился Серко,— ты понял на кругу что нужно сказать гетману?

— Но там только бранились.

— А ты что хотел? — трахнул Серко кулаком по столу, что едва не упала четверть с горилкой, и тут же, вскочив, подбежал к Пчеломеду, схватил за грудки, прижал к ст[illegible]

Но пьяное застолье не спешило подавать саблю, хотя у есаула она была при себе. А кошевой, продолжая трясти посланца, как грушу, кричал распаляясь:

— Да я зайду от Стародуба, подыму весь Низ, я задам перцу твоему гетману. Он попомнит Серка, сучье вымя. Я присягал великому государю, царю. Пусть приедет сюда Самойлович, пусть придет и поклонится войску запорожскому, вот тогда мы и признаем его над собой. А если придет Петро Дорошенко, то он станет нашим гетманом, пойдем за его бунчуком. А твоего Самойловича побоку, пусть катится от нас ко всем чертям.

— Иван, будя,— сказал есаул, разливая по кружкам горилку.— При чем хлопец? Его послали, он сказал, шо велели, а ты с него душу вытрясаешь.

Серко отпустил Пчеломеда, прошел к столу, сел и скомандовал есаулу:

— Налей же ему, гость, чай.

Есаул засмеялся, стал наливать Пчеломеду горилки.

— Кто ж так гостей трясет, Иван?

— То я не гостя, гетмана тряс, шоб вин сказывся. Чего стоишь? — обернулся к посланцу.— Сидай к столу, да сердце не держи на Серка. Ну!

Глава 8

ПЕРСИДСКИЙ ШЕЛК

Еще с вечера князь Голицын предупредил Федора, что завтра в Думе надо обсудить просьбу голландского посланника касаемо персидского шелка. Что вопрос этот вельми серьезный.

— Тогда пригласи и патриарха, Василий Васильевич.

— Хорошо, государь. Я еще призову и купцов наших.

— А их зачем?

— А как же, Федор Алексеевич, кто лучше в торговле смыслит? Не бояре же наши. С ними и посоветуемся, чтоб твоей казне порухи не было.

Патриарх Иоаким явился в Думу следом за государем, благословил всех, сел на седалище недалеко от царского престола. Государь сел на свое место, шапку Мономаха, которую хотели надеть на него, отклонил рукой:

— Не надо, ныне не посольский прием.

Не взял в руки ни державу, ни скипетр, а просто сло-

«Интересно,— думал Тяпкин,— зачем я ему понадобился. То годами к королю не допросишься, а то сам зовет. Интересно».

Где-то через неделю после праздников за ним приехала раззолоченная карета, и, явившийся в дверях не менее раззолоченный придворный торжественно возгласил:

— Пан Тяпкин, вас ждет его величество.

Едва ли не через весь город карета везла пана Тяпкина к резиденции короля. Подъехала она не к парадному крыльцу, а к боковой калитке, ведшей в парк.

— Следуйте за мной, пан Тяпкин,— сказал придворный и повел его в парк. Провел тенистой аллеей, вывел к овальной площадке, в центре которой журчал фонтан. Придворный щеголь вытянулся и громко сказал:

— Ваше величество, пан Тяпкин.

И тут Василий Михайлович увидел короля, сидевшего в тени каштана на белоснежной скамейке. Он поднялся навстречу резиденту, с улыбкой пожал ему руку.

— Здравствуйте, Василий Михайлович. Рад видеть вас.

— Я тоже рад, ваше величество,— отвечал Тяпкин, ломая голову: зачем он понадобился королю?

— Пройдемтесь, друг мой,— сказал король, беря Тяпкина под руку.— Поболтаем о том о сем. Знаете, надоедает это, все дела, дела, дела. Можно мозги свихнуть. Хочется просто так, как с другом, пройтись по саду, подышать ароматом роз.

Тяпкин знал, что короли «просто так» не прохаживаются с чужеземными резидентами и не дышат «ароматом роз» с ним на пару.

— Мой друг,— продолжал король, приноравливаясь к шагу гостя,— что ж вы так нехорошо о нас докладываете своему государю. Неужто Польша такая плохая?

«Перехватывают и переписывают мои письма»,— догадался Тяпкин, но смолчал, дабы не оскорблять высокого собеседника подозрениями в непорядочности. Это было бы себе дороже. Сказал другое:

— Ваше величество, если б я считал вашу страну плохой, разве б я послал своего сына в польскую школу? Напротив, вы видите, я говорю на вашем языке, и даже, смешно сказать, уже и думать начал по-польски.

Король засмеялся, вполне оценив шутку резидента.

— Это прекрасно, мой друг, что вы уже и думаете по-польски. Надеюсь, мы поймем друг друга. Меня очень огорчила весть, что гетман Дорошенко переметнулся на вашу сторону. Этот умный и прекрасный воин вынужден, слышите, вынужден был обстоятельствами изменить Польше.

— Странно, ваше величество, я всегда считал гетмана нашим воином

— Но ведь, друг мой, по Андрусовскому трактату Правобережье наше Вы не станете этого отрицать?

— Не стану

— А Чигирин где? На правом берегу, стало быть, это искони польский город. И Киев же наш Верно?

— По трактату ваш,— вздохнул Тяпкин, не желая вдаваться в исторические экскурсы, которые наверняка были ведомы Собескому — Но, ваше величество, отчего ж вы не заселяете Правобережье? Вы его по трактату взяли, но оно вот уже девять лет впусте обретается

— Мой друг, сейчас не об этом речь. Вы ведь Киев должны были через два года оставить, а вот уж девять лет не отдаете.

— Может, оттого и не отдаем, что вы не готовы взять.

Собеский расхохотался, хлопнул спутника по плечу дружелюбно

— Василий Михайлович, вам нельзя пальца в рот положить Откусите

— Откушу, ваше величество,— вполне серьезно отвечал резидент — Не забывайте, моя фамилия Тяпкин, значит, могу и тяпнуть

Посмеялись Прошли несколько шагов молча, дыша «ароматом роз»

— Я послал к великому государю пана Чихровского, дабы от моего имени он поздравил царя с восшествием на престол И вы, мой друг, в вашем донесении можете повторить великому государю мои искренние поздравления И напишите ему, пожалуйста, что я буду ему другом и братом.

— Напишу ваше величество,— сказал Тяпкин, понимая, что король подбирается к главному

— И еще.— Король даже полуобнял резидента.— И еще, мой друг, напишите государю, что я предлагаю объединить наши армии и ударить по туркам. Я даже согласен, если объединенными силами станет командовать Дорошенко.

— Хорошо, ваше величество, я напишу, но лучше бы, если вы это написали сами

— Вы понимаете, мой друг, я не могу написать государю это свое предложение, мне обязательно надо согласовать его с Сеймом, а это значит, раззвонят по всему свету Поэтому-то я и вынужден просить вас, мой друг, сообщить по вашим секретным каналам.

«Хороши секретные каналы,— подумал Тяпкин,— если письма мои прочитываются».

— Пожалуйста, убедите великого государя. Потому что, если мы довольствуемся Правобережьем, то турки потребуют всю Украину, и Левобережье в том числе. И потом, и вы и мы христиане, должны объединиться, дабы противостоять мусульманам.

— Ваше величество, я обязательно напишу все государю, но и я в свою очередь хотел бы просить вас о продлении нашего перемирия.

— Это может решать только Сейм, мой друг. У нас свободная страна. Республика. Моя власть не беспредельна, Василий Михайлович. И потом, до окончания срока перемирия еще четыре года. Успеется.

— Но вы же можете внести предложение об этом уже сейчас.

— Мой друг, если мы объединимся и разгромим турков, то тогда можно вести разговор не о перемирии, а даже о вечном мире. Прощайте, мой друг. Надеюсь, вы не забудете о моей просьбе.

Тяпкин понял, что аудиенция окончена и ему пора удаляться. Он откланялся. Карета увезла его на квартиру.

Задал Собеский русскому резиденту задачу. Конечно, он [illegible]

вил резидентом в Молдавию шляхтича Карбовского с приказом вести с турками мирные переговоры через посредство моего господаря. Понимаешь, это будет не в пользу России.

— Догадываюсь,— сказал Тяпкин.— Ах лиса, лиса его величество. Значит, за двумя зайцами погнал. Спасибо, Кузя, за новость. Ты мне настоящий друг.

— Теперь, Вася, раз я буду там, я стану следить за ходом переговоров и сообщать тебе. Возможно, господарь и отзывает меня для связи с Карбовским.

— А как ты сможешь сообщать теперь?

— Через епископа Антония Винницкого, то мой хороший друг.

— Спасибо, Кузя. Ты не представляешь, сколь ценны будут для меня твои сообщения.

— Представляю, Вася. Главное, это должно быть сохранено в строжайшей тайне. Слышишь, в строжайшей.

— Кому ты говоришь, Кузя. Да из меня щипцами не вытянут твое имя.

Они выпили. Обнялись на прощанье. Кантакузин ушел. Тяпкин, ероша волосы, долго ходил по горнице, потом за-

Как и договорились, стольник Алмазов поехал по полкам, никому явно не выдавая цели своей поездки, хотя все знали, что послан он великим государем, а отсюда вытекали и догадки: государь хочет знать о боеготовности полков, значит, следует ожидать военных действий. Дабы завуалировать истинную цель, Алмазов, приезжая в полк, интересовался всем: как полк питается, где хранится оружие, полковая касса. И лишь в долгих разговорах, как бы мимоходом спрашивал о гетмане: что он за человек? нравится ли народу?

Ответы и старшины и рядовых были благоприятны для Самойловича, и Семен Ерофеевич остался этим доволен: не придется огорчать государя.

Перед отъездом в Москву он вернулся в Батурин и рассказал гетману о результатах своей поездки. Самойлович не скрывал удовлетворения.

— Вот так и скажи государю. И еще скажи, пусть шлет Рославца сюда, я его пальцем не трону. Пусть суд решает. Заоднемя будет с ним судить и его сообщника протопопа Адамовича. Вроде он подстрекал Рославца на недовольство. А мне сдается, оба они хороши, один другого стоит.

Гетман не стал посвящать Алмазова в планы предстоящего похода, который он, объединившись с Ромодановским, должен был совершить на Чигирин. Из Москвы в Путивль для поддержания этого похода уже шел с войском князь Василий Васильевич Голицын.

Все же людям военным удалось убедить государя, что в Чигирине должно стоять московское войско, а не казачье, которое, по слухам, пересылается с султаном. Последнее почти в каждом своем письме утверждал гетман Самойлович.

Однако Самойлович с Ромодановским решили, что переходить Днепр со всеми войсками не стоит. Поэтому они остановились не доходя ста верст до Днепра и вызвали в шатер стольника Григория Косогова, имевшего под рукой пятнадцать тысяч московского войска, и бунчужного Леонтия Полуботко, командовавшего четырьмя полками.

— Господа,— сказал Ромодановский,— мы с гетманом решили именно на вас возложить главную задачу — взятие Чигирина. Лучше, если вы убедите их сдаться без боя. Потом приведете всех без исключения к присяге великому государю. А Дорошенко вы должны убедить сдать клейноды, обещая ему прощение всех его вин и царскую милость.

— Кому он должен сдать клейноды? — спросил Полуботко.

— Мне,— сказал князь.— На это я был уполномочен еще покойным государем.

Когда бунчужный со стольником ушли, Ромодановский сказал гетману:

— Надеюсь, ты понимаешь, Иван, почему я не сказал «нам».

— Догадываюсь, Григорий Григорьевич. Щадишь самолюбие Дорошенко.

— Отчасти, Иван Самойлович, отчасти. Но главное, у него не должно остаться никакой зацепки для отказа. Если б ему сказали, что клейноды надо сдать гетману Самойловичу, он бы взъерепенился: я тоже гетман! Вы два недруга, а я меж вами лицо постороннее, да еще и с полномочиями Алексея Михайловича. Мне сдавать гетманские клейноды будет ему легче и не столь обидно. Но, как ты понимаешь, булаву у него принимать мы будем вместе.

Чигиринские казаки встретили Косогова и Полуботко на подступах к городу внезапным лихим налетом. Со свистом и визгом налетели они на передовой отряд Полуботко, те, хватаясь за сабли, ругались почем зря:

— Чи ви сказылись, суки!!!

— Чи ви погани! Свиняччи потроха!

Заслыша родные ругательства, чигиринцы быстро поостыли, стали огрызаться:

— А вы тоже хороши. Вместо хлеба пушки на нас везете.

— Так вы ж бунтуетесь.

— Хто вам набрехав?

— Хана до себя зовете.

— Брехня.

— Королю присягаете.

— Да мы шо, не православные, чи шо?

Леонтий Полуботко, выехав вперед и пристав в седле, закричал:

— Хлопцы, я бунчужный Полуботко, послан князем Ромодановским, шоб сказать вам, никто вас воевать не собирается. Мы пришли, чтоб укрепить город от хана, а главное, принять от вас присягу на верность великому государю Федору Алексеевичу.

— И токо-то?

— И все. Поэтому бросим сабли в ножны, кто ж их на брата подымает. Подымем лучше чарки с горилкой за встречу.

— Верна-а, бунчужный!

— А горилка е?

— Есть в обозе на Янычарке.

— Раз сулив, веди до обозу.

Чигиринцы и полуботковцы смешались, не спеша поехали в сторону речки Янычарки. Полуботко нашел чигиринского сотника, командовавшего группой.

— Вот что, сотник, в обозе наперво строй своих орлов к присяге, а потом уж к бочке.

— Ведомо, сперва дело, а потом уж пьянка.

— Да и пьянке не час. Выпьете по чарке-другой и ворочайтесь в Чигирин, пусть выходят все на присягу.

— И гетман?

— А гетмана Дорошенко зовет к себе князь Ромодановский. Он ждет его за Днепром. А на присягу пусть идет и весь церковный клир. Поди, доси здравие покойному государю возглашают?

И уж к обеду потянулись из Чигирина на Янычарку присягать великому государю казаки, ковали, скорняки и попы. А те из казаков, кто был горазд на выпивку, те и по два раза удосуживались поклясться в верности «великому государю Федору Алексеевичу», не скрывая от товарищей:

— Уж шибко горилка у Полуботко добрая.

Бунчужный опытным глазом замечал таких «двойников» и даже «тройников», но скандала не подымал, напротив, они его даже веселили: «Бисовы дети! Хоть черту за чарку присягнут».

На склоне дня прискакал из Чигирина сотник к Полуботко.

— Гетман до себя зовет.

Вместе с сотником бунчужный поскакал в Чигирин. В своем дворце в великой горнице ждал его хмурый Дорошенко.

— Ты кто? — начал он разговор с вопроса, пропустив мимо ушей приветствие гостя.

— Я генеральный бунчужный Леонтий Полуботко.

— Что ж ты за бунчужный, если мимо гетмана его людей баламутишь.

— Я не баламучу, гетман, а привожу к присяге великому государю, которому вся держава уже присягнула, кроме Чигирина.

— Но Чигирин на польской стороне.

— Ну и что? Киев тоже на польской стороне, а присягнул царю, не Собескому.

Дорошенко, видя, что Полуботко не из робких, сбавил тон:

— Но ты бы мог сперва ко мне, а потом бы...

— Я так и хотел, Петр Дорофеевич, но твои казаки встретили нас саблями. И потом, мы с тобой по чинам далеко не ровни, потому князь и велел тебе только к нему обращаться.

— Ну что ж, и тут ты прав,— вздохнул Дорошенко и неожиданно предложил: — Садись к столу, Леонтий. Выпьем по чарке.

— Спасибо, гетман, но...

— Садись, садись, никаких «но».

Выпили, закусывали холодцом. Полуботко, намотавшийся за день с присягой и почти не евший, наворачивал холодец с чесноком за обе щеки, почти не жуя.

— Скажи откровенно, Леонтий, как казак казаку, что мне там готовится?

— Ничего, Петр Дорофеевич, кроме почета и ласки, ничего.

— Многогрешного Москва тоже на почет звала. А ныне где он?

— То время было другое, Петр Дорофеевич. Да и царь. А Федор Алексеевич во всех грамотах предупреждает: Дорошенко не обижать, не бесчестить. Я думаю, сдадите вы князю клейноды и будете иметь от государя только великие милости.

— Значит, добр государь?

— Очень. Одна московская баба мужа убила. Ее, как положено, присудили в землю окопать. Государь узнал, велел выкопать и простить ее, молвив при том: «Доброго мужа жена б не убила, знать, был злодей».

— А где ныне князь?

— Я оставил его на Трубеже. Он там ждет тебя, Петр Дорофеевич. Езжай без сомнения.

— Хорошо. Я утром отправлю брата с генеральным писарем, а потом и сам отъеду.

И чуть свет поскакали от Чигирина к Ромодановскому двоюродный брат гетмана Кондрат Тарасенко и генеральный писарь Михаил Воехевич с единственным вопросом: остаются ли в силе данные прежде Дорошенко обещания в сохранении ему здоровья и имущества?

— Все остается в силе,— отвечал Ромодановский.— Тому порукой честь княжеская и крест честной.

Воспользовавшись временем, пока посланцы кормили коней, Самойлович позвал к себе Воехевича.

— Послушай, Михаил, дело прошлое, забудем о наших разногласиях, но скажи мне, кто с этой стороны звал Дорошенко на гетманство?

— Прости, Иван Самойлович, но я не вправе сообщать тебе это. Спроси самого Дорошенко, это его тайны. Ему самому и решать, открывать их или нет.

— Ты ж генеральный писарь, ты ж все ведаешь.

— Вот потому и не имею права болтать.

— Ну что ж. Может, ты и прав, Михаил, что не лезешь поперед батьки,— сказал Самойлович.— Тогда я сам назову тебе человека. Это полковник Петр Рославец. Верно?

В лице писаря явилось некое замешательство, хорошо замеченное гетманом.

— Ты, Михаил, полагаю, и здесь захочешь иметь хорошую должность?

— Да. Конечно,— согласился Воехевич.

— Так вот, сядь и напиши мне скаску о том, что предлагал Дорошенко полковник Рославец. А я взгляну, каков у тебя почерк и достоин ли ты звания генерального писаря. Если почерк добрый, ясный — будешь им. А если как курица лапой, то извини...

— Но я...

— Пиши, пиши. Отныне я на Украине гетман, а уж генеральному писарю не слушаться гетмана...

Самойлович придвинул Воехевичу лист бумаги, перо и вышел из шатра, оставив одного.

Когда писарь заканчивал скаску, появился и гетман, словно мог видеть через полотнище шатра, что писание оканчивается.

Взял лист, быстро пробежал его взглядом, похвалил:

— Почерк у тебя добрый, Михаил. И я возьму тебя к себе, если Дорошенко отпустит.

— Но он же уже не будет гетманом.

— Да он сдаст клейноды только. А богатство его, а честь ему остаются. Может, и писаря не схочет отпускать.

Дорошенко ждала небольшая группа из полковников и есаула, а он пришел во главе двухтысячного отряда. Видимо, все еще сомневался в искренности князя Ромодановского и на всякий случай захватил с собой такую силу. И даже есаулу наказал:

— Ежели я увижу обман и измену, я выхвачу саблю. Это будет тебе знаком пускать хлопцев в бой. Пойдем сразу на прорыв в сторону Днепра.

Перед белым шатром князя был разостлан персидский ковер, на который, предполагалось, будут положены клейноды Дорошенко — булава, знамя и бунчук.

В шатре был накрыт стол с винами и немудреными походными закусками — кислой капустой, жареной рыбой, дичью и ржаными калачами.

Дорошенко, увидев, что никто не собирается на него нападать, что в обозе мирно дымят костры, готовя общую кашу, остановил своих конников в полуверсте от княжеского шатра. И вот, видимо переговорив обо всем, отделился от войска и на высоком белом жеребце неспешно направился к шатру в сопровождении знаменосца и бунчужного, скакавших с гетманом почти стремя в стремя.

У ковра персидского встали князь Ромодановский, гетман Самойлович и архиепископ черниговский Лазарь Баранович, прибывший накануне в лагерь по вызову князя.

— Благословишь сей акт, отче,— коротко обозначил его роль Ромодановский.

А Самойловичу роль его обозначена была еще красочней:

— А ты, Иван, замкни уста. Будь нем, как налим.

На подъезде к шатру конники перевели коней на шаг и вскоре остановили их саженях в трех от ковра.

— Добрый день, господа,— сказал Дорошенко.

— Здравствуй, Петр Дорофеевич,— отвечал Ромодановский.

Самойлович по-налимьи смолчал, но уста покривил нехорошей усмешкой: кому, мол, «добрый», а кому-то и не совсем.

Все три всадника одновременно сошли с коней, Дорошенко забрал у бунчужного бунчук, одновременно передав ему повод своего коня. И в сопровождении лишь знаменосца подошел к ковру. Встал. Все молчали. Никто из них еще не присутствовал при такой процедуре — сдаче клейнодов, но все понимали ее унизительность для сдающего Поэтому заговорил князь Ромодановский, стараясь придать голосу торжественность.

— Великий государь поручил мне, Петр Дорофеевич, принять от тебя клейноды, который ты с достоинством носил десять лет, ни разу не уронив и не склонив их перед неприятелями. За верную службу твою великий государь жалует тебя своей государской милостью и льстит себя надеждой видеть тебя пред очи его светлые.

Ромодановский умолк, и опять повисла неловкая пауза, должен был говорить Дорошенко в ответ на государевы милости. Но по всему было видно, что он никак не решится или не может начать. Глаза его заблестели, и Самойловичу даже показалось, что по щеке Петра Дорошенко искоркой пробежала и скрылась в бороде слеза. А может, ее и не было, может, ее просто захотелось увидеть гетману Самойловичу. Иди теперь гадай.

— Только к ногам государевым, князь, и только по его воле высокой кладу я свою булаву,— срывающимся глухим голосом произнес Дорошенко.

Затем вытащил из-за пояса знак своей власти — золоченую булаву, поцеловал ее и медленно, словно раздумывая, опустил на ковер и рядом с ней положил и бунчук. Потом

протянул руку к древку знамени, забрал его у знаменосца и, поцеловав край материи, положил и знамя возле булавы.

И они одновременно со знаменосцем повернулись кругом и направились к коням, но Ромодановский окликнул:

— Петр Дорофеевич! Дорогой!

Дорошенко остановился, обернулся.

— Петр Дорофеевич,— с легкой укоризной сказал Ромодановский,— меня-то не обижай,— и жестом пригласил его в шатер.— Али мы не христиане. Осушим чарку, разломим хлеб.

Лицо Дорошенко просветлело и даже улыбка под усами прорезалась.

— Спасибо, Григорий Григорьевич.

В шатре за стол они сели вчетвером, четвертым был архиепископ Баранович. Чарки наполнил сам князь, как хозяин, и сам же предложил:

— А выпить предлагаю за здоровье великого государя нашего Федора Алексеевича.

Выпили, дружно навалились на кислую капусту. Поскольку Самойловичу ранее велено было «замкнуть уста», он и помалкивал. Князю неволей самому приходилось раскачивать беседу:

— А где жить думаешь, Петр Дорофеевич?

— Оно бы лучше в Чигирине, но, как я понимаю, государь не хочет, чтоб я там был.

— Твоего же интереса ради, Петр Дорофеевич. Чигирин не сегодня-завтра будут турки промышлять, какая тебе там жизнь будет, человеку уже не воинскому. А государь тебя на Москву зовет.

— Не хотел бы я с Украины уезжать.

— Ну не хочешь так не хочешь. Кто ж гонит тебя, живи тут. Обустраивайся на нашей стороне, съезжай с польской. Давайте-ка по второй нальем.

Ромодановский опять стал наливать чарки, усиленно придумывая тему для продолжения разговора и уж жалея о приказе гетману безмолвствовать «как налиму».

— Да вот Иван Самойлович, он тебе здесь лучший кус нарежет,— нашелся князь и даже толкнул локтем: не молчи же, сукин сын.

— Угум,— отозвался гетман, демонстративно жуя добрый кус дичины. Князь понял: велел немым быть — вот и получай.

Тогда князь сказал напрямки:

— За что пьем? Иван Самойлович, твой черед, говори, за что пьем вторую чарку?

— Вторую пьем...— поднял гетман свою,— вторую пьем за здоровье третьей.

И тут же вылил ее в рот так же легко, словно за плечо плеснул.

Архиепископ тоненько захихикал, даже Дорошенко улыбнулся, но Ромодановский обиделся. Но чарку все же выпил. И тут заговорил архиепископ Лазарь:

— Казаки пьют горилку, как воду, теперь понятно, с кого они пример берут. С гетманов.

— Да со святых отцов,— подцепил откровение попа гетман.

И тут все засмеялись разом. А князь взялся наливать по третьей.

Конечно, Самойлович разыгрывал «налима» в пику князю, а в душе он ликовал долгожданную победу. Наконец-то он — единый гетман над всей Украиной, кончилось раздражавшее всех двоевластие, изнурявшее обоих виновников, отнимавшее у них силы, сон и здоровье. Нет, он не станет мстить своему вчерашнему недругу Дорошенко, он не настолько глуп и понимает, что у свергнутого гетмана пол-Украины друзей и сторонников. И стоит им заметить, что Дорошенко пытаются обидеть, они доставят немало хлопот Самойловичу. И потому после третьей чарки Иван Самойлович вполне искренне сказал:

— Ну что ж, добро пожаловать, Петр Дорофеевич, на нашу нэньку Украину. Выбирай себе любой хутор чи закуток. А я помогу, чим смогу.

— Спасибо, Иван Самойлович,— серьезно ответил Дорошенко.

— Вот и слава Богу,— обрадовался князь столь удачному завершению застолья.

— Аминь,— подвел черту архиепископ и размашисто осенил всех крестом.

Ранним утром у шатра остановил гонец взмыленного коня, велел разбудить гетмана.

— Что за спешка,— сказал казак из обслуги гетмана.

— Мне велено было спешить.

Самойлович, спавший в шатре на походном ложе, услыхал разговор, спросил громко:

— Кто послал тебя?

— Стольник Алмазов, гетман,— отвечал гонец.

— Он где?

— Он в Переяславле, привез из Москвы полковника Рославца.

— А-а, это хорошо,— закряхтел Самойлович, слезая с ложа.— Охрим, готовь коней.

— Ободняло б, Иван Самойлович, тогда б.

— Пока ты седлаешь, как раз ободняет. Делай, что велено.

Поручив полковникам разводить полки по местам их зимних постоев, гетман в сопровождении судьи, писаря, бунчужного и есаула отправился в Переяславль, заранее торжествуя еще одну свою победу.

В Переяславле стольник Алмазов, едва поздоровавшись, сказал:

— Великий государь просил передать тебе, гетман, чтобы ты простил Рославца, не наказывал.

— Дорогой Семен Ерофеич, сейчас открылись новые обстоятельства его преступления, о которых, конечно, великому государю неведомо было. И судьбу преступника решать будет суд, не я. Кстати, где он?

— Здесь, в дальней горнице.

— Пусть приведут его.

Полковника Рославца вывели во двор, где под дубом стоял гетман, обивая плетью пыльный сапог.

— Здравствуй, Иван Самойлович,— заискивающе первым приветствовал Рославец.

— Здравствуй, да не засти,— холодно отвечал гетман.— Я было надеялся, что другого такого приятеля у меня нет, Петр, а ты, забыв Бога, сговорясь с протопопом, хотел меня убить.

— Я ни в каком сговоре с протопопом не бывал, гетман. Моя вина одна, что без твоего ведома и отпуска поехал к государю.

— Ой, одна ли, Петр? — прищурился гетман.— А у меня на руках есть скаска, писанная дорошенковским писарем, что вы ждали лишь согласия Дорошенко и даже крест ему целовали.

Голос гетмана вдруг загустел, поднявшись до крика:

— Может, мне еще тот крест тебе показать?

Рославец побледнел и, всхлипнув, пал сперва на колени, а потом и ниц, растянувшись у ног гетмана.

— Прости, гетман.

— Я не Бог,— процедил сквозь зубы Самойлович и, оборотясь к генеральному судье Ивану Домонтову, сказал: — Назначь, Иван, суд, да в членах суда чтоб иереи были самые уважаемые. А протопопа нежинского Адамовича вели взять за караул.

— Хорошо, Иван Самойлович.

Глава 12

КНЯЗЬ МАЛОРОССИЙСКИЙ

Каменный мешок не самое лучшее место в Стамбуле для простого смертного, а уж для Юрия Богдановича Хмельницкого тем более. Темнота с еле-еле иногда пробивающимся сверху лучиком света и духота, сдабриваемая запахом где-то рядом протекающих нечистот, и даже крысы, бегающие едва ли не по лицу пленника, не так донимают несчастного, как мириады клопов, не дающих ни днем ни ночью покоя. От них все тело горит огнем, и иногда Юрию, уставшему от вечного, беспрерывного чесания и бессонницы, хочется взвыть волком. И он воет, но даже и на вой уже сил не хватает, вместо воя голос срывается на скулеж.

Благодаря скорее своей фамилии, чем способностям успел Юрий четыре года побыть гетманом Украины. Разорвал союз с Россией, подписав в 1660 году с Польшей Слободищенский трактат, с чем не мог согласиться народ и вскоре восстал и изгнал Юрия с гетманства. С того и пошли его несчастья, и свое тридцатипятилетие встретил наследник Богдана в стамбульской темнице. Вряд ли долго смог бы он выдержать это страшное заточение: либо разбил бы себе голову о камни, о чем уж начал подумывать, либо сошел бы с ума.

Но вот в один прекрасный день (очень прекрасный!) Юрия вывели из каменного мешка, привели в жаркую турецкую баню, помогли сбросить пропотевшую, прогнившую одежду и в четыре руки мыли и мылили его исстрадавшееся, измученное тело. Лежа на мраморной лавке под ловкими руками банщиков, Юрий ловил себя на мысли, что все это видится ему во сне. Что вот он проснется и опять окажется в каменном мешке, осыпанный кровососами. «Если проснусь, покончу с собой».

Но все было в явь, просыпаться не пришлось. После бани его тело натерли какой-то душистой мазью и сразу оно перестало зудеть и чесаться. Потом его одели в свежее платье, увы уже турецкое, и даже башмаки ему выдали турецкие, с острыми, длинными носками.

Уже ночью в темноте его отвезли во дворец, а там провели в кабинет султана, где хозяин сидел за огромным столом, углубясь в толстую книгу.

Не поднимая головы от книги, султан указал Юрию где садиться и еще долго молчал, не желая отрываться от тек-

ста. Перевернув страницу, он наконец поднял голову от книги, спросил негромко:

— Ну как, Юрий?

Чем интересовался султан, было не ясно, но переспрашивать его не полагалось и Юрий ответил то, что должно было понравиться султану:

— Все прекрасно!— Имея, разумеется, в виду свое сегодняшнее чудесное избавление от клоповника и прогнившего рванья.

— Прекрасно, что «все прекрасно»,— улыбнулся султан.— Я рад, что ты умеешь ценить хорошее к себе отношение, Юрий. Ты в этом одеянии настоящий турок.

— Да,— смутился Хмельницкий,— надел, что дали, государь.

— А что если тебе и веру мусульманскую принять.

«Только этого мне не хватало»,— подумал Юрий, но, вспомнив клоповник, отвечал смиренно:

— Как будет твоя воля, государь. Однако я пострижен самим патриархом в монахи; это, наверно, сперва надо расстригаться.

Юрий, оказавшись в Стамбуле, постригся с единственной целью, дабы уйти в тень, чтоб забыли о нем, чтоб его не трогали. Однако его не забыли, по чьему-то навету нашли и упекли в каменный мешок, обвинив ни много ни мало в шпионаже в пользу Польши. И сколь ни доказывал Юрий, что та «Польша ни шла ему ни ехала», а в темницу таки загудел. Шпион!

— Ну, с патриархом бы я уладил,— сказал султан.— Тут важно твое согласие.

«Мое согласие? Да кто тут его спрашивает?» Султан словно услышал мысли собеседника, сказал примирительно:

— Ну ладно, это дело десятое. Я что тебя позвал, Юрий. Хочу спросить тебя: не соскучился ли ты по булаве?

— Нет, не соскучился, отвечал Юрий, почувствовав в вопросе султана какую-то ловушку. Еще скажи, что соскучился, отправит на плаху, да и сострит: чтоб голова по булаве не скучала. От этих «поганых» всего ждать можно.

— А жаль,— вздохнул султан.— Ныне твоя Украина без гетмана осталась. Осиротела.

— Как — без гетмана? — встрепенулся Юрий.— Умер, что ли, Дорошенко?

— Лучше б умер,— жестко сказал султан.— Он передался царю, положил к его трону булаву. Шакал, настоящий шакал.

Мгновенно понял Юрий цель вызова его к султану и сразу почувствовал, как спина его стала выпрямляться, а

грудь наполняться знакомым чувством собственной значительности и высокого достоинства. Тут же забылся каменный мешок и услужливая память задвинула его так далеко, словно было все это давным-давно, почти в другой жизни.

— Ну так как, Юрий? Поднимешь булаву? Или, может, предложить ее Серко?

— Нет Серко нельзя.

— Почему?

— Мужик. Быдло. Какой он гетман, разбойничий атаман!

Юрий уже жалел, что так необдуманно ляпнул, что не соскучился по булаве Еще как соскучился, но теперь, задним числом хвататься за нее ему казалось не то что соромно, а как-то не солидно. Подумает султан: мальчишка какой-то, то отказался, а то тут же запросил булаву. Юрий надеялся, что султан сам вернется к началу разговора и еще раз предложит ее ему. Тогда, слегка поколебавшись, можно будет и согласиться. А пока... Пока султан тянет жилы:

— Ты в какие годы был гетманом?

— Гетманом я был с пятьдесят девятого по шестьдесят третий год.

— О-о, молодым еще.

— Да, мне было девятнадцать, когда мне вручили булаву.

— А потом кто вручил, тот и отобрал. Да?

— Это все московские козни. Уверен, и Дорошенко стал их жертвой.

— Не напоминай мне больше об этом шакале, Юрий. Столько лет водил нас за нос

— Хорошо. Не буду.

— Так почему не хочешь взять булаву, Юрий?

— Я не говорил, что не хочу

— Как? Я спросил тебя, не соскучился ли ты по ней, ты ответил: нет

— Но я думал, государь, что ты шутишь.

— Хэх. Нашел шутника, мальчишка. Значит, как я понял, ты согласен взять булаву?

— Что делать, государь. Я сын бедной Украины, задерганной, забитой, а ныне еще оставшейся без головы, то бишь без гетмана. Конечно, я согласен.

— Вот и прекрасно. Завтра в тронном зале я велю созвать представителей всех европейских дворов и объявлю тебя гетманом украинским. То-то Россия с Польшей поперхнутся.

— Но объявить — это еще не стать.

— Понимаю, Юрий. Будет у тебя армия. Возьмешь янычар Ибрагим-паши и хана крымского. Это для начала. Да и Серко мы постараемся наклонить в твою сторону. А по-

ка... А сейчас садись-ка к столу и пиши грамоту войску запорожскому, зови его на свою сторону

Юрий перешел к невеликому инкрустированному столику, где лежала уже бумага и несколько перьев возле бронзовой чернильницы.

— А как мне подписывать? Сразу гетманом? Они ведь там могут сказать. был, мол, гетманом, да сплыл. Может пока просто: Юрий Хмельницкий. А? Сама фамилия наша любой булавы стоит.

— А ты, пожалуй, прав, Юрий,— неожиданно согласился с ним султан и, несколько помедлив, предложил:— А что, если мы провозгласим тебя князем малороссийским и вождем Войска Запорожского? А? Гетманом ты уже был, пора и в князья писаться. А?

— А это возможно? — спросил Юрий, все еще не веря в такое счастье.

— Для меня все возможно,— сказал султан.— Бери перо, князь! И пиши.

— Но как? О чем? — спросил обалдевший от такого взлета недавний узник каменного мешка.

— Что за вопросы, Юрий. Как сердце тебе говорит то и пиши.

Что говорило Юрию сердце сегодня? Конечно, оно было переполнено благодарностью тому кто вытащил его из темницы, и даже не вспоминало о том, кто засадил его туда, хотя это было одно и то же лицо Именно так и начал Юрий:

«Спасителю нашему все возможно: нищего посадить с князьями, смиренного вознести, сильного низложить. Лихие люди не допустили меня пожить в милой отчизне; убегая от них, претерпел я много бед, попал в неволю. Но Бог подвигнул сердце наияснейшего цесаря турского, тремя частями света государствующего, который грешных больше милует, чем наказывает (с меня берите образец!): даровал мне цесарь свободу, удоволил меня своей милостью и князем малороссийским утвердил...»

Юрий остановился. Уже, пожалуй, достаточно накланялся в сторону благодетеля, пора что-то и о деле сказать запорожцам, тем более что султан наверняка будет просматривать и утверждать грамоту Они уж, поди, и забыли Юраса. Но даже если это так, не следует писать этого. Наоборот, надо написать так, словно ты вчера лишь был там. Юрий умакнул поглубже перо, захватывая больше чернил и продолжил:

«...Когда я был в Запорожье, то вы мне обещали оказать любовь и желательство и вождем меня иметь, так теперь обещание исполните и отправляйте своих послов для переговоров со мною...»

Юрий поднял голову от письма, взглянул на султана, вновь уткнувшегося в книгу, несмело позвал:

— Ваше величество... государь.

— Что? — поднял голову султан.

— А где я смогу принимать послов запорожских?

— Послов? Гм... Зови их в Казыкермень. Там твоя ставка будет.

«Ну что ж,— подумал Хмельницкий,— вполне разумно. И от Сечи недалеко, и до Крыма рукой подать».

Дописав свой будущий адрес, Юрий с удовольствием и гордостью подписал грамоту: «Георгий Хмельницкий, князь малороссийский, вождь Войска Запорожского».

Султан прочел грамоту, она ему понравилась.

— Ну вот. Завтра в присутствии резидентов всех стран, в том числе и российского, торжественно провозглашу тебя князем малороссийским. А ты после этого можешь зачитать эту грамоту. Впрочем, нет, выступишь без бумажки.

— А что я должен сказать?

— Ну как что? Что царь и король обезглавили твою родину и что в этот нелегкий час ты принимаешь управление и постараешься спасти ее, то есть родину.

— Хорошо, государь, постараюсь.

— Вот и все. Ступай, князь, отдыхай.

Юрий направился к выходу, но султан окликнул его:

— А грамота-то, князь!

Хмельницкий вернулся за забытой на столе грамотой.

— Завтра велю освободить из крепости запорожца. Пошлешь его гонцом с этой грамотой.

— Надо бы двух, государь. Мало ли...

— Хорошо, освобожу двух.

Глава 13

ВОЕННЫЙ СУД

Еще третьи петухи не кричали, а уж к гетману явился новый посланец из Москвы — князь Иван Волконский. В душе чертыхаясь, Самойлович велел впустить раннего гостя в горницу и явился туда лишь в шароварах да в душегрейке, накинутой на ночную сорочку.

— Что за спешка, князь? — зевнул зябко Самойлович.

— Грамота от государя, гетман,— отвечал Волконский, подавая грамоту, свернутую трубочкой и опечатанную.

— Поди, замерз? — спросил гетман и кивнул на печку. — Вон голландка еще не остыла, грейся.

— Спасибо,— отвечал Волконский и, скинув шапку, подошел к голландке, прижал закалевшие руки к теплому боку печи.

Гетман сел за стол, ближе к свечам, читал грамоту долго и обстоятельно. А она и была длинной и обстоятельной.

— Ну что ж,— заговорил наконец гетман, отложив грамоту.— То, что государь и патриарх указали, как я и просил, быть суду над преступниками, да еще и день назначили — через три дня после Богоявленья, то хорошо. Очень хорошо. А то висело все на ниточке: судить не судить, судить не судить. Теперь по крайней мере все определенно. Судить.

— А как насчет Дорошенко? — спросил Волконский.— Там ведь и о Дорошенко писано.

— Дорошенко сейчас в Москву нельзя отпускать.

— Но мне велел государь привезти его. Я для того и послан.

— Как они там не понимают. Вот ты представь, увезешь сейчас Дорошенко, что здесь станут говорить?

— Что?

— А то, что Дорошенко повезли, как и Многогрешного, в Сибирь отправлять.

— Но ты-то можешь объяснить людям, что государь видеть его желает.

— А кто меня тогда слушать станет? Тут такая смута затеется. Наоборот, все на меня покатят. Все же знают, что мы с Дорошенко неприятели. Скажут, Самойлович избавился от соперника. Пойми, князь, я, может быть, более всех заинтересован в отправке его отсюда. Он у меня уже в печенках сидит. Но я не хочу шатания в народе.

— А государь, напротив, хотел его в Москву забрать, дабы, как он сказал, Ивану Самойловичу покойнее было.

— У государя ангельская душа, но он не знает всех обстоятельств. Если уж я знал все дорошенковские козни, когда он на той стороне сидел, то уж теперь, когда он на моей стороне, он у меня как на ладони. Пусть государь не беспокоится. Я Дорошенко тут зло сотворить не позволю, в самом начале искореню. Я за каждым шагом его слежу. И потом, как же я буду его отпускать, если на предстоящем суде он будет один из основных свидетелей. Нет, князь, никак нельзя его сейчас в Москву везти.

— Но, гетман, Иван Самойлович, и меня ж пойми. Государь мне лично так и сказал: езжай, князь Иван, и представь мне Петра Дорошенко, хочу с ним побеседовать и

обнадежить его хочу. Как я явлюсь пред очи государевы? Что он на мое «нет» скажет?

— Ну хорошо, князь Иван, давай я напишу грамоту государю.

— Нет, нет такую грамоту я не повезу

— Да погоди ты. Я напишу грамоту государю, объясню все обстоятельства и отправлю с гонцом. А ты пока поживи у меня. У меня хата, считай, пустая, дети на Москве. Живи.

— А почему дети в Москве?

— Оттого же самого, князь, бережения ради. В любой час может смута начаться, а чернь с чего всегда начинает? Не знаешь? С убийства людей начальных. Али забыл Разина?

— Неужто так все серьезно, гетман?

— А то как же. Думаешь, суд предстоящий из пустого образовался. Поживи-ка, поприсутствуй, там такие корешки потянутся!

— Но мне государь не указывал быть на суде. Мне нужен Дорошенко.

— Вот что ответит государь на мое письмо, так и будет. Скажет везти — повезешь. Скажет оставить — воротишься один. А сейчас раздевайся, умывайся, вместе позавтракаем.

Так и остался в Батурине князь Волконский ждать ответа государева на гетманское письмо.

А Самойлович в тот же день отправил в Чернигов к архиепископу Барановичу письмо с просьбой о выделении в состав суда уважаемых иереев. Архиепископ не задержал с ответом, выделив для суда пять иереев, среди них архимандрита Елецкого монастыря Ионакия Голятовского, игумна киевского Кириллова монастыря Мелетия Дзика и трех протопопов. Всем пятерым были тут же разосланы уведомления за подписью архиепископа. Военных на суде представляли генеральный судья Иван Домонтов, бунчужный Леонтий Полуботко и три полковника.

Суд начался, как и указал государь, в январе 1677 года, через три дня после Богоявленья, в батуринской гарнизонной избе, в самой просторной ее зале. Вел его генеральный судья Иван Домонтов.

Подсудимые Петр Рославец и протопоп Семен Адамович, увидев, сколь представительна судейская коллегия, изрядно перетрусили.

— Все, отец святой,— шепнул Рославец,— эти съедят нас с потрохами. Моли Бога, чтоб кнутом кончилось.

— При моем сане — кнутом?

— У кнута сан выше, Семен. Держись.

Генеральный судья начал с того, что зачитал челобитные, писанные государю от Рославца и Адамовича, и те думали, что после зачтения челобитных им дадут слово для объяснений. Однако ошиблись. Домонтов, недобро супя густые брови, провозгласил, что «подсудимые Петыша Рославец и Семка Адамов, превзойдя все мыслимые наглости, вздумали к своим корыстным видам приобщить самого великого государя всея Руси, чем принесли державе урон невосполнимый и никакому счету не поддающийся».

Дружно качала головами вся коллегия: срам-то какой!

Потом начался вызов и опрос свидетелей. Первым был Михаил Воехевич, служивший в свое время у Дорошенко сам судьей.

— Что тебе известно по делу подсудимых? — спросил его Домонтов.

— Мне известно, что нежинский протопоп Семен Адамов присылал к Дорошенко казака Дубровского, передавая с ним, что вся Украина хочет видеть гетманом Петра Дорошенко.

— А кто именно хочет видеть Дорошенко гетманом? Он назвал имена?

— Называл.

— Чьи они?

— Он называл имя полковника стародубского Петра Рославца, прилуцкого Лазаря Горленко и говорил-де, вся чернь хочет Дорошенко, и даже, мол, сам государь.

— И государь?

— Да, и государь, мол, не хочет Самойловича, но, мол, Дорошенко только.

— А что говорилось, как быть с Самойловичем?

— Самойловича, мол, надо убить.

— Кто это говорил?

— Дмитрашка Райч, полковник переяславский.

После Воехевича был вызван свидетель Петр Дорошенко, поцеловал крест на том, что будет говорить лишь правду.

— Петр Дорофеевич, скажи, были ли тебе предложения от полковников стать гетманом всей Украины?

— Были, и не раз.

— Что ты отвечал на эти предложения?

— Я отвечал, что то не в нашей воле, но государевой.

— А кто из полковников был особо настойчив в этих предложениях?

— Я бы не хотел...

— Свидетель Дорошенко,— возвысил голос Домонтов,— ты только что целовал крест на правду. И потом, суду они все уже известны. Вот их списки.— Домонтов поднял лист

бумаги, лежавший перед ним.— Здесь все уже есть. Тебя спрашивают как свидетеля, дабы подтвердить истинность доносов. Назови имена тех, кто предлагал тебе.

— Это полковники Рославец, Райч, Горленко. Я уже не говорю о том, что хотели меня видеть гетманом и люди моего окружения, что считаю не преступным, а вполне естественным.

— Ну, окружение хотело — это понятно. Но не подстрекало же?

— Не подстрекало.

— Значит, нет тут и преступления. А названные полковники явились подстрекателями, мало того, в грядущем провозгласив тебя гетманом, хотели передаться султану.

— Но я бы на это никогда не пошел.

— Кто знает, Петр Дорофеевич, не ручайся за то, что не случилось. Теперь последний к тебе вопрос: кто целовал тебе крест на верную службу?

— И это известно? — удивился Дорошенко.

— И это, Петр Дорофеевич. Так кто же?

— Крест мне целовал протопоп Лазарь Адамович и прислал мне его.

— Где он? Крест где?

— Он у меня.

— Покажи его нам.

Во время допроса свидетелей сами подсудимые сидели ни живы ни мертвы от происходящего, ибо выяснялись такие подробности, которые, казалось, были у них за семью печатями. Особенно было тяжелым обвинение в грядущем союзе с султаном. Рославец как человек военный понимал, что это пахнет смертным приговором, но утешать соузника не хотел, напротив, добивал как мог, шептал со злорадством:

— Все, поп, карачун пришел.

А когда бывший генеральный писарь Карп Мокриев, вызванный свидетелем, тут же был посажен с ними рядом и объявлен обвиняемым, Рославец даже повеселел: «Нашему полку прибыло».

Где-то в глубине души он надеялся, что до смертного приговора не дойдет, поскольку половина коллегии состояла из священников, а уж они-то не должны допустить до крайней меры. Ну кнут, ну ссылка, но не казнь же.

Однако приговор суда был суров: «...за готовившееся возмущение и призывание к бунту и новой разинщине означенные лица приговариваются к смертной казни через повешение».

После оглашения приговора с протопопом стало плохо, он повалился на пол, а Рославец, хотевший было его под-

держать, не стал этого делать: то не мое дело. Пришлось караульным казакам тащить на себе сомлевшего попа в кутузку.

Не ожидал столь сурового приговора даже гетман, и когда к нему в канцелярию пришел Домонтов, он сказал ему:

— А ты не того, Иван, не хватил через край?

— Вот и ты туда с попами, Иван Самойлович, они тоже заладили: «Шибко строго, ох шибко строго».

— Как же ты их уломал?

— А я им сказал, дадим им смерть, пусть злякаются как следует, а государь все едино приговор отменит.

— Ну, припугнуть-то их надо, кто спорит.

— Эвон поп с перепугу в порты наложил,— усмехнулся генеральный судья.— А ты что, Иван Самойлович, не одобряешь? Тебя они убить собирались. А ты?

— Что я? Я с судом спорить не стану, тем более всегда за него сам ратовал. А в том, что государь отменит казнь, я уверен более твоего. У Федора Алексеевича душа ангельская. И Дорошенко напрасно его стережется.

На следующий день прискакал из Москвы гонец с грамотой государевой, в которой говорилось о помиловании преступников.

Генеральный судья, прочитав коллегии грамоту государеву, сказал:

— Вот видите, я же вам говорил, что государь не даст смерти предать их. Зато теперь у нас есть возможность смягчить их участь. А если б сразу мягко осудили, они б, согласно государевой грамоты, вообще избежали бы наказания.

И было присуждено: Рославца держать за караулом, Адамовича отправить в Чернигов, где архиепископ сам изберет ему меру наказания. Все понимали, что Баранович не пощадит врага своего. Карпа Мокриева выслать вон из Украины. Райча и Горленко со службы уволить, лишив званий, заставив сначала присягнуть, что в грядущем к злым умыслам приставать не станут.

Гетман мог быть вполне доволен результатами суда. Не он расправился с недругами, а закон.

И с тем же гонцом пришло от государя согласие с его доводами, что Дорошенко пока трогать не надо. Хотя государю очень хотелось бы «видеть сего славного воина».

«Дите еще,— думал с нежностью о царе гетман.— Наслушался сказок про подвиги дорошенковские, вот и хочет видеть такого героя. Дите».

Но не мог же он этого Дорошенко сказать, езжай, мол, ублажи царствующего отрока, да не бойся, не съест он тебя, а еще и наградит, дурака.

— Ну что, князь Иван, вот государева грамота, в которой он согласился не трогать Дорошенко. Можешь ворочаться в Москву безбоязненно.

— Жаль, конечно, в кои-то веки государевой волей пожалован был, а не исполнил.

— Ничего, князь. Можешь отвезти Москве новость, хоть и не добрую, но важную: Сечь не сегодня-завтра может отложиться к Крыму, пусть уделят ей внимание.

Глава 14

УЧИТЕЛЬ ПЕТРУ

Как бы ни относились сестры-царевны к своей мачехе-царице Наталье Кирилловне, Федор Алексеевич при всякой встрече оказывал ей искреннее свое уважение и внимание. А уж о Петруше-крестнике и говорить нечего. Всякий раз царь с нежностью ерошил черные кудрявые волосы, заглядывал в огромные глаза ребенка.

— Как живешь, Петя?

— Живем — хлеб жуем,— говорил озорно мальчик услышанную где-то и, видимо, понравившуюся ему фразу.

— Ну что, матушка-государыня, пора крестнику и за учебу браться.

— Да ему еще и пяти нет, Федор Алексеевич, пусть поиграет.

— Нет! Пора за учебу,— неожиданно поддержал мальчик своего крестного.— Пора, маменька, пора.

— Ну что с ним делать,— развела руки Наталья Кирилловна.— Раз сам рвется к учебе, приищи уж ему учителя, Федя, только чтоб был человек набожный и праведный.

— Приищу, Наталья Кирилловна. Доброго учителя приищу. Ух ты, бутуз,— царь с удовольствием ущипнул крестника за тугую щеку.— Способный наследник растет, пора учить.

В тот же день царь призвал к себе стольника Федора Соковнина.

— Федор Прокофьевич, у меня просьба к тебе важная.

— Слушаю, государь.

— Моему брату и крестнику Петру Алексеевичу уж скоро пять лет стукнет. Приищи-ка ты ему доброго учителя, кого из приказных.

— Хорошо, государь. Завтра же найду.

— Найдешь, приведи ко мне. Я погляжу да поспрошаю его

Когда Соковнин ушел, Хованский напомнил царю:

— А ведь Феодосья Морозова и Авдотья Урусова его сестры родные, государь.

— Ну и что?

— Так они ж самые рьяные были раскольницы и осуждены еще при твоем батюшке, царствие ему небесное.

— Я знаю, Иван Андреевич, не нам судить их, если они за свою веру мученическую смерть приняли. И ни при чем тут Федор Прокофьич, брат их.

— Ну я так,— замялся Тараруй.— Думал, ты забыл о родстве их, вот и напоминил, все ж царевичу учителя ищет А так супротив Федора я рази что имею.

— Ты вот что, Иван Андреевич, когда Соковнин приведет завтра учителя для Петра, ты, пожалуйста, позови ко мне Симеона Полоцкого. Я хочу, чтоб и он при сем присутствовал.

С утра Соковнин отправился в Поместный приказ, где за столами сидело несколько подьячих и дружно скрипели перьями Дьяку приказа Соковнин сказал негромко, дабы не слышали подьячие:

— Нужен подьячий, умеющий хорошо и красиво писать и чтобы разумел бы в чтении.

— Эвон тот, что в углу сидит. Загляни-ка к нему в лист, може, подойдет.

Соковнин неспешно прошел в угол к русоволосому молодому подьячему, остановился у него за спиной. Подьячий затылком почуял интерес боярина к нему, заволновался, умакнул перо до дна чернильницы, перегрузил чернилом и ляпнул на лист кляксу

— Ах ты! — пробормотал виновато, схватив щепотку песку засыпал кляксу

— Что ж ты, парень,— с укоризной молвил Соковнин.— Так славно писал — и вот на тебе, ляпнул.

Подьячий вскочил, вытянулся в струнку, молвил виновато:

— Прости, боярин. Взволновался я, никогда со мной такого не было, хошь у дьяка спроси.

— Как тебя звать-то?

— Никита, боярин.

— Чей будешь?

— Зотов. Никита Зотов Моисеев сын.

— Так вот, Никита Моисеев сын, сейчас пойдешь со мной к государю

— За што? Боярин... Я ж,— побледнел подьячий,— я ж как мышка. За што?

— Дурак. Тебя на честь зовут.

Но до бледного подьячего и это плохо дошло.

— Я ж не заслужил. За што?

— Идем, Никита.

Зотов взглянул вопросительно на дьяка, велениям которого он на службе подчинялся и без его согласия шагу ступить не смел.

— Ступай, Никита,— разрешил дьяк.— После урок докончишь... если воротишься.

Последние слова дьяка «если воротишься» совсем сбили с толку бедного Никиту: уж не на правеж ли ведут? А ну на казнь! И за что?

А между тем Соковнин уверенно шел к Красному крыльцу, перед ним расступались толкавшиеся там дворянчики, служивые. Никита едва поспевал за ним. Соковнин ввел его в переднюю, где по лавкам сидели все именитые люди, многие в высоких шапках, с бородами. А у Никиты только-только усишки начали пробиваться и бороденка едва наметилась, реденькая какая-то, не борода, а срамота одна.

— Садись здесь,— указал Соковнин Никите на край лавки.— Жди когда позовут.

Оробевший Никита сел на лавку столь осторожно, словно на печь раскаленную, по сторонам глядеть боялся. Уж больно именитые все сидят, на Никиту косятся с презрением: ишь, писцовая душа явился во дворец царский в портах драных, в кафтане вытертом, такого и на крыльцо пускать срамно, не то что в переднюю.

А меж тем в государевой комнате уже был Симеон Полоцкий, который ранее учил Федора, да и его покойного старшего брата Алексея, грамоте, латыни и даже переводам псалтыри.

— Я, Самуил Емельянович, пробовал перевести стих сто тридцать второй,— говорил государь Полоцкому.— Постарался так перевести, чтоб было и понятно и складно, как вы меня учили.

— Если не трудно, прочтите, Федор Алексеевич,— попросил Полоцкий.

Федор помолчал, сбираясь с духом, и, стараясь не смотреть на бояр, сидевших по лавкам, начал декламировать:

— Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Аронову и на края одежды его. Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.

Царь умолк, вопросительно взглянул на учителя. Бояре на лавках завздыхали одобрительно: еще бы, государь наизусть читал, никуда не заглядывая.

— По-моему, неплохо,— сказал Полоцкий.

— Как «неплохо»,— возмутился Хованский.— Преотлично, государь! Выше всяких лицедеев.

Но государь не оценил рвения Тараруя и не взглянул в его сторону, спросил Полоцкого:

— Может, сто сорок пятый псалом прочесть, Самуил Емельянович?

— Вы и его перевели?

— Да. Целиком.

— Похвально, Федор Алексеевич. Прочтите.

— Хвали, душа моя, Господа,— начал торжественно Федор, и в комнате воцарилась мертвая тишина.— Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его...

Словно окаменели бояре на лавках, столь торжественные словеса льются из царских уст. У старого Одоевского повисла и замерла капелька под носом, он утереть ее не смеет, да и она падать не спешит, дабы не нарушить торжественности.

— ...Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживающих сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки.

Федор окончил чтение, и опять взгляд его остановился на учителе.

— Превосходно, Федор Алексеевич, перевели, поздравляю вас.

С тем Полоцкий шагнул к престолу, взял руку царя и тряхнул, как кому простому. Бояре обмерли от такой наглости: еще бы, вместо того чтобы целовать царскую руку, этот монах трясет ее. У Тараруя уж и готовое на этот случай словцо ехидное на языке повисло, мол, что ж ты, чернец, с царской рукой вытворяешь? Но не успело оно вылететь, государь опередил:

— Ну, спасибо, Самуил Емельянович, за науку. Прочел я вашу книгу о складывании стихов. Очень понравилась. Хочу попробовать сам.

— Но вы же вот перевели псалмы, очень даже прилично, Федор Алексеевич.

Государь видел еще во время чтения псалмов, как в комнату бесшумно проник Соковнин, даже дверью не скрипнул, и тут спросил его:

— Ну что, Федор Прокофьевич, добыл учителя?

— Добыл, государь.

— Где он?

— Тут в передней дожидается.

— Как зовут?

— Никита Зотов, подьячий Поместного приказа. Пишет изрядно.

— Родион Матвеевич,— обернулся царь к Стрешневу.— Зови Никиту Зотова.

Стрешнев вышел в переднюю, громко спросил:

— Кто здесь Никита Зотов?

— Я,— вскочил с лавки подьячий.

— К государю.

Обмер Никита, одеревенел весь, с места двинуться не может.

— Оглох, что ли? К государю,— повторил Стрешнев. Видя, что подьячий и шагу сделать не может, подошел, взял его за рукав, потянул за собой, и он пошел покорно, смиренно, как бычок на закланье.

Очутившись перед государем, Никита пал на колени, ударился лбом об пол столь старательно, что рассмешил царя.

— Ну довольно, довольно, Никита. Встань. Вот так. У тебя, говорят, Никита, почерк изрядный.

— Стараюсь, государь.

— Я хочу тебя учителем к своему брату Петру Алексеевичу определить.

— Не достоин я, государь, счастия такого,— просипел Никита, у которого от такой новости голос сел.

— А вот мы сейчас определим, достоин ли Самуил Емельянович, извольте его по счету экзаменовать.

— Ну что ж,— сказал Полоцкий.— Скажи, Никита, сколько алтын будет в гривне.

— Три алтына и одна копейка,— отчеканил Никита тут же прорезавшимся голосом.

— А сколько алтын в рубле?

— Тридцать три алтына и одна копейка.

— А сколько грошей в гривне?

— Пять.

— А полушек в гроше?

— Восемь,— почти не задумываясь чеканил Никита.

— Ну что ж, в счете он крепок,— сказал Полоцкий.

— А как по истории нашей,— спросил Федор.— Разумеешь?

— Ведаю, государь, немного.

— За что Святополк получил прозвище Окаянный?

— Так как же, государь, он же трех братов порешил.

— Как их звали, братьев?

— Борис, Глеб и Святослав.

— Молодец, Никита. А не помнишь ли, часом, чьим сыном был Юрий Долгорукий, основатель Москвы?

— Помню, государь. Юрий Долгорукий был младшим сыном Владимира Мономаха.

— А кем Долгорукому доводится Александр Невский?

— Невский правнук Долгорукого.

— Молодец,— похвалил Федор подьячего.— Ты и в истории изряден. Молодец. А как в Библии? Чему учил Христос учеников своих?

— Христос учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда в небесах: так гнали пророков, бывших прежде вас.

— Славно, славно,— похвалил Федор.— А как по части выпивки? Пьешь?

— Что ты, государь, как можно при нашей работе. Руки будут дрожать, буквы поползут.

— Ну что ж, Никита Зотов. Сейчас тебя Федор Прокофьевич Соковнин отведет к царице Наталье Кирилловне, представит. А там решим, когда начинать учебу. На то надо и патриаршье благословение получить.

У Никиты от свалившейся на него нежданной благодати голова кругом шла (с самими царем говорил!!!), ноги ослабли, нижняя сорочка потом пропиталась. А тут еще и к царице волокут. Боже ж ты мой, и все в один день! Эдак и сердце надорвать можно.

— Вот, государыня-матушка, великий государь послал крестнику своему, царевичу Петру Алексеевичу, человека в науках искусного, в жизни набожного и праведного. Звать его Никита Зотов.

Царица протянула подьячему руку, тот неумело ухватился, поцеловал мягкую, теплую.

— Коли ты доброй жизни человек,— молвила она,— и в божественном Писании искусен, вручаю тебе моего единственного сына. Учи его грамоте и праведной жизни.

И Наталья Кирилловна, державшая сынишку за руку, подтолкнула его в сторону подьячего. «Праведник» Никита, залившись слезами, пал на колени перед царицей.

— Не достоин я, матушка-государыня, принять такое сокровище.

— Достоин, Никита, достоин. Раз тебя от государя прислали, значит, достоин.

А мальчик, с удивлением глядя на плачущего мужика, спросил:

— А в коней будем играть?

— Во что? — не понял Никита.

— В коней, говорю, будем играть?

— Будем, государь мой, обязательно будем,— отвечал с готовностью Никита, еще не представляя, что это за игра такая «в коней».

— Ну вот, с завтрева и начнем учебу,— сказала царица.— Что у нас завтра?

— Двенадцатое марта, матушка,— подсказал Соковнин.

— Вот с двенадцатого марта и начнет мой сынок грамоту преодолевать. Приходи завтра после заутрени, Никита.

— А почему не сейчас? — спросил в нетерпении царевич.— Давай сейчас.

— Потерпи, Петенька. Царь и патриарх должны благословить тебя на труд сей. Потерпи, сынок, до завтрева.

Домой подьячий Никита Зотов летел как на крыльях. Ворвавшись в избу, закричал:

— Батя, угадай, какое счастье мне выпало?

— Рупь нашел.

— Да нет, что ты, совсем другое.

— Выходит, в дьяки тебя произвели.

— Да нет же. Нет. Вовек не угадаете.

— Ну говори же, что стряслось, не боярином же стал?

— Что там боярином,— расхрабрился дома Никита.— Меня произвели в учителя к царевичу.

— Ба-а,— разинул рот старый Моисей Зотов.— Это к какому же?

— К Петру. К Петру Алексеевичу.

— Мать! — закричал Моисей.— Давай тащи на стол хмельного чего. Никишка-то наш в какую высь взлетел. А ты не врешь, часом, сынок?

— Да святой истинный крест,— перекрестился Никита.— Да рази такое выдумаешь. Такое и во сне не всякому приснится.

Хозяйка быстро собрала на стол постную закуску: капусту, грибки, поставила и бутылку с водкой. Разлили в кружки глиняные. Выпили за «счастье, свалившееся» на голову сыну.

— За что ж тебя произвели-то? А, Никита? — допытывался старый Моисей.

— За хороший почерк, отец. Как увидел мое письмо боярин, так и обомлел. Тебе, грит, токмо царей учить. Да.

— Вот видишь, когда я тебя письму учил, не напрасно, значит, за уши таскивал. А?

— Не напрасно, батя, не напрасно. Спаси Бог тебя за науку. Давай выпьем за тебя.

Выпили «за науку отцову», потом за будущего ученика Никиты, царевича Петра Алексеевича. Хотели и за царицу выпить, но мать забрала бутылку со стола и сказала:

— Довольно. А то завтрева вылетишь из учителей-то. Поди, пьяниц царица не жалует.

— Эт верно,— подтвердил Никита, вспомнив, как он уверял царя в своей трезвости.— Пьяниц там вон со двора.

Когда уже спать укладывались, Никита спросил отца:

— Батя, а что это за игра такая «в коней»?

— В каких коней?

— Да царевич спросил меня, будем ли в коней играть?

— А-а,— усмехнулся Моисей.— Чего ж тут понимать-то, готовься конем быть, Никита, и ржать и скакать. Царевич тебя обратает.

— Да за ради Бога,— обрадовался Никита такой простой разгадке.— Он такой... он такой ангелочек, да я его хошь весь день катать готов.

— Каков он с виду-то?

— Картинка, батя. Волос черный, кудрявый, глаза тоже черные, большие такие, ресницы долгие. Вот тут на щеке родинка. А уж, видно, такой любопытный да живой, непоседливый.

— Гляди, Никита, береги ребенка-то, они, непоседливые-то, сами на рожон нечаянно наскочить могут, вспомни царевича Дмитрия. Али свалится где-нито, то для непоседливого проще пареной репы. Гляди в оба. И еще,— старик оглянулся, не подслушивает ли жена, зашептал: — Еще берегись, чтобы не отравили чем. Сам наперво пробуй, а потом уж ему.

— А кто ж его отравить может,— удивился Никита.— Его все любят.

— Любят, да не все. Думаешь, зря Наталья Кирилловна от них съехала. Там есть змеи, ужалят — и не уследишь. Так что ухо востро держи, Никита.

Чуть свет подняла мать Никиту.

— Вставай, окаянный питух. Шары-те продери, да вот пожуй корня солодки.

— Зачем, мать?

— От тебя разит, как из бочки, вылетишь из учителей, да еще батогов заработаешь. Жуй, окаянный.

Нажевался корня Никита, аж скулы заболели, щи уж не жевамши глотал, торопился. Прибежал ко дворцу царицы вовремя, не опоздал. И весьма удивлен был, что царевич уже носился по комнатам вприпрыжку, в такую-то рань. Схватил за руку Никиту, потащил в свою комнату, предназначенную для занятий.

— Гляди, какой мне стол сделали.

Стол и впрямь был новенький, как раз чтоб царевичу сесть за него, и стулья такие же два. Как догадался Никита, второй стул предназначен ему — учителю, дабы мог в один уровень с учеником сидеть, не выситься над ним. Чернильница, перья, бумага, и тут же азбука. Все готово, хоть сейчас начинай.

— Ждем царя с патриархом,— сказал мальчик.— Плетутся где-то,— и тут же, ткнув в азбуку, спросил нетерпеливо: — Это какая буква?

— Это «аз», государь. Первая буква. С нее многие слова начинаются, например, «арбуз», «армяк».

— Абрам, алтын,— подхватил царевич.

— Верно, верно, государь,— похвалил Никита с искренней радостью.

И тут появились патриарх с царем в сопровождении служек и дворян.

— Вот оно ужотко и началось,— громко возгласил Иоаким.— Это без благословенья-то?!

Никита перетрусил, вскочил ошалело.

— Никак нет, святый отче... Мы к столу прилаживались...

Испуг Никиты патриарху по душе пришелся, ценил Иоаким в людях боязнь перед высшими лицами, спросил уже миролюбиво:

— Приладились?

— Приладились, святый отче.

— Ну инда почнем.

И патриарх начал молебен с водосвятием, затем служка понес за ним золоченый сосуд со святой водой. Иоаким окунал в него веничек, брызгал по углам комнаты, окропил

заоднемя и ученика с учителем, бормоча сокровенное: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Закончив службу, Иоаким подошел к Никите.

— Ну, раб Божий, трудись и не забывай, кого поведешь по нелегкому пути познания.— И протянул Никите свою восковую руку. Никита поцеловал.— А это от меня тебе подарок,— сказал Иоаким и извлек откуда-то из-под ризы свою кожаную калиту.— Держи. Здесь сто рублей — в счет грядущих трудов твоих.

Никита обомлел, он в жизни не держал в руках таких денег. И тут после патриарха заговорил государь:

— Быть учителем царевича честь высокая, и учить его должен не простой человек, а посему жалую я тебя, Никита Зотов, дворянством, и отныне ты не подьячий, а думный дьяк, что позволяет тебе в думных делах участвовать.

— Государь! — Никита пал на колени.— За что мне столько милостей?

— За то, что доверено тебе будущее державы, Никита. Встань. И укрепись в высокой миссии своей. Начинай урок.

— Сейчас?

— Да, сейчас.

— Государь Петр Алексеевич, изволь сесть вот сюда,— пригласил Никита царевича.

Петр сел на стульчик, придвинул к себе азбуку. Никита сел на другой стульчик, объявил торжественно:

— Сегодня, государь, начнем мы учить русскую азбуку. Вот эта первая буква...

— Знаю, знаю,— закричал Петр.— Это буква «аз», с нее начинаются слова «арбуз», «армяк», «Абрам», «алтын».

— В-верно,— промямлил Никита, не ожидавший от ученика такой прыти.

Сзади засмеялись патриарх с царем.

— Повезло тебе с учеником, Никита Моисеевич,— сказал царь,— поперед науки скачет.

— Ну что ж, не станем мешать,— молвил Иоаким.— Пусть продолжают с Богом.

Патриарх и царь ушли со всем своим сопровождением. Никита перевел дух, вытер пот со лба.

— Ну и подвел ты меня, государь Петр Алексеевич.

— Как «подвел»? — удивился мальчик.

— Я тебя учить: а ты: знаю, знаю.

— Ну, а раз я знаю.

— Ну ладно. Давай к следующей переходить.

— Давай.

— Вторая буква называется «буки». С нее начинаются слова «бабушка», «брюква».

— Стой,— закричал мальчик.— Теперь я буду: «башня», «баран», «бутылка», «балбес». И «буду» тоже с «буки» начинается.

— Верно. Молодец, Петр Алексеевич.

— Ну а теперь давай в коняшки, Никита.

— Давай. Как это?

— Хы. Просто. Вставай вот так на четвереньки, ты — коняшка, а я стану на тебе ездить.

Делать нечего, новоиспеченный дворянин и думный дьяк встал на четвереньки. Петр деловито сунул в рот ему какой-то пояс.

— Это зачем, государь,— пытался возразить Никита.

— Это узда, не понимаешь, что ли? — И, вспрыгнув на спину «коню», закричал: — Н-но... ж-живей!

И Никита запрыгал по комнате на четвереньках, Петр ладонью нахлестывал его по ляжке, орал восторженно:

— Ур-ра-а-а!

Никита употел, устал и наконец повалился на бок, стараясь не зашибить седока.

— Фу-у-у...

— Чего ты?

— Устал, государь.

— Ладно, отдохни. Поешь овса или сена.

Никита испугался, что царевич и вправду заставит жевать овес или сено, но, оказалось, и овес и сено, слава Богу, должны быть в воображении.

— Ты жуй, жуй,— учил Петр учителя.— Неужели не видел, как кони жуют?

— Видел.

— Вот и жуй.

Никита стал старательно жевать «сено», царевич, поглаживая его по голове, подбадривал:

— Ешь, ешь, моя коняшка. А почему ты не ржешь?

— Так я же жую.

— Все равно, пожуй да поржи, поржешь — на пожуй. Ну! Ты же конь.

— Но как?

— Как, как? Иго-го-го-го-о-о!

— Иго-го-го-о-о,— заржал дворянин Никита Зотов.

За сим занятием и застал их слуга, принесший ворох одежды.

— Вот государыня Наталья Кирилловна прислала учителю переодеться.

Все было новое — порты, сорочки и кафтан, изузоренный золотыми галунами, и даже нижнее белье столь чистое, что Никита колебался: надевать или нет.

— Надевай, чего там,— решительно приказал Петр.

Пришлось учителю раздеться догола и обрядиться во все новое и свежее. Заглянув в зеркало, не узнал Никита себя, важничий боярин смотрел на него из зеркала.

— Ну что ж,— сказал значительно Никита, оправляя кафтан.— Вернемся к нашей азбуке.

— Вернемся! — вскричал царевич и с готовностью уселся за стол.— Чтоб ныне ж все буквы пройти.

— Нет, Петр Лексеич, сейчас мы займемся написанием тех букв, которые узнали. Бери перо. Не так. Возьми вот так. Зажми в щепоти. Вот, молодец. Умакни в чернила. И пиши вот такую закорючку.

— Это что, буква?

— Нет. Это ножка от буквы «аз». Вот ее научимся писать, тогда и дальше пойдем.

Мальчик, умакнув перо, склонился над бумагой, стараясь повторить ту фигуру, которую подписал на листе вверху учитель. От усердия он высунул кончик языка, и Никита, наблюдавший его со стороны, радовался: старательный отрок, на лету будет схватывать.

Глава 15

ПРЕД СВЕТЛЫЯ ОЧИ

Сообщение из Стамбула о провозглашении Юрия Хмельницкого князем малороссийским встречено было в Москве с великим неудовольствием.

— Скор, султан, скор,— сказал Апраксин Матвей Васильевич.— Шахматист изрядный. Не успели мы фигуру гетмана убрать, а он, на тебе, уж и князя выставил.

— Там тот князь,— скривился в презрении Хованский.— Юраска Хмельниченко, поскребыш Богданов.

— С этим поскребышем хлопот нам прибудет,— сказал Голицын.— А мы еще и с Дорошенко до конца не разберемся. Иван Волконский ездил — не привез. Чего ждем-то? Когда он там шайку разбойников собьет?

Князь взглянул на государя, сидевшего на своем месте в великой задумчивости, хотя все понимали, что вопрос голицынский ему адресовался.

— Госуда-арь,— позвал Голицын.— Федор Алексе-евич!

— А-а,— встрепенулся Федор, выходя из задумчивости.

— Я говорю, надо Дорошенко в Москву везти, а то как бы нам беды какой не дождаться.

— Надо бы. Да что-то Иван Самойлович опасается, как бы там возмущение оттого не началось.

— Вот как раз с Дорошенко-то и может начаться.

— Ты так думаешь, Василий Васильевич?

— Я уверен, государь, порох лучше подале от огня держать.

— А кого пошлем? Опять Волконского?

— Нет. Иван — тюня, опять воротится пустым. Надо Алмазова. Этот в тамошних делах довольно тверд. Да и настырен.

— Родион Матвеевич,— взглянул государь на Стрешнева,— выдь в переднюю, там ли он. Если нет, покличь.

Алмазов, как обычно, дремал в уголке, но предстал перед государем ясен как новый алтын: я, мол, готов, указывай.

— Семен Ерофеевич, придется тебе опять в Батурин ехать.

— Я готов, государь. За каким делом?

— Надо тебе привезти сюда Дорошенко Петра, бережения нашего и его ради. Мы знаем, гетман станет упираться, разные отговоры говорить, но ты ныне тверд будь.

— Мне бы, государь, твой указ ему своеручный.

— Указ получишь. Родион Матвеевич напишет, я подпишу. Но тебе главное уговорить по-доброму самого Дорошенко.

— Хорошо, государь, постараюсь, уговорю.

— Он отчего-то опасается сюда ехать.

— Ясно отчего. Боится за Многогрешным последовать.

— О Многогрешном и поминать не надо. То другая стать. Скажи ему, что я хочу в нем иметь советчика по украинским и турским делам. Что и усадьба у него тут будет добрая, и землю дадим, и людьми не обидим.

На этот раз Алмазову была выделена добрая, крытая повозка, в ней любая непогода не страшна была. А кроме того, из-за весенней холодной погоды дана в запас шуба для Дорошенко, дабы не было у него причины отказываться от поездки.

Гетман Самойлович, прочитав государеву грамоту, не стал особенно возражать против отъезда Дорошенко в Москву, однако заметил:

— Надо бы посоветоваться со старшиною, а то по отъезде Дорошенко Бог знает какие слухи пойдут.

— Советуйся, Иван Самойлович, но только ж сам напиши Дорошенко письмо с указанием ехать со мной. Он ведь, чего доброго, может меня послать куда подальше.

— Государева человека не пошлет. Я его, конечно, с тобой отпущу, но надо так створить, чтоб поменьше людей знало об этом.

— А сам говоришь, надо советоваться со старшиной. Что-то я не пойму тебя, Иван Самойлович.

— Старшины это одно, а народ совсем другое. С тобой поедет генеральный судья Иван Домонтов, у него будет мой приказ Дорошенко ехать с тобой в Москву. Я вот лишь о чем попрошу государя, чтоб когда будут на Москву приезжать с Украины мои ли люди, Серковы ли, пусть знают, в какой он милости и чести у государя. И еще, пусть государь освободит его брата, отпустит на родину, его уж теперь держать не к чему, а то мать их уж закидала меня слезницами. Вот тогда всякие слухи будут пресечены в корне.

— А где Дорошенко сейчас?

— Он в Соснице обосновался. Поляки, сказывают, ныне вдруг опасаться стали, что я вкупе с Дорошенко собираюсь с султаном в союз против них вступить.

— Мысль сия лишь в больную голову может пасть.

— Отчего? Вот Юраска Хмельницкий уж под бунчуком Ибрагим-паши оказался. Вчера б это в худом сне не приснилось, а ныне в яви явилось.

Попутчик Алмазова генеральный судья Иван Домонтов оказался столь великим детиной, что когда сел к нему в коляску, то занял почти все сиденье, притиснув бедного стольника к противоположному боку.

— Однако! — пробормотал Алмазов, безуспешно пытаясь вырвать полу своего кафтана из-под широкого Домонтова зада. Но так и не преуспев в этом, махнул рукой.

Генеральный судья всю дорогу не только теснотой, но и разговорами донимал Алмазова:

— На кой черт сдался вам этот Дорошенко?

— Государь хочет видеть его.

— Хы. Нашли кого государю казать. Ни булавы, ни бунчука. Одна видимость. Никто он ныне. Тьфу! Плюнуть да растереть.

— Но он же десять лет гетманствовал.

— Ну и что? Был гетманом, смотрели б, а ныне его гетманство лишь над женой осталось. Да и то управиться не может.

— Что так-то? Грозна?

— Куда там. К горилке дюже склонна, а пьяная — в слезы да в попреки. И было б за что. А то ведь Петр-то взял ее из жалости, из черного платья.

— Из монастыря?

— Эге ж. Была последней черницей и вдруг гетманшей стала. По-доброму б ее обратно в монастырь упечь, так ведь дети, сын с дочкой. Вот и терпит Петр Дорофеевич. Не позавидуешь.

Дорошенко, прочтя предписание гетмана о выезде в Москву, сказал с горечью:

— Кого и к смерти приговаривают, и тому заранее дают о том знать. Бог судья гетману.

— Но ведь гетман тоже не знал заранее,— сказал Алмазов.— Я ведь и к нему явился как снег на голову. И потом, не к смерти ты приговорен, Петр Дорофеевич, но к счастью лицезреть великого государя, о чем не то что смерд, а иной и дворянин помыслить не смеет.

— Да мне б такое счастье,— гудел генеральный судья,— да я б, кажись, пешки побежал.

— Оно б не мешало, Иван, при твоих-то окороках до Москвы пробежаться,— язвил Дорошенко.— Глядишь, на пару пудов полегчал бы.

— Обижаешь, Петр Дорофеевич, то я такой ладный от природы.

— А я думал, от галушек да вареников.

— Оно, если по правде, Петр, ты тоже не перышко, только в долготу попер, а я в поперек,— не сдавался Домонтов.

Как бы там ни было, Дорошенко сел в тележку к Алмазову, заняв сиденье ровно наполовину, но зато приказал ехать следом другой телеге со слугами и с запасом еды и питья. На недоуменный взгляд Алмазова отвечал усмехаясь:

— В Москве небось голодно, а я к сытой жизни привык.

Стольнику Алмазову о той телеге тоже жалеть не пришлось, когда на остановках оттуда тащили к ним на стол сало, колбасы, пироги, калачи, пампушки и даже арбузы соленые. И Дорошенко щедро угощал всем этим своего спутника. Не обходилось и без горилки. Пили в основном за «наше здоровье» и «добрый путь». Но все в меру. Две-три чарки, не более.

И во дворце в передней, где некоторые именитые люди годами просиживали порты, дожидаясь царской милости, Дорошенко не задержался. Едва исчез Алмазов, сказав: я доложу, а Петр Дорофеевич умостился на лавку, как из дверей царских явился Стрешнев и громко объявил:

— Гетмана Петра Дорошенко к государю!

Дорошенко вскочил и, провожаемый завистливыми взглядами сидельцев, направился за Стрешневым.

Он вошел в зал, увидел на престоле царя, но не рассмотрел толком, пал на колени, стукнувшись лбом об пол.

— Встань, Петр Дорофеевич,— услышал он негромкий, почти детский голос.— Встань. Дай поглядеть на тебя на такого.

Дорошенко встал и только теперь рассмотрел, что на престоле царь без усов, без бороды, совсем юн. («Як мой Семка»,— подумал Дорошенко.) В глазах его детское любопытство, смешанное с восхищением.

— Так вот ты какой, Петр Дорофеевич,— говорил Федор, не скрывая своей заинтересованности в госте.— Много, много наслышан был я о тебе. И давно увидеть хотел. Звал. Да ты что-то не хотел, говорят, ехать.

— Не было часу, государь, войско на мне... было.

Федор ровно и не заметил многозначительной паузы.

— Ну теперь ты свободен, Петр Дорофеевич, живи в Москве. Советчика по турским делам лучше не придумаешь. Верно, Василий Васильевич? — взглянул Федор в сторону князя Голицына.

— Верно, государь,— привстал князь с лавки и опять сел.

— Выделим тебе двор, прокорм, а если хочешь, пошлем куда воеводою. Скажем, на Устюг.

— Спасибо, государь, лучше при твоей милости буду жить. Позволь мне семью с Украины забрать только.

— А где семья?

— В Сосницах, государь.

— О чем разговор, забирай семью, все пожитки. Перевози сюда, и звание тебе «гетман» я велю оставить в знак уважения к твоим заслугам.

— Булавы нет, какой я гетман, государь.

— Нет, нет. Вот у нас десятки князей без войска, однако ж князьями величаются. И ничего. Ты был гетманом, Петр Дорофеевич, им и останешься до скончания века с вытекающими отсюда привилегиями и жалованьем. Заслужил.

Когда Дорошенко был отпущен, князь Голицын, глядя куда-то выше головы государя, заметил:

— Не по Сеньке честь. Он с поляками нюхался, они неспроста на него виды имели, вон и Тяпкин о том пишет, а мы ко груди государевой прижимаем.

— Перестань, князь,— поморщился Федор Алексеевич.— Мы не прижмем, султан прижмет. Эвон Юрий Хмельницкий — христианин, и уж под чужим знаменем. Это хорошо?

— Плохо, государь.

— А теперь вот с Сечью и Серко. Жалованье запорожцам доси не послано. Будем ждать, когда им султан жалованье пришлет? Михаил Тимофеевич, где жалованье запорожцам?

— Государь, казна пуста. Поборы туго идут.

— А мягкая рухлядь? А золото из Сибири?

— Рухлядишка худо идет, государь. Инородцы бунтуются.

— Так о чем же вы тут думаете, коли думать взялись? Мне, что ли, вас учить, где деньги брать,— осерчал царь.— Чего у вас ни спросишь, ничего нет. Денег нет, рухляди нет, золота нет. А на что ж держава живет? На престол силком затащили. Сиди. Царствуй. Правь. А как? А чем? Если ничего нет.

Федор встал с престола, скинул шапку мономахову и, быстро сбежав вниз, ушел, хлопнув дверью. Бояре молчали, пораженные случившимся. Отродясь такого не было.

— Вот довели человека,— сказал Апраксин.— Он юн, его беречь надо, а мы... Ты, князь, тоже хорош. Государь к миру клонится, всех примирить хочет, а тебе бы лишь повоевать. Он что, зря Дорошенко в Москву залучил? Именно для того, чтоб на Украине меньше ссор было.

— Я что, не понимаю,— огрызнулся Голицын.— И говорил не в поперечье ему, а лишь для его уведомления, дабы знал суть.

— Суть можно с добром сказать, а ты с ехидством своим аглицким. И это государю!

Глава 16

МУЖЕУБИЙЦА

Женщина стояла со связанными за спиной руками, а в нескольких шагах от нее два мужика рыли яму, попеременно сменяя друг друга. Тут же присутствовал судебный пристав и два стрельца с бердышами. Несколько зевак толпились около, держась подале от стрельцов, обсуждая предстоящую казнь. Подходили новые зеваки, спрашивали:

— За что ее?

— Дитенка свово убила.

— Да нет, не дитенка. Мужа топором оглоушила.

— Ишь ты! А с виду соплей перешибить можно.

— Таку перешибешь, стерву. У-у, зенки-то пялит, бесстыжая. Это ж надо, свово кормильца. А?

— Да слышал я, не шибкий он кормилец был, питух изрядный, пропивал все подчистую.

— Все одно христианская душа, да и муж же венчанный, чай, не татарин.

Иные зеваки спорили меж собой, выдюжит баба три дня в земле или не выдюжит?

— Где ей, пигалице, на второй день окочурится.

— Не скажи, такие-то как раз живучие. Год пять тому такую же окопали, к третьему дню аж синяя стала, как утопленник, а сдюжила. Раз за три дни не померла, как и положено, прощение вышло. Откопали, вытащили, а она еще и «спасибачки» молвила. Но от ямы уж идти не смогла сама, на карачках поползла. Вабы сжалились, подняли, пособили до избы добраться.

— А еще ж может государь помиловать, сказывают, ныне он добрый.

— Но для того ж надо челобитную писать, а у нее руки-то повязаны, а тут еще и землей засыплют.

— А писчики площадные на что? Эвон уж легок на помине.

Ужом проскользнул меж зевак плюгавенький мужичонка в старом, заношенном кафтане, с чернильницей в мешочке, привязанном к поясу, с пером за ухом, с невеликим свитком бумаги в руке. Почти крадучись приблизясь к осужденной, спросил негромко:

— Марыска, челобитную станем писать?

Женщина не успела и рта раскрыть, как на писчика ощерился судебный пристав:

— Ты что, чернильная душа, порядка не знаешь? Изыди! Сполним приговор, тогда и являйся.

Площадный писчик знал порядки, а потому, угодливо изогнувшись в сторону пристава, попятился, бормоча виновато:

— Все, все, жду.

Допятился до зевак, остановился, глаз не сводя с осужденной, ожидая своего времени.

— Что, писчик,— толкнул его плечом какой-то детина,— поживу чуешь?

— Какая пожива,— промямлил смутившись площадный,— душу живую спасать надо.

— Она мужа убила, а ты «спасать».

— То, что убила, ее грех, Бог решит, как взыскать. А мы? Мы должны друг к дружке, как Христос заповедовал.

Складно говорил площадный писчик, но лукавил даже перед самим собой, в уме давно прикинув взять с осужденной за челобитную не менее десяти алтын. Хотя понимал, что идет на риск. А ну раньше времени помрет баба, с кого тогда плату за челобитную брать? Но у площадного есть знакомый подьячий в Разбойном приказе, такую горячую челобитную живо до государя доведет, никто задержать ее не посмеет, так как, сказывают, о таких делах государь повелел без всякой очереди доводить. И решает тут

же, безотлагательно, говоря пять заветных царских слов: «Вины отпустить, пусть Бог судит».

— «Дай Бог ему здоровья,— думает площадный писчик, вспомнив о государе.— Не дай Бог, болеет опять, не доведут до него, пролечу я с этой окаянной бабой». Однако десять алтын на дороге не валяются. «Надо рыскнуть».

А меж тем копавший яму протянул товарищу, стоявшему наверху, лопату:

— Емеля, примерь, може, будет, добавь к черенку пару пядей.

Емеля взял лопату, приложил к бабе, лопата доставала до пупка преступнице, он отмерил выше по животу еще пядь, крикнул товарищу с облегчением:

— Все. Как раз по грудь. Вылазь, Федос.

Подал ему руку, подсобил вылезти наверх.

— Ну, Марыска,— обернулся пристав к осужденной,— слезай в яму.

Женщина присела на землю, подгреблась к яме, опустила в нее ноги, взглянула на церковь, взметнувшую ввысь крест.

— Ироды, ослобоните руку, дайте перекреститься хоть,— попросила она.

— Обойдесся,— отвечал пристав.— Вон Емеля перекрестит. Емеля, пособи ей в яму слезть.

Емеля подошел, взял женщину за плечи. Вздохнул:

— Ну, горе ты наше, давай осунемся вниз,— помог ей спуститься, шепнул на ухо: — Засыпать почнем, надуйся, чтоб дыхать после было способно.

— Закапывайте,— скомандовал пристав, отступая от ямы и перекрестясь.

Емеля с Федосом взялись за лопаты, кидали землю быстро, без передышки, стараясь не смотреть в глаза женщине. Управились скоро.

— Отопчите,— приказал пристав, когда осужденная была закопана по грудь.

— Не надо бы,— возразил Емеля,— все же человек живой.

— Ну-у,— насупился пристав,— нашел человека.

Отаптывали землю вокруг осужденной нехотя, для виду, более стараясь по матерой земле ступать. Пристав видел это (не слепой), но помалкивал, для него было главное соблюсти порядок: окопали, отоптали. И все.

— Ну, будет,— буркнул начальник и, оборотясь к стрельцам, наказал, видимо, давно заученное: — Сторожите в оба, явится кто откапывать, рубите бердышами. Ни от

дождя, снега, ветра, ни от молоньи, ни от комаров, ни от мух никакого заслона злодейке. Ни поенья, ни еденья. Ясно?

— Ясно, господин пристав. Свою службу знаем.

Заметив среди зевак площадного писчика, выжидательно глядевшего на пристава, приказал напоследок:

— Площадного можете допустить, но ненадолго.

Пристав ушел, за ним, прихватив лопаты, отправились копальщики. Площадный писчик, получив дозволение, приблизился к окопанной женщине, опустился возле на корточки.

— Ну, Марыся, будем челобитную писать?

— Будем, будем,— отвечала женщина, тяжело дыша от груза, навалившегося на грудь.

— Скажи мне в нескольких словах, как ты, за что его?

— Я ж на суде сказывала.

— Я что, по судам бегаю, что ли,— выговорил писчик.— Меня площадь кормит, не суды.

— Ну, явился он с вечера в дымину,— начала рассказывать женщина, и в глазах ее заблестели слезы.— Почал бить меня, схватил топор: зарублю, кричит. Я на полати, он за мной, а там не размахнесся, потолок мешат. Сказал: слезешь, мол, все едино зарублю. А потом свалился у печи да и заснул с топором-от. Слезла я тихонько, да и думаю, все едино зарубит, злодей, почну сама. Вот и почала.

Слезы катились уже ручьем по щекам женщины, у писчика шевельнулась в сердце жалость, стал ладошкой отирать ей щеки. Но за спиной послышался строгий окрик стрельца:

— Эй ты, площадная душа, о чем пристав говорил? Не смей касаться осужденной. Да и кончай тары-бары.

— Счас, счас,— забормотал писчик и опять к женщине: — Надо было об этом на суде рассказать.

— Я что, не говорила?

— Ну и что судьи?

— А что? Там в помощниках целовальник Епишкин сидел, который с Варварки.

— Ну и что?

— Этот кобель как-то ко мне подъезжал, на грех склонял, я его тогда по морде ощеучила. Вот он ныне и отомстил.

— Ах, Марыска. Марыска. Ну держись. Тужься. Я ныне ж челобитную государю накатаю, уже завтрева у него будет. А ты держись. Я за работу с тебя десять алтын потом возьму. Ты согласная?

— Хосподи,— просипела женщина.— Да ежели выручишь, рубль с меня будет, шубу продам, век за тебя молиться стану.

— Ну все,— посветлел лицом писчик.— За рупь я тебя завтра ж выну, слышь, завтра ж. У меня в Разбойной приказе друг... А-а, ладно. Я побег. Держись, Марыска!

Площадный писчик убежал делать свое дело — строчить челобитную. По пути заскочил в питейный дом и, поскольку предстоял хороший заработок, выпил в долг полную кружку водки, закусил пирогом с потрохами. Пропив грош с денежкой, пообещал целовальнику завтра же воротить долг, помчался домой. Примостив на лавку бумагу, чернильницу, присел около на колени и начал писать. Однако с выпитого голова плохо «варила». «Отдохну чуток,— решил писчик.— Еще успеется». И на этой же лавке растянулся и вскоре захрапел сладко.

А меж тем уже вечерело. Постепенно разошлись с площади зеваки. Караульщики-стрельцы ушли под навесик, специально сделанный для них от дождя и ветра. Оттуда хорошо была видна голова осужденной, торчавшая из земли.

— Как думаешь, скоко она протянет? — спросил молодой стрелец старшего.

— Да дни два, пожалуй, проживет.

— А на три дня не потянет?

— Нет. Хлипка. Кабы завтра к вечеру не окочурилась.

— Може, площадный писчик выручит с челобитной?

— Може,— зевнул старый стрелец.

А несчастная Марыся со страхом ждала ночи. Тело, зажатое землей, постепенно немело, ноги затекали, и что самое тяжелое, невозможно было шевельнуть даже пальцем. А когда наступила ночь, в тишине вдруг как по команде взвыли, залаяли собаки почти по всему городу. Жутко стало Марысе. И вот уже где-то неподалеку послышался визг и рычанье собачьей стаи, которых было без счета по Москве. Тут же перед самыми глазами Марыси явился пес с горящими зелеными глазами. Не зная, как отпугнуть его, Марыся клацнула зубами и даже зарычала по-собачьи. Но голодный зверь в ответ на это схватил ее горячей пастью за щеку.

Площадный писчик вспопыхнулся ночью, все вспомнил, зажег свечу, принялся за челобитную. Закончил уже перед утром и, едва взошло солнце, помчался к Разбойному приказу. Вызвал своего приятеля на улицу.

— Петрович, горячая челобитная до государя.

— От кого?
— От бабы, вчера окопали.
— Марыска, что ли?
— Ну она.
— Зря трудился. Нет уж Марыски.
— Как нет? — обомлел площадный.— Ее только вчера перед вечером окопали.
— Ну и что? Ночью бродячая стая псов налетела, разорвали бабу. Съели.
— А что ж стражи-то? — простонал писчик.
— Ты что, не понимаешь, сторожа охраняют, чтоб не откопали. А тут псы, животные без понятиев! Это, брат, как суд Божий. А ты че в расстройстве-то?
— Как че, как че,— истерично крикнул писчик.— За ней мне рубль был. Рубль!
— Ну что ж,— посочувствовал Петрович.— Не всяка строка серебром звенит. Перетерпишь.

Глава 17

ЭТОТ НЕВОЗМОЖНЫЙ РУССКИЙ

Василий Михайлович Тяпкин, получив подробную бумагу с тайных польско-турецких переговоров, явился к гетману Пацу с протестом:

— Это что ж, пан гетман, получается? С одной стороны, вы зовете русских вместе напасть на турок, а с другой,— ведете тайные переговоры с султаном.
— Где? С чего вы взяли? — изобразил Пац удивление на лице.
— Да уж взял, пан гетман, мир не без добрых людей, кто надо и сообщил мне.
— И все же, кто это?
— А вот этого я не могу сказать.
— Мне для чего узнать хочется, пан Тяпкин, чтоб наказать брехуна.
— Вот поэтому я и не хочу сообщать его имя. Вы же сами через пана Чихровского просили помощи против турок у государя, обещая продление перемирия. И тут же шлете пана Карбовского для переговоров с турками.
— Ах, вам уже и имя резидента известно?
— Известно, пан Пац.
— Ну что,— вздохнул обескураженно гетман.— Мы и вправду отправили посланника в Седмиградскую землю,

чтобы как-нибудь задержать турок от нападения на Польшу, а между тем мечтаем заключить договор о соединении с царским войском. Если твой государь из подозрительности не хочет соединить своих войск с нашими, то король готов дать заклад какой угодно, готов сына своего отправить в Москву заложником, лишь бы только царское величество велел соединить войска без всякого подозрения и опасения.
— Ну а если султан даст мир Польше?
— То королевское величество тебе тотчас об этом объявит.
— А на каких условиях вы согласны заключить мир с султаном?
— На условиях возвращения Каменца и всех завоеваний.
— Но султан наверняка на это не согласится.
— Тогда делать нечего,— вздохнул Пац.— Уступим все, чтоб республике не погибнуть. Но за это Бог взыщет на вас, пан Тяпкин, на вашем государстве. Республика в отчаянном положении, а вы переманиваете к себе Дорошенко, забираете наши города: Чигирин, Канев, Черкассы.
— Что государь наш принял Дорошенко с городами, пан Пац, тому вам удивляться нечего, потому что царское величество отбирает города и народы христианские не у короля и республики, а из-под ига басурманского, под которое вы их сами поотдали еще по договорам короля Михаила.
— Но мы вынуждены были, пан Тяпкин, вынуждены, не своей волей, видит Бог.
— Вот и ныне султан вас за горло берет, тоже станете уступать не своей волей?
— Ну тут мы еще поглядим, пан Тяпкин,— гетман полуобнял Тяпкина, наклонился к уху, сказал негромко: — Может, как другу, пан, все же скажет, от кого получил ведомость о наших переговорах?
— Э-э, нет, пан Пац,— молвил Тяпкин, освобождаясь из объятий гетмана.— Сие ни дружбой, ни золотом не продается.
— Ф-у-у, невозможный ты человек, пан Тяпкин, надо будет написать в Москву, что терпеть тебя уж нет сил.
— Пишите, пан гетман, разве я возражаю. Я и не такое терплю от ваших сенаторов.
— Паны сенаторы не могли вам обиды чинить, пан Тяпкин, коли король вас жалует.
— Не мне чинили, но моей вере. Когда я обмолвился о наших пленных, которых турки в полон гнали, паны не скрываясь радовались, что-де так им, схизматикам, и надо. И они ж еще с нами союза ищут. Для чьей выгоды?

Поздно вечером при одной свече (экономии ради) Василий Тяпкин строчил очередное донесение в Москву: «Волохи и молдаване, знатные особы приходят ко мне и говорят, чтоб великий государь приказал силам своим смело наступать на Крым, а когда Бог благословит, Крым возьмут, то все христианские земли, не только Украина, Волынь, Подолия, но и волохи, и молдаване, и сербы поддадутся под высокую руку царского величества...»

Свеча светила едва-едва, Тяпкин, поплевав на пальцы, снял нагар. Немного посветлело. Он продолжал быстро, дабы при лучшем свете поспеть: «Теперь турки в большом числе стоят наготове, куда пойдут — в Польшу или к Киеву — узнать не по чему, только по некоторому тайному согласию у турок с поляками надобно ожидать турок к Киеву, и потому господари молдавский и валахский наказывают, чтоб государство Московское было в великой осторожности...»

Тяпкин насторожился, за окном послышался шорох, он бесшумно встал из-за стола, приблизился к окну. Там никого не было видно, лишь деревья шевелили темными листьями. «Помстилось,— подумал Тяпкин, возвращаясь к бумаге.— Пугливее зайца стал».

«...Полякам очень не хочется, чтоб Крым и помянутые земли были под властью великого государя, по причине православной веры, которая тогда бы обняла кругом области Римской империи. Поляки — ненавистники Церкви Божией. Лютеранских и кельвинских костелов не смеют так разорять, как разоряют и пустошат восточные церкви, потому что за костелы стоит шведский король и курфюрст бранденбургский, которые об этом в договорах написали. Поэтому здешние православные христиане просят великого государя внести в договор с Польшей, чтобы не было им гонения от католиков».

Поляки не смели задерживать почту резидента, но распечатывать ее и прочитывать считали вполне приличным.

И увидев однажды в Сенате Тяпкина в окружении сенаторов, проходивший мимо король гневно вскричал совсем не по-королевски:

— Пан Тяпкин,— и даже палкой застучал о паркет,— по твоим затейным письмам мы до сих пор не можем заключить с царским величеством союз и получить помощь.

— А стоит ли читать эти затейные письма, ваше величество? — отвечал, бледнея, Тяпкин.

Ответ был дерзостен, это вполне оценили сенаторы и тут же истаяли, словно и не были возле русского резидента.

— Да как ты смеешь... да я тебя...— задохнулся в гневе Собеский, но, видимо, вовремя вспомнил о своем высоком статусе, резко повернулся на каблуках, аж взвизгнул паркет, и быстро пошел, громко стуча палкой об пол.

Тяпкин понимал, что дерзость с королем ему даром не пройдет. И не ошибся. Вскоре его вызвали к гетману Пацу.

— Пан Тяпкин,— заговорил Пац строго.— Вы изволили в ваших письмах в Москву неверно и пристрастно излагать все происходящее здесь у нас.

— У меня есть глаза и уши, пан гетман. И я пишу моему государю, что вижу и слышу. И впредь буду то ж писать.

— Но мы посвящаем вас во все наши действия ведь не ради вашей личности, пан Тяпкин.

— Знаю, пан Пац, вы посвящаете меня в ваши лукавства, дабы я передавал их моему государю за чистую правду Но так не получится, пан гетман, я скорее отрублю себе руку, чем обману доверие моего государя.

— Вы потеряли доверие нашего короля, пан резидент, и потому должны немедленно уехать в Варшаву. Король не желает вас видеть в Кракове.

— Ваш король забыл, пан гетман, что я подданный не его, а своего великого государя. И только он сможет меня выслать или отозвать. Пусть король обращается к нему, если он действительно король, а не простой шляхтич.

— Да вы предерзостны, пан резидент,— возмутился гетман Пац.— Так знайте, король хотел отправить вас в крепость, но я уговорил его не делать этого.

— Ну что ж, русский резидент в крепости, это б явилось прекрасным подтверждением его правоты.

— Пан Тяпкин, я заявляю вам от имени короля, что вы немедленно должны покинуть столицу.

— И не подумаю, пан гетман.

— Тогда вас увезут силой.

— Это другое дело. По крайней мере мне дорогу не придется оплачивать. За королевский кошт я готов.

Тяпкина увезли в Варшаву, забыв, однако, что он не польский подданный. Он тут же воротился в Краков и подоспел в самый раз. Из Седмиградской земли прискакал гонец от польского резидента и привез условия визиря столь жесткие и жестокие, что королевскому двору было не до русского резидента.

Условия гласили: «Польша должна уступить Турции на вечные времена Каменец, Подолию, Волынь, Украину, всю по обе стороны Днепра. Поляки не должны вступаться, когда турки будут отбирать города, занятые русскими. Зато

султан прощает полякам дань, обещанную еще королем Михаилом. Пусть поляки скорее высылают комиссаров для заключения мира, пока султан и визирь не вошли в польские пределы, а если войдут, то и на этих условиях не заключат мира».

Два Паца — гетман и канцлер прямо сказали Тяпкину:

— Пиши, скорее пиши государю, чтоб наши войска соединить.

— Что же вы на соединение пошлете, панови, если вы уступаете султану все: и свои и чужие владения?

— Какие чужие?

— А Украина Левобережная чья? Разве ваша?

— Но, пан Тяпкин, то ваша вина, что не хотели войска наши соединить!

— Но вы ж сами продление перемирия обставили столькими условиями, что вступило в противоречие одно с другим.

— Но поймите и нас, что утопающий и за бритву хватается.

Комиссары были посланы тайком от русского резидента, хотя гетман Пац и обещал Тяпкину его присутствие при заключении договора с султаном: «Обойдемся без этого невозможного русского».

И когда Тяпкин явился за объяснениями к подскарбию коронному Морштину, тот сам начал с упрека:

— Мы очень удивляемся, что государь ваш не объявил нашему государю о взятии украинских городов.

— Еще больше удивится царское величество,— отвечал Тяпкин,— что ваш государь, презрев договоры, заключил мир с султаном, не договорившись с царским величеством, даже и мне, резиденту, который должен был присутствовать при переговорах, объявить не велел.

— Мы это сделали поневоле.

— И что ж вы уступили султану?

— Подолию с Каменцом. Украина оставлена за казаками по старым рубежам, кроме Белой Церкви и Паволочи.

— А кому отошла Белая Церковь и Паволочь?

— Нам, разумеется.

— Ну что ж, вы туркам уступаете, а великому государю приходится силой забирать вами уступленное. Да вы еще и обижаетесь, что берет государь эти города, вам не объявляя.

— Вот государь ваш Дорошенко сманил, а ведь гетман этот сносился с ханом и султаном. Не боитесь его?

— Это все слухи.

— А дыма без огня не бывает, пан Тяпкин.

Но Тяпкин не брал этого на веру, понимая, что поляки, злясь на Дорошенко, хотят просто опорочить его, и в донесении очередном писал: «Слухам этим нельзя совершенно еще верить, только надо соблюдать большую осторожность и проведывать о нем сущую правду, или, для большей его верности, жену его, детей, братьев, тестя и тещу держать в Москве, а ему обещать большую государскую милость и награждение, чтоб верно служил: потому что много поляки из зависти с сердца на него клевещут, желая, чтобы он пропал. Боятся его, потому что он воин премудрый и промышленник великий в войсковых поступках, все их польские франтовские штуки не только знает, но и видел. Король, сенаторы, гетманы и все войско про него говорят, что нет такого премудрого воина не только на всей Украине, но и в целой Польше».

Сейм утвердил Журавинский договор с султаном. А 21 марта 1677 года король, позвав к себе Тяпкина, повел его в сад, где опять клялся в совершенной и бескорыстной любви к великому государю.

— Пан резидент, пиши все мои слова, чтоб царское величество не подозревал меня ни в каком лукавстве, но считал бы меня верным братом и ближним другом. Мир этот с турками не сладок мне, принужден я к нему страшными силами поганскими, которые мне нельзя было одолеть без помощи...

Тяпкин согласно кивал головой на эти королевские признания, и ему искренне становилось даже жалко своего высокого собеседника, а временами он ловил себя на мысленном желании погладить короля по голове, как обиженного ребенка: не плачь, малыш, найдутся твои цацки.

Глава 18

ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ

С великим трудом и страхом добрался стряпчий Перхуров на трех подводах до Запорожской Сечи. Вез он туда государево жалованье и грамоту, которые должны были обнадежить запорожцев в поддержке Москвы. Сечь произвела на стряпчего удручающее впечатление: избы, более похожие на сараи, не имели даже нар, казаки спали прямо на земляном полу, до сотни в одном таком сарае. Все были грязные, оборванные, и если что блестело на них, так это оружие.

Кошевой атаман Иван Серко оказался сухопарым, высоким стариком с седой головой и небольшой седой же бо-

родкой. Глаза с насмешливым прищуром, нос горбат, как у турка.

— Государево жалованье — это хорошо,— сказал Серко.— А то мы считали, государь забыл о нас. Если кто и помнит, так это гетман Самойлович, да и то лишь для того, чтоб вредить нам.

— Но государь не велит ему этого,— сказал стряпчий.

— Государь не велит, а он свое творит. Хлеб к нам не пропускает. Месяцами на одной рыбе сидим. А ведь если турки пойдут, кому первому встречать? Нам!

Серко вызвал есаула с писарем, распорядился:

— Что на возах, примите и поделите на всех поровну. Что там у тебя?

— Там сукна и касса,— отвечал Перхуров.

— Сколько в кассе?

— Десять тысяч рублей серебром.

Кошевой поморщился, распорядился:

— Кассу сюда в канцелярию, делите пока сукна.

Когда есаул и писарь ушли, Серко, помолчав, молвил грустно:

— Десять тысяч на мою прорву... Разве это жалованье? Вон султан тридцать тысяч золотом обещает.

— Сюда путь долгий, опасный, разбой на дорогах. Много денег везти рискованно.

— С тобой же эвон охрана была.

— Что это за охрана, пять человек. А шайки разбойные индо до сотни доходят. Не то что ограбят, а и живота лишат.

— Тут, пожалуй, ты прав. Но как в Москве не понимают, что нам же жить чем-то надо. Ну, мне еще хорошо, у меня пасека своя в восьми верстах отсюда. А рядовой казак? Ни жены, ни угла своего, зипун да сабля. Ему с чего жить? Либо с жалованья, либо с разбоя. Вон налетит такой голодный да злой, к примеру, на тебя. Или голову сложит, или кассу возьмет. Ну, если голову сложит, ему уж более ничего не понадобится. А если казну возьмет? То-то ему радости. Десять тысяч одному до конца жизни хватит куражиться. А на всех это по рублю. На эти деньги года не протянешь, разве что ноги. Москве давно это понять надо, что охрана дело не дешевое. Грамотами сыт не станешь.

— В Москве говорили, что у вас есть грамота Юрия Хмельницкого.

— Ну есть. Ну и что? Этот сам с султанского стола крошки собирает. Объявил себя князем малороссийским. А какой он князь? Бычий пузырь надутый, шилом ткни — и лопнет. Впрочем, я тоже вроде Юраса существую. Казаки

меня плохо слушаются. А почему? А потому что Москва не шлет мне ни булавы, ни знамени. Была б у меня булава, казаки б у меня были шелковые.

— Но тебя ж на кругу выбирают.

— Ну на кругу. Но булавы-то нет. И я знаю, отчего Москва не шлет ее мне. То гетман Самойлович против меня, из-за него и не шлют. Вот почему ты, когда ехал сюда, не захватил с собой булаву, которая мне, как кошевому, по закону положена? Почему?

— Ну что мне поручили, я то и... Кабы знал, я бы, конечно, напомнил.

— Вот то-то. Всякий раз присылают свежего человека, ему объяснишь, он вникнет, посочувствует, обещает слово замолвить. А Москва в другой раз его не шлет, шлет другого, нового. Отчего так?

— Ну, у Москвы не одна Сечь в голове, Иван Дмитриевич.

— Вот то-то, что мы у Москвы в пасынках. Вспомнят — пришлют, не вспомнят — и так хорошо, не выведутся

Принесли в канцелярию кассу — сундучок, окованный железом. Перхуров передал кошевому ключ.

— Считай, атаман, и распишись в получении. Султан тридцать тысяч только обещает, а государь десять тысяч без обещания прислал, да и еще сколько сукна вам на зипуны. Когда грамоту будем читать?

— Да уж завтра, наверно. Ныне казаки дележом заняты. Дай Бог, к ночи управятся. Сейчас буду сотников собирать, деньги выдавать.

— А сколько в Сечи народу?

— А Бог его знает. Може, и тысяча, а може, и все десять тыщ. Мы точное число никогда не знали. Иной раз в поход выступит семь тысяч, а ворочаемся все десять.

— А как же так?

— Ну как, все просто. Драться иные уж не могут, кто по старости, кто по болезни, а вот дуванить — добычу делить — тут все горазды, и кривые и слепые. Кто ж убогого обидит, вера не велит.

— Чтоб ты знал, Иван, государь о тебе с великим уважением говорит. А твое письмо, которое вы писали когда-то султану, он на память помнит.

— О Господи, когда это было-то,— усмехнулся Серко, явно польщенный.— Я уж и не помню, о чем оно.

— А государь его наизусть сказывает, да так-то смеется тогда. Бояре тоже ржут как жеребцы, едва с лавок не падают.

— Да уж перцу в том письме хлопцы понатрусили изрядно, зато потом и султан всыпал нам по первое число. Что уж поминать-то? Давно все быльем поросло.

— Знать, не поросло. Иван Дмитриевич, коли великий государь помнит, да еще и веселеет от вашей намятки. Не поросло, атаман.

На следующий день ближе к обеду под удары тулумбаса — большого турецкого барабана на площадь перед куренем кошевого собрались казаки. Вместо степени служила тут оповедерная рассохшаяся бочка, давно забывшая о своем прямом предназначении. Влезши на нее, Иван Серко, призвав казаков к тишине, дал слово «государеву человеку».

Стряпчий, взойдя на бочку, вынул из-за пазухи грамоту, на глазах у всех сорвал печать, развернул и, прокашлявшись, стал читать:

— «Божьей милостью от великого государя и великого князя Федора Алексеевича всея Великой, Белой и Малой Руси самодержца Владимирского, Московского, Новгородского, царя Казанского, царя Астраханского, царя Сибирского, государя Псковского и великого князя Тверского, Югорского, Пермского, Вятского, Болгарского и иных, государя и великого князя Новагорода Низовские земли, Рязанского, Ростовского, Ярославского, Белозерского, Удорского, Обдорского, Кондинского и всея северные страны повелителя, и государя Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинские земли Черкасских и Горских князей и иных многих государств государя и обладателя от нашего царского величества всему Войску Запорожскому нашего царского величества милость и жалованье...»

Перхуров, переведя дух после перечисления всех царских званий, взглянул на притихшую вольницу поверх грамоты, подумал: «Что, сукины дети, скушали?» И продолжал:

— «...Мы, великий государь, принимаем под нашу высокую руку Запорожскую Сечь, назначая содержание денежное, кормовыми, ружейными и прочими припасами и всегдашней нашей милостью и приязнью. Уповая на преданность низового казачества, тщим себя надеждой в верной службе вашей христианской державе и мне, великому государю. Пусть и впредь неприятели поганские трепещут вас и боятся. Чем острее будут ваши сабли и мечи, тем надежнее будет стоять мир и тишина в государстве нашем. Пусть всегда с вами будет Бог и наше царское благословение. *Федор*».

Вольница выслушала царскую грамоту внимательно, не перебивая стряпчего. Но едва он кончил чтение, как тут

же загорланили казаки, и в такой разнобой, что Перхуров не знал кого слушать.

— Сукон прислано мало-о! — орали одни.— По рукавке на брата досталось.

— Жалованье тоже мало! Год не платили и всего по рублю отвалили.

— Чем жить нам? Ну скажи, коли тебя государь прислал.

— Государь пришлет еще,— отвечал Перхуров, хотя мало верил в это, зная, что в казне денег нет.— Мне поручено было главное: узнать, куда Сечь клонится.

— Мы христиане, мы всегда наклонялись к великому государю. Но он плохо слышит нас. Донцов боле любит.

— Самойлович не пускает к нам хлеб. Нам что, у хана просить?

— Геть такого гетмана!

— Геть, геть, геть,— подхватило все сборище, и вверх даже шапки полетели, что означало одобрение такого решения.

Стряпчий не знал что делать, оглянулся на кошевого вопросительно, тот пожал плечами, мол, народ требует — не я.

И когда немного утихло, Перхуров сказал:

— Я передам ваши требования государю, хотя...— и прикусил язык, понимая, что объяснять что-либо обозленной толпе бесполезно, тем более он-то знал, что Самойловича Москва никогда не уберет, и не только потому, что он вполне устраивал царское правительство, но и потому, что на поводу черни великий государь никогда не пойдет. Ибо кто бы ни был гетманом, милым для всех он никогда не станет.

Государь внимательно выслушал отчет Перхурова о поездке, спросил:

— По нашим сведениям турки вот-вот выступят на Украину. Как ты думаешь, Сечь будет встречать их боем?

— У них мало боевого припасу. Они кричали, что разбегутся по островам и там станут отсиживаться. И кроме того, у них есть пленные крымцы, они хотят продать их хану. По-моему, ныне Сечь не готова оказать сопротивление султану. Кроме того, они очень обижены на гетмана Самойловича.

— И что их мир не берет,— вздохнул Федор Алексеевич.— Сколько раз уж просил Ивана Самойловича не раздражать Серко. Нет. Грызутся. Доносы друг на друга стро-

чат, а мне все читать. Ну спасибо за то, что съездил, Перхуров. Устал, поди?

— Устал, государь. Дорога не легкая, да и дальняя.

— Ну, отдыхай. Не забудь ныне по дворце на обеде быть.

— Спасибо, государь.

Перхуров ушел. Федор Алексеевич посмотрел на бояр, сидевших по лавкам, спросил:

— Ну что будем делать?

— Надо к Самойловичу человека посылать. Надежа на Серко плохая,— сказал князь Голицын.— Хорошо бы, если б гетман взял под себя Кодак, тогда б можно было турок на самом низу остановить, не пустить к Чигирину и Киеву.

— А кого бы послать можно было?

— Я видел в передней Александра Карандеева, государь,— сказал Апраксин.— Он человек воинский, подошел бы для этого.

— Родион Матвеевич,— обратился государь к Стрешневу.— Позови Карандеева.

Карандеев, стройный, высокий молодой человек с черной как смоль бородкой, войдя, поклонился государю, сказал учтиво, но твердо:

— Я слушаю твой указ, великий государь.

— Мы тут решили, полковник, послать тебя к гетману Самойловичу, повезешь ему и всей его старшине от меня соболей и атласы на платье их женам. Скажешь, что шлю я это им за их верную службу. Далее, попроси гетмана, чтобы он помирился с Серко обязательно. Нельзя допустить, чтобы Сечь взяла сторону турок. И еще скажи ему чтоб прислал он сюда жену Дорошенко, нехорошо семью разбивать. И чтоб оканчивал дело Рославца и Адамовича. Вот и все. Надеюсь, запомнил?

— Запомнил, государь.

— Тогда, пожалуйста, повтори, что тебе велено.

— Отвезти царские подарки, заставить помириться с Серко, чтоб прислал жену Дорошенко и оканчивал дело Рославца с Адамовичем.

— Все верно, Карандеев, но мирится с Серко не надо «заставлять», а скажи, что я прошу его помириться. Не заставляю, а прошу. Хорошо?

— Хорошо, государь. Я понял.

— Ступай с Богом. Да перед отъездом зайди к князю Голицыну, он тебе по военным делам укажет.

Когда Карандеев ушел, Хованский, заерзав на лавке, заметил:

— Федор Алексеевич, ты царь, повелевать должен, а ты какого-то гетмана просишь! Да цыкнул бы на него, да стукнул бы посохом: «Помирись!» Никуда бы он не делся.

— Может, ты и прав, Иван Андреевич,— вздохнул Федор.— Но я ведь не Иван Грозный. Правлю, как умею. Ты же сам тащил меня на это седалище. Тащил?

— Тащил, государь.

— Вот и терпи,— усмехнулся устало Федор.— А ныне, господа бояре, прошу простить меня, что не смогу с вами трапезу разделить, что-то занеможилось. Пойду в свою опочивальню, а вас зову в трапезную. Пособи, Матвей Васильевич.

Апраксин взбежал к престолу, помог царю подняться и бережно под руку повел вниз. Стрешнев распахнул дверь, ведшую в покои.

— Ну что, Матвей Васильевич, отстроился после пожара-то? — тихо спросил Федор.

У Апраксина глаза заблестели от подступивших слез умиления: царю плохо, а он помнит о такой мелочи.

— Отстроился, государь. Отстроился.

— Добрые хоромы?

— Добрые, государь. Лепш прежних.

— Ну и слава Богу. Приеду как-нибудь посмотреть. Приглашаешь?

— Приезжай, государь, приезжай. То-то радости принесешь нам.

В Батурине Карандеева встретили с великими почестями. Оно и понятно: привез дорогие подарки от государя — соболей, атласы. Гетман со старшиной закатили царскому посланцу пир с доброй выпивкой и даже гусляром, певшим под гусли чудесные малороссийские песни. Понимая серьезность своей миссии, Карандеев деловых разговоров за столом не заводил, все отложив «на трезвую голову». И на следующий день после завтрака приступил к делу.

— Гетман, государь озабочен твоими ссорами с Серко, очень просил тебя помириться с ним.

— Да я готов, хоть завтра. Но государь не знает, какая это бестия, Иван Серко. Он же сносится с ханом. Сейчас снюхался с Юраской Хмельницким.

— Ну, с ханом он, наверное, сносится из-за полона. Пленные татары — это ж живые деньги.

— А с Юраской? Это что? Тоже деньги? Нет, Юраска себя великим князем наименовал, а Серко сулит гетманство над всей Украиной.

— Ну, Хмельницкий еще не великий князь. Это кукла в руках султана. А вот с Серко бы ты помирился все же. Очень уж государь просил.

— Поглядим, как он визиря встретит. Если саблей, я готов, а если хлебом-солью, то пробачьте.

— Князь Голицын советовал тебе крепость Кодак осадить и взять, елико возможно, дабы загородить туркам проход к Киеву

— Из Москвы советовать князю очень даже просто. Осадой Кодака я все Запорожье против себя настрою, Кодак-то под Серко.

— Ну, ты пошли к нему кого из старшины, уговори, что Кодак, мол, усиливать надо.

— Нет. Серко сразу поймет, что мы на его власть покушаемся и обязательно перейдет на сторону хана и Хмельницкого. Я с этим Серко итак все время по лезвию бритвы хожу.

— Так, значит, не пошлешь?

— Нет. Ни под каким видом. Пусть князь не обижается. Мне надо войско под Чигирин вести, по доносам подсылов, турки его доставать собираются. А там гарнизон невелик, могут не устоять. А падет Чигирин, то и Киев не удержим.

— Ну ладно. С этим ясно. Еще государь просил прислать в Москву жену Дорошенкову.

— А я ее не держу. Пусть едет.

— Ну, наверное, ее надо увезти. Она женщина, ей помочь надо.

— Это не женщина — ведьма приднепровская. Горилку хлещет, как сичевик, и в Москву ехать не желает. Мало того, грозится, ежели, говорит, силой увезете, то Петру не быть живым.

— Ого! А что сам-то Дорошенко?

— А что? Он пеняет мне в письмах, что отослал его в Москву, назад в Малороссию хочет.

— А ты как?

— А что я? Его сюда, да еще в военное время, никак нельзя пускать. Государь — умница, что держит его там. Нам с Серко хлопот выше головы, только еще Дорошенко тут не хватало.

— Еще государь спрашивает о деле Рославца и Адамовича

— Этих я отправлю за караулом в Москву и буду бить челом государю, пусть им местожительством Сибирь определит. Так-то покойнее будет. Они у меня уже в печенках сидят

Глава 19

ПЕРВЫЕ СТЫЧКИ

Четвертого августа 1677 года Ибрагим-паша подступил к Чигирину, велел звать к себе Хмельницкого, ехавшего в обозе. Юрий Богданович явился навеселе, что претило высокому мусульманину.

— Ты ныне — князь малороссийский, напиши приказ чигиринскому командиру сдаться на милость победителя.

— Великолепная мысль,— согласился Хмельницкий и тут же сел за стол, взял перо.— Я готов. Я мигом.

И действительно, писал он быстро и размашисто, так что перо посвистывало по бумаге и раза два даже протыкало лист насквозь.

— Прочесть? — окончив писать, спросил пашу.

— Прочитай.

— «Я, князь малороссийский Георгий Богданович Хмельницкий, повелеваю сдать мне стольный город мой Чигирин, которым незаконно распоряжался дотоле Дорошенко, предавший ныне родную землю и оказавшийся в холопах московского царя. Позор предателю и изменнику».— Окончив чтение, Юрий спросил Ибрагим-пашу: — Ну как?

— По-моему, подойдет, только вычеркни последнюю строчку

— Позор предателю?

— Да, да, да.

— Почему? Она же очень...

— Ну как хочешь,— отвечал Ибрагим-паша,— я же к твоей пользе советую.

Но пьяный Юрий не усмотрел никакой «пользы» от вычеркивания и оставил все как было. Призвали конного янычара, на длинное копье привязали белую тряпицу, на другое, поменьше, примотали грамоту Хмельницкого.

— Это копье кинешь на стену,— учил его Юрий.— Подъезжая к стене, кричи: «Грамота от князя! Грамота от князя!» А то примут за разведчика, мигом подстрелят. Повтори, как будешь кричать.

— Грамот княз! Грамот княз!

— Ладно. Сойдет. Скачи.

И янычар поскакал к Чигирину, высоко над ним на кончике копья белой чайкой трепыхался флажок.

Чигиринскому воеводе генерал-майору Траудернихту была доставлена грамота Хмельницкого. Воевода прочел ее, усмехнулся и спросил:

— Кто принес ее?

— Янычар один вершний.
— Где он?
— А он кинул ее на стену и ускакал.
— А видели, куда он ускакал?
— Это надо солдат караульных спросить.

Пришли на стену, куда брошено было копье с грамотой. Один солдат, видевший все, объяснил Траудернихту:

— Я сразу его заметил, едва он оторвался от обоза, думал уж на мушку взять. Ан вижу, над ним белый прапор, знать, не боевой янычар. А он подскакал, крикнул: «грамотный князь», и кинул копье с бумагой. Вот и все.

— А куда он потом ускакал?

— А ту ж, откуда и выскочил. Во-он шатерчик зеленый, он туда и возвернулся.

— Позовите ко мне есаула,— распорядился воевода, а когда тот явился, сказал ему: — Сдается мне, во-он в том шатре сидит «грамотный князь», а именно Юрий Хмельницкий. Подбери добрых орлов десятка два и ныне ж ночью на вылазку. Пусть привезут мне его.

— Слушаю, господин генерал.

— Хорошо, если б кто-то из них говорил по-турецки.

— Есть у меня такие, в полоне турецком выучились.

— Вот и славно. Привезут Хмельницкого, ведро горилки велю выдать.

— Хэх, если поставите еще одно ведро, казаки могут и самого пашу приволочь.

— Ладно, ладно, есаул. Не хвались, едучи на рать.

Уже за полночь, когда угомонился турецкий лагерь, оставив лишь кое-где сторожевые костры, группа казаков тихо выехала из города и, отъехав немного, спешилась, оставив в конями коноводов. Дальше пошли пешком, имея с собой лишь кинжалы и концы веревок.

Хмельницкий проснулся от возни, начавшейся в шатре, и сразу понял, что это наскок чигиринцев. В кромешной тьме слышался хрип, вскрики. Кто-то навалился на него.

— Юрас, Юрас,— громким шепотом звал кто-то.

По голосу Хмельницкий догадался, что зовут не турки. Он столкнул с себя человека и, свалившись с ложа к стенке шатра, вынул нож, полоснул им парусину, выполз через дыру наружу. Отполз от шатра, прижался к земле, притих. А из шатра доносилось хриплое:

— Вяжи всех, хлопцы. Дома разберемся, который есть Юрас.

Так одиннадцать турок, напросившихся ночевать в шатер к «князю», были уволочены казацким налетом в Чигирин, и именно невольное гостеприимство Хмельницкого,

пустившего эту ораву к себе, спасло его от плена. Будь он один в шатре, встреча с чигиринским воеводой обязательно бы состоялась.

Когда в крепости выяснилось, что среди одиннадцати пленных нет Хмельницкого, хотя все они утверждали, что спали с ним рядом, есаул, цокая языком, говорил почти с восхищением:

— Вот лис. А? Умызнул. Ну, Юраска! Теперь его и бреднем не поймаешь.

Воевода Траудернихт был расстроен:

— Как же так, братцы, вы опростоволосились? Держали голубя в руках и выпустили.

— Так темень же, господин генерал, тут чуть друг дружку не повязали,— оправдывался сотник, ходивший на вылазку.— Но мы ж не с пустыми руками воротились, эвон каких карасей притянули.

«Караси» и впрямь оказались ценными, рассказали, что Ибрагим-паша ждет прихода хана с войском, тогда будет брать Чигирин и Киев, что с полуденной стороны турки собираются делать подкоп и что навстречу гетману послан отряд янычар, который должен занять остров на Днепре и не дать русским переправляться.

— Значит, гетман идет к нам,— обрадовался воевода и велел есаулу передать всем по городу, что к ним спешит с левого берега помощь.— Пусть люди хоть этим утешатся.

И кроме того, распорядился воевода выдать казакам, ходившим на вылазку, ведро горилки. Не за Хмельницкого, которого не притащили, а за старание: вместо одного Юраса приволокли одиннадцать турок, и очень разговорчивых.

— Жаль, конечно,— сказал Траудернихт.— Он же требовал сдачи города. Хотел я ему лично вручить требуемое. Не захотел «князь», сбежал. Сам виноват

А между тем под Снятином соединились Самойлович с Ромодановским.

— Надо послать Чигирину помощь.— предложил князь.— Сильно мал там гарнизон.

— Хорошо,— согласился гетман.— Я выделю полк пехотный сердюков.

— Ну а я драгунский полк.

Объединенной группе пехоты и конницы приказано было спешить днем и ночью, что и было блестяще исполнено. Приблизясь к Чигирину ночью, драгуны и сердюки, ударив внезапно туркам в спину, подняли в лагере врага панику и прорвались в Чигирин без потерь. Приход их очень ободрил осажденных, и воевода Траудернихт уже в

следующую ночь устроил вылазку, и не маленькой группой, а целым полком. Но на этот раз приказано было не волочь пленных, а брать трофеи. Воротившиеся с вылазки приволокли пушку с порохом, но главное, пригнали две подводы с мукой, что было совсем не лишним в осажденном городе.

Когда Самойлович с Ромодановским прибыли к Бужинской пристани, на той стороне Днепра уже хозяйничал хан с турками. С острова густо палили из пищалей, не подпуская русских даже к берегу.

Гетман вызвал к себе полтавского полковника Левенца.

— Ты когда-нибудь лучил рыбу? — спросил гетман.

— Лучил в молодости, Иван Самойлович. А что?

— Так вот, изготовь с десяток лодок к лучению. И как только станет темно, пусть они ходят у берега и лучат.

— Зачем это? — удивился Левенц.

— Чудак. Если уж ты дивишься, то турки тем более подивятся. Эти огни привлекут их внимание. Смекаешь? А ты в это время с полком зайдешь выше острова и спустишься к нему. И...

— А-а, понял я,— обрадовался Левенц.

— Слава Богу, что у меня полковники такие догадливые,— усмехнулся гетман.— Как только ты завяжешь драку, у турок пропадет интерес к лучению. Они кинутся на тебя. А я в это время уже отсюда пошлю нежинцев во главе с полковником Барсуком. Постарайтесь с острова никого не выпускать. Как только остров будет наш, мы начнем общую переправу. Тогда вы с Барсуком станете прикрывать ее.

— Все понял, Иван Самойлович. Будьте уверены, полтавцы не подведут.

В тот день прибыл гонец из Москвы с вестью для гетмана: 12 августа 1677 года Рославец и Адамович по указу царя сосланы в Сибирь на вечное поселение.

— Ну, камень с души,— молвил гетман.— Спасибо государю.

— А великий государь так и сказал, отправляя меня, чтобы хоть в этом успокоить Ивана Самойловича.

— Государь наш хоть и молод, а умница,— с чувством сказал гетман, и даже отер рукавом слезу, внезапно выкатившуюся на нос.— Дай Бог ему здоровья и многия лета. А мы уж тут потрудимся. Ты задержись, братец, на день-другой, свезешь ему хоть добрую весть.

— А будет она?

— А то как же. Мы что, с князем Ромодановским сюда шутковать прибыли? Нет, брат. Мы прибыли турку трепку задать — и зададим. Потерпи.

Остров, как и планировал гетман, был захвачен до рассвета, и сразу же началась переправа полков на правый берег. Потеря острова, свершившаяся так скоро, обескуражила турок. И поэтому, когда из воды полезли драгуны с своими палашами, турки побежали. К рассвету они были прогнаны от берега на пять верст, все Бужинское поле было завалено трупами убитых.

Чигиринцы, узнав об успехе русских на переправе, стали регулярно совершать вылазки. И когда, смятая на Бужинском поле, разгромленная орда явилась под Чигирин, Ибрагим-паша вынужден был отдать приказ об отступлении. Впрочем, даже если бы он не отдал его, бегство все равно бы продолжалось. Драгуны князя Ромодановского отчего-то особенно напугали янычар, и теперь их появление сеяло панику среди турок. «Драгун, драгун!» — раздавался крик, и все войско дружно показывало спины.

Бежавшие турки бросили весь обоз и все тяжелое вооружение. Это досталось русским и было передано для укрепления чигиринского гарнизона.

Самойлович, как и обещал гонцу московскому, тут же сел за письмо великому государю. Поделившись радостью победы, гетман писал:

«...Нужен твой указ, великий государь, укрепить Чигирин ратными людьми и хлебными запасами озапасить, точно так же, как и Киев. Да послал бы ты туда боярина с государевыми ратными людьми. Я на своих людей не надежен и Чигирин один не смогу удержать. А Чигирин покинуть нельзя, потому что всей Украине он защита и оборона добрая».

Хотел уж Иван Самойлович подпись свою поставить, но, подумав, приписал:

«А кошевой Иван Серко к пресветлому престолу вашему государскому и ко мне нежелателен, потому что перед чигиринским походом помирился с ханом и турками, во время войны никакой нам помощи не дал, и когда хан бежал через Днепр вплавь с ордами, не бил его, а велел казакам перевозить татар в челнах».

Дописав эти строки, ничего в них не выдумав, гетман был твердо уверен, что этим письмом окончательно добил своего недруга кошевого Ивана Серко.

«Уж теперь-то, голубчик, государева гнева не минуешь. Как бы за Многогрешным в Сибирь не покатился. Давно пора! Ох давно! Получилось с Рославцом, почему бы не получиться тому с Серко».

Глава 20

НЕ ДОРОЖЕ САМОЙ УКРАИНЫ

В Думе сообщение о победе над турками под Чигирином вызвало приятное оживление.

— Вот так бы всякий раз,— радовался Хованский, в жизни своей на бранном поле терпевший неудачи.— Бить, бить поганское войско. Хвала князю и гетману.

— Им-то хвала, а вот что с Серко делать,— сказал князь Долгорукий.

— С Серко надо поступить как с изменником, смерти предать.

— Нет! — возразил государь.— Не надо забывать, что кошевой Серко — воин заслуженный и народом избранный. А в том, что он с турками в согласие вступил, мы сами отчасти виноваты. Мы же Сечь только на словах поддерживали. Послали однажды жалованье, и то крохи, курам на смех. Разве не верно?

— Верно, государь,— вздохнул Одоевский.— Но откуда ж денег взять столько?

— Но вон султан нашел для этого тридцать тысяч. И пленных у Сечи выкупил за золото.

— А как же быть с гетманской жалобой? Из письма ясно, что он ждет наказания кошевому.

— Мало ли чего хочет Самойлович, а нам надо помирить их,— сказал твердо государь.— Сечь и так к нам слабо привязана, а если мы еще поддержим ссору гетмана с кошевым, что будет? А? Сами толкнем ее на союз с ханом или Польшей. Сами. Что молчишь, Матвей Васильевич, разве я не прав?

— Что ты, государь,— отозвался сразу Апраксин.— Конечно же, прав. Надо только для такого дела послать очень дипломатичного человека.

Царь взглянул на думного дьяка Иванова, возглавившего после ссылки Матвеева Посольский приказ.

— Ларион Иванович, слышишь, что Матвей Васильевич советует? Есть у тебя такой человек в Приказе?

— Есть, государь. Это Тяпкин Василий Михайлович. Как в мае воротился из Польши, так доси ничем серьезным не обременен.

— В передней его нет?

— Нет, государь. Он в Приказе.

— Родион Матвеевич, вели кому там помоложе да на ногу скор позвать к нам Тяпкина.

Тяпкин вскоре явился, запыхавшийся и несколько встревоженный: зачем зван? Но государь встретил его ласковой улыбкой.

— Здравствуй, Василий Михайлович. Во-первых, поздравляю тебя с присвоением звания полковника.

— Спасибо, великий государь. Я весьма польщен.

— Ну, а во-вторых, у нас явилась нужда в человеке, умеющем справляться с тонкими делами. И вот тут бояре едва ль не в один голос заявили: только Тяпкин сможет.

— Спасибо за столь лестную оценку, государь, но мне бы хотелось знать, что это за дело?

— А дело вот в чем! У нас гетмана Самойловича с кошевым Серко мир не берет. И причины у обоих к неприязни веские. Но нам, вернее, державе нашей сие в великий вред оборачивается. Я напишу гетману письмо об этом, а ты, Василий Михайлович, со своей стороны убеди его, что Серко я смещать не стану. Ни по какой жалобе не стану. Довольно с гетмана того, что мы Дорошенко к себе забрали.

— Но, государь, видно, есть какая-то причина к неприязни. Если меня мирить посылать, то я все знать должен.

— Верно, Василий Михайлович. Дело в том, что в Думе как-то решили все жалобы, поступающие с Украины на гетмана, отправлять ему, дабы он знал, что мы ему верим...

— Вот, вот и Серковы письма ему отправляли,— догадался Тяпкин.

— И Серковы, увы.

— Так чего ж тут удивляться. Тут надо Бога благодарить, что Сечь не пошла Батурин промышлять. И кто ж это придумал-то?

— Ну, это не важно,— сказал Федор Алексеевич.— Мы все были хороши.

Но по тому, как закряхтел и заворочался на лавке князь Хованский, Тяпкин догадался: это дело рук Тараруя.

— Хорошо, я постараюсь, государь. Но впредь прошу письма Серко, писанные тебе, к гетману не отсылать. Это игра с огнем, государь.

— Да уж теперь-то я и сам догадался. Но это дело, Василий Михайлович, как бы сказать, тайное, что ли. О нем не надо говорить, но делать его надо. А главное, о чем ты

должен обстоятельно переговорить в Батурине с гетманом, а в Курске с князем Ромодановским,— это о судьбе Чигирина. Нужен ли он нам? Не обременителен ли? И что с ним делать? Чтоб ты знал, но им не говорил, Серко считает, что Чигирин надо разрушить, что содержание его слишком дорогое, разорительное и бесполезное занятие. Не спеши сам осуждать Серко: если он не прав, то не по злому умыслу.

— А в Сечь мне не надо ехать?

— Нет. Этого дела с тебя довольно, Василий Михайлович. В Сечь поедет кто другой по твоем возвращении. Но гетману скажи, что, когда отсюда поедет в Сечь посланец, пусть он, гетман, присоединит к нему своего человека. Дабы из первых рук знать, чем дышит Запорожская Сечь. Да чтоб не дурака какого, а человека смысленого отправил.

— Хорошо, государь, я исполню все, как велишь.

— А письмо мы сейчас напишем,— сказал Федор Алексеевич и кивнул подьячему, сидевшему за столом с пером и бумагами.— Пиши.

Государь дождался, когда подьячий напишет превозвышенное вступление, положенное в царском письме, и начал диктовать:

— «За такие злые поступки Серко воздастся в день праведного суда Божия, но мы, государь христианский милосердный, не допуская его для имени христианского к вечной погибели, ожидая его обращения, те его вины и преступления отпускаем, если он эти свои вины верною службою загладит и к тебе будет так же желателен, как и прежние гетманы. За победу в чигиринской войне слава и честь тебе, Иван Самойлович, и войску твоему и заслуженные тобой милости наши». Дай подпишу.

Подписав письмо, государь снял шапку и сказал:

— А теперь, Василий Михайлович, пожалуй с нами на обед.

Бояре дружно поднялись с лавок и стояли в ожидании, когда из палаты выйдет государь с приглашенным Тяпкиным, чтобы последовать за ними в трапезную.

Тяпкин заехал вначале в Курск к князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому. Князь показал гостю солдатские казармы, кухню и артиллерию. На вопрос о Чигирине отвечал твердо:

— Чигирин оставлять ни в коем случае нельзя, тем более разорять его будет бесславно и от неприятеля страшно,

и Киев будет беззащитен. Да и сколько жизней за него положили. И вдруг оставлять. Я не согласный.

— А как в отношении снабжения его ружейным припасом и хлебом?

— Об этом надо снестись с гетманом.

— А сколько надо послать туда людей ратных и казаков?

— И это я не могу один решить, не списавшись с Иваном Самойловичем. Он очень не надежен на казаков, видимо, надо больше московских ратников. Спишимся. Решим. Отпишим государю.

Из Курска Тяпкин направился в Батурин — гетманскую ставку.

Изрядно пообмяв бока на ухабистых дорогах, прибыл он в Батурин пропыленный, пропотевший. И гетман тут же велел истопить баню для дорогого гостя, прислав ему свежее белье. А пока тот мылся, платье его было выбито служкой от пыли и очищено от грязи, сапоги начищены до блеска.

— С легким паром, дорогой Василий Михайлович,— приветствовал гетман Тяпкина, широким жестом приглашая за стол, уставленный закусками и бутылками с горилкой.— Садись, перекуси с дороги.

И тут же, взяв бутылку, стал разливать по чаркам горилку.

— Большое тебе спасибо, Василий Михайлович, за письмо великого государя. Не могу читать его посланий без слез. Какая чистая душа, какое прекрасное сердце!

— Да,— согласился Тяпкин,— государь наш душевный человек. Едва дошла до него моя слезница из Варшавы, как тут же меня завалили подарками и двойным содержанием. И я тех соболей тоже слезами окропил, Иван Самойлович. Не веришь?

— Верю. Отчего ж не верить.

— Так давай выпьем за его здоровье, за нашего великого государя Федора Алексеевича.

— За государя! — поднял чарку гетман, и глаза его блеснули влагой.

Потом выпили за счастливое прибытие гостя, потом за то, «чтоб все были здоровы».

— Послушай, Иван Самойлович, что у тебя с этим Серко — нелады? Государь очень, слышишь, очень переживает за вашу ссору. Поладьте вы наконец.

— Эх, Василий Михайлович, да я бы со всей душой. Суди сам. Я турков бью, а Серко их привечает. Это как?

— Конечно, плохо. И все же...

— Теперь вот Юраска Хмельницкий объявил себя князем Украины. Они уж и с Серко снюхались, Юраска обещал Серко гетманство над всей Украиной.

— А может, это все брехня, Иван Самойлович. Вон когда Дорошенко переехал в Москву, поляки такой грязи на него налили, просто жуть. Однако государь теми слухами пренебрег, и Дорошенко в чести у него до сих пор, и даже, слышал, воеводство ему вятское предлагают.

— Да нет, про Серко все правда, я собственными очами зрел, как его казаки перевозили в челнах турков, спасавшихся от нашего оружия. И потом, мне донес надежный человек, что в Сечь приезжал татарский бей, который учился в школе и знает языки, и они с Серко долго ходили в кустах, беседовали, и Серко присягнул на верность Юраске.

— Нет, Иван Самойлович, заглазно судить человека опасно. Вот по моем возвращении поедет в Сечь человек государев, ты к нему своего доверенного пристегни. Да чтоб этот твой доверенный сам, только сам от твоего имени переговорил с Серко, высказав ему эти обвинения. Что ответит Серко?

— Я Серко и без доверенного насквозь вижу.

— Нет, Иван Самойлович, то не я советую, государь так советовал.

— Ну, если государь советует, то пошлю войскового товарища Артемку Золотаря. Этот парень настырный, все вынюхает.

— Ну вот и решили,— удовлетворенно молвил Тяпкин и уж сам потянулся за бутылкой.— Давай выпьем за это.

— За что?

— За Артемкин нюх.

— Давай,— усмехнулся гетман и выпил вслед за гостем.

— А пока Серко не будем полоскать, тем более заглазно,— сказал Тяпкин, наваливаясь на холодец.— Не уважаю заглазных ругателей. Не уважаю. А ты уважаешь?

— Не уважаю.

— Тогда давай выпьем и за это,— снова стал наливать Тяпкин.

— За что?

— За неуваженных... нет, за неу-ва-жае-ммых ругателей... тьфу, то есть, чтоб не уважать таких.

После этой чарки Тяпкин понял, что о главном, зачем он послан, о Чигирине, ныне затевать разговор неслед, потому как соображение закачалось, а память назавтра напрочь забудет, о чем говорили. Но надо было сие согласовать с собутыльником:

— А разговорный... остальный разговорим завтра,— промямлил Тяпкин заплетающимся языком.

— Хорошо,— согласился гетман и, подозвав слугу, приказал: — Гостя в горницу. Разуть, раздеть, уложить. И не беспокоить.

Назавтра на свежую голову было приступлено к главному. Правда, перед тем Тяпкин осушил целую крынку рассола, дабы голова была еще свежее. И вправду, рассол помог. В башке прояснило, как в морозную ночь.

— Иван Самойлович, государь очень интересуется Чигирином. Можно ли этот город держать или лучше разорить?

— Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Если разорить Чигирин или допустить неприятеля им овладеть, то тогда надо сказать всем народам Украины, что уж они великому государю не нужны. Это разве можно?

— Нельзя, гетман. Я согласен с тобой.

— У нас в казацком народе одно слово и дело: при ком Чигирин и Киев, при том и они должны быть в подданстве. Если Юраска Хмельницкий засядет в Чигирине с своими бунтовщиками, то все народы, которые из-за Днепра на эту сторону вышли, пойдут опять за Днепр к Юраске. Но и это не все. А если засядут в Чигирине турки, то султан не будет посылать им через море запасов, они станут брать их с городов и сел этой стороны. И тогда туркам откроется дорога на Путивль и Севск, потому что Днепр будет в их руках.

Тут гетман взглянул на образ Спаса в переднем углу и вдруг заплакал, перекрестился.

— Мы молим, да избавит Господь Бог и великий государь нас и детей наших от тяжкого басурманского ярма.

— Т-так,— сказал Тяпкин, стараясь не подать виду, что заметил эту слабость гетмана.— Значит, Чигирин надо держать?

— Держать. И не уступать ни под каким видом.

— А как же с оружейным запасом и хлебом?— Это все подвозить надо. Правда, подводы в Чигирин очень-очень дороги, до четырех рублей за подводу приходится платить. Оно и понятно, риск великий. Иной раз и половины подвод не ворочается.

— А как с гарнизоном?

— В гарнизоне больше московского воинства должно быть. И воеводой должен быть московский начальник. На казаков худая надежа.

— Это будет дорого стоить.

— Да а кто ж говорит, что дешево. Но не дороже самой Украины. Не дороже.

Глава 21

НЕЛЮБИЕ С ИНОРОДЦАМИ

— А вот, государь, от калмыцкого тайши Аюки слезница,— сказал Стрешнев, разворачивая длинную грамоту.— Жалуется он, что донские казаки великие обиды калмыкам чинят, нападают на их поселения, грабят, воруют жен, угоняют скот.

— А что ж местные воеводы смотрят,— возмутился государь.— Я ж всегда им наказывал: инородцам обид не чинить.

— А тут вот с Дона сотники стрелецкие доносят, что казаки валят все на калмыков, что-де они первые грабить начали, а некоторые казаки даже утверждают, что на Дону, мол, есть грамота государева, утеснять калмыков разрешающая.

— Вот же вруны,— стукнул Федор Алексеевич кулаком по подлокотнику.— Василий Васильевич, что посоветуешь сделать, чтоб прекратить это междоусобие?

— Раз казаки ссылаются на твою грамоту, государь, то ты и напиши им таковую, в которой потребуй замирения. Пошли ее астраханскому воеводе и вели не в стол положить, а читать казакам и печать и руку твою казать. Донцов она убедит. Вот с яицкими казаками хуже дело, там разинщиной запахло. Некий вор Васька Касимов взбунтовал казаков, захватил Гурье-городок, взял государеву казну, пушки, порох и засел на Каменном острове со своей шайкой.

— Это хуже, князь Василий, я с тобой согласен. Надо, наверное, помочь Щербатову. С одной стороны, калмыки с донцами, с другой,— яицкий бунт. Он один не управится.

— Я, государь, позвал воеводу Салтыкова Петра Михайловича. Его бы надо со стрельцами послать туда.

— Где он? Салтыков где?

— Он в передней ждет.

— Родион Матвеевич, пригласи Салтыкова.

Воевода Салтыков явился в дверях, положил низкий поклон государю.

— Петр Михайлович, как твое здоровье? — спросил Федор Алексеевич.

— Благодарю, государь, здоров я.

— На Яике новый Разин явился, как его...— государь пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить имя бунтовщика.

— Васька Касимов,— подсказал Голицын.

— Вот, вот, Васька Касимов. Так надо бы тебе, Петр Михайлович, с твоим полком идти неотложно в Астрахань

и погасить в самом зародыше сей пожар разгорающийся. Если удастся взять Касимова, вези его сюда за караулом и в оковах. В Астрахани малолюдно, и Щербатову над ворами промышлять некому.

— Да,— заговорил Голицын,— пойдешь через Казань, захвати Мамонина со стрельцами. Они на стругах, и с ворами на море станут управляться.

Тут же была составлена грамота от государя донским казакам, которую отдали Салтыкову для передачи астраханскому воеводе Щербатову Константину Осиповичу.

Получив эту грамоту, Щербатов вызвал к себе голову конных стрельцов Змеева.

— Вот тебе, братец, государева грамота, не мешкая бери стрельцов и отправляйся вверх по Волге вперехват донским казакам. Читай им, дуракам, вслух, и пусть отправляются на свой Дон к своим куреням.

— А если не послушают?

— Послушают, раз ссылаются на государеву грамоту, разрешающую утеснять калмыков. Ну а случись, не послушают, пали из пищалей. Пищаль кого хошь убедит. Грамоте-то разумеешь?

— Нет, Константин Осипович, не сподобился.

— А как же ты, сучий потрох, читать ее собирался?

— Дык я считал, вы мне ее прочтете, и я буду, развернув грамоту, чесать по памяти. Казаки-то все равно неграмотные.

— А если сыщется среди них грамотей?

— Ну и тем лучше. Я ж буду не из головы выдумлять, а то, что вы мне зачитаете.

— И ты запомнишь?

— А то.

— Тогда слушай. «Божиею милостью от великого государя и великого князя Федора Алексеевича, всея Руси самодержца...»— торжественно начал Щербатов. Змеев, склонив голову, внимательно слушал.

— «...К вам обращаюсь я, ваш государь христианский милосердный, зачем вы, прикрываясь именем нашим, творите зло инородцам-калмыкам, разоряя их селения. Пусть они другой веры, но они верны нам, государю вашему, доказав не однажды на многих ратях эту верность. Ради спасения душ ваших я отпускаю грехи ваши, во злобе сотворенные, но заклинаю Всевышним не творить более зла инородцам, а жить с ними в дружбе и мире. Ворочайтесь к домам своим и острите сабли ваши на недругов моих, а

не на слуг государевых. Злом за зло воздавать не велю. Великий государь Федор Алексеевич».

— Ну, запомнил?

— А как же, Константин Осипович, если хошь я слово в слово весь наш нынешний разговор повторю.

— Разговор мне не надо, ты давай повтори грамоту государеву.

— Пожалуйста, слушай. «Божиею милостью от великого государя и великого князя Федора Алексеевича, всея Руси самодержца...»— начал без запинки Змеев, повторяя даже и интонации, только что услышанные от воеводы.

Воевода, уткнувшись в грамоту, следил по тексту. И когда Змеев торжественно закончил: «Злом за зло воздавать не велю. Великий государь Федор Алексеевич», Щербатов посмотрел на него с удивлением, как будто впервые видел.

— Ну голова, Змеев, у тебя, голова! И надолго запомнил!

— На всю жизнь, Константин Осипович. Хочешь, повторю твой прошлогодний приказ по разбою на Волге?

— Я-то уж забыл о нем. Да и того достаточно, что тут начудесил. Держи грамоту, и все равно ее разворачивай, когда будешь читать.

— Это само собой, Константин Осипович, казаки меня за грамотея примут. Не боись.

— Как пойдешь-то, водой или берегом?

— Водой вверх, пожалуй, шибко тихо будет. Побежим вершними правым берегом. Эдак-то скорее настигнем, а там для перехвата добуду какую посудину.

— Ну с Богом. А у нас тут с воеводой Салтыковым другая забота — вор Васька Касимов.

— Пока он на острове, пусть сидит. Его бить надо, когда на стругах выйдет в море.

— Знаю. Этот сучий потрох и так у меня уж сколь стрельцов перебил, переранил.

Нагнал Змеев казаков у Черного Яра: причалив к берегу двадцать две лодки, варили донцы себе кашу.

— Здравствуйте, донцы-молодцы,— весело приветствовал Змеев настороживших казаков, поднимавшихся от кипящих котлов.— Далеко ль собрались?

— А како твое дело. Собрались — подпоясались, варим да хвалим.

— Кто атаман? — уже серьезно спросил Змеев.

— Игнатьев.

— Давай его сюда.

Подошел атаман, борода белая, ус черный, сабля на боку

— Ну че?

— На калмыцкие улусы подались,— сказал Змеев, и непонятно, спрашивал ли, утверждал ли.

— Ну пусть так. А тебе-то что надо?

— Вас мне и надо. Я вам привез государеву грамоту, вот она!— Змеев легким движением раскатал перед изумленным атаманом грамоту.— Видишь?

— Вижу,— признался атаман.— Только я грамоте не обучен.

А уж меж казаками зашелестело заветное: «Царская грамота, царская грамота». И потянулись все поближе к атаману.

— А есть кто грамотный?

— Есть,— отвечал атаман и тут же позвал: — Филипп, Филя, подь сюда.

Подошел неказистый казачок, более на подростка похожий, не на мужа.

— Филя, вот посмотри, сказывают, это царская грамота.

Филя посмотрел, боясь даже прикасаться к грамоте, посмотрел прямо в руках Змеева. Побледнел, сказал с некоторым испугом:

— Точно. Вот написано, великий государь Федор Алексеевич, а вот и печать царская. Она это. Царская грамота, братцы.

— Так я прочту вам ее,— сказал Змеев.

— Стой, дай хлопцев собрать. Эй, хлопцы, давай до кучи. Грамоту царскую привезли.

Змеев, сидя на коне, хорошо высился над толпой казаков, но когда поднес к глазам грамоту, то привстал еще в стременах на носки, став еще выше. Читал громко, выделяя каждое слово. Прочел. В полной тишине скатал грамоту, взглянул вопросительно на Игнатьева: ну?

— Ну что, хлопцы,— заговорил атаман.— Злом на зло государь не велел воздавать. Прав великий государь, мы христиане. Надо, братцы, назад повертать.

Зашумели, завздыхали казаки:

— Супротив государя неможно.

— Сразу рассудил. Смысленый.

— Оно, конечно, калмыки нам великие пакости творили, но что делать. Тоже государевы слуги.

— Пойдем домой, хлопцы, поперек государю грех становиться.

— Послухай,— сказал атаман Змееву.— Как я понял, ты сотник стрелецкий.

— Голова.

— Ну голова, все едино начальник. Вишь, сколь твоих на буграх-то стоят, да все с пищалями. Уж не на нас ли заряжены?

— Что ты, атаман, пищали мы на волков захватили, тут их тьма. А кони их дюже полохаются. Я ж к вам один подъехал без пищали.

— У тебя царская грамота, она сильней и пищали, и пушки потянет, однако. Можешь ехать и сказать государю, что донцы его слухаются. Почитай, теперь весь Дон будет о грамоте гутарить. У меня тут едва не со всех хуторов казаки, около двухсот пятидесяти. Разъедутся, всем перескажут. Так что пусть государь спокоен будет.

Но государю «спокоя», видно, не полагалось. Почти в то же время взбунтовали и ясачные тунгусы. Взбунтовались из-за злоупотреблений ясачного сборщика Юрия Крыжановского, но, как водится, сорвали зло на других. Напали на группу казаков, ехавших из Якутска в Охотск. Как природные охотники, напали из укрытия и внезапно, что и способствовало успеху. Казаков перебили, а обнаружив в возке плачущую женщину, спросили как ни в чем не бывало:

— Зачем плацес, матка?

— Ироды, вы ж мужа мово убили.

— Мы не знали, какая твой муж. Нице, есе много муж будет, матка. Не плаць, не плаць. А иди в Охотск и сказы приказному Ярызкину, цто мы побили казаков за обиды ясацкого сборсика Крызановского.

— Но мы-то, мы-то при чем,— плакала женщина.— Ясачий сборщик вас обижает, а вы казаков убиваете.

— Мал-мал осибка высел, матка. Мы думал, он с вами. Так полуцилось, матка. Ты слусай, цто говорят тебе, слусай. Сказы приказному, цто Крызановский брал с нас соболя добрые, рыси и олени, а с целовека по пяти соболей, и малых робят у нас выискал и велел за них нести по соболю. Малый рази охотник? Какой с него соболь? Отбирал соболей силой и плевал в глаза. И жен и детей наших на блудное дело таскал. Осень плохой целовек Крызановский, осень плохой. Сказы приказному, матка.

Не успела «матка» добраться до Охотска и сообщить приказному Петру Ярыжкину о беде, случившейся на дороге, как под стены города явились тысячи тунгусов и стали осыпать город стрелами.

— Кто их привел? Кто ими командует? — кричал Ярыжкин, бегая по канцелярии.

— Говорят, Зелемей привел их. Пустил слух, что казаки в Якутске все перемерли и теперь можно Охотск промышлять.

— А где этот чертов поляк Крыжановский? Из-за него все это началось. Где он?

— Он заперся в своей ясачной избе, палит из пищали. Но тунгусы собираются поджигать его, сухой лапник под стены таскают.

Ярыжкин поймал Егорку-толмача.

— Слушай, иди позови сюда Зелемея, скажи, я говорить с ним желаю. Ступай.

Егорка, ухватив крышку от засольной кадушки и заслонясь ею, как щитом, от стрел, густо летящих, выскочил за заплот, закричал по-тунгусски:

— Не стреляйте! Не стреляйте! Я к Зелемею.

Пара стрел все же впилась в крышку, потом по нему не стали стрелять.

— Зелемей,— сказал Егорка,— приказный Ярыжкин зовет тебя для переговоров.

— Не верю я ни твоему Ярыжкину, ни Крыжановскому.

— Но зачем вы пришли, окружили город, засыпали стрелами?

— А вот он узнает, зачем мы пришли. Ныне у нас сила.

— Но Крыжановского-то отпустите в город.

— Нет. Крыжановский главный злодей, мы его поджарим как куропатку. Хватит, поиздевался.

— Но что мне сказать приказному? Каков твой ответ?

— Скажи ему, что Зелемей не песец, который сам в ловушку идет. Ныне сам Ярыжкин и Крыжановский в капкане. Ха-ха-ха.

Вернулся Егорка-толмач в город ни с чем.

— Ну? — спросил в нетерпении Ярыжкин.

— Не придет. Он считает, что ты его заманиваешь.

— Эх, якори его, как же ты не смог убедить тунгуса. Это что?

— Что «что»?

— Крик какой-то.

— Это они Крыжановского в его ясачной избе прихватили. Он орет.

— Эх, якори его, надо идти выручать полячишку, все ж живая душа.

А меж тем Крыжановский в избе, в которой тунгусы уже выломали окна, орал истошно:

— Помо-ги-те-е-е! Спасите-е-е!

Стрелы летели уже в горницу, и бедному сборщику ясака приходилось прятаться за столом, за прилавком, закрываясь мешками с мягкой рухлядью.

— Ой, матка боска,— лепетал Крыжановский.— Ой, спаси и помилуй. Спасите-е-е!

Пришлось приказному Ярыжкину, облачась в кольчугу и железный шлем, вывести из ворот казаков с пищалями, отогнать тунгусов и спасать насмерть перепуганного сборщика ясака.

— Эй, якори тебя, сколь говорил, обустраивайся в городе. Не слушал. Вот и попался.

— Кто ж думал, что эти твари взбулгачатся.

— Они вон казаков перебили, шедших сюда из Якутска. И все по твоей милости, якори тебя. Теперь как их замирять будем. А?

Федору Алексеевичу неможилось, он лежал в постели. Стрешнев читал ему доклад из Якутска:

— «...А Юрий Крыжановский добрых соболей отбирал себе, а худых для казны государевой отправлял. А приказной Петьша Ярыжкин, зная это, не пресекал зло, а за корысть потворствовал вору, что и возбудило нелюбие инородцев. За такие их дела воровские приговорили обоих бить кнутом нещадно и отправить в даурские острожки и ни к каким делам не определять, кроме черной работы. Зелемея, взбунтовавшего инородцев, сыскать и тоже бить кнутом до того, пока не жив будет».

— Родион Матвеевич! — тихо сказал государь.— Отпиши в Якутск, что я отпускаю вины Зелемею и велю не искать на нем. Наказанием его будет возбуждено все население, и нелюбие их на нас же обернется. Напиши, да отправь поскорее грамоту. А то там, вижу, судьи шибко старательные. А от старательных бывает вред хуже, чем от воров. Что там, кстати, насчет вора Васьки Касимова сообщают?

— Васька вышел с Каменного острова на стругах на воровский свой промысел. Но был встречен стругами Мамонова и тот побил воров, многих поранил. Оставшиеся бежали к трухменскому берегу. Трухмены их прогнали, тогда они к персам пожаловали на остров разинский Сары. Но и оттуда их шах погнал и многих побил. Оставшихся у Баку захватили вместе с Васькой и отдали шамахинскому хану в рабы. Вот и все, государь.

— Ну что ж, Бог им судья. Сами себе судьбу искали. И нашли.

— Да, государь, не вышел из Касимова новый Разин.

— И слава Богу, что не вышел. Нам только Разина еще недоставало ныне. Бог с ним. Кто теперь в Охотске вместо Крыжановского?

— Данила Бибиков, государь.

— Каков он?

— Кто знает. Для пакостей время надо.

— Ну ин ладно. Будем все же на лучшее уповать. Но сколь ни смотрю на бунты инородцев, все они проистекают от злоупотреблений наших людей. Кого ж мы ставим над ними?

— Ставим, Федор Алексеевич, тех, кто под рукой окажется.

— Что-то под рукой у нас то злодей, то тать оказывается.

— Так ведь даль-то какая, государь. Туда доброго человека калачом не заманишь. Отправляем тех, которые тут уж наразбойничались.

— Вот и тешим беса, прости, Господи. Так не забудь, Родион Матвеевич, отписать насчет Зелемея.

— Отпишу, государь, ныне ж отпишу.

— Скажи там, чтоб мне клюквы принесли, что-то на кисленькое потянуло.

— То к выздоровлению, государь, к поправке. Сейчас распоряжусь.

Стрешнев ушел. Федор Алексеевич прикрыл глаза и не заметил, как задремал, и снились ему инородцы, куда-то бегущие, чего-то просящие. И ему все хотелось им в лицо заглянуть. Но они отворачивались, никак не давались. «Видно, не знают, что я государь,— думал Федор.— Ну и не надо. Не очень-то и нужны».

Глава 22

РАСКОЛЬНИЧЬИ СТРАСТИ

К тобольскому воеводе боярину Петру Васильевичу Шереметеву пришел охотник с вестью неприятной:

— На реке Березовке некий монах Даниил завел пустынь, поставил часовню и келью. Народ окрестный к нему сбегается, а он служит по старым книгам и всем громогласно говорит, что в новых книгах вера истинная изронена.

— Выходит, раскольник этот Даниил?

— Выходит, так, боярин. Но и это не все. В своих службах ни государя, ни патриарха Даниил не поминает, а это ведь грех. А многие девки и бабы, молящиеся у него,

бьются о землю и вопят, что-де видят небо разверстое и саму Богородицу зрят. И краем уха слыхал я, что Даниил готовит людей к уходу всем миром на небо.

— К сожжению, что ли? — насторожился Шереметев.

— Выходит, так, боярин. Они уж туда бересту стаскивают, паклю, смолу. Дело за малым.

— А какой народ-то сбегается туда?

— Всякий, боярин, разных чинов: и крестьяне, и казаки, и драгуны есть. А многие всеми семьями и с малыми детьми постригаются по старой вере.

— Дорогу туда знаешь?

— А как же, боярин. С завязанными глазами доведу.

— Поведешь отряд воинский.

Шереметев призвал сотника к себе.

— Седлай коней, бери вот провожатого и скорым шагом на Березовку. Кабы беды не случилось. Возьми за караул некого монаха Даниила, вези сюда, в приказную избу, видно, по кнуту соскучился молодец.

Дали коня и охотнику, хотя он более привык своим ходом бегать. Ехали рысью, а где было заболочено, завалежено, то и шагом едва-едва.

Уже до места оставалось несколько верст, как провожатый запотягивал носом, забеспокоился.

— Ты чего? — спросил сотник.

— Выходит, мы опоздали.

— С чего ты взял?

— Да гарью повонивает, аль не чуешь?

— Да нет вроде.

— Выходит, нюх у тебя посаженный, раз не чуешь.

Выехали к речке и на поляне увидели кучи черного пепла и головешек от пожарища, которое еще кое-где подымливало. Подъехали ближе, меж головешек и пепла почерневшие скрюченные трупы в страшных неестественных позах.

— Ну теперь чуешь, сотник?

— Чую. Даже мясо жареное чую!

— Вели своим солдатам пошарить по кустам, не может быть, чтоб сгорели все до единого.

Вояки разъехались окрест, воротились с девочкой лет десяти, перемазанной в саже, с обгорелыми напрочь бровями и волосами на голове, искрученными жаром. Девочка тихо плакала, крестилась мелко двуперстием и твердила жалобно:

— Я маменьку бросила. Я маменьку кинула...

И как ни пытались добиться от девочки путного рассказа, она одно твердила: «Я маменьку бросила, я маменьку кинула».

Так и привезли в Тобольск в приказную избу единственного свидетеля случившейся трагедии, худенькую десятилетнюю девочку, твердившую одно и то же.

Шереметев выговорил сотнику:

— Я же велел с возможным поспешанием ехать. Что ж вы так-то?

— Так мы, Петр Васильевич, и так гнали как возможно скоро.

— Выходит, такова воля Божья,— вздохнул охотник-проводник.— Как бы мы ни гнали, а уж раз суждено им сгореть...

Воевода распорядился к девочке с расспросами не приставать, помыть в бане, накормить и спать уложить.

— Через день-два придет в себя, сама все расскажет.

Но ребенок лишь на пятый день смог рассказать, что пережил. О количестве сгоревших девочка только и сказала: «много», она просто не знала счета.

— ...Когда загорелось, я с маменькой рядом была, крепко за нее держалась... Но потом стало жарко, дымно... Я хотела побежать от жара, но маменька меня еще крепче стала держать, говорит: «Терпи, доча, терпи, скоро вознесемся к матери Божьей...» Но я не смогла, я укусила маменьку, и она меня выпустила... А я к окну... кто-то меня за ноги имал, но я отбилась... Меня б затащили, но я не одна бежала от огня, были еще дяди...

— Сколько их было?

— Не знаю. Двое сразу в реку кинулись, поплыли через, а еще два или три в кусты. Я за имя бежала, но сил не хватило, упала и плакала. За маменьку плакала. Я — грешница, я ее бросила, и еще укусила. Бог накажет меня.

— Куда уж тебя больше наказывать, дитя,— вздохнул Шереметев.— Наказана уже, сиротой стала.

— А маменька уж на небе. Поди, серчат на меня.

— Как родная мать может серчать, дитя. Она теперь Бога за тебя молит. Живи. И помни, самому себя убивать великий грех. К Богу надо идти, когда он сам позовет.

— Ты вот что,— сказал воевода подьячему,— отведи девочку к отцу Савелию, он ей место при храме определит. Да напиши о случившемся в Сибирский приказ, и патриарху ж надо сообщить, что раскольники здесь переваживают его служителей. Обязательно сообщи про самосожжение в Мехонской слободе, которое было во дворе драгуна Абрамова. Там около сорока человек сгорело. Ну сами бы, ладно, Бог им судья, но детей за собой зачем тащат. Прямо напасть какая-то. Все с ума посходили.

— Хорошо, Петр Васильевич, отпишу в Приказ и патриарху Иоакиму.

— В патриаршей грамоте обязательно спроси от меня, что делать мне с этими, которые народ прельщают, какими карами их отлучать от затеянного?

— Но вы ж, Петр Васильевич, засадили трех в земляную тюрьму.

— Ну засадил. Не на век же. Рано или поздно выпущу. Так оттого, что они в яме посидят, они не исправятся, а того ярее станут. Ни кнут, ни яма не помогают.

— Все, наверное, от боярыни Морозовой пошло, упертость такая.

— Да, пожалуй, Феодосья Прокопьевна их-то, раскольников, изрядно ободрила. Уж ее-то сам государь уговаривал, и хоть бы хны.

— Ну вот, Петр Васильевич, если уж государь не смог образумить Феодосью Морозову, сказывают еще и родственница она его, то где уж нам-то, окромя кнута и ямы нечем более вразумлять-то.

— Все равно спроси патриарха, может, чего подскажет, а нет, так пусть местному клиру внушение сделает. И то хорошо. А то у них в церкви раскол, а за самосожжение с воеводы спрос: не углядел, не упредил. Они ведь, самосожженцы, почти все тяглые. Это какой убыток-то по сбору тяглого. Вот то-то.

Два дня Дума боярская слушала дела раскольные, сам патриарх Иоаким со своим клиром присутствовал. В передней, ожидая вызова в Думу, сидел станичный атаман с Дона Панкратьев. Раскольники, несколько утихомирясь в Москве (утихомирились ли?) разбегаясь на окраины державы, разносили «заразу Аввакумову», как называл сие злосчастие патриарх.

Думный дьяк читал скаску атамана Михайлы Самарина из Черкасска:

— « Тому другой год пошел, как пришел на Дон и поселился в пустыне в лесу на крымской стороне черный поп да с ним два чернеца. Чернецы, поссорясь с попом и пришедши в Черкасск, донесли войску, что поп тот за великого государя Бога не молит и им не велит, из-за чего и повздорили. По этому извету я послал за попом, на дознании поп говорил поносные слова о патриархе и грозил скорым приходом антихриста. По войсковому праву поп тот был сожжен и теперь в той пустыне никто не живет».

Дьяк кончил чтение, наступила недолгая пауза, прерванная стуком посоха патриарха.

— Правильно поступлено. Заразу Аввакумову огнем же и изводить надо, коли они на огонь других прельщают.

Возражать патриарху никто не стал, а дьяк взял другую бумагу, и тоже с Дона, от воеводы Волынского присланную, в которой сообщалось о пустыне Иевской на речке Чиру, устроенной черным попом Иовой, который новые книги хулит, за государя и патриарха Бога не молит. В конце воевода спрашивал, что делать с этой пустынью и обитателями ее?

Окончив чтение, дьяк сообщил, что в передней дожидается станичный атаман с Дона Панкратьев. «Надо позвать его»,— решили бояре.

Атаман вошел, трижды низко поклонился государю, пожелав здравия от казаков Дона.

— Спасибо, атаман,— тихо молвил Федор Алексеевич, еще не оправившийся после болезни.

— Вот воевода Волынский сообщает о Иевской пустыни, атаман,— сказал патриарх.— Ты знаешь о ней?

— Знаю, святой отче.

— Давно она там?

— Да еще с разинского воровства.

— Ничего себе. И вы все это время терпите ее?

— Да мы как-то не вникали, что это за пустынь. Монахи как монахи, все в клобуках.

— Сколько их там?

— Чернецов-то около двадцати, а бельцев человек с тридцать.

— Вы не вникали, а вот Волынский вник и все донес,— упрекнул патриарх атамана.

— Виноваты, святой отче,— повинился Панкратьев,— а токо за верой, по-моему, надлежит иереям смотреть. Нам ведь недосуг, и пахать, и сеять надо, и за татарами приглядывать.

— Ну что решать будем, господа бояре? — сказал Стрешнев, заметив государеву вялость и желая поторопить с решением, дабы увести царя в опочивальню.

— Что тут решать,— возвысил голос патриарх.— Слать на Дон государев указ: гнездо сие осиное разорить, а зачинщиков пустыни привезти в оковах в Москву для сыску.

Все взглянули в сторону государя, что он скажет.

— Пусть посему будет,— молвил негромко Федор Алексеевич.

— И еще ж, надо что-то и в Сибирь ответить воеводе Шереметеву,— сказал патриарх Иоаким.— Он спрашивает,

как поступать с зачинщиками, у него бесперечь самосжигаются, да с детьми вместе.

— Надо так, как в Черкасске изделали,— сказал Хованский.— Самого прельстителя на костер. Раз хочешь гореть, то и гори один, что людей-то с панталыку сбивать.

— Мы не можем так советовать,— сказал государь.— Сие озлобит людей. Я такого указа не подпишу.

— Ну а как же быть, государь?

— Думайте. Раз вы в Думе боярской, вот и думайте. У вас у всех вон бороды до пояса, а у меня еще и усы не растут. Но жечь людей я не позволю, хотя бы и раскольников, не хочу по-ихому пути следовать. Не хочу.

С тем государь поднялся с седалища. Стрешнев был уже тут как тут, взял Федора Алексеевича под локоть. Помог сойти вниз.

Государь обернулся с порога, кивнул Думе ободряюще:

— Думайте — и вышел.

Глава 23

ТАЙНА КОШЕВОГО

Перед отправкой в Запорожскую Сечь подьячему Шестакову князь Василий Васильевич Голицын в присутствии государя наказывал:

— Главное тебе нужно узнать, куда Сечь наклоняется. Гетман сообщает, что они не то что татар не били под Чигирином, но еще и помогали им бежать от нашего войска. Мало того, есть известия, что Серко вступил в контакт с Юрием Хмельницким, а значит, и с султаном. Поспрошай и на Раде рядовых казаков, и со старшиной не забудь поговорить. Не всякому слову Серко верь, проверяй правду на других.

— Я понял, князь,— молвил подьячий.

— Это тебе не мой наказ, то указ государя,— сказал Голицын, взглянув на Федора Алексеевича вопросительно: верно ли молвлю?

— Да,— подтвердил царь.— Но, пожалуйста, не дай кошевому понять, что мы ему не верим. Наоборот, скажи, что я большую приязнь к нему питаю.

При последних словах Голицын поморщился, но смолчал, хотя понимал, что Федор этими словами смазывает весь смысл наказа подьячему.

— И обязательно заедь в Батурин к гетману,— напомнил Голицын.— Он пошлет с тобой своего человека, как они договаривались с Тяпкиным. С ним и езжай в Сечь.

Князь понимал, что Самойлович наговорит о Серко Шестакову такого, что перешибет государевы попустительные слова. Голицын не разделял государево миролюбие к врагам и изменникам. «Этак в державе мы никогда порядка не наведем»,— думал князь, но вслух сказать этого юному самодержцу не решался. Скажи — удалит от себя.

В конце декабря Шестаков уже был в Батурине во дворце у гетмана. И тот, угощая его, говорил о кошевом с великим неудовольствием:

— Продался Серко султану, продался. У меня добрый подсыл в Сечи обретается, все как есть доносит. Приезжал бей татарский от Хмельницкого, и с ним Серко ходил по кустам за руки держась, там кошевой и присягнул Хмельницкому.

Шестаков слушал гетмана, не перебивая, а более наваливаясь на вкуснейший свиной холодец с чесноком. В Москве такой вкусноты что-то не встречалось подьячему.

— Поедет с тобой войсковой товарищ Артем Золотарь. В четыре-то ока вы больше увидите, в четыре уха в два раза больше услышите. Дай вам Бог доброго пути.

Гетман поднял чарку и стукнул ею чарку подьячего.

— Спасибо,— отвечал Шестаков, так не проронив больше ни слова. Гетману молчаливость посланца не понравилась: «Кого они послали в Сечь? Этого молчуна, да они его там сырьем съедят. Одна надежа на Золотаря, этому палец в рот не клади — откусит».

Так они и явились в Сечь — два посланца: один от государя, другой от гетмана. Кошевой Иван Серко встретил их приветливо, хотя с некоторой настороженностью. Но когда подьячий передал Серко государевы слова, кошевой растрогался:

— Спасибо государю за ласку ко мне, пусть он во мне всегда надежен будет.

Велено было сзывать Раду. Ударили тулумбасы, и когда на площади собрались казаки, кошевой с подьячим вышли из канцелярии и направились к степени — рассохшейся бочке. Золотарь на степень подыматься не схотел, а остался на краю толпы, дабы видеть все со стороны.

— Атаманы-молодцы,— начал Серко,— ныне прибыл к нам государев посланец, который желает поговорить с вами. А уж вы послушайте, ибо привез он до нас государево царское слово.

— А подарки? — крикнул кто-то из толпы.

— Словом сыт не будешь,— поддержал другой.

— А перебивать царского посланца я не советую,— нахмурился кошевой, и это произвело действие — толпа притихла.

— Господа казаки,— начал Шестаков вполне уверенным голосом,— великий государь велел мне спросить вас, отчего вы не помогли Чигирину во время прихода турок?

Толпа затихла того более, даже вроде и шевелиться перестала, и подьячий перехватил взгляды близ стоявших казаков. Все они были устремлены на кошевого, и в них читался вопрос: что, мол, говорить?

«Эге,— подумал Шестаков,— а Рада-то у него в жмене».

— Ну чего ж вы молчите, атаманы-молодцы,— крикнул Серко.— Али языки проглотили? Чем мы могли встретить турок?

«Подсказывает»,— догадался подьячий.

— Верно. Войска на коше мало было.

— И боезапасу никакого,— начали кричать из толпы.

— А за солью к кому побежишь? К хану!

— А рыбные ловли.

— А пленных куда?

— Верно народ кричит,— заговорил Серко.— Если турки на Сечь пошли, они бы нас в порошок стерли. И потом, нам жить нечем, а с ханом мы договорились, что он у нас выкупит пленных.

— И он выкупил?

— Выкупил. Хорошо заплатил, а на эти деньги мы хлеба закупили. Не ханские деньги — мы б с голоду перемерли. Вот тут и суди. На одной рыбе годами сидим. Москва о нас не заботится, а гетман спит и видит Сечь разрушенной.

— Великий государь велел спросить вас, господа казаки,— закричал опять Шестаков,— почему, когда турки бежали из-под Чигирина, вы вместо того, чтобы бить их, помогали им переправляться через реку?

И опять была озадачена Рада столь прямым и жестким государевым вопросом. И опять взоры на кошевого: как он станет выкручиваться.

— Турок и крымцев, бежавших из-под Чигирина, мы не громили потому, что войска в Сечи было мало и мы надеялись на мир с ханом, все разошлись по промыслам,— опять стал отвечать за Раду Серко.— Вот пожаловал бы государь, велел прислать к нам своих ратных людей, а гетману приказал бы прислать полк полтавский да еще запасы, мы бы по весне перемирие с ханом нарушили и пошли б в Крым войною. Верно, атаманы-молодцы?

— Верно-о,— вскричала толпа, и даже шапки вверх полетели, как знак полного одобрения.

— Ну вот,— сказал Шестакову кошевой,— видишь, запорожцы по-прежнему верны царскому величеству, и если когда отклоняются вбок, то лишь по великой нужде.

Вечером оба гостя сидели за столом с кошевым и войсковым писарем Быхоцким, пили горилку, закусывали жареной рыбой и лепешками. Серко, опьянев, ударился в воспоминания:

— Вот государь Алексей Михайлович, царствие ему небесное, присылал к нам ратных людей вдоволь и запасы слал, заботу проявлял. А ныне? Государь велит помогать, а гетман свое гнет, городовых казаков к нам не пускает, хлеб не пускает, переправы и те к рукам прибрал. Так куда ж запорожцу податься? В разбой?

Шестаков, увлекшись жареной рыбой, каковой тоже в Москве не всегда найдешь, не заметил, как перемигнулись Серко с Золотарем и вышли во двор вроде бы по нужде малой.

Когда дверь за ними затворилась, Быхоцкий сказал подьячему:

— Раду при Серко бесполезно спрашивать, все его боятся. Кто супротив него скажет, недолго проживет, того могут прямо на кругу убить.

— Да, я заметил, как казаки ему в рот смотрели.

— И за что ему государь так благоволит?

— Великий государь наш всем благоволит, даже закон преступившим прощает

— Ангельская душа.

— Именно.

Выйдя на крыльцо, Серко и Золотарь помолчали, наконец кошевой понукнул:

— Ну?

— Я, Иван, не хотел тебя при москале пытать, потому как вопрос у меня не легкий, я бы сказал, даже колючий.

— Ну давай колись, чего кружишься.

— Гетману стало известно, что ты с Хмельницким в союз вступил. Верно ли это?

— Как посмотреть, Артем. Ежели с гетманской колокольни, то я с ним в союзе, а ежели с державной, то совсем наоборот.

— К тебе приезжал бей от Юраса?

— Приезжал.

— И вы с ним, взявшись за руки, ходили.

— Хых. Может, гетману донесли, где я до ветру портки скидываю?

— И ты присягнул на верность Хмельниченке,— продолжал давить Золотарь.

— Гетману твоему доносят то, что видят. А то, что я задумал, кто донесет? Никто. Лишь я могу. Так вот, можешь передать ему, что затеялся я с Юрасом не корысти ради, погнавшись за званием гетманским, которое он мне обещает. Ежели скинуть бы лет двадцать, может быть, и польстился на это. А ныне? Не сегодня-завтра Всевышний призовет, о том ли думать надо? Я Хмельниченку заманить хочу, чтоб повязать его и в Москву отправить.

— Ох, Иван, больно складно врешь.

— Я? Вру? — возмутился кошевой, давно не слышавший подобного в глаза.— Да ты, Артемка, не забывайся.

— Прости, Иван Дмитриевич, но сам посуди, как верить такому обороту? Ты бы сам в такое поверил?

— Хочешь, я крест на этом поцелую? Хочешь?

— Целуй.

Кошевой расстегнул ворот сорочки, вытянул крестик, приложил его к губам.

— Вот на кресте клянусь, что в задумке у меня повязать Хмельницкого. Но он же ускользает, как налим. Под Чигирином казаки накрыли его шатер, всех там повязали, а Юрас ускользнул. Эту рыбу на крючок не возьмешь, хороший невод нужен с крепкой мотней. И я его плету. А вы с гетманом: изменил, передался. Я же христианин, не басурман какой.

— А что ты не хочешь об этом москалю сказать?

— Ты что? Тогда все прахом пойдет. Он в Москве скажет в Думе, а оттуда мигом до Хмельниченки дойдет. И гетману передай, чтоб он сие при себе держал и даже в письмах об этом не обмалвливался. Я тебе-то не хотел говорить. Ты вынудил своими дурацкими подозрениями. Гляди не проболтайся кому. Все испортишь.

— Что ты, Иван Дмитриевич, разве я не понимаю. Только гетману, и никому более.

Глава 24

А ВОЙНА НА НОСУ

В январе 1678 года к государю пришла не очень веселая грамота от князя Каспулата Муцаловича Черкасского.

«Великий государь,— писал князь,— во исполнение твоего указу ездил я в калмыцкие улусы к Аюке и другим тайшам. Звал я их на государеву службу в Крым. Но Аюка

сказал, что на государеву службу пойти не может из-за разорения его улусов донскими и яицкими казаками, которые многих людей побили, жен и детей их побрали. Каково будет твое веление, государь?»

Выслушав горькую слезницу, Федор Алексеевич встрепенулся, взглянул на думского подьячего. Приказал:

— Пиши... Князь, письмо твое меня крайне огорчило и опечалило. В таких случаях не надо испрашивать совета из Москвы, надо незамедлительно самому браться за восстановление порушенного. Ворочайся и помири калмыков с казаками. Я уже писал казакам о примирении, тебе надо убедить в этом тайшу Аюку. Скажи ему от меня, что я надеюсь на его благоразумие, что нынешний отказ его от службы принесет державе бедствия неисчислимые. И если потребуется, я готов возместить ему потери. Каспулат Муцалович, тебе ведома угроза нам от хана, употреби все силы, но уговори Аюку.

— Не уговорит,— сказал Хованский.

— Почему?

— Аюка упрямый как баран. Он в доброе-то время не рвался на службу. А ныне у него отговорка верная: казаки разорили.

— А как ты думаешь, Василий Васильевич?

Голицын почесал свою невеликую, но ухоженную бородку, отвечал неспешно:

— Конечно, калмыцкие конники при встрече хана не помешали бы, но орда эта Аюкина дика и плохо управляема. Не знаешь, чего ждать от нее. Впрочем, и наши от нее не очень отличаются. Я уж давно ратую, государь, за армию регулярную, как сие уж практикуется на Западе. Хорошо обученную, тренированную. А у нас? Соберем с бору по сосенке, иной не то что зарядить, а и стрелять с пищали не может, а ежели у такого сабля, так он ее из ножен выдрать не может, приржавела там. А если и вынет, так она тупа, как палка.

Бояре стали посмеиваться, заметив, что заулыбался государь.

— Неужто и впрямь так у нас, Василий Васильевич? — спросил царь.

— Государь, я еще о бое не сказал. Когда дело до сечи доходит, многие умники прячутся по кустам да буеракам, да не по одному, а кучами. Да, да. Пересидят бой, а потом пристанут к уцелевшим возвращающимся — и вот уж: мы тоже воевали и нам награда положена.

— Да неужто так может быть? — удивился Федор Алексеевич.

— Может, Федор Алексеевич, еще как может. Я сам такого вот вояку, вернувшегося из боя, спросил: «Ты чем дрался?» «Саблей»,— отвечает. «Ну-ка,— говорю,— покажь, как ты ей владел». А он хвать за рукоять, дерг-дерг, вынуть не может. А у него сабля-то давно уже с ножнами срослась от сырости, грязи и времени. Лет сто не вынималась. Вам смешно, господа бояре, а как вот таким воинством командовать прикажете? Как воевать с ним?

— Да, невеселую ты картину нарисовал, Василий Васильевич,— вздохнул царь.— Надо будет думать над исправлением такого воинства.

— Такое воинство, государь, уж ничем не исправишь. Совесть-то у всех разная, у одного она есть, а у другого и не ночевала. Надо вводить регулярную армию, которая бы не сбиралась, когда гроза пришла, а всегда была б под ружьем и умела бы владеть оным.

— Что скажете, господа бояре?— обратился к Думе царь.

— Князь Голицын дело говорит,— сказал Апраксин.— Ему и карты в руки.

— А что, Василий Васильевич, возьмись за это. Возглавь комиссию по устройству армии. А?

— Как прикажешь, государь.

— Да я не приказываю, князь, я прошу. Потрудись для отчины. Если хочешь, мы тебя такого дела ради от Посольского приказа освободим.

— Нет, нет. Приказ пусть за мной останется. Пока с поляками нового перемирия не заключим, я из него уходить не стану. Если позволишь, государь, я в комиссию приглашу еще нескольких человек.

— Пожалуйста, Василий Васильевич, бери кого хочешь, от кого, считаешь, делу польза будет.

— Я подберу, государь, людей. Но дело сие долгое. А война ждать не будет, надо попробовать и через Царьград что-то проведать о турках.

— Да мы уж отправили к султану стольника Поросукова с нашей грамотой, с просьбой как-то остановить войну. Ведь не одни мы, а и они великий урон и убыток от нее терпят.

— Не думаю, что Поросукову удастся сие.

— А не удастся, так хоть планы их выведает.

— Ну, о планах и так судить можно, по скоплению войск. Добра ныне летом ждать нечего. Чигирин надо усиливать.

— Кого ты предлагаешь в воеводы в Чигирин, Василий Васильевич?

— Я бы послал туда окольничего Ивана Ивановича Ржевского, он бесстрашный боевой человек, а главное, хорошо ладит с малороссиянами. Надо только, чтоб Ромодановский и Самойлович обеспечили его боевым запасом и хлебом.

— Родион Матвеевич,— обернулся царь в сторону Стрешнева.— Немедленно заготовь указы Ромодановскому и Самойловичу о помощи Ржевскому. Я потом подпишу.

— Хорошо, государь, после обеда они будут готовы.

— Ну что, господа бояре, не время ли в трапезную отправляться?

— Время, государь,— закачали головами бояре.

Все знали, что после обеда Федор Алексеевич вряд ли придет в Думу, но разделить с ним трапезу за великую честь почитали: с одной тарелки с царем едывали!

Турецкий султан изволил внимательно выслушать царскую грамоту и посланцу Москвы Поросукову сказал следующее:

— Я, как и твой государь, мечтаю о мире меж нами и приму его предложения, но лишь после того, как будут Чигирин и все Правобережье уступлены нам и как будет признан князем Украины Юрий Хмельницкий, который, как и мы, печется о счастье своего народа.

— Я передам твою волю своему государю,— отвечал стольник Поросуков, не смея возражать султану, не только потому, что не имел от царя на то полномочий, но и потому, что, возражая султану, мог запросто загреметь в тюрьму. Такое в Царьграде бывало нередко.

Поздно вечером Поросуков отправился к Царьградскому православному патриарху, о чем его еще в Москве наставили: «Обязательно зайти к патриарху, он нашей веры и великую любовь к России питает, он многое знает и обязательно сообщит нечто важное о турских злоумышлениях. Обязательно навести патриарха».

Патриарх встретил прибывшего издалека единоверца по-домашнему, в черной рясе без всяких украшений, лишь с крестом на животе, которым и осенил гостя. Дал приложиться к руке.

— Ну что, сын мой, султан, чай, не пошел на уступки?

— Ни на шаг, святый отче.

— У-у, чрево басурманское ненасытное. Чем более хапает, тем более алкает.

— Что бы ты мог передать, святый отче, моему государю?

— Во-первых, скажи великому государю, что я желаю ему добра, как себе царствия небесного, и о черных за-

мыслах неприятеля Христова объявляю: султан турецкий этим летом с войсками своими поганскими устремляется на Украину и желает из-под державы его царского величества владения Петра Дорошенко отобрать, а потом и всей Украиной овладеть.

— А как считаешь, святой отец, они надежны на свой успех?

— Вот то-то, что не очень. У них кто-то там пророчествует, что они царским величеством побеждены будут. Поэтому султан, боясь этого пророчества, сам пойдет только до Бабы.

— Через море не пойдет, значит?

— Нет. А на Чигирин пошлет визиря с ханом да с Юраской Хмельницким.

— Хмельницкий в прошлом году едва не попал в плен к нашим.

— Надо бы было.

— А монашество с него снято? Не по твоему ли благословению, святый отче?

— Что ты, сын мой. Хмельницкий снял с себя монашество своевольно.

— А разве так можно?

— Нет, конечно. Но он желал себе освобождения из неволи, а еще ж и княжества и гетманства. Но какой он князь, если у визиря как пес на цепочке сидит.

— А визирь не просил за него?

— Визирь ко мне несколько раз присылал просить за Юраску снять с него монашество. И грозил даже. Но я не внял ни просьбам, ни уговорам, Юраску не принял. Даже отдаривался от визиря. Он ко мне человека с просьбой: прими, мол, Хмельницкого. А я ему какую-нибудь золотую безделушку шлю с благодарностью за внимание ко мне.

— Так и не приняли?

— Так и не принял богохульника и вероотступника, и не приму. Великому государю передай мое благословение и пожелание удачи в борьбе с поганским войском. Я молю царское величество ради церквей Божиих и веры христианской, чтобы Чигирина и Украины султану не уступал, а если уступит, то не только Малой России, но и государству Московскому тяжек будет неприятель.

Когда Поросуков собрался уходить, патриарх подал ему несколько серебряных монет.

— Возьми для откупа, сын мой.

— Какого откупа? — не понял стольник.

— За тобой наверняка два или три соглядатая притащились. На улице заждались уж. Если шибко надоедать будут, сунь им по монетке, они и отстанут. Каждый свой хлеб зарабатывает как умеет. Они вот шпионят за христианами. Если спросят, зачем приходил, скажи, мол, за благословением на обратный путь.

Глава 25

БОИ ЗА ЧИГИРИН

Иван Иванович Ржевский, прибыв в Киев, не нашел там ничего из обещанного: ни подвод, ни хлеба, ни войска. Встретил лишь нежинского полковника Барсука, с которым был хорошо знаком по прошлой службе.

— О-о, Иван Иванович,— обрадовался Барсук.— Сказывают, вы воеводой в Чигирин назначены. Значит, опять вместе.

— Значит, вместе, полковник. Только вот воевода-то есть, да ничего у него нет. Гетман должен был подводы с хлебом доставить, их нет. Ромодановский полк обещал, тоже нет.

— Ничего, Иван Иванович, все образуется. К вам помимо моего полка придет гадяцкий полк во главе с Криницким и полтавский полк полковника Левенца. Так что войско будет.

— Но мне и государевы полки обещаны Ромодановским.

— Надо напомнить ему.

— Я направил напоминание, но только в Москву. Ее они скорее послушают — и гетман, и князь.

— Так вы будете ждать их в Киеве?

— Что вы! Ни одного часу. Ныне ж еду в Чигирин, его укреплять надо. Верхний город совсем разрушен. А вот вам, друг мой, придется в Киеве побыть, дождаться подвод и хлеба и все доставить в Чигирин.

— А полк мой?

— Вот вместе с подводами и приведете. А сейчас в Чигирине ничего нет, чем я его кормить стану. И Криницкому сообщите, что, если будет выходить, пусть идет со своим обозом и запасом. В Чигирине амбары пусты.

Прибыв в Чигирин, Ржевский увидел разруху и запустение. Оставшиеся жители жаловались на то, что татары им до сих пор не дают покоя. Тут же назначив десятников и сотников, воевода организовал подвоз камня к верхнему городу. Назначил и прислугу к пушкам, снабдив их боеза-

пасом и расписав круглосуточное дежурство у тлеющих фитилей. И первый же наскок крымцев был отбит с помощью этих пушек с большими для врага потерями.

— А воевода наш — голова,— радовались чигиринцы.

Ржевский отличался удивительной распорядительностью и организаторским умением. В течение дня его можно было видеть и у пушкарей, и в верхней крепости, и на мосту, и в складах. Он держал в голове сотни самых различных дел, имена рабочих, казаков. И каждому находил дело. С его прибытием крепость ожила, быстро стала залечивать раны от прошлогодних бомбардировок стен и строений. Ржевский нашел прошлогодний подкоп врага под крепость и велел хорошо засыпать его, залить раствором и затрамбовать. И на всякий случай, если турки возобновят здесь подкоп, велел пушкарю на южном фасе пристрелять это место.

— Если сызнова начнут здесь копать, будешь слать им гостиницы.

— Ну, Иван Иванович! — дивился восторженно пушкарь.— Все-то предвидеть хочет.

— А то как же! Не велел вот сутками фитили гасить — и на вот: татары и нарвались. Встрели их, как полагается, хорошим огнем,— отвечал другой пушкарь.

Воеводой же были разосланы скрытые дозоры в угрожаемых направлениях, дабы могли они предупредить своих о приближении неприятеля.

А обоза все не было.

В Москве, получив письмо от Ржевского, князь Голицын решил не расстраивать государя, а вызвав к себе Алмазова, приказал ему от имени государя немедленно скакать в Курск к Ромодановскому, а оттуда в Батурин к гетману с требованием спешно исполнять ранее присланный указ: слать подводы с хлебом и боезапасом в Чигирин и вести для укрепления гарнизона солдатские и казацкие полки.

— Скажи им, государь гневается, что идет такая затяжка с отправкой. Они же оба слали государю свои записки, что Чигирин надо укреплять. Так чего ж, когда дошло до дела, тянут кота за хвост.

— Хорошо, князь, исполню, как велишь.

— Ржевский из Киева выехал с пустыми руками, а ведь должен был взять там обоз с хлебом и боезапасом. За обоз гетман головой отвечает, так ему и скажи: го-ло-вой. Я надеюсь на тебя, Семен Ерофеич, ты бывал у них, знаешь, как на кого давить надо. Но особенно за обоз хлопочи, не слезай с гетмана, пока не отправит подводы. Он все

плачется, что, мол, слишком дороги они ныне. Пусть хоть золотом платит, но чтоб отправлял незамедлительно.

И стольник Алмазов поскакал в Курск к Ромодановскому. Его появление у себя князь понял правильно и почти не дал ему рта раскрыть.

— Знаю, все знаю, Семен Ерофеич, выступаю с войском немедленно. А полки Воейкова и Касогова уже в пути на Чигирин, где-то на подходе должны быть.

Из Курска без задержки Алмазов поскакал в Батурин.

— Войско мое еще не в сборе,— признался гетман.— Но гадяцкий полк выступает в Чигирин.

— А обоз с припасами?

— Обоз собираю со слезами. Подводы вздорожали до пяти рублей. Когда такое бывало?

Несмотря на задержки, подводы таки пришли в Чигирин, но не за счет расторопности русских, а скорее за счет задержки турок. Турки, рассчитывавшие напасть на Чигирин весной, явились к городу едва не в средине лета — девятого июля. Но зато уже со стотысячной армией под командованием визиря Мустафы.

Визирь прислал воеводе Ржевскому предложение сдать город без боя, обещая сохранить всем жизнь. Воевода поблагодарил визиря за его щедрость, но предложил каждому заниматься своим делом: «Что нам с тобой государи наши велели, то и станем делать».

Ржевский уже знал, что подмога идет, что Ромодановский с Самойловичем начали переправу у Бужинской пристани. И визирю волей-неволей пришлось разделить армию. Одну часть оставить у стен Чигирина, другую направить к переправе.

После сильного пушечного обстрела турки повели под нижний большой город сразу три подкопа.

А переправа шла медленно. Начав ее шестого июля, к десятому не переправили и половину обоза. Сильно сдерживало переправу малое количество плотов, способных держать на себе груженые подводы. А обоз был не маленький, поскольку войско везло с собой все свое питание и боезапас, и практически большая половина бойцов была занята сопровождением этих подвод.

Турки, тайком зайдя к Крылову, переправились через Днепр и внезапно напали на обоз русских. Однако возчики не растерялись и успешно отбили этот наскок, нанеся нападавшим значительный урон. Двенадцатого июля переправа закончилась, и с этого времени на Правобережье шли беспрерывные бои.

Мустафа не щадил своих полков, дабы не дать русским соединиться с осажденными. Размахивая перед носом беев и пашей плеткой, визирь кричал:

— Пока я не возьму Чигирин, ни один русский не должен пройти в город. Беспрестанно атакуйте князя с гетманом. Не давайте им передышки.

— Но мы несем большие потери.

— Плевал я на потери. Я исполняю волю султана.

Мустафа не щадил и себя, носился верхом на коне вокруг города, рискуя попасть под русскую пулю или ядро. Оно и понятно: только победа может сохранить ему жизнь. Поражение закончится топором палача в Стамбуле.

Посещая подкопы, визирь направо-налево лупил плеткой работающих там:

— Скорей, скорей, шакалы!

Третьего августа, забравшись на стену, Ржевский увидел, что помощь уже близка, и радостно крикнул стоявшему недалеко Криницкому:

— Гляди, полковник, наши взяли Стрельникову гору!

Это были его последние слова — прилетевшая из турецкого лагеря граната разорвала воеводу. Он умер как истинный солдат — мгновенно. Криницкий, на глазах которого это случилось, онемел от ужаса, а уж по стене побежала страшная для Чигирина весть: «Ивана Иваныча убило!»

За месяцы его воеводства люди привыкли к нему, надеялись на его мудрое решение, нередко говоря искренне: «Мы за Иван Иванычем как за каменной стеной». И вот этой «стены» вдруг не стало, она исчезла. В смерть воеводы никак не хотелось верить. Женщины, заслыша страшную новость, плакали навзрыд, да и мужчины не стеснялись слез: «Ах, Иван Иваныч, что ты наделал?»

И действительно, город был как бы обезглавлен, никто из полковников не пытался объявить себя воеводой, считая такое невозможным без государевой воли. А до государя было ох как далеко.

Удалось сообщить о случившемся Ромодановскому, была надежда, что он как князь если не сам примет воеводство, то кого-то назначит воеводой. Однако Григорий Григорьевич не решился на это, лишь высказал чигиринскому посланцу сочувствие:

— Жаль, очень жаль терять таких людей.

— Что мне передать старшине?

— Передай мое сочувствие. И скажи, чтоб держались, мы постараемся разорвать турецкое кольцо вокруг города.

— А когда, князь?

— Надеюсь, в ближайшие два-три дня.

Но посланцу не удалось передать осажденным обещание князя: возвращаясь в город, он попал в плен и едва избежал смерти.

А одиннадцатого августа один за одним грохнули взрывами три турецких подкопа, не только проломив стены и развалив ближайшие строения, но и поразив многих защитников — солдат и казаков. Начались пожары, беспрерывно палили турецкие пушки. Визирь, узнав о гибели русского воеводы, усилил нажим, а в образовавшиеся после взрывов проломы бросил янычар с коротким приказом: «Никого не щадить!»

Дома близ взрывов загорелись; осажденные, видя пожар, кинулись на московский мост, но турки зажгли мост и он обрушился, похоронив в воде многих защитников, в том числе и полковника Криницкого, пытавшегося после гибели Ржевского возглавить оборону города.

Потеряв нижний город, оставшиеся в живых русские засели в верхнем городе, ранее хорошо укрепленном стараниями Ржевского. И не только отбивались, но и сами нападали на турок с отчаянной решимостью и злым напором. И даже дважды выбивали турок из города. Турки зажгли вначале нижний город, а потом и верхний. Ночью пришел приказ князя и гетмана: «Зажечь все, что только может гореть, или взорвать и выходить из города на наши обозы».

И Чигирин — легендарная ставка Богдана Хмельницкого — превратилась в огромный полыхающий костер, который сразу стал никому не нужным. От огня бежали все — и турки, и русские.

Ночью же гетман с князем приняли решение идти назад к Днепру и уходить на свой левый берег.

— Вот Серко теперь порадуется! — сказал Самойлович.

— А отчего бы ему радоваться?

— Как же! Он советовал развалить и оставить Чигирин. Вот и вышло по его. Чигирин развалили, правда, турки.

— Ну и мы ж им помогли.

— Помогли оттого, что иного выхода не было. Только теперь турки на Киев могут нацелиться.

— Ныне вряд ли. Потери у них большие.

— Потери у них большие, но победа, выходит, за ними.

— Выходит, за ними,— согласился Ромодановский.— И нам с тобой, Иван Самойлович, как бы государь отставку не дал за эту конфузию.

— Да, наверно,— согласился гетман, хотя в свою отставку он не верил, знал, что нет ему пока на Украине замены. Нет. Дорошенко? Но он слишком долго союзничал с королем, и ханом не брезговал. Ну а о Серко и говорить

нечего, да и стар он уже. Так что если грядет отставка, то тебе, дорогой Григорий Григорьевич, тебе, князюшка.

Они отступали к Днепру, отбивая наскоки турок, и довольно успешно. На переправе турки их оставили в покое, а когда переправа закончилась, был послан разведчик в Чигирин, выяснить, что там поделывает Мустафа.

Посланный вскоре вернулся и сказал, что город пуст и к нему слетелись тучи воронья на поживу. Пожары прекратились, но в городе нечем дышать из-за тяжелого запаха гниющих трупов.

По настоянию князя Голицына государь отозвал Ромодановского в Москву, принял его ласково, поблагодарил за долгую ратную службу и отправил на покой. Так что предчувствие князя не обмануло.

Глава 26

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ ДОМУ АПРАКСИНА

Стольника Апраксина Матвея Васильевича юный государь случайно отличил из многолюдного своего окружения. С пожара. Доложили ему, что стольник Апраксин в отсутствии по уважительной причине — погорел.

— Как — погорел? — удивился государь.— Пожар, что ли?

— Да, пожар. Хоромы красный петух склюнул.

Федор Алексеевич был человек чувствительный, сердечный, приказал, что как только появится Апраксин в передней, позвать к нему. Апраксин появился лишь на третий день, в среду, когда государю докладывали дела Поместного приказа.

Едва дождавшись окончания доклада, государь кивнул Стрешневу:

— Родион Матвеевич, зови Апраксина.

Погорелец явился испуганный (к царю по-пустому не зовут), с красными глазами и подпаленной бородой. Пал на колени.

— Прости, государь.

— За что, Матвей Васильевич? — удивился Федор.

— За отсутствие. У меня беда, государь.

— Знаю, Матвей Васильевич, знаю. Искренне тебе сочувствую. И жалую из казны на обустройство триста рублей. Хватит?

— Государь!— Апраксину перехватило горло от рыданий, рвавшихся наружу.— Государь, да я... Да за такую милость...

— Ладно, ладно. Встань с колен, Матвей Васильевич. Сядь.

Апраксин поднялся, присел на краешек лавки, готовый вскочить в любой миг.

— Как сие случилось-то? Отчего? — спросил Федор.

— Не знаю, государь. Возможно, от лампады. Но слава Богу, тихо было, безветрие, а то бы всю улицу слизало. А так народ набежал, быстро управились. Никому ведь гореть не хочется.

— Да, пожар у нас — беда общая. Но хоть что-то спасти удалось?

— Да, почитай, ничего. Выскочили — в чем были.

— А из людей никто не пострадал?

— Из людей, слава Богу, никто. Дочка едва не сгорела, наверху была. Но сыскался отчаюга, по лестнице взбежал, вытащил девчонку-то. Спас.

— Кто такой? Чей?

— Да из моей челяди. Тишка-кузнец.

— Где ж теперь-то обитаете с семьей?

— Да в амбаре приспособились. Челядь по сараям. Расчищаем место от головешек, строиться будем.

— Может быть, лучше каменный дом-то ставить. Такой-то огня не боится.

— Не худо бы, да где мастера взять каменного.

— Богдан Матвеевич,— обратился Федор к Хитрово,— сколько у нас в Кремле мастеров по камню?

— Десятка два, государь, это которые греки. Да и уж наших эстолько же — у них переняли дела каменные.

— Вот отряди двух из наших строить хоромы погорельцу. Да которые получше чтоб.

— Хорошо, государь.

— И чтоб содержание им денежное от нас шло, погорельца грех грабить. Ну,— оборотился к Апраксину,— чего еще, сказывай, Матвей Васильевич?

— Государь, милостивец наш,— опять заслезился стольник.— Да за это... Да за такое как благодарить твою милость?

— Позовешь на новоселье,— улыбнулся Федор.

Вот такой разговор состоялся у стольника Апраксина с великим государем вскоре после пожара. Он дословно запомнил его и часто повторял домашним, испытывая при этом великое счастье.

— Значит, государь будет у нас на новоселье? — допытывалась Марфинька.

— Что ты, доченька. Это он так сказал, для красного словца, дабы сделать приятное. У него столько дел. Что ни

день — доклады от Приказов: тут и война, тут и бунты. А сколь челобитных. Тьма.

Апраксин думал, что государь давно забыл об этом. Ан нет! Вспомнил, да еще когда? Когда самому стало худо и попросил случившегося около Матвея Васильевича помочь с престола сойти и до покоев проводить.

Рассказывая дома об этом случае, Апраксин растроганно плакал, приговаривая:

— Господи, сердце-то какое у него, сердце-то. Да за такого государя... Федька, Петьша, вырастите — головы положите!

— Положим, батюшка, положим,— обещался Федька, отирая сопли.

Каменных дел мастера добрые хоромы Апраксину сладили, плотники двери и окна окосячили, полы настелили, столяра окна вставили со стеклами венецианскими. Своя челядь наделала шкафов, лавок, ларей, кроватей. Живи, стольник, радуйся новому дому, крепкому, каменному. На раствор для крепости кладки только яиц около пяти тыщ израсходовано. Теперь эти стены не то что огонь — и железо не возьмет. Ходил Матвей Васильевич по горницам, веселел сердцем: «Эх, если б не пожар... Вот уж истина — нет худа без добра. Сгорел дом — горе, а мы новый как яичко отгрохали — великая радость».

Однажды взлаяли, взвыли по всей улице собаки, за окнами топот множества копыт. Глянул в окно Апраксин, а там — конные стрельцы по пяти в ряд. Екнуло сердце у стольника: это ж, значит, где-то за ними карета государя: «Неужто! Господи, неужто!» И вот показалась карета, остановилась прямо перед домом, соскочил форейтор, открыл дверцу золоченую, откинул ступеньку и на нее наступил сапожек желтого сафьяна.

«Государь!» — обмер Апраксин, и ноги сразу ватными стали.

И тут застучали в ворота, сильно, требовательно: «Эй, хозяин!»

Стольник молнией во двор вылетел (это на ватных-то ногах!). Увидел, как кто-то из челяди кинулся к калитке открывать. Матвей Васильевич в несколько прыжков настиг его, оттолкнул грубо:

— Дур-рак! Ворота, ворота открывай. Государь идет... Сам... великий.

Ворота заскрипели, собаки не унимались, захлебываясь от злости.

— Тимша, убери собак.

Пройдзисвет схватил на цепи двух псов, потащил в дальний сарай. Ворота распахнули настежь, и в проеме их явился улыбающийся государь в изузоренном золотым шитьем кафтане, в собольей шапке.

Все челядинцы, оказавшиеся во дворе, пали ниц кто где стоял, кто на сухом — на сухое, а некие и в грязь прямо.

— Что, Матвей Васильевич, аль не чаял гостя? — спросил царь.

— Не чаял, государь, ей-ей, не чаял,— признался Апраксин.— Такую радость и во сне увидеть не чаял, а тут в явь.

— А я ведь предупреждал тебя. Ай забыл?

— Что ты, государь, как забыть можно. Но я думал, шутишь.

— Царям нельзя шутить,— вздохнул Федор Алексеевич и тут же приказал весело: — А ну, показывай свои новые хоромы. Да скажи людям, пусть встанут.

— Ничего. Пусть полежат. Им такое счастье — пресветлого царя зреть, може, никогда уж в жизни не выпадет.

— Ну, гляди, ты хозяин. В чужой монастырь со своим уставом, я полагаю, и царю соваться не пристало.

И они направились в дом, царь по доскам, положенным от ворот до самого крыльца, хозяин сбоку его, по земле, готовый в любое мгновение подхватить под локоть высокого гостя. Но этого сегодня не требовалось, государь, слава Богу, хорошо себя чувствовал и Апраксин не смел без его соизволения прикасаться к нему.

За ними следом двор заполнялся стрельцами царского полка, сопровождавшими государя. Челядь вскакивала с земли и истаивала в хозяйственных пристройках.

Государь пошел по горницам, с интересом осматривая их. Следом шли пятеро ближних бояр.

— А ведь славно получилось, Матвей Васильевич. А?

— Славно, государь, очень славно.

— Вот такими бы домами всю Москву обустроить. То-то бы здорово было. А то, что ни день — пожар полыхает. Никак москвичи без красного петуха не обходятся.

Апраксин узрел за одной из дверей жену, по-воровски выглядывающую в щель. Улучив момент, шагнул к ней, прошипел, как гусак, сердито:

— Вели стол в трапезной накрыть. Да живо мне!

— А это что за горница? — спросил царь, входя в очередную.

— Это Марфинькина, дочкина. После случившегося боюсь ее вверху селить.

— Да-а, а что ж ты мне главное свое богатство не кажешь? Семью?

— Счас, счас, государь,— засуетился Апраксин и, обежав бояр, кинулся назад.— Мать... Дети... к государю. Да живей же, Господи!

Вскоре явились все — жена, двое сыновей и дочь. Какие-то все малость ошеломленные, видно от испуга.

— Это вот, государь, супруга моя. Это сын Петьша, это Федьша...

Федьше пришлось подзатыльник дать, забыл, окаянный, с перепугу, как государю кланяться надо. После подзатыльника вспомнил.

— Старший, Андрей, в деревне, а это моя дочь Марфинька,— голос стольника потеплел.— Погорелица наша.

Девочка залилась румянцем, поклонилась государю с достоинством, удивившим даже родителя.

Царь ласково погладил девочку по русой головке, молвил улыбаясь:

— Королевна. Прекрасное дитя,— и спросил вдруг ее: — Чай, страшно было гореть, Марфинька?

— Ужас, государь.

— О чем думалось в тот миг?

— О батюшке с матушкой, государь.

— Почему о них? — удивился царь.

— Так ведь для них какое б горе было, если б я сгорела.

— Ах ты, разумница! — Царь не удержался, на мгновение прижал голову девочки к груди.— Золотой ребенок у тебя, Матвей Васильевич.

Апраксин и тлел и млел от счастья. Марфинька зарделась того более.

— А где ж спаситель твой?

— Тиша? Он на конюшне,— отвечала девочка.— Позвать?

— Ну, позови. Взглянем на героя.

Марфинька вприпрыжку кинулась из горницы, и со двора донесся ее голосок:

— Тиша! Тиша, иди, государь велит.

Пройдзисвет явился в дверях, увлекаемый за руку девочкой.

— Вот он, государь. Это мой Тиша,— сказал Марфинька, уже вполне освоившаяся с присутствием высокого гостя.

Федор Алексеевич с интересом осмотрел Тимофея, низко поклонившегося ему.

— Хорош молодец! — молвил наконец царь.— Таких бы нам побольше, пожалуй, турку б не поздоровилось. Где добыл такого, Матвей Васильевич?

— Сам вырастил, государь.

— Сам?

— Именно. На дороге подобрал мальчишку беспризорного. А ныне не нарадуюсь и поныне Бога за него благодарю. Не он бы — не жить Марфиньке.

Царь опустил руку в карман кафтана, вынул золотой, кинул Тимофею.

— Держи, герой.

Тот не ожидал этого, даже руку не успел выбросить навстречу летящему золотому. Монета ударилась об него, покатилась по полу. Марфинька тут же догнала ее, подала слуге.

— На, Тиша.

— Спасибо, государь,— отвечал Пройдзисвет, чувствуя себя не в своей тарелке.— Мне можно идти?

— Ступай, молодец. Я рад был увидеть тебя.

— Государь, Федор Алексеевич, пожалуйте к столу нашему,— сказал Апраксин, заметив как из-за приоткрытой двери жена подает ему знаки.— У нас не ахти какие разносолы, но чарку за новоселье пригубить надо.

— Ну что ж,— улыбнулся Федор.— Назвался груздем — полезай в кузов. Так, кажется, в народе говорят?

— Так, так, государь.

— Ну а раз я назвался гостем, то без чарки, выходит, нельзя?

— Так положено по обычаю, государь.

Прошли все в столовую, где были расставлены на столе блюда, наспех спроворенные хозяйкой: яишенка, жареное мясо, икра, грибки соленые, пироги подовые, яблоки моченые. Стояли меж тарелей и темные бутылки с фряжским вином.

Апраксин разлил по серебряным кубкам вино, государь поднял свой, сказал:

— За твой дом, Матвей Васильевич, за прекрасную семью твою.

Все выпили единым духом чарки, лишь царь только пригубил свою, поставил на стол. Поднялся.

— Ну, пора и честь знать. Спасибо за хлеб-соль, Матвей Васильевич.

Апраксин проводил государя не только до ворот, а до самой кареты, помог подняться на ступеньку. Низко поклонился:

— Спасибо, пресветлый государь, что жаловал раба своего Матюшку великой честью. Спасибо.

Конные стрельцы мигом разобрались, заняли свои места впереди кареты. И царский поезд тронулся по очищенной улице. А Апраксин стоял и смотрел ему вслед, тихо улыбаясь и чего-то бормоча себе под нос.

Воротившись в дом, он взял царский кубок, из которого не было отпито и глотка, сказал строго жене:

— Это вино государь пригублял. В память о его приезде к нам я поставлю кубок к божнице, пусть там и стоит. Всем накажи, чтоб не смели трогать государеву чарку. Особенно Федьше, тронет — запорю.

Глава 27

ПРОДЛЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ

В июле 1678 года в Москву прибыли из Польши великие и полномочные королевские послы: князь Михаил Чарторыйский и Казимир Сапега для заключения нового договора о перемирии. Сей успех во взаимоотношениях с Польшей Василий Михайлович Тяпкин не без основания приписывал себе. И вполне естественно, ему было поручено встречать и устраивать гостей.

Если Чарторыйский при встрече с Тяпкиным едва кивнул высокомерной головой и процедил что-то сквозь зубы, то Сапега, по крайней мере внешне, высказал откровенную радость:

— О-о, пан Тяпкин, как я рад вновь вас видеть.

— Я тоже,— отвечал вполне искренне Василий Михайлович.

— Как видите, ваши хлопоты увенчались небывалым успехом.

— Будем надеяться,— Тяпкин сплюнул.— Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Как говорят, цыплят по осени считают.

— Вы же не думаете, пан Тяпкин, что король послал нас просто прокатиться до Москвы. Мы имеем самые высокие полномочия на заключение договора.

— Дай-то Бог, дай-то Бог.

Тяпкин, поручив спутников великих послов подьячему Посольского приказа, самих провел в отведенную для них резиденцию и сказал с плохо скрываемой гордостью:

— Отныне, пока вы находитесь в державе великого государя, уважаемые панове, вы состоите на полном содержании царского величества. Все, что вам будет доставляться, все будет для вас бесплатным.

— О-о,— округлился рот даже у спесивого Чарторыйского.

А Сапега не удержался, захлопал в ладоши и едва не пропел:

— Это прекрасно! Это прекрасно!

«Еще бы не прекрасно, чертов пан,— думал Тяпкин.— У вас я последние портки закладывал, чтобы не подохнуть с голоду, а вам здесь скатерть-самобранку предоставили».

Разместив великих послов, Тяпкин явился к князю Голицыну.

— Ну как? — спросил тот. — Устроил?

— Устроил, Василий Васильевич.

— Они довольны?

— Еще бы, встать на полное содержание, да еще и не довольствоваться. Сапега чуть не плясал от радости.

— Это хорошо, это хорошо. Покладистее будут.

— А я сомневаюсь. Уж их-то я знаю.

— Что ты имеешь в виду, Василий Михайлович?

— За Киев они с нас заломят такую цену, что казна затрещит.

— А что делать? Государь и Дума указали — за Киев ничего не жалеть.

— Вот-вот. И эти прохиндеи знают, что Киев для нас слишком дорог. Вот и заломят цену выше неба.

— А что если, Василий Михайлович, я приглашу их к себе, ну и тебя, разумеется. Сядем за стол, разольем фряжское... А?

— Попробовать можно,— согласился Тяпкин, вспомнив, сколь полезны бывали для него такие застолья.— Даже, пожалуй, может неплохо получиться. Во всяком случае, можно будет выведать, доколе им король разрешил уступать. Сапега болтлив и в пьяном виде вполне может проговориться.

— Ты не знаешь, на что падок Чарторыйский?

— На художества, картины, скульптуры, дорогой хрусталь, фарфор. Я был у него во дворце, весь завешан и заставлен цацками.

— Великолепно. У меня все это есть, я постараюсь его уволочь любоваться прекрасным, а ты разговоришь Сапегу.

— Ну что ж, это резонно. В отсутствие Чарторыйского его легче будет на откровенность вытянуть. И еще, Василий Васильевич, оденься в кунтуш, уж так ты ублаговолишь их этим.

— Это добрая мысль. Я, пожалуй, и прислугу всю в польское платье переодену. Ну, Василий Михайлович,— заметил Голицын с оттенком восхищения,— да ты кудесник просто, такое придумать...

— Что делать, князь,— заскромничал Тяпкин.— С волками жить — по-волчьи выть. Вы, надеюсь, по-польски говорите?

— Да вроде неплохо, и читаю и пишу

— Тогда все в порядке. А если еще и прислуга будет по ихой мове...

— Я подберу таких из дворни. Все будет по-польски.

Князь Голицын, один из богатейших людей державы, не пожалел затрат на подготовку торжественного ужина в честь высоких послов. Помимо обычных московских блюд были доставлены с Волги полные туеса черной икры и осетры пудовые. И все приготовлено было по лучшим рецептам западной кухни поваром-поляком и выставлено на стол. Несколько корзин со свежими фруктами стояли тут же на особых подставках.

Приглашения на торжественный ужин к начальнику Посольского приказа князю Голицыну поляки получили за три дня до события. Они, приглашения, были изготовлены на немецкой бумаге и написаны золотыми буквами по-польски: «Досточтимый пан Чарторыйский! Князь Голицын тщит себя счастливой надеждой, что Вы сможете быть на торжественном ужине, посвященном Вашему прибытию, у него во дворце в четверг текущей недели. Карета будет подана для Вас в три часа пополудни. Примите мои уверения в глубочайшем уважении. Ваш В. Голицын».

Точно такое же приглашение было написано и Сапеге. Подьячий, изготавливавший эти приглашения, усомнился:

— А не вписать ли обоих в одну хартийку, чай, вместе живут-то.

— Ни в коем случае,— сказал Тяпкин.— Паны — народ спесивый, могут разобидиться. Чарторыйский наверняка взбрыкнет из-за того, что Сапега рядом будет вписан. Нет уж, братец, пиши две хартийки.

— Чернил жалко, все ж золото.

— Пиши, пиши, не твои чернила-то.

В четверг приспела пора дивиться Тяпкину, когда к резиденции великих послов подкатили две золоченые кареты, запряженные шестериком. И кучер первой закричал басовито по-польски:

— Карета светлейшему пану Чарторыйскому!

А кучер второй возопил высоким фальцетом:

— Карета пану Сапеге!

Тяпкин был в восторге: «Ай да князь, ай да умница! Вот распотешил-то спесь панскую». И где-то в глубине души Тяпкин сам малость спесивился: «У меня научился». Но это даже не спесь была, а некое удовлетворение учителя своим догадливым учеником.

Встретили высоких послов, подъезжавших к хоромам князя Голицына, лакеи в расшитых ливреях. Кланяясь панам поясным поклоном, вели их церемонно в дом, где на крыльце поджидал гостей сам хозяин в новеньком кунтуше.

— Милости прошу, панове.

Голицын слегка нервничал — еще не появлялся Тяпкин: уж не стряслось ли чего с ним? Но с Тяпкиным было все в порядке, полюбовавшись на выезд высоких гостей из резиденции, он направился пешком вслед за каретами в сторону голицынской усадьбы, нисколько не расстраиваясь от великой разницы передвижения панов и его — русского дипломата: где наша не пропадала, лишь бы польза была. Он, Тяпкин, готов и на брюхе это расстояние проползти, никак не унизясь, лишь бы склонить спесивых великих послов на уступки в договоре.

Его задержали на улице какие-то пьяницы, требуя возвращения долга на опохмелку.

— Какой долг? — удивился Тяпкин.— Я вас впервые вижу.

— Хо! — возмутился один.— Вчера взял у меня алтын.

— Два алтына,— подсказал другой пьяница.

— Два, два,— согласился первый.— Взял два алтына, а теперь «впервые вижу».— Он схватил Тяпкина за грудки, встряхнул.— Отдавай долг.

— Отдавай,— мямлил второй,— не то х-худо будет!

Ничего не поделаешь, пришлось Тяпкину отдавать «долг», дабы не нажить большей беды. Уж он-то знал нравы родных русских «питухов».

Беспокойство хозяина и слугам передалось. Уже в воротах привратник сказал Тяпкину:

— Князь шибко на вас осерчал.

— За что?

— За неявку.

То же слово в слово повторил и слуга в передней.

— Я доложу князю,— сказал он и исчез.

Не успел Тяпкин осмотреться, как явился сам Голицын.

— Где вы пропали, Василий Михайлович? Сами знаете их ревность в правилах.

— Меня задержали «питухи» на улице, едва не побили.

— Надо в экипаже ездить.

— Выйду в бояре, поеду,— огрызнулся Тяпкин.

— Вот как теперь объясним ваше появление?

— Скажем, ехал мимо, заехал на огонек,— сообразил тут же Тяпкин.— Разве не резонно заехать к своему начальнику. А тут честная компания.

— Ладно. Идемте.

— Они уже пили?

— По две чарки осушили, навалились на осетра.

— Вот и славненько,— потер руки Тяпкин.— Теперь мы на них навалимся. Главное, не забудьте уволочь Чарторыйского.

В большом зале, ярко освещенном не менее чем полусотней свечей, за большим столом, заставленным различными блюдами, восседали Чарторыйский и Сапега, уже завеселевшие. На стенах зала висели живописные картины, на полу лежал персидский огромный ковер, в простенках меж окнами стояли венецианские зеркала, в которых можно было видеть себя во весь рост.

— О-о, пан Тяпкин,— вскричал радостно Сапега.— И вы здесь?

— Да вот ехал мимо, заскочил на огонек. Не чаял, не гадал!

— Давайте к столу,— бесцеремонно пригласил Сапега, словно был тут полным хозяином.

Голицын молча, взглядом указал Тяпкину его место возле Сапеги. Тяпкин сел на венский стул, придвинулся к столу.

— За что выпьем, пан Тяпкин?— спросил Сапега, разливая в серебряные кубки вино.

— Я думаю, за здоровье высоких гостей.

— Э-э, опоздал, брат, за это мы уже пили.

— Тогда за успех нашего дела, ради которого вы проделали столь долгий и опасный путь.

— Идет,— замотал головой Сапега.— Говори тост.

— Ну что ж, дорогие панове, от нас ждут народы мира и мы должны оправдать их надежды. Если мы не сделаем этого, то наши имена будут опозорены историей.

— Позволь, позволь, как это «опозорены»?

— Ну как, представь себе, пан Сапега, эдак лет через сто своего правнука. Мы с тобой не заключим договор, а ему — твоему правнуку потом в очи тыкать станут: это из-за твоего прадеда мы мира не нашли. А?

— А ведь, пожалуй, он прав,— взглянул осоловело Сапега на Голицына.— Пан Василий? А?

— Пожалуй,— согласился Голицын и взял свой кубок.— Вот и выпьем за то, чтобы нашим правнукам не было за нас стыдно.

— Выпьем,— сказал Сапега и решительно потянулся с кубком чокаться со всеми. Даже до Чарторыйского дотянулся, уже несколько опьяневшего и внимательно смотревшего на статуэтку, стоявшую на подставке в углу. Тяпкин перехватил этот взгляд, молвил:

— А пан Михаил, видно, крепко разбирается в художестве.

— С чего ты взял, пан Тяпкин,— удивился Чарторыйский.

— Тонкого ценителя прекрасного всегда видно. Но эта статуэтка что! Вот у князя в кабинете есть богиня любви, кажется. Василий Васильевич, как она называется?

— Психея, богиня души.

— Вот-вот, Психея.

— У вас есть Психея? — спросил Чарторыйский.— Чья работа?

— Мне ее из Италии доставили.

— Вы позволите взглянуть?

— Ради Бога.— Голицын поднялся и повел Чарторыйского из зала.

Начал было и Сапега подниматься, чтобы последовать за ними, но Тяпкин потянул его за фалду, усадил назад.

— Сиди, пан Казимир. Что ты, голых баб не видел. Давай лучше выпьем.

— Давай,— сразу согласился Сапега.— За что?

— За Яна Собеского.

— За нашего короля с удовольствием,— молвил плохо слушающимся языком высокий посол. И Тяпкин понял, что теперь с ним можно пить за все, что на ум придет. Поэтому, едва выпили за короля, он наполнил кубки еще и сказал:

— Теперь за Польшу.

— О-о,— воскликнул польщенный Сапега, но в пьяной голове его что-то шевельнулось разумное, и он погрозил Тяпкину пальцем: — А ты, пан Тяпкин, хитрец.

— Конечно, хитрец,— согласился Василий Михайлович.— Пока князя нет, хоть напьюсь за его счет.— И тут же, наполнив кубки, произнес: — Теперь давай за хитреца.

Сапега с трудом одолел этот кубок, и Тяпкин понял: хватит, а то иначе можно высокого посла свалить под стол и тогда уж ничего из него не вытянешь.

— Теперь закусывай, пан Казимир.— И стал сам намазывать ему на хлеб черную икру, поскольку руки Сапеги уже плохо слушались хозяина.— Между прочим, с Яном Собеским мы были друзьями.

— Я знаю, пан Тяпкин. Я часто видел вас в саду. Он, кстати, велел вам кланяться.

— Спасибо, пан Казимир, мне это очень приятно. Я надеюсь, что он не шибко велел давить на нас?

— Да, как сказать, он за Киев велел сильно стоять.

— Сколько?

— Чего «сколько»?

— Сколько король велел за Киев просить?

— Пан Тяпкин, я же посол... Как я могу.

— Господи, пан Казимир, я же разве не понимаю, можешь молчать. Я тоже стану молчать.

Тяпкин старательно начал пережевывать пироги с вязигой, сделав вид, что и не замечает собеседника. Но опьяневший Сапега был в том состоянии, когда смерть как поболтать хочется.

— Я ведь, пан Тяпкин, очень тебя ув-важаю и уважал еще в Польше. Ты был столь приятен, столь дружелюбен...

Тяпкин и ухом не вел на все эти приятности, жевал себе да жевал.

— Ты на меня осерчал? Да? Пан Василий?

Тяпкин, пожав плечами, продолжал насыщаться, и даже вина себе налил в кубок.

— А мне? — спросил Сапега.

«А черт с тобой»,— подумал Василий Михайлович и налил кубок Сапеге.

— За что выпьем?

— За молчание,— буркнул Тяпкин.

— Обиделся, пан Василий, обиделся. Ну ладно.— Сапега покосился на дверь, прошептал: — Только как другу, за Киев мы запросили четыреста тысяч.

— Вы что, обалдели с Собеским вашим!

Сапега приложил палец к губам.

— Т-с-с, пан Василий, так это ж запрос.

— А убавки сколько король разрешил?

— Ровно вполовину, пан Василий, вполовину, так что не расстраивайся. Но уговор: ни-ни.

— Но, наверно, за это нам что-то уступать надо?

— Ну, какой-нибудь город. Вам жалко, что ли?

— Может, еще раз Москву возьмете,— съязвил Тяпкин.

Сапега хоть и был пьян, но намек понял. Был период в Смутное время, когда поляки хозяйничали в Москве.

— Хороший ты человек, Василий Михайлович, но язва-а-а.

— Я пошутил, пан Казимир, не обижайся,— помягчел Тяпкин, удовлетворенный, что хоть что-то выудил у поляка.— И, будь уверен, царское величество щедро наградит высоких послов, лишь бы был у нас успех. Разве твоей жене не будут к лицу соболя?

— О-о, пан Василий, не искушай, не искушай, ибо слаб грешный человек.

— Такова жизнь, пан Казимир, давай выпьем за нее.

— За жизнь?

— Нет, за жизнь потом. Сперва за твою жену.

— О, Зося!

За Зосю пан Казимир еще одолел кубок, а вот за жизнь уже не потянул. Под стол, правда не свалился, но благополучно заснул, сронив кудри на осетровые объедки.

Когда Голицын и Чарторыйский воротились с осмотра коллекций князя, бодрствовал за столом только Тяпкин.

— О-о, как нехорошо,— наморщился Чарторыйский, увидев своего коллегу спящим в рыбных объедках.

— Ничего, ничего. Это бывает,— успокоил его Голицын.— Я позову слуг, его доставят самым изящным образом. Эй, кто там!

Явился дворецкий, вытянулся у двери.

— Позови людей, помогите пану сесть в карету, пусть отвезут откуда взяли и помогут там лечь в постель. Живо.

Два широкоплечих молодца, явившиеся в польских кунтушах, подхватили пана Сапегу и почти вынесли из зала быстро и бесшумно.

— О-о, простите, Василий Васильевич, я тоже, наверное, поеду,— сказал смущенно Чарторыйский.— Я не знаю, как благодарить вас за столь щедрый подарок.

— Ничего, пан Михаил, мы свои люди, сочтемся,— отвечал вежливо Голицын.— Я провожу вас.

Они вышли. Тяпкин задумчиво ковырял вилкой остывшего осетра, слушал, как во дворе скрипели ворота, с тарахтеньем выезжали кареты, что-то громко наказывал князь кучерам (слов было не разобрать), но наказ, видно, был строгий.

Потом князь появился в зале, присел к столу, налил себе соку грушевого, выпил, взглянул на Тяпкина.

— Ты что сделал с Сапегой?

— Как «что»? Упоил — как на Руси положено.

— А сам почти тверез.

— Мне, увы, нельзя было. Я себе едва поплескивал для виду.

— Ну, вытянул?

— А то. В общем, за Киев они заломят четыреста, но уступать станут до двухсот.

— Ну это еще ничего. Государь доволен будет.

— Как я догадываюсь, князь, и ты под Чарторыйского соломки подстелил. Наверное, вымозжил у тебя Психею. Верно?

— Верно. Как ты догадался?

— Что я, глухой. Он же тебя благодарил «за столь щедрый подарок». Пожалуйста, Василий Васильевич, если все сладится, попроси у государя для Сапеги сорочку соболей.

— Пообещал?

— Ну а куда денешься. За секреты платить надо. Да и мы же, русские, в конце концов, на Западе за широту души ценимся. Так что не урони моей чести, князь, ибо за ней и твоя стоит, и не только твоя.

— Ладно, ладно. Скажу государю.

Переговоры шли несколько дней. И той и другой стороне надо было показать своим государям, что они не зря хлеб едят, что денно и нощно пекутся об интересах своих суверенов. И наконец в июле 1678 года был заключен договор между Россией и Польшей, что быть перемирию еще на тринадцать лет, считая с июня 1680 года, когда должен окончиться срок Андрусовского соглашения. И было отмечено в договоре, что в грядущем оба государя будут радеть об установлении вечного мира между своими державами.

Русская сторона уступила полякам города Невль, Себеж и Велиж с уездами. За Киев платила двести тысяч московских рублей.

Не обманул Сапега Тяпкина, но зато и одарен был соболями щедро. Впрочем, и князь Чарторыйский тоже не был обижен.

А Василию Михайловичу «за великие его труды» по подсказке Голицына была подарена от государя с царских конюшен пара гнедых коней с коляской. Для царских конюшен, насчитывавших около сорока тысяч коней, это не было великой потерей, но для Василия Михайловича явилось ценным обретением.

— Ну что ж,— молвил удовлетворенно Тяпкин, оценивая подарок,— теперь будет на чем волочиться по делам государевым.

Глава 28

К МИРУ С ОБЕИХ СТОРОН

Покупка Киева у поляков еще не означала, что эта «матерь городов русских» теперь навечно остается за Россией. После падения и разрушения Чигирина, туркам был, в сущности, открыт путь на Киев и в Москве опасались, что нападение может произойти уже в ближайшее лето. Надо было как-то сговариваться с султаном.

В Посольском приказе стараниями Голицына была заготовлена грамота государева к султанскому величеству, в которой предлагалось восстановить дружеские отношения

между Россией и Портой. В грамоте в очень вежливой форме обосновывались исторические права русских государей на владение Малороссией.

— Кого пошлем к султану? — спросил Федор Алексеевич Голицына, скрепив грамоту своей подписью и печатью.

— Я думаю, дворянина Даудова.

— Почему именно его?

— Во-первых, он свободно говорит по-турецки. Ну и, что немаловажно, не раз уже бывал там по своим делам. По крайней мере не заблудится.

— Он где сейчас?

— В передней сидит.

— Пригласи Даудова, Родион Матвеевич,— обратился государь к Стрешневу.

Дворянин Даудов оказался крепким, хотя уже и немолодым человеком, со скуластым лицом и разрезом глаз, указывающим на присутствие восточной крови в его жилах.

Государь, ознакомившийся уже с содержанием грамоты, начал говорить:

— Ты повезешь к султану турецкому грамоту, в которой мы предлагаем восстановить прежние дружеские отношения. Приложи все усилия, чтобы разузнать об их планах на будущий год. Не станут ли они промышлять Украину? Это самое главное. Разузнай также, если сможешь, сколь серьезны их надежды на Хмельницкого? И постарайся договориться с визирем о переговорах с нами. Когда, где и сколько должно прибыть для этого наших людей.

— Хорошо, государь, все исполню.

— Попробуй выяснить, кто будет на переговорах с их стороны, дабы мы могли послать послов, равных по рангу турецким. Если вдруг узнаешь, что готовится скорое нападение, шли поспешного гонца или лучше немедленно возвращайся сам. Вот и все. Василий Васильевич, у тебя есть что?

— Нет. Ты все сказал, государь. Но патриарх Иоаким хотел с Даудовым послать грамоту турецкому муфтию, дабы он со своей стороны споспешествовал установлению мира между нашими державами.

— Ну что ж, Василий Александрович, бери нашу грамоту и зайди к патриарху. Деньги на дорогу получил?

— Получил, государь.

— Достанет?

— Достанет, наверно.

— Сколько человек берешь с собой?

— Двух, государь.

— Надо, чтоб молодцы были крепки и надежны.

— Эти надежны, государь.

— Ну, с Богом, Василий Александрович, счастливого пути и успеха в сем важном деле. Родион Матвеевич, отдай Даудову грамоту.

Когда Даудов вышел, Голицын сказал:

— Вот, пожалуйста, более двадцати лет тому привез его князь Лобанов-Ростовский от шаха, перекрестил в нашу веру и много лет он был отличным толмачом в Посольском приказе. Не далее как в семьдесят пятом году уже ездил посланником в Бухару и Хиву. И вот теперь к султану.

— Да, видно, не глупый человек,— заметил Федор Алексеевич.

— А фамилию Даудов при крещении получил. До того звался Алимарцалом Бабаевым. И вот христианин, да еще какой.

— Поболе бы нам таких выкрестов.

Патриарх встретил Даудова милостиво, допустил к руке и, уж чего не ожидал дворянин, сам прочел ему написанное:

— Послушай-ка, сын мой, чего я тут накарябал муфтию, на свежее-то ухо, может, оно что не так услышится, чем желательно.

— Хорошо, святый отче, читайте.

Иоаким прокашлялся, отстранил от себя подале грамоту и начал читать, аккуратно перечислив вначале все звания своего адресата:

— «...Надеемся, что вы первый и начальнейший блюститель мусульманского закона на показание своей духовности о покое и тишине вненародной большой подвиг свой и учение предложите и всяким образом хитростное военное расширение удержите, и плод в том правды пред Господа Бога в дар принести похощите, и народам своим милость и покой ходатайством у султанова величества упросите, и рати, начинающиеся неправдою за причиною богомерзкого законопреступника Юраски Хмельницкого пресечете».

— Ну как? — спросил Иоаким, выглядывая поверх листа бумаги.

У Даудова не хватило духа осудить текст, столь закрученный, что едва-едва улавливался смысл его.

— По-моему, хорошо, отец святой. Но лучше, если б письмо было написано на турецком языке.

— Вот те на, а зачем же я читал тебе его, Василий? Именно для того, что б ты проникся, сын мой, и перевел его точь-в-точь. Садись вон за тот стол, бери свежее очиненное перо, сын мой, а я после подпишу

Даудов сел за стол, разложил бумагу, пред тем как начать, перечитал текст и наконец осмелился высказать сомнение:

— Отец святой, может, про Юраску Хмельницкого не надо?

— Что ты, что ты, сын мой, обязательно надо, он законопреступник. Из монашества самовольством вышел, да еще себя князем объявил. Эдак я возьму да с завтрева объявлюсь султаном. А? Каково? — засмеялся Иоаким, довольный удачно найденным сравнением.— Пиши про Юраску, обязательно пиши. Из-за него может, и весь этот сыр-бор.

Делать нечего, Даудов начал переводить на турецкий хитроумный текст патриаршей грамоты.

Однако не одна Москва жаждала мира. И Стамбул не менее ее желал того же. Потеряв в последнем чигиринском походе очень много людей, в результате получив лишь развалины города и уразумев, что война — дело весьма разорительное, султан тоже решил искать мира с Россией. Но поскольку победителю было как-то неловко заявлять побежденному о таком своем желании, султан дал поручение валахскому господарю Иоанну Дуке быть посредником при заключении мира между Россией и Портой.

Даудов еще только собирался выезжать со своей миротворческой миссией, а уж от султана поскакал гонец в Валахию с теми же намерениями.

Валахский господарь, безропотно подчинявшийся султану, получив столь важное поручение от своего высокого покровителя, вызвал к себе капитана Билевича.

— Капитан, поскольку вы хорошо говорите по-русски, как, впрочем, и по-турецки, я поручаю вам от имени султана выехать в Москву и переговорить там насчет перемирия Порты с Россией.

— Хорошо, государь.

— По пути заедьте в город Казыкермень, что в низовье Днепра, повидайтесь с Юрием Хмельницким.

— Что я должен передать ему?

— Ничего, капитан. Ничего. Вы просто должны узнать, что это за фигура. Почему турки в борьбе за Малороссию поставили на него?

— Очевидно, из-за фамилии. Раз гетманом был Богдан, почему бы его булаву не передать сыну, тем более что она уже у него как-то была.

— Разумеется, это имело место. Но пока турки именуют Хмельницкого князем Малороссийским, у них не может быть настоящего мира с Россией. Вы понимаете?

— Да, государь.

— Вот поэтому вы должны увидеть его. В Москве вас обязательно спросят о Хмельницком, и вы должны знать, что им ответить. И отвечайте о сем без лукавства, что увидите, то и говорите. Если удостоитесь чести приема у великого государя, передавайте ему от меня поклон и искренние поздравления с воцарением. Хотя, разумеется, я опоздал с этим. Но, увы, не представлялось оказии. А ныне вот вы, да еще с таким важным, а главное, желанным для Москвы предложением. С Богом, в путь, капитан.

На крыльце избы, в которой жил князь Малороссии Юрий Хмельницкий, стоял здоровенный казак с турецким ятаганом за поясом. Навалившись на балясину, он лузгал семечки, и хотя сильно и далеко сплевывал шелуху, она отчасти застревала на его длинных усах и даже на отворотах жупана.

— Сюда ходу нема,— сказал казак Билевичу, явившемуся перед крыльцом.

— Но мне нужен Юрий Хмельницкий.

— Гетман спит.

— Так разбуди, уж скоро полдень.

— Не велено беспокоить.

— Но я от султана,— начал выходить из терпения капитан.

— А хошь бы и от Господа Бога,— отвечал казак, продолжая подпирать балясину и лузгать семечки.— Не велено, и годи.

Билевич уже намеревался уйти, как вдруг дверь избы резко распахнулась и на пороге явился в исподней сорочке Хмельницкий.

— Кто тут посмел меня требовать?

— Да вот пришел какой-то. Говорит, от султана,— сказал казак, отрываясь от балясины и переставая щелкать семечки.

— Кто такой? — уставился мутным взглядом Хмельницкий на Билевича.

— Капитан Билевич,— вытянулся по-военному гость.— Хотел просить вас принять меня, поскольку я еду с поручением султана.

— З-заходи,— сказал Хмельницкий, отступая внутрь избы.— Охрим, никого ко мне не пускать.

— Слухаю, гетман.

Проходя мимо Хмельницкого, капитан почуял тяжелый запах винного перегара, исходившего, казалось, от всего тела князя Малороссийского.

Он вступил в полутемную прихожую, Хмельницкий, шедший следом, сказал:

— Налево и прямо.

Они вошли в большую горницу со столом посредине, на котором громоздились неубранные тарелки и остатки закуски, бутылки, куски хлеба. В горнице стоял устойчивый дух горилки и чего-то еще прокисшего.

— Вечор с есаулом ужинали,— сказал Хмельницкий и закричал: — Гапка, дура чертова, убери со стола.

Из угловой горницы послышался шорох, потом шлепанье босых ног и появилась дородная женщина в малороссийской вышитой рубахе.

— Чего кричать? Сами ж ввечеру не велели убирать. А теперь «дура».

— Принеси горилки, да вареники не трожь.

— Они вже посохли.

— Что ж что посохли. Горилкой размочим.

Женщина собрала и унесла грязные тарелки, воротилась с бутылкой горилки. Хмельницкий налил горилку в две кружки, оставленные на столе, поднял свою.

— Давай, капитан, за знакомство!— И, не дожидаясь Билевича, вылил свою горилку в глотку и тут же, ухватив рукой вареник, стал закусывать.

Билевич несколько помедлил, ему, привыкшему к виноградному вину, трудно было глотать эту гадость.

— Ну чего ты,— подбодрил Хмельницкий.— Пей. Впрочем, постой, давай вместе.

Хмельницкий снова наполнил свою кружку, поднял ее.

— Ну!

— Давай,— согласился капитан. На этот раз они выпили почти одновременно.

— Ну что там султан, рассказывай?— спросил Хмельницкий.

— Дело в том, Юрий Богданович, что я послан султаном договариваться с Москвой о мире.

— Они что, белены там объелись,— возмутился Хмельницкий. Снова налил себе и выпил.— Почему со мной не посоветовались? Я им что? Игрушка? С Москвой никакого мира не может быть. Слышишь? — сорвался он на крик, словно Билевич был виноват в этом.— Я спрашиваю, ты слышишь?

— Слышу, гетман.

— Сейчас Чигирин наш, можно идти прямо на Киев, а там на Левобережье. А они «мир». Я уж запорожцев сговорил, они за меня. Они ждут не дождутся нас.

Хмельницкий не давал говорить Билевичу, говорил только сам, и все более о себе, не забывая подливать в свою кружку горилку и выпивать ее, уже ничем не закусывая, даже усохшими варениками.

— ...Как только хан пришлет ко мне войско, я иду на Батурин. Я сровняю его с землей, как и Чигирин, а Самойловича повешу как бешеную собаку.

Билевич, видя перед собой почти безумные глаза пьяницы, думал: «И зачем я сюда явился, он же сумасшедший».

Хмельницкий словно услыхал мысли своего гостя, неожиданно прекратив проклятия, спросил его:

— Постой. А ты зачем сюда приходил?

— Я приходил, чтобы поставить тебя в известность о намерении султана искать с Москвой мира.

Хмельницкий трахнул кулаком по столу, подпрыгнули бутылки.

— Не бывать этому,— закричал во все горло так, что на шее вздулись жилы. Тут же явилась в горнице Гапка, сказала озабоченно:

— Серденько, зачем так шумишь? Так вскричал, я аж злякалась.

— Уйди, дура.

— Ни, серденько. Ни. Пидимо со мной.

Обернулась к гостю, сказала с упреком:

— Ах, пан, до чего человека довели. Нехорошо так, нехорошо.

И хотя «князь» ругал ее и брыкался, она увела его из горницы.

«Ну и слава Богу»,— подумал Билевич, поднимаясь из-за стола. Вышел на крыльцо, вдохнул с удовольствием чистый воздух. Казак, лузгавший семечки, спросил:

— Ну как? Побеседовали?

— Побеседовали,— усмехнулся Билевич.

Казак понял и тон ответа и усмешку.

— Что делать? Больной человек. Забот много.

На крыльце появилась Гапка, недружелюбно взглянув на Билевича, сказала казаку:

— Иди. Зовет.

Казак отряхнул от семечек руки, жупан, усы и, поправив за поясом ятаган, шагнул в избу. Гапка с треском захлопнула дверь, давая понять Билевичу, чтоб уметался прочь и поскорее.

Казак на цыпочках прошел через большую горницу в угловую, где была опочивальня. Хмельницкий лежал на кровати.

— Охрим?

— Слухаю, гетман.

— Отот капитан, шо был у меня, ты запомнил его?

— Запомнил, гетман.

— Как стемнеет, иди и убей его.

— Как — убить? — опешил казак.— За шо?

— Он хочет помирить султана с Москвой. Не бывать этому,— дернулся Хмельницкий.— Я прерву эту нить. Ты слышишь, Охрим?

— Слышу, гетман.

— У тебя ятаган отточен?

— Отточен, гетман,— соврал Охрим, уже забывший, когда он вынимал эту «поганьску орудью».

— Отруби этому капитану голову, слышь, отруби напрочь. Иди.

Казак вышел на крыльцо, прислонился к балясине, долго вздыхал, потом вспомнил о семечках, достал из широких портов добрую жменю жареных и занялся снова лузганьем.

Билевич вернулся во двор татарского бея, где оставил коней и своих спутников.

— Ну как? — спросил его бей.

— Так он же безумен!

— Многие тоже говорят, но когда трезвый, он ничего.

— Мне показалось, он никогда не бывает у вас трезвым. Неужто вы и впрямь доверите такому человеку управлять Украиной?

— Что делать, капитан? Визирь его взял вверх, а опускать теперь стыдится. Если честно, мы уж не рады ему, но он теперь князь. Из монахов-то его было легко вызволить, а вот из князей так не получится.

Вечером, когда Билевич вместе с хозяином и спутниками сидели за маленьким столиком под шелковицей и пили чай, его позвал к воротам один из слуг бея.

— Вас зовут.

— Кто?

— Казак Хмельницкого.

Билевич вышел за ворота. Прислонясь к стенке ограды, стоял казак, по очертаниям огромной фигуры капитан признал в нем Охрима.

— Охрим, ты?

— Я, капитан,— отвечал тот негромко, приближаясь вплотную.

— Что случилось?
— За ради Христа, капитан, уезжай скорее отсюда.
— Что так-то?
— Гетман приказал убить тебя.
— За что?
— А я знаю. Каже, какую-то нитку порвать треба, щоб ты, значит, до Москвы не доихав.
— А кому он приказал? Убить-то кому?
— Кому, кому. Мне, кому еще. Уезжай, капитан, прошу тебя. Не вводи в грех.
— Ну а как ты ему скажешь?
— Как, как. Скажу, убыв.
— И он поверит?
— А куда он денется. Раз тебя в городе не будет, значит, убитый. Поезжай, капитан, поимей мне сочувствие. Он же меня может со службы прогнать. А куда я тут денусь? Опять к татарину в рабы?
— Хорошо, Охрим. Я уеду чуть свет, коней подкормлю и уеду.
— Вот спасибочко вам, добрый вы чиловик, вот спасибо. Счастливого кроку.

Даудов исполнил и царскую волю, и патриаршию, царскую грамоту вручил султану, Иоакимову — муфтию. И тот и другой поблагодарили его и велели ждать ответа. Однако встреча с ними уже более не состоялась. И ответа от них он не дождался. Где-то через месяц с лишком, когда Даудов уже стал терять надежду на ответ, за ним прибыл посыльный от визиря.

— Мы ознакомились с грамотой великого государя,— сказал визирь.— Мы понимаем его озабоченность. Более того, мы тоже озабочены тем же, чтоб между нашими странами всегда был мир. Но ведь не мы нападаем на ваши земли, все время ваши войска переходят наши границы, разрушают наши города.

— Как? — удивился Даудов.— Я что-то не упомню такого.

— Странно,— пожал плечами визирь.— Странно, что Москва посылает человека, который не знает сути дела. А Чигирин? Ведь он же на нашей стороне. Испокон граница между нами проходила по Днепру. А гетман Дорошенко, правивший Правобережьем под нашим покровительством, где он? Москва попросту похитила его и лишила власти, да еще собирается отправить в Сибирь — эту страну мрака.

— Дорошенко живет в Москве на полном содержании государя.

— Как птица в клетке. Я знаю это. Мы ему дали власть. Москва — клетку.

— Ну если визирь начинает углубляться в историю,— не сдавался Даудов,— то я могу тоже вспомнить, чье было Правобережье хотя бы в десятом веке, когда еще Блистательной Порты и в помине не было.

— Мы живем в семнадцатом веке, не в десятом,— нахмурился визирь,— и будем говорить о сегодняшнем дне.

Он долго и сердито молчал, видимо, напоминание из древней истории было неприятно ему. Оно и понятно: по истории Русь старше Порты более чем на полтысячи лет, и если по человеческим меркам — ей бабушкой приходится. Хороша же внучка, оттяпавшая у бабушки этакий кусище.

Наконец, успокоившись, визирь продолжал:

— В общем так, мы готовы вести переговоры о мире, если Москва будет признавать за нами Правобережье. Пусть великий государь шлет полномочных послов в Крым, там и станем вести переговоры. Мы не можем забывать о хане, нашем верном союзнике, о его интересах.

— А как с Хмельницким решите?

— Это уже Москвы не касается. Возможно, он станет править Правобережьем.

И опять Даудов задел неприятную для визиря тему — вопрос о Хмельницком. Визирь явно не хотел говорить об этом.

— Вот наша грамота великому государю,— сухо сказал он.— Можете ехать. Счастливого пути.

Капитана Билевича принял в Посольском приказе князь Голицын. Государю нездоровилось, и он лежал в своей опочивальне, принимая только самых близких к престолу людей.

Выслушав сообщение Билевича, Голицын спросил:

— Какие потери были у турок под Чигирином?

— В первом походе около восьми тысяч они потеряли. Во втором было выведено более ста тысяч воинов. Потеряно около трети.

— Да, тут визирь не щадил никого. А результат? Развалины Чигирина. Захватили город и тут же бросили.

— Визирю больше нужна была победа, а не город. Каждому ведь жить хочется.

— А каковы их планы в отношении Хмельницкого?

— Да, как я понял, они уж не рады, что с ним связались. Он же беспробудно пьянствует и, по-моему, уже безумен. Турки с ним крепко просчитались. Они думали,

что, как только привезут его на Украину, за ним пойдут все казаки, как бывало за отцом его. А казаки не пошли. Вот теперь он сидит в Казыкермене, князь — без княжества, гетман — без войска.

— Ну что ж, оно неплохо, что и Порта мира взалкала. Может быть, удастся договориться. Передай господарю Дуке государеву благодарность за посредничество. Мы будем стараться, чтоб усилия эти не пропали даром.

Вечером Голицын был в спальне государя с докладом о предварительных договоренностях в отношении мира с Портой.

— Султан никак не хочет уступать Правобережье, государь.

— Но на переговоры-то он согласен?

— Да, переговоры он назначает в Крыму у хана.

— А о Правобережье надо обязательно посоветоваться с Иваном Самойловичем. Ныне он гетман всей Украины, и без него решать этого нельзя.

— Ты прав, государь.

— Кого бы ты, Василий Васильевич, советовал послать к гетману?

— У меня есть толковый дьяк Емельян Украинцев.

— Посылай с Богом. Накажи ему, чтобы гетман изложил все на бумаге, дабы можно было в Думе обсудить. А потом уж будем решать, кого в Крым послать.

Глава 29

ДЕНЬ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА

Четверг — день Сибирского приказа, когда начальник его или дьяк докладывает государю дела сибирские. Сибирь — основной поставщик в казну мягкой рухляди — шкурок соболя, песца, бобра, белки. И золота, разумеется.

Но в этот четверг шел доклад не о рухляди, а о волнениях инородцев и было в Думе сидение великого государя с боярами о делах. Тем более что дела были в Сибири нерадостные, «худые дела», как сказал дьяк, прежде чем начал читать скаски с мест.

— «...А мангазейские самоеды не хотят платить ясак. А их князец Ныла, явившись к сборщикам, бросил им лишь шкуры песцов, и когда те спросили за соболей и бобров, Ныла вскричал своим: «Промышляйте над ними!» И самоеды с ножами бросились на сборщиков, а те убили Нылу и разогнали самоедов. Однако те толпой явились к городу,

дабы отомстить за Нылу, и три дня русские отбивались от них. И только другой князец самоедов, придя к Мангазеи, разогнал взбунтовавшуюся толпу и спас русских от гибели».

— А имя, имя этого князца, что спас русских? — спросил царь.

— Его нет в скаске,— отвечал дьяк.

— Жаль. Имя возмутителя сообщили, а кто утишил бунт, нет. Жаль. Отпишите и спросите имя его и от царского имени пусть его наградят чем-нито. Что у них там ценится?

— Оружие, государь.

— Вот пусть ему и дадут доброе ружье с боезапасом.

— Хорошо, государь. Все исполним.

— Ну что там еще? Читай.

— Это скаска из Красноярска, государь, от воеводы Загряжского.

— Что он пишет?

— Тоже ничего хорошего.

— Все равно читай.

— «...Киргизы Томского уезда, озлясь, ударились в разбой и измену, против них мы выслали конных казаков, которые побили разбойников, отобрали у них награбленное, потеряв при этом пятерых своих. Большая толпа киргизов пришла под Красноярск. Не сумев одолеть город, они сожгли шестнадцать окрестных деревень, перебив многих жителей. На подмогу киргизам пришли тубинцы, это озлило детей боярских и казаков. Они вывели за город тубинских аманатов и на глазах родственников расстреляли их».

— И правильно сделали,— подал голос Хованский, и многие бояре посмотрели на него неодобрительно: поперед государя выскакивает, нехорошо, невместно. Сказано, Тараруй!

Но государь не пренебрег, ответил:

— Ах, Иван Андреевич, разве зло злом убьешь. Вы намного старше меня, опытнее, уж должны бы понимать это.

— Но, государь, они же шестнадцать деревень сожгли, людей побили.

— Значит, сборщики их чем-то обидели. Сколько раз уж как начнем разбираться, с чего началось, ан в наших же русских и упираемся. Попадется сборщик ясачный нечестный или злодей, значит, жди там беды. Разве не так?

— Да оно, конечно, так. Но и инородцам все едино нельзя попускать, на голову сядут.

— А что за геройство расстрелять аманатов-заложников,— продолжал Федор Алексеевич,— тем более что в аманатах часто дети вождей. Они-то при чем? В общем

так, Иван Пантелеевич, отпиши в Красноярск: за то, что воевода допустил убийство аманатов, посадить его в тюрьму на сутки. Пусть посидит, подумает. Повторится еще, не посмотрю на чин, определю бить кнутом нещадно. А служилым людям велю сказать...— Царь взглянул на подьячего, сидевшего с бумагами. Тот догадался, умакнул перо в чернила.— ...Мы служилых людей за ту вину, что аманатов расстреляли,— начал диктовать государь,— смертной казни предали, но для нынешней их службы и разорения мы ту вину им велим отдать, и они бы, видя нашу премногую милость, нам изрядно служили бы и у тубинских князцов аманатов взяли добрых родов и впредь их не расстреливали бы. Аманаты берутся не для казни, а для тишины между служилыми и ясачными людьми... Записал?

— Записал, государь.

— Может, воеводу-то не стоит ронять перед служилыми-то,— сказал боярин Милославский.— Чай, Загряжского фамилия не из последних.

— А что ты предлагаешь, Иван Михайлович?

— Выговорить за недосмотр.

— Про выговор он тут же забудет. А вот посидит в тюрьме хотя бы денек, это ему запомнится до скончания живота.

Никто из бояр не поддержал Милославского, так и приговорили, как государь указал: воеводу Загряжского на сутки в тюрьму посадить.

— Ну все, что ли? — спросил государь дьяка.

— Нет, государь, вот еще скаска из Верхотурья от приказчика Арапова. Арапов этот — садчик, он крестьян на землю садит, которые туда из других мест прибывают.

— Что сообщает Арапов в своей скаске?

— Он пишет, что был в одной из татарских слобод в Кунгурском уезде для разных покупок и что пришли к татарам десять башкирцев и подбивали их идти весной воевать Кунгур и другие сибирские слободы. Они так говорили, что-де Чигирин турки и крымцы взяли и государевых людей побили и мы будем воевать, потому что мы с ними одна родня и душа. Арапов пишет также, что башкирцы и татары, кормя лошадей, луки и стрелы делают, и ружей у них много, у некоторых по две-три пищали приготовлено. Готовятся Кунгур промышлять.

— Но это весной грозились, а сейчас ведь лето. Может, тем и кончилось?

— Нет, великий государь, они еще на лыжах под Кунгур явились.

— И что?

— Сожгли Кунгур,— молвил дьяк виновато, словно это он сжег.

— Так что ж ты нам скаску Арапова читаешь после случившегося? Надо было, получа скаску, немедля слать в слободы те служилых людей.

— Скаска долго шла, государь.

— Вот и врешь,— вскочил Милославский.— Я знаю, в Сибирском приказе все скаски приходящие, не читая, складывают. А читают, когда государь отчета затребует. Читают все гамузом. У меня на дыбе один подьячий сказывал, что некоторые скаски годами не читаются, и если шибко устаревают, то сжигаются.

— Что скажешь, Иван Пантелеевич? — спросил дьяка государь.

— Что скажу, великий государь, что все мы не без греха. Сам видишь по той же араповской скаске. Но чтоб сжигать их, того у нас не бывало.

— Но вот же говорит Иван Михайлович.

— Ах, государь, на дыбе да под кнутом еще и не то скажешь, родного отца в Иуды запишешь.

— Да,— неожиданно поддержал дьяка князь Голицын,— на дыбе истину трудно узреть, там не правда — кнут правит.

Милославский, видя такую поддержку, не стал далее спорить, а, садясь, проворчал негромко:

— Вора да татя только кнут и правит.

Далее царь попросил бояр говорить по делам сибирским, но ничего путного никто предложить не смог. Одоевский договорился до того, что предлагал приказчика Арапова наказать, что запоздал со своей скаской.

— Да ты что, Яков Никитич, кто ж за усердие наказывает,— сказал государь.— Разве он виноват, что скаска долго в пути была. И потом, это дело людей служилых — есаула, сотника, а еще вернее — воеводы. Они должны были, как только явились башкиры-смутьяны, меры принимать. Почему приказчику это показалось важным, а им — нет?! Вот и получили разгром Кунгура.

И все же в конце долгого обсуждения государь велел написать всем сибирским воеводам, чтоб с инородцами обращались мягче, что с ними жесточью ничего не добьешься.

После обеда государь обычно отправлялся отдыхать и Дума «думала» уже без него, как правило, по делам мелким, и если что решала, то все равно назавтра решение это докладывалось государю и им утверждалось. Иногда государь, особенно при болезни, все передавал Думе: «Как решите, пусть так и будет».

Но в этот день после обеда государя ждал уже Симеон Полоцкий, который, исполняя царский указ, в одной из палат Кремля устроил типографию и ныне обещал показать ее Федору Алексеевичу. По дороге к типографии Полоцкий спросил царя:

— Что так мрачен, государь?

— Худые новости из Сибири, Самуил Емельянович. Волнуются инородцы, ясачные люди.

— Видно, утесняют их местные правители.

— Там всего понемногу. В Верхотурье вон татар да башкир победа турок под Чигирином воодушевила, одной веры с ними — мусульмане.

— Надо перекрещивать их в нашу веру.

— А сие возможно? — удивился Федор.

— А отчего ж нет.

— Надо подумать над этим, Самуил Емельянович. Надо подумать. Спасибо за мысль мудрую.

— Не особенно она мудрая, Федор Алексеевич, достаточно заглянуть в историю отчины нашей. Взять того же Владимира Святого. При нем вся Русь в какой вере была?

— Язычники.

— Вот. А он взял и перекрестил всех в христианство. Не всех, правда, сразу, но сделал почин. Так что ныне даже вроде и полегче будет это делать. Вспомните, как при нем новгородцев крестили, огнем и мечом в реку гнали.

— Огнем и мечом — сие не по мне, Самуил Емельянович.

— Тогда пригрозите другим чем, скажем отобранием земли или угодий каких.

— Надо подумать, надо подумать.

В типографии Полоцкий, видимо вспомнив время, когда учил маленького царевича Федора грамоте и языкам, вновь обрел тон обучающего:

— Вот это касса с буквами, Федор Алексеевич, всякая буква имеет свое место. Здесь мы набираем текст и, как вы догадываетесь, буквы ставим наоборот, правильный текст можно увидеть, если подставим зеркало.

Затем Полоцкий показал государю печатную машину и, положив чистый лист под пресс, покрутив винт, сделал отпечаток. Вынув лист, протянул государю.

— Отпечатав вот так листы, мы их сшиваем в тетради, а потом, сложив несколько тетрадей, делаем книгу. Потом изготавливаем кожаный переплет, а точнее, тонкие доски, которые обтягиваем кожей.

Государь прочел свежий оттиск и вдруг посветлел лицом, улыбнулся.

— А ведь это лист из псалтыри.

— Да, Федор Алексеевич, это лист из псалтыри, и именно с теми псалмами, что изволили перевести вы.

— То-то я вижу, знакомые строки. А в печати вот и не узнал. Севостьян не узнал своих крестьян,— засмеялся царь.

Полоцкий специально, перед тем как привести царя в типографию, велел наборщику набрать эти псалмы, которые когда-то перевел Федор. Он знал, что это будет приятно ему. И не ошибся. Любому автору, даже царю, приятно увидеть свое сочинение отпечатанным. Федор Алексеевич не был исключением. А главное, куда подевалось и его мрачное настроение, глаза оживились, лицо порозовело и сам повеселел.

— Великое и прекрасное дело сотворил ты, Самуил Емельянович. Душа радуется.

— Государь,— приложил руку к сердцу Полоцкий,— Федор Алексеевич, без твоей помощи, без твоего догляду и заботы типографии этой вовек бы не родиться.

И Симеон Полоцкий не льстил, говорил вполне искренне, потому что это было действительно так. И был доволен, что именно он разогнал мрачные мысли царя и порадовал его в этот нелегкий и невеселый для венценосца день.

Глава 30

УРОКИ КОНФУЗИИ

Потеря Чигирина не только Москву озаботила, но и гетмана Самойловича. Он послал в Москву знатного войскового товарища Ивана Степановича Мазепу, которому было наказано рассказать государю в подробностях о причинах конфузии под Чигирином.

— Особенно упирай на местничество в московских полках, которое в бою великий вред приносило. Впрочем, ты это своими глазами видел. Если и далее начальники будут местами и родовитостью считаться, то мы так и Киев потеряем.

— А про Семена рассказать?

— Расскажи обязательно, лучше бы самому государю. Хоть этим немного порадуем его.

Вскоре после потери Чигирина и отставки Ромодановского гетман послал на Правобережье своего сына Семена с войском и приказом: пожечь города и села, дабы неприятелю нигде пристанища не было.

Семен оказался сыном послушным, везде, где только возможно, пускал красного петуха. Однако города Ржищев,

Канев, Черкаск, Корсунь уцелели, так как встречали Семена, как начальника царского войска, с хлебом и солью и тут же с радостью государю челом били, дабы забрал он их из-под басурманской власти под свою царскую высокую руку.

— Особенно не забудь сообщить государю,— наказывал гетман Мазепе,— о городах, присягнувших ему на Правобережье.

— Что толку в ихой присяге, если они на татарской стороне.

— Может, толку и нет, а пусть государь знает, что, живя под султаном, народ остается привержен царскому величеству.

Однако, прибыв в Москву, Иван Мазепа не смог попасть к Федору Алексеевичу по причине нездоровья государя. Пришлось посланцу довольствоваться встречей с думным дьяком Ларионом Лопухиным, который не только выслушал, но и записал все, что говорил Мазепа, для доклада государю.

— Надо, чтобы на оборону Киева и всей Малороссии было прислано много войска, а бояр и воевод было б с ним поменьше,— говорил Мазепа.— А то, когда бояре начинают местами считаться, да каждый свой полк беречь начинает, оттого происходит нестроение.

— Кому из бояр и воевод быть,— отвечал Лопухин,— на то есть грамоты государевы, промысел им велено чинить по тамошнему делу и совету с гетманом.

— В том-то и дело, не всегда чинят, как велено. В прошлую войну с князем Ромодановским ратных людей было много, а как они были на той стороне и шли на выручку Чигирину, то государевых ратных людей на бою было очень мало.

— Почему мало?

— А потому что половина стрельцов в обозах у телег была. В полках оставалось для боя по триста человек, а то и того менее.

— А рейтеры, а городовые дворяне?

— От них только крик был, и никакой пользы. Полковники и головы беспрестанно просили у гетмана людей в помощь, и он людей своих к ним посылал, а сам остался только со своим двором и драгунским полком, который по указу государя в бою всегда должен при нем быть. Находились полковники, которые и этот полк просили.

— Ну, Иван Степанович, ты тут такое наговорил. Неужто все так и было? Отчего же головы и полковники своих ратных людей к бою не слали? Это ж их святое дело.

— В том-то и дело, каждый думал не о том, как врага поразить, а как бы от боя уклониться. И гетман просил, чтоб в будущем главным воеводой в войске один был и чтоб все в его власти были и исполняли приказы его без прекословия и лукавства. Если после Чигирина мы ничему не научимся, то и впредь будем биты поганскими войсками. Вон ныне даже Юраска Хмельницкий голову поднял, занял с татарами Немиров.

— Ныне государь ищет мира с султаном,— сообщил Лопухин.— Если это удастся, то и войска много не надо будет.

— Дай Бог, дай Бог, щоб наше телятко вашего волка зъило,— сказал Мазепа с усмешкой.— Без доброго войска, дьяк, мира никогда не добьешься.

Едва Мазепа воротился из Москвы, как вскоре в Батурин прибыл посланец государя дьяк Емельян Украинцев. Встречен он был гетманом с высокой честью и искренней заинтересованностью.

— Ну как доехал, Емельян Игнатьевич? — спросил гетман.

— Слава Богу. Но коляска что-то моя под конец совсем расшаталась, раза два передок вырывался вон.

— Ну это шкворень погнулся. Я велю кузнецу новый отковать. Да и шины надо перетянуть, эвон на заднем колесе совсем слезла с обода.

— Пожалуй, Иван Самойлович, будь милостив, дай команду, пусть все подправят, чтоб до Москвы добраться без происшествий.

Гостя, как и положено, сперва чествовали за обильным угощением, где присутствовала почти вся старшина — есаулы, полковники, войсковые товарищи, войсковой судья и войсковой писарь. Пили во здравие великого государя, которому все нездоровилось, за посланца его, за гетмана и за грядущие удачи на бранном поле. Дел старались не касаться, а если кто и заговаривал, того немедленно сам гетман осаживал:

— То говорка не для застолья, брат. Разлей-ка лучше горилку по чаркам.

К делу государев посланец приступил на следующий день с утра. Они удалились с гетманом в небольшую горенку, куда им принесли соленые арбузы.

— Вот рекомендую,— сказал гетман,— самая лучшая после похмелья закуска. Добро голову прочищает.

— Спасибо, Иван Самойлович,— отвечал Украинцев,— но моя голова никогда не болит с похмелья. Грех жаловаться.

— У кого как. Ты, видать, еще молод, вот и обходится. А мне уж, старику, приходится на другой день лечиться либо арбузами, либо крепким рассолом.

Дьяк подождал, когда гетман управится с парой арбузных долей, оботрет усы, крякнет довольно и наконец глянет на гостя ясными глазами: мол, готов слушать.

— Иван Самойлович, ты знаешь, что государь от тебя никаких тайн не имеет, что он ценит тебя.

— Знаю, Емельян Игнатьевич, знаю. И в его приязни ко мне не раз убеждался.

— Ты все досконально знаешь, что делается великим государем с королем польским, с султаном турским и ханом крымским на покой и тишину Войску Запорожскому и народу малороссийскому. Ничего от тебя на утаено.

— Знаю. И очень ценю доверие государя.

— Теперь царское величество велел тебе объявить, что турки клонятся к миру, а польские послы в Москве склоняют нас соединить войска с королевскими и вместе идти на султана в его государство. Так государю очень важно мнение твое на сей счет. Как лучше нам поступить?

— С турками надо мир заключать, тут и задумываться нечего. Война с ними народу уж наскучила и пока доброго результата не дала. А что касается поляков, то я бы советовал государю веры им не давать. Во-первых, далеко вести войска, а татары, как узнают, тут же лишат наших кормов, пожгут траву. Но даже если допустим, что наши с королем соединятся и даже победят, то плоды победы достанутся Польше, паны ее не упустят. А наши войска будут только изнурены дальними переходами и пустотой Правобережья. Нет, нет, нет, я умоляю государя не доверять королю.

— У тебя есть на то основания, Иван Самойлович?

— Есть,— сказал гетман, встал и, приоткрыв дверь, позвал дежурного казака.— Иди и призови ко мне Чуйкевича.— Потом опять сел к столу, пояснил Украинцеву: — То мой канцелярист, недавно воротился из Сечи, он тебе все расскажет. А то, я смотрю, в Москве мне не верят, когда я пишу о происках Серко.

— С чего ты взял, что не верят? Верят.

— А почему, чтоб ни сотворил Серко, мне все велят прощать ему. Если б запорожцы помогли под Чигирином, может, все по-другому бы обернулось. А то помогали, да не нам — татарам. Вот придет Чуйкевич и пораспрошай его

за Сечь, за Серко. Я уйду, чтоб ты не думал, что я его подучаю.

— Ну зачем уж так-то, Иван Самойлович. Мы тебе верим. Просто у государя сердце такое, он и не таким, как Серко, вины отпускает, воров милует, шибко жалостлив. Даже жен-мужеубийц не велит окапывать, хотя это испокон было на Руси заведено. Говорит: «Доброго мужа жена не убьет». Не поспоришь ведь. Государь.

Чуйкевич явился. Это был молодой в щегольском чекмене казак с лихо закрученными усами. Встал в дверях, стройный, готовый к услугам.

— Роман,— сказал гетман,— расскажи государеву человеку Емельяну Игнатьевичу о своей поездке в Сечь, все, все, ничего не утаивая. А я пока пойду распоряжусь по хозяйству.

Гетман все же решил уйти, и Украинцев счел неудобным задерживать его при подчиненном.

— Ну, садись, Роман,— пригласил Украинцев канцеляриста.— Рассказывай, что там в Сечи происходит.

Чуйкевич присел на лавку, заговорил четко и без запинки, словно выученное:

— Сечь наклоняется к королю. При мне король прислал белоцерковского попа, и тот поп велел мне передать гетману, чтоб он обратился с Войском Запорожским к королю польскому и он будет его жаловать.

— А что кошевой Иван Серко?

— Иван Серко после переговоров с тем попом похвалялся, что, объединившись с татарами и поляками, будут Москву воевать.

— Может, это он спьяну болтал? Ведь у короля с великим государем перемирие. Было и продолжено еще на тринадцать лет.

— Да нет, по-моему, Серко трезв был, хотя за это трудно ручаться. Может, и спьяну. Но ведь, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

— Ну, а ты как сам думаешь, может Серко против государя Сечь поднять?

— Вряд ли. Болен он, какой из него ныне вояка. Вот языком и воюет, из атаманства не хочет уходить. А Сечь против Москвы — об этом и думать смешно, все равно что комар супротив быка.

— А чего ж тогда грозится?

— А как же? Ведь Сечь всегда за тем шла, кто кормил ее. Ныне, видимо, король подкинул им на зипуны, вот и окрысились на Москву. Пришли Москва подарки побогаче —

на хана поворотят. Я так думаю, что Серко и грозится Москве для этого.

— Для чего?

— Для подарков. Мол, погрожусь, напугаются и, глядишь, добрую плату пришлют.

— А почему ты так думаешь?

— А потому что Серко не случайно свои угрозы при мне говорил. Он же знает, что я передам гетману, а гетман — Москве. Небось напрямую-то Москве он никогда не грозил. Наоборот, всегда в верности клялся.

— Ну что ж, пожалуй, ты прав, Роман. Спасибо за рассказ, можешь идти.

Чуйкевич вышел, и скоро явился в горнице гетман:

— Ну что, славные новости из Сечи?

— Твой канцелярист умный парень,— сказал задумчиво Украинцев.— И новости его из Сечи не такие уж страшные.

— Как? Серко передается королю, а ты говоришь, не страшные.

— Ну и что? Кошевому надо Сечь кормить, у них только рыба своя, а остальное все покупать надо или грабить. Мы плохо им платим, что там говорить, а король, видно, подкинул деньжат. Вот Иван и грозится, да еще и прилюдно, деньги-то отрабатывать надо. А там, глядишь, Москва напугается и еще подарков пришлет.

— Ну ты, Емельян Игнатьевич, выходит, оправдываешь Серко?

— Я не оправдываю, я стараюсь понять его. Вон твой Роман — канцелярист, а не хуже другого боярина раскусил кошевого.

— Что же он мне «раскушенного» не преподнес?

— А ты и не догадываешься?

— Нет.

— Он тебе преподнес такого, какого ты его видеть хочешь. Изменник. И все. Он, чай, у тебя служит и тебе угодить рад. Молодой, старательный и очень умный. Цени. Пожалуй, даже хорошо, что ты вышел. При тебе бы он вряд ли рассуждать стал, доложил бы, и все. А я у него собственное мнение вытянул, и оно оказалось толковым. Подскажу государю, чтоб слали в Сечь содержание.

— Туда войско слать надо, а не содержание.

— То не нам с тобой решать, Иван Самойлович, государю. А он к Серко благожелателен.

— С чего бы это?

— Да когда-то Серко со своими казаками, еще при Алексее Михайловиче, сочинили ответное письмо султану,

кажется Мухаммеду IV, письмо соромное, ехидное. Так, веришь, государь его наизусть помнит, и когда вспоминает, хохочет от души. Я полагаю, от этого и к Серко приязнен.

— Где ж он его взял, письмо-то?

— А список с него у Алексея Михайловича в бумагах хранился. А Федор Алексеевич, будучи царевичем, натыкался на него.

— Ну что будем решать, Емельян Игнатьевич? — воротил разговор гетман до главного предмета переговоров.

— Решение одно. Ты ныне или завтра соберешь свою старшину, посоветуешься обо всем, о чем мы говорили. И напишешь все государю на бумаге, и в отношении мира с турками, союза с поляками, ну и про Сечь, разумеется подробно.

— Хорошо. Я думаю, и старшины меня поддержат. С султаном мир, с королем никакого союза.

— Там увидим. С Богом, Иван Самойлович.

Украинцев задержался в Батурине еще на три дня. За это время ему изладили коляску, заменили шкворень, перетянули шины, подкормили коней. Но главное, гетман написал обстоятельное письмо государю о решении совета старейшин по вопросу мира с султаном и союза с поляками. В самом конце было приписано и об Иване Серко, о его тайных переговорах с королем и ханом. Гетман не удержался от соблазна еще раз лягнуть своего недоброжелателя, тем более было за что. А там пусть решают.

Глава 31

ПОПЫТКА — НЕ ПЫТКА, БАТОГИ В ЗАЧЕТ

Гетманское длинное и обстоятельное письмо государю и прочел сам же Украинцев, едва воротился из Малороссии. Так велел князь Голицын:

— У государя могут возникнуть вопросы, на которые никто, кроме тебя, не ответит.

И точно, после прочтения письма Федор Алексеевич поинтересовался:

— Как здоровье гетмана?

— Я не справлялся, государь, но он не жаловался. На вид вполне крепок.

— Ну и слава Богу,— перекрестился государь.— Его мнение для нас главнейшее по турским делам. Теперь мы можем вполне спокойно посылать наших послов к хану.

Василий Васильевич, кого ты хочешь послать в Крым к Мурад-Гирею?

— Посланником поедет Сухотин и помощником ему дьяк Михайлов.

— Люди надежные?

— Да вроде исполнительные. По крайней мере в Приказе бумаги у них всегда в порядке.

— А язык татарский ведают?

— Ведают, государь, оттого и посылаю.

— Пожалуйста, князь, сам подробно объясни им их задачу. Ни в коем случае чтоб не лезли с ханом на ссору. Притязаний хана с порога пусть не отвергают. Лучше пусть уклоняются от прямых ответов: «мы подумаем», «мы доложим», чем отвечать грубо и непримиримо. Главное, им доверено начать переговоры о мире и их святое дело оберечь сей хрупкий сосуд, не разбить. Разобьют, заплатят боком.

— Хорошо, государь, я их наставлю.

— Что там поляки?

— От короля приехали послы Бростовский и Гнинский.

— С чем пожаловали?

— Да все с тем же. Что-де если великий государь соединит войска с польскими, то король разорвет мир с султаном.

— Ишь ты, уж не пронюхали ли, что мы с турками мира ищем?

— Возможно, государь, возможно. Это узнать они вполне могли через волохского господаря. И видимо, не хотят мира меж нами и султаном. Вот и зовут нас в поход на него. Но и это не все, государь.

— Что еще?

— Король помимо соединения войск просит у нас на военные издержки ежегодно по двести тысяч рублей.

— По сколько, по сколько?

— По двести тысяч.

— Хэх,— усмехнулся царь,— как им это число понравилось. Двести тысяч содрали с нас за Киев. А тут еще за неведомо какой союз по двести в год алкают. У короля губа не дура. Прав гетман, что не советует с ним в союз вступать. У Ивана Самойловича нюх на обман. А что ты им ответил, Василий Васильевич?

— Сказал, доложу государю. Но что и ты, мол, без комиссии сего вопроса решить не можешь. А комиссия заседать будет лишь в грядущее лето.

— Спасибо, князь. Правильно ответил, можешь то же сказать и от моего имени. И отправить в обрат с пожеланиями королю здоровья и всяческих успехов. Вот так же

вежливо научи и Сухотина с ханом говорить, никаких невыполнимых требований. И обязательно снабди Сухотина мягкой рухлядью для подарков: соболей, бобров и чего там еще. Без подарков они до хана не доберутся.

— Я знаю, государь.

Ради бережения посланников и их ценного груза поскакали с ними десять конных стрельцов, проводили их до Батурина. От Батурина их уже охраняли казаки, в начале пути левобережные, в конце пути запорожцы. И хотя запорожцам было хорошо заплачено за охрану посланников, дьяк Михайлов всю дорогу трясся от страха.

— Ох, Иван, ограбят они нас.

— С чего ты взял? Это ж охрана.

— Ты глянь на их рожи, чистые разбойники.

— Кошевой за нас головой перед государем отвечает.

— Что мне его голова, если свою потеряю.

Однако до реки Альмы, где располагалось становище для посланников, они добрались вполне благополучно. Мало того, Михайлов сумел в пути даже подружиться с одним из запорожцев Нечипором, которого угощал калачами на дневках, втайне надеясь иметь в его лице защитника, если начнется ограбление. Нечипор вполне прикормился около дьяка и с удовольствием исполнял его нехитрые поручения — принести воду, нарубить дров, покормить коней.

Татарин, встретивший их на становище, показал им какой-то сарай, сляпанный из дикого камня, в котором не было окон и свет попадал лишь через дверной проем, не имевший двери, и через дыры в крыше. Потолка у сарая тоже не было.

— У вас разве нет чего получше? — спросил Сухотин вполне миролюбиво, памятуя о наказе Голицына: не лезть на ссору.

— Ничего нет,— отвечал сердито татарин.— Здесь все посланники живут.

Подаренная шкурка бобра смягчила хозяина становища, и он от щедрот своих показал, где можно было взять солому для постелей. Солому для дьяка и Сухотина приволок Нечипор, навалил в углу сарая. Михайлов, почувствовавший себя хозяином запорожца, приказал ему:

— Ляжешь около меня, Нечипор.

— Добре,— согласился тот.

Расстелил поверх соломы потники, сунул под головы седла и мешки, а дьяку предложил накрыться своим зипуном.

— Ночью холодно будет.

— А сам чем укроешься?

— Я привыкший и так,— отвечал запорожец.

Михайлов радовался, что в столь ужасном месте обрел себе слугу, добровольного, великодушного. Сухотин тихонько ругался:

— Чертова татарва, этакие хоромы для посланников уготовили. У нас свиньи в лучших живут.

— Надо завтра хану заявит решительный протест,— сказал дьяк.

— Ты забыл, что Голицын наказывал: никаких ссор и требований.

— Но он же не думал, что нас разместят в сарае, не в доме.

Среди ночи дьяк проснулся от сильного зуда. Зуделась грудь и плечи. И он догадался, что с нечипоровского зипуна на него наползли вши. Михайлов сбросил его с себя, выругался по адресу запорожца: «Окаянный казак, чтоб ему пусто было».

Однако не только вши алкали свежей крови московских посланников, в сарае обнаружилось скопище блох. Отчаянно чесался и Сухотин, из последних сил цепляясь за ускользающий сон. Лишь Нечипор да его товарищи дружно задавали храпака, оставляя без внимания укусы паразитов.

Вдосталь начесавшись и наворочавшись, дьяк перед рассветом снова забылся тревожным и беспокойным сном. Проснулся он от крика:

— Коня покрали!

Все, вскочив, выбежали из сарая. Коней с вечера привязали к веревке, которую натянули сами же запорожцы между двумя деревьями. Не было сухотинского гнедого жеребца.

— Шукаемо,— скомандовал старший из запорожцев и первым кинулся седлать своего коня.— Ты скачи сюда, ты — сюда, Нечипор, ты скачи на полуночь. Глядить в оба, у гнедка на лбу пятно белое.

Михайлов, поняв, что сейчас охрана разбежится и скорее всего более уже не воротится, крикнул:

— Нечипор, погоди, я с тобой.

Он кинулся в сарай за своим седлом, воровато оглянулся и, убедившись, что никого нет, выхватил из мешка несколько шкурок соболей, сунул за пазуху.

Обескураженный Сухотин стоял по-прежнему на том же месте.

— Не беспокойся, Иван,— утешил его, пробегая, дьяк.— Найдем! Поймаем татя.

Нечипор помог дьяку заседлать коня и даже подсадил в седло. Они поскакали на полуночь, как и приказал Нечипору старшой. Версты две они гнали коней вслань, потом Михайлов крикнул:

— Побережем коней,— и перевел своего на шаг.

Нечипор тоже попридержал своего, поравнялся с дьяком.

— Слушай, Нечипор,— заговорил Михайлов,— я хочу воротиться назад.

— На становище?

— Нет. В Москву.

— Це дило хозяйско,— пожал плечами запорожец.

— Ты проводишь меня до Сечи?

— Оно бы можно,— замялся Нечипор,— но как хлопцы...

— А что хлопцы? Они вчетвером остались, и с Сухотиным, ты один провожаешь меня. Я же плачу тебе за это. Скажешь, что, мол, дьяк захотел воротиться, я, мол, его сопровождал. В конце концов, я за тебя кошевому слово замолвлю. Ну?

— Ну ежели так, то я согласный.

— Ты видишь, как нас встретили,— продолжал Михайлов, пытаясь даже перед собой оправдаться за свое бегство.— Хуже последних собак. Это одного коня угнали, а если бы всех? Что тогда? Если найдут коня Сухотину, он тоже там не останется, он тоже возмущался, что разместили как свиней.

— Эдак, эдак,— соглашался Нечипор, понимая, что, соглашаясь во всем с дьяком, он получит с него добрую плату за охрану. А если начнет спорить, то может отхватить «дулю с маком». Лучше соглашаться: «Эдак, эдак».

Князь Голицын докладывал государю дела крымские:

— «...Дьяк Михайлов, испугавшись тех татей, сбежал от Сухотина, и тому пришлось одному вести переговоры. Ему было заявлено, что татарская земля доходит до тех пор, до которых ступало копыто татарских коней».

— И до куда же они считают ступало их копыто? — спросил царь.

— До самой Роси.

— Ох ты! Татарские копыта и у Москвы копытились, что ж они этого не возжелали,— заметил с сарказмом Федор.

— В общем, все Правобережье они считают своим вместе с Сечью. Сухотин говорит, что они не хотят уступать и пяди.

— Надо посылать, Василий Васильевич, кого поопытнее. Раз от переговоров не отказываются, рано или поздно пойдут на уступки.

— Я хочу послать Тяпкина Василия Михайловича. Этот муж опытный, а за государев интерес насмерть стоять будет.

— Я знаю, Василий Васильевич, он много сил положил и к договору с поляками. Только, пожалуйста, дай ему на подарки и на проезд побольше. А кого с ним хочешь послать?

— Он просит Никиту Зотова.

— Это который крестника Петра пестует?

— Его самого, государь.

— Надо будет с мачехой Натальей Кирилловной поговорить, чтоб отпустила.

— Поговори, Федор Алексеевич, дело ведь важное, а у Зотова почерк добротный, для договора аккурат годится, и упрямства тоже у него хватает. Этого тати не испугают.

— А что, ты, князь, наказал ли Михайлова за побег из Крыма?

— Наказал, государь. Велел всыпать ему сто батагов.

— Что уж так густо-то, Василий Васильевич, хватило бы и половины.

— Ничего. Вытерпел. Зато дольше помнить будет.

Глава 32

ПОКА НЕ СПИТ ЦАРЬ

День был нелегким для государя. В полном царском облачении (а оно не из легких) участвуя в крестном ходе, после которого добавилось щедрое угощение у патриарха, Федор утомился и поэтому, добравшись до своих покоев, искренне радовался в предвкушении отдыха и еще чего-то, о чем хотелось помыслить одному в тишине царской опочивальни.

Постельница Родимица взбила пуховые подушки на царском ложе, пригласила ласково:

— Лягай, дитятко. Почивай с Богом.

Для Родимицы, отвечавшей и ныне за царскую постель и стелившей ее когда-то еще малолетнему царевичу, Федор и в двадцать лет останется «дитяткой». Правда, теперь уже она не «размовляла» с ним страшных сказок, но по-прежнему нежно любила его, как родного сына. И Федор же, рано потерявший родную мать, был накрепко привязан к Родимице и отвечал ей взаимностью. И всегдашнее ее обращение к нему «дитятко» согревало душу юного царя, устававшую от напыщенных «великий государь» или «царское величество».

Правда, с взрослением Федора Алексеевича Родимица уже не спала в его опочивальне, располагаясь в соседней комнатке, но приготовление постели для «дитятки» не уступала никому, даже постельничему боярину Языкову. И если тот иногда во исполнение своих должностных обязанностей касался царского ложа, Родимица все равно переделывала по-своему, ворча при этом на боярина:

— У тебя, Иванко, не руки — крюки.

И боярин не сердился на старуху, не мог, не имел права такого. Он довольствовался тем, что спал в царской опочивальне у государева ложа на овчинном тулупе.

Но вот погашены все свечи, оставлена лишь лампада у образов, и Родимица, покряхтывая от старости и бормоча молитвы, удалилась к себе. И в царской опочивальне наступила тишина.

Боярин Языков чутко прислушивается к дыханию государя, дабы не упустить момента, когда он уснет и тогда можно и самому засыпать безбоязненно. Пока не спит царь, постельничий обязан бодрствовать. Федор Алексеевич, слава Богу, из быстрозасыпающих, и постельничему недолго приходится «лупать» очами в темноту. Но ныне что-то не спится государю, ворочается, вздыхает.

«Уж не заболел ли?» — думает Языков, но спросить не решается, дабы не нарушить опочивальную тишину. И вдруг сам государь окликает его:

— Иван Максимыч? А, Иван Максимыч?

— Что, государь?

— Ты не спишь?

— Как можно, Федор Алексеевич. Разве я позволю себе поперед тебя.

— Ты же был на крестном ходе?

— Был, Федор Алексеевич, за тобой следом шел.

— Помнишь, перед входом в храм о правую руку девушки стояли.

— Помню, государь,— отвечал Языков, смутно начиная догадываться о причине внезапной бессонницы царя.

«Слава Богу, наконец-то девушки его заинтересовали,— думает радостно постельничий.— Давно пора. Самодержцу без жены никак нельзя. Династию подвергать пресечению грех великий, а державе смута и шатание».

А Федор продолжает пытать негромко:

— А ту, у которой на очелье кокошника жемчуга были, помнишь?

— Помню, государь,— отвечает Языков, хотя никакого очелья, да еще с жемчугом, он не помнит, но не хочет огорчать молодого царя, надеясь, что тот назовет более заметную примету или обстоятельства.

— Очень красивая девушка. Правда?

— Очень, государь,— согласился Языков, до ломоты в висках пытаясь вспомнить, какая же из группы девушек заинтересовала государя. Какая из них показалась ему красивой?

— Ты завтра, Иван Максимович, узнай, пожалуйста, чья она.

— Хорошо, государь,— отвечает Языков, заранее впадая в отчаянье: где искать? Вся эта кучка красавиц разлетелась по Москве и наверняка вместе никогда не соберется. Которая из них?

— А с кем это она рядом стояла? — спросил Языков государя, пытаясь найти хоть какую-то зацепку для поиска.

— Рядом не знаю, но за ней стоял наш думный дьяк Заборовский, кажется.

«Слава Богу, есть с кого начать,— обрадовался Языков.— Завтра возьму дьяка за жабры, пусть вспомнит, что за девушка стояла перед ним с жемчужным очельем».

Утром, облачась с помощью Языкова и комнатного стольника Лихачева, государь напомнил постельничему:

— Иван Максимыч, ты не забыл?

— Все помню, Федор Алексеевич, сегодня же узнаю и доложу.

Лихачев не осмелился при государе спросить, о чем речь, но едва они остались с постельничим наедине, тот сам рассказал ему все.

— Слава Богу,— перекрестился радостно Лихачев.— Не придется невест со всего царства свозить. Одна понравилась — это хорошо. Эта будет наша.

— Наша-то, наша, но как ее найти, вот закавыка.

— Не боись, Иван. Найдем. Раз стояла у Успенского собора, да в жемчугах, значит, не из черни, слава Богу. Начнем с Заборовского. А ну как он помнит ее.

Думного дьяка Заборовского нашли в передней, подсупился к нему Языков.

— Иван Васильевич, ты вчера во время крестного хода стоял около Успенского собора.

— Ну, стоял, ну что?

— Около тебя девушка была, на кокошнике у нее жемчужное очелье. Часом, не знаешь, чья она?

— Знаю.

— Чья? — едва не подпрыгнул от радости постельничий, что так скоро наткнулся на искомое.

— Это моя племянница, то бишь моей жены.

— Как зовут?

— Агафья. Агафья Семеновна Грушецкая.

— Она, надеюсь, не замужем?

— Пока нет.

— Что значит «пока»? Сговорена, что ли?

— Сговорена.

— За кого?

— За сотника стрелецкого Прокопа Понькина.

— Вот что, Иван Васильевич, никаких Прокопов. Твоя племянница приглянулась государю.

— Государю? — вытаращил глаза дьяк.

— Да, государю Федору Алексеевичу. И наперед заруби себе на носу: всем сватам — от ворот поворот. Понял?

— Понял, Иван Максимыч,— кивал головой ошалевший от новости дьяк.— Как не понять, такое счастье Агашке свалилось.

— Смотри! Ежели что, кнута схлопочешь.

— Да ты что, Иван Максимыч, али я враг нашей дитяти. Не изволь беспокоиться. А Понькина и близко не подпущу.

— С Понькиным мы разберемся.— Языков оборотился к Лихачеву: — Кто ныне у нас начальник Стрелецкого приказа?

— Князь Хованский. Он только что Приказ от Долгорукого принял.

— Ступай к нему, Алексей Тимофеевич, пусть он этого сотника Понькина в какую-нито Тьмутаракань зашлет.

Тараруй был в Приказе и принял Лихачева в своем кабинете. Что от него требовалось, на лету схватил.

— Так Прокоп Понькин, говоришь? Не изволь беспокоиться, Алексей Тимофеевич, я еще не зрел его, но завтра же сыщу и отправлю в полк черниговский или киевский. Сотник нам не помеха.

Хованский вскочил, забегал по комнате, потирая в возбуждении руки.

— Так, значит, Агафья Грушецкая. Каюсь, не знал такой, не знал. Видно, род захудалый какой-то,— вдруг захихикал Тараруй.

— Ты чего, Иван Андреевич? — удивился Лихачев.

— Ой, Алексей Тимофеевич, Милославскому-то сие не по шерсти будет. Взовьется царев дядя, взовьется.

— А при чем он-то?

— Как же, он за государя свою какую-то родственницу прочил.

— Ну мало ли,— пожал плечами Лихачев.— Государь волен сам выбирать, не отрок уж, чай. А что до Милославского, то ему можно и не сказывать.

— Это само собой,— отвечал Хованский.

Хотя как же было Тарарую удержаться от такого соблазна — первым сообщить Милославскому о пренеприятнейшей для того новости. Ах как сладостно было оглоушить дядю! Но, сообщая, князь Хованский лишь нутром ликовал, а внешне являл скорбь и сочувствие. А как же иначе? Ведь именно благодаря Милославскому Тараруй стал начальником Стрелецкого приказа.

— Иван Михайлович, не хотелось мне тебя огорчать, но что делать, мы, чай, друзья.

— Ну что такое? — насторожился Милославский.

— Государь-то, племяш твой, невесту себе присмотрел.

— Кого? — нахмурился боярин.

— Агафью Грушецкую.

— Какую «Грушецкую»? Кто такая? Почему не знаю?

— Я тоже впервые о ней слышу, Иван Михайлович. Какая-то, сказывают, родственница дьяка Заборовского.

— Ах, пострел,— всплеснул руками Милославский, ударив себя по бокам.— Не посоветовашись, не спросясь...

И, словно стрела, пущенная из лука, помчался царев дядя куда-то. Куда?

«Не иначе, к «пострелу»,— подумал, глядя ему вслед, Хованский.— А впрочем, скорее разузнать о невесте. Кто такая? Какого роду-племени? Взвился Иван Михайлович, взвился родимый. Держись, «пострел»!

Тараруй не ошибся. Милославский все, что только мог, разузнал о Грушецкой Агафье, расспросил подробно самого Заборовского: откуда он выкопал такую? Где ее родители? Не больна ли чем? Не поленился боярин собрать и поулочные сплетни от соседей Заборовского. И через три дня вечером во всеоружии явился в верхнюю горницу, где в этот час отдыхал среди родных Федор Алексеевич. Он играл в шахматы со своей тетушкой Татьяной Михайловной.

— Федя,— подойдя к играющим, сказал нетерпеливо Милославский.

— Погодь, дядя,— остановил его жестом Федор, не отрывая взгляда от доски.— Сейчас я у тетушки королеву съем, и тогда...

И снял конем королеву соперницы.

— Ай, Федя,— качала головой Татьяна Михайловна.— Овдовил ты мово короля-то, овдовил, как не совестно.

— Спасай теперь своего вдовца, тетушка,— отвечал улыбаясь Федор.— Э-э, нет, сюда нельзя, тут офицер сторожит.

— Вот,— оборотилась Татьяна Михайловна к Милославскому.— Вот, Иван, выучила его на свою голову. А он мне сплошные маты ставит. За вечер уж три влепил.

— Может, будет тебе четырех-то,— отвечал в нетерпении Милославский.

— Пожалуй, будет,— согласилась царевна и через два хода, получив мат, поднялась.— Садись теперь ты, Иван Михайлович, пусть и тебя племянничек матами обложит.

— Сыграем, Иван Михайлович? — спросил Федор, начиная расставлять на доске фигуры.

— Сыграем,— согласился Милославский, усаживаясь на место, освобожденное царевной.

— Какими будешь?

— А какие дашь.

— Так и быть, даю тебе белые.

— Федя,— негромко заговорил Милославский, машинально делая первый ход.— Я слышал, тебе приглянулась какая-то Агафья Грушецкая?

Федор насторожился, улыбка, только что светившаяся, слетела с лица, сказал хмуро:

— Во-первых, не «какая-то Агафья», а Агафья Семеновна Грушецкая, Иван Михайлович. Кто же это тебе сообщил-то?

— Господи, да уж пол-Москвы знает об этом.

— Ну и что? — спросил Федор холодно.

— Да как-то не подумавши, не посоветовавшись...

— Что, и в этом я должен советоваться?

— А как же, Федя? Мы ж, чай, не чужие. Тебе только добра хотим.

— Ну-ну,— поощрил Федор, и Милославский, не уловив в этом ничего угрожающего, словно сорвался:

— Да знаешь ли ты, она из полячек, а это и вера не наша. И потом, живет у дяди, вернее, у тетки. А почему?

— Почему? — молвил Федор еще холоднее, и опять Милославского не насторожил тон голоса, с каким это было спрошено.

— Потому как мать выгнала ее, отказалась. И мать, говорят, такого поведения... И такую девку в невесты к царю...

На последних словах Милославского Федор вдруг единым махом смел все фигуры с доски, горохом сыпанули они на пол, кровь отлила с лица его.

— Я царь,— тихо, но твердо сказал он в лицо Милославскому.— Я великий государь всея Руси. Ты, боярин Иван Милославский, забыл, с кем говоришь.

— Но, Федя, но...

— Вон отсюда! — Федор поднялся.— Слышал? Вон! И чтоб я тебя более не видел при дворе.

Последние слова слышали все находившиеся в горнице и притихли, как мыши, впервые услыхавши здесь властный голос царя.

Милославский сник, тихо поднялся и, сутулясь, поплелся к выходу, взялся за ручку и едва приотворил дверь, как Федор громко добавил вслед:

— И в Думу чтоб ни ногой!

Глава 33

ВСЕ ЛАДОМ

Сцена, разыгравшаяся в верхней горнице в присутствии многих родственников, явилась хорошим предупреждением: чего можно ждать от «дохлика» Феди. И потому далее никто не посмел осуждать его выбор, а напротив, семейство бросилось в другую крайность. Все вдруг начали нахваливать Агафью Грушецкую. Даже Софья Алексеевна, испытывавшая к красивым девушкам скрытую неприязнь, скрепя сердце польстила братцу:

— Очень красивая у тебя будет жена, Федя.

— Да,— обрадовался Федор, приняв этот комплимент старшей сестры за чистую монету.— Сонечка, ты мне самый родной человек, хочу, чтоб именно ты на венчанье держала венец над ней. Ладно?

— Ладно,— согласилась Софья, хотя в глубине души, конечно, ей не очень-то хотелось собственной рукой возводить в царское достоинство какую-то безродную девчонку. Но «дохлик» — царь, что поделаешь: «Ладно».

— А кто будет над тобой венец держать? — поинтересовалась Софья Алексеевна.

— Я хочу попросить Стрешнева.

— Стрешнева?

— Ну да. Он, чай, родной человек. А что?

— Да ничего,— пожала плечами Софья, по лицу ее скользнула тень неудовольствия, которое не мог не заметить брат.

— Ты что, Соня, не согласна?

— Да нет. Но, понимаешь, он уж старик. Может скоро утомиться держать венец, и еще, чего доброго, уронит тебе на голову,— усмехнулась Софья при последних словах.

— А кого б ты посоветовала, Соня? — спросил Федор, начиная догадываться, куда клонит старшая сестра.

— Разве мало молодых мужей вкруг тебя? И не обязательно из родных брать. Ну, наприклад...

«Ну-ну, сестрица, давай,— думал, веселея Федор, заметив некое смущение в лице Софьи и окончательно утверждаясь в своей догадке.— Называй же своего напарника в венцедержатели».

— Наприклад, кто? — спросил вслух.

— Ну, например, князь Голицын Василий,— выдавила из себя Софья заветное для нее имя.

Видя, сколь трудно было сестре вымолвить его, Федор пожалел ее.

— А что, Соня. Ты, пожалуй, права. Попрошу князя Василия.

— Федя, ты умница,— чмокнула сестра его в щеку и пошла от него скорым шагом, словно боясь, что он передумает.

«Глупенькая, давно весь дворец видит твое неравнодушие к князю, а ты все еще считаешь это великой тайной сердца. Да люби на здоровье, разве я против».

Хотя, конечно, князь на четырнадцать лет старше царевны, да и к тому же женат на Феодосье Долгорукой, но ведь сердцу не прикажешь. Оно полюбит и козла пуще ясна сокола. А тут князь, боярин, красавец, и к тому ж, по всему видно, несчастлив в браке. Бесплодной женушка-то оказалась. Вот и вскружилась головка у царевны Софьи Алексеевны.

И собственная любовь, вспыхнувшая в сердце юного царя к Агафье Семеновне, благотворно сказалась на его физическом и душевном состоянии. Он ощутил вдруг прилив сил, окончательно отбросил палку, стал ходить быстро, пружинисто, сам дивясь этим переменам в себе. Без чьей-либо помощи быстро всходил к своему царскому седалищу, во время думных сидений и говорений был со всеми ласков, внимателен, шутил более прежнего, порою заставлял «думных сидельцев» хохотать до колик.

Царская свадьба — большой праздник на Руси, всеми ожидаемый и желаемый. Ждут его с нетерпением и надеждой все: высокий боярин, в предвкушении царских милостей, наград и шумного пира в Грановитой палате, где сидеть ему на лавке едва ли не рядом с государем, на зависть всем худородным дворянишкам и головам стрелец-

ким; колодник — тюремный сиделец в надежде на помилование; тяглец-недоимщик, стоящий на правеже каждый день и получающий всякий раз несчетное число ударов по икрам ног, ждет прощения долгов и освобождения от правежа, и точно знает, простит государь ему прошлые недоимки, обязательно простит ради дня такого, главное теперь дотерпеть, не обезножить бы до светлого праздника — свадьбы царевой; записные «питухи», давно пропившие с себя все до нитки и потерявшие человеческий облик, роятся у кружечного двора в надежде выпить дармовую кружку во здравие царя и его царицы. «Скоре бы женились-то, че тянут-то»,— бормочут «питухи» посинелыми, дрожащими губами. Этим уж совсем невтерпеж: «Скоре бы».

А что уж говорить про саму виновницу грядущих торжеств Агафью Семеновну Грушецкую. Вскоре после Велика дня явился дядя ее домой, взволнованный, встревоженный.

— Агашка, подь сюда,— потребовал властно.

Бросила стряпню Агафья, отряхнула руки от муки, прибежала пред грозные очи дьяка.

— У тебя что с Прокопом? — спросил Заборовский.

— Н-ничего,— промямлила испуганно девушка.

— Как «ничего»? Вы ж сговаривались?

— Сговаривались, дядя. Он говорит, деньжат подкопить надо, а уж осенью и свадьба, как у людей. Ну и уж о приданом справлялся.

— Вот ему приданое,— со злым торжеством Заборовский выкинул вперед кукиш.— Поняла? Чтоб отныне его ноги в моем дворе не было.

— За что, дядя? — заморгала Агафья часто-часто, готовая разреветься.

Что поделаешь, нравился ей Прокоп — сотник стрелецкий, ус, закрученный кольцом, на боку сабелька. С ним нестрашно по улке идти вечером, никто не пристанет, не обидит. А коли явится такой, Прокоп сабелькою р-раз и башку снесет. Эвон энтих турков, сказывал, тьму-тьмущую саблей понаклал.

Не хотел дьяк сразу открывать все девке, а ну как не сбудется обещанное, но пришлось, потому как залилась Агафья горючими слезами от горя такого: любезному дружку Прокопу от двора отказано.

— За что, дядюшка,— спрашивает сквозь слезы,— что я вам худого изде-яла-а-а?

К ней еще и тетка ее родная — жена дьяка — присоединилась:

— И не совестно тебе, Иван, сироту забижать?

И понял Заборовский, что придется открыться «дурам», а то иначе слезьми из дома выживут. Хлопнул ладонью по столу.

— Да замолчите, дуры!

Ладонь у дьяка, что лопата, стукнул по столешнице — ровно с пищали пальнул. Вздрогнули женщины с испуга и впрямь смолкли.

— Я что, враг тебе, че ли? Ты, дуреха, царю поглянулась, и мне велено тебя для него сохранить. Поняла?

— Как «царю»,— пролепетала Агафья, не веря ушам своим.

— Вот так. Царь, чай, тоже мужик, ему тоже баба нужна.

— Ваня, а ты, часом...— засомневалась жена.

— Да тверез я, но ради такого дела иди ставь бутылку. Будет наша Агашка царицей. Эх, ядрит твою!

Да, оглоушил дьяк такой новостью баб своих, оглоушил. Жена засуетилась на стол сбирать, племянница словно потерянная забилась в дальнюю клеть. Притихла.

Бедная Агафья и верила и не верила в сказанное дьяком, до ломоты в висках вспоминала, когда же она успела «поглянуться» царю. Но когда от государя принесли ей в подарок жемчужное ожерелье — поверила и, мало того, вспомнила. И крестный ход во главе с царем и патриархом, который встречала она с подружками у Успенского собора, и мимолетный взгляд государя, задержавшийся на ее лице. Это было лишь мгновение — встреча взглядов: царский с любопытством, девичий с восторгом от увиденного. И вот надо же, одно мгновение — и она уже царская невеста. Наверное, прав дядя Иван Васильевич, говоря: «Ты, Агашка, родилась в рубашке».

«Но как же Прокоп, ему же обещано?»

— С Прокопом без тебя разберутся,— сказал Заборовский.— У тебя отныне другая стезя.

А сотник эвон легок на помине явился на следующий же день. Собаки, нет чтоб залаять и не пустить, завиляли хвостами, признали: «свой». Увидев в окно Прокопа, шедшего от калитки к крыльцу, взволновалась Агафья, сердце в груди забилось: ведь мил же, куда денешься.

— Сиди,— осадил ее дьяк.— Я сам его встрену.

И вышел во двор навстречу гостю незваному, который, как говорится, хуже татарина.

— Здравствуй, Иван Васильевич,— приветствовал сотник дьяка.— Агафья Семеновна дома?

— Нет ее,— отвечал дьяк, хмурясь и не желая приветствовать незваного.

— А где же она?

— Уехала.
— Куда?
— А это тебе знать не обязательно.
— Ты что-то ноне сердит, Иван Васильевич. Не с той ноги встал, че ли?
— Ты угадал, сотник.
— Я просто хотел попрощаться с ней перед отъездом, сговориться, когда нам...
— Никогда вам,— перебил дьяк.— Ты слышишь, никогда. Забудь про Агафью.
— Как можно? Мы любились, клялись.
— Теперь разлюбляйтесь. Вот. Все. Ступай, сотник. Ступай. И забудь дорогу сюда.
— Послушай, Иван Васильевич, я ведь могу и осерчать.
— Серчай. Но, пожалуйста, уходи от греха. Не лезь на рожон.
— А не ты ль это на рожон-то лезешь?
— Може, и я, но ты, Прокоп, точно рожна не минуешь, ежели упорствовать станешь.
Сотник помолчал, поиграл рукоятью сабельки, сказал просительно:
— Ладно. Передай Агафье Семеновне, что я перевожусь в Черниговский полк, что я верен слову своему.
— Передам,— пообещал Заборовский, понимая, что силой сотника не выпроводить.— Все передам, Прокоп.
А меж тем Агафья, глядя в окно, заливалась горючими слезами. О чем там говорили мужчины, лишь догадывалась. Понимала, что зрит в последний раз ненаглядного своего с усами-колечками, с сабелькой на боку. И горько было на сердце, ох горько, ведь любый же. И такого-то сокола упускать? Небось волчицей взвоешь.
Заборовский, выпроводив гостя незваного, вошел со двора в дом, увидел Агафью заплаканную, рассердился:
— Дура-а! По ком воешь?
— По с-себе, дя-ддя, по с-себе,— со всхлипом отвечала девушка.
— Да тебе, дурехе, от счастья надо до потолка прыгать. Спроть царя и генерал не переважит, а то сотник какой-то, тьфу.
— Не трожь девку, Иван,— заступилась тетка.— Думаешь, легко девке перву любовь избывать. Пусть отплачется, отвоется. И не забывай, станет царицей, она те «дуру-то» припомнит. Батагов с сотню велит всыпать. Правда, Агаш?
И девушка вдруг засмеялась. Плакала и смеялась над теткиной шуткой. Заулыбался и дьяк, и шутку жены подхватил, склоняясь к девушке, допытывался:

— Агаш, дочка, неужто всыпешь?
— Всыплю,— отвечала со всхлипом и неожиданно обняла дьяка, прижалась к нему, уткнулась в грудь лицом, мокрым, горячим. Плечи ее вздрагивали.
Заборовский гладил ее по голове, рокотал растроганно:
— Все ладом, все ладом, Агашенька, царица наша жемчужная.

Глава 34

СОН НА ЯВУ

Родной тетке наряжать цареву невесту не доверили, от дворца явились девушки во главе с верховой боярыней Хитрово Анной Петровной и с ворохом одежды.
Опытным глазом осмотрев невесту, словно лошадь на торге, Анна Петровна изрекла:
— Сделаем куколку,— и скомандовала: — Разбалакайте.
Агафья и глазом моргнуть не успела, как три пары девичьих рук стали раздевать ее, сбрасывая с нее одежды. Не привыкшая к чужой помощи в таком деликатном деле, она было запротестовала:
— Я сама.
Но верховая боярыня властно взглянула на нее, нахмурилась:
— Теперь, детка, отвыкай сама.
А когда девушка оказалась совсем нагой, Анна Петровна придирчиво осмотрела ее, велела повернуться туда-сюда, не обращая внимания на то, что Агафья, стыдясь наготы, закрыла руками лицо, которое полыхало маковым цветом.
— Обалакать,— скомандовала Хитрово.
Зашуршала нижняя сорочка тонкого полотна, облегая дрожащее тело невесты, потом другая, потом белое платье, унизанное бисерными строчками и серебристыми прошвами.
Перед тем как накинуть фату, боярыня сказала:
— Государь говорил о каком-то жемчужном ожерелье, что дарил тебе.
— Вон там,— с трудом пролепетала Агафья, кивая на шкатулку. У нее от происходящего почти пропал дар речи.
— Он очень просил, чтоб ты надела его,— сказала Анна Петровна и, достав ожерелье, сама надела его на невесту.
— Фату,— приказала Хитрово.
И одна из девушек накинула на Агафью кружевную фату.
Боярыня, отступив, прищурилась, оценивая невесту в этой фате.

— Не пойдет. Бедно. Снимите. Оденьте парчовую.

Накинули парчовую, но и она отчего-то не понравилась Анне Петровне. Приказала накинуть золотоцветную. Долго поправляла ее, присматривалась со всех сторон и наконец сказала удовлетворенно:

— Золотоцветная в самый раз.

С этого момента, как обрядили Агафью к венцу, она уже не принадлежала сама себе. Все ей словно во сне виделось. И родная тетка, увидав ее в подвенечном наряде царской невесты, онемела от восторга. Онеметь-то онемела, но не забыла шепнуть напоследок:

— Агашенька, на свадьбе не пей.

Бедная Агаша лишь взглядом спросила: «Почему?»

— Таков порядок. Нельзя невесте. Не опозорься.

И разве ж не сон то был, когда ее везли в раззолоченной карете в Кремль, в сопровождении конных стрельцов, когда ее встретил царь и повел к венцу в Успенский собор, где венчал их сам патриарх, а венец над ней держала царевна Софья Алексеевна.

Разве такое могло случиться в яви?

И когда из-под венца пошли они, уже муж и жена, царь и царица, на пир в Грановитую палату, ударили по всей Москве колокола. И их радостный перезвон, и июльское яркое солнце, сиявшее в вышине,— все радовалось и ликовало:

«Господи,— думала Агаша,— не проснуться бы».

Патриарх Иоаким, знавший невеликие силы государя, постарался венчанье не затягивать и предупредил о том же дворецкого Хитрово и Стрешнева:

— На пиру не томите государя. Посидит чуток с царицей, отдаст честь, и довольно. Как узрите, царь положил кубок набок, это вам и будет знак, что он устал уже. Помогите им подняться и из-за стола выйти. Пусть идут в опочивальню. Да смотрите, на пути чтоб кто дорогу не перебежал.

— А пир?

— Пируйте хошь до утра, но чтоб государя не вздумали неволить.

В то, что она уже царица, Агафья не могла сразу поверить, хотя видела, как богато одетые князья и бояре кланялись им, а простые люди просто падали ниц. Но все это почитание она относила к царю, шедшему с ней рядом, но только не к себе. И сама она испытывала к Федору те же чувства, что и встречные люди.

И когда наконец их привели и оставили одних в опочивальне и Федор устало присел на край ложа, Агафья опустилась перед ним на колени и взялась за сапог.

— Позвольте, ваше величество.

Где-то она слышала, что у русских в первую брачную ночь жена обязательно должна сама разувать мужа.

— Агаша,— заговорил ласково Федор,— запомни, ты теперь тоже царское величество и жена мне. Давай хоть меж собой не будем величаться. Хорошо?

— Хорошо,— прошептала пересохшими губами Агафья, и стащив один сапог, взялась за второй.

Федор, как смог, помог ей справиться с разуванием, и поскольку Агафья по-прежнему продолжала стоять на коленях перед ним, ласково погладил ее по голове.

— Позвольте попросить...— прошептала она.

— Федор, Федя... Ну, Агашенька?

— Не могу я, простите, сразу... Федя.

— Что ты хотела просить, Агаша?

— Попить...

— Что, что? — удивился Федор.

— Пить. Сильно пить хочу.

Федор вскочил и босой побежал к двери, открыл ее и позвал:

— Родимица-а-а.

— Что, дитятко? — появилась встревоженная старуха.

— Принеси что-нибудь попить, Родимица. Квасу, сыты, соку ли. Быстрей.

— Дитятко, так у ложа в головах на столике стоить все.

— Разве? — молвил обескураженно Федор.— Прости, Родимица.

Прошлепал босиком к столику, от которого только что сидел в трех шагах, на нем действительно стояло три кувшина серебряных и рядом две, тоже серебряные, кружки.

— Агаша, что будешь пить?

— Мне все равно, государь.

— Тогда вместе выпьем квасу.

Федор наполнил обе кружки, хотя сам пить не хотел, но решил поддержать смущающуюся жену.

— Да встань ты с колен, Агаша. Ты царица теперь. Иди, выпьем вместе.

Агафья подошла, взяла свою кружку, и, увидев, с какой жадностью она пьет, Федор вспомнил, что там на пиру она и не ела и ничего не пила, лишь касаясь губами своего кубка.

— А почему ты не пила на пиру, Агашенька?

— Тетка сказала, что невесте нельзя пить.

— Как? — удивился Федор и тут же догадался: — Милая, тетка твоя имела в виду хмельное. Понимаешь, нельзя невесте пить хмельного, но не квас же.

И, тихо засмеявшись, притянул к груди голову жены, почувствовав к ней почти отеческую нежность.

— Нет, правда? — спросила удивленная Агафья.

— Правда, милая, сущая правда. Может, грушевой еще выпьешь? А?

— Выпью, государь,— согласилась она.

— Ну раз ты так,— сказал Федор, наполняя вновь кружки,— то и я тебе так. Вот!— И, сунув ей кружку, с полупоклоном произнес церемонно: — Извольте откушать, ваше царское величество.

Агафья прыснула от такого величанья, все ее существо не могло еще принимать это всерьез. Глядя на нее, засмеялся и Федор.

За стеной Родимица, заслыша смех молодоженов, вздыхала, крестилась, шептала умиротворенно: «О-о, диты и е диты, прости им Боженька смешки, бо не ведають, шо нечистого тешат».

Глава 35

И ОПЯТЬ ТЯПКИН

В дороге, пока ехали до Батурина, Тяпкин допытывался у Зотова:

— Ну как ты с царевичем Петром управляешься? Каков он?

— Робенок еще, семь лет всего. Но боек, шибко боек,— рассказывал Никита, не скрывая удовольствия (еще бы, чай, возле царевича обретается).— Ученье на лету схватывает, уж псалтырь едва не всю назубок взял. Наизусть любое место чешет без запинки. Почерк, правда, корявый, спешит дюже. Но ум востер, ох востер. Надысь меня, наставника, по арифметике устыдил. Спрашивает, сколь будет семь раз по семь? Я изморщился подсчитать, а он тут же выдает: «Сорок девять, горе ты мое».

Зотов добродушно посмеивается, ему лестно рассказывать, сколь близок он к наследнику, сколь дорого ему «горе ты мое».

— Когда государь приходит к нам...

— А он приходит к нему?

— А как же. Не проходит недели, чтоб не пожаловал. И всякий раз спрашивает: «Ну-ка, крестничек, что нового узнал?» А Петр Лексеич как почнет, как почнет чесать. Ну

государь очень нами доволен. Всякий раз и хвалит и дарит подарками.

— Значит, любит он Петра?

— Еще как! Более чем родного Ивана. Уж раза два говорил Петру Лексеечу: «Учись, Петь, расти, Петь, тебе царство откажу».

— А что Петр?

— А что он? Робенок. Грит: «Не хочу я с долгобородыми боярами порты протирать, ну их, грит, к лешему».

— А государь?

— А что государь. Смеется. Треплет его по голове, молвит: «Вырастешь — захочешь». Так вот и живем.

Зотов покосился на Тяпкина, полюбопытствовал:

— А ты что это меня вдруг возжелал, Василий Михайлович, к хану тащить?

— Пишешь ты знатно, Никита. Хочу чтоб договор с султаном ты писал, от твоего письма татары обалдеют, глядишь, выправлять не станут. И потом, пора тебе от царевича и отпуск иметь. Поди, два года без роздыху пашешь.

— Это ты прав, Василий Михайлович, и от царевичей роздых нужон. Это тебе спасибо за отпуск-то.

— Отпуск будет нелегкий, Никита, так что шибко не радуйся и благодарить не спеши. Татары нам кишки помотают, чует мое сердце. Сухотин вон от них явился едва ли не вполовину отощавшим, говорит: «Упрямы как бараны, с ними ты каши не сваришь». Ничего, Никита, как говорится: Бог не выдаст — свинья не съест. Ляжем костьми, но мир заключим.

— Да надо бы. А то мне перед Петром Лексеичем стыдно будет. Он ведь знает, зачем я поехал.

В Батурине встретил послов гетман, угощал их в застолье, говорил:

— Ах, если вы мир привезете, великую честь вам воздадим. Из всех пушек велю палить для вашей славы.

— Ну, до этого еще дожить надо,— отвечал Тяпкин, подливая себе горилку.— Мы б тебе благодарны были, Иван Самойлович, если б ты пристегнул к нам писаря скорописного. А то Никита Моисеевич пишет более набело и неспешно, потому как красоту букв соблюдает. А скорописный бы поспевал за нашим говорением.

— Есть у меня такой.— Гетман обернулся к слуге: — Позови Семку Раковича.

Слуга ушел, гетман продолжал:

— Этот Ракович так строчит, так строчит пером, ровно за зайцем скачет. За говореньем всегда поспевает.

Привели Раковича — молодого казака с невеликой черной бородкой и вислыми усами.

— Вот, Семен, тебе честь выпадает ехать с посольством в Крым ради твоего скорописания. Гляди же не осрами там меня.

— Что ты, гетман. Как можно,— отвечал казак.

— Тогда садись к столу и выпей горилки.

Ракович не стал чиниться, сел к столу, выпил налитую ему чарку, закусывал не жадно, с должным уважением к застолью.

— И еще,— продолжал гетман,— дам я вам добрых казаков в охрану до самого Крыма. В Сечь не заезжайте. Сухотин взял с собой сичевиков, так намучился с ними, вместо охраны они дрыхли как байбаки, татей проспали. А может, и сами обобрали посла-то, а на татей свалили. Иди проверь теперь.

— Но ты ж им и содержание выдай, Иван Самойлович. У нас, сам знаешь, всякая копейка в учете.

— Это само собой, выдам им и на жилое и на коней. Так что вы на них тратиться не будете. Сотнику накажу, чтоб и не совался к вам с просьбами. У вас дела поважнее. И ты, Семен, поступаешь в полное распоряжение думного дворянина Тяпкина Василия Михайловича и слушаться его должен без всякого прекословия. Потому как едет он по государеву делу. Понял?

— Понял, Иван Самойлович.

— Бери с собой поболе бумаги чистой, чернил, перьев. И в путь, с Богом.

Долог путь из Москвы в Крым оказался. Выехал Тяпкин в августе, а до реки Альмы добрался лишь двадцать пятого октября. И хотя Сухотин рассказал о посольском стане, строение это все равно поразило послов своей убогостью.

— При каких государях ни довелось мне бывать,— сказал Тяпкин,— но такое вижу впервые. И впрямь, свиньям у нас и покойнее и теплее живется, чем послам и резидентам в Крыму у хана.

— Это чтоб не заживались долго,— предположил Никита Зотов.

Казаки сразу занялись устройством коновязи, поскольку ее при стане не было. Наносили соломы и коням и на ложе, разбросав предварительно по полу сарая наломанных будыльев полыни.

— Это от блох,— пояснил сотник.

— Я думаю, при таком холоде блохи быстрее нас разбегутся,— отвечал Тяпкин, однако возражать не стал, хотя от сухой полыни поднялась в сарае горькая пыль.

И если полыни казаки наломали даром, то за солому татарин потребовал плату. Пришлось платить. Тут же было объявлено послам, что здесь ничего даром получать они не будут. Все должны покупать — питание себе и корм коням.

— Только за воду не надо платить,— не то пошутил, не то с сожалением, что упущена такая статья дохода, проговорил татарин. Просто рядом протекала речка, и устанавливать плату за воду было бессмысленно. На следующий день явился пристав и объявил, что их ждет хан.

— То добрый знак, что нас не задерживают,— сказал Зотов.

— Погоди, Никита, сглазишь,— отвечал Тяпкин. И как в воду смотрел.

До ханского дворца было недалече, где-то около пяти верст, но когда они явились на подворье, пристав объявил им:

— Прежде чем идти к хану, вы должны представиться ближнему человеку его, Ахмет-аге.

— Не бывши у ханова величества,— отвечал Тяпкин,— и не вручивши ему грамоту великого государя, мы по другим дворам волочиться не станем. Нам — послам царского величества — сие не пригоже.

— Если вы так станете с нами говорить,— вскричал пристав,— то грамоту мы у вас отнимем силой.

И хотя пристав при этом выпучивал глаза, стараясь напугать послов, на Тяпкина это мало действовало.

— Ты зенками-то не крути,— осадил он пристава.— Грамоту государеву нам велено вручать ханскому величеству, а не тебе. А пока где головы наши будут, там и грамота. Лишь убив нас, сможешь взять. А грозы твоей мы не боимся, потому как мы государевы люди и за нами войско царское.

Пристав посовещался с другими татарами и наконец сказал вполне миролюбиво:

— Ну хорошо, пусть один останется с грамотой на подворье, а другой сходит к Ахмет-аге повидаться, дабы обиды ему не было.

— Ну? — переглянулись Тяпкин с Зотовым.— Кому идти?

— Пойду я,— решительно сказал Тяпкин.— Я знаю, как с басурманами говорить надо.

Ахмет-ага в шелковом золотисто-желтом халате сидел на ковре, опираясь на вышитые золотом подушки. Встретил посла высокомерной ухмылкой. Однако Тяпкин и вида не подал, что уязвлен этим.

— Здравствуй, Ахмет-ага! — приветствовал он татарина.

— Здравствуй, господин Тяпкин,— отвечал тот и, кивнув на ковер, пригласил: — Иди садись около.

Тяпкин нагнулся, скинул сапоги у порога и босиком прошел на ковер, присел по-татарски, поджав ноги. Сделал это быстро и легко, словно век этим занимался: знай наших.

— Почему ты и твои люди ослушались ханской воли? — спросил Ахмет-ага.

— Как мы могли ослушаться, если не слышали ее?

— Но пристав тебе говорил, чтобы до хана ты пришел ко мне.

— Пристав — не хан, Ахмет-ага. Он кричит, как простой пастух, так ханскую волю не выражают.

— У нас исстари ведется, что все посланники, прежде чем идти к хану, бывают у ближних людей. Или ты считаешь, что прежде честнее вас посланников не было?

— Мы с прежними посланниками честью не считаемся. Если у вас прежде так и водилось, как ты говоришь, то мы вашего указа не принимаем, мы прежде всего исполняем государевы дела. Я во многих странах перебывал, Ахмет-ага, у многих великих государей, и нигде не повелось ближним людям от послов грамоты мимо государя принимать. Нигде.

— Но у нас свой обычай, господин Тяпкин.

— Плохой. Грубый обычай, Ахмет-ага. Он унижает ханское величество. А этого как раз ближние люди и не должны допускать.

Ахмет-ага понял, что этого Тяпкина трудно переспорить, сказал примирительно:

— Ну ладно, ладно. Ну вот ты пришел ко мне, ну не съел я тебя, ну не убыло от тебя.

— Не убыло, Ахмет-ага. Напротив, мне приятно было с тобой познакомиться,— проговорил Тяпкин вполне дежурную дипломатическую любезность, хотя какая уж там «приятность» беседовать со спесивым басурманом.

— Вот теперь ступай к своим спутникам. И готовьтесь. Вас ждет торжественная встреча у хана.

— Мы давно готовы уже,— поднялся Тяпкин с ковра.

— И еще, господин Тяпкин, у нас не принято оскорблять слух хана жалобами.

— Ты думаешь, мы будем жаловаться на вашего пристава?

— Ну не только на него, скажем, на неудобства с жильем или с кормами.

— Ага,— догадался Тяпкин.— Я понял. У нас все хорошо и все прекрасно. Так?

— Именно так, господин Тяпкин. Я рад, что мы поняли друг друга.

Хан Мурад-Гирей хотя и был одет в еще более богатые одежды, но оказался менее спесивым, чем его ближний человек. Так по крайней мере показалось Тяпкину, и начал он разговор не с выговоров, как Ахмет-ага, а с деликатных расспросов:

— Как изволили доехать, господин Тяпкин?

— Спасибо, хан, хорошо доехали.

— Как здоровье высокого брата нашего, царского величества?

— Спасибо, хан. Великий государь, слава Богу, здоров и надежен.

— Как вас разместили?

— Спасибо, хан. Нас хорошо разместили.

— Покормили ли вас и коней ваших?

— Нас накормили, напоили, великий хан,— отвечал Тяпкин и не удержался, чтоб не подпустить шпильку — Мы сыты твоими милостями.

Никита Зотов с Семеном Раковичем только рот разевали, слушая признания своего старшего спутника. А от последней фразы его казак едва не рассмеялся, удержался через великую силу.

Видимо, и Мурад-Гирей вполне оценил ехидный выпад царского посланца, сразу закончил на этом расспросы. Церемонно приняв от Тяпкина царскую грамоту, хан не оборачиваясь передал ее сидевшему справа от него ближнему человеку и пригласил царских посланцев пройти в свой кабинет. Это означало — торжественный прием окончен, пора переходить к делу.

Выпроводив из тронного зала, послов несколько задержали в передней. Задержка эта объяснилась, когда их провели в кабинет хана. Мурад-Гирей сидел уже за столом не в пышном ханском одеянии, а в темно-зеленом бешмете, и перед ним лежала развернутая царская грамота, с которой, судя по всему, он уже ознакомился. За спиной хана и по бокам расположилось семь ближних людей, и среди них был и Ахмет-ага.

Кивком головы хан пригласил послов рассаживаться за другим столом, и когда они уселись, сказал:

— Понимая серьезность предстоящих переговоров, я хотел бы увеличить число членов вашего посольства. А то нас много, а вас всего трое. Вы не возражаете?

Послы переглянулись в недоумении, но опытный Тяпкин, сделав вид, что ему все ясней ясного (хотя тоже ни бельмеса не понял!), отвечал четко

— Разумеется, нет, ваше величество

— Введите боярина,— приказал хан.

И русские не смогли скрыть своего удивления, когда в дверях появился боярин Шереметев.

— Василий Борисович,— не удержался от восклицания Зотов,— какими судьбами?

И прикусил на полуслове язык. Ясно, какими судьбами угодил русский боярин в Крым: попал в плен под Чигирином.

— Здравствуй, Василий Борисович,— сказал Тяпкин как можно обыденнее, словно вчера лишь распрощался с ним.

Но сам Шереметев сильно разволновался, на глазах слезы появились, прошептал, едва сдерживая рыдания:

— Здравствуйте, родные мои.

Хан был доволен произведенным эффектом. И Тяпкин вполне оценил хитрый ход Мурад-Гирея. Под великодушным жестом увеличения числа русских послов скрывалась угроза и напоминание хана о его силе и возможностях (любой из вас может стать моим рабом!), а также скрытое предложение поторговаться за пленника. Боярин — не рядовой, его выкуп немалых денег стоит

Шереметев, конечно, не мог быть полноценным помощником в предстоящих переговорах в силу своего положения пленника, скорее, наоборот, он мог склоняться в сторону татар, рабом которых являлся на сегодня.

Дождавшись, когда Шереметев усядется рядом с Тяпкиным, успокоится и вытрет слезы, Мурад-Гирей кивнул Ахмет-аге:

— Приступай.

И ближний человек прямо на глазах опять надулся «своей поганой гордостью», как напишет потом Тяпкин, и высокомерно кивнул старшему послу:

— Какие условия по границе выдвигает московская сторона?

— Мы предлагаем границу между нашими землями по рекам Рось, Тясмин и Ингул, считая это не унизительным для обеих сторон.

— Если вы за этим сюда ехали,— усмехнулся нехорошо Ахмет-ага,— то зря тратились на дорогу. По этим рекам никогда границы не было и не будет. Это давно уже наша земля и наши реки.

— А где вы хотели иметь границу? — спросил вежливо Тяпкин.

— Мы признаем границу только по Днепру.

— Но, ваше величество,— Тяпкин наклонил голову в сторону хана,— но, дорогой Ахмет-ага, мы ведь собрались здесь не спорить, а искать возможности для мирного договора.

— До тех мест, где заступала нога султановых войск, уступки по мусульманскому закону быть не может,— повторил еще жестче Ахмет-ага.

«Сухая ложка рот дерет,— подумал Тяпкин.— Надо было этому бусурману пред тем низку соболей кинуть. Кто ж знал, что именно ему хан доверит переговоры вести».

Между тем Мурад-Гирей молчал и внимательно слушал спор сторон. Всякий раз начиная говорить, Тяпкин в первую очередь обращался к нему, а потом уже к Ахмету. Понимая, что только хан может смягчить условия, Василий Михайлович решил «пропеть» хвалы ему.

— Ваше ханское величество, два великих государя — султан Порты и мой царь сделали вас своим посредником в переговорах о мире, о котором мечтают обе столицы. В ваши руки, Мурад-Гирей, вручили оба государя судьбы держав. Вам оказана высокая честь, и вы войдете в историю как миротворец между ними. Разве вашему ханскому величеству не хочется оправдать надежды великих государей?

— Я благодарю тебя, господин Тяпкин, за высокую оценку моей роли в переговорах. Но ведь успех их будет зависеть от обеих сторон.

— Наша сторона, Мурад-Гирей, готова оплатить всем, кто способствует этому успеху. Хану мы предлагаем десять тысяч червонных золотых, ближним людям твоим по три тысячи.

Тяпкин заметил, как при последних словах блеснули глаза Ахмет-аги, и снова упрекнул себя: «Как же я, старый черт, не кинул ему соболей. Ах, какая промашка!»

— Господин Тяпкин,— отвечал Мурад-Гирей,— как ты являешься слугой царя, так и я являюсь слугой султана. Если б спорная земля была моя, я бы охотно установил межу угодную царскому величеству, но я человек невольный, должен исполнять указ султана. И не могу согласиться даже и за сто тысяч червонных.

«За это ты б согласился, чертов басурман»,— подумал Тяпкин, а вслух сказал:

— Мы бы не обидели и султана с визирем, отправили бы им соболей на пять тысяч червонных каждому.

— Нет, нет, господин Тяпкин, я думаю, и султан не согласится на это.

— Зачем говорить за султана, Мурад-Гирей.

Хану не понравилось последнее замечание русского посла, он поднялся и вышел. Тяпкин понял, что ляпнул лишнее и уход хана не к добру. Впрочем, это можно было определить даже по злорадной ухмылке Ахмет-аги, вновь вступающего в права ведущего переговоры:

— Ты, Тяпкин, оскорбил нашего хана, и за такое у нас полагается строгое наказание.

— Какое?

— Земляная тюрьма.

— Но я подданный великого государя, Ахмет-ага. Не забывай.

— Но ты находишься на ханской земле, Тяпкин, и подчиняешься нашим законам. Не забывай.

В это время в дверях, за которыми исчез хан, появился татарин и, подойдя к Ахмет-аге, шепнул ему что-то. В глазах Ахмета опять вспыхнул дьявольский огонь.

— Ну вот,— начал он почти торжественно,— что я тебе говорил, Тяпкин. По приказу хана вас велено всех отправить в тюрьму

— Почему всех? — вскочил Тяпкин.— Я виноват, меня и отправляйте Они-то при чем?

— В тюрьме все трое вы подумаете над договором. И поскольку хан распорядился к вам никого из купцов не пускать, а давать вам только воду, я думаю, вы очень быстро сочините договор по новым, а точнее, по нашим условиям.

— Ахмет-ага,— поднялся вдруг Шереметев,— позволь и мне идти с ними с тюрьму.

— Нет. Ты пленник, боярин, а не посол. Ступай на свое место, где тебе указано. Ну! Чего стоишь? Хочешь, чтоб палками погнали?

Тяпкин повернулся к Шереметеву.

— И не надо с нами, Василий Борисович. Сослужи нам службу, если сможешь.

— Какую, Василий Михайлович, говори.

— Передай нашим в становище, где мы, и пусть они того пуще стерегутся воров и татей. Мы тут златых гор наобещали, еще вздумает кто-то, что все это при нас, могут нагрянуть с разбоем.

— Хорошо, Василий Михайлович, я постараюсь.

— Постарайся, Василий Борисович, а уж за мной отдар не станет, выйду из тюрьмы — вызволю тебя из полона.

— Дай-то Бог, дай-то Бог,— растроганно молвил Шереметев.— Век буду за тебя Бога молить, Василий Михайлович. Со мной еще и Ромодановский Федор Юрьевич в плену томится.

— За обоих хлопотать стану, постараюсь в договор вписать.

— Ну что, Ахмет-ага,— обратился Тяпкин к татарину — Веди нас, куда велено И не зови, пожалуйста, стражу, мы же не упираемся.

— Э-э, нет, господин Тяпкин. Стража обязательно нужна. Она и проводит до ямы, и спуститься поможет.

Глава 36

В ЯМЕ

Стража «помогла» спуститься. Едва ввели русских послов под навес над ямой, как их попросту столкнули в темень, не дав даже осмотреться. Они падали друг на друга, и больше всех досталось Тяпкину, его столкнули в яму первым.

Упав на карачки, он стал подниматься, и в это время сверху на него свалился Никита Зотов.

— Эх, черт, ты ж мне шею едва не сломал,— охнул Тяпкин.

Но в это время на Никиту уже свалился Семен и Тяпкин был буквально распластан на дне ямы.

— Братцы, вы ж меня — прокряхтел он.

— Прости, Василий Михайлович, то мы не нарочи, то басурманы.

— Да знаю я, чтоб им рожна в бок.

Кое-как разместились в яме. В ней и впрямь ничего не было видно, хоть глаз коли. Немного очухавшись после падений, они ощупью стали исследовать свою тюрьму.

— Ага, вот, кажется, кувшин с водой,— прошептал в темноте Семен.

— Где?

— Да вот, где я. Иди на голос, Василий Михайлович. Дай-ка руку, вот-вот, щупай.

— Ага. Точно, с водой.

— Пойду дальше,— сказал Семен и немного погодя опять подал голос:— А вот Фу-у-у В общем, кувшин для. до ветру ходить. Василий Михайлович, хочешь пощупать?

— Нет, то не к спеху Никита Моисеевич, ты где?

— Да я тут, где свалился. Чертов татарин, кажись, ногу из-за него подвернул.

Понадобилось около часа, пока они обвыклись в темноте, и даже кое-что различать начали: вверху серел навес, а когда там открывались двери, то они могли увидеть друг друга. Не так чтобы в подробностях, но видели.

Пленные уселись рядком, прижавшись друг к другу, так как в яме было нежарко.

— Это сколько мы здесь пробудем? — спросил Семен.— И за какие ж грехи нас сюда?

— Грех на нас один — неуступчивость,— сказал Тяпкин.— А продержать нас здесь могут и до морковкиных заговень. Верно сказывал Сухотин, их не переупрямишь.

— Слушай, Василий Михайлович,— заговорил Зотов,— нас же за миром послали, а не землю делить. Может, где-то стоит уступить. Вон по Андрусовскому трактату мы Киев полякам обязались отдать, но не отдали же и по сей день.

— И не отдадим,— сказал Тяпкин.— Мы его по новому трактату купили.

— Ну вот, пусть и с татарами в договоре Правобережье им будет, пусть с поляками разбираются. Поляки ж тоже на Правобережье свои права заявляют.

— Да они давно заявляют, только сил у них нет удерживать заявленное. Боятся. Не могут прошлую резню забыть. А ты что, Семен, молчишь?

— А шо я?

— Как «шо»? Ты представитель гетмана. Мы тут с Никитой Правобережьем торгуем, а ты молчишь.

— Мне гетман казав, шоб я тики тебя слухався. Я, как ты решишь, Василий Михайлович.

— Но все ж выскажи свою думку-то. Как мнишь?

— Ну шо я. Правобережье хошь и польско али татарско, а как наши туда приходять, так весь народ под государя просится. Я вон с Семеном Ивановичем, гетманским сыном, ходыв туда. Який город визьмем, так уси кажуць: берить нас за государя.

— Ну вот,— заговорил Зотов,— пусть на бумаге подавятся Правобережьем, а народ все едино будет за государя стоять.

Проговорили так до ночи, решая, можно ли уступать Правобережье. О том, что ночь наступила, догадались лишь потому, что всех вдруг на сон потянуло. И решили: уступить басурманам Правобережье, но запорожских казаков оставить за государем.

Уснули, скрючившись и прижавшись друг к другу. С наступлением дня, о котором тоже догадывались, потому что уже не спалось, сильно захотелось есть. Попили водички, отчего того более есть захотелось, пытались дозваться сторожа, чтоб попросить его что-нибудь принести из еды. Не дозвались.

— Это зря,— вздохнул Тяпкин.— Если хан приказал не кормить, никто не посмеет нам и корки бросить. Потому как за нарушение ханского приказа могут до смерти засечь. Так что давайте-ка, братцы, сочинять статьи договора.

— Их бы писать,— сказал Семен.— Мы вон вчера решили про Правобережье и запорожцев, и уж забыли.

— Нет, не забыли, Семен. Значит, так, братцы, каждый запоминает по статье. Скажем, первую Никита назубок выучивает, вторую — Семен, третью — я, потом четвертую — Никита, пятую — Семен, и так далее. Так нам на брата не более как по две статьи будет. А?

— Давайте попробуем,— согласился Зотов.— А наверх поднимемся, Семен быстро их напишет. Сочиняй, Василий Михайлович, я слушаю.

— Т-так... Рубежом быть Днепру, перемирию быть на двадцать лет, хану дается казна за прошлые три года и впредь будет высылаться по росписи. Все. Повторяй, Никита.

Зотов повторил, ни разу не сбившись.

— Молодец,— похвалил его Тяпкин.— Не зря тебе царевича учить доверили. Теперь, Семен, вторая, твоя статья. Запоминай. В перемирные годы от реки Буга до Днепра султанову и ханову величествам городов своих не ставить и разоренных не починивать, со стороны царского величества перебежчиков не принимать. Повтори.

Семен повторил, но дважды сбивался, и Тяпкин всякий раз ворочал его на начало, пока не добился точного, без запинки повторения второй статьи.

— Себе небось покороче статью придумаешь,— заметил Зотов.

— Ошибаешься, Никита. Дай подумать.

В яме наступила тишина, Тяпкин думал. И вдруг сверху сперва блеснул свет, видимо кто-то открыл дверь, потом послышался шорох, а потом — бац! — что-то упало сверху, и прямо на голову Тяпкину.

— Ах, чтоб им пропасть,— ухватился Тяпкин за бедную голову.— Почему это все мне да мне. Вас на меня покидали. Тут еще какая-то скотина...

— Василий Михайлович,— громко зашептал Семен.— Василий Михайлович, то на вас лепешка упала. Вот она.

— Какая еще лепешка?

— Кажется, ржаная или ячменная.

— Тс-с-с, нишкни. Подведешь доброго человека. Молчи.

Тяпкин, как старший в яме, поделил лепешку на три части и, поскольку не было видно, какая часть больше, какая меньше, положился на жребий. Взяв в руки один обломок, спросил:

— Никита, ты не видишь ничего?

— Ничего, Василий Михайлович!

— Кому эту отдать?

— Возьми себе, Василий Михайлович.

— Спасибо. А эту?

— Эту Семену.

— Держи, Семен. Ну а вот эта тебе, Никита, осталась. Тяни руку, да осторожней, чертушка, ты ж мне глаз едва не выбил.

— Прости, Василий Михайлович, ты сказал «тяни», я и протянул на голос. Прости.

Лепешка хотя и не насытила, но силы им подкрепила.

— Спасибо доброму человеку,— сказал Тяпкин, управившись с лепешкой.— Теперь, значит, третья статья будет звучать так. Слушайте, завистники, сколько я себе наворотил: крымским, очаковским и белгородским татарам вольно по обе стороны Днепра кочевать, для конских кормов и звериных промыслов.

— Молодец, Василий Михайлович, что про них такая статья уступчивая.

— Погоди, Никита, я же не кончил. Слушай далее... А со стороны царского величества казакам Войска Запорожского плавать Днепром для рыбной ловли и бранья соли и для звериного промысла ездить вольно до Черного моря Все.

— Да, ты себя не обидел, Василий Михайлович, и впрямь долгую статью сочинил. А запомнил ли?

— Пожалуйста.

И Тяпкин повторил всю статью слово в слово без запинки.

— Четвертая статья. Никита, мотай на ус. Киев с монастырями и городами, что ниже (Васильков, Триполье, Стайки) и что выше Киева (Дедовщина и Радомышль), остаются в стороне царского величества.

И опять Зотов повторил все без запинки, чем нимало порадовал Тяпкина.

— Тебе, Семен, полегче, пятая досталась. Слушай. Запорожские казаки так же остаются в стороне царского величества, султану и хану до них дела нет, под свою державу их не перезывать.

— Здесь татары упрутся,— сказал Зотов,— вот увидишь.

— Почему?

— А Хмельницкий-то. Они его для того и лелеют, чтоб казаков перезывать.

— Ничего у него не выходит Казаки уже смеются над ним, стали говорить, мол, Хмель обасурманился. А переметчиков казаки не любят, особенно в вере

— Ну и все статьи?

— Нет, пожалуй. Шестая, моя, значит Титул царского величества писать сполна. Пленников — боярина Шереметева, князя Ромодановского и других отпустить на окуп и на размену.

— Теперь, надеюсь, все,— сказал Зотов.

— Нет, Никита. Надо еще седьмую придумать, поскольку число седьмое, сказывают, счастливое. Давай ты придумай хоть одну, она и по счету твоя будет.

— Хорошо,— согласился Зотов и, помолчав, произнес почти радостно: — Султан и хан не должны помогать неприятелям царским.

— Ну что ж, коротко и ясно. Хотя опять же и эта Хмельницкого задевает. Уж кто-кто, а он-то государю самый что ни на есть неприятель.

— На всех не угодишь, Василий Михайлович.

— Ну-ка, братцы, давайте повторим все. Никита, начинай.

Тяпкин заставил повторить статьи раз десять. А что было делать в темной яме? Хоть это, да занятие. В конце концов доповторялись до того, что уже каждый знал наизусть все статьи договора.

— Ничего,— заключил Тяпкин,— это даже лучше. Выйдем на свет, сядет Семен к бумаге и мигом накропает весь договор, никого не спрашивая.

Договор был сочинен. Но вот выбраться наверх, на свободу оказалось не так просто. В три горла кричали они сторожа, никто не отзывался. Наконец явился долгожданный.

— Чего орете? — спросил сверху.

— Договор готов, скажи хану.

— Чтоб хан меня высек. К нему мне нельзя и близко подходить.

— Ну тогда ближнему человеку.

— Кому?

Не хотелось Тяпкину Ахмет-агу называть, а пришлось, больше никого они не знали из ближних людей хана. Сторож воротился примерно через час.

— Ахмет-ага сказал: пусть сидят.

— Да сколько ж можно? — возмутился Тяпкин.

— Он сказал: пока не поумнеют.

— Черт подери! — выругался по-русски Тяпкин, но тут же перешел на татарский: — Скажи Ахмет-аге, что, мол, они уже поумнели.

— Хорошо, скажу.

Сторож ушел и уж больше в тот день не воротился. Зато сверху заточникам опять прилетела лепешка и никого на этот раз не зацепила. Кто-то, наперекор приказу хана: держать их на воде, пытался подкормить несчастных.

— Выйду. Найду нашего благодетеля,— говорил Тяпкин,— озолочу.

— Не найдешь ты его, Василий Михайлович,— говорил Зотов.

— Это почему же?

— Потому что он затаен. Ему нельзя объявляться, хан может велеть насмерть засечь.

— Пожалуй, ты прав, Никита Моисеевич. Лучше уж об этих лепешках помалкивать, а то и нам и ему худо будет. Не могу простить промашку себе. Как это я, старый дурак, Ахмет-агу без подарков оставил. Думаешь, зря он так сторожу сказал: пока не поумнеют,— распекал сам себя Тяпкин.— Поумнел я, Ахметушка, поумнел.

Сторож явился где-то через сутки.

— Ну, ты сказал Ахмет-аге? — допытывался Тяпкин.

— Сказал.

— Как сказал, повтори.

— Я сказал: они уже поумнели.

— Молодец. А он что?

— А он сказал: это хорошо.

— И все?

— И все.

— Черт подери! — рявкнул опять Тяпкин на родном и тут же перешел на умеренный местный: — Скажи Ахмет-аге, договор готов. Понимаешь, го-тов. В нем учтены все пожелания хана. И вот тебе за это!..— Тяпкин вынул из кармана монету и запустил ее вверх.— Поймал?

— Поймал,— отвечал сторож, и сразу услужливо: — Все исполню, господин.

— Давно бы так,— проворчал Тяпкин по-русски; вероятно, сие относилось к нему самому, а не к сторожу.

И действительно, все пошло как надо. Сторож явился с веревочной лестницей, бросил конец ее в яму.

— Вылезайте, Ахмет-ага разрешил, сказал, хан ждет вас.

— Я первый,— поспешил Тяпкин.— Первым летел сюда и первым пойду отсюда.

Никто не возражал, а Семен даже и хихикнул, что нисколько не обидело Василия Михайловича, а даже подвигло на шутливый тон:

— Эх-ма-а, в тюрьме — не дома-а,— и полез наверх.

Хан встретил освобожденных из ямы вполне доброжелательно.

— Все здоровы ли?

— Все здоровы, ханское величество,— бодро отвечал Тяпкин.

— Ну где ж ваш договор?

— Здесь,— шлепнул Тяпкин себя по голове.— Читать?

— Читай,— улыбнулся Мурад-Гирей.

Тяпкин без запинки, обстоятельно и четко «прочел» договор. Во время «чтения» хан поощрительно кивал головой, а когда Тяпкин кончил, сказал удовлетворенно:

— Ну вот, это другое дело. Видишь, господин Тяпкин, сколь полезной оказалась яма. Будь вы на воле, разве б вы так преуспели в составлении договора.

— Разумеется, нет, ваше ханское величество,— легко согласился Тяпкин.— Яма оказалась весьма полезной.

— Значит, не обижаетесь на меня?

— Нет. Разве за науку обижаются.

Мурад-Гирей рассмеялся добродушно:

— Ну что ж, договор у тебя в голове, но, наверное, не совсем удобно было бы посылать к султану твою голову. А?

— Разумеется, ваше ханское величество,— подхватил Тяпкин злую шутку повелителя.— И тяжела и неудобна для гонца. То ли дело пакет, сунул за пазуху и скачи.

— Ну что ж. Садитесь, пишите договор, а я отправлю его султану. Будет пригоден — подпишем по возвращении гонца.

— А разве нельзя без посылки к султану? — сразу потух и посерьезнел Тяпкин, понимавший сколь долгим будет это предприятие.

— Нельзя, господин Тяпкин. Султан мой господин и шертную грамоту он должен обязательно посмотреть и утвердить. Он утвердит, и я подпишу согласно его воле.

— Ну что ж делать,— вздохнул Тяпкин, взглянув на своих помощников.— Идемте, будем писать.

— А может, сначала поели бы,— напомнил хан и, вдруг прищурясь, спросил вкрадчиво: — А то, может, сыты уже?

— Как зимние волки, хан,— нашелся Тяпкин.— Вели покормить, да хорошенько.

— Велю.— Мурад-Гирей хлопнул в ладоши и приказал вошедшему слуге: — Накормите царских послов.

Глава 37

ДУМА ДУМАЕТ

Попытки государя примирить гетмана и кошевого не имели успеха. Это расстраивало Федора Алексеевича.

— Оба клянутся мне в верности, а меж собой поладить не могут.

— И не поладят, государь,— говорил Голицын.— Кошку с собакой мир не берет.

— Но ведь так недолго перессорить казаков, запорожцев с городовыми казаками. Только нам этого не хватало!

Думал, отзовем Дорошенко и там утихнет. Ан нет, пуще прежнего разгорается. Кстати, Василий Васильевич, что с Дорошенко? Ты посылал к нему с предложением воеводства?

— Да, я посылал к нему дьяка Бобинина.

— Ну и что?

— Ну, он ему объявил, как ты велел: из-за того, что на Москве он скудость терпит, ехать ему воеводой в Устюг Великий.

— А что Дорошенко?

— Дорошенко, узнав, что до Устюга шестьсот верст, не захотел туда ехать.

— Вот те раз. Я думал, он обрадуется.

— Привередлив гетман оказался, переборлив.

— Но чем он отказ объясняет?

— Говорит, что если в Малороссии узнают о его отъезде в Устюг, то подумают, что отправлен он в ссылку и оттого произойдет там шатание в народе. Вон, мол, Яненко с Хмельницким изменили государю.

— А при чем тут Яненко с Хмельницким?

— Как при чем? Они же родня Дорошенко. Вот он и припугивает нас этим. Неужто не ясно, государь? Мол, отправите меня в Устюг и вся Малороссия вам изменит.

— Ну что-то ты, Василий Васильевич, намудрил. Я ведь хотел для него лучше сделать, не хуже. Ему ведь теснота и скудость в Москве. Может, что-то поближе предложить?

— Ближние города все воевод имеют.

— Иван Андреевич,— обратился царь к Хованскому,— где еще место воеводское свободное?

— Вятка, государь, не имеет воеводы,— с готовностью отозвался Хованский.— Гетману это, пожалуй, подойдет, хотя тоже неблизко.

— Вот и славно. Василий Васильевич, пошли опять к Дорошенко Бобинина, пусть уговорит. Пусть он забирает всю родню, кого пожелает, и едет в Вятку. Да пусть указ о его назначении везде объявят, во всех городах, и с Красного крыльца. Чем больше людей о том услышат, тем менее слухов нелепых будет. И пусть Бобинин объяснит ему, что мы его не в опалу, а на честь посылаем. Чем быть отставленным гетманом, лучше действующим воеводой стать.

— Хорошо, государь. А что с кошевым-то станем делать? Его впору за караул брать.

— Ни-ни-ни. Ни в коем случае, Василий Васильевич. Этим мы Сечь разворошим, раздразним. Новую разинщину хочешь? Я по-человечески Серко понимаю, он обижен Москвой, Сибирью, хоть и недолго там был. Это не забывается. Жаль, такого умного человека от себя отвратили.

— Что ж нам делать с этим «умным человеком», государь?

— А ничего.

— Но гетман пишет, что он в открытую сносится с королем.

— Ну и что? С королем у нас перемирие, пусть сносится. Гетмана за донос поблагодари, но Серко не трогай. Худой мир лучше доброй ссоры, Василий Васильевич. Кошевого Серко Ивана Дмитриевича я запрещаю трогать.

— Хорошо, государь. Оставим, пусть ворует.

И хотя последними словами Голицын как бы попрекал государя за мягкость, Федор Алексеевич сделал вид, что не заметил этого.

— Теперь, господа бояре, что я хотел сказать. Ныне, поймав на татьбе-воровстве несчастного, мы отсекаем ему то руку, то пальцы, а то и ногу, теша себя мыслью, что, мол, зло наказали.

— А что, нам с татем целоваться, че ли? — выскочил, как всегда Тараруй.

Царь, оставив реплику Хованского без внимания, продолжал:

— ...А того помыслить не желаем, что, отрубив человеку руку, мы лишаем его возможности трудиться, а оставшейся целой рукой он может заняться лишь прежним своим ремеслом — татьбой. Разве в этом корысть государева: множить воров, татей и бездельников?

— Очень разумно, государь,— сказал Одоевский, и остальные бояре закивали согласно головами.

— Так вот, я повелеваю отныне членоотсечение отменить на Руси раз и навсегда.

— Но, государь,— поднялся Милославский,— ежели так рассуждать, то Разину голову напрасно, выходит, отрубили?

— Ты, Иван Михайлович, путаешь Божий дар с яишницей.

Дума захихикала дружно, все знали, что после женитьбы государя Милославский в немилость попал и над ним не грех и посмеяться.

— Разин был злодей из злодеев,— продолжал Федор,— убивец многажды, за что и лег на плаху вполне заслуженно. А я веду речь о татях, укравших однажды и попавшихся. Может, я не прав, так пусть скажет кто из Думы.

— Прав ты, прав, государь,— опять закивали думцы дружно, затрясли бородами.

— Отсекая руку, мы человека увечим, делаем неспособным к труду, он поневоле становится дармоедом, нахлебником, немогущим даже себя прокормить.

— Так, государь, истинно так,— неслось с думских лавок.

Федор взглянул на подьячего, уже умакнувшего перо, приказал:

— Пиши. «Которые воры объявятся в первой или двух татьбах, тех воров, пытав и учиня им наказание, ссылать в Сибирь на вечное житье на пашню, а казни им не чинить, рук и ног и двух перстов не сечь, ссылать с женами и детьми, которые дети будут трех лет и ниже, а которые больше трех лет, тех не ссылать».

— А куда ж их девать, которые дети останутся?

— Передавать на воспитание и кормление близким родственникам, а ежели таковых не случится, писать за монастыри. И еще, господа бояре, на Москве нищих развелось непочатый край. Стыд головушке. Пешему от них проходу нет.

— Убогие, государь, что с них взять.

— Я велю строить для них богадельни, одну в Знаменском монастыре, а другую за Никитскими воротами. От иноземцев стыдно, намедни польскому резиденту у кунтуша рукава напрочь оторвали.

— Пусть пешим не шастает,— хихикнул Хованский,— целее платье будет.

— Ох, Иван Андреевич, и всему-то ты присловье находишь.

Тараруй не понял — попрек это или похвала, на всякий случай сказал:

— А зачем же я в Думе сижу? Здесь не только думать, но и говорить уметь надо.

Глава 38

КОНЕЦ СЕРКО

Наломанные соты истекали янтарным медом, заливая дно тарелки. Над тарелкой звенели пчелы, то садясь на соты, то взмывая вверх.

— Кышь,— отмахивал их от сотов Серко.— Ишь, на даровое-то шибко хваткие. Летите в поле за взятком, а не по столам.

Сам взял верхний обломок сота, откусывал от него помалу, жевал неторопливо, задумчиво глядя на облака, изнывающие на белесом от солнца небе. Жена, высохшая, почерневшая от времени и солнца старуха, с жалостью смотрела на мужа.

— Ты б, Ваня, поел чего посытнее. Гля выхудал-то, краше в гроб кладут.

— Не хочу я ничего, мать. А про мед лекаришки сказывают, что даже от недугов помогает.

— Может, оттого, что мяса не стал исть, и выхудал.

— Може, и оттого, а скоре от болезни, какая вот в левом боку гложет меня. И что там стряслось? Все вроде целое, сюда николи и ранений не было, а болит, стерва. Меду вот пожую, вроде стихает.

— Ты уж с Сечью извелся, Ваня. Уходил бы с кошевых, может, и на поправку б пошел.

— Замолчи, дура. Пока я в кошевых, меня все боятся. А как уйду, назавтра же какой-нибудь Охрим копьем проткнет.

— Христос с тобой. За что ж протыкать-то?

— Найдется за что. Я, чай, не девка все удабриваться, кого-то и спроть шерсти гладил. Всяко бывало.

— Зачем же сына-то в Польшу отправил? — всхлипнула жена.— Сам болеешь, держал бы хоть Петра при себе.

— Дура и есть дура. Петьша при короле заместо моего ручательства в верности. Если не понимаешь в этом, так помалкивай. Да и не один он там, я сотню добрых казаков с ним отправил. Они там живут как сыр в масле.

Справившись с сотом и выплюнув ожевки воска, Иван Серко пошел прилечь отдохнуть, но не успел. Из Сечи прискакал верховой.

— Иван Дмитриевич, от короля посол Апостолец прибыл, тебя видеть желает.

— Что это еще за Апостолец?

— Волох, кажется.

— Ну что ж, едем. Иди на конюшню, заседлай мне воронка.

Посыльный соскочил с коня, ушел в плетеную конюшню и вскоре вывел вороного жеребца под седлом.

Серко уже надел свой старый бешмет, перетянулся в поясе, стал по фигуре на юношу похож. Лишь голова была вся белая и усы с бородой тоже.

— Ваня,— посунулась к нему жена просительно,— ты б спросил его за Петю.

— Ну, мать,— крутнул головой Серко с укоризной, но при постороннем не стал обзывать жену, хотя на языке «дура» висело.

Скакал ходкой хлынью, посыльный едва поспевал за ним.

— Шо нового, Федот? — спросил казака.

Тот, заслышав кошевого, догнал его, поехал рядом.

— Та ничего нового, Иван Дмитриевич. Рыгор из второго куреня народ мутит.

— Что говорит?

— Та каже, нового кошевого надо выбирать, мол, сносился Серко, с пасеки не вылазит.

— Так и говорит «сносился»?

— Так и говорит, Иван Дмитриевич.

— А ты как думаешь, сносился я?

— Что ты, Иван Дмитриевич. Ты вон в седле как влитой сидишь. Другому молодому в зависть.

— А кого кричать хотят? В кошевые-то?

— Да, слышал я, вроде Стягайлу.

— Ну шо? Иван добрый воин. Пожалуй, и я бы за него тоже кричал.

Казак промолчал, боялся, не проверяет ли его кошевой на верность. Серко не зачинал более разговора, но перед самой Сечью спросил:

— Так, говоришь, Рыгор из второго?

— Да, Иван Дмитриевич,— отвечал казак, догадываясь, что весь путь кошевой только и думал об этом Рыгоре.

В канцелярии сидел Апостолец, о чем-то беседуя с войсковым писарем Быхоцким. Едва Серко вошел, писарь вскочил и кивнул гостю:

— Вот наш кошевой Иван Дмитриевич Серко.

— Проходь до мэнэ,— пригласил Серко королевского посланца.

В другой горнице, оставшись вдвоем, повели они негромкий разговор.

— Королевское величество обнадеживает тебя, кошевой, в своей поддержке против Москвы.

— А как там мой хлопец?

— Твой сын с казаками в великой милости у короля и на добром жалованье. Можешь не беспокоиться.

— Мне бы прислано было от короля жалованье быдлу моему, вот это была бы поддержка. А еще лучше войско, я б тогда мог пойти не только правым берегом, но и на левый перейти и промышлять Батурин.

— У короля с Москвой перемирие, Иван, не может он в открытую против царя идти.

— Но правый-то берег за поляками вроде?

— За поляками.

— Я б их на левый не брал. Мне б своих голодранцев хватило бы Батурин разорить, да гетмана с его старшиной повесить.

— Что уж ты так зол на него?

— Есть отчего. Он Сечи великое всегда утеснение творил, хлеб не пропускал к нам. И уж если на то пошло, гетмана Дорошенко он схарчил, мои клейноды обманным путем захватил.

— Король велел сказать тебе, что Москва ищет мира с султаном.

— Я уже знаю. Мне Хмельницкий сообщил.

— Ну и как ты к этому относишься?

— Плохо отношусь. И все сделаю, чтобы хан не поддерживал этого. Москве нельзя спокою давать. Я в этом еще в Сибири поклялся.

— Ну это ты, Иван, а как Рада? Старшины? Круг, наконец?

— А что круг? Я куда захочу, туда и круг покатится. Хочешь убедиться? Ныне ж увидишь.

— А с Хмельницким как у тебя? Ты в союзе с ним?

— В союзе, а что проку? Войска у него, почитай, нет. Что даст хан — и на том спасибо. Он же пьет, скотина, бесперечь, еще хуже батька своего. С ним визирь промашку дал. Высунули как черта с-под печки: князь! А из него князь, как из моей бороды сабля. Казаки смеются с него князь — с горища слазь. Разве за таким пойдут казаки. Нет, конечно.

— Визирь, видимо, на его фамилию рассчитывал.

— Фамилия фамилией, но за Богданом две победы стояли, да какие. А за Юраском что?

— Ну как же, четыре года гетманствовал, кажется, с пятьдесят девятого по шестьдесят третий.

— Ну и что? Булавой бутылки распечатывал, а бунчуком мух колотил да сопли вытирал. Быдло и взбунтовалось, едва ноги унес Юрий Богданович. Кто же запаленого коня на скачки выставляет? А визирь выставил, ныне и сам не рад.

— Так, считаешь, бесполезен Хмельницкий?

— Не то слово: бесполезен. Вреден делу, я даже одно время хотел его Москве выдать, не за так, конечно. Да Юраска, видно, почуял неладное, затаился в Казыкермене. Мне гетманство в случае удачи обещал. Нашел дурня. Такое гетманство стоит его княжества.

Они проговорили еще с час, но ни до чего конкретного не договорились. Апостолец от имени короля заверил Серко в полной поддержке против Москвы, тайной, разумеется Кошевой в свою очередь велел передать королю сечевую верность, которую требуется еще оплачивать.

— Разве он не понимает, что от казаков дешевле откупаться, чем против них вооружаться и сражаться. На-амного дешевле.

— Да знает он, но с деньгами у короля, как всегда, туго. Сам из Москвы ждет компенсацию за Киев.

— Велика ли она?

— Да что-то около двухсот тысяч.

— Ого-о. Нам бы хоть четверть этого. А то моя чернь оборвалась, завшивела. Ну что, пойдешь на круг?

— А что я там делать буду?

— Посмотришь, как я им кручу.

— Ну а вдруг казаки спросят, кто таков, что за человек? Сам понимаешь, я ведь...

— Я не схочу, никто не спросит. Идем.

— Ну хорошо,— согласился Апостолец.

— Гриц,— позвал Серко и, когда в дверях явился писарь, приказал: — Вели сзывать круг. Да по-скорому

За окном ударили тулумбасы, сзывая казаков на круг Послышались крики: «Круг, круг!» И вот уж загалдела, зашумела за стенами канцелярии толпа. Апостолец не рискнул взбираться на степень. его миссия была секретной, и он почел за лучшее оставаться пока в тени, а Серко сказал:

— Я должен сперва прощупать твоих старшин.

— Ну что ж, щупай,— усмехнулся кошевой.— Постоишь внизу у степени. Поглядишь, как я с имя.

Серко взошел на степень один, хмуро оглянул толпу Говор постепенно стал стихать, и наконец на площади установилась относительная тишина.

— Казаки,— зычно начал кошевой,— атаманы-молодцы, среди вас явился гетманский подсыл, который за тридцать сребреников продавал нас с потрохами гетману Самойловичу. Именно по его наущению гетман не пускал к нам хлеб, дабы уморить Сечь голодом. Разве можем простить мы предательство нашего боевого товарищества. Я спрашиваю вас, атаманы-молодцы? Простим предателя?

— Ни-ни, батько,— завопило несколько казаков.

— Давай на круг подсыла!

— Атаманы-молодцы, судите сами предателя,— продолжал Серко.— Как скажет круг, так тому и быть.

— Смерть, смерть! — орали одни.

— Кажи его, Иван,— орали другие,— мы с него кишки выпустим.

— Я хочу, чтобы вы постановили, что нам делать с подсылом?

— Сме-ерть! — завопила дружно подогретая кошевым толпа.— Сме-ерть!

— Подсыл этот,— заговорил кошевой,— обретается во втором курене.

— Прозвище, Иван, давай прозвище? — заверещал какой-то оборванец.

— А имя его Рыгор,— веско уронил в толпу Серко.

И тут же где-то в правом краю расступилась толпа, образовав круг, в центре которого оказался несчастный Рыгор. От него отшатнулись словно от чумного. И Рыгор, только что со всеми кричавший «сме-ерть», стоял ошеломленный, не имея сил что-то сказать. Лепетал испуганно одно:

— Братцы, то не я... братцы, ведь я...

Но круг этот вокруг Рыгора недолго держался.

— Бей! — закричало сразу несколько голосов, и толпа захлестнула, затоптала несчастного.

Серко покосился вниз, где притиснутый к бочке стоял Апостолец. Бледный и напуганный случившимся, он понял взгляд кошевого: «Ну кого круг слушается? Вот то-то!»

Когда воротились в канцелярию, Апостолец осмелился спросить кошевого:

— Он что, действительно подсыл?

— Нет. С чего ты взял?

— Но за что ж ты его?

— Были у него грехи, были. Не переживай, он заслужил смерть. Ему все равно теперь: подсыл не подсыл.

— Но зачем же ты его обвинил в измене?

— Потому что в Сечи это самое тяжкое преступление. А кошевому надлежит это быдло в страхе держать. Теперь настоящий подсыл хвост прижмет, увидев, как наказали другого. А кто на меня зуб точит, тоже подумает, допрежь укусить. Я старый вояка и лучше иных молокососов знаю, что надо Сечи, где ее корысть.

Но недолго пробыл Серко в Сечи, на следующий день снова разболелся и опять отправился на пасеку. Войсковой судья Яков Константинов, поймав его перед отъездом, спросил:

— Иван Дмитриевич, а зачем к нам приехал этот королевский посланец Апостолец?

— То дело не твое, Яков.

— Как не мое, я, чай, судья.

— Вот и занимайся судом. А сношения с государями оставь мне.

— Но ты же ныне лез не в свое дело — осудил Рыгора.

— То не я, Рада осудила, Яков.

После отъезда Серко войсковой судья, сговорившись с войсковым писарем Быхоцким и полковником Щербиновским, подступил к самому Апостольцу с единственным вопросом: с чем пожаловал он в Сечь?

— Король велел мне узнать, в чем у вас нужда,— отвечал Апостолец,— чтобы помочь вам.

— И об этом вы вчера едва ль не полдня говорили с кошевым? — спросил Быхоцкий.

— Именно об этом.

— Ну и в чем же мы нуждаемся? — поинтересовался судья

Апостолец понял, куда клонят вопрошающие, засмеялся:

— А вот это вы лучше меня знаете. И мой вам совет, господа старшины, безоговорочно слушаться кошевого. Он очень мудрый человек.

По тону вопросов Апостолец понял, что полностью раскрывать цели своего приезда старшине нельзя, что между кошевым и ими не все гладко, как убеждал его Серко. После ухода Апостольца Щербиновский, хлопнув ладонью по столу, сказал:

— Все ясно, как Божий день.

— Что тебе ясно, полковник? — спросил судья.

— Король хочет Серко натравить на Москву

— Да ты что, полковник! Москва пальцем шевельнет — и от Сечи мокрого места не останется.

— Да не на саму Москву — на Самойловича. Король не может, у него договор с Москвой о мире, а вот Серко напустить, как цепную собаку, это будет в самый раз. Лишний раз Москву за ляжку тяпнуть.

— Но какая тут связь,— пожал плечами Яков,— Апостольца с Рыгором? После переговоров с ним созвал Раду и натравил народ на Рыгора.

— Никакой тут связи нет,— решительно заявил Быхоцкий.— Рыгор, царство ему небесное, дурак, вздумал среди казаков толковать о переизбрании кошевого. Вот и дотолковался.

— Но это ж... это ж,— возмутился Яков,— беззаконие!

— А ты ему скажи,— усмехнулся писарь,— и зафитилишь вслед за Рыгором.

— Но надо ж что-то делать.

— Что делать? Рядовых сюда впутывать не стоит, но старшине надо дружно противостоять Серко, всем вместе Только так мы можем свалить его. Он у всех уже в печенках сидит И, сдается мне, государю тоже насточертел.

Но не старшины свалили Серко. Скрутила кошевого болезнь. Через несколько дней по возвращении на пасеку он, кособочась от боли, поплелся в сарай. Выбрав сухие доски, начал строгать их. Жена, заглянув в сарай и увидя мужа за работой, удивилась.

— Иван, шо ты робишь?

Тот долго молчал, но видя, что жена не уходит, ответил:

— Домовину себе гоношу, мать.

— Христос с тобой, Ваня,— испуганно закрестилась женщина.— Зачем говоришь это?

— А чтоб тебе лишних хлопот не было Ступай, готовь обед. Пока я жив, кормить же надо.

Жена, обливаясь слезами, варила борщ. Но муж, воротясь из сарая, отхлебнув две ложки, отодвинул чашку

— Ну съешь же еще чуток,— попросила жена.— Я варила, старалась.

— Не можу, мать. Борщ добрый, но я уж не в борщ.

После обеда, передохнув часок, отправился Серко в сарай доканчивать работу. До самой темноты доносился оттуда визг пилы, стук молотка.

На следующий день, не услышав звуков из сарая, жена пошла туда и, заглянув, вздрогнула. Муж ее лежал в гробу Несколько мгновений стояла, оцепенев от страха, но, увидев, как Иван скосил на нее глаза, вздохнула с облегчением.

— Ваня! Как ты меня напужал! Зачем ты так?

Серко сел в гробу, отвечал, горько усмехаясь:

— Вот обживаю последнее жило свое. Надо будет стружек подкинуть, шоб помягче было...

С того дня каждый день стал Серко ложиться в гроб и подолгу лежать в нем, привыкая к мысли о смерти. Чуял он ее приближение. И хотя хотел умереть именно лежа в гробу — не «посчастливилось» напоследок. Умер Иван Дмитриевич внезапно, когда шел в сарай. Упал, и все. И случилось это 1 августа 1680 года.

Глава 39

ГОСУДАРЬ УКАЗАЛ

— Царствие ему небесное,— сказал Федор Алексеевич и перекрестился.

И войсковой писарь Быхоцкий, стоявший перед ним, увидел, сколь искренне опечален государь вестью о смерти кошевого Серко.

«Господи, знал бы ты, государь, об этом Серко, сколь наплел он тебе во вред паутины»,— подумал Быхоцкий, но говорить не стал, памятуя, что о покойном плохо говорить не принято.

— Очень даровитый был Иван Дмитриевич,— вздохнул государь. Очень.

«Даровитый на пакости тебе»

— И кого же избрали в кошевые?

— В кошевые, великий государь, выбран на Раде есаул Иван Стягайло.

— Что он за человек?

— То добрый казак, государь, не в пример иным прочим, предан твоей милости.

Войсковой писарь был доволен, что лягнул-таки покойного, не упоминая имени его, ввернув в ответ «иных прочих». Но государь словно и не понял намека, продолжал сожалеть об умершем:

— Жалеть усопшего лепш всего, заботясь о его семье осиротевшей. Кто остался у Ивана Дмитриевича?

— Жена, великий государь. И сын.

— Обязательно жене надо назначить содержание.— Государь взглянул на Лихачева.— Михаил Тимофеевич, озаботься этим. А сын у него в каком возрасте?

— Сын много старше тебя, государь. И он уж пристроен.— Быхоцкий не мог скрыть удовлетворения оттого, что спрошен о сыне кошевого.

«Теперь-то через Петруху узнает государь Серковы козни. Догадается».

— ...Сын Серко Петро хорошо пристроен, государь. Он при короле польском обретается в сотниках.

— Ну и слава Богу, что в возрасте,— сказал Федор Алексеевич спокойно, не удивившись, не возмутившись сыном Серко.

Это несколько обескуражило войскового писаря, рассчитывавшего, что государь разгневается на Серко, на его плутни. И тогда решил рассказать он об Апостольце.

— Незадолго до смерти Серко приезжал к нему королевский посланец Апостолец, государь, и как нам известно стало, вел с ним тайные переговоры супротивные твоему царскому величеству.

— В чем эта супротивность была?

— В том, что Апостолец и старшине говорил, что приехал узнать, в чем, мол, Сечь нуждается, чтобы король мог помощь прислать. А за помощь Сечи с нее обычно плату кровью требуют.

— Как, как ты сказал? — оживился вдруг царь.— За помощь — плата кровью. Так?

— Так, государь,— смутился Быхоцкий.— А что?

— Да ничего, ничего. Я так!— Государь оборотился к Голицыну.— Василий Васильевич, опять мы про Сечь забываем. Они наши полуденные земли стерегут и кровь проливают. А мы? — Обернулся к Быхоцкому — Помимо денег в чем нужда у вас?

— Пооборвались, государь, сукнеца бы нам, да и пороху со свинцом не мешало бы.

— Василий Васильевич, вели снарядить подводы с этими припасами, пороху со свинцом пудов с полсотни. Пудов полста достанет вам пока?

— Достанет, государь,— обрадовался Быхоцкий, что не зря в Москву приволокся.

— Денег пятьсот золотых послать надо. Направь человека надежного и с охраной. Такие подводы с сукном да порохом для разбойников куски лакомые.

— Хорошо, государь. Я пошлю Бердяева.

— Всем старшинам — кошевому, писарю, судье, есаулам отдельные подарки пошли, соболей, паволоки, чтоб без обиды. Пусть Бердяев едет через Батурин и все гетману обскажет, может, Иван Самойлович еще и своего человека пристегнет Теперь ему, слава Богу, не за что серчать на Сечь станет Пусть со Стягайло дружбу налаживает. Я сам напишу ему об этом.

Поспрошав войскового писаря еще о том о сем, государь, наградив, отпустил его, предложив возвращаться в Сечь с оказией Бердяева.

— Василий Васильевич, был я на Велик день в тюрьмах с милостыней,— заговорил с горечью Федор Алексеевич,— сколько слез и жалоб наслушался, что ночами спать не мог

— Государь, воров да татей слушать — так все ангелы вроде.

— Так никто из них не оправдывается, князь, нет. Все жалились на долгое разбирательство, сидят по приказным избам и тюрьмам долгими месяцами, а то и годами. А ведь у иных и вина с гулькин нос, и почти наверняка есть среди них невинные вовсе.

— Ну что прикажешь делать, Федор Алексеевич, на Руси так завсе было.

— Искоренять надо, Василий Васильевич, искоренять такие правила. Пиши,— государь оборотился к подьячему «Разослать во все города государевы грамоты с указом, чтобы в приказных избах и тюрьмах колодников ни в каких делах много дней не держать, решали бы их дела немедленно. Виновных наказывали, невинных бы отпускали. За волокиту в разборе дел виноватых сечь кнутом нещадно, а при повторном волокитстве ссылать в Сибирь». Написал? — спросил подьячего.

— Написал, государь.

— Эх,— вздохнул Голицын,— при такой строгости, государь, глядишь, и в судах великая убавка будет.

— Ничего, колодники тоже люди, их тоже кому-то жалеть надо. А судьи тоже не дураки, станут пошевеливаться. Вот скажи мне, Василий Васильевич, ты человек вельми образованный, что такое «влазные»?

— Как, как?

— Влазные.

— Ну, видно, это тот, кто куда-то влазит.

Федор Алексеевич засмеялся.

— Вот сразу видно, князь, что ты не сидел в тюрьме.

— Бог миловал, государь,— усмехнулся Голицын, перекрестившись.— Тьфу-тьфу.

— Влазные, князь, это деньги, которые заставляют платить новоприводимых в тюрьму людей. Представляешь? У человека горе, его волокут за решетку, так он же еще и должен платить влазные

— Ну а если нечем платить?

— Разденут с нимут последнюю сорочку

— А кто берет то?

— Да тюремные же сидельцы.

— Не нами заведено, государь.

— Не нами заведено, но нами будет отменено, князь. Пиши,— опять обернулся государь к подьячему: «Впредь тюремным сидельцам влазного с новоприводимых людей, которые посажены будут на тюремный двор и за решетку, брать не велю. Сей указ зачитать во всех тюрьмах сидельцам и исполнять неукоснительно. Нарушителям — батоги и кнут». И еще, Василий Васильевич, очень уж неприлична форма челобитных, ну вот пишут «чтобы государь пожаловал, умилосердился, как Бог». Ну что это?

— Федор Алексеевич, так испокон велось.

— Для чего?

— Чтоб твои подданные чувствовали трепет пред тобой.

— Ты подумай, князь, но чтоб более с Богом меня не сравнивали. Мало того, что сим нарушается заповедь Господня, где он заповедовал не поминать его имени всуе, но и для меня как в насмешку звучит сия форма. Не велю более в грамоте писать это Не велю Мне неприятно Невместно

— Но как отучить людей?

— Напиши указ, я подпишу А буде не дойдет, заворачивай челобитные с таким неприличным обращением, вели переписывать.

— Хорошо, государь.

— И еще, надо строго запретить в приказных избах, допрашивая священников, допытываться о грехах кающихся. Сие есть святотатство

— Сей указ, Федор Алексеевич, должен и патриарх подписывать.

— Я скажу Иоакиму. Надеюсь, и он подпишет. Ты только заготовь его, Василий Васильевич.

Родная тетка царя Татьяна Михайловна в Думе не появлялась, но ее вполне устраивала роль советчицы в верхней горнице. Со дня воцарения Федора она не оставляла надежды на вызволение Никона из ссылки, с которым дружила еще до его опалы. Но в первые годы царствования Федора, если тетка заводила о Никоне речь, юный царь ссылался на патриарха Иоакима.

— Что ты, тетушка, патриарх на сие серчать будет.

— Ну и что? На сердитых-то воду возят. Посерчает, посерчает, да и перестанет.

— Нет уж. Он может меня благословения лишить. Обождем лучше. Повременим, Татьяна Михайловна.

А тут после женитьбы, когда царь в лета вошел, неожиданно явился у царевны союзник по этому скользкому делу, да не из дремучих бояр, умевших в Думе лишь поддакивать да носом клевать от скуки, а один из образованнейших людей на Москве, а именно Симеон Полоцкий.

Подтолкнула Полоцкого на союз с царевной ссора его с патриархом. И началась она с пустяка, о котором вскоре и забыли оба. После одной из служб патриарха, на которой был Полоцкий, он и скажи Иоакиму:

— Святый отче, в молитве ко Пресвятой Троице вы говорите «посети и исцели немощи наши», а надо говорить не «наши», а «наша». Замечание оскорбило до глубины души патриарха.

— Ты кого учишь? — стукнул посохом Иоаким, насупив грозно брови.— Молокосос!

С того и пошло. Узнав, что в кремлевской типографии набирается сочинение Симеона Полоцкого, а не Святое Писание, Иоаким гремел перед государем:

— Это что же деется, сын мой?! Типография за государем, а в ней вместо Библии печатают Бого весть что.

— Но там хозяйствует Самуил Емельянович, и я не думаю, что он станет печатать Бог весть что,— отвечал тихо Федор Алексеевич.— Он умный человек.

— Этот «умник» сует свой нос, куда его не просят, а в государевой типографии вместо церковных книг печатает самого себя.

— Эту книгу я разрешил ему печатать, святой отец.

Но и эти слова государя не остудили гнев патриарха, он ушел, сердито супя брови.

Федор Алексеевич не решился передавать этот разговор Полоцкому, дабы не огорчать своего старого учителя, и даже не стал спрашивать, что там за книгу он печатает. Царь знал, что первый экземпляр любой книги обязательно будет принесен к нему. А сказав патриарху о том, что он сам разрешил печатать эту книгу, государь малость слукавил, и то с единственной целью — умирить гнев святого старца. Его всегда огорчали ссоры, случавшиеся между окружавшими его людьми.

— Федя,— не унималась Татьяна Михайловна,— ты не знал Никона, а я возросла при нем, это святой человек, а ты его мучишь в тесноте и обиде.

— Но, тетушка, что я могу сделать, если патриарх о нем и слышать не хочет.

— Иоаким потому о нем слышать не хочет, что Никон умнее его. Иоаким боится, как бы он у него патриаршество не отнял. Полноте, на что оно ему ныне.

— Но ведь Никон, сказывают, до сих пор себя патриархом считает, хотя еще в шестьдесят седьмом году Собор снял с него патриаршество.

— Господи, что ты слушаешь сплетни, Федя. Несчастному старику уже далеко за семьдесят. Его просто к Москве приблизить надо, дабы умер в тепле и заботе нашей. Поверь, он того заслуживает. Еще до твоего рождения во время морового поветрия именно благодаря Никону многим удалось от смерти спастись.

— Ну а куда б ты хотела его?

— Да вот в Воскресенский монастырь хотя бы.

— Но он еще недостроен.

— Ну и что. Да если там Никон начнет распоряжаться, в год управятся со строительством.

Если Татьяна Михайловна чисто по-женски жалела опального старика и пыталась как-то облегчить ему жизнь и приблизить к столице, то Симеон Полоцкий, уязвленный глупостью Иоакима, предлагал большее, почти несбыточное. И явился в верхнюю горницу не с пустыми руками, принес Федору Алексеевичу только что отпечатанный экземпляр своей книги «Рифмологион», посвященной поэтическому творчеству, к которому царь имел большую наклонность и пристрастие.

— Вот, Федор Алексеевич, дарю вам свой скромный труд от чистого сердца и приязни.

Федор взял бережно книжку, посветлел лицом, не мог скрыть радости своей.

— Ой, спасибо, Самуил Емельянович, я, признаться, давно ждал ее.

Царь листал книжку, даже нюхал краску, прочитывал отдельные строки и, ненароком забывшись, проговорился:

— А Иоаким серчал из-за нее.

— Ах, государь, на Руси у нас премудрости негде главу преклонить, даже предстоящие Богу чуждаются ее, а ведь смеют называть себя учителями, не быв нигде и никогда учениками.

— Это кого ж ты имеешь в виду, Самуил Емельянович?

— А хотя бы и Иоакима.

— Патриарха? — удивился Федор.

— Именно его, государь. Спесь его пучит, а разве сие красит святого отца? Нет. На высшем святом столе сидеть должен человек премудрый, смиренный, чтением книг насыщенный, наторенный. И всему новому доброжелательный. А Иоаким? Сам же говоришь, серчал из-за книжки.

— Ну а где ж взять патриарха премудрого, как ты говоришь? Где найти такого?

— А зачем его искать, государь? Сними опалу с Никона — вот тебе и высший предстоятель Церкви. Умный, опытный.

— А что ж с Иоакимом делать? Он ведь сим унижен будет и обижен, если его патриаршества лишить. Да и решать сие волен лишь Собор.

— А не надо лишать его сана. Оставь за ним сан, но отправь в Новгород, пусть там сидит. А дабы спесивый не очень высился, установи еще патриаршество во Владимире, Ростове и Крутицах.

— Это, выходит, будет четыре патриарха,— удивился Федор.

— Пять. Ты про Никона забыл, Федор Алексеевич. Никона оставишь на Москве.

— Ой, Самуил Емельянович, сим мы в Церкви другой раскол образуем.

— Отчего же?

— Ну как? Четыре, даже пять глав явятся, они же перегрызутся.

— Ну чтоб одной главе все были подчинены, того же Никона можно наречь папой.

— Как в Риме?

— Ну да. А чем плохо? Есть Римский Папа, будет московский.

— Ой, не знаю, не знаю, Самуил Емельянович,— качал Федор головой.— Надо подумать, крепко подумать.

— А я и не тороплю, государь. Спешка любому делу помешка.

Ночью в постели поведал Федор об этом разговоре своей молодой жене Агафье Семеновне.

— Как ты думаешь, Агаша?

— Ой, государь мой,— зашептала Агафья,— куда с моим бабьим умом.

— Я сколько уж говорил тебе, зови меня по имени, Агаша. Ты ж тоже теперь царица.

— Да никак не привыкну, госу... мой Федя, Феденька,— ласково шепнула жена, прижимаясь к мужу.

— И бабьим умом не отгораживайся. Вот как бы ты поступила, доведись тебе решать, как самодержице?

— Ой, не знаю, Феденька. Но я бы патриарха не стала бы трогать. Это ж сколько зла всплывет, не приведи Бог.

— Вот и я так думаю.

— Так и сказал бы ему, нельзя, мол, по живому-то резать.

— Да понимаешь, он учитель мой и очень умный человек, не хотелось мне обижать его, сразу отвергать предложенное. Я и сказал ему, мол, надо подумать, крепко подумать.

— Вот и правильно, Феденька. Пока думаешь, он, глядишь, и забудет о говоренном.

— Забыть-то он не забудет,— вздохнул Федор.— Просто мне надо подумать хорошенько, что отвечать ему.

— А ты посоветуйся с Языковым или Лихачевым.

— Придется, Агаша, придется.

Но не пришлось Федору Алексеевичу советоваться по столь грандиозному замыслу Симеона Полоцкого, так как через несколько дней после разговора Самуил Емельянович скончался. И на похоронах его государь обливался горькими слезами, никого не стесняясь и, кажется, никого и не замечая вокруг. Он любил и боготворил своего учителя, хотя о последнем фантастическом прожекте его никогда никому не сказал ни слова, похоронив его вместе с учителем.

Глава 40

ПРИСЯГА

Бердяев с обозом и конными стрельцами долго добирался до Батурина. В Батурине пришлось задержаться, так как телеги, на которых везли свинец и порох, требовали ремонта.

Угощая Бердяева, гетман говорил:

— Хоть главный баламут в Сечи и помер, царство ему небесное, семена зловредные, посеянные им, там остались. Но с новым кошевым, Стягайло, я думаю, можно будет кашу сварить и посев тот серковский зловредный повыдергать.

— Многое тут будет от тебя зависеть, Иван Самойлович,— заметил есаул Мазепа, сидевший за столом.— С Серко у тебя было нелюбие.

— А отчего нелюбие-то? Оттого, что Серко к хану да королю более наклонялся.

— Стягайло как на свою сторону привлечь? Пошли ему клейноды для начала.

— Э-э, нет, для начала пусть присягнет государю, а потом уж и клейноды. За этим дело не станет. Как его хоть выбирали-то? — оборотился гетман к Быхоцкому, сидевшему в самом краю стола.

— Выбирала Рада, Иван Самойлович, выбирали, как и положено. Все хором кричали Стягайло, шапки вверх кидали.

— Ну, я «хор» ваш знаю. Поставь бочку вина, самого черта в кошевые выкричат.

— Нет, Иван Самойлович, было все как надо. Да и от Серко Сечь дюже устала. Он ведь такую власть забрал, что на кругу мог любого смерти предать. Никто не смел поперек ему слова молвить. И чем более слабел от болезни, тем злее становился.

— Ты чего? — спросил гетман явившегося в дверях слугу.

— Да там сотник Соломаха до тебя, Иван Самойлович.

— Соломаха? Вот на ловца и зверь бежит. Давай его сюда.

Сотник Соломаха, стройный черноусый молодец, явившийся в дверях, увидев застолье, было заколебался или сделал вид, что колеблется:

— Я вдругорядь, гетман.

— Нет, нет, давай к столу, Михайла, в самый раз подоспел.

Сотнику налили горилки, гетман кивнул ему:

— Догоняй нас.

Соломаха лихо вылил чарку в горло, даже не поморщась, поцеловал донце чарки, пробормотал:

— Любая моя, не избудь меня.

— Не избудет, не избудет, закусывай,— сказал гетман.— Ты, Михайла, отбери из своих дюжину добрых хлопцев, поедешь с царским обозом в Сечь.

— Я от службы не бегаю, Иван Самойлович, но вот у меня овес съеден, а писарь — чернильная душа...

— Разберемся,— перебил его гетман.— Закусывай и на ус мотай. В Сечи на кругу будешь от меня говорить. Ежели они присягнут государю — будет им и хлеб, и денежное довольствие и от государя, и от меня. Стягайло пообещай клейноды, что после присяги его и всей Сечи я пришлю ему и булаву, и бунчук. Но ежели почуешь, что Стягайло за Серко тянет, ничего ему не обещай. Обойдется.

— Да нет же,— сказал Быхоцкий,— если б Стягайло тянул за Серко, его б на Раде не выбрали.

— Кто вас, сечевиков, знает. Вон доверили вам послов московских к хану провожать, так ваши им такой переполох устроили, что один посол с перепугу сбежал на Москву. Пришлось мне с другим посольством своих до самого Крыма посылать и не велеть в Сечь заезжать.

— А вести хоть есть оттуда какие? — спросил Мазепа.

— Да пока ничего хорошего. Мурад-Гирей их уж и ямой припугивал. Слово вроде за султаном теперь. Дай им Бог успеха в деле святом. Одна надежа на Тяпкина, сей муж с Польшей мир уладил, может, и с султаном договорится.

От Батурина обоз сопровождали уже казаки. Стрельцы были отпущены на Москву в обратный путь.

Сечь не скрывала своей радости, встречая московских посланцев, хотя многие, ощупав возы, сбавляли свой пыл:

— То запасы ружейные, не хлеб.

Кошевой Стягайло, приняв товары и деньги, созвал старшину и, как поделила подарки Москва, раздал каждому, взяв и свою долю. Увы, новому молодому писарю Петру Гуку ничего не было прислано. И когда все разобрали свои доли, он не выдержал:

— А мне что?

Стягайло вопросительно взглянул на Бердяева, тот, смутившись, сказал:

— Но государю доложили, что войсковой писарь у вас Быхоцкий, государь лично вручил ему деньги и подарок.

— Но Быхоцкий у нас старый писарь, а Гука только что выбрали.

— Почему же Быхоцкий не сказал о том государю?

— Быхоцкий? Где Быхоцкий? — крикнул кошевой.— Найдите Быхоцкого.

Старый писарь, видимо поняв свою промашку, случайную или умышленную, потихоньку исчез сразу по приезде в Сечь, спрятался где-то в курене.

Войсковой писарь Петр Гук не на шутку был оскорблен. И когда начался дележ сукна между сотнями, он отказался в этом участвовать, хотя был обязан это делать.

— Обиделся Петр!— Скреб потылицу кошевой.

— Ворочусь в Москву, поправим ошибку,— обещал Бердяев.

— Дорого яичко ко Христову дню. У Петра в куренях много друзей, на кругу будет негладко нам.

— Все уладится,— крутил ус гетманский посланец Соломаха.— Я казаков знаю: поорут, покричат, да на то же и сядут.

Круг собрали лишь на третий день, когда было все поделено. Деньги не раздавали, их бы все равно на всех не хватило, а оставили в кассе для покупки хлеба и съестного для всей Сечи и конских кормов.

На степень взобрались кошевой, Бердяев и Соломаха. Иван Стягайло, поздравив атаманов-молодцов с царскими гостинцами, предоставил слово посланцу государя.

— Государь велел передать вам, казаки, что отныне вы не станете творить противных его воле дел и поступков, как это было при кошевом Серко Иване, что будете верны его царскому величеству. А для того вы должны дать присягу на верность ему и целовать крест.

— А для чего нам присяга? — закричал кто-то в толпе, и сразу посыпалось со всех сторон:

— Мы государю никогда не изменяли!

— То все Серко крутил.

— Почему нам сукон мало прислано, по пол-аршина досталось?

— На Дон так шлют и денег, и сукон, и хлебных запасов. Мы против донцов оскорблены.

Соломаха тронул за плечо кошевого:

— Дай-ка мне словцо, Иван.

— Вот послухайте, что скажет вам гетманский посланец Михайло Соломаха,— крикнул Стягайло.

— Атаманы-молодцы,— подкрутив ус и подмигнув весело толпе, начал Соломаха.— Гетман мой забрался на самую высокую башню дворца своего, приложил ладонь вот так...

Соломаха показал, как гетман козырьком прикладывает ко лбу ладонь и смотрит вдаль. Толпа стихла, заинтересованная.

— ...Глядит гетман в сторону Сечи, считает вас, считает, да все со счету сбивается...

В толпе кто-то захихикал, кто-то засмеялся, а один и гы-гыкать начал. А Соломаха лицедействовал:

— ...Досчитает до ста, собьется, опять считает гетман, а потом плюнул, позвал меня да говорит, езжай, Михайла, узнай, сколько там хлопцев, на сколько надо хлеба слать да грошей.

Толпа и не заметила, как Соломаха заговорил вполне серьезно:

— Так вот, атаманы-молодцы, гетман обещает присылать вам хлебные запасы, только надо написать ему точно, сколько вам в год чего надобно. И деньги будет высылать, которые собирает с аренд. Но только надо вам, казаки, присягнуть государю на верность.

— Что вы все заладили: присяга, присяга,— закричал какой-то рыжий казак.— Мы вольница, а государю никогда не изменяли.

Но тут выступил кошевой Иван Стягайло:

— Если кто не хочет давать присягу великому государю, того не неволю. Но я присягу его царскому величеству дам. Потому что у прежнего кошевого Ивана Серко с гетманом Иваном Самойловичем была недружба и непослушание. А было ль оттого хорошо войску нашему? Было хуже некуда. Государева жалованья и хлебных запасов не приходило много лет. А ныне государь зовет нас под свою высокую руку, обещает содержание. Я присягаю,— повторил кошевой.— И вас зову, коль вы меня выбрали.

Тут к степени выскочил войсковой писарь Петр Гук и закричал:

— Старшине вольно присягать. Они ездили на Москву, себе челом жалованье выбили, а войску, чтоб было жалованье, челом не били. За что же нам присягать?

— Верна-а-а, Петро-о-о,— вопила толпа.

Вдохновленный этим криком, Гук кинул клич:

— Не дадим и кошевому идти к присяге!

— Не дадим, не дади-им! — прокатилось по толпе.

— Вы что, белены объелись,— пытался уговорить казаков кошевой, но ему в ответ неслось: «Не дади-им, не дади-им!»

Стягайло обернулся к Бердяеву:

— Серко на них нет, сволочей. Чем к ним добрее, тем они хуже.

— Не лезь на рожон, Иван,— посоветовал Соломаха.— Им вожжа под хвост попала. Пусть побрыкаются, а писаря в канцелярии поперчить треба.

До самой темноты шумела взбунтовавшаяся толпа, решительно не давая кошевому идти в церковь для присяги

Они вернулись в канцелярию, там уже горели свечи. Стягайло приказал служке

— Нечипор, иди и позови сюда Гука. Да принеси нам чего перекусить.

— Рыба, чего ж еще,— отвечал тот.

Гук явился не один, с ним пришел и Быхоцкий.

— Ты где ж это был, пропавшая душа? — спросил его Стягайло

— В курене первой сотни,— пожал плечами Быхоцкий.

— Тебя днем с огнем найти не могли. Видел, что отчебучил твой восприемник?

— Знаю Я уж ему пенял за это

— Ты что ж, Петро, али забыл, как нас тиранил Серко?

— А при чем тут Серко,— огрызнулся Гук.

— А при том, что он великому государю всегда козни строил и вас, дураков, за нос водил.

— А тебя не водил?

— И мной помыкал, я того не таю Так ты что, о том времени заскучал? Да? Кто тебя в войсковые писари затащил?

— Ну ты. Ну и что?

— Я. Я, дурень, за тебя старался, и Раду уговорил: помощник мне добрый будет. А ты? Впоперек пошел. Я завтра сложу с себя атаманство, ты где окажешься? Опять в курене, на своем аршине, блох кормить и вшей давить

Гук замолчал, видно, угроза кошевого не шутейная была.

— То, что тебе от государя не было подарка, вон с Быхоцкого спрос. Да и не было, так будет, как Бердяев на Москву воротится. Но чтоб из-за этого бунтовать казаков.

— Я не бунтовал,— промямлил Гук.

— А я что, слепой? Твой курень более всех и мутил воду. Мало мы из-за Серко годами на одной рыбе сидели. Ты что, того же хочешь войску?

— Но присланы же деньги на хлеб.

— Присланы. А кем? Великим государем, дурак. Он о Сечи печется, он наш христианский государь Не хан, не король, а великий государь наш. А ты зовешь ему не присягать. Кто ты есть после этого? Кто?

Гук молчал, переминаясь с ноги на ногу

— Так вот, Петро, ежели завтра ты сызнова затеешь бунт, ей-ей ворочу тебя в прежнее твое состояние, а там велю войсковому судье судить тебя за неповиновение кошевому атаману

Меж тем пока Стягайло «перчил» войскового писаря, Нечипор принес свежежареную рыбу, поставил на стол огромную сковородку.

— Братцы,— не выдержал искуса Соломаха,— давайте поснедаемо, бо кишки слиплись.

— Да, да, да,— спохватился Стягайло.— Худой я хозяин, гостей заморил. Сидайте, сидайте, господа. Нечипор, принеси горилки, чарки.

Все уселись вкруг сковороды, один Гук оставался стоять у двери.

— А ты чего, Петро,— крикнул Соломаха.— Чи, у Бога теля зьив?

— Иди, сидай, бунтовщик,— молвил миролюбиво кошевой.

Гук сел на краю лавки. Стягайло сам разлил горилку по чаркам.

— Ну, за что выпьем?

— Дозволь мне, Иван,— поднялся Соломаха.

— Дозволяю,— усмехнулся кошевой.— Говори.

— Я предлагаю выпить, кошевой Стягайло, за твои клейноды За твою счастливую булаву

— Но...

— Погодь, погодь, Иван, дай кончить Гетман Иван Самойлович велел передать, что как только Сечь присягнет царскому величеству, так и будет там и булава, и бунчук у кошевого.

Стягайло побледнел, столь неожиданно-нежданно свалилась эта весть на него Весть, которую до конца жизни ждал Серко, да так и не дождался А он? Только вчера стал кошевым — и вот уже клейноды, символы его настоящей власти и высокой чести, обещаны.

— Ну, Михайло,— наконец вымолвил он взволнованно,— да за это, да за такую весть... Дай я тебя поцелую.

Кошевой потянулся к Соломахе, обнял его, расцеловал, расплескав из чарки горилку.

— Э-э, где пьют, там и льют,— сказал весело, снова наполняя ее.— Пьем, братцы.

После второй чарки кошевой поднялся, прошел к Гуку, полуобнял его.

— Эх, Петро. Нам ворочают клейноды Ты хоть понимаешь, что это значит?

— Понимаю, атаман, понимаю.

— А коль понимаешь, зачем же мне палки в колеса? Петь? А?

— Прости, Иван, бес попутал.

— Крестом его, окаянного, крестом гони прочь от себя, Петя. Я прощаю тебя, но и ты ж на меня сердце не держи.

Назавтра дивились казаки, как войсковой писарь, взобравшись на степень, стал звать казаков к присяге. И сам вместе с кошевым и есаулом пошел первым целовать крест великому государю на верность. А за ним и его курень.

Сечевому попу отцу Арсению в тот день подвалило работы, ибо крест, который целовали казаки, держал в руках он и каждому, осеняя крестом, говорил нравоучительно:

— Не порушь креста, сын мой, не бери греха. Где крест, там сила, где грех, там нечистый.

К вечеру крестоцелование окончилось и кошевой распорядился выдать каждому присягнувшему по доброй чарке горилки. Атаманы-молодцы пили, а выпив, пеняли:

— Ось с цего треба було и починаты. Га-а!

Глава 41

ИВАН ВЕЛИКИЙ И ЦАРЕВ НАКАЗ СОБОРУ

Кремлевский Иван Великий — самый высокий в Москве, главу его золотую отовсюду видно, и москвич мигом находит его взором, когда вспоминает о Всевышнем и когда хочет попросить у него чего-нибудь: доброго дня, удачи в покупке или продаже, счастливой дороги, верного товарища, дармовой чарки или денежки, которую какой-нибудь разиня обронил для него. Хошь не хошь, и Ивану Великому поклонишься.

В Крещение в Москве было хоть и холодно, но солнечно Снег под ногами поскрипывал, на реке проруби парили; на площадях толпился народишко, кто с делом, а кто и так просто, любопытства ради. На Ивановской площади закричал кто-то:

— Гля, снег!

Все головы задрали, И впрямь, какие-то белые хлопья вкруг Ивана Великого трепыхаются в воздухе.

— Какой же снег с ясного неба?

— То не снег, братцы!

— А шо ж?

— То листы.

Все стадом бараньим кинулись к Ивану Великому хватать листки, летящие с неба: уж не Всевышний ли рассыпал их москвичам в назидание?

— Кто грамотей? Что в листках-то?

— В них молитвы.

— Вот то-то. Он напоминат нам.

— Кто — он-то?

— Дурак, забыл, кто на небе-то.

И вдруг словно из-под земли стрельцы явились. Несколько побежало к Ивану Великому, другие принялись отнимать листки.

— Не читать? Не читать! Как так — не отдашь? Кнута захотел?

А кому ж кнута хочется: «Бери уж, все едино я неграмотный» Но некоторые, самые ушлые, совали листки за пазуху или в рукав: «А у меня нет, не досталось» Не станешь же всякого обшаривать, да еще и найди его, листок-то. Но большинство отдавали без прекословия: «Бери от греха».

А бегавшие к колокольне стрельцы волокли уже мужика оттуда.

— Пымали голубя. Ишь, стервец, вздумал народ мутить!

— Кого пымали-то?

— Да Гераську Шапошника.

— За что?

— Как «за что»? Это ить он с колокольни те листки кидал.

— А я думал...

— В это время ветер дунул.

— Куда ж его?

— Известно куда, к Сысою в подвал спину причесывать. Молитовки-то старого письма, раскольничьи. За это, брат...

— «..А под кнутом тот Герасим Шапошник оговорил Антошку Хворого, с которым они переписывали те листки запретные»,— читал дьяк монотонно опросные листы, присланные с Разбойного приказа из застенка.

Читал-то монотонно, несколько даже усыпительно, но в Думе в этот раз никто не засыпал. Уж больно событие-то ошеломительное. Всегда думалось, что раскольники где-то далеко в Сибири, на Дону ли народишко мутят. А тут на вот те, в самой столице у государя под боком, у патриарха под носом вынырнули.

— «..А Антошка Хворый на дыбе оговорил Осипа Сальникова, у которого на дому пели часы по старым книгам, пекли просфоры и после часов раздавали людям, которые их ели и вменяли в святость. А Сабельников, узнав о случившемся, ударился в бега, и пока в нетях числится».

После зачтения опросных листов, царь да и вся Дума на патриарха воззрилась, ожидая слова его, дело-то веры касаемо, и ему как местоблюстителю святого престола решать надлежит.

Иоаким во все чтение сидел туча тучей и заговорил не сразу, несколько помедлив:

— Это все семя аввакумово, хоша и в яме в Пустозерске сидит, а рассеивает по всей державе плевела сии зловредные.

— Не понятно, че мы с ним вожжаемся,— заговорил Хованский.— Он из священства извержен. Извержен, отец святой?

— Давно уж,— отвечал Иоаким.

— Так на плаху его, а еще лучше — на костер, да и вся недолга.

Теперь все на государя смотрели, ему ведь решать: смерти или живота первеющему раскольнику В таком деле государь волен. Но Федору Алексеевичу не хочется нарушать отцову волю. Как он решил, пусть так и будет. Воля покойного — закон для живущего наследника.

— Я думаю, патриарху надо Собор сзывать,— заговорил царь.— А Собору крепко думать о делах церковных, об укреплении веры. Перед святыми отцами я и скажу наше слово.

Государь поднялся с престола, что означало окончание сидения, но Хованский в нарушение этикета все ж спросил:

— А что ж с Гераськой и его поспешителем делать?

— Судить градским судом.

Патриарх в неком удивлении взметнул вверх брови, но смолчал, ему ли в его сане за Тараруем следовать. Хотя ждал он от государя решения отдать возмутителей церковному суду Но Федор знал, что церковный суд постановит: «Виновны в неправославии» и пошлет всех на костер, а народ скажет: «Так царь велел» Ох, как не хотелось Федору Алексеевичу убивцем слыть.

И уж на следующий день были разосланы патриаршии грамоты во все митрополии и епархии с требованиями владыкам торопиться в столицу на Вселенский Собор Русской земли. Съезжались митрополиты, архиепископы, епископы да архимандриты с игумнами. За дальностью не мог прибыть в срок лишь митрополит Сибирский Павел.

Федор Алексеевич обстоятельно готовился к Собору, на котором решил выступить. Каждый вечер садился к столу и писал. В верхней горнице не стал появляться, не до того было. Но когда в кабинет приходила жена, читал ей написанное, спрашивал:

— Ну как, Агаша?

— По-моему, хорошо,— улыбалась Агаша.— Сочинитель ты, Федя, изрядный.

— Ну а чтоб ты советовала еще добавить?

— Надо бы где-то вписать про нищих, что по улицам кишат.

— Это уже решено, Агашенька, всех приберем, для них специальные дома строятся.

— И еще, очень нехорошо, когда сами иереи пьянствуют и, того хуже же, валяются в луже рядом со свиньями. Представляешь?

— Вот это ты верно заметила,— засмеялся Федор.— Спасибо, милая, обязательно про это впишу. Действительно, какое будет у верующего радение при виде попа в луже?

Государь доволен, когда жена подает дельный совет, искренне радуется этому и нередко именно по ее подсказке пишет указ, который выносит на Думу, а уж там-то приговорят без всякого прекословия. Именно по жениной подсказке он издал указ, запрещавший одевать для позора ратных людей, бежавших с поля боя, в женские охабни.

— Феденька, человек и так уже унижен этим бегством, а ты его еще и платьем позоришь.

— Правильно, Агашенька. Умница.

И назавтра, почти слово в слово повторив в Думе ее слова, царь получил полную поддержку в отмене позорящего ратных людей обычая.

И опять же, когда все записи были готовы, Федор прочел их жене. Она, подумав, сказала:

— Хорошо, Федя, но у тебя все в куче, оттого теряется главное, для чего сие говорится.

— Поясни, Агашенька, что ты имеешь в виду?

— Надо главные мысли отделить одну от другой. А как? А очень просто, нумерацией. Во-первых, во-вторых и так далее.

— А ведь, сдается, ты права, милая.

И Федор сидел весь вечер при свечах, выделяя основные мысли из своего предстоящего выступления перед отцами Церкви. Выделяя и нумеруя их, как советовала жена. Набралось их пятнадцать, главных, и государь был доволен, что приведено все в точную систему и порядок. Предстояло переписать набело, для чего можно было вызвать подьячего, но Федор решил сам все переписать, разумно рассудив: «Перебеляя сам, текст хорошо запомню и тогда не придется в бумагу заглядывать».

Для того на следующий день послал Языкова в Думу сказать, что ныне «сидеть в ней не будет, ради завтрашней речи на Вселенском Соборе».

И на следующий день в сопровождении ближних бояр и стрелецкой охраны отправился царь на патриарший двор, где еще при входе был встречен самим Иоакимом. Сбросив

бобровую шубу на руки Лихачеву и отдав ему же шапку, государь прошел в зал, где за длинным столом сидела вся церковная верхушка Руси. Седовласые владыки приветствовали молодого царя стоя, и, пожалуй, не в одной убеленной голове шевелилось потаенное: «Молод, вельми молод самодержец и чему он может научить нас, умудренных жизнью и святыми книгами? Чему?»

Однако после благословения патриарха московского и всея Руси и освящения предстоящего великого собрания слово было предоставлено Великому государю Великия, Малые и Белыя Руси самодержцу и великому князю Федору Алексеевичу.

Государь вышел к кафедре, разложил листы бумаги, но заглядывать в оные не стал, заговорил негромко, изредка покашливая от внутреннего волнения:

— Святые отцы, вы собраны здесь, дабы решить важнейшие дела веры нашей, которая в последнее время подвергается тяжелейшему испытанию. Вы должны изыскать пути ограждения Святой Церкви от умножающихся ее противников и шатания в вере Ибо шатание в вере расшатывает и основы державы нашей. Посему я возлагаю на Собор обсудить следующее Первое, увеличение числа епикопий при митрополитах и дабы не было меж ними церковного разгласия, что ведет к усилению влияния раскола.

Второе, многие неразумные люди, оставя святые церкви, поделали в домах своих мольбища, где совершают противное христианству действие. Это ваша, святые отцы, задача воротить их в лоно Святой Церкви. Третье, привести в надлежащий порядок дела монастырские, где монашество зачастую вместо душевного спасения ударилось в пьянство и другие прегрешения, чем нимало отвращает верующих от себя и веры христианской. Надо воротить монастырям их святое дело — прибежище больным и немощным старцам.

В-четвертых, по требованию православных замежных жителей надо посвящать христианских священников и в этих местах. Не бросать единоверцев на волю случая.

В-пятых, подумайте, отцы святые, о наказаниях за нарушение иереем долга службы, а сие, увы, происходит сплошь и рядом даже и в Москве.

Переглядывались митрополиты, слушая царя, не смея перебивать его, обменивались лишь выразительными взглядами: «Смыслен государь, смыслен, слава Богу, и очень разумное молвит».

—...И наконец, девятое, пора во всех городах устраивать пристанища для нищих, как это делается ныне в Москве, где строятся две богадельни: одна в Знаменском мо-

настыре, а другая за Никитскими воротами. Увечных, старых, больных помещать туда, ленивым изыскивать работу, отвращая от нищенства.

Десятое проистекает из предыдущего: надо запретить сбирать нищим милостыню в церкви во время службы, что мешает молящимся общаться с Богом. Если решится на местах вопрос с нашим девятым предложением, то с ним отпадет и десятое наше пожелание.

По одиннадцатому нашему предложению, святые отцы, подумайте над тем, чтоб на кладбищах при храмах изб и амбаров не ставить бы, ибо кости предков в покое пребывать должны По двенадцатому — я бы запретил в храмовые праздники пропускать в монастыри людей со всякими харчами, и особенно с хмельным питьем.

Пятнадцать предложений высказал государь перед Собором, призывая подумать святых отцов и принять решения, которые бы носили обязательный характер не только для служителей Церкви, но и для всех христиан Руси

—...Пятнадцатым моим советом будет для вас, святые отцы, пожелание: для изъятия старопечатных книг, сеющих смуту в сердцах верующих, изыскать возможность заменять их бесплатно новыми при добровольной сдаче старых. Конечно, не все сдадут, но многие, если замена сия будет проводиться с доброжелательством, а не со злыми попреками. Будьте, святые отцы, строги к себе и добры к пастве вашей, даже если она заблудшая и ослеплена лжеучением. Снимайте пелену с их глаз не бранью и злопыхательством, но лишь добросеяньем. Любите людей искренно, как заповедовал это нам Христос, и не только по долгу, а и по сердцу вашему умудренному

Окончив речь, государь удалился Собор продолжал свою работу..

А в сие время в застенке помощники Сысоя отливали холодной водой Осипа Сабельникова, потерявшего на дыбе сознание. Попался-таки беглый, аж под Костромой.

Дьяк выговаривал Сысою:

— Дубина стоеросовая, я ж просил не до смерти. С кого я буду дознание сымать? С тебя?

— Так он вроде дыхает,— оправдывался кнутобоец.

— А что толку что дыхает? Мне разговор нужен, а не дых.

Но нынче для разговору несчастный Осип уж негож был и потому дьяк расстраивался, а ну запросит завтра Дума опросный лист, а в нем пусто. Изругав еще Сысоя

как следует, дьяк сел к столу и взялся за сочинительство. На вопросы уж наторен был, с ответами труднее получалось, но все ж со скрипом пошло-поехало, поначалу тихо, а посля и дюжей. И это обнадеживало.

Глава 42

АУТОДАФЕ

Патриарх, являвшийся в Думу обычно по приглашению царя, на этот раз пришел сам в великом возбуждении и тревоге. Благословив присутствующих, он начал говорить горячо и убежденно:

— Великий государь, доколе мы можем терпеть главного возмутителя смуты бывшего протопопа Аввакума, продолжающего рассеивать семена раскола в православии?

— Но он же в земляной тюрьме, отец святой, на самом краю державы.

— Но он не смирился, он и оттуда побуждает народ к непослушанию и противству вере нашей. Из-за него погибла боярыня Феодосья Морозова вместе с сестрой своей княгиней Урусовой. Он, Аввакум, сбил их с пути. И он же поощрял их пострадать за раскол. Не с его ли подачи Морозова просила сжечь себя, говоря, что это будет единственной честью, которую, она, мол, не испытала. Он, Аввакум, подталкивал несчастных сестер к самосожжению. Да великий государь, царство ему небесное, не допустил до этого. Велел отправить их в Боровскую тюрьму. А ныне? Что творится ныне? Самосожжение на севере и в Сибири стало повальным, раскольники прельщают народ таким уходом из жизни. Мне пишут, что беременная женщина, увидев этот ужасный костер, от испуга тут же разродилась. Так ее тут же столкнули в огонь, а потом бросили туда и новорожденного. Доколе, государь?

Под конец голос возмущенного патриарха поднялся почти до крика, чего с ним никогда не было. Федор Алексеевич слушал святого старца с сочувствием и состраданием.

— Страшные картины рисуешь ты, святой отец, но что нам делать, скажи?

— Что делать? — переспросил Иоаким.— То надо сделать с ним и его клевретами, государь, что они проповедуют сторонникам своим.

— Аутодафе?

— Да, государь. Вели сжечь их.

— Но не явится ли это для них той высокой честью, которую просила себе боярыня Морозова?

— Пусть. Удостой их этой чести, государь.

— А как Дума думает? — обратился Федор к сидящим по лавкам боярам.

— Сжечь, и вся недолга,— решительно сказал Яков Одоевский.— Сколь государь Алексей Михайлович с ним вожжался, в какую честь его подымал, сам благословения у него просил. А он? Как он отблагодарил? Сжечь.

— Сжечь,— поддержал Хованский.— И давно пора было.

— А ты как думаешь, Василий Васильевич?

— Если за пятнадцать лет сидения в тюрьме Аввакум не раскаялся, то аутодафе для него лучший исход,— сказал Голицын.— Тут патриарх прав.

— А вот мне оттуда, с Мезени Матвеев слезницу прислал,— заговорил опять Одоевский.— Ему платят на содержание три денежки на день, а Аввакуму с женой на день по грошу жалованья на душу. Это как? Матвеев, каким бы он ни был, в прошлом боярин, много пользы отчине приносил, и получает три денежки, а возмутитель державы грош, на денежку больше. Где справедливость? И Матвеев во многом кается, а этот доси ершится и вредит, вредит. Богохульствует. Сжечь.

— Ну а как другие бояре думают? — спросил государь.

— Сжечь, сжечь,— закивала Дума.

— Но там с Аввакумом еще сидят сидельцы, как с ними?

— То все одного поля ягоды, государь. Сидят с ним Лазарь, Епифаний и Никифор, тоже злостные раскольники. И этих нечего жалеть,— твердо сказал патриарх.

Дума согласно затрясла бородами: сжечь. Все смотрели на государя, которому надлежало либо утвердить, либо отвергнуть приговор.

— Я много думал об этом человеке,— заговорил Федор Алексеевич.— Мне видеть его не довелось.

— Невелика потеря,— заметил Иоаким.

— Но вот недавно мне было передано письмо от него, в котором он, именуя себя провидцем, услыхал якобы с неба, что отец мой на том свете был подвергнут ужасным мучениям и что-де этим он искупил свои преступления.

— Это об Алексее Михайловиче так? — вскочил с лавки Хованский.— О нашем тишайшем государе?

Дума с возмущением подхватила: «Сукин сын!», «Пес премерзостный».

— И ты его жалеешь, государь?

— Далее он требует своего освобождения,— продолжал Федор, переждав шум,— чтобы он лично мог истребить все исчадия сатаны.

— Ну вот видишь, государь,— заговорил патриарх,— сей человек сам сатана. Если его еще и выпустить, то он раздует костер на всю державу.

— Да нет, выпускать я его не думаю. Мне просто хотелось разобраться, откуда у человека такая уверенность в своей правоте.

— От дури, государь, от самодурства, откуда еще. Алексей Михайлович много лет с ним разбирался, сколь сил на него положил. А проку? И он же еще в письме называет его преступником. Да за одно это...

— Ладно, святый отче, раз Дума в един голос приговорила Аввакума, я согласен. Ибо если б я заступился за него, то огорчил бы невинную душу покойного батюшки. Быть по сему! Аутодафе.

И в приговоре Думы было сказано: «...за великие на царский дом хулы».

Неистовый Аввакум томился в земляной тюрьме в Пустозерске, крохотном поселении, приютившемся у озера Пустое в низовьях Печоры. Жена его Настасья Марковна с детьми жила на Мезени, и Аввакум умудрялся писать ей письма, не давая пропасть ни одному клочку бумаги, попадавшему к нему в темницу. Было в Пустозерске ему много сочувствующих, как и принято у русских сочувствовать страдальцам, и именно они тайно передавали в темницу Аввакуму все потребное для писания. И если Мезень была недалеко, то Москва и Боровск за тридевять земель, но и туда доходили записки апостола раскола с ободрением и поддержкой умирающим сестрам боярыне Морозовой и княгине Урусовой.

Сидели вместе с ним и его ярые последователи Епифаний, Лазарь и Никифор. Епифанию и Лазарю за проповедование раскола в Москве еще были отрезаны языки. Но палач, исполнявший приговор, видно, пожалел несчастных и отрезал лишь кончики. А когда их привезли в Пустозерск и все зажило, они вдруг заговорили. И староверы разнесли весть о чуде, свершившемся с мучениками, у которых по промыслу Божию «отросли новые языки». Слух дошел до Кремля, и по приказу Алексея Михайловича был послан в Пустозерск капитан с наказом проверить: так ли это? И если Епифаний и Лазарь действительно обрели дар речи, то повторить казнь, вырвав языки под корень.

Казнь сия нелегка и для палачей была: приговоренного надо связывать, разжимать рот, который он стискивает до хруста в зубах, вставлять меж челюстями распорку, дабы не смог сомкнуть их казнимый, потом ловить ускользающий язык, вытягивать его. Тут хошь не хошь употеешь, и до того озлишься на несчастного, что не то что язык — башку б ему оторвал. И капитан стрелецкий тоже человек, пока вырывали языки, до бешенства довели беднягу. Епифаний тут же потерял сознание, а Лазарь, едва развязали его, осенил капитана двуперстием.

— Ах ты скотина! — взревел как раненый бык капитан.— Отрубите ему, к черту, руку! Ну! Что стоите, олухи?!

Палачи знали, что по указу лишь языки вырвать полагалось, оттого и мешкали. Тогда капитан сам повалил Лазаря и в два счета отрубил ему кисть правой руки.

— Вот тебе за двуперстие, пес!

Но как потом говорили раскольники, и отрубленная рука Лазаря сложила пальцы в двуперстие. Не покорилась извергу.

— Дурачок тот капитан,— говорил после Аввакум.— Лазарь его благословлял, за его погибшую душу молился, а он длань ему отсек, малоумненький.

Лазарь после этого ничего сказать не мог, мычал лишь, а Аввакум всегда точно переводил его мычание. И тут спрашивал:

— Ведь верно, Лазарь, что ты благословлял заблудшего?

— А-а-а,— мычал, согласно кивая головой, Лазарь, весьма довольный, что хоть Аввакум понимает его мычание.

Аввакум ни себе, ни своим соузникам не позволял время впусте и в яме проводить. Если не спал, то писал, если не писал, то молился. Молился истово, с поклонами, с припаданием к земле. Если читал «Отче наш», то не менее пятисот раз подряд, и столько же поклонов совершал, под конец падал на землю, распластываясь на ней в полном изнеможении. И откуда только силы брались у апостола раскола, когда все питание состояло из полутора фунтов хлеба и кружки кваса. В первые годы сидения он как-то несколько недель отказывался принимать и эту скудную пищу, изнуряя свою плоть, и вдруг стал чувствовать, что сам увеличился в размерах, что Бог вложил в него все свои творения, и он тогда написал царю Алексею с нескрываемой гордостью: «...живя на свободе, ты владеешь одной Россией, а мне, пленному, Христос дал небо и всю землю». Ни на одно свое послание царю Аввакум не получил ответа, но зато сторонники его размножали эти письма в огромных списках, зачитывая до дыр.

«...Сжалься не надо мною, но над своею душою! — писал Аввакум Алексею.— Скоро не оказав нам справедливого суда с такими отступниками, ты предстанешь вместе с нами перед лицом Верховного Судьи. Там твое сердце в свою очередь будет сковано страхом, но мы не будем в состоянии помочь тебе, так как ты отказался от спасения. Оставив свое призрачное царство, желая достигнуть вечного пристанища, ты унесешь с собой только гроб и саван. Что касается меня, то я обойдусь без того и другого. Мое тело будет растерзано собаками и хищными птицами. Что же из этого? Мне будет хорошо спать на голой земле, пользуясь светом в виде одежды и небом вместо крыши. И несмотря на то, о господин, что ты хотел этого, я тебя благословляю еще раз моим последним благословением».

Здесь же в яме Аввакум написал и свою биографию, состоявшую лишь из лишений и страданий, и даже истязаний, которые перенес он в жизни с удивительной стойкостью и мужеством, от которых никогда не бегал, а, напротив, искал их и даже благословлял.

Сидя в яме, он оставался для раскола главным апостолом, знаменем в борьбе с официальной Церковью. Был мучеником старой веры.

Именно этого и боялся патриарх Иоаким со своим клиром, именно это и побуждало его требовать казни Аввакума.

Для свершения казни в Пустозерск прибыли конные стрельцы во главе со стрелецким головой, вручившие тюремному начальству указ государя о сожжении Аввакума и его соузников.

— Давно надо было,— сказал тюремщик, перекрестившись.— Окромя зла и срамословия, ничего от него не слышал. То ли дело боярин Матвеев, тих, смирен, послушен. За то и послабление ему вышло, намедни на Мезень перевели.

Мезень тоже не мед, но все ж не то что Пустозерск: и жилье покрепче, и от моря студеного подальше, аж на сорок верст. Однако и тут снегом порошит до мая, а холодит едва ль не все лето.

Голова стрелецкий, прибывший для свершения казни, не велел сообщать узникам об этом до поры до времени.

Нашел где таиться. В Пустозерске. Стрельцы еще и коней не расседлали, как узники уже знали, с чем те пожаловали. И тут же из ямы донеслось не очень красивое, но довольно стройное пение псалмов. Правда, выговаривать текст только двое могли, но безъязыкие тоже помогали, подвывая мотив:

«Славлю Тебя всем сердцем моим, пред Богом пою Тебя и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего».

— Чего они распелись? — спросил голова сторожа.

— Радуются, государь мой, что смерть лютую принять предстоит,— молвил добродушный старик.

— Кто им сказал? — вскричал голова.— Кто посмел?

— Зачем кричишь, государь мой, они провидцы, все сами зрят.

А из ямы неслось: «...Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя».

Хотели вкопать четыре столба и к ним привязать четырех осужденных, но начальник тюрьмы воспротивился:

— Вы что? Где я вам дров на четыре костра наберусь. Вкапывайте один, да подальше от строений, от греха.

— Но как к одному столбу четверых вязать?

— Привяжете.

Столб стрельцы вкопали на взгорке, на отлете, изрядно попотев над кремнистой мерзлотой. Натаскали к столбу хворосту, дров, плавника, старых, высохших в прах плетней.

День казни выдался на удивление ясным и даже тихим, хотя и холодным. Откуда взяться в апреле теплу на краю земли?

Осужденных вытащили из ямы, одежда на них была ветха и изношена, дыра на дыре, через которые видны были выхудавшие и истощенные тела старцев.

Попав из темноты на свет, они плохо видели, и Аввакум на всякий случай, вознося двуперстие, крестил перед собой пространство, громко возглашая:

— Прости их, Господи, заблудились они, погубили души свои.

Голова стрелецкий строго-настрого запретил стрельцам разговаривать с осужденными:

— Кого услышу, тому сто плетей со свинчаткой.

А кому не известно, что плеть со свинчаткой за сто ударов человека может пополам перерубить. Что там сто — и пятидесяти достанет. А молчание стрельцов было только на руку Аввакуму, его было хорошо слышно окрест. К месту казни собрались все жители Пустозерска (их оказалось не так уж и много), потому что предстояло зрелище, которое никто никогда здесь не видел и вряд ли увидит.

— Свяжите им руки,— приказал голова, не без основания полагая, что казнимые и из огня будут вздымать противозаконное двуперстие.

Стрельцы, вязавшие осужденных, недобрым словом поминали начальника тюрьмы, выдавшего им не веревки, а какое-то гнилье, испревшие концы не то от старых вожжей, не то от сетей. Кое-как руки были связаны, затем раскольников обмотали вокруг столба веревками, плотно обложили сухими дровами и плавником аж до самых подбородков. И едва кончили это, как голова, скороговоркой объявив указ государя, дал команду:

— Зажигай со всех сторон.

Стрелец, притащивший из кухни горящее полено, покрякивая от ожогов, обежал сложенное кострище, поджигая снизу от самой земли сушняк. И тут вдруг Аввакум вскинул вверх правую руку и громко возгласил:

— Молитесь и креститесь только так, и божественная милость будет с вами, в противном случае песок покроет те места, где живете, и наступит конец мира.

А огонь по сухому хворосту быстро помчался вверх к лицам несчастных. И уж задыхаясь в огне, Аввакум кричал:

— Я прощаю вас, заблудшие, но нет спасения душам вашим!

В толпе негромко словно волчицы завыли женщины.

И тут кто-то закричал в костре от страшной боли, не понятно было кто. И послышался в ответ ласковый голос Аввакума:

— Потерпи, милый брат, потерпи. Малое время терпеть уж — аки оком мигнуть, так душа и выскочит. Плюнь на пещь эту, не бойся. Скоро, скоро ты увидишь Христа и ангельские силы с ним.

Но вот все они смолкли, лишь костер трепал, набирая силу, да слышалась команда головы:

— Подкладывай, подкладывай, чтоб и следа не осталось от них.

След остался. На века остался след от неистового Аввакума и его товарищей-соузников, свято веривших в то, чему молились, истязая собственное тело и возвышая Дух свой.

Глава 43

ЯСАЧНЫЙ СБОРЩИК БИБИКОВ

Горькая судьба Ярыжкина и Крыжановского, запоротых едва не до полусмерти кнутом и сосланных в Даурский острог, увы, не послужила уроком их преемнику Даниле Бибикову. Правда, первые месяцы, пока стояли перед его очами истерзанные спины Ярыжкина и Крыжановского, он

остерегался проявлять свой истинный характер. Хотя все время чесалась у него рука дать по зубам какому-нибудь Омолону, привезшему на сдачу связку песцов. Но обходилось все пока словесной неприязнью:

— У-у, морда косоглазая, рыло немытое.

На что Омолон либо отмалчивался, либо отвечал со вздохом:

— Однако, родилась такая.

Тунгусы не хотели ссориться с ясачным сборщиком, тем более что от него они получали ружейные припасы, а иногда и «бешеную воду», которая им очень нравилась. От нее становилось шибко хорошо на душе, хотелось петь и плясать.

Но постепенно, видя зависимость тунгусов от него, их заискивание перед ним, Бибиков все более наглел, наливался спесью и презрением к «ясачным тварям», как называл он всех их, когда приходилось с тоски выпивать с казачьим приказным атаманом горилку.

— Так и хочется дать в рыло,— признавался Бибиков атаману.

— Дай, раз хочется,— отвечал тот.— Только Зелемея не трожь. Он у них вождь все-таки.

— Зелемея за прошлое давно пристрелить пора. Он тогда тунгусов поднял на бунт.

— Но государь отпустил ему вины.

— Вот то-то. Ему отпустил, а наших-то едва не до смерти засекли. Где справедливость?

— Ишь ты чего захотел, Данила. Справедливости? Здесь справедливость в пищаль заряжена аль бо в кулак зажата. У тебя эвон кувалда какая, любого инородца перешибешь. Вот и справедливость.

Бибикову понравился совет приказного атамана, и уже на следующий день, придравшись к ясачнику, он ударил его в лицо и тот, ойкнув, отлетел от двери. Поднялся, отер кровь, выступившую из разбитой губы, сказал:

— Однако, шибкий кулак у тебя, Бибик.

Дальше — больше, и уже через год Данила Бибиков напрочь забыл о Ярыжкине с Крыжановским, о их подлом конце. Он понял, что здесь, в Охотске, на краю света он полный хозяин, господин. Казачий атаман, подпаиваемый горилкой, в его дела не мешался и даже давал Бибикову просматривать почту, отправляемую в Якутск.

— Зачем это тебе, Данила?

— Значит, надо,— отвечал тот.— Тебе что, жалко?

Атаман догадывался, что Бибиков ищет донос на себя, а потому успокоил:

— Если будет кляуза, не боись. Я сам ее тебе принесу.

— Принесешь?

— Принесу. Истинный Христос.

— Ну, гляди, атаман. За принос с меня будет добрый поднос. Не пожалеешь.

С этого дня Данила почувствовал себя настоящим царем в округе, вот тут-то и полезла из него всякая дрянь, до времени копившаяся в недобром сердце его. И однажды, когда несчастный Омолон привез ему соболей, Данила, пересчитав их, сказал:

— Это за тебя, жену и отца. А за детей почему не привез?

— Я думал, не надо. Я думал, что то только Юрию было надо.

— Ах ты тварь! — схватил за ухо Омолона Бибиков, даже не дав себе труда подумать, о каком Юрии бормочет тунгус. А ведь бедный Омолон называл имя Крыжановского.

— Ой, пусти, Бибик,— просил тунгус,— мне больно, однако.

— Ну это еще не больно,— свирепея, отвечал Бибиков. И тут на глаза ему попался нож, лежавший на столе. Он схватил его.— Вот сейчас тебе будет больно, тварь!

И, оттянув раковину, отсек ухо под корень и швырнул его к порогу.

— Ой-бой,— закричал Омолон, зажимая рукой хлеставшую кровью рану.— Ой, Бибик, зачем нехорошо делал? Зачем обижал Омолон? Ой-ой!

— Пошел вон, скотина. И в следующий раз, если не привезешь за детей, отрежу нос

Несчастный Омолон исчез, забыв о порохе, который надеялся выпросить у грозного «Бибика», но захватил с собой отрезанное ухо, или надеясь пришить его, или просто не захотел бросать родное ухо на поруганье злому человеку Весть о том, что «злой Бибик» отрезал ухо Омолону, быстро разнеслась по стойбищам охотников.

Глава рода Зелемей позвал к себе Омолона, чтобы воочию убедиться в содеянном. Омолон приехал к Зелемею и ухо свое привез в кармане.

— Вот смотри, Зелемей, отрезал мне Бибик ухо, словно я олень или медведь.

— Медведю бы он не отрезал,— молвил Зелемей, и Омолон, подумав, согласился с этим: «Медведь бы сам Бибику уши вместе с головой оторвал бы. Верно сказал Зелемей, не зря старшина в роде».

Омолон смотрел на Зелемея, ждал, что он еще скажет. Ведь, кроме Зелемея, некому больше заступиться за Омолона. И Зелемей сам понимал, что от него ждут какого-то решения. Раз вождь, то и решать должен. Долго думал Зелемей, никто ему не мешал думать. Жена даже хворост для огня не стала ломать, чтобы не мешать мужу думать.

— Вот что,— наконец проговорил вождь,— отвези это ухо приказному атаману. Покажи ему. Он решит, что делать. Может, накажет Бибика.

— Нет, Зелемей, не поеду я к атаману Он друг Бибика, может отрезать мне другое ухо. Тогда чем я буду зверя наслушивать?

— Боишься?

— Боюсь, Зелемей. Пошли кого другого, у кого два уха.

— Хорошо, пусть едет к приказному Кулантай, но только ты должен отдать ему это ухо

Омолон обрадовался, отдал ухо Кулантаю, чтоб он мог показать его атаману как доказательство вины Бибика.

— Только ты потом верни мне его,— попросил Омолон Кулантая

Приказной атаман, выслушав Кулантая и посмотрев ухо, сказал:

— Нехорошо сделал Данила, очень нехорошо Я напишу ему срамную грамоту, а ты отнеси, отдай ему.

— А ты сам не можешь пойти и посрамить его,— спросил Кулантай, плохо понимая, что значит «срамить», но догадываясь, что это должно быть неприятно Бибику

— Нет, Кулантай, на словах срам на вороту не виснет, а вот на бумаге..— говорил атаман, строча записку: «Данила, на тебя с жалобой, прими меры. С тебя бутылка».

— Вот отнеси и отдай,— подал приказной записку Кулантаю.

— Она срамная? Да?

— Срамная, срамная. Иди.

Кулантай читать не умел, а потому ему было интересно, как грамота будет действовать на Бибика.

— Он прочитает. Да? А что потом?

— Там сам увидишь.

Кулантай пошел к ясачной избе и на всякий случай крепко завязал под бородой шапку. Кто его знает, этого Бибика, вздумается ему отрезать ухо Кулантаю, ан ухо-то и не достать. Кулантай — не дурак, Кулантай все предусмотрел.

Открыл дверь, вошел, поздоровался:

— Здравствуй, господин Бибика.

— Здравствуй,— буркнул Данила.— Ясак привез?

— Нет.

— А чего ж явился?

— Я принес тебе срамную грамоту, Бибик.

— Чего, чего? — нахмурился Бибиков.— Какую еще срамную грамоту?

— Ее написал тебе сам приказной атаман и сказал, что шибко, шибко она тебя посрамит, однако.

— А ну-ка, ну-ка,— заинтересовался Бибиков.— Покажи.

Кулантай отдал записку. Бибиков прочел ее и едва сдержался, чтобы не расхохотаться: «Вот чертов атаман, не забыл уговор. Будет тебе бутылка. А что ж мне с этим дураком делать? Надо что-то такое, чтоб отвадить навсегда охоту жаловаться. Но что?»

И тут он опять увидел свой нож на столе.

— Иди-ка сюда,— позвал он почти ласково Кулантая.

Тот подошел.

— Вот посмотри, что тут написано,— положив на стол записку, сказал Бибиков.

— Но я не умею читать, Бибик.

— Но ты все же посмотри. Да ближе, ближе. Не бойся.

И когда Кулантай склонился над запиской, пытаясь угадать, что же в ней такое, Бибиков неожиданно ухватил его за нос и отпласнул его по самый хрящ ножом.

— Вот тебе, рыло немытое! Чтоб не совал свой нос, куда тебя не просят.

Зелемей очень сердился, узнав об этом:

— Все русские люди плохие! И атаман плохой, и сборщик ясака нехороший человек. Только великий государь хороший у нас, надо писать ему челобитную Тогда, три года назад, великий государь наказал злых людей: Ярыжкина с Крыжановским. Их секли, они как волки выли. Так им и надо было Надо, чтоб великий государь атамана с Бибиком наказал. Надо писать великому государю.

Все кивали головами: «Надо писать великому государю. Государь добрый, он заступится за нас».

— Кто у нас знает русские буквы?

— Однако, Тобур знает русские буквы.

— Где сейчас Тобур?

— Он кочует за Лысой горой, однако.

Послали человека искать Тобура, звать к Зелемею. Тобур приехал через два дня,— видно, не близко его чум стоял. Тобуру рассказали, как Бибик обижает народ, даже ухо Омолона показали, представили безносого Кулантая. Тобур сильно печалился и согласился:

— Бибик нехороший человек. Он и мне вот два зуба выбил,— показал Тобур свой рот.— Я только спросил, ког-

да он мне ружейный запас даст за прошлых песцов. Он только сказал: вот тебе ружейный запас, и ударил. Совсем плохой Бибик стал, хуже Юрия, однако.

— Хуже, хуже,— согласились все.— Надо писать государю, пусть доброго пришлет ясачника. Пиши Тобур, все пиши.

— Бумагу надо, на чем писать.

Нет бумаги в чуме, даже у Зелемея нет бумаги. Но столько голов умных собралось, разве не сообразят? Сообразили:

— Все напишем на шкуре пыжика. Вся рухлядь на государя идет, станет он смотреть пыжика — и увидит

— А если Бибик увидит?

— А мы свяжем шкур штук двадцать, а которая с грамотой, ту в середку сунем.

Ах как радовались в чуме, что так хитро все придумали, что Бибик-дурак сам в Якутск грамоту повезет великому государю. А там она пойдет на Иркутск, а оттуда на Москву, и обязательно к государю попадет. Он развяжет шкурки, а там грамота.

Тобур — грамотный, все русские буквы знает Попросил жиру, велел настрогать, натолочь углей из костра, все это смешал хорошо. Выстругал палочку вроде кабаржиного копытца, сказал: «Это будет писало. Им буду писать».

Расстелили у самого очага шкурку пыжика (олененка) мездрой вверх, отобрали хорошую, с белой мездрой, разожгли очаг и несколько плошек, чтоб Тобуру светлее было. Тобур лег на живот, умакнул писало в черный жир, начал писать. В чуме все притихли, завороженно смотрели на руку Тобура, выводившую мудреные закорючки. Никто не решался заговорить, даже Зелемей молчал, знал, что разговором можно испортить грамоту. Тобур писал: «Великий государь, бьют челом тебе люди ясачные. Ясачный сборщик Бибик плохим человеком стал, отрезает без вины уши и носы. Пришли нам, великий государь, другого сборщика, доброго, не злого, а Бибика забери».

Тобур кончил писать, в чуме облегченно вздохнули, словно они тоже все писали.

— Все,— сказал Тобур.— Надо высушить, да осторожно, чтоб не размазать.

— А то, что ты написал, можешь прочитать?— спросил Омолон.

— Конечно, это же я писал.

— Прочитай.

Тобур прочитал, и всем грамота понравилась. Только Омолон обиделся:

— Почему не написал, что ухо Омолону Бибик отрезал?

— Верно,— сказал Кулантай.— Надо было и меня к носу пристегнуть.

Что делать, хотелось Омолону с Кулантаем, чтоб великий государь узнал о них. Но что возьмешь теперь с Тобура, грамота написана.

— Если б я стал вас в грамоту вписывать,— сказал Тобур,— то не хватило бы места другим нужным словам.

Но всех успокоил старый Уйбан:

— Зачем ссоритесь? Если великий государь прочитает грамоту, он может спросить, а кому нос, а кому ухо отрезали? Вот тогда и напишите.

И все решили, что старый Уйбан правильно говорит мудро говорит· спросит государь, вот тогда и напишем.

Зелемей велел узнать, кто должен пыжиков везти к сборщику, кто давно не сдавал их? Давно не возил Ытык. Призвали Ытыка, сделали ему связку пыжиков, сказали, что в связке грамота тайная государю, не вздумай развязывать, вези. Привез Ытык пыжиков Бибику. Сдал. Не удержался, спросил:

— А верно, Бибик, что ты всю пушнину государю отправляешь?

— А тебе какое дело, харя?

— Да так. Интересно, однако. Вот я пыжика глажу и вдруг великий государь его гладить будет.

Воротился Ытык на стойбище, сказал:

— Все! Грамота пойдет к государю

Однако любопытство тунгуса насторожило Бибикова «К чему эта харя государем заинтересовался? А?» Бибиков развязал связку пыжиков, заодно решив, которые получше, себе отобрать на шапку. И наскочил на грамоту.

— Ах вы, поганцы,— возмутился Данила,— кого обхитрить хотели! Кто ж это писал из них? Какой это грамотей сыскался?

Спросил приказного, не знает ли он грамотного среди тунгусов.

— А черт их знает. По-моему, они все неграмотные. Зачем им грамота?

«Знаем зачем»,— подумал Данила, но не сказал собутыльнику, решив сам сыскать грамотея.

Явился к нему как-то охотник с соболями, Бибиков принял ясак, слова худого не сказал, похвалил, наоборот:

— Хороших соболей добыл Ураст. Молодец!

Дал ему ружейного запасу и даже предложил кружку «бешеной воды». Какой же дурак от этого откажется.

— Спасибо, Бибик,— сказал Ураст и выпил «бешеную воду». Опьянел сразу, смотрел благодарно на Данилу, дивился в душе: «Оказывается, неплохой человек Бибик, совсем неплохой, однако».

— Скажи, Ураст, ты разумеешь грамоту? — спросил Бибиков.— Писать умеешь?

— Нет, Бибик. Я только стреляй умею.

— Ну а кто-нибудь из ваших умеет? Неужто все неграмотные.

— Из наших? — задумался Ураст.— Из наших только Тобур может.

— Где ж он научился?

— А еще в Якутске, мальчишкой был, служил у начальника большого. Там выучился.

— Ты смотри какой молодец!

— Да, Тобур хороший молодец.

— А где он сейчас?

— Его чум за Лысой горой. Там.

К чуму Тобура большой гость пожаловал, вечером приехал на лошади сам ясачный сборщик Бибиков. Большая честь Тобуру. Но гость в чум не стал заходить.

— Потом, потом, покушаем. Пойдем, поговорим. Пусть жена пока мясо жарит.

— Жарь больше мяса,— велел Тобур жене.— Вернемся, чтоб было готово.

Ушел муж с гостем, жена развела жаркий огонь в чуме, много мяса жарила. Детей покормила, спать уложила. А мужа с гостем все нет и нет. Жена у Тобура терпеливая, ждет-пождет. Глаза уж слипаться начали, огонь уже угасать стал. А их все нет. Не заметила женщина, как уснула у очага.

Проснулась. В очаге только пепел. Раскопала золу, нашла-таки уголек тлевший, раздула его, береста березовая вспыхнула, закурчавилась, потом тонкие ветки, от них на толстые огонь побежал. И опять в чуме очаг запылал. Дети проснулись, а мужа с гостем нет. Вышла женщина из чума, день уже, солнце из-за горы поднимается. Глянула на лес. И в глазах у нее потемнело. На крайнем дереве, на нижней ветке висел ее муж Тобур. А гостя и след простыл.

Приспела пора Бибикову ладить сани, загружать их мягкой рухлядью и везти в Якутск. Укладывал в мешки отдельно соболей, отдельно песцов. Зашивал мешки, подписывал; что, где и сколько в книгу писал. Учет вел точный. То, что себе оставлял, в сторону отдельно откладывал. Не

обижал себя ясачный сборщик Бибиков, деньжонки в схроне под печкой у него подкапливались. И когда за чаркой приказной иногда интересовался: «Поворовываешь небось, Данила?» — Бибиков, ухмыляясь, отвечал: «А ты как думаешь, можно ль в воде быть, да не обмочиться?»

Увязав воз, пошел Бибиков к приказному атаману.

— Везу рухлядь на великого государя, атаман, давай казаков в охрану.

— Сколько?

— Ну хошь бы с десяток.

— Ты что? У меня вон пятеро болеют, зацинжели. Достанет тебе трех.

— Ну дай хоть пяток.

— Не могу, Данила, пост оголять. А ну инородцы взбунтуются, под стены города явятся, с кем отбивать стану?

Ничего не поделаешь, пришлось Бибикову довольствоваться тремя казаками. Сам сел на воз, захватив с собой заряженную пищаль. Казаки верхами, тоже с ружьями

— Ну, с Богом! — сказал Бибиков и тронул вожжой коней

Дорога бежала по лесу узкая, приходилось ехать гуськом. Впереди Бибиков на санях, сзади казаки один за другим.

В зимнем заснеженном лесу было тихо, скрип саней далеко окрест разносился. Кони бежали малой хлынью, пофыркивали на морозе, обдавая возчика теплым паром

И вдруг словно гром загрохотал. Бибиков не разу вообразил, что это выстрелы. Оглянулся — и от страха волосы на голове зашевелились. Все три казака были на дороге, а испуганные кони, лишившись седоков, мчались назад.

— Н-но,— заорал Бибиков и захлестал коней вожжами по бокам.

— Тр-р-р,— послышалось спереди, и коней взял под узцы тунгус.

Бибиков признал в нем Зелемея. «Разве не говорил я, что давно надо пристрелить его»,— успел подумать Бибиков, а вслух сказал дрожащим голосом:

— Зелемей, это государев товар.

— Знаю, Бибик, знаю. Он дойдет до государя, не боись.

И вот уж воз окружили тунгусы с пищалями, стволы которых еще подымливали. К ужасу своему, Данила увидел и «крестников» своих — Омолона и Кулантая.

— Это разбой, Зелемей,— пролепетал Бибиков.— За это знаешь, что бывает?

— Знаем, Бибик, знаем,— отвечал Зелемей.— Везешь ли ты нашу челобитную великому государю? Покажи.

— Какую челобитную, Зелемей?

— Значит, не везешь. Ну что ж, будем судить тебя, Бибик Есть хорошая русская пословица: око за око, зуб за зуб Будем по ней судить. Омолон,- возьми ухо Бибика.

— Вы что, с ума сошли,— закричал Данила.— Я государев человек.

— У доброго государя не должно быть злого человека. Омолон, бери ухо!

Бибиков кричал, кусался, отбивался как мог Пришлось тунгусам связывать его И тогда Омолон, сорвав с Данилы шапку, отрезал ему ухо. Бибиков визжал как поросенок, обреченный на закланье. Кулантай отрезал ему нос. Наклонившись к захлебывающемуся в своей крови Бибикову, Зелемей прокричал:

— Ты, Бибик, сам выбрал свою смерть, повесив Тобура.— И, обернувшись к своим, скомандовал: — Быстрее, а то от его визга у меня уши болят.

И ясачный сборщик Бибиков был повешен. Опять в лесу стало тихо

— Омолон,— сказал Зелемей,— езжай с возом в Якутск. Заедешь во двор приказного атамана, скажешь, Бибик заболел и велел тебе привезти государев товар. Свалишь мешки и воротишься.

— А как же грамота? Он же, наверно, ее выбросил.

— Ты забыл, что мы в грамоте просили убрать Бибика. Убрали сами. Теперь пришлет другого сборщика, может быть хорошего

Глава 44

МЫ ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ

Долгонько Тяпкину со спутниками пришлось ждать ответа из Стамбула от султана, почитай, всю зиму просидели на Альме. Как ни утепляли сарай свой, все равно мерзли, дрогли. Зима не походила на московскую, то шел дождь, то снег мокрый: и все это с ветром, пронизывающим до костей.

Казаки слепили в сарае подобие печки, которая плохо горела, сильно дымила, съедала уйму хвороста, но не грела. Почти все по очереди переболели простудой. Особенно тяжело болел Никита Зотов, и Тяпкин опасался, что парень помрет, уже раскаивался, что взял его с собой. Если б знал, что посольство затянется едва не на полгода, то не

стал бы отнимать у царевича Петра его пестуна. Никита и сам иногда вздыхал невесело:

— Что-то там поделывает мой Петр Лексеевич, хошь бы глазком взглянуть.

«Неужто государь найдет царевичу в учителя кого другого»,— думал Тяпкин, но вслух не говорил этого, дабы не огорчать Никиту, напротив, обадривал:

— Что поделывает? Читает небось книжки, да тебя поминает и ждет. Читать-то выучил?

— Читать давно выучил.

— Вот и славно. И есть ему дело. Небось книжки-то есть?

— Да есть. Я царице Наталье Кирилловне список составил, там очень много по истории Руси. Она всегда все достает, что я прошу. Он ведь вельми любознательный, Петр Лексеевич-то, во все вникает, кто да у кого, где да зачем? У меня иной раз мозоль на языке вскакивает. А то такое спросит, что я и слыхом не слыхал, а он сердится: «Ты дурак»,— говорит.

В конце февраля воротился наконец гонец из Стамбула и Ахмет-ага вызвал к себе московских посланцев.

— Ну вот, господин Тяпкин, султан утвердил ваши условия. Читайте шертную грамоту и подписывайте. А ханское величество достойно проводит вас в обратный путь.

Тяпкин прочел один раз шертную грамоту, другой, дал прочесть Никите Зотову.

— Ну?

— Так тут о Запорожье ни слова.

— И о свободном плавании по Днепру тоже опущено. Ахмет-ага, мы не можем подписывать шерть в таком виде.

— Как так не можете? — возмутился татарин.— Эта шерть утверждена самим султаном.

— Ну и что? Надо внести статьи о Запорожской Сечи, как было, и о плавании по Днепру. Султан мог не обратить на это внимания: что ему подсунули, то он и утвердил, а ваши чиновники исключили эти статьи.

— Вы что, приехали сюда наших государей учить? Да? — закричал Ахмет-ага.— Или по яме соскучились? Мы можем и без вас обойтись, пошлем с этой грамотой своих послов к царскому величеству, а вас в железы закуем и на каторгу.

— А что ты кричишь на нас, Ахмет-ага,— сказал спокойно Тяпкин.— Мы государевы люди и царского величества интерес блюдем. Давай я отправлю гонца в Москву. Позволит государь это подписывать, мы подпишем. Не

даст согласия — не подпишем. Ты-то ведь тоже не вольный человек, тоже ведь в ханской и султанской воле.

— Хорошо, я доложу хану,— сказал Ахмет-ага тоном, не обещающим ничего хорошего.— Но вы добра не ждите.

Однако Мурад-Гирей, выслушав своего клеврета, не разделил его гнева на государевых людей.

— Ты зря кричал на них, Ахмет. Султан не менее царя заинтересован в перемирии. А шертная грамота что? Это ведь еще не договор, но лишь клятва соблюдать определенные условия будущего договора. И Тяпкин прав, что статьи эти опустили, видимо, чиновники, не султан. Мне султан написал, чтоб я с честью их проводил, статьи их пригодны нам, а ты их опять ямой пугаешь. Зачем? Договор будет заключаться в Стамбуле, не у нас. Мы лишь посредники, Ахмет-ага, посредники. А ты кричишь на них, сам себя подарков лишаешь. А у них, я слышал, несколько мешков рухляди — соболи, куницы, песцы. С ними лаской надо ныне, а не таской, Ахмет, лаской.

— Кто ж знал, надо было предупредить меня.

— Вот теперь можешь и порадовать их. Передай, что четвертого марта я их буду чествовать и домой отпускать. Для того вели вблизи Бахчисарая, в поле, поставить мой шатер, там я и дам им напутствие. И чтоб на тебя они обиду не имели, ты будешь на них золотые халаты надевать, которые я им пожалую. Ты.

— Спасибо, великий хан,— поблагодарил Ахмет-ага, вполне оценив заботу хана о его авторитете перед русскими. Если ему будет доверено одевать московитов в дареные халаты, разве не ответят они ему щедрым отдаром. Не зря у русских пословица есть: всякий дар красен отдаром.

Когда Ахмет-ага сообщил русским о предстоящей церемонии их проводов в шатре хана, Тяпкин догадался о происшедшем в ханском дворце. А по отъезде Ахмет-аги сказал Зотову:

— Видно, влетело этому спесивцу от хана, гляди какой шелковый стал, ровно и не он вовсе утресь орал на нас.

— Да и я дивлюсь, эк его перевернуло, словно медом точит.

— Ну, судя по этому псу, будет у нас с ханом доброе расставание. Надо рухлядь пересмотреть, перетрясти и решить, кому что и сколько дарить.

— Я думаю, главное, одарить хана. Что ни говори, эти беи лишь орать горазды да грозить. А хан негромок и негрозлив.

— Вот, вот,— засмеялся Тяпкин.— Не этот ли негрозливый велел нас в яму спихнуть.

— Сам же говорил, что яма нас мигом выучила.

— Ну что ж, за такую науку кинем хану соболей самых добрых. В Крыму у них этот зверь не водится, и ценят они его мех выше золота. Без подарков с татарами каши не сваришь. С батыевого времени дорогонько они нам обходятся. Да уж лепш рухлядью откупаться, чем в крови купаться.

Четвертого марта Тяпкин поднял всех чуть свет, казакам велел готовиться в обратный путь, а сам в сопровождении Зотова и Раковича отправился в сторону Бахчисарая. К седлам их были приторочены мешки с мягкой рухлядью.

Когда вдали на пригорке показался сверкающий позолотой ханский шатер, Тяпкин сказал Раковичу:

— Семен, если нас позовут в шатер, ты оставайся у коней. Не ходи с нами.

— Почему, Василий Михайлович?

— Боюсь я. Пока мы будем там хана слушать, у нас могут мешки покрасть все. Чем тогда поганых одаривать станем?

— Так там посмотри сколь воинов-то около шатра, кто посмеет?

— Они и посмеют как раз. Чего доброго, и коней умыкнут.

— Ну уж, Василий Михайлович, у ханского шатра, да при таком торжестве.

— Эх, Семен. Ханы-то сами испокон разбоем и жили. Может, оно и ничего не случится, но все ж лучше покараулить, как говорится, береженого Бог бережет.

— А что если, Василий Михайлович, отдать всю рухлядь хану,— предложил Зотов.— Пусть сам, если схочет, оделяет мехом беев. Ему видней, кто чего достоин. А мы какому-нибудь ханскому неугоднику отвалим подарок, так Мурад-Гирею не понравится.

— А что,— поддержал Зотова Ракович.— Может, так-то лучше?

— Черт их знает, как с ними лучше. Можно попробовать. Но все ж ты, Семен, не торопись в шатер, пока я не позову. Я крикну, тогда хватай мешки и входи.

У шатра горели два небольших костра: отдавалась дань древнему обычаю поганых — входить к хану меж огнями, дабы очищаться от дурных намерений и мыслей.

Прибывших встретил Ахмет-ага и еще два бея; встретили с радушием, неожиданным даже для Тяпкина.

— Его величество хан Мурад-Гирей ждет вас.

Тяпкин и Зотов вошли в шатер. Мурад-Гирей сидел у дальней стенки меж подушек, отливавших золотыми нитями, пониже его сидели ближние люди — беи, мурзы, одетые в бархатные халаты.

Русские разом поклонились хану, и Тяпкин приветствовал его:

— Желаем тебе, великий Мурад-Гирей, здоровья и многих лет жизни на радость твоему народу и женам твоим.

— Спасибо, Василий Михайлович,— отвечал Мурад-Гирей. И обращение его по отчеству окончательно убедило Тяпкина, что миссия его, кажется, успешно завершается: «Тьфу-тьфу!»

— Позволь мне в память о нашей успешной работе одарить вас золотыми халатами.— Хан хлопнул в ладоши, и Ахмет-ага с другим беем подошли к послам и накинули на них богатые халаты, сплошь прошитые золотыми нитками. Тут-то Тяпкин громко, словно заклинание, сказал: «Семен, войди!»

И едва раздался призыв Тяпкина, Семен, ухватив мешки, направился в шатер.

— Позволь и нам, ханское величество, преподнести тебе и твоим ближним людям скромные дары нашей отчины.— Тяпкин протянул за спину руку, в которую Ракович и стал вкладывать уже развязанные мешки.

Тяпкин вытряхнул на персидский ковер струистую черную волну из соболей, а затем, приняв от Раковича второй мешок, накрыл искрящуюся соболью волну пушистой белой из песцов. Потом были бобры, горностаи и куницы. Он видел, как заблестели глаза беев, как сглотнул слюнки Ахмет-ага, надеявшийся, что и он не будет обойден подарком.

Но Тяпкин вдруг решил все-все преподнести Мурад-Гирею, пусть он делит подарки, как хочет. А Ахмет-аге так и хотелось сказать украинской соленой поговоркой: «Ось тоби, блядь Трохым!»

Даже Мурад-Гирей не смог сохранить на лице равнодушия, столь щедрым оказался подарок русских. Он с удовольствием осмотрел этот драгоценный ворох, хлопнул в ладоши, и тут же на плечах Раковича тоже явился золотой халат.

— Богата, очень богата земля его царского величества,— заговорил хан.— И мне поручено султаном убедить вас и вашего государя и поклясться на Коране, что мы готовы содержать мирное постановление непорочно в течение двадцати лет.

С тем хан взял Коран в руки и поцеловал его в знак твердости своей клятвы.

— Сразу же по вашем возвращении в Москву пусть его царское величество шлет послов к султану для подкрепления договоров. А которых статей не оказалось в шертной

грамоте, те будут внесены в грамоту султанову. Я об этом ему напишу. А когда вы достигнете царствующего града Москвы и сподобитесь видеть великого государя своего пресветлое лицо, то от нашего ханова величества ему поклонитесь, посредничество наше между ним и султаном, радение в мирных договорах, откровенную пред вами дружбу и любовь нашу его царскому величеству донесите. А вам счастливого пути!

И хан через Ахмет-агу передал Тяпкина проезжую грамоту. После этого полагалось уходить, даже беи и мурзы поднялись со своих мест, чтобы проводить русских посланцев до коней.

Московиты поклонились хану, а Тяпкин, шепнув спутникам: «Уходите!» — остался на месте. Зотов с Раковичем вышли из шатра, за ними — беи. Мурад-Гирей, увидев, что Тяпкин не тронулся с места, удивленно вскинул брови:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Да, великодушный хан.

— Говори.

— Отпусти с нами Василия Шереметева, Мурад-Гирей.

— Он что, твой родственник?

— Нет

— Так чего ты хлопочешь за него?

— Я виноват перед ним, Мурад-Гирей, и хотел бы хоть с опозданием искупить свою вину.

— В чем же ты перед ним провинился?

— Он передан тебе поляками. Верно?

— Ну, верно.

— Когда Шереметева передавали тебе, я был там резидентом и должен был воспрепятствовать этому. Но я узнал об этом слишком поздно.

— Хых,— хмыкнул хан.— Король посовестился драть с вас выкуп за боярина, а нам, посчитал он, это вполне прилично.

— Так король знал об этом?

— Разумеется.

Тяпкин с возмущением шумно вдохнул через ноздри воздух, с трудом удерживаясь от крепкого слова. Он вспомнил, как Собеский, водя его по саду, убеждал, что сделал все возможное, чтоб не допустить передачи боярина татарам, но не смог противостоять «проклятым сенаторам».

— Так твое ханское величество отпустит Василия Шереметева со мной?

— Но он же стоит больших денег, не рядовой ведь.

«Харя ты ненасытная»,— подумал Тяпкин, невольно взглянув на ворох рухляди, только что брошенной к ногам

хана. И хотя он только подумал, Мурад-Гирей перехватил этот красноречивый взгляд и, видимо, догадался о мыслях московита.

— Впрочем, ты был щедр, но и я не так скуп, как ты думаешь. Бери, Василий Михайлович, Шереметева.

— Спасибо, Мурад-Гирей,— поклонился Тяпкин.— Это настоящий царский подарок.

Сказано это было искренне и без тени лести. Именно эта искренность и понравилась хану.

— Я очень уважаю тебя, Тяпкин. И хочу, чтоб ты искупил свою вину перед соотечественником, раз ты ее чувствуешь. Лично я здесь твоей вины не вижу.

— Мы смотрим из разных мест, хан. Ты — из Крыма, я — из Москвы.

Мурад-Гирей засмеялся и погрозил Тяпкину пальцем.

— Ох и хитрый ты муж, Василий Михайлович! Жаль, не мне служишь.

Тяпкин поклонился еще раз и вышел из шатра. Его спутники уже сидели на конях, дареные халаты топорщились на них мешками. Один из беев радостно подскочил к Тяпкину.

— Я помогу тебе сесть на коня.

Василию Михайловичу не захотелось огорчать татарина отказом: без тебя, мол, обойдусь. Но когда он попытался вставить ногу в стремя, вполне оценил предложение бея. Дареный халат связывал ноги. И тут помощь татарина была уместна и очень кстати. Все беи и мурзы, и даже Ахмет-ага были столь любезны с отъезжающими, словно провожали дорогих родственников.

— Эк их с рухляди-то растеплило,— проворчал Тяпкин, трогая коня.

— Может, нам следовало в самом начале отдать им,— сказал Зотов,— глядишь, и в яму бы не засадили.

— Может быть,— согласился Тяпкин.— А может быть, они бы сразу потеряли к нам всякий интерес. У них, у поганых, все может быть.

Они вернулись на свое стойбище. Казаки уже готовы были к отъезду. Тяпкин, спешившись, первым делом стал стаскивать с себя халат, напяленный на верхнюю одежду.

— Пусть подарок едет в тороках, в Москве в нем пощеголяем.

Примеру его последовали Зотов и Ракович, тоже увязали свои халаты в тороки.

— Ну, едем? — спросил сотник Тяпкина.

— Погодим малость. Мне от Мурад-Гирея еще подарок должны прислать.

Прождали около часа, и уж Тяпкин стал подумывать: «Обманул чертов хан!» — как из-за кустов явился татарин на коне, а рядом с ним держась за стремя, шел боярин Шереметев.

— Эй, Тяпкин,— оскалился татарин.— Бери свой товар.— И рукоятью плети подтолкнул боярина.— Иди давай.

Шереметев быстро подошел к Тяпкину, по лицу боярина катились слезы.

— Василий Михайлович,— шептал Шереметев, порывисто хватая его руки и прижимаясь к ним губами.— Василий Михайлович... да я... да за это...

— Полно-те, Василий Борисович,— смутился Тяпкин, вырывая руки.— Я долг исполнял перед отчиной.

— Нет, нет... Я знаю, я знаю,— еле сдерживая рыдания, лепетал боярин.

Глава 45

ТРИУМФАТОРЫ

Возвращались государевы посланцы из Крыма с добрыми вестями, хотя в душе сам Тяпкин не очень был доволен результатом. Все-таки в шертную грамоту так и не удалось внести статью о Запорожье и свободном плавании по Днепру. Мурад-Гирей обещал настоять на внесении их в султановы грамоты, но опытный Тяпкин знал, что эти обещания почти наверняка не будут исполнены. Султан вряд ли послушает хана, даже если тот будет просить об этом, в чем Василий Михайлович крепко сомневался.

Больше всех радовался возвращению боярин Шереметев, проведший несколько лет в плену, сначала у поляков, а потом у татар. Первые дни, пока ехали по Крыму, он вообще не верил в свое освобождение, и все время боялся, что хан передумает и воротит его с дороги. То вдруг ему начинало казаться, что за кустами притаились татары, которые хотят напасть на них.

— Василий Михайлович, Василий Михайлович,— говорил он встревоженно.— По-моему, вон там татары, они могут на нас напасть.

— Не нападут, Василий Борисович, у нас ханская проезжая грамота. А если разбойники, то для них у нас пищали заряжены да казачьи сабли изострены.

Но когда выбрались из Крыма наконец и Шереметев немного успокоился, он же и предложил Тяпкину:

— Василий Михайлович, а почему бы тебе не послать вперед казака с доброй вестью по городам и весям, кои ты проезжать будешь. Ведь все мира ждут, а ты его везешь.

— А ведь верно, Василий Борисович,— согласился Тяпкин и велел сотнику выделить двух казаков с добрыми конями и скакать им вперед с вестью.

Казаки, примотав к вершинам длинных копий белые прапоры, укрепили копья в башмаках стремян и помчались вперед. Прапоры весело трепетали над скачущими течцами. Сотник удовлетворенно, даже с оттенком зависти сказал:

— Счастливчики! Бегут с доброй вестью, людей станут радовать.

— Верно, чтоб люди готовили нам добрую горилку,— пошутил Тяпкин.

— Уж это обязательно,— вполне серьезно ответил сотник.

И не ошибся: в каждом городе встречали московских посланцев как дорогих гостей. Попы выносили им навстречу кресты и иконы, крестьяне хлеб, молоко и горилку тоже. Украинцы, ранее жившие на Правобережье, а потом бежавшие от поляков и турок на левый берег под защиту великого государя, допытывались о сокровенном:

— Чи нам можно назад до родного кута?

Ничем не мог утешить таких Тяпкин.

— Пока нельзя. Татары не уступают Правобережья. А мы ездили за миром — не за войной.

Полковники, есаулы выводили навстречу посланцам свои войска, сердюков и музыкантов, которые кричали здравицы послам, играли веселую музыку, били в литавры и барабаны. Горожане не только несли им хлеб-соль и лучшую пищу, но давали подводы и провожали далеко за город, желая счастливого пути.

Каждый город старался перед другим как можно торжественнее встретить миротворцев, напоить, накормить и на мягком спать уложить.

Нет, не напрасно скакали впереди два течца с белыми прапорами на копьях с вестью: «Едут государевы люди, заключившие мир с погаными. Встречайте!»

Но, пожалуй, более всех постарался хозяин Батурина гетман Иван Самойлович. Выкатив пушки к парку своего дворца, он велел зарядить их, подмести начисто все улицы и дворы, наварить, нажарить, напечь всякой всячины в таком количестве, словно собирался кормить и поить целый полк. Столы были установлены в парке под уже распустившимися деревьями. Весь священный клир во главе с архиреем с крестами и хоругвями был выведен из города на дорогу для торжественной встречи дорогих гостей. А сам

гетман не выдержал: прихватив своего войскового товарища есаула Мазепу, он поскакал с ним, чтобы лично встретить миротворцев за много верст на подъезде к городу.

Подскакав к пропыленной кавалькаде миротворцев, гетман соскочил с коня и кинулся обнимать Тяпкина.

— Василий Михайлович! Милый! Ты не представляешь, какое великое дело вы сотворили,— говорил он растроганно, отирая слезы и целуя оторопевшего Тяпкина.

— Иван Самойлович, но мы еще только шертные грамоты везем,— пытался объяснить Тяпкин,— за договором надо к султану ехать.

— Все равно. Ты... Вы начали, вы первые миротворцы.

Гетман обнимал и целовал всех, по нему — все, кто был в Крыму, достойны высоких почестей и наград. Дойдя до своего посланца Раковича, гетман спросил Тяпкина:

— А как мой Семен? Годен был?

— Годен, годен, Иван Самойлович.

И гетман обнимал Семена, словно родного сына, и говорил ему ласково:

— Ай, спасибо, Семен, шо не осрамил мою старую голову. Будет тебе за то от меня великая честь и любовь. Спасибо, сынок, утешил батьку.

Не миновал объятий гетмана даже Шереметев. Узнав, какими судьбами боярин оказался в обозе, Самойлович поздравил его с освобождением из плена. Шереметев, начав в ответ говорить слова благодарности, вновь расплакался. А гетман вполне достойно оценил чувства бывшего пленника:

— То слезы радости, и их не треба стыдиться. Я сам ныне реву, як последняя баба. Реву от счастья.

У самого города встретил послов священный клир и все, сойдя с коней и подвод, подходили целовать крест, который держал епископ, благословляя прибывших. Купцы города вынесли на рушнике хлеб-соль, и Тяпкин с достоинством принял в руки этот знак уважения к гостям.

Гетман распорядился садиться за стол:

— Знаю, что устали. Но для отдыха ночь будет. А пока поснидимо, шо Бог послал.

На гетманском столе было много чего: и холодец из свиных ножек, и плацинды с мясом, и сало, и колбасы, и рыба во всех видах, и пироги с капустой и грибами, ну и, конечно, вареники, уже не говоря о разных пампушках, кренделях и ватрушках. И меж всем этим стойкими караульными выстроились бутылки с горилкой.

За стол усадили всех прибывших из Крыма, а кроме того — есаулов, полковников, уважаемых жителей города.

Гетман, призвав наполнять чарки, взял свою и заговорил проникновенно:

— Я предлагаю выпить за наших триумфаторов, привезших нам мир. Триумфаторами в Древнем Риме называли военачальников, возвращавшихся с победой. Но те триумфаторы возвращались, пролив море крови — и вражеской и своей. Наши сегодняшние триумфаторы, не пролив и капли крови, привезли нам долгожданный мир и тишину. Выпьем за них. Слава им!

Тут гетман, приложив ко рту чарку, махнул левой рукой и рядом в кустах загрохотали пушки, изрядно перепугав многих гостей, не ожидавших столь громкого приветствия. После пальбы заиграла музыка. Тосты произносились один за другим, звенели чарки, пелись песни.

До самой темноты длилось гетманское застолье. А когда приспела пора расходиться на покой, Самойлович лично проводил Тяпкина и Зотова в отведенную им горницу. И долго не хотел уходить от них, все еще радуясь происшедшему.

— Спасибо тебе, Василий Михайлович, что не объехал меня стороной, что отдал честь мне и моему городу.

— Как можно, Иван Самойлович, миновать тебя?

— А как дьяк Михайлов в прошлом годе, словно вепрь напуганный, мимо промчался — ни ко мне, ни в Чернигов не забежал.

— Ну, Михайлов и впрямь был напуган запорожцами, в порты наложил со страху. С чем же ему было к тебе жаловать?

— Я что хотел просить тебя, Василий Михайлович. Ты предстанешь перед великим государем, скажи ему, что многие бежавшие с Правобережья сюда от татар не имеют средств ни чем кормиться, ни чем строиться. Нет у них своих хлебопитательных промыслов. Бедствуют. Я из своей шкатулки, как могу, помогаю, чтоб хоть с голоду мереть не стали. Пусть великий государь укажет селить их в сумских, краснопольских, слободских угодьях, на степных реках и дубравах. И велел бы быть всем под гетманской властью и булавой в вознаграждение за западную сторону Днепра, ими покинутого из-за турок. Надо, чтобы врастали они в землю, заводили свои промыслы, а не надеялись на гетманские подачки.

— Хорошо, Иван Самойлович, я обязательно поведаю все это государю. Он напишет указ на заселенье Левобережья, я уверен.

Тяпкин устал, его клонило в сон, Зотов уже храпел на своем ложе, а гетман все не уходит. Тяпкин не знал, как его выпроводить, и наконец сказал:

— Я вижу, ты крепко устал ныне, Иван Самойлович. Ступай отдыхай, а то мы ляжем, а ты...

— Кто? Я устал? — воскликнул гетман.

— Спасибо тебе за прекрасную встречу,— продолжал Тяпкин прощальную, как он надеялся, речь.— Такой мы вовек не забудем.

И только когда Тяпкин, на какие-то мгновения потеряв над собой контроль, вдруг всхрапнул неожиданно даже для себя, гетман поднялся.

— Вижу, ты спать захотел. Я пойду. Завтра догуляем.

«Какое «догуляем»,— хотел сказать Тяпкин.— Завтра сразу в путь». Но смолчал, смекнув, что этой фразой может вернуть гетмана назад и тот возьмется уговаривать его погостить еще несколько дней.

О своем посольстве в Крым Тяпкин рассказывал государю в его кабинете, и там же присутствовали князь Голицын, как начальник Посольского приказа, Хованский, только что назначенный командовать Стрелецким приказом, постельничий Языков Иван Максимович и комнатный стольник Лихачев Алексей Тимофеевич, в последнее время ставшие самыми близкими к государю людьми. Боярину же Милославскому Ивану Михайловичу государь не велел даже на глаза являться за поносные слова, когда-то сказанные им о невесте государевой, ныне ставшей уже царицей. Софье Алексеевне, пытавшейся оправдать дядю, Федор тоже отрезал:

— Ну и что ж, что дядя! Пусть из застенка своего не вылазит. У кнута служит.

— Но он же тебя на престол возносил.

— А я его просил об этом?

На это нечего было возразить, Софья сама знала, что Федора на престол действительно затащили родственнички силодером, пользуясь его слабостью и нездоровьем.

У Василия Михайловича была редкая способность рассказывать о своих мытарствах с неистощимым юмором. Там, где другой плакался бы, вымаливая себе сочувствие у слушателей, Тяпкин говорил с нескрываемым, почти злорадным ехидством над самим собой. И когда он, лицедействуя, рассказывал государю, как оказавшись в темной яме, они тыкались в стены, как слепые котята, как залезли в горшок с дерьмом, в кабинете государя стоял гомериче-

ский хохот. Все хохотали от души и неудержимо. Один Тяпкин сохранял на лице невинное выражение.

— Ну, Василий Михайлович, ну, уморил,— говорил умиротворенно государь, отирая слезы, выступившие от смеха.— Да ты один всего отцова театра стоишь.

— Однако, государь, надо незамедлительно слать посла к султану,— сказал Голицын.

— Кого бы ты предложил, Василий Васильевич?

— Я думаю, думного дьяка Возницына. Это человек обстоятельный, несуетливый.

— Тогда пусть Василий Михайлович расскажет ему, что требуется еще внести в договор.

— Я готов, государь, хоть сегодня,— отвечал Тяпкин.— Главное, чтоб восстановили статью о запорожцах.

— Запорожцы, слава Богу, присягнули нам, и теперь у гетмана с ними меньше забот будет. Но турки-то их к себе хотят оттягать.

— Вряд ли, государь, у них что получится. Сечь-то не только на берегу, но и на острове посреди реки. А остров к какому берегу отнести? Раз тебе присягнули, значит, к левому, к нашему. Переберутся все на остров — и вот уж они наши. Вот тех, кто с правого берега от турок бежал, гетман просит указа селить в краснопольских и сумских угодьях, а то вельми тяжки они его казне.

— Василий Васильевич, заготовь указ для гетмана. Я подпишу. А что сам Мурад-Гирей, не алкает ли новой драки?

— Нет, государь. Ему надо почаще подарки слать, он рухлядь весьма алкает.

— Ну это мы сможем. Как тебе удалось Шереметева выкупить?

— А не стал рухлядь распылять, совать всяким чиновникам, а вывалил всю перед ханом — он и размяк. Ну я тут к нему, пока не остыл он, подари, мол, мне соотечественника Шереметева. Он и подарил.

— Там есть у них еще наши пленные?

— Увы, есть, государь. Вместе с Шереметевым, например, томился и князь Ромодановский.

— Это какой же Ромодановский?

— Федор Юрьевич, государь.

— Василий Васильевич, собраны ли полонянские деньги?

— Не все еще, государь.

— Сколь собрано, немедленно надо употребить на выкуп пленных. Немедля. Мыслимо ли — князь у поганых в рабах обретается.

— Шереметев, когда мы сюда ехали,— сообщил Тяпкин,— в пути обещал десять тысяч дать на выкуп Федора Юрьевича.

— Вот видишь,— оборотился царь к Голицыну.— Посылай выкупные, чтоб никого из христиан в рабах в Крыму не оставили. Никого.

Глава 46

УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАМОТА

Думный дьяк Прокофий Богданович Возницын прибыл в Стамбул с поручением великого государя взять утвержденную султаном грамоту о перемирии. Перед отъездом из Москвы он долго и обстоятельно беседовал с Тяпкиным, который пересказал ему, что было опущено в ханской шертной грамоте и должно быть восстановлено в султанской.

Чести видеть султана Возницына не удостоили, его принял визирь. Удостоверившись в полномочиях царского посланца, визирь вручил ему торжественно грамоту.

— Отныне объявляется мир между моим султаном и твоим государем,— сказал визирь.

— Я должен прочесть грамоту,— сказал Возницын.— Может, она не годна нам.

— Читай,— согласился визирь.

Прокофий Богданович прочел и положил грамоту на стол.

— В чем дело? — нахмурился визирь.

— В грамоте отсутствует статья о Запорожье, я должен настаивать о включении ее в грамоту.

— Ты в своем уме, дьяк, она уже подписана султаном.

— Но хан Мурад-Гирей обещал, что в утвержденной грамоте Запорожье будет оставлено за нами.

— Мало ли что обещал хан. Все решает султан. Он так решил и подписал, и больше никаких дополнений и исправлений в грамоте быть не может. Султан не подьячий, чтоб десять раз переписывать грамоту.

— Но она может быть не годна моему государю.

— А это уже не наше дело. Вы в свое время похитили гетмана Дорошенко, теперь вам подавай Запорожье.

— Насколько мне известно, Дорошенко никто не похищал. Он сам приехал на честь к государю.

— И государь его почествовал Сибирью,— усмехнулся визирь.

— Зачем же ты утверждаешь то, чего не знаешь, визирь? Ведь ты государственный человек, правая рука султана, а пользуешься слухами, ложными слухами.

— Ну и куда же, если не в Сибирь сослали гетмана Дорошенко?

— Он послан воеводой в Вологду.

— Ха-ха-ха,— засмеялся визирь.— Ему б было гораздо приятней быть гетманом на Украине. Я убежден, что туда отправили его силой. Так ты берешь грамоту или нет? — спросил визирь, хмуря недобро брови.

Возницын был молод, и, впервые оказавшись в столь сложном положении, когда надо решать наиважнейший вопрос, он не знал, что делать. Тяпкин, да и Голицын настаивали на включении статьи о Запорожье в грамоту, турки не включили эту статью и, судя по всему, не включат. Что делать? Брать? Не брать? С кем посоветоваться? И тут Возницын вспомнил о Поросукове, который, будучи в таком же затруднении, советовался с патриархом.

— Хорошо,— сказал Возницын,— я должен подумать. Дело это серьезное.

— Сколько намерен думать? Неделю? Месяц?

— Завтра скажу уже,— отвечал Возницын, неожиданно испугавшись столь долгих сроков, названных визирем.

— Ну что ж, завтра жду тебя об это же время. Но учти, султан переписывать грамоту не позволит.

Царьградский патриарх встретил царского посланца ласково, благословив, пригласил в свою трапезную, где представил его еще двум патриархам — александрийскому и иерусалимскому, приехавшим в это время в Стамбул.

— Вон нас скоко,— сказал патриарх,— неужто не сыщем доброго совета.

За нежирной трапезой, состоявшей из рыбы, гречневой каши и фруктов, патриарх спрашивал:

— Как там здоровье великого государя?

— Слава Богу,— отвечал Возницын,— государь здрав и государыня тоже.

— Мы каждодневно молимся за него. И его неудачи бьют и нас в самое сердце. Поганые-то, почитай, все Правобережье подмяли под себя. Теперь, того гляди, Киева взалкают. Тяжело ему, Федору Алексеевичу, ох тяжело. Не надо бы Киев-то уступать. Ох не надо. Ведь то первый первопрестольный град Руси. Первокрещенный.

— Киев государь откупил у поляков.

— Во дожили,— взглянул патриарх на своих коллег: александрийского и иерусалимского.— За свой город платим чужому дяде. Каково?

— Нехорошо,— согласились гости.— Несправедливо сие.

— Это не то что «несправедливо» — это настоящий разбой,— басил патриарх.— А ты с чем, сын мой, пожаловал к басурманам?

Возницын подробно рассказал о своей миссии, закончив искренним признанием:

— Не знаю, что и делать, святой отец. Брать — не брать? Вот решил с вами посоветоваться.

— Значит, Запорожье он исключил из грамоты,— вздохнул задумчиво патриарх.

— Исключил, святой отец. А мне в Москве князь Голицын наказал: ложись костьми, но статью включи.

— Ну князю с издаля-то хорошо наказывать. А запорожцы-то сами как?

— Запорожцы присягнули государю, святой отец. Все ему крест целовали.

— Так это ж прекрасно, сын мой,— оживился патриарх.— Пусть турки их в грамоте государевыми не назвали, пусть. Зато на деле они сами государю передались. Это прекрасно, я очень, очень рад за царское величество, что Запорожское Войско под его руку встало наконец твердо.

— Так как мне, святой отец, брать утвержденную грамоту?

— Брать, Прокофий, обязательно брать.

— А не будет на меня гнева в Москве?

Возницын знал, что «московский гнев» очень даже хорошо может спину разрисовать кнутом или батогами.

— Никакого гнева не будет, сын мой, в конце концов, я напишу с тобой письмо Иоакиму, чтоб он в случае чего защитил тебя.

— Правда? — обрадовался Прокофий, у которого словно гора с плеч свалилась.

— Правда, сын мой Прокофий,— улыбнулся патриарх.— Истинная правда. Ешь вон апельсины, отец святой их из самой Александрии в гостинцы нам привез.

— Угощайся, Прокофий,— поддержал хозяина александрийский патриарх.— Мы тоже советуем грамоту взять. Главное, что она для державы мир несет. А за мир можно чем-то и поступиться.

— Разве тебе мало поддержки трех патриархов? — спросил иерусалимский гость.

— Что вы, отец святой, я рад, я безмерно рад такой поддержке,— отвечал вполне искренне Возницын, радуясь, что ответственность с ним добровольно разделили три высших духовных лица христианской веры. Теперь даже если вдруг «разгневается Москва», у него есть высокая заступа, к которой наверняка присоединится и патриарх Иоаким.

И все же назавтра, принимая грамоту от визиря, Возницын выразил ему официальный протест, надеясь, что секретарь визиря обязательно впишет его в отчет:

— Я, господин визирь, принимаю эту грамоту поневоле и повезу ее царскому величеству на произволение. И не знаю, будет ли она годна государю или нет.

— Ладно, дьяк,— сказал почти миролюбиво визирь.— У нас теперь мир на двадцать лет. И давай не будем омрачать начало его.

О том, что он поступил разумно, взяв все же грамоту, Возницын убедился в Батурине, оказавшись гостем гетмана Самойловича. Ради такой радости гетман устроил пирушку со своей старшиной, где посадил Возницына рядом:

— Ну молодец ты, Прокофий, что заехал до мэнэ. Спасибо тебе. Порадовал батьку.

— Да вот не удалось Запорожье в грамоту вписать,— оправдывался Возницын.— Турки уперлись как бараны.

— Ото они потому уперлись, что думают Запорожье Юраске Хмельницкому презентовать. Я ихи петли знаю. Но Юраске не видать теперь Запорожья как своих ушей. Ежели раньше Серко с ним шушукался, то Стягайло кукиш покажет, коли што.

— Ты думаешь, из-за Хмельницкого?

— Не думаю, а точно знаю. И ежели государь спросит за это, можешь так и сказать: из-за Юраски турки не хотят Запорожье в грамоту писать.

— Но они ж мне не сказали так.

— Ой, Прокофий, до чего ж ты дите. Як же они скажут о таком? Это я могу сказать, так и государю скажи, мол, что гетман считает, что Запорожье турки выкинули из грамоты из-за Хмельницкого. Они ж его князем навеличали, а князю треба чего-то иметь, вот ему и берегут Запорожье.

После пирушки, когда уж гости разошлись и пора было спать отправляться, Прокофий сообщил гетману:

— Что-то визирь за Дорошенко вроде упрекал нас. В ссылке, мол, он у вас.

— А-а,— махнул рукой небрежно Самойлович,— если б не Дорошенко, мы б, может, и Правобережье не потеряли.

— Как так? — удивился Возницын.

— А так. От него все и началось, шибко до короля наклонялся. На словах вроде до государя, а на деле — до короля.

— А государь знал об этом?

— Я писал ему. Но он... В общем, государь считал, что просто нас обоих мир не берет, мол, два медведя в одной берлоге. А ведь один-то медведь польским духом пахнул. Думаешь, зря его поляки превозносили, как лучшего и разумного воина.

— Но его государь жалует, воеводство ему дал.

— Наш государь очень милостив. Доведись до меня, я бы Петра Дорофеича в Сибирь упек, следом за Многогрешным. Даже вон турки считают, что он Сибири удостоился. Смекай. Ты токо, Прокофий, не брякни государю об этом. Не надо его расстраивать.

— Да ты что, Иван Самойлович!

— Он, светлая душа, меня и с Серко все время мирил. Доверчив очень Федор Алексеевич, всех примирить старается. Миротворец.

— А разве плохо? С поляками примирился, вот и с турками теперь вроде налаживается.

— Что ты, Прокофий. Это прекрасно. Я безмерно рад этому. Ты думаешь, если у меня сабля с булавой, так я и рвусь на рать? Нет, милый, у меня думка — всех бежавших с Правобережья накормить, на землю посадить, шоб пашню орали, себя и детей сами кормили. Ведь это ж какое горе для них бросить родные хаты, сады и бежать на голое место. Гляжу на них — и сердце кровью обливается. А как подумаю, с кого началось сие, так в Дорошенко и упираюсь. Сибирь по нему плакала, сынок, Сибирь. Его даже родная жена ненавидит. Впрочем, она тоже ягодка. Он ее из черного платья взял.

— Из монастыря, что ли?

— Ну да. Пожалел вроде. А она спилась, не баба, а тварь стала. Дорошенко ее в Москву требует, государю жалуется, что, мол, я ее не отпускаю. А мне-то что? Зачем мне ее удерживать? Петровы братья ее гонят к мужу, а она им говорит: «Ежели я туда поеду, то вашему Петру не жить». Во змея! Мужик ее из ничтожества в гетманши произвел, а она его вот так «благодарит». Верно говорят: не вскормивши, не вспоивши — не наживешь врага. Так турки считают, что мы его сослали?

— Да, так и говорил визирь.

— Вот и смекай, Прокофий, что даже враги наши ему наказание от нас определили. Так кто же он? То-то. Иди

отдыхай, сынок. И забудь, что тут тебе батька по пьянке наболтал.

Но Возницын долго уснуть не мог, догадываясь, что гетман говорил о наболевшем, потаенном и что это и была горькая правда, которую почему-то не хотела знать и признавать Москва. Почему? Может, оттого, что уж ничего нельзя поправить? А государь просто не хочет увеличивать число врагов своих, оттого, наверное, и Дорошенко приласкал и с Серко старался не ссориться. Миролюб.

С этими мыслями и заснул молодой посол Возницын, определив для себя, что государь все-таки прав в своих действиях и поступках. Не гетман, говорящий горькую правду, а государь, думающий за всю державу.

И хотя князь Голицын морщился, что посол не исполнил всего до конца, как велено было, но великий государь доволен был.

— Слава Богу, мир утвержден с султаном,— перекрестился он, оглаживая врученную Возницыным грамоту.— А то, что Запорожья не вписали... Ну что ж, в чем-то и уступить надо.

— Гетман говорит, что не уступили Запорожья из-за Хмельницкого,— сказал Возницын.

— Возможно, возможно. Иван Самойлович знает турок лучше нашего. Ему там видней.

— А может, оно и к лучшему,— заметил Голицын.— Раз о Запорожье ничего не говорится, значит, оно вроде бесхозное.

— Кстати, Василий Васильевич, послали ли туда еще сукон?

— Послали, государь, пятьдесят половинок сукон и жалованье новому писарю Гуку.

— Пожалуйста, не забывайте о Сечи, Василий Васильевич. Турки не случайно опустили их в договоре, тут гетман совершенно прав. Неплохо бы кого-то послать к Хмельницкому. А?

— Зачем, государь?

— Ну как. Все-таки христианин, а в услужении у поганых. Может, удалось бы убедить на нашу сторону перейти.

— Я думаю, не надо, Федор Алексеевич.

— Почему?

— Это будет только на радость туркам, он для них давно в тягость. Не знают, куда деть его, нарекли князем, а он лишь пьянствовать горазд. И потом, казаки его не любят, да и гетман, я думаю, такому приобретению не обрадуется. Вот если попадется в плен, тогда другое дело.

— И что тогда?

— Тогда можно и в Сибирь, как предавшего отчину.

— Теперь у нас с турками мир, слава Богу, а значит, воевать не будем, и пленных, выходит, не будет.

— Э-э, государь,— хитро прищурился Голицын.— Не обязательно нам пленить. Стоит шепнуть запорожцам. В договоре-то их как бы и нет.

— Нет, нет,— решительно возразил Федор Алексеевич.— Не надо с этим затеваться. Турки сразу сообразят, кто казаков надоумил. Наоборот, надо послать Стягайло предупреждение, чтоб сам по своей прихоти не затевал рати. А на хлеб и зипуны сечевикам будем мы посылать и гетман.

— Но это казне дорого будет стоить, государь.

— А кто сказал, что мир дешев? Но война всегда дороже, князь, так как кровью оплачивается. Так лучше все-таки мир покупать. Ведь верно, Прокофий Богданович?

Возницын вздрогнул, столь неожиданно обратился с нему государь.

— Верно, государь. Лучше мир покупать, чем на войне разоряться.

Прокофий вполне искренне ответил, и был доволен, что он так же думал, как государь, а не как князь.

Хотя, конечно, Голицын был прав, что к Хмельницкому не стоит посылать никого. Да и государь с этим согласился:

— Ты прав, Василий Васильевич, это будет нам лишняя забота, да и гетману не понравится. Бог с ним, с Хмельницким.

Глава 47

ВСЕМИРНАЯ РАДОСТЬ

Еще осенью затяжелела Агафья Семеновна, и Федор Алексеевич, радуясь такому известию, велел Анне Петровне приискать царице нянюшек, мамок, а главное, добрую повитуху.

— Нельзя с этим заранее спешить, государь,— сказала Хитрово.

— Это почему же?

— Примета такая. Надо тогда, когда начнется, и повитуху звать.

— Ну а есть такая?

— Найдется.

— А как зовут?

— Фу ты, Господи. Я же говорю, нельзя это заранее-то, государь.

— Ну имя-то можно сказать.

— Ну Евменовна с Хамовников.

— А она как? Ничего?

— Федор Алексеевич, забудь об этом и не заводи разговора до поры до времени. Ты свое дело сделал, а далее уж грядет наше, бабье дело.

Но как ему можно было забыть, когда ночью жена вдруг брала его руку, прижимала к своему животу, спрашивала:

— Слышишь, как он шевелится?

И Федор, затаив дыхание, наслушивал ладонью, как ворочалось во чреве жены его дите, его наследник. Шептал жене радостно:

— Ты смотри какой боевой парень-то!

— А вдруг девчонка,— говорила Агафья.

— Нет. Это мальчик,— уверенно отвечал Федор.— Мой наследник.

Стали вместе имя придумывать ему. Сначала перебрали самые известные великокняжеские.

— Иван?

— Нет. Уж очень его Грозный окровянил, да и есть уже братец у меня Ваня-дурачок.

— Алексей? По батюшке твоему, чем плохо?

— Имя хорошее, но в семье уж было оно, моему старшему брату Алексею жизни не дало.

— А Дмитрий, например?

— И этому имени не везло. Сына Грозного Дмитрия еще мальчиком зарезали. Надо такое, чтоб...

— Ну тогда Илья. Моего деда так звали, он долго жил.

Так и решено было, что родит Агафья Семеновна царевича Илью Федоровича. Правда, и это имя в великокняженье далекое тоже не очень живучее было: старший сын Ярослава Мудрого Илья, оставленный на княженье в Новгороде, тоже вскоре умер. Но это когда было-то, более полтыщи лет назад. А этого, будущего и не по нему вовсе назовут, а по деду матери-царицы Агафьи, который вроде более восьмидесяти лет прожил.

А о князе Илье Ярославиче Федор и не стал жене говорить, тем более что это случилось в другой династии — Рюриковичей, и не к чему Агашу расстраивать. Мы-то Романовы.

В июне у царицы живот велик стал, ходить тяжело было и перевели ее на женскую половину, ожидая, что вот-

вот начнется. Ждали со дня на день, а схватки вроде начались неожиданно. Государь в Думе был, когда внутренняя дверь приотворилась и в ней появилась сестра Софья Алексеевна, ранее никогда не являвшаяся в Думу. Она махнула Федору рукой, и у того от этого взмаха сердце упало в догадке: началось.

Неожиданно для думцев царь поднялся и, велев им «сидеть и думать», ушел. Многие догадались, почему он ушел, но молчали об этом, зная, что сие может навредить рожениице. Даже Тараруй смолчал, хотя тоже был из догадливых.

— Ну что, Соня? — спросил Федор.

— Началось, Федя.

— Евменовну позвали?

— Позвали. Там и Евменовна и Поликарповна. Иди, Федя, к себе и молись.

— А туда мне нельзя?

— Нельзя, Федя. Я буду к тебе каждый час приходить, сообщать. Если что, я сразу же к тебе. Иди. Да смотри никаких дел чтоб. Только молись.

— А как она, Агаша-то?

— Ну как? Тяжело ей, как любой бабе при деле таком. Вам бы хоть одному так помучиться. Иди.

Софья, пожалев брата, не сказала, что жена его кричит, надрываясь от боли. Из Детского дворца, слава Богу, тут не слышно.

О том, что царица начала рожать, никому в Кремле не говорилось, но уж и часа не прошло, все знали об этом, хотя, как и принято, никто о том не заговаривал. По приказу Хованского стрельцы потихоньку выгоняли народ с Ивановской площади за Спасские ворота на Красную площадь, дабы поменьше шума было в Кремле. Даже юродивого Спирьку Голого, обычно оравшего на всю Ивановскую какую-то околесицу, удалось уговорами и посулами выдворить к Лобному месту. Юродивого силой гнать себе дороже станет. Народ тут же за Божьего человека вступится, чего доброго, еще и поколотит и на твой бердыш не поглядит.

Притих Кремль, насторожился. Патриарх Иоаким по всем церквям служек разослал с приказом священнослужителям не звонить до особого его указу.

Государь, уединившись в кабинете своем, стоял перед образами на коленях, молясь истово, бия поклоны. Царевна Софья, как и обещала, приходила, бесшумно открывая дверь, говорила негромко и кратко:

— Пока нет.

Федор, оборотившись, смотрел на сестру с мольбой, словно от нее что-то зависело. Спрашивать боялся, лишь глазами вымаливал подробности.

— Ну что я могу,— разводила руками Софья и уходила.

Когда стемнело, Федор сам возжег от лампады свечи в шандале и опять встал на колени. И хотя стоял на ковре, коленки все равно уже побаливали, но он стойко переносил эту боль, утешая себя мыслью, что Агаше сейчас еще больнее. И опять жарко молился и бил поклоны.

Когда уж за полночь явилась царевна Софья, Федор спал, скрючившись на ковре. «Уморился дохлик»,— подумала Софья и, бесшумно пройдя к столу, загасила в шандале свечи. Выйдя от брата, нашла Родимицу, наказала ей:

— Уснул. Никого не пускай к нему и сама не шараборься.

— Так подушку б хотя.

— Не надо. Обойдется.

Однако, когда царевна ушла, Родимица не выдержала, захватив одеяло пуховое, прокралась в кабинет, укрыла «дитятку», перекрестила трижды и лишь после этого вышла. Пройдя к спальне государевой, нашла храпевшего постельничего Языкова, толкнула в бок.

— Иванко, кого стережешь тут-ко?

— Дык я ждал, ждал...

— Он в горенке своей, весь день молился, там и свалился. Идит-ко туда, да в горницу-то не лезь. Ляг под дверью.

Языков, зевая до хруста в скулах, поплелся по переходу, волоча с собой архалук, которым в летнее время и укрывался.

Утром одиннадцатого июля, когда уж вовсю светило солнце, в кабинет ворвалась сияющая Софья.

— Федя! Вставай, чертушка. С сыном тебя!

Федор вскочил, откинув одеяло, кинулся к сестре, обнял ее.

— Сонечка, милая! Спасибо,— поцеловал несколько раз.— Радость, радость-то какая!

— Не тебе одному, Федя, всему царству всемирная радость.

— Да, да, да, ты права,— весело засуетился новоиспеченный отец, отирая счастливые слезы.— Ныне всем велю вины отпустить, чтоб никого не смели ни кнутом, ни батогами.

— А недоимщиков?

— Всех простить, всех.

— Эдак, Федя, ты казне великий урон сотворишь. Нельзя так-то.

— Ну а как же быть, Соня? Сама же говоришь, всему царству всемирная радость.

— А ты так, Феденька, изделай, недоимку за ними оставь, но с правежа сыми на день-другой. Им и это будет в радость.

— Правильно, Сонечка, умница. Но только не на день-другой, велю с правежа освободить на неделю.

— Ну гляди, ты государь, тебе видней. А токо не забывай, стрельцы уж бурчат, давно жалованье не плачено. А на правеже, почитай, полказны выколачивают.

— Ничего. Стрельцы всегда бурчат, а с огородов да ремесел небось два жалованья сверх имеют. Потерпят.

Весть о том, что у государя родился сын, мигом разнеслась по Москве, и это действительно стало всемирной радостью. Многие колодники были раскованы и выпущены на волю, а вины им отпущены. На торжище тать Федоска попался на покраже стряпни, и уж спину свою измарщивал, к кнуту готовя, ан пронесло: всемирная радость, отпустили Федоску ради такого праздника, ни разу кнутом не огладив. Ну и что с того? Он тут же у тетки-зевуньи калач спер и съел.

Патриарх, бояре, окольничьи понесли подарки новорожденному, кто деньгами, кто дорогими игрушками, аксамитом, драгоценностями. Счастливый отец не успевал складывать дары и благодарить.

Нищая братия потянулась в Кремль, где от имени царя кормили всех до отвала и еще ж дарили мелкими деньгами, кому что перепадет. Как же не радоваться? В кои-то веки досыта, да еще и за государев счет.

Крестить царевича должен патриарх. Крестным бы, по обычаю, должен быть старший брат, но Федор Алексеевич не решился дураку своему доверить сие дело святое, попросил сестру Софью Алексеевну:

— Соня, ты первой одарила меня радостью, будь же крестной у него.

— А крестным кто? — спросила Софья.

— Зови Василия Васильевича,— разрешил Федор, зная, что выбором таким осчастливит сестру. Чего уж там, пусть и она порадуется. Если под венец нельзя за князя (женат уже), так хоть покумиться с ним. Кум да кума, считай, тоже родня.

Перед крещением принесли показать сына отцу, Федор увидел на руках няньки завернутый сверток и крохотное личико дитяти, изморщенное и плаксивое.

— А что он такой красный? — удивился Федор.

— Федя, ты думаешь, лучше был, когда родился,— отвечала Софья.— Он настрадался, пока выбирался.

Крестил царевича патриарх со всем своим клиром в Успенском соборе и, как желал государь, нарек новорожденного Ильей.

За крестины патриарх Иоаким получил от государя 1500 золотых, митрополиты — по 300, архиепископы — по 200, епископы — по 100, протопоп успенский — 50, протодьякон — 40 золотых. Даже ключари успенские не были забыты — получили по 30 золотых. Всего было потрачено на это 3 800 золотых.

После всех этих хлопот и торжественного пира, данного высокой знати государем в честь рождения сына, Федор настолько устал, что едва добрался до своего кабинета и наконец-то вспомнил о жене. Возможно, потому, что у него появились сразу две тетки — Татьяна и Анна и сестра Софья.

— А как там Агаша?

— Не беспокойся. Она столь измучена родами, что ей не до радости,— успокоила Софья.

— Я могу ее увидеть?

— Нет, Федя. Сегодня нет.

— Почему? Роды же кончились.

— Для сына твоего кончились, но для нее еще нет.

— Федя, что мы пришли-то,— заговорила Татьяна Михайловна, стараясь отвлечь племянника от темы, составляющей женское таинство.— Ты ныне ради вселенской радости освободил многих колодников, татей. Не приспел ли час облегчить участь Никона? Он ведь не вор, не тать, а многих дел полезных устроитель был. Федя?

— Но патриарх-то, теть, он-то?

— А ты ему не сказывай, Федя. Тихо пошли туды с указом кого из дворян или сотника стрелецкого. Ведь Никон старик уж. Не сегодня-завтра помрет в том медвежьем углу. На нас грех ляжет, а на тебя более всех. Пусть уж здесь успокоится старец.

— В Москве?

— Зачем в Москве? Переведи его в Воскресенский монастырь.

— Но Иоаким как узнает, такой шум учинит.

— Ты пока ему ничего не говори. А когда Никон будет уже здесь, пусть узнает. Пошумит, пошумит, да на то же и сядет. В конце концов, не Иоаким, а ты царь — хозяин державы. Ну, Федя?

— Понимаете, продиктую я завтра указ, о нем тут же Иоаким проведает.

— Зачем тебе кому-то диктовать, Федя? Мы уж приготовили.

— Как? — удивился Федор.— Сами?

— А что? Мы, чай, тоже грамоте разумеем, и все царевны, не купецкие дочки.— Татьяна Михайловна обернулась к сестре.— Анна, давай указ.

Анна Михайловна вытащила из широкого рукава свернутую в трубочку бумагу, передала сестре. Та развернула ее, положила перед Федором.

— Вот. Читай и подписывай, не раздумывая. Мы, Федя, не меньше тебя заинтересованы, чтоб сие как можно долее не узналось на Москве. Какой-нибудь подьячий, написав твой указ, за полушку на всю Москву раззвонит. А мы, родные тетки твои, скоре языки себе откусим, чем болтнем кому.

— Подписывай, Федя,— сказала и Софья.— В свой счастливый день осчастливь другого. И не бойся. В случае чего мы и Иоакима хором осадим, уломаем.

Как было ему не согласиться при столь дружном натиске родных теток и сестры, тем более что в столе у него лежало письмо самого Никона, переданное архимандритом Воскресенского монастыря Германом. В нем Никон писал монахам: «...Пожалуйте, чада мои, не попомните моей грубости: побейте челом еще о мне великому государю, не дайте мне напрасною смертию погинуть, моего житья конец приходит».

Грамота, которую составили царевы тетки, была писана архимандриту Кирилловского монастыря Никите, с указанием отправить высокого заточника в Воскресенский монастырь под Москву и «вершить сие немедля по получении нашего царского указу».

— Ну что ж,— сказал Федор, обмакивая перо в чернила,— быть по сему,— и неспешно вывел свое имя внизу.

— А с кем отправишь, Федя?

— Поскачет Иван Чепелев.

— Ты не представляешь, Федя, какой грех ты сымаешь с нас этим указом.

— Отчего же? Все представляю, главное, чтоб поспел он. Отчего-то с добрым делом мы всегда опаздываем.

На следующий день, когда Федор пожелал навестить жену, и тетки и сестра пытались его отговорить:

— Еще рано, Федя.

— Почему рано-то?— настаивал он.— Мне же надо знать, что с ней?

— Понимаешь, Федя,— отвечала Татьяна Михайловна с некоторым замешательством.— Агафья все еще кровит. Мы б не хотели... Мы надеемся...

— А лекари? А повитухи? Они-то что ж ничего не делают?

— Да уж все, Феденька, перепробовали. И молитовку, и заговор. Не могут остановить.

— Что ж вы от меня-то это таите?

— Не мужское дело это, Федя, не заведено вашему брату сюда нос совать.

— Ведите меня к Агафье,— твердо сказал Федор.— И немедля.

В комнате, где рожала Агафья, окна были завешены темными тяжелыми шторами, не пропускавшими дневного света. Лишь несколько свечей мерцало на столе. Войдя со свету, Федор увидел лишь эти мерцающие огоньки.

— Откройте окна, ничего не вижу.

— Нельзя, государь,— отвечал тихий женский голос.— Обыкнисся, все узришь.

Федор постоял и действительно стал различать в темноте предметы — стол, ложе, на котором лежала Агафья, и рядом на стуле темной копной повитуха, видимо Евменовна. Поняв, что государь «обыкся», старуха поднялась и жестом указала ему на стул: садись, мол, здесь.

— Шибко не шуми, она уже не с нами.

Федору стало жутко от этих слов повитухи, хотелось цыкнуть на дуру за такой приговор, но сдержался, помнил: «не шуми».

Присел возле ложа на стул, вглядываясь в лицо жены, и не узнавал ее. Оно уменьшилось, казалось, вдвое, глаза, щеки запали, губы словно исчезли, ни кровинки в лице. В полумраке трудно было угадать выражение глаз. Федор требовательно махнул кистью руки. И его это движение поняла Софья, подошла к столу, взяла подсвечник с горящей свечой, подала брату.

Он осветил лицо жены, и тут до него дошел страшный смысл слов старухи. Взгляд Агафьи ничего не выражал, он был пуст и равнодушен ко всему.

— Агашенька,— позвал дрогнувшим голосом Федор.— Это я... Твой муж...

Ничего не изменилось в лице ее, хотя она слышала и поняла его. Спазмы от подступающих слез перехватили горло Федору.

— Милая! — Он схватил ее холодную, безжизненную руку, прижал к губам.— Скажи же что-нибудь, Агашенька.

И Федор зарыдал, не стыдясь, не сдерживаясь.

Четырнадцатого июля 1681 года от полной потери крови умерла царица Агафья Семеновна. Но на этом несчастья для Федора Алексеевича не кончились. Через шесть дней за ней последовал и его сын царевич Илья.

Эти две смерти подкосили и без того некрепкое здоровье царя. Он слег и не выходил из своей опочивальни, допуская к себе лишь Родимицу да постельничего Языкова.

Дума «сидела» без государя и никак не могла настроиться на работу, потому как ожидалась третья смерть, хотя о ней вслух никто не заикался. Лишь Тараруй, верный своей природе, обронил мимоходом: «Бог троицу любит».

В верхней горнице царило замешательство, все были убеждены, что Федор от такого удара не оправится, уж не таясь, обсуждали: кого садить на престол? Впрочем, выбора не было: «Ваньку, конечно. Хоть и дурак, но наш».

Глава 48

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ НИКОНА

Когда Иван Чепелев прибыл в Кирилловский монастырь, Никон уже не поднимался с ложа. Узнав о том, что ему разрешено переезжать в Воскресенский монастырь и что его уже там ждут, Никон заплакал:

— Господи, кабы сил мне еще чуток, кабы сил.

Да, у некогда всемогущего патриарха Руси, из-за новшеств которого в религии начался раскол, силы были уже на исходе.

— Ничего, отец святой, как-нибудь помаленьку, потихоньку, с Божьей помощью доберемся,— успокаивал старика Иван, хотя крепко сомневался, что довезет его до места живым. Если Никона Чепелев обадривал, то архимандриту Никите высказал свои опасения:

— Боюсь, не довезу его, отец святой.

— Ничего, сын мой. Все в руце Божьей, но ты будь покоен, он уж мною соборован и освящен елеем. Так что можешь не переживать. Греха на тебе не будет, повезешь ли ты его живого или мертвого. В путь, сын мой.

Архимандрит дал Чепелеву подводу, чтоб довезти Никона до Шексны, и двух монахов в помощь.

Дорога была недлинной, но убийственной для больного. Шла лесом и сплошь была прошита корнями деревьев, на которых колеса прыгали, вытрясая из бедного старца душу. Время от времени он просил остановиться, чтоб отдышаться.

— Ой, сын мой, дай дух перевести. Мочи нет.

Монах останавливал коня, поправлял изголовье больному. Некоторое время стояли. Никон, успокоившись, смотрел на небо, потом либо говорил тихо «поняй», либо едва ладонью взмахивал, разрешая трогаться.

Чепелев шел рядом с телегой, держась рукой за грядку, и молил Бога, чтоб довезти Никона до реки живым. На воде уж трясти не будет, и там, он считал, дело пойдет быстрее.

На Шексне ждал струг с парусом, заранее нанятый Чепелевым. Струговщик, здоровенный детина в посконной до колен рубахе, помог монахам перенести Никона с телеги на струг, где уже высокой периной было настелено свежескошенное душистое сено. Никон, казалось, с наслаждением вытянулся на этой «перине», потянул носом, пробормотал что-то удовлетворенно. Чепелев склонился к нему, спросил:

— Ты что-то сказал, святый отче?

— Да,— негромко ответил Никон.— Я сказал, мне сие детство напомнило, особливо дух этот травяной. Когда ж это было-то, Господи? — И в уголках глаз заблестели слезинки.

«Укатали сивку крутые горки,— подумал сочувственно Чепелев.— А ведь был когда-то велик и грозен. Столь грозен и велик, что выше царя решил взлететь, за что и угодил в немилость и сана лишился. Это когда было-то? Ну да, на Соборе в шестьдесят шестом — шестьдесят седьмом годах с него и сняли сан патриарха. Высился, шибко высился святый отче, за что и пострадал. И вот все. Приспел час. Опали крылья, испарилась гордыня и ныне уж немощен и жалок человек перед вратами вечности. Хоть бы уж довезти живого».

А меж тем струг уже бежал по Шексне вниз к Волге, трепыхая белым парусом. Весело журчала вода за бортом. Поскрипывало кормило, перекладываемое струговщиком. Никон лежал, иногда закрывал глаза, а иногда долго и жадно смотрел на небо, что-то шептал. А то вдруг скашивал глаза на Ивана, взглядом подзывая к себе. Тот склонялся, спрашивал:

— Что, отец святой?

— Говорю я, сын мой, мало мы в жизни на небо смотрим. Мало. Суета всю жизнь нас заедает. Все более в землю глядим. Ан, глянь-ка, красота Божия там, вверху. Скоро уж, скоро вознесется моя душенька туда. Предстану перед Всевышним. Что скажу? Чем очищусь? Не ведаю. И трепещет душа моя пред вечностью, и боится, и жаждет.

Чепелев не знал, что отвечать на эти откровения, лишь головой кивал согласно да иногда поддакивал, понимая, что старик жаждет слушателя.

Ночью не шли, стояли, приткнувшись к берегу. Где-то недалеко лаяли собаки, кричали петухи. И Чепелев утром послал струговщика в веску за хлебом и молоком. Тот, видимо, рассказал в веске, кого везет, и с ним явилось несколько стариков и женщин, как они сказали, за патриаршим благословением. Они принесли калачей, яиц, молока и от оплаты наотрез отказались, прося лишь высокого святого отца благословить их. Никону льстило, что народ доси называет его патриархом, хотя уже четырнадцать лет, как он был лишен этого сана. Он тихо попросил Чепелева:

— Сын мой, подыми меня.

— Как? — удивился Иван.— На ноги?

— Я должен благословить их, я не имею права отказывать им в этом. Ну хоть бы посади меня, дабы я мог зреть их.

Так, поддерживаемый Чепелевым, Никон, сидя, перекрестил стоявших на берегу крестьян, прошептал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...» И в изнеможении опять опустился на свое душистое ложе.

— Скажи им, сын мой, скажи, что я немочен и прощения прошу у них.

— Патриарх сильно болен,— громко сказал Чепелев крестьянам.— Он просит простить, что не может благословить, как по чину положено.

— Пусть и он простит нас,— загалдели в разнобой на берегу.— Не надо ль еще чего святому отцу?

— Нет, не надо,— отвечал Чепелев.— Спасибо за принос.

Струг отходил от берега, на котором толпились сердобольные крестьянки и отирали слезы, глядя вслед отплывающим, искренне жалея святого старца.

— Надо бы поесть,— предложил Иван Никону. Тот кивнул согласно головой, бормоча молитву:

— ...Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и остави нам долги наши, яко мы оставляем должникам нашим...

Однако съел Никон мало: сделал несколько глотков молока, отщипнул кусочек хлебца, и все.

— Может, яичко очистить? — предложил Чепелев.

Никон отрицательно покачал головой.

— Спасибо, сын мой. Я ныне более духовной пищи алкаю.— И опять блаженно вытянулся на сене, устремив взор в голубое бездонное небо, бормоча какие-то псалмы.

Чепелев прошел на корму к кормчему, и с ним они хорошо позавтракали, опорожнив туесок молока, съев по калачу и по нескольку яиц.

— Скоро Волга,— сказал струговщик,— а там, даст Бог, через пару ден добежим и до Ярославля.

— Дай Бог, дай Бог,— пробормотал Чепелев не столько соглашаясь с кормчим, сколь в душе сомневаясь в благополучном окончании пути. Уж больно ненадежен был старец.

Предчувствие не обмануло Чепелева. Через два дня вышли в Волгу, а еще через день Никону стало совсем плохо. Он с мольбой смотрел на Чепелева, пытался что-то сказать, но, видимо, ему уже и язык плохо повиновался.

— Что, отче? — склонился к нему Иван.— Плохо? Да?

Из бормотанья старика он понял только одно: «К берегу, к берегу».

В это время струг поравнялся с устьем небольшой речки и Чепелев велел струговщику править в эту речку. Едва вошли в нее, как Чепелев заторопил кормщика:

— Приставай. Чалься. Да скорее же!

Струг ткнулся к берегу, струговщик спрыгнул на землю с концом веревки, дабы надежней зачалить свою посудину. Но Чепелев приказал:

— Успеешь с этим. Давай на берег его живенько. Он хочет на земле, на тверди помереть.

Струговщик сошел в воду, наклонился через борт, подхватил Никона на руки и медленно понес на берег, с трудом вытаскивая вязнущие в иле ноги. На берегу, выбрав сухое затравевшее место, осторожно опустил старца на землю. Тот смотрел в небо, что-то бессвязно бормотал, дышал часто и коротко, словно запыхавшееся в беге животное. Потом зевнул и вдруг затих. Затих с открытыми глазами.

Чепелев подошел, перекрестился и прикрыл умершему глаза.

— Царство ему небесное,— и снова перекрестился.

Так 17 августа 1681 года скончался старец Никон, главный виновник церковного раскола, на много веков вперед взмутивший души православных.

С великими трудностями Чепелев исполнил государеву волю, доставил в Москву Никона. Правда, уже не живым, в грубо сколоченной домовине.

Отпевал покойного архимандрит Герман в церкви Воскресенского монастыря, того самого, куда так стремился и просился Никон. Там же он был и похоронен. На похоронах присутствовал и государь Федор Алексеевич, еще не оправившийся от двух смертей самых близких ему людей.

Царь плакал, все видели его крупные слезы, катившиеся по щекам и блестевшие на короткой темной бородке его.

«Жалеет старца»,— думали они.

«Кается, что опоздал с прощением»,— мыслили другие.

И пожалуй, все были правы, но лишь отчасти. Федор Алексеевич, расстроенный грустной процедурой отпевания, плакал о всех ранее ушедших — и о сыне с женой, и об отце с братом Алексеем, и даже о себе уже, ныне пока живущем. Но знал, чуял, что скоро грядет и его уход из мира сего, и оттого слезы сами непрошенно туманили взор. Безрадостно живому видеть смерть и думать о ней, неминучей.

Прав оказался Тараруй, брякнув о «троице», едва ль не через месяц последовал Никон за молодой царицей. Хотя, конечно, Хованский не его имел в виду.

Глава 49

ОТ УЧИЛИЩА К АКАДЕМИИ

В отношениях между патриархом и царем наступило некоторое охлаждение после того, как царь принял указ о запрещении боярам, дворянам и приказным людям носить длинные охабни и однорядки. Велено было всем переодеться в короткие кафтаны, в каких давно уже щеголяла цивилизованная Европа. Все догадывались, по чьей подсказке был писан указ. Ясно, что без Агафьи Семеновны тут не обошлось. Происхождение польское, на Польшу и равняется.

После смерти Агафьи многие думали, что царь постепенно забудет об этом указе. Ан нет, заметив Одоевского, явившегося в Думу в старой одежке, государь тут же сказал вежливо, но твердо:

— Яков Никитич, ступай домой и, пожалуйста, переоблачись.

Старый боярин перечить государю не посмел, побежал домой переоблачаться. А Федор тут же сделал выговор дворецкому:

— Чтоб не только во дворце, но и в Кремле я не видел охабней и однорядок на служилых.

— А как же со священнослужителями быть?

— То другая стать, это дело патриарха.

И хотя царь не коснулся иереев, Иоакиму все равно новшество не по душе пришлось.

— Старину опасно рушить, государь,— сказал он Федору наедине, достало мудрости не принародно замечание сделать.

И Федор понял, что патриарх намекает на никоновские новшества, когда-то расколовшие Церковь.

— Но, отец святой, я же не трогаю твою епархию. И если, скажем, иерею отправлять службу в храме длинное платье не помеха, то человеку служилому оно даже на коня сесть мешает, я уже не говорю о беге или рукопашном бое.

— А брадобритие?

— Что «брадобритие»?

— Твой отец не разрешал брить бороды, а ныне, гляжу, и в Думе являются безбородые. Куда ж это годится, сын мой, на месте бороды голая коленка. Стыдобища! Тьфу!

— Но ум-то не в бороде, отец святой,— усмехнулся Федор.— Он в другом месте.

Эта царева усмешка обидела патриарха, он ушел рассерженный. Трудно молодым со старыми, но и старикам с молодыми не легче. А Иоаким был в три раза старше государя и, конечно, считал себя мудрее.

Из Стамбула воротился монах Тимофей, посланный ранее Иоакимом к Царьградскому патриарху Досифею для ознакомления с подготовкой священнослужителей. Выслушав монаха, Иоаким понял, что без царя, без его участия в задуманном деле ничего не получится. Однако сердце патриарха саднила обида за «ум не в бороде», поэтому он послал к государю своего служку с просьбой принять монаха Тимофея, только что воротившегося от Царьградского патриарха. Принять и выслушать не в Думе, а наедине. Патриарх считал, что Дума — это сборище болтунов и никакой пользы из рассказа Тимофея думцы извлечь не смогут, а попросту заболтают без последствий.

Федор Алексеевич принял Тимофея во второй половине дня в своем кабинете, и, как просил патриарх, никого там не было, даже подьячий, писавший за государем, был отослан в Приказ.

После обмена приветствиями Федор пригласил монаха садиться, и как только тот опустился на лавку, попросил рассказать, с чем он прибыл от вселенского патриарха.

— Государь, вселенский патриарх Досифей ныне обращает с надеждой взор на твою державу,— начал монах,— ибо, как ты ведаешь, его патриаршество христианское пребывает ныне яко остров в океане поганском. Церкви наши единоверные греческие находятся в бедственном состоянии и многие лишаются своих священников из-за отсутствия школ и училищ. Умирает иерей — и некем заменить его, приход обречен на запустение и гибель. Патриарх говорил мне, что только Москва ныне с царским величеством во

главе может противостоять напору мусульманской веры, только Россия становится прибежищем православия. В лице Москвы его святейшество хочет видеть второй Царьград, новое заповедное место христианства.

— Ну что ж, отец Тимофей, спасибо тебе и его святейшеству за столь лестную оценку нашей столицы и державы. Но для того чтобы стать вторым Царьградом, необходимы духовные училища и даже Академия. Мы бы нашли места для них, но нужны ж учителя, и хорошо бы греческие.

— Со мной приехали два грека-иерея. Я бы мог начать с небольшого училища, государь, если будет твое повеление.

— Можешь считать, что оно уже получено. Можешь начинать хоть с завтрева. Сколько ты хочешь набрать учеников?

— Человек тридцать для начала.

— Ин добро. Пусть эта школа называется именем святого Иоанна Богослова, и находиться она будет при братстве Чудова монастыря.

— Государь, но Иван Белобродский будет мешать нам. Он очень недоволен, что в училище будут греки.

— Мы с патриархом займемся основанием Академии, а в ней для философа и богослова Ивана Белобродского найдется дело. Ему не до школы будет.

— Государь, хотя Белобродскому сие не понравится, но патриарх Досифей велел передать, что если в Москве будет основана Академия, то он сам приищет для нее профессоров в Царьграде.

— Вот это славно, отец Тимофей. Ступай к патриарху и скажи, что об это время завтра я жду его у себя. Мы подумаем о статуте Академии, ее уставе и, что не менее важно, о ее содержании.

Уже поздно вечером был вызван к государю Иван Белобродский, который изрядно струхнул, узнав, что его зовет государь.

— Зачем зовет-то? — спросил посыльного.

— Велел тебе быть немедля к нему в кабинет, а для чего — не ведаю.

Белобродский, войдя к царю в кабинет, поклонился. Остановился у дверей. Федор сидел за столом под трехсвечным шандалом и что-то писал. Не отрывая пера от бумаги, поднял взгляд на вошедшего, кивнул на лавку.

— Проходи. Садись, Иван. Я сейчас допишу мысль.

Белобродский тихо прошел к лавке, сел, смотрел на занятого письмом царя и постепенно успокаивался: не на зло зван.

Поставив точку, царь отложил перо, взглянул дружелюбно на Белобродского.

— Вот пишу статут Академии, Иван. Пора в Москве таковую иметь. А то в Киеве тому уж полста лет, как образована была митрополитом Могилой Петром Симеоновичем, а у нас доси ничего подобного. Как ты считаешь, Иван?

— Я считаю, государь, давно пора. Ныне Москва — центр Руси, и если твое царское величество положит основание Академии, это будет вельми великое и богоугодное дело.

— Как ты думаешь, Иван, мы найдем для Академии добрых профессоров?

— А почему бы и нет, государь, неужто земля наша скудна умными наставниками. Взять того же Сильвестра Медведева, монаха Евфимия, ученика Словеницкого. Да поискать только.

— И ты, надеюсь, тоже не откажешься от кафедры в Академии, Иван?

— Не откажусь, государь. Готов философию и богословие вести.

— Спасибо, Иван. Я рад этому. Жаль, Симеон Полоцкий умер, он бы тоже с удовольствием вошел в Академию.

Федор заметил, как поморщился его собеседник при упоминании Полоцкого.

— Ты что, не согласен, Иван?

— Как я могу с тобой не соглашаться, государь, но, сдается мне, Полоцкий более на Запад тянул.

— А чем же это плохо?

— Ну как? Разве мы, русские, сами не сможем управиться. Вон малороссы в Киеве управились же.

— Симеон Полоцкий был моим учителем. Он научил меня и польскому, и латыни, и даже поэтике. Разве я стал от этого беднее? А, Иван? Он же учил и моего старшего брата Алексея, и столь успешно, что тот по-польски говорил, как на родном языке. У польской шляхты даже возникла идея избрать его королем. И, возможно, избрали бы, если б не пришла к нему ранняя смерть. Нет, Иван, замыкаться на одном языке, даже на родном, это обрекать себя на скудоумие. Я, например, думаю пригласить в Академию греческих наставников, и их обещает прислать нам сам патриарх Царьградский. Ну что скажешь на это?

— Что я могу сказать, государь? Я не смею возразить против твоей воли, но все они, чужеземцы, едут к нам лишь корысти ради. Вот почему, скажем, уехал на родину Юрий Крыжанич? Не он ли звал к всеславянскому объединению.

— Ну, Крыжанич, видимо, обиделся за ссылку, почитай, пятнадцать лет прожил в Тобольске.

— Вот-вот. Он серб, а как в своих сочинениях он срамит русских: и де ленивые, и нечистоплотные, и, мол, пьяницы.

— Ну а разве он не прав? И срамит он, Иван, не позора ради, но алкая исправления нравов. И кстати, не только русских, но и своих не щадит. Вот послушай.— Федор протянул руку, взял со стола книгу, развернул, прочел: «...Задунайские славяне — болгары, сербы, хорваты, уже давно сгубили государство свое, и всю силу, и язык, и весь разум. Не разумеют, что такое честь народная, не думают о ней, и сами себе помочь не могут, внешняя сила им надобна, чтобы поставить их опять на ноги и включить в число народов...» Вот видишь, Иван, как он и о своем народе пишет. И это не злословия ради, а из страстного желания помочь ему. Это очень умный серб, и когда начнется наша Академия, я постараюсь призвать его к нам. Вот у меня лежит его книга «Политические думы», написанная им в ссылке. Здесь он наставляет и нас, государей, как надо править, как улучшать нравы. И мне как русскому стыдно, когда Крыжанич зовет нас учиться у турков трезвости, стыдливости и правосудию. Неужто мы хуже турок, Иван?

— Да что ты, государь.

— А все от нашей необразованности. Крыжанич пишет, что замежные купцы надувают наших потому, что наши порой не знают арифметики. Разве это не обидно?

— Обидно, государь,— вздохнул Белобродский.

— Вот оттого хотелось бы мне при каждом приходе иметь школу или училище. Об этом же, кстати, семьсот лет назад Владимир Святой пекся. Семьсот лет! Подумать только, как мало изменилось у нас на Руси учение народное. А ныне я велел при Чудове открыть училище монаху Тимофею, он привез двух наставников-греков. Разве худо, если они научат наших детей греческому? А? Чего молчишь?

— Я слушаю, государь.

— Вижу, что слушаешь. А сам, поди, по-другому думаешь: зачем, мол, нам греческий? Думаешь?

— Нет, государь, я вполне согласный.

— А раз согласный, помоги Тимофею в этом деле богоугодном. И не бойтесь, содержание вам будет достойное. Завтра с патриархом все решим. Ступай, Иван.

Но когда Белобродский дошел до двери и взялся уж за ручку, царь остановил его вопросом.

— Послушай, Иван, а ты-то греческий ведаешь?

— Нет, государь.

— Тогда вот тебе мое веление: выучи.

— Как? Сейчас? От кого?

— Как «от кого»? Там будет два грека, да и Тимофей добро его ведает. Научит.

— Но, государь...

— Все, все, Иван. Ступай. Выучишь, я сам тебя проэкзаменую. Хорошо ответишь, удвою жалованье. Не выучишь, уменьшу вдвое. Ступай.

Вышел от царя Иван Белобродский обескураженный. Это в его-то возрасте учить какой-то греческий? С ума можно сойти. Но что делать? Царево веление, попробуй ослушайся, недолго и батогов схлопотать. Да и в жалованье кому ж терять хочется?

«Придется Иванко грекам челом бить. Пожалуй, за так и учить не станут.— думал Белобродский, шагая из дворца.— Впрочем, хорошо, если они в русском ни бум-бум, тогда я с ними уроками по-нашему языку стану расплачиваться». Последняя мысль несколько ободрила будущего профессора.

Назавтра к условленному часу пришел к царю патриарх. Как и положено в таких случаях, перво-наперво благословил Федора. Сел напротив него, молвил со вздохом:

— Слушаю, государь.

— Наверное, Тимофей рассказывал тебе, святый отче, о тревогах вселенского патриарха?

— Сказывал, государь.

— Ну и как ты к сему относишься?

— Я тоже озабочен его тревогой, сын мой. И считаю, мы должны все сделать для укрепления православия на Руси, коль центр христианства перемещается к нам. Царьград уже в поганьском окружении.

— Я думаю, святый отче, что надо нам на Москве открыть свою Академию по примеру киевской.

— Я совершенно согласен с тобой, сын мой. Приспел уж час.

— Первым долгом, я полагаю, надо решить вопрос о содержании блюстителя и учителей. Для этого я вот составил список монастырей, которые будут выделять содержание Академии. Я думаю, Законоспасский, Иоанна Богослова, Андреевский, Даниловский, впрочем, вот список их, читай сам, отче.

Патриарх взял список и, сильно щуря глаза, стал читать.

— Я думаю, восемь монастырей достаточно? — сказал вопросительно Федор.

— Значит, содержать Академию будут только монастыри? — спросил Иоаким с сильным нажимом на «только». И Федор понял, что хотелось патриарху этим сказать: а ты, мол, государь, в стороне останешься?

— Отчего же, святый отче, от себя я выделяю Вышегородскую дворцовую волость со всеми пустошами. И в уставе, думаю, укажем, что взносы на Академию позволено вносить всем желающим. Я думаю, многие бояре потрясут свои калиты. А теперь мне хотелось бы обсудить основные положения по статуту.

Федор перевернул на столе несколько листов бумаги.

— Я тут вот набросал. Ну, во-первых, в Академии дозволено будет учиться всем желающим, независимо от знатности и рода.

— А не забурчат бояре по этой статье, как это мой сын будет с простолюдином за одним столом сидеть?

— Не забурчат, думаю. Вспомни, отче, как Владимир Святой в училище набирал, выли, как по покойникам. И думаю, поперву и бояре спешить не станут с отдачей детей. Но я тут вот предусмотрел: успешно оканчивающих Академию жаловать в приличные их разуму чины и получать за мудрость свою они будут особенное щедрое царское милосердие. А ведь, согласись, отче, ум не от родословной зависит? Другой хоть и Рюрикович, а туп как бревно, а иной из мизинных, а мудр, как Соломон.

— Ты прав, государь. У тебя в Думе наполовину невеликого ума сидельцы, хотя и знатных родов.

— Вот, вот. Начну раздавать должности лучшим выпускникам Академии, тогда пусть и побурчат долгобородые.

Спохватился Федор, что брякнул «долгобородые», да уж поздно, слово — не воробей. У патриарха эвон какая бородища-то. Но Иоаким глазом не моргнул и вида не подал, что на свой счет принял.

— Я бы хотел о блюстителе и учителях сказать,— заговорил патриарх.— Чтоб и блюститель Академии, и учителя, ему подчиненные, должны быть благочестивыми и от благочестивых родителей происходить.

— Я с этим согласен, святый отче,— отвечал Федор, что-то помечая в своих бумагах.

— А если прибудут учителя из греков, то допускать в Академию лишь тех, которые будут иметь от вселенских патриархов свидетельство о крепости их в нашей вере. Кроме того, и блюститель, и учителя должны целовать крест, что будут крепко и нерушимо содержать православную веру, защищая от всяких других вер и ересей. А за хулу на православие сжигать богохульников без всякого милосердия.

— О-о, а не строго ли, святый отче?

— Не строго, сын мой. Ересь огнем выжигать надо.

— А если человек покается?

— Все едино из Академии изгоняться должен.

Проговорили патриарх и царь до позднего часа, обговаривая каждую статью, записывая ее в полном изложении.

Федор старался не сердить старика, принимая почти все его замечания без оговорок. Даже когда Иоаким предложил сжигать еретические книги, Федор вынужден был согласиться, хотя знал, что патриарх к еретическим книгам относил и поэтику. Однако царь надеялся при подготовке устава к напечатанию опустить столь грозную сентенцию.

Когда патриарх ушел и пора было отправляться в опочивальню, куда после смерти жены Федор не очень-то стал торопиться, решил он написать еще и грамоту, в которой хотел определить перечень наук для будущей Академии.

«...Как Соломон устроил семь училищ, так и я, царь Федор, подражая Соломону и древним греческим царям благочестивым, намерен устроить в Заиконоспасском монастыре храмы чином Академии и в оных сеяти семена мудрости, то есть науки гражданские и духовные, начиная от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии разумительной, естественной и правной, даже до богословии учащей вещей божественных и совести очищения постановить. При том же и учению правосудия духовного и мирского и прочим всем свободным наукам, ими же целость Академии сиречь училищ, составляется быти».

С удовлетворением Федор поставил точку и собрался уже уходить, но вдруг стал рыться в листах, которые заполнял вместе с Иоакимом, и, найдя последний, приписал в конце: «За долговременную и ревностную службу в Академии учителям назначать пенсию». Подумав, добавил: «А Академии зваться Славяно-Греко-Латынской по языкам, кои в ней преподаваться будут».

В дверь заглянул Языков, сказал с укоризной:

— Федор Алексеевич, уж скоро первые петухи закричат.

— Ну и спал бы, Иван, чего беспокоишься.

— Мне должность не позволяет. Даже вон Родимица завздыхалась, костями скрипит.

— Ладно, ладно. Пойдем. Бери шандал дорогу светить.

Глава 50

ДА БУДЕТ ТАК

— Василий Васильевич,— говорил грустно государь.— В прошлой войне наша держава содержала без малого сто пятьдесят тысяч ратных людей, что для казны было, сам понимаешь, вельми тяжело. Тем более что траты наши не увенчались успехом на ратном поле. Я велел тебе ведать ратные дела и подумать о лучшем устроении войска и управлении им. Каковы успехи у тебя в этом?

— Государь, я думаю, надо собрать выборных людей от всех городов — генералов, полковников рейтарских и пехотных — и с ними вместе подумать о лучшем устроении войска. У них есть хоть и худой, но боевой опыт, они на собственной шкуре убедились, сколь несовершенно наше воинство.

— Собирай, Василий Васильевич, и с Богом за дело. Да вели привезти им всем разрядные книги.

— А зачем они, государь?

— А там увидим.

Князем Голицыным были разосланы грамоты во все города: предлагалось выбрать двух человек в ратном промысле искусных и отправить в Москву «для решения ратных дел по государеву указу и везти с собой разрядные книги».

Для столь высокого и важного собрания была уступлена Грановитая палата. Заседали несколько дней, и начали с разбора военных действий и обид, случившихся на поле брани.

— Вы посмотрите на турского янычара,— шумел стрелецкий голова,— он едва ль не с детства наторен владеть оружием, в бою он чертом вертится со своим ятаганом и только что зубами не кусается. А наш ополченец? Его только вчера от сохи взяли, он не знает, с какой стороны пищаль заряжается, а в руке ему удобней держать не саблю, но палку. Он неповоротлив как медведь. В бою не успеешь оглянуться, а уж янычар ему башку снес. И добро б одному, а то ведь на одного турка мы пять или десять своих ратников тратим. При таком неравном размене мы никогда настоящей победы иметь не будем.

— Верно, голова,— кричали с лавок полковники.

Командир сердюков, чуть не плача, жаловался:

— Мой полк турки окружили, я шлю в соседний рейтарский полк к боярину гонца: «Выручай!» А он мне в ответ: кто ты такой, чтоб мной командовать, я, грит, Рюрикович, а ты? А я попович, до полковника верной службой дошел, не знатностью.

— Ну и что дале-то? — спросил Голицын.

— Что дале? Прорывались сами, и пока прорывались, половину сердюков положили. А рейтары стояли и смотрели.

— И не пособили?

— А зачем им пособлять? Рюрикович не приказывал.

Кряхтел князь Голицын, головой досадливо вертел, что-то писал на бумаге.

На следующий день начал собрание с зачтения грамоты государевой:

— «Ведомо великому государю учинилось, что в прошедших воинских бранях, будучи на боях с государевыми ратными людьми, неприятель показал новые в ратных делах вымыслы, которыми чинил промысел над государевыми ратными людьми, для этих нововымышленных неприятельских хитростей надобно сделать в государских ратях рассмотрение и лучшее устроение, чтобы иметь нам в войне против неприятелей пристойную осторожность и охранение и чтоб прежнее бывшее воинское устроение, оказавшееся на боях не прибыльно, переменить на лучшее».

Воинские начальники внимательно выслушали царскую грамоту. Голицын, окончив чтение, обвел собрание внимательным взором:

— Государь указал нам желаемое направление воинского устроения и ждет наших предложений. Кроме того, государь приказал сдать разрядные книги, которые вы привезли с собой.

Во второй день были составлены списки, в которых служилые люди были расписаны по ротам в ротмистры и поручики изо всех родов и чинов, а не только из знатных. Было решено просить государя утвердить эти списки. А к ним была приложена челобитная государю от выборных: «Великий государь Великой, Малой и Белой Руси самодержец, по твоему указу наши дети и сродники, и однополчане написаны в ротмистры и поручики, а Трубецких, Одоевских, Куракиных, Репниных, Шеиных, Троекуровых, Лобановых-Ростовских, Ромодановских и других родов в те чины никого теперь не написано, потому что за малыми детьми они не годны к службе. Так мы, выборные люди,

опасаемся, чтоб от тех вышеописанных и от других родов не было нам и родам нашим укоризны и попреку. И для совершенной в ратных и посольских делах прибыли и лучшего устроения указал бы великий государь всем боярам, окольничим, думным и ближним людям на Москве и в других городах у ратных дел быть между собою без мест, где кому великий государь укажет. И впредь никому ни с кем разрядом и местами не считаться, чтоб от тех случаев в ратных и всяких делах помешки б не было».

Вечером, когда были доставлены списки и челобитная от выборных, Федор Алексеевич внимательно прочел, перелистал списки, спросил Голицына:

— Ты прочел списки, Василий Васильевич?

— Да, государь.

— Надеюсь, в них нет никого случайного?

— Нет, государь. Они при мне составлялись, и тут записаны люди, уже отличившиеся на поле брани.

— Надо, князь, нанимать офицеров и из иноземцев, хорошо знающих строй и могущих нашим преподать эти знания.

— Хорошо, государь.

Федор Алексеевич взял перо, умакнул в чернила и в конце списка начертал: «Быть по сему. Федор».

— Василий Васильевич, сего дела в долгий ящик откладывать не будем. Я назначаю на послезавтра, а именно на двенадцатое января, чрезвычайное сидение с боярами, патриархом и архиереями из монастырей. Вели туда же доставить все разрядные книги. На «сидении» ты прочтешь эту грамоту от выборных людей, потом скажу свое слово я, патриарх и кто еще пожелает. Там и примем окончательное решение.

На следующий день государь приказал дворецкому, чтоб он распорядился в передней очистить от золы и углей печь и не затоплять ее до его, царева, разрешения.

— Для чего это, государь? — спросил Хитрово.

— Для дела, Богдан Матвеевич. Исполняй.

Дворецкий не посмел переспрашивать, раз не пожелал царь открыть задуманное, на то его царская воля, и нечего вдругорядь соваться: любопытной-то Варваре нос оторвали.

Двенадцатого января в Думе собрались все думные бояре и дворяне, а также выборные архиереи. Царь с патриархом пожаловали последними, сели на свои места: Федор в кресло царское, патриарх несколько ниже на кресло, для него принесенное. Думцы и архиереи, сидевшие по лавкам, притихли.

Государь, окинув взором сидевших, кивнул Голицыну, молвил негромко:

— Читай, князь, челобитную выборных людей.

Голицын громко прочел челобитную и тут же стал сворачивать ее. Как только свернул и перестал шуршать бумагой, заговорил царь, заговорил негромко, и оттого в Думе не то что шевелиться, а кажется, дышать перестали,— такая тишина установилась.

— Я, как государь, должен во всем следовать закону и заповедям Христа, который заповедовал нам любовь и бескорыстие к ближнему. Но злокозненный плевосеятель и супостат, видя от славного ратоборства христианским народам тишину и мирное устроение, а неприятелям нашим озлобление, всеял в незлобивые сердца славных ратоборцев местные случаи, от которых в ратных делах происходила великая пагуба, а ратным людям от неприятелей великое умаление. Местничество вредит благословенной любви, искореняет мир и братское соединение, разрушает усердие и служит на пользу лишь неприятелю нашему. Еще Иван Васильевич Грозный, борясь с местничеством, повелевал в походах быть без мест, тож делал и родитель мой, однако зло это и поныне процветает в державе нашей. Увы, я доси не могу искоренить это зло и оттого терпим мы на бранном поле срам и бесчестье. Вот князь зачел вам челобитную выборных людей, тех, кто более всего терпел пагубу от местничества. Так давайте решите сегодня по этому челобитью — всем разрядам и чинам быть без мест или попрежнему быть с местами?

Царь окончил, взглянул на патриарха, тот начал говорить возмущенно:

— От местничества аки от источника горчайшего, вся злая и Богу зело мерзкая и всем нашим царственным делам ко вредительному происходило, и благое начинание, яко возрастную пшенице терние, подавляло и до благополучного совершения, к восприятию плодов благих не допускало. И не точи род егда с иным родом за оное местничество многовременные злобы имел. Аз же и со всем освященным собором не имеем никоея достойные похвалы принести великому вашему царскому намерению за премудрое ваше царское благоволение.

Патриарх кончил, отер лоб платком. Царь обратился к боярам:

— Хочу услышать и Думы слово.

— Что и говорить,— поднялся с лавки Хованский.— Вели, великий государь, учинить по прошению патриарха и архиереев, чтобы всем во всех чинах быть без мест, ибо в прошлые годы во многих делах от местничества, когда полковники и воеводы перепирались меж собой, кто из них знатнее, нашему воинству была поруха, а неприятелю радованье.

— А чтоб навсегда искоренить сие зло, вели, государь, нарушителей смертью карать или ссылкой в Сибирь, альбо кнутом хорошим,— предложил Одоевский.

Выступили и Милославский, и Долгорукий, и все в одно слово говорили: местничеству не быть. Никто не выступил против царского и патриаршего приговора. Может, кому-то и думалось за местничество, особенно из старых знатнейших фамилий, но никто не решился поперек царского и патриаршего слова даже пикнуть. А когда государь спросил, обращаясь ко всей Думе, все ль думают так, то бояре дружно ответствовали:

— Да будет так!

— Внесите разрядные книги,— приказал царь.

Стрешнев отворил дверь, и через нее пошли один за одним подьячие, неся высокие стопы книг перед собой и все это составляя на пол. Получилась изрядная гора.

— Здесь, в этих книгах,— указал царь на эту «гору»,— за многие годы собраны записи о местах. Для совершенного искоренения и вечного забвения этого зла велю ныне же в вашем присутствии предать эти книги огню. И отныне повелеваю всем боярам, окольничим и всяких чинов людям и в полках, и в посольских делах быть между собой без мест. И впредь никому ни перед кем прежними местами не возноситься. И впредь да не воспомнится местничество вовеки.

К концу голос государя возвысился и он приказал подьячим, стоящим у «горы»:

— В печь! И немедля!

— Да будет так,— нестройно подтвердили с лавок бояре.

— Гореть злу синим пламенем,— не удержался сказать последнее слово Хованский.

Подьячие вновь подхватили стопы разрядных книг и потащили их назад в переднюю, где уже пылала печь. Несколько окольничих было послано проследить за сожжением, дабы не было утаено от огня ни одной «плевосеятельной» книги.

И когда из передней сообщили, что книги уже славно горят, Федор Алексеевич повеселел и с умиротворенной улыбкой обратился к Думе:

— Благодарю вас, бояре и отцы святые, за столь единодушную поддержку моего решения. И в знак моей при-

знательности вам я велю сохранить в Разряде и всегда держать там родословную книгу и всем вам разрешаю держать родословные дома, у кого они есть, дабы будущие потомки ваши могли гордиться своими пращурами и наследовать их великие дела во славу отчины. Гордиться, но не выситься. Ибо спесь пучит, смиренье возносит.

— Да будет так,— сказали бояре, искренне довольные, что государь ныне повеселел. Впервые со дня смерти жены он улыбался, и это Думой засчитывалось себе в заслугу.

Глава 51

ИЗ ПОГАНСТВА В ХРИСТИАНСТВО

Артамон Лузгин сколь помнил себя жил на Волге под Казанью и промышлял в основном рыбалкой, а потом решил не только рыбой, но и хлебом своим разживиться. Вспахал, засеял, и едва взошла полба, как явился к нему местный мурза Темир.

— Артамошка, почему без спроса на чужой земле сеял?

— А чья она?

— Моя, конечно. Я на ней князек.

— А я и не знал.

— Так я тебе и поверил. Но я человек добрый, Артамошка. Пусть твоя полба растет. Не жалко. Пусть. Только, когда соберешь урожай и обмолотишь, половину зерна мне отдашь.

— За что? — удивился Артамошка.— Эвон вокруг земли немерено, хоть засыпься.

— За землю, Артамошка, за землю. Хоть она и немерена, но моя. Я князек на ней. Вот.

Уехал мурза, расстроил Артамошку. Поехал Лузгин к соседу-татарину, который давно уж полбу сеял, и тоже на земле Темира.

— Здравствуй, Керим.

— Здравствуй, Артамошка. Что невеселый?

— Не с чего веселиться. В кои веки вздумал свой хлеб вырастить, ан мурза явился, велит половину ему за землю отдавать.

— Ну тут он прав, Артамошка. Земля его, ему за службу нарезана. Но сколько-сколько он с тебя заломил?

— Половину.

— Фитю-тю,— присвистнул сосед.— Это и впрямь разбой. С нас он четвертую, а с некоторых даже пятую часть берет.

— Это почему же? — удивился Артамон.

— А ты его самого спроси.

— И спрошу.

— Вот-вот, спроси, Артамошка.

Приехал Артамон к мурзе, он сидел под деревом и кумыс пил из деревянной пиалы. Увидел Лузгина, вроде даже обрадовался.

— А-а, Артамошка. Драствуй, драствуй. Хочешь кумыса?

Конечно, хотел кумыса Артамошка, но если выпить, как же тогда сердитый разговор начинать?

— Спасибо, Темир. Не хочу.

— Ну гляди,— посерьезнел мурза, поняв, что гость не случайно от угощения отказывается, чем наносит хозяину стола обиду. Спросил, сразу нахмурившись: — Что у тебя?

— У меня к тебе вопрос, Темир, почему ты со всех берешь четвертую, а то и пятую часть, а с меня половину заломил?

— А ты не догадываешься? — едва усмехнулся мурза.

— Не догадываюсь.

— А ты подумай.

Артамон изморщился, даже на небо посмотрел, словно там был ответ написан. Разочарованно развел руки, признался:

— Нет. Не догадываюсь.

— Ты христианин, Артамошка? Так?

— Да я православный.

— А я мусульманин. Понял?

— Ну и что?

— Как что? Перейди в нашу веру, Артамошка, и я тебе сразу, как брату по вере, скошу до четверти, а то и до пятой части. Ну?

«Ах ты рожа поганская,— подумал Артамошка.— Это чтоб я — да Христа продал?» А вслух сказал вполне пристойно:

— Это надо подумать.

— Подумай, подумай, Артамошка.

Артамошка думал недолго, всего одну ночь. Не спал, ворочался, думал. Жена спрашивала:

— Артамон, ты че? Заболел, че ли?

Не станет же он бабе об этом рассказывать. Баба есть баба, волос долгий — ум короткий, что она сможет посоветовать. И утром, так ничего и не сказав жене, оседлал своего Сивку и поехал в Казань. Нашел там у Кремля площадного писчика — на ремне чернильница, за ухом перо — сказал ему:

— Мне надо челобитную написать.

— На кого слать хочешь? На воеводу? На государя?

— На патриарха.

— У-у,— поднял уважительно вверх брови писчик.— Три алтына.

— Ладно. Согласен.

— Покажи деньги.

— Зачем?

— Ну как. Я надысь одному написал. Плати, говорю. А он по карманам шасть, а там пусто. Божится, что были, что, мол, тать обчистил. А я-то тут при чем? Я трудился, бумагу тратил, плати. В общем, кажи, брат, деньги. И почнем.

Долгонько Артамонова челобитная до Москвы шла, долгонько. Наперво попала к митрополиту нижегородскому Филарету, месяца два пролежала, пока до нее у владыки руки дошли. Прочел ее Филарет, возмутился даже, выговор секретарю сделал:

— Что ж ты, братец, не читал рази?

— Читал, владыка.

— Так что ж мне не говорил?

— Говорил, владыка.

— А я что?

— А вы говорили, успеется, мол, отстань.

— Неужто? Ахти мне батюшки. Надо было напомнить, братец.

— Я напоминал, владыка.

— А я что?

— А вы: отстань.

— Выходит, мы с тобой оба грешники, братец. Да, да, не перечь. Челобитная наиважнейшая, а она у тебя два месяца...

— Но я ж вам, владыка...

— Все, все, замолчь. И с первой же оказией отправь патриарху.

В общем, писал Артамошка челобитную в мае, на летнего Николу, а легла она на стол патриарха в декабре, на Николу зимнего. С ней Иоаким отправился к царю.

— Сын мой, глянь, что творится на русской-то земле. А? Это как? Христианина силодером в поганскую веру перегоняют. А?

Федор Алексеевич прочел Артамошкину челобитную, покачал в удивлении головой.

— По-моему, это уже не первая. В Казанском приказе их несколько лежит.

— Я знаю, сын мой, я и те видел, мне дьяк казал. А эту я почему тебе принес-то?

— Почему?

— Да этот самый Артамошка, сам того не ведая, подсказывает в конце, как поступить надо. Перечитай-ка вот, что я ногтем отчеркнул.

— Так... Ага, вот. «А лепш было бы, пресветлый отче, кабы не я в иху поганскую, а он бы, Темирка тот, в нашу христианскую перешел. Вот две души бы и спасены были: моя — от предательства, его — от греха поганского».

— Ну как? — спросил Иоаким.

— Совет хороший, но как его в жизнь проводить. Опять огнем и мечом, как Добрыня новгородцев крестил? Так это с турками на ссору лезть. Только что помирились. Им только причину дай, пойдут войной, мол, братьям по вере пособлять. А мы еще от тех ратей не отдышались.

— Это верно. Подумать надо. Но оставлять без последствий не можно. Эдак пойдет, так и не успеешь оглянуться, и вся Русь святая опоганится. А патриарх-то Царьградский, помнишь, что писал мне?

— Помню, святый отче.

— Вот то-то. На нас у него вся надежа. На Русь.

— Будем думать,— сказал Федор Алексеевич.

И ночью эта челобитная не шла из головы государя. Ворочался, вздыхал. Постельничий Языков, перебравшийся после смерти царицы опять в опочивальню к царю и не смевший заснуть ранее государя, не выдержал наконец, спросил:

— Что за забота, Федор Алексеевич?

— Да с мусульманами нашими российскими неладно. Силком хотят христиан в свою веру перетянуть.

И рассказал государь в подробностях об Артамошкиной челобитной, и даже о совете его, как поступить надо.

— Так в чем дело, Федор Алексеевич, так и делай, как этот мужик советует.

— Нельзя силой, Иван Максимыч, нельзя. Можно и с ханом, и с султаном поссориться.

— Так и не надо силой, Федор Алексеевич. Объяви указ, так, мол, и так, в державе христианской землей владеть должны лишь христиане. И все. Тут же твой Темирка в церковь прибежит креститься. Ей-ей.

Царь помолчал, видимо обдумывая предложение постельничего, потом повернулся на ложе, почти свесился с него, дабы ближе видеть Языкова.

— А ведь ты, Иван Максимыч, дело говоришь. Ей-богу, пожалуй, я так и сделаю.

После заутрени государь велел позвать к себе думного дьяка Семенова. Тот явился запыхавшийся, с усами, еще мокрыми от утреннего кваса.

— Звал, государь?

— Звал, Василий Григорьевич. Садись к столу, станем указ писать.

А в конце января и начале февраля уже поскакали по татарским и мордовским деревням приставы и подьячие. Сзывали весь народ на площадь перед съезжей избой, громко указ царский читали:

— «...Сим объявляем всем мурзам и татарам, их женам, вдовам, недорослям и девкам, чтобы они упрямство свое отложили, во святую веру греческого закона крестились бы и били челом великому государю о поместьях своих и вотчинах до двадцать пятого февраля сего текущего года. А которые до этого срока не крестятся и челобитен о вотчинах и поместьях не подадут, у тех поместья и вотчины и всякие угодья отнять и раздать тем мурзам и татарам, которые крестились уже и крестятся до двадцать пятого февраля. Тот, кто крестится, то за ним останутся прежние крестьяне и, кроме того, ему будет выплачиваться жалованье. А мордве, ныне крестившейся, будет освобождение от податей на шесть лет».

— Шесть лет не платить податей! — восторженно рокотала толпа.— Пишусь в мордву!

Когда явился пристав в деревню Темира, сам мурза к съезжей не пошел, спесь не позволила: как это он, князец, будет между простонародья толкаться. Знал Темир, что пристав его не минует, обязательно забежит кумысу отведать да бараниной побаловаться. И не ошибся. Отпустив с площади народ, пристав явился к мурзе. С порога с поклоном приветствовал:

— Мир дому твоему, Темир.

— Садись к столу, угощайся, Иван. Небось замерз.

Пристав не стал чиниться, снял шапку, скинул шубу на лавку, перекрестился, сел к столу.

— Ну что за вести привез нам, Иван?

— У-указ государев,— отвечал пристав, опоражнивая пиалу, намеренно не спеша оглоушивать хозяина дома. За гостеприимство неловко вроде сразу-то.

— Хороший ли указ, Иван?

— Это как посмотреть, Темир. По мне так он очень хорош. А по тебе — не ведаю.

Утолив первый голод, пристав наконец сказал, сочувственно вздохнув:

— Придется тебе, Темир, креститься в нашу веру.

— Это почему же?

— Государь велел. Держава, мол, христианская, и все должны быть христиане.

— А если я не схочу?

— Схочешь, Темир. Ежели до двадцать пятого февраля не окрестишься да не подашь челобитную государю, то у тебя землю и все угодья отберут и отдадут другому татарину, который уже крещен.

— А есть такие?

— Ого. Сколь угодно. В Лаишеве, почитай, все татары крестились.

Долго молчал Темир, оглоушенный такой новостью, потом сказал:

— Это что? Поди, и свинину заставят есть?

— Про это в указе не сказано, но я полагаю, всяк будет есть то, к чему привык, да и что у кого есть, кому что Бог послал.

— Это ежели меня крестят, как же назовут-то?

— Можешь свое имя оставить, а можешь и наше, христианское взять. Можешь себе и фамилию придумать.

— Фамилию? А как это?

— Ну как? Очень просто. Скажем, ты Темир. А отца твоего как звали?

— Керим.

— Ну вот, станешь ты зваться Темир Керимович. А? Как? Звучит?

Татарин покачал головой неопределенно, но хмыкнул вроде заинтересованно.

— Ну, а если полностью, то так и обзовешься, скажем, князь Темир Керимович Темирканов. А?

Пристав даже засмеялся радостно, что сумел доказать притягательность перехода мусульманину в христианство.

Татарин раздельно повторил за приставом:

— Князь Темир Керимович Темирканов. Вроде неплохо. А?

— Еще как здорово, князь,— ввернул пристав словцо, пришедшееся хозяину по вкусу.— Наливай пиалы. Да, кстати, станешь христианином, можешь с кобыльего молока на водку переходить. В нашей вере это можно, и даже желательно.

— Почему желательно?

— А как же? Все питейные заведения и кружечные дворы за государем. Все деньги с них в казну идут.

Насосавшись кумыса и от пуза наевшись баранины, отвалил от стола пристав.

— Ну, спасибо, князь, за угощение. А мне бежать надо. Еще успею сегодня две деревни оповестить.

Ушел пристав, оставив в глубоком раздумье Темира. Долго ходил он по горнице, вздыхал, колебался: с Аллахом оставаться или к Христу переходить? Нелегкое это дело веру менять, ох нелегкое. И как это царю в голову пала такая мысль немилостивая?

И невдомек было Темиру, что сам же он когда-то этот камушек с горы толкнул, предложив Артамошке веру менять. Вот и покатился камушек вниз, все крупнее и крупнее за собой глыбы увлекая, вот так и обвал начался. Обвал, накрывший и самого Темира. Именно это чувство испытывал мурза, словно под обвал попал, из-под которого не выбраться, не вылезти. А впрочем!..

— Князь Темир Керимович Темирканов,— повторил он вслух, наслаждаясь звучанием полного своего имени и звания. Оно слух ласкало.

Однако даже себе не хотел признаваться мурза, что лучше всего звали на крещение поместья и угодья, которые останутся за ним. А может, глядишь, еще и прибавятся. Найдется же какой-нибудь глупец, не захочет креститься — и его землю Темиру отпишут. Может же такое случиться? Может. А Темир — не глупец, завтра же поедет в церковь, надо только подумать, чем священника одарить, чтобы окрестил хорошо.

Глава 52

ТОЛЬКО ПО СОГЛАСИЮ

Нелегко быть вдовцом молодому человеку, а окружающим от этого ни жарко ни холодно. Никого-то это не касается, кроме его одного.

Но вдовствующий царь, молодой, да еще и бездетный, это уже дело касаемо всей державы, ибо грозит пресечением династии, а значит, великой смутой в государстве.

— Надо женить Федора,— решили в верхней горнице тетки и сестры царя.

— Женить,— особенно настаивала Софья Алексеевна,— пока он еще что-то может. После смерти Агафьи совсем захирел. А Ванька? Этого дурака на престол? Вся Европа обсмеется.

А о Петре Алексеевиче, которому уж десятый год пошел, здесь старались не поминать: нарышкинское семя, воцарись Петр — и конец корню милославскому. Самый лучший и правильный выход — скорее оженить Федора: он родит наследника и тогда Пете не видать царства как своих ушей. Потому как полагается венец сыну передавать, не брату. А то, что сын этот еще мал — не велика беда, родные тетки за него поправят. Все-то у царевен было просчитано и разложено по полочкам. Дело за Федором. А он, как нарочно, еще со свадьбы в верхнюю горницу ни ногой. Словно и не родной.

И все же Татьяне Михайловне в один из вечеров удалось залучить его в Детский дворец.

— Федя, я хочу отыграться в шахматы. Приходи, порадуй старуху.

Пришел Федор Алексеевич. И все в верхней горнице искренне обрадовались ему: наконец-то! Даже Иван взвизгнул от радости, когда Федор сел за шахматную доску. Младший брат, зайдя ему за спину, хотел уже зажать ладонями старшему глаза: угадай кто? Эта забава приглянулась в последнее время Ивану — подкрадываться к сестре или тетке, зажимать ей глаза и спрашивать: угадай, кто я? Женщины, теша глупенького, нарочно называли кого угодно, только не его, что приводило Ваньку в восторг.

Вот и тут решил он позабавить старшего брата, поди, не знает тот такой игры. Татьяна Михайловна вовремя угадала намерения дурака, прикрикнула:

— Ванька, не смей. Софья, не видишь, что ли?

Царевна Софья только брови насупила строго, глазами Ивану крутнула: пшел вон! Иван побаивался старшей сестры, эта может и по загривку ощеучить, а рука у нее тяжелая. Отошел к окну к своим игрушкам.

— Ну что делал ныне, Федя? — спросила Татьяна Михайловна, передвигая первую фигуру. Спросила не столько из интереса, сколько из желания начать хоть с этого разговор.— Чтой-то ты утомленный очень.

— Да отправлял думного дьяка Хлопова в Забайкалье. Наставлял.

— Экую даль-то. А зачем?

— Города повелел строить в Даурье и по Селенге.

— А зачем они нам там?

— Как же? Там Китай рядом, границу стеречь надо. Вот Кирилл Осипович Хлопов будет там и строить, и служилых людей на охрану ставить. Ему там дел выше головы будет.

— Да, да, да,— поддакивала Татьяна Михайловна, мало вникая в то, что сообщал племянник, а лишь придумывая, как ей перейти к главному.— Держава велика, что и говорить, Федя. О ней надо заботиться, это ты прав. Но вот ты за сегодняшний день хлопочешь. Верно?

— Почему? А крепости в Забайкалье разве лишь для сегодняшнего дня? Не ходи сюда конем, он же под ударом будет.

— А и верно. Как же это я не подумала. Ты меня не так понял, Федя. Я не за крепости говорю, я за царство. Тебе бы пора, Федя, о наследнике подумать. Пора, пора.

— Ты опять лезешь под удар, теть Тань.

— Фу ты Господи, этому коню жить надоело.— Татьяна Михайловна задвинула коня назад, чтоб он разговору не мешал. Помолчав, продолжила: — А наследника, Федя, в капусте не найдешь, жениться надо.

— Что-то меня не тянет на женитьбу. Да и не по-людски это: едва первую жену схоронили и уж вторую брать. Погодить хоть с год надо.

— Что ты, Федя! Годить может кто из простых, у которых ничего нет, кроме зипуна. А на тебе царство, тебе о наследнике в первую голову думать надо.

— А что наследник? За ним дело не станет, вон Петьша подрастает.

Тут уж не удержалась Софья Алексеевна, встряла в разговор:

— Ты что, с ума сошел, братец? Да твой Петьша назавтра же зашлет нас к черту на кулички.

— С чего бы ему вдруг вас засылать-то?

— А то не догадываешься? Где ныне Нарышкины дядья его? Вот то-то. Их отзовет, а нас туда, а может, и дальше куда.

— Да вроде он не злой, Петр-то.

— Петр-то, может, и не злой. А мачеха-то Наталья, она ведь за свою родню все нам припомнит. Первым делом Матвеева из Мезени вытащит. А тот уж выспится на нас.

— Т-так. Теть Тань, тебе шах.

— Ах ты Господи, как же это я.

Татьяна Михайловна досадливо поморщилась, склонившись над доской. С разговором-то не следила за игрой — и вот те шах едва ли не на восьмом ходу. Прикрыла короля пешкой.

— Вот так. Пусть ишо подышит.

— Вы что, меня хоронить, что ли, собрались?

— Да ты что, Федя? С чего взял-то?

— Как «с чего»? Наследника уже мне ищете. А мне ведь всего двадцать лет.

— Феденька, да живи ты хоть сто лет. Разве мы об этом. Мы о будущем державы печемся. Неужто не понимаешь? У меня доси Агафья и Илья в сердце.

— Да понимаю я все, теть Тань, но и вы меня поймите!

— Феденька, милый. Все мы понимаем, все. Мы ведь и сами ревели как коровы, когда Илья помер. Сочувствуем тебе до глубины души. Но ведь ты царь, Федя! Царь!

— Ты вон своего «царя» береги, Татьяна Михайловна. Опять ему шах.

— Ах ты Господи. Совсем припер к стенке мово королишку. Я вот сюда его.

— Сюда нельзя.

— И правда. Э-э, так ему мат, кажись?

— Выходит, что мат.

Далее игра уже была не нужна, Федор был втянут в нужный разговор, и тут уж царевны насели на беднягу: «Надо жениться». И лишь тогда выпустили его из верхней горницы, когда добились от него если не согласия, то хоть слова обнадеживающего: «Ладно. Я подумаю».

В своей опочивальне, растревоженный разговором с царевнами, он опять долго не мог уснуть и, поворочавшись, повздыхав, окликнул постельничего:

— Иван Максимыч, ты спишь?

— Нет, Федор Алексеевич, как можно.

— Был вот у теток ныне. Насели на меня — женись да женись. Как ты думаешь, хорошо ли это будет?

— Федор Алексеевич, дорогой, конечно хорошо. Ты царь, молодой, тебе жену край иметь надо.

— А патриарх?

— Что патриарх?

— Одобрит ли? На второй брак церковь знаешь как смотрит.

— Куда он денется. Может, сам венчать не станет. Так мы и без него обойдемся, вон духовник твой Никита обвенчает.

— Хорошо бы так, чтоб поменьше шума, а то перед людьми все же неловко.

— И так можно, государь.

— И без пира бы и без поздравлений. А то ведь Агафьюшке-то на небе, ее душеньке, чай, неприятно будет.

— Оно можно и без пира,— сказал Языков нерешительно, но, подумав, добавил: — Хотя, конечно, как-то несолидно получится. А вообще-то, пир можно закатить и без тебя с невестой. Пусть гудят одни бояре-те.

— Хых, Максимыч. Мы с тобой не поймали — общипали, уж и невесту обговорили.

— За невестой дело не станет, Федор Алексеевич. Я такую девицу знаю, ай да люли.

— И кто ж такая? — удивился Федор столь скорой находке Языкова.

— Марфа Апраксина.

— Постой, постой, это какого же Апраксина?

— А Матвея Васильевича дочь.

— Так это Марфинька? — воскликнул государь.— Но она ж еще... Хотя постой, ей же уже... Это сколько же?

— Ей уже пятнадцать, Федор Алексеевич. А какая красавица, ты б посмотрел.

— Да знаю, чего ты мне рассказываешь. Я ее видел... Но тогда ей было, кажется, десять лет. Боже, как время-то летит. Марфинька — невеста.

Языков, почувствовав заинтересованность государя, даже вскочил на своем тулупе. Еще бы, как-никак с Апраксиным он родня. Оттого и Марфинька у него вмиг с языка соскочила, едва царь о невесте обмолвился. Это кому ж не лестно с царской семьей породниться, хотя и через седьмое колено? Тут уж не до сна и постельничему стало. И он не менее часа расписывал Федору Алексеевичу достоинства его будущей невесты: и красавица, и умна, и добра, и грамотна, даже латынь ведает. И государь с удовольствием слушал эти похвалы и все пытался представить себе ее нынешнюю. И никак не мог, все время виделась та розовощекая девочка Марфинька: «Господи, Марфинька — невеста».

Утром чуть свет по морозцу, по снежку помчался Языков к Апраксиным. Приворотный сторож, оттащив собак, пропустил его в дом. В сенцах, оббив от снега валенки, он вошел в прихожую, где встречен был самим хозяином.

— Иван? — удивился Апраксин столь раннему приходу гостя.— Никак, что важное?

Знал же Апраксин, кем состоит при государе Языков, и столь раннее его появление в доме рядового стольника невольно озадачивало: постельничего государь с пустяками не пошлет.

— Важное, Матвей Васильевич, идем в твой кабинет,— скинув шубу, предложил Языков.

В кабинете, едва присели на лавку, Языков сказал торжественно:

— Ну, свояк, я к тебе с вестью радостной и приятной.

— Какой? — прохрипел Апраксин сразу пресекшимся голосом.

— Великий государь Федор Алексеевич просит твою дочь в жены.

— Марфиньку? — пролепетал, побледнев, Матвей Васильевич.

— Ну а кого же? У тебя, чай, одна дочка.

Апраксин закатил глаза, схватился за сердце, задышал часто, потом, глубоко вздохнув, вымолвил:

— Ну, Иван, эдак и убить можно.

— Ты что? Не рад, что ли?

— О чем ты? Радость радости рознь. От такой, каку ты выпалил, и помереть недолго. У меня аж дух занялся. Скаженный ты, Иван, нет чтоб подготовить потихоньку-помаленьку, а ты бу-бух, словно из пищали пальнул.

— Ну, прости, коли так, Васильич. Так что я должен государю сказать? Ты согласный?

— Ты еще спрашиваешь. Да это счастье, какое за жизнь не всякому выпадает.

— Надо ж и Марфу спросить. Государь велел только по ее согласию.

— Раз велел, спросим. Эй, кто там,— вскочив, бросился Апраксин к двери.— Позовите Марфиньку.

Марфинька явилась улыбающаяся, счастливая, как и положено в ее возрасте.

— Здравствуйте, дядя Ваня,— приветствовала поклоном Языкова.

— Здравствуй, солнышко,— отвечал Языков, невольно засвечиваясь улыбкой.— Расцвела, Марьфинька, расцвела. Ты невеста уж.

— Марфинька, доча,— заговорил Апраксин.— Ты токо не пужайся, милая.

Девочка сразу посерьезнела, улыбка с лица пропала.

— Что, батюшка?

— Ничего, ничего плохого,— заспешил сразу Апраксин.— Наоборот, радость великая. Государь тебя сватает в жены.

— Меня? — вытаращила глаза девочка.

— Тебя, доча, тебя. Ты ему шибко по сердцу пришлась.

— А разве мне можно уже?

— Да, да, Марфинька, в самый раз. Токо государь не велит тебя неволить, велел спросить, согласна ли ты?

— А ты как, батюшка?

— Я-то? Да ты что? Дочка царицей станет, какой же отец не согласится.

— Ну, значит, и я согласна.

— Вот и умница.— Апраксин поцеловал дочку в лоб, перекрестил.— Станешь царицей, все пред тобой клониться станут. Всяко твое слово исполнять мигом будут.

— А я смогу тогда крестного из ссылки воротить?
— Конечно. Токо пальцем шевельни.
— Тогда я согласна.
— Ну вот,— улыбнулся Языков и вытащил ожерелье.— В знак обоюдного согласия великий государь послал тебе жемчужное ожерелье, которое обязательно просил надеть в день свадьбы.
— А когда это будет?
— Я думаю, скоро. Так что будь готова, Марфа Матвеевна.

Как и было решено с постельничим: ничего не откладывать в долгий ящик, Федор вечером опять явился в верхнюю горницу. А там словно и ждали его, собрались все царевны: три тетки — Татьяна, Анна и Ирина и обе сестры Софья с Марфой. Взглянули вопросительно на вошедшего.
— Я все обдумал, вы уговорили меня,— сказал с порога Федор.— Женюсь.
— Ну вот и умница,— похвалила Татьяна Михайловна.
— А я сразу сказала, что надумает он,— заметила Анна Михайловна.
— Вот и прекрасно,— не удержалась Софья и поцеловала брата.— А мы уж тебе и невесту присмотрели.
— Какую невесту? — насторожился Федор.— Кто присмотрел?
— Вот те раз. Ту самую, на которой ты жениться будешь. Иван Михайлович предлагает Феклу, она даже в дальнем родстве с ним.
— Какой Иван Михайлович? Какая Фекла?
— Да твой же дядя родной, Милославский, а Фекла ему доводится...
— Опять этот Милославский,— возмутился Федор.— Кто его просит свой нос совать.
— Ты чего кричишь, Федя? Он же тебе добра хочет. Как-никак родной брат матушки.
— Не надо мне его добра. Слышите? Не надо!
Федор резко повернулся и ушел, хлопнув дверью.
— Чего это он вдруг?— удивилась Ирина Михайловна.
— Ясно чего,— вздохнула Татьяна Михайловна.— У него уж кто-то есть на примете. А Ванька Милославский опять вляпался со своей Феклой.
— Интересно, кто же это? — наморщила лоб Софья Алексеевна.— Вот скрытный, чертушка. А?
— А нам-то что? Какая понравилась, пусть ту и берет. Лишь бы женился.

Глава 53

СВАДЬБА БЕЗ ЧИНА

За три дня до свадьбы Марфу Матвеевну Апраксину по указу великого государя нарекли царевной и великой княжной. Нарекал девушку сам патриарх Иоаким, после чего вышел в переднюю, объявил об этом всем присутствующим:
— Отныне и довеку нарекли мы Марфу Матвеевну Апраксину в царевны и великие княжны и велим всем нашим патриаршим словом и государевой волей отныне так величать ее. Аминь.
Новоиспеченная царевна воротилась в отчий дом, где, обливаясь слезами, отец целовал ее и шептал нежно:
— Марфа, Марфинька, доченька...
— Что ты, батюшка? Зачем плачешь?
— То я от радости, милая,— оправдывался старик, хотя в глазах его читалась горечь расставания с самым дорогим для него человеком.— Воцаришься и забудешь нас, своих стариков.
— Что ты, батюшка, как можно так говорить.
А под вечер явился в дверях Марфиной светелки брат Федор, который был на четыре года старше ее.
— Марфуша, ты на меня сердца не держи.
— За что, Федя?
— Дык в прошлом году я тебя шлепнул в деревне пару раз.
— Ну так я тогда заслужила,— улыбнулась Марфа.— Коли б не ты, так меня мог конь зашибить. А так отшлепал, я и запомнила, с того часу боюсь сзади к коням подходить.
— Марфуш, ты уже царица...
— Нет еще, Федя. Я пока царевна. Царицей после венчанья стану.
— Ну все равно, через пару ден и царицей станешь. Так ты нас с Петром не забудь. А? Пожалуй, в каку-нито должность.
— В какую, Федя? Я ж не знаю там должностей.
— Да хошь бы в спальники. Тебе хуже разве станет, ежели два брата все время около будут обретаться?
— Обязательно, Феденька, попрошу государя.
А уж когда в постель легла Марфа, пришла к ней мать, принесла теплого медового взвару.
— Попей, доченька, перед сном-от.

Присела на край ложа к дочери, смотрела на нее ласково с грустью, роняла редкие слезинки.

— Вот и улетаешь из родного гнезда, Марфинька.

— Да я же недалеко буду, маменька.

— Недалеко, да высоко, доченька. Нам уж не достать.

Дождалась, когда дочка напьется, поправила, подоткнула одеяло пуховое, чтоб теплее было ребенку, поцеловала в лоб, перекрестила и потушила свечи.

— Почивай, доченька, с Богом,— и вышла.

Пятнадцатого февраля чуть свет к Апраксиным приехала Хитрово Анна Петровна с девушками обряжать цареву невесту. Едва обрядили, а уж у ворот раззолоченная каптана явилась (домик на санях) и везли ее белые кони шестерней. Домочадцы высыпали во двор провожать Марфиньку, которую все любили за ее доброе сердце.

Было довольно холодно, поэтому поверх платья накинули на невесту шубку соболью, а на ноги вместо туфелек валенки.

— У храма переобуемся,— сказала Анна Петровна.— Я их с собой возьму.

В каптану сели они вместе, и только золоченая дверца за царевной захлопнулась, как тут же и отворилась.

— Тиша-а,— позвала Марфа Матвеевна.

Тимофей Пройдзисвет, стоявший у ворот среди челяди, в несколько прыжков оказался у каптаны.

— Что, Марфа Матвеевна?

— Тиша, я забыла царево ожерелье в светелке. Принеси.

— Где оно там?

— Где-то у зеркала должно быть. Принеси, пожалуйста.

Пройдзисвет побежал в дом за ожерельем. Влетел в светелку, там уж постельница Марфина прибирала постель и саму горницу.

— Федосья, где ожерелье?

— Како ожерелье?

— Да Марфы Матвеевны, что царь подарил.

— Дык она, наверно, с собой его взяла.

— Не взяла. Забыла. Ищи давай, поди, завалила куда с уборкой-то.

Кинулись искать. У зеркала его не оказалось. Нашли наконец за подзеркальником, куда, видимо, оно упало с вечера, а потому, не увидя его, Марфинька в суматохе и забыла о нем.

А в каптане ждали недолго. Откормленные белые кони, впряженные шестерней, копытили в нетерпении, в таком же состоянии пребывала и Хитрово. И наконец не утерпела, крикнула форейтору:

— Пошел! — А Марфиньку успокоила: — Принесет в Кремль, тут два шага.

И каптана помчалась по укатанной зимней дороге, сопровождаемая конными стрельцами.

— Посторони-и-ись! — кричал форейтор.

И когда Пройдзисвет выбежал с ожерельем на улицу, каптана уж была далеко.

— Догоняй, Тишка,— крикнула хором челядь.

И Тимофей бросился догонять со всех ног. Полураздетый, простоволосый, без шапки.

Каптана с царской невестой мимо расступившейся охраны въехала через Спасские ворота в Кремль. Но Тимофея, почти догнавшего ее, остановили стрельцы с протозанами.

— Куда? Нельзя!

— Но я к царице,— говорил запыхавшийся Тимофей.— Мне край... Она велела...

— Нельзя. Ныне царь венчается, и в Кремль никого не велено пущать, окромя бояр.

— Но у меня ж царицыно ожерелье... Мне ж она сама велела,— начал возмущаться Пройдзисвет.— Я ее слуга.

— Иван, позови сотника,— сказал наконец стрелец товарищу и хмуро заметил Тимофею: — Царские слуги в таком виде не ходят, олух.

И тут в воротах случился боярин Милославский, направлявшийся в Кремль.

— Что случилось? — спросил он стрельца.

— Да вот прибежал какой-то, рвется в Кремль, кричит, у него царское ожерелье. А нам не велено.

— Ожерелье? А ну покажь.

Тимофей показал, боярин протянул руку.

— Дай-ка сюда.

— Не дам.

— Как это не дашь? — выпучил глаза Милославский, возмущенный такой наглостью простолюдина.— Да ты знаешь, кто я?

— Все равно не дам. Я должен передать ожерелье царевне, а не всякому...

— Это кто же «всякий»? — прищурился недобро Милославский и, увидев подходившего сотника со стрельцами, приказал:

— А ну-ка, ребята, возьмите этого голубя.

Стрельцы тут же схватили Тимофея.

— Отберите у него царское ожерелье,— повелел боярин.

Пройдзисвет, вместо того чтобы смиренно отдать это злосчастное ожерелье, стал сопротивляться, чем обозлил до

крайности стрельцов. Один из них тюкнул алебардой упрямца по затылку, и тот потерял сознание. Теперь ожерелье забрали у обеспамятевшего легко, передали Милославскому. Тот узнал его.

— И впрямь царицыно ожерелье.

— А что с этим делать, боярин?

— Оттащите к Сысою, он его отогреет кнутом.

И два стрельца потащили Тимофея к Сысою в Константиновский застенок. Притащили.

Подьячий, сидевший за столом, спросил:

— По чьему веленью?

— Боярин Милославский послал,— отвечал стрелец.— Отобрал у него царское ожерелье.

— Украл, что ли?

— Да вроде бы. Силодером пришлось отбирать. Боярин велел Сысою погреть его кнутом для острастки.

Подошедший Сысой склонился над Тимофеем, покачал головой.

— Его уж кто-то «отогрел», эвон вся голова в крови.

— Так он не отдавал ожерелье-то, пришлось алебардой стукнуть,— оправдывался стрелец.

— Ему уж кнут вряд ли понадобится,— подытожил опытный Сысой.— Хорошо если до ночи дотянет.

А меж тем боярин Милославский летел во дворец, придумывая, как бы подостойнее вручить ожерелье государю: ты вот на меня сердце держишь, а я тебе твое ожерелье ворочаю, которое украл...

«Постой, постой, а кто ж украл-то? Как же я не спросил этого дурака, откуда оно у него оказалось? Почему он тащил его во дворец? Неужто эта дуреха Марфа обронила где?»

Сплошные вопросы в голове — и ни одного ответа. Хотел уж было воротиться в застенок, спросить того «дурака», но побоялся опоздать к торжеству.

«А-а, ладно. Скажу нашел на дороге в воротах. И ведь не утаил, не себе взял, а вот принес тебе. Цени».

Но государь почему-то не оценил стараний Ивана Михайловича. Даже насторожился:

— Откуда оно у тебя?

— Нашел, Федор Алексеевич. Видно, обронила царевна.

— Спасибо,— буркнул царь, усомнившись, однако, в сказанном.

Но когда увидел Федор Алексеевич Марфу, разодетую в пышное подвенечное платье и в парчовой фате, невольно заулыбался, протянул к ней руки.

— Марфинька, милая, какая ты стала красавица.

Смутилась девушка, невольно грудь ладонью прикрыла, и Федор решил, что этим движением она пытается прикрыть место, где должно быть ожерелье. Прикрыть, чтобы не огорчать его.

«Милый ребенок,— подумал он с нежностью,— да оно ж у меня». И, вынув из кармана ожерелье, протянул ей.

— Надень, дорогая.

У Марфиньки в радостном изумлении расширились глаза, и это было приятно Федору: «Удивилась, как это оно у меня вдруг оказалось». Но Марфинька удивилась, как это государь догадался, что она приехала без ожерелья, и захватил с собой другое такое же.

Анна Петровна помогла невесте застегнуть его сзади, и молодые тут же отправились в собор Живоносного Воскресенья Господня, где их обвенчал государев духовник протопоп Никита Васильевич.

Не было ни колокольного звона, ни радостных толп в Кремле, более того, в эти часы все ворота Кремля были заперты. Не было и пира большого по такому случаю. Не захотел Федор Алексеевич великим шумом тревожить душу недавно умершей жены своей Агафьи. И в этот день дьяк Семенов написал в Выходной царской книге: «...А свадебного чину никакова не было. Того же числа пожаловал великий государь в спальники Петра да Федора детей Опраксиных».

Не забыла Марфинька братьев своих, не забыла, в день свадьбы же успела выпросить им высокие должности при дворе.

А когда молодожены остались одни в опочивальне, Федор Алексеевич, вспоминая, как Агафья попросила пить в эти часы, спросил у Марфиньки:

— Чего ты хочешь, милая?

Однако вместо питья Марфинька вдруг попросила:

— Государь мой, Федор Алексеевич, вороти моему крестному твои милости.

— Крестному? — удивился Федор.— А кто ж он? Крестный-то кто у тебя?

— А крестный мой — Артамон Сергеевич Матвеев, ныне на Мезени мается. И говорят, ты всего его лишил. А я знаю, я верю, он ни в чем пред тобой не виноват, государь.

— Милая моя деточка,— растрогался Федор и, схватив личико жены, стал целовать ее в щечки.— Да какое у тебя сердечко-то золотое. Завтра же, слышь, завтра же ворочу Артамону Сергеевичу и боярство, и имущество. Пошлю к

нему скорого гонца с нашей милостью. Не с моей, слышишь. А с нашей — моей и твоей.

— Вот спасибо, Федор Алексеевич. Вот спасибо-то.

— Тебе спасибо, милая девочка.

— За что?

— За сердечко твое. Я ведь о Матвееве-то забыл. Хотя знал, что его Милославский оклеветал.

А в это время боярина Милославского отыскал подьячий из Разбойного приказа.

— Иван Михайлович, а куда того татя деть, которого ты прислал?

— Какого татя?

— Ну что ожерелье царское стащил.

— Пусть Сысой отходит кнутом да и отпустит.

— Дык он помер, Иван Михайлович.

— Как помер? Отчего?

— Так ему стрельцы башку алебардой пробили.

— Вот охламоны.— Подумав, боярин сказал: — Как стемнеет, где-то за полночь, сволоките его на реку. И в прорубь. И чтоб молчок. Слышь?

— Толи не понимаю. Все сделаем аккуратно, Иван Михайлович, не боись.

Глава 54

ЧТОБ ЗЛА НЕ ОСТАВЛЯТЬ

Андрей с огромной охапкой дров ввалился через низенькую дверь в избушку, принеся за собой с улицы клуб холодного воздуха. Бросил охапку у печи, где отец его, Артамон Сергеевич Матвеев, встав на колени, раздувал огонь.

— Прихлопни плотней дверь, сынок. Шибко по низу тянет.

Андрей, отряхнув руки, вернулся к двери, приоткрыл ее и с силой захлопнул.

— Забухла, вот и плохо закрывается.

— Это оттого, что ночью леденеет, а днем, как печь затопим, оттаивает. Вот и бухнет дерево-то.

Растопив печь, Артамон Сергеевич разогрел вчерашние щи, поставил в чугунке на стол, положил две деревянные ложки, пригласил Андрея:

— Садись, сынок, пообедаем, что Бог послал.

Увы, было у них скудное пропитание: пустые щи да черный хлеб, иногда рыба, а то и оленина. Андрей снял

шапку, бросил ее на ложе, сел к столу, не снимая полушубка, так как в избушке было еще холодно, глинобитная печь не скоро нагреется.

Перекрестились оба, пробормотали «Отче наш», взялись за ложки. Разломив кусок хлеба, Артамон Сергеевич больший подвинул Андрею.

— Ты растешь, тебе больше надо.

В том, что сынишка делит с ним невзгоды ссылки, Артамон Сергеевич только себя винил, хотя мальчик никогда не попрекал его этим. Терпел вместе с отцом и голод и холод, а когда укладывались спать, вместе влезали под один тулуп, часто сын просил:

— Расскажи, батюшка, как ты пушки спасал.

— Это, сынок, под Львовом было,— начинал Артамон Сергеевич, в который уж раз, рассказывать о своих воинских подвигах,— солдаты, стрельцы все разбежались, пушки и ратные припасы прямо в степи побросав. А боярин Батурин мне и говорит: «Сбереги пушки, Артамон, не отдай неприятелю, позора ради». А сам с войском скорым ходом и пошел. Вот и повисло у меня на шее пятьдесят девять пушек, сынок, а народу горстка. Коней мало. Иногда самому вместо лошади приходилось впрягаться. Ан ни одной неприятелю не оставил, все до одной доволок, сначала до Белой Церкви, а там и до Москвы.

— А как князя Трубецкого спас, расскажи, батюшка.

— Я ж тебе уже рассказывал, сынок.

— Ну еще расскажи, батюшка.

— Ладно,— сдавался Матвеев и, помолчав, продолжал: — Князь Трубецкой Алексей Михайлович собрался с войском идти на черкасские города, а ратные люди его учинили бунт: «Не хотим идти!» Он им грозить, они его схватили и убили бы. А тут ко мне прискакал его денщик: «Артамон Сергеевич, спасай князя, убивают». Ну, я на коня, поднял стрельцов и туда, разогнал бунтовщиков, спас Алексея Михайловича.

Всю свою жизнь прошлую пересказывал Артамон Сергеевич сыну, дабы знал и гордился он родом своим. За пять лет ссылки едва ль не наизусть уж знал мальчишка про отца, а все просил:

— Расскажи, батюшка.

Однажды летом с улицы пришел Андрей с разбитой губой.

— Это где ж ты поранился, сынок?

— Не поранился, подрался.

— С кем?

— С сынишкой протопопицы Марковны.

— За что?

— А чего он дразнится.

— Как?

— Нехорошо дразнит.

— Ну как все-таки?

— Кричит: боярин-боярин, брюхо ошпарил. Ну я и дал ему.

— Он тебе тоже не спустил, я вижу.

— Все равно я ему больше наподдавал.

— Нехорошо, сынок, сироту обижать, нехорошо.

— А что он дразнит.

— Может, от обиды и дразнит. Его-то отца протопопа Аввакума надысь сожгли с Пустозерске. Ему и обидно, ты-то с отцом живешь. Так что не надо с ним драться, сынок.

— А если он будет опять дразнить?

— Не обращай внимания, как будто это не до тебя касаемо. Подразнит, подразнит да и перестанет. Не будешь обращать внимания, он и перестанет дразнить.

— Но мы ж теперь не бояре.

— Ну и что? То, что у меня боярство отобрали, то временно. Дай срок, воцарится Петр Алексеевич — все нам воротят. Все, сынок. Потерпеть надо.

— А если не он воцарится?

— Он, сынок, он должон. Иван, тот дурак, не должны его на царство ставить, погубят державу.

И хотя Артамон Сергеевич говорил это сыну твердо и убежденно, в душе копошилось сомнение: «Ох, кабы Милославские не извели мальчишку, Сонька-стерва на все может пойти, случись что с Федором». На это «случись, что с Федором» Матвеев все пять лет ссылки уповал, только что вслух не говорил (грех!). Еще тогда, в Москве, сразу после смерти Алексея Михайловича он Федору недолгий век ворожил. Помирал ведь почти отрок, и слепому видно было: не жилец! Ан, вишь, как обернулось, уж шесть лет царствует, и вроде неплохо — с поляками перемирие продлил, с турками замирился. Видно, не дурак. И все равно, грех, конечно, но ждет Артамон Сергеевич конца царству этому, ждет, хотя даже себе признаваться в этом не хочет.

В ссылке времени свободного много, но не терял его Артамон Сергеевич даром. Сына грамоте учил: читать, писать, и даже латыни. А сейчас, когда уж шестнадцать лет минуло отроку, велел штудировать книгу Юрия Крыжанича «Политические думы», которую чудом удалось тогда утаить от обыска и конфискации. Читать всегда вслух велел, чтоб

не только в смысл вникал отрок, но и в чтении наторивался, да и спрашивал бы отца, если что непонятно.

— Садись-ка к каганцу, Андрюша, да бери книгу, читай,— сказал Артамон Сергеевич после скудного обеда.

Андрей сел к столу, развернул книгу, склонился над ней, начал читать:

— «Англия и Нидерланды потому богаты, что там разумы у народа хитры, морские пристанища и торги отличные, цветет всякое ремесло, земледелие и обширная морская торговля, еще славнее и счастливее бывает государство, когда в нем при этом законы хороши, как, например, во Франции. А Россия? При всей своей неизмеримой широте и длине она со всех сторон заперта для торговли, мало в ней торговых городов, нет дорогих произведений, умы народа тупы и косны, нет никакого умения в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве. Русские, поляки и все славяне не умеют вести дальнюю торговлю ни сухим путем, ни по морю. Купцы русские не учатся даже арифметике, отчего иностранным купцам ничего не стоит их обмунуть».

Андрей поднимает голову от книги, всматривается на ложе, где лежит отец. Спрашивает:

— Батюшка, что уж он так нас срамотит? Неужто так все и есть?

— Так, сынок, увы, так. Крыжанович не срамотит, нет, он болеет за нас, дураков. Ты вот там прочти, что он пишет про власти наши, я там отчеркнул место. Читай.

— «Великое наше народное несчастье — это неумеренность во власти, не умеют наши люди ни в чем меры держать, не могут средним путем ходить, но все по окраинам и пропастям блуждают. То у нас правительство вконец распущено, господствует своеволие, безнарядье, то уж чересчур твердо, строго и свирепо. Во всем свете нет такого безнарядного и распутного государства, как Польша, и нет такого крутого правительства, как в России...»

Под монотонное чтение сына задремывает Артамон Сергеевич. Казалось, и недолго дремал, очнулся, а Андрей все бубнит, склонившись над книгой:

— «...В России полное самодержавие, повелением царским можно все исправить и завести все полезное. Таким образом, преобразование должно идти сверху, от самодержавной власти, русские сами не захотят добра сделать, если не будут принуждены к тому силой. Для поднятия торговли государь должен запретить иметь лавку с товарами тому купцу, который не знает грамоте и цифири. Для введения и процветания ремесел нужен особый Приказ, кото-

рый бы их ведал исключительно, нужно перевести на русский язык сочинения о ремеслах, перевести книги о земледелиях, нужно вызвать отличных ремесленников из-за границы, с правом свободного возвращения домой, но не прежде, как выучат русских молодых людей своему ремеслу. Надобно промышлять, чтоб из чужих стран привозился в Россию сырой материал и чтоб наши ремесленники его обрабатывали, и заповедать накрепко, под страхом казни, вывозить за границу сырье...»

— Стой, Андрюша, ну-ка подумай и скажи, почему Крыжанич не советует вывозить за границу сырье?

— Ну как, батюшка, сырье же намного дешевле, чем предмет, из него изготовленный.

— Верно. Умница ты у меня. А ныне что у нас творится-то: лес, пеньку, железо туда за полушку отдаем, а они нам, наделав из этого нужных предметов — мебели там, ружей, полотна — из нашего-то, нам же уже за рупь отдают, а то и за золото. Неужто у нас своих мастеров не найдется? А? Мотай это себе на ус, сынок, помяни мое слово, тебе доведется при Петре Алексеевиче служить, чтоб ты знал, где польза державы нашей лежит. Слышишь?

— Слышу, батюшка.

Нет, не давал ни себе, ни сыну покоя Артамон Сергеевич, твердо веря, что не только сын, но и он еще сумеет послужить отчине. Обязательно еще послужит.

Посвящал сына Артамон Сергеевич и в тонкости дипломатии, где в последние годы своей службы был едва ли не первым человеком в государстве — начальником Посольского приказа. О каждом государстве, соприкасавшемся с Россией, рассказывал Артамон Сергеевич самым подробнейшим образом, по памяти чертил чертежи сопредельного с Русью государства, углублялся в далекую историю его и во взаимоотношения с Русью. Историю России, насколько помнил, рассказывал от самого Рюрика и Святослава. Долгими темными ночами под завывание пурги усваивал эти знания Андрей, прижимаясь к теплому боку отца, греясь от него, набираясь ума и мужества и проникаясь его верой, что все это скоро, очень скоро сгодится ему.

Среди зимы явился в Мезень капитан Лишуков, сперва зашел к местному начальству сказать ему свои полномочия и показать царскую грамоту. Затем пришел в избушку Матвеева. Пригнувшись в низеньких дверях, вошел, поздоровался, спросил:

— Ты ли есть Матвеев Артамон Сергеевич?

— Я — Матвеев,— насторожился ссыльный.— А кто есть ты?

— Я капитан Лишуков, послан великим государем скорым гонцом к тебе объявить от его имени и имени царицы, что с тебя сняты все вины и тебе возвращено боярство. Вот, все сказано в грамоте. Читай.

Вскочил с лавки Артамон Сергеевич, засуетился, залепетал голосом, прерывающимся от слез подступающих:

— С-садись, капитан... Я счас... Андрюша, сынок, мне что-то очи застит... Читай ты.

Андрей взял грамоту, развернул, расправил на столе, придвинул жирничок с огоньком ближе, начал читать:

— «Великий государь Федор Алексеевич Великой, Малой и Белой Руси самодержец велел объявить вам, Артамону Матвееву и сыну Андрею, что царское величество, рассмотря вашу невинность и бывшее на вас ложное оклеветание и милосердуя о вас, указал вас из-за пристава освободить, московский ваш двор, подмосковные и другие вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачею и продажею, возвратить. Сверх того жалует вам государь новую вотчину в Суздальском уезде — село Верхний Ландех с деревнями, восемьсот дворов крестьянских, и указал отпустить из Мезени в город Лух, где ждать вам нового указу».

Андрей кончил чтение, взглянул на отца, тот плакал, слезы градом катились по седой бороде его, и был ныне Артамон Сергеевич жалок и вроде совсем немощен. Только теперь увидел сын, как постарел отец. Поседел, сгорбился.

— Кто ж это порадел о нас? — спросил Матвеев капитана.

— То новая царица, сказывали, за тебя вступилась.

— А кто ж новая-то?

— Марфа Матвеевна Апраксина.

— Стой, стой, как ты сказал? — встрепенулся Матвеев.— Марфа?

— Да, Марфа Апраксина.

— Батюшки-светы,— всплеснул руками Артамон Сергеевич.— Так ведь она, милая моя, моя крестница. Ай умница Марфинька, что за крестного отца вступилась. Ай умница!

— И вот еще,— сказал капитан, подходя к столу.— Послала она тебе триста рублев на дорогу. Вот, считай! — И высыпал деньги на стол.

Глядючи на это, растрогался Артамон Сергеевич того более, потом взял со стола три рубля, протянул Андрею.

— Ступай, сынок, отнеси Марковне, протопопице, хошь и раскольники, а все ж люди, живые души. Да с парнем-то помирись, сирота ведь. Попроси прощения у него, чтоб зла не оставлять за собой.

Глава 55

У РУКИ

В тот день новую царицу Марфу Матвеевну нарядили в торжественное платье, шитое из дорогой ткани и сплошь усыпанное жемчугами и драгоценностями. Платье оказалось столь тяжелым, что, казалось, тянуло за плечи вниз. На голову была надета соболья шапка, объятая снаружи золотой короной, оттого тоже нелегкая, от короны полудужья уходили вверх и сходясь наверху, заканчивались золотым крестом. От государевой шапки Мономаха царицына и отличалась этим золотым ободом, на котором россыпью высверкивали алмазы. На государевой шапке опушка была соболья, но зато крест наверху сверкал бриллиантами.

Предстояло торжество во дворце — всем быть у царицыной руки.

В государеву переднюю и царя, и царицу вели, поддерживая под руки, ближние бояре, и если б не они, юной царице трудно было бы всходить к креслам, установленным на возвышении.

Как только царь и царица вошли, все присутствующие встали и устремили взоры на них, в передней смолкли разговоры.

Наконец Федор и Марфа уселись в кресла. Государю были поданы в руки скипетр и держава.

Патриарх Иоаким, пришедший со всем своим синклитом — митрополитами и архиепископами, благословил государя с государыней и всех присутствующих. И царь кивнул боярину Одоевскому:

— Василий Федорович!

Одоевский выступил из толпы, приблизясь к царице, поклонился ей, поцеловал руку, оглядел присутствующих и начал читать:

— Князь Голицын Василий Васильевич, глава Посольского приказу.

Князь вышел из толпы, быстро взбежал к креслу царицы, поклонился и, поцеловав ей руку, сошел вниз, пятясь.

— Князь Голицын Борис Алексеевич,— продолжал Одоевский,— начальник Приказа Казанского двора.

Князь Борис прошествовал к руке царицы с достоинством и, тоже поцеловав, воротился не спеша на свое место. Этот знал себе цену. Далее из Голицыных Одоевский представил к руке царицы князей Алексея Васильевича и Иван Алексеевича.

Затем, видимо по-родственному, он представил князей Одоевских, Никиту Ивановича и Якова Никитича. За Одоевскими к руке царицы приложились князья Хованские — Иван Андреевич, Иван Иванович и Петр Иванович. За ними последовали представители рода Шереметевых — Василий Борисович, Василий Петрович, Петр Васильевич Большой и Петр Васильевич Меньшой.

У бедной Марфиньки кружилась голова от столь высоких имен и званий, кланявшихся ей и прикладывавшихся к ее крохотной, еще детской ручке. Князья Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Морозовы, Пронские, Урусовы. Знатнейшие роды прошли за эти часы перед нею — Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Ромодановские, Пожарские, Волконские, Стрешневы, Милославские, Пушкины, Плещеевы, Львовы.

И если еще первым она говорила заученное: «Да пребудет приязнь наша к вам», то уже последним лепетала что-то непонятное, ибо смертельно устала от этого коловращения. Федор заметил, как жена побледнела, взглянула на него жалко и умоляюще, и сказал Одоевскому:

— Довольно, Василий Федорович, на сегодня. Мы утомились.— Тут же передал державу и скипетр стоявшим около боярам. И поднялся.

Их опять же подхватили под руки, повели вниз. И если Федора поддерживали, то Марфиньку почти несли, у нее подгибались ноги.

Когда в царской горнице с Марфиньки сняли тяжелое платье, она вздохнула с облегчением и явившемуся вскоре к ней Федору, тоже уже разоблачившемуся от тяжелого платья, вполне искренне сказала:

— Не хочу я его носить.

— И не надо, милая,— улыбнулся Федор.— Думаешь, мне легко в таком же? Я в него облачаюсь лишь в торжественных случаях, прием послов, например, или вот, как сегодня, представление тебе нашего двора.

Федор ласково погладил жену по голове, поцеловав в лоб, вздохнул:

— Что делать, милая, мы цари и должны отвечать сему званию.

— А почему не было твоего дяди Ивана Михайловича? Или я прозевала его?

— Нет, милая, ты не прозевала. Как мне сказали, он занедужил. Да я уже спрашивал его об ожерелье. Говорит, нашел в Спасских воротах.

— Врет он, врет,— сжав кулачки, сказала Марфинька.

— Может, и врет Но я просил Хованского поспрошать стрельцов, и те говорят, что ожерелье валялось.

— Они все сговорились, не верю я им, не верю.

— Успокойся, милая. Найдется твой Тиша. Куда ему деться? Утерял ожерелье. Испугался, да и сбежал.

— Не мог Тиша сбежать, не мог Батюшка давал ему вольную, но он не захотел. Он батюшку за отца родного почитает Ах, если б я знала,— всхлипнула Марфинька и заплакала,— разве б я...

— Ну вот тебе раз,— обескураженно произнес Федор, прижимая голову жены к груди.— Что уж так-то, милая?

— Они его... они его...— лепетала сквозь слезы Марфинька.— Они его куда-то запрятали... Я уверена...

— Ну хорошо Я завтра же велю дьяку Семенову проверить застенки, тюрьму Может, действительно он где-то есть...

— Вели государь, вели,— схватила Марфинька руку мужа и прижалась к ней, как к спасительной соломинке.— А дяде своему не верь.

— Ну ладно, милая. Ты только успокойся.

А меж тем князь Иван Андреевич Хованский прямо от царицыной руки отправился к Милославскому, который действительно прихворнул и лежал в постели.

— Ну, рассказывай, Иван,— встретил его Милославский с искренней заинтересованностью.

— Ну что, Иван Михайлович,— начал Тараруй, усаживаясь на лавку,— были ныне у руки ее царского величества.

— Знаю я это Ты подробнее давай.

— Что сказать? Девчонка едва в обморок не упала. Да и Федор сидел снега белее Ты прав, Иван Михайлович, он долго не протянет Что делать-то станем, ежели Бог приберет его? А?

— Типун тебе на язык,— проворчал Милославский, но, подумав, сказал серьезно — Думать, думать надо, Иван.

— Мы-то вот думаем, а она-то, девчонка эта, уж за Матвеевым в Мезень послала.

— Как? — вскочил и сел на ложе Милославский.— Вы мыслите, что будет, если Артамон опять в седле окажется?

— Не маленькие, мыслим. Мы с Хитрово едва уговорили государя на Москву его не пускать. Пока.

— А куда?

— Пока в Лух. Пусть там посидит

— Ну, слава Богу,— перекрестился Милославский.— Хоть на это ума у вас хватило. А как хоть объяснили Федору-то?

— А как? Так и объяснили, мол, от Артамона опять на Москве смущение и шатание начнется. Но ведь, Иван Михайлович, есть новости еще неприятнее этой.

— Давай, выкладывай.

— Царица-то молодая к Нарышкиным наклоняется, приязнь им выказывает.

— Как выказывает-то?

— А просто, не далее как вчера была у Натальи Кирилловны, и даже, сказывают, Петеньку целовала.

— Ну, ребенка поцеловать — не велик грех.

— Но она ж экзаменовала его, спрашивала по псалтыри.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? У Петра Алексеевича, сказывают, весь псалтырь на память взят, так и отлетает от зубов, так и отлетает. Не то что у Ивана вашего на «Отче наш» ума не достает.

— Ладно. Замолчи,— осадил Милославский гостя.— Как будто если Петьку или Ваньку посадим, они будут править. Может, с дураком-то оно способней будет А если Петр воцарится, загремим мы с тобой, Ваньша, в Пустозерск, а то и куда подале.

— Загремим, Иван Михайлович, загремим. Твоя правда. Потому как тут же в Москве Матвеев вынырнет, а уж он-то тоды на нас выспется. На Мезене-то зубы остре бритвы наточил.

— А как Языков с Лихачевым?

— Сдается мне, Иван Михайлович, они оба на Петра ставят.

— С чего ты взял?

— Как «с чего»? С того ж самого, вроде к Нарышкиным наклоняются. А оне ныне у царя-то в великой милости, что тот, что другой.

— Ясно, постельники всегда к государю ближе всех были. Я вон ему дядя родной, а и на дух не нужен. А не я ль его на престол-то волок. Небось Языков с Лихачевым по щелям прятались. А? Иван? Не я ли?

— Ты, ты, Иван Михайлович, возводил. Али я не помню. Я, чай, тоже причастен был.

— Вот она, благодарность от племянничка. Это каково мне переживать, Иван? А?

— Конечно, несправедлив к тебе Федор, несправедлив, это и слепому видно.

— А теперь вот оженили его внове царевны. Ну и что? Ждут, родит наследника. Как же. Ждите.

Милославский опять лег на подушку, пошлепав брезгливо губами.

— Он ныне не то что девку — блоху не придавит.

Хованский прыснул от столь едкой шутки Милославского, вполне оценив смысл ее.

— Ну, Иван Михайлович, ты скажешь — прямо не в бровь, а в глаз.

— А ныне вон пристал с ножом к горлу с этим ожерельем треклятым: где взял, да где взял?

— А вправду-то где взял его?

Милославский покосился на Хованского, колеблясь: сказать? Не сказать? И решил все же не говорить, хоша и приятель, а Тараруй, где-нито обязательно брякнет. Ну его к Богу.

— Да нашел я его в воротах Спасских. Думал, обрадую государя. Вот обрадовал. Готов на дыбу вздернуть: где взял?

— То она наседает, молодая.

— Ясно, что она. Ему-то ожерелье ни шло ни ехало.

— А мне Федор Алексеевич стрельцов велел поспрошать за это самое.

— За что?

— За ожерелье. Верно ли, что оно было уронено?

— Ну и что ты? — насторожился Милославский, мысленно хваля себя, что не сказал Тарарую правды.

— Ну что я? Поспрошал тех, которые там были.

— Ну и...

— Говорят, мол, валялось оно у ворот и узрел его первым ты, Иван Михайлович.

У Милославского отлегло: «Ну слава Богу, не подвел стрелец». А вслух сказал:

— Так и я ж это самое талдоню. Не верит. Это каково? Уже и слову бояр веры нет. А?

— Нехорошо,— согласился Хованский.— Эдак до чего мы докатимся.

А меж тем, узнав тогда о смерти апраксинского человека, Иван Михайлович отыскал стрельца, треснувшего его алебардой по голове.

— Слушай-ка, голубь, а ведь помер тот муж от твоей алебарды.

— Так я рази хотел убивать? Я лишь усмирить хотел, шибко бушевал он. Ты ж сам видел, боярин.

— Я-то видел. Но он оказался человеком царицы, оттого и бушевал. Могут тебе быть из-за него неприятности, либо кнут, либо плаха. А мне жаль тебя, голубь. А почему давай договоримся: никого в воротах не было, никого ты не стукал, а ожерелье просто валялось и я, слышишь, я его подобрал. Хорошо?

— Хорошо, Иван Михайлович. Спасибо тебе, что заслоняешь мизинного человека.

— Что делать,— вздохнул Милославский, подводя вверх очи,— Христос заповедовал любить ближнего своего.

«Не подвел стрелец, не подвел». Теперь-то Ивана Михайловича никакой царь не достанет. Все шито-крыто.

Глава 56

САМЫЕ БЛИЖНИЕ

Самые ближние люди к царю это, конечно, постельники. Постельничий и ночью около обретается. А ну как царю что понадобится, попить ли, поесть ли, а то и просто поболтать захочется. А постельничий вот он, рядом: и попить принесет, и поговорит задушевно, и успокоит, ежели государь чем-то расстроен, и посоветует, если совет потребуется. А ночью-то в тишине любой совет мудрее соломонова кажется. Не зря, видно, молвится: ночная кукушка всех перекукует. Хотя, сказывают, здесь жена подразумевается. Но это у простых смертных. А у царя? Самые преданные в постельники назначаются, конечно, не из дураков. «Куковать» у царя ночью есть кому.

У Федора Алексеевича постельничий боярин Языков Иван Максимович, немало споспешествовавший даже в сердечных делах царя, знающий всю подноготную своего господина и преданный ему всей душой. Близок к государю и комнатный стольник Лихачев Алексей Тимофеевич, родной брат казначея Михаила Лихачева. На эту троицу царь может положиться как на каменную стену.

Однако в последнее время эта «каменная стена» не то что колебаться стала или трескаться, нет, но какое-то подрагивание ее забеспокоило.

Началось это еще со смерти царицы Агафьи, когда многим казалось, что вот-вот и царь за нею последует. Сии мысли не могли не посетить и любимцев царских. Перед ними встал хотя и кощунственный (при живом-то государе!), но вполне жизненный вопрос: кто воцарится после

него? Уж для кого для кого, а для них-то это и впрямь вопрос жизни. Ибо, как правило, у нового царя и любимцы новые, а старые-то иногда в такую опалу попадают, что и недругу не пожелаешь.

Разговор меж собой Языков с Лихачевым начали с сочувственных воздыханий по адресу своего высокого покровителя:

— Нездоровится государю,— вздохнул Языков.— Шибко нездоровится в последнее время.

— Да,— согласился Лихачев.— Смерть жены и сына его шибко подкосила. За что только лекаришка жалованье получает?

— Старается вроде Даниил фон Гаден. Ан не выходит.

Постояли рядом, помолчали, и хоть мысли друг друга угадывали, все никак не решались о главном вслух заговорить. Наконец Языков осмелился, пробормотал вроде бы для себя:

— Случись че, кто заместо его явится? Эхе-хе.

И затаился. Ждал, что собеседник ответит на этот прозрачный вздох. Лихачев понял, на что вызывает его постельник, но отвечал:

— Наверное, полудурок энтот.

— Не хотелось бы,— продолжал уже смелее Языков.

— Энти будут землю рыть, но его выпихивать,— все еще осторожничал Алексей Тимофеевич.

И его понять можно было. А ну как государь попросил постельничего «пощупать» комнатного стольника на преданность суверену. Отсюда и «энтот» и «энти», попробуй догадайся о ком речь, хотя они-то, милостники царевы, отлично понимали друг друга.

— Тогда в царстве смуты не миновать.

— Эдак, эдак,— согласился Лихачев.

— Петра надо,— наконец открыто сказал Языков, давая сим понять собеседнику, что думают они в одну думу и нечего им друг от дружки таиться.

— Жаль, годков ему мало. Жаль.

— Зато умом его Бог не обидел. Десяти лет, а псалтырь от доски до доски наизусть чешет. Из этого мудрый царь вырастет. А из того?

— Тут ты прав, Максимыч. Кругом прав. Из энтова не царь, а всему свету потеха, а Руси позорище.

— Свету-то на потеху, а нам, брат, будет на горе. Милославские нами вертеть станут, от них добра не жди. Ныне-то нет-нет да Федор Алексеевич их осаживает. А Ванька? Этот только гыгыкать да слюни пускать будет, а уж за державу-то Милославские вцепятся.

Так составилось из приближенных государя ядро сторонников Петра Алексеевича. Вскоре примкнули сюда князья Голицыны Борис и Иван и четверо братьев князей Долгоруких — Борис, Григорий, Лука и Яков. Это уже была серьезная сила, поскольку за каждым из них стояли сотни простолюдинов из дворца и обслуги.

Здоровье царя ухудшалось с каждым днем. Его личный доктор из иностранцев Даниил фон Гаден дни и ночи колдовал, составляя все новые и новые лекарства и предлагая их царю:

— Это есть чудесный эликсир, косударь, изволь, пжальста, пить.

Первым пробовал «чудесный эликсир» сам доктор, а тогда уж пил государь. Но что-то плохо помогали эти лекарства Федору. Бедный фон Гаден был в отчаянье. Прибыв ко двору царя Федора, он по легкомыслию, восхваляя свое искусство лекаря, брякнул: «Мы можем мертфый ставиль на ноги». И теперь это бахвальство выходило ему боком. Государь таял как свечка. Стол в кабинете доктора был уставлен пузырьками и склянками с «чудесными эликсирами», а улучшения здоровья царя не наступало.

Однажды пришла к нему сердитая царевна Софья Алексеевна. Постояла, посмотрела. Спросила с нескрываемым сарказмом:

— Колдуешь?

— Колдую, фаше фысошество,— отвечал добродушно фон Гаден, смешивая состав нового «эликсира».

— Кто хвастался, что мертвого подымет? А? Чего молчишь, харя немытая?

— Но понимайт, фаше фысошество,— лепетал, оправдываясь, Даниил,— у государя слишком мал природный запас сил. Понимайт?

— Понимайт, понимайт,— передразнила Софья.— Тебя зачем выписали в Москву?

— Но-о...

— Замолчи, когда с тобой царевна разговаривает.

Фон Гаден притих. Но и Софья долго молчала, наблюдая за манипуляциями доктора. Потом спросила резко, как пролаяла:

— Что у него за болезнь?

— Скорбут, фаше фысошество,— вздрогнув, отвечал Даниил.— Уфы, к фесне она усилифается.

— Я тебе покажу «усиливается», харя немытая. Чтоб лечил царя, как по науке положено. Слышишь?

— Слышу, фаше фысошество.

Софья ушла, по-мужски топая ногами. Уловив, как затихли шаги царевны, фон Гаден пробормотал себе под нос:

— Какой злой баба, а еще царефна.

Совсем по-другому относилась к доктору юная царица Марфа Матвеевна, всегда встречавшая его приветливой улыбкой:

— Здравствуйте, господин доктор.

Фон Гаден искренне любил эту царственную девочку, с удовольствием целовал ей руку и всегда говорил один и тот же комплимент:

— Фы есть лючий челофек на царстфе.

Отчего Марфа краснела и смеялась.

— Ну уж скажете, господин Даниил.

— Поферьте, Марфа Матфеефна, я говориль истиную прафду.

Сторону доктора в этом всегда принимал и Федор Алексеевич:

— Да, да, Марфинька, фон Гаден совершенно прав. Нет никого в царстве добрее тебя, и именно за это я и люблю тебя, милая.

— Косударь, я готовил нофый эликсир, ефо надо пиль лошка тихо, тихо. Фот так, как я.

Фон Гаден зачерпнул ложку тягучей серо-желтой массы, поднес ко рту, отхлебнул глоток, долго жевал его, потом еще глоток, и тоже долго жевал, прежде чем проглотить.

— Он не ошень приятный фкус, косударь, но што делать, как гофорит руски послофиц горький лечил, сладкий калечил.

— Что хоть ты опять намешал, фон Гаден?

— Это эликсир я мешаль сок лимон, чеснок и мед, косударь. Он должен быть фам здороф. Я его дфе недель держаль темноте. Теперь мы станем пить три раза ф день, косударь.

— А мне можно попробовать? — спросила Марфа Матвеевна.

— Пожалуйста, Марфа Матвеевна, но он фкус неприятен ошень.

— Ничего. Раз муж пьет, и я должна с ним терпеть. Давайте.

И царица мужественно попробовала лекарство, да еще и ободрила царя:

— Терпимо, Федор Алексеевич. Пить можно.

— Милый мой ребенок,— целовал Федор жену, ценя ее искреннее желание делить с мужем все, даже неприятности.

И, вздыхая, жевал очередной «эликсир» фон Гадена, надеясь, что уж этот ему обязательно поможет. Однако он чувствовал, что постепенно слабеет, и часто по утрам не имел сил подняться с постели, посылал тогда Языкова или Лихачева в Думу сказать, что сегодня государь «сидеть» с ними не может.

И бояре «сидели» и думали без государя. Но вечером обязательно Голицын или Стрешнев шел к царю в опочивальню с докладом, что обсуждалось в Думе и какие были приняты решения. И если таковое принималось, то пришедший давал его государю на подпись.

Федор внимательно прочитывал бумагу, и если соглашался с решением Думы, говорил жене ласково:

— Марфинька, милая, подай мне перо.

Марфа Матвеевна с готовностью несла мужу чернила, перо и книгу, дабы подложить под думскую бумагу.

Но когда решение Думы чем-то не устраивало государя, он, подробно расспросив Стрешнева, как оно принималось, кто что об этом говорил, кто был «против», кто «за», молвил:

— Оставь мне бумагу, мы подумаем.

И «мы» говорилось не ради красного словца.

— Прочти ты, милая. Что ты на это скажешь? — говорил Федор Марфиньке.

Марфинька добросовестно прочитывала бумагу.

— А что я должна сказать, государь?

— Как что? Твое мнение. Подписывать мне ее или нет?

— Ну как я могу решить, я же...— мялась Марфинька.

— Ты — царица, милая. Ца-ри-ца,— улыбаясь, раздельно говорил Федор.— Ну скажи: я — царица.

Марфинька краснела, и шепотом говорила:

— Я — царица.

— Громче,— улыбаясь, просил Федор.

— Я — царица,— говорила жена громче.

— Еще громче. Ну!

— Я — царица,— улыбалась и Марфинька.

— Ну вот. Так уже лучше,— говорил удовлетворенно Федор.— А теперь вот я и спрашиваю, ваше царское величество, что вы скажете по этой бумаге? Подписывать ее или нет? Ну?

Марфинька снова прочитывала бумагу.

— Ну я бы...— тянула слова Марфинька, ища в глазах Федора ответ (свой ответ!), который бы ему понравился. Но глаза мужа ждали ее решения.

— Милая, представь, что меня нет. Ты должна решить, подписывать или нет. Ну? Как бы ты, именно ты решила?

— Я бы подписала, Федор Алексеевич,— вздохнув, признавалась наконец ее царское величество.

— Вот и умница.— Федор целовал жену в лоб и просил: — Теперь подай мне, пожалуйста, перо.

Слова мужа «представь, что меня нет» Марфинька воспринимала не более как шутливое допущение, и даже по своему юному возрасту не вдумывалась в их страшный смысл. Во всем Кремле лишь она одна никогда не допускала мысли о смерти мужа и вообще не задумывалась об этой костлявой старухе.

Она нынче знала, что муж — царь, она — царица и что наконец-то она может кому-то сделать добро. Сделать не на словах, не в мечтах, а на деле.

Познакомившись с мачехой мужа Натальей Кирилловной и с ее сыном Петенькой, она полюбила их обоих и, собираясь идти к ним, обязательно несла царевичу какой-нибудь подарок — игрушку или книжку.

И однажды как-то сказала мужу:

— Вот из кого вырастет настоящий царь.

— Из кого, милая?

— Из Петеньки.

Федор засмеялся, вспомнил:

— Я как-то шутки ради принес ему ружье и шапку Мономаха и говорю: выбирай, брат. И что ты думаешь, он на шапку и не взглянул, а сразу ружье схватил.

— Ребенок.

— Не скажи. Ему еще и десяти нет, а рассуждения, что у пятнадцатилетнего. И хорошо понимает, что означает шапка Мономаха. Впрочем, может, и верно делает, что пока отторгает ее, как вроде бы не дорос до нее, до власти. Может, это-то и хорошо. А то вон меня четырнадцатилетним на престол затащили. Какой я был царь... Видимость одна. Дядька мой, Милославский, и крутил мной, как хотел, и дров наломал моими руками. Теперь я его, прости Господи, видеть не хочу.

— Нельзя так, Федор Алексеевич, нельзя. Ведь он же тебе родной дядя. Христос заповедал всех любить, всех. А родных тем более.

Федор обнимал нежно жену, целовал в чистый лоб, вздыхал:

— Эх, Марфинька, золотое сердечко мое.

В глубине души он понимал, что не долог его век, что именно он овдовит это дитя, что из-за него будет сломана ее жизнь и счастье. Даже он понимал, но только не она.

Глава 57

СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ

Взбунтовались стрельцы полковника Пыжова. Государю, по случаю недуга лежавшему в постели, докладывал об этом Стрешнев.

— Отчего случилось недовольство? — спросил Федор Алексеевич.

— Сказывают, полковник Богдан Пыжов якобы воровал у них жалованье.

— Иван Максимыч,— оборотился царь к Языкову,— ступай, расследуй, и ежели подтвердится, полковника на правеж, всыпать хорошего кнута и из полковников гнать.

— Но понравится ли сие Долгорукому? Он над стрельцами начальник.

— Он же, сказывают, болен. И потом, я велел Хованскому принять от него Приказ стрелецкий.

— Тут не поймешь, государь. Один уходить не хочет, хотя болен, другой вступить в должность не может, она еще занята.

— Вот оттого и порядка в Приказе и в полках нет. Разберись, Иван Максимыч, и доложи мне.

Языков отправился к Долгорукому Юрию Алексеевичу, к тому самому, стараниями которого возведен был на престол Федор Алексеевич.

Князь был дома и тоже недужил, но в постели не лежал и посланца царского встретил на ногах. Узнав о причине появления у него Языкова, загремел басовито:

— Сукины дети, вздумали на полковника жалиться. Явился от полка пыжовского челобитчик, лыка не вяжет, мерзавец, а к государю рвется. Его дьяк — уговаривать, иди, мол, проспись вначале. А он попер всех срамотить. Ему говорят, доложим князю, мне, значит, а он знаешь, чего брякнул-то?

— Чего?

— Да ваш князь, кричит, параличный старый хрен, мы, мол, таких князей раком ставим. Нет, Иван, ты представляешь, до чего мы дожили? Какой-то вонючий стрелец — и так о князе...

Юрий Алексеевич разволновался, даже вроде обессилел от волнения, опустился на лавку.

— Ну пьяный, ну дурак,— пытался утешить старика Языков и, чтобы отвлечь его от неприятной темы, спросил: — Как твое здоровье-то, Юрий Алексеевич?

— Как? Сам видишь, правая рука чурка чуркой, даже пальцем пошевельнуть не могу. Да и нога правая, того гляди, откажет.

— Ты бы уж сдал Приказ-то, Юрий Алексеевич,— посоветовал Языков сочувственно.

— А кому? Тарарую?

— Так ведь тебе лишнее волнение, может, оттого и рука отнялась.

— Тараруй ни одного сражения не выиграл. А я, Иван, под Вильной гетмана Гонсевского разбил и пленил, а под Могилевом в пух и прах Сапегу разнес. А кто Стеньку Разина под Симбирском расколошматил? Опять же я. А Тараруй что? Только на языке горазд. Он там в Приказе вертится под ногами, только мешает.

— Ну а что ж мне государю-то сказать, Юрий Алексеевич? Насчет Пыжова-то?

— Насчет Пыжова скажи, что это на него напраслину возвели, что это стрельцы разбаловались. Им какого полковника ни дай, все плох. Батогов, кнута им надо, а не другого полковника. Я этого челобитчика полкового велел на Красной площади выдрать как следует, чтоб подоле на задницу сесть не мог.

От Долгорукого Языков отправился в Стрелецкий приказ и застал подьячих в смятении. Хованский, оказавшийся там, был, напротив, спокоен, и даже торжествен, словно победу одержал. Увидав царского милостника, обрадовался:

— Вон, видал, Иван Максимыч, что творят-то? Стрелецкого челобитчика потащили на площадь под кнут. А? Вместо того чтоб разобраться, выслушать, а они кнута ему. А? Каково?

— Ну князь же велел,— оправдывался старший дьяк.

— Что князь? Что князь? — шумел на дьяка Хованский.— Князь болен, а вы к нему с кляузами. Почему мне не доложили? Я вам что? Пешка?

— Ну не высекли ж его,— мямлил дьяк.

— Хах! Не высекли, говоришь? — И, обернувшись к Языкову, продолжал: — Не высекли, говорит. А спроси его почему? Пожалели? Как же, жди. Они его на площадь вывели, а он и закричал стрельцам: «Братцы, я ж по вашей воле подал челобитную, так что ж вы меня на поруганье отдаете?» Ну, стрельцы налетели и отбили его. Заоднемя всыпали вон моим приказным крысам. Вишь, в углу сидят, шишки да синяки подсчитывают. Дураки.

Хованский носился по Приказу, ругая всех, кто там был, самыми срамными словами. Отведя душу и поостыв, спросил наконец Языкова:

— Тебе что? Государь послал?

— Ну да. Узнать насчет Пыжова, верно ли, что жалованье стрелецкое воровал?

— С Пыжовым разбираться надо. Но я мню, этим полком не кончится. Не сегодня-завтра другие подымутся, и тому споспешествовали мои дураки, поволокшие челобитчика стрелецкого на правеж.

— Так и передать государю?

— Не стоит его волновать. Скажи, я сам разберусь с Пыжовым. И доложу государю. Как он хоть там?

— Ну как. Болен. В постели лежит.

Ввечеру, явившись в опочивальню к государю, Языков успокоил царя:

— Все в порядке. На Пыжова возвели напраслину, Хованский разбирается.

Однако Федор долго не мог уснуть, впервые усомнившись в словах постельника: видимо, Языков неубедительно утаивал от царя неприятные вести. Федор был не на шутку встревожен и не смог скрыть этого от жены, пришедшей к нему перед сном пожелать доброй ночи и выпить вместе с ним лекарство.

— Что с тобой, государь мой? — спросила Марфинька.

— Да ничего, милая.

— Но я вижу, что ты чем-то озабочен. Скажи, пожалуйста.

— В стрелецких полках что-то происходит. Но я чувствую, от меня скрывают: что?

— Может, тебе кажется.

— Нет, нет. Я же по Языкову вижу, мнется, мямлит, и как я понял, даже в полку пыжовском не был. Ежели узнаю, что лукавит, прогоню от себя.

— Ну что уж ты так, государь? Если что и скрывает, то твоей же пользы ради.

— Не нужна мне такая польза. Я один за державу ответствен и должен знать все. Пожалуйста, милая, пошли утром пораньше своего брата Федора за князем Василием Васильевичем, пусть придет. Этот не станет скрывать.

Голицын пришел утром и на вопрос Федора: «Что в стрелецких полках?» — отвечал прямо:

— Плохо, государь. Полк Грибоедова взбунтовался.

— А Пыжовский?

— В Пыжовском со вчерашнего дня волнения. И Долгорукий еще подлил масла в огонь, велел высечь полкового челобитчика.

— Старик выжил из ума.

— Надо было давно убрать его из Стрелецкого приказа, государь.

— Жалко было. Воин заслуженный. А грибоедовцы что требуют?

— И в этом полку командир неугоден. Грибоедов жестоко избивал своих стрельцов батогами, мало того, захватил их огороды под свои овощи, заставлял работать на себя, строить ему хоромы, вычитал у них деньги из жалованья и много других злых дел творил в полку, государь.

— Это что ж творится-то, Василий Васильевич? Помню, и после чигиринского похода ему указывалось на злоупотребления. Я же тогда дал ему два поместья в кормление. Почему же он еще и у стрельцов землю отбирает?

— От жадности, государь.

— Не припомню, где я ему выделил-то,— спросил царь, мрачнея от гневных мыслей.— Я запамятовал.

— В Вяземском и Рязанском уездах, государь.

— Соответствует ли все, что ты сказал, действительности, князь?

— Да, государь. Все это указано в челобитной, которая подписана не только рядовыми стрельцами, но и сотниками, пятидесятниками и десятниками. Грибоедов обнаглел, государь.

— Так, Василий Васильевич, мой указ по Грибоедову: звания полковника лишить, поместья отобрать, сослать в Тотьму. Но пред тем вывести с полком к Лобному месту, зачитать вины и бить в присутствии стрельцов кнутом до тех пор, пока они, рядовые, не скажут: довольно. А что с Пыжовым? Языков сказал, что его оклеветали.

— Нет, государь, Пыжов воровал из жалованья стрельцов.

— Ему то же самое от меня — кнут, пока стрельцы не попросят: довольно. Все!

Федор Алексеевич откинулся в изнеможении на подушку, прикрыл глаза, видимо, такое жестокое решение не легко далось ему, отняло много сил. Голицын постоял, ожидая пока Федор отдышится, потом, помедлив, спросил негромко:

— А кого приказать на место Грибоедова, государь?

— А есть у тебя кто? — спросил, не открывая глаз, Федор.

— Есть, государь.

— Кто?

— Василий Пушешников, сын Лаврентия.

— Назначай его. А Грибоедову составь скаску, где все вины, отмеченные в челобитной, перечисли, и не забудь, пред тем как наказывать, зачесть громко с Лобного места.

— Хорошо, государь. Можно идти?

— Ступай, князь. Скажи там, что я на Языкова, лжи его ради, опалу положил, дабы пред очи мои не являлся. Пусть вместо его будет спальник Федор Апраксин.

— Хорошо, государь.

Голицын, увидев в переходе Языкова, остановил его.

— Иван Максимович, государь лишил тебя постельничества. Не велел пред очи являться.

— За что, князь? — вытаращил глаза Языков.

— Сказал, из-за лжи, ты обманул его.

— Но, князь... Я же, как мне Долгорукий сказал... Разве я...

— Ничего не могу поделать, Иван Максимович,— пожал плечами Голицын.— Скажи спасибо, кнут миновал тебя. Грибоедову с Пыжовым выше макушки грядет.

И пошел дальше. Надо было написать скаску о винах обвиняемых и скорей, скорей привести в исполнение приказ царя, пока не взбунтовался еще какой полк. Сие заразительно.

К обеду Красная площадь была заполнена стрельцами. К Лобному месту привели под караулом Семена Грибоедова и Богдана Пыжова. Явился туда же и Сысой со своим длинным, плетеным из сыромятины кнутом, и всем стало ясно, что ждет арестованных. Бирюч Стенька Гром, взобравшись на Лобное место, во все горло, за которое и имел свое прозвище, орал скаску о винах Грибоедова:

— Ты, Грибоедов Семен сын Федоров, чинил стрельцам своим налоги и всякие тесноты, для взяток и работ бил их жестоким боем батогами, на всякие работы посылал их, стрельцов и детей их, и заставлял их шить себе цветные платья, бархатные шапки, желтые сапоги, из государского жалованья вычитал у них деньги, и всякие запасы на свое дворовое строение, к себе на двор брал из них денщиков помногу и заставлял их работать всяку работу и отходы чистить. А тебе еще ранее сам великий государь Федор

Алексеевич указывал стрельцов работать на себя не заставлять и земли у них не отбирать, для того ради и жаловал он тебя поместьями. Но ты забыл милость государя, стрельцов по-прежнему обижал и утеснял напрасно. И потому звания полковника ты отныне лишен государевым повелением, лишен и поместий всех и ссылаешься на жительство в Тотьму и подлежишь кнутобиению, сколь полку желательно будет.

Стенька Гром кончил чтение, стал сворачивать в трубку грамоту. К Грибоедову подошел помощник Сысоя, сорвал с него сорочку, обнажив спину. Затем встал к нему спиной почти вплотную, коротко приказал:

— Руки.

Грибоедов положил ему на плечи руки, тот схватил за запястья, вытянул вперед и свел на своей груди, крепко, как клещами, зажав в своих ладонях. Теперь Грибоедов висел у него на спине, как бы обняв его.

— Место,— прохрипел Сысой, и толпа стрельцов отхлынула от палача, давая простор для его кнута.

Сысой небрежно, как бы играя, откинул длинный кнут за спину, прищурился и резким рывком кинул эту сыромятную «змею» вперед, угадав точно по спине Грибоедова. Тот дернулся. В толпе в несколько голосов сказали весело: «Р-раз!» А кто-то злорадно крикнул:

— Эт тебе за нас, Семен Федорович.

И счет пошел: «Два!»

— Не сладко, полковничек? А?

«Три!»

— Терпи, Грибоед, мы терпели.

«Четыре!»

— А это за деток наших!

«Пять!»

Спина Грибоедова покрывалась синими рубцами, готовыми брызнуть кровью. Он сперва молчал, но потом стал вскрикивать после каждого удара. И где-то после пятнадцатого стрельцы уже перестали торжествовать. Замолкли острословы. Только кнут Сысоя свистел в тишине, черня спину несчастного Семена. Счет уже вел кто-то один.

Зол русич, жесток, но сердцем не злопамятен, а к униженному и обиженному даже жалостлив.

— Двадцать,— сказал добровольный счетчик.

И в толпе раздалось сразу несколько голосов:

— Довольно, довольно.

Сысой опустил кнут, помощник его разжал свои руки, отпуская наказанного, и, пожелав здоровья ему, попросил:

— Не серчай, Семен Федорович.

Ничего не ответил Грибоедов, пошатываясь, отошел в сторону, где ему подали кафтан.

К кнуту готовился полковник Пыжов, дрожащими пальцами расстегивал пуговицы кафтана.

Голицын не стал ждать окончания экзекуции, пошел в Кремль, за Спасскими воротами встретил Хованского, тот, хохотнув, сказал ему:

— А государь-то хитро сотворил, ох хитро. В самом зародыше пресек бунт-то.

— Не знаю, не уверен,— ответил Голицын.

— Почему? Разве для полковников это не наука?

— Для полковников, может, и наука, но не для стрельцов. Для черни наказание начальства лишь потворство. Я от этого добра не жду. Сегодня полковников бьют, а завтра могут и за нас взяться, Иван Андреевич. Так-то.

Глава 58

...И ОСТАВЯ ЗЕМНОЕ ЦАРСТВО

На следующий день, 27 апреля 1682 года, государь был тих и безмолвен, от завтрака отказался, но лекарство, предложенное фон Гаденом, хоть и с неохотой, выпил.

Марфинька вытерла мужу платочком уголки губ, куда скатилось несколько капель лекарства. Федор нежным взглядом поблагодарил жену, тихо прошептал:

— Милая моя.

И день выдался на редкость тих и ясен. Перед опочивальней государя толпились ближние бояре, даже Языков был здесь, хотя вчера еще Голицын передал ему гнев государев и отлучение от царской особы. Вчерашний постельничий имел вид жалкий и виноватый. А тут еще Голицын попекал попреками:

— Это все стрельцы да ты, Иван, довели его. Я никогда не видел его в таком гневе.

— Но я ж как лучше хотел,— оправдывался Языков.— Вон вместе с Хованским решили не огорчать его худыми вестями.

— Вздумали шило в мешке утаить. Благодетели! Его ваша ложь и ранила не хуже бунта...

Но Хованский, услыхав это, не согласился.

— О-о, князь Василий, это как поглядеть. Может, тут как раз твоя вина. Кто же больного человека оглоушива-

ет такими вестями. Думаешь, в старину случайно худого вестника жизни лишали? Ты, князюшка, ты доконал государя.

— Да будет вам спорить,— вмешался Стрешнев.— Все мы хороши. Конечно, это возмущение стрелецких полков взволновало его. Давно пора было Долгорукого в отставку проводить, а то Стрелецкий приказ на нем, а его туда калачом не зазовешь, по месяцу не является. Все разбаловались, распустились, заворовались, а потому и в полках бедлам начался. Из государева стрелецкого жалованья кто хотел, тот и тащил. Там по-доброму всех приказных крыс в батоги надо. А ты, Иван Андреевич, тоже хорош. Когда тебе государь велел Стрелецкий приказ принять?

— А что я могу поделать с князем Долгоруким? Он до сих пор об отставке и слышать не хочет, хотя наполовину уже парализован. Воин заслуженный, не могу ж я его силой гнать.

— Вот и государь жалел его. Дожалелся. Стрельцы скоро полковников сами выбирать будут, уже вон грозятся боярам кровь пустить.

— Ну это спьяну которые.

— Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Из опочивальни государя вышел спальник Федор Апраксин, тихо прикрыв за собой дверь. Все кинулись к нему.

— Ну что?

— Государь собороваться хочет.

— Так надо патриарха звать для этого.

— Он просил духовника,— сказал спальник и ушел.

— Не хочет государь протопопа обижать,— заметил Голицын, и все с этим согласились. Но Тараруй не удержался, чтоб своего слова не ввернуть:

— А може, на Иоакима серчает Вон и венчался у Никиты, не у патриарха.

Вскоре явился духовник царя Никита Васильевич. Кивнув боярам, прошел в опочивальню. Хованский тут же, пробормотав: «Надо бы...» — поспешно ушел. Чего «надо бы», так и не договорил, но Одоевский предположил:

— Не иначе, к патриарху побежал.

— Да, этот любит первым новости доносить, даже худые,— согласился Стрешнев.— Тараруй!

Подходили другие бояре, князья, стольники, спрашивали негромко: «Ну что?» Шурша платьем, прошла в опочивальню царевна Софья Алексеевна, ни на кого не глядя, даже на кума своего Голицына.

Время тянулось томительно долго. Во дворце все притихли в тревожном ожидании и если кто шел по переходам или лестнице, старался как можно меньше шуметь, не скрипнуть половицей, не стукнуть каблуком.

Но вот из опочивальни государевой послышался женский плач, все переглянулись, понимая, что это могло означать, но еще не смея произнести вслух этого. Дверь отворилась тихо, и на пороге появился протопоп Никита, сказал опечаленно:

— Великий государь Федор Алексеевич преставился, оставя земное царство и переселяся в небесную обитель. Царствие ему небесное.

Все начали креститься, и тут появился патриарх Иоаким в сопровождении Хованского. Патриарх подошел к духовнику, спросил негромко:

— Что он сказал перед уходом?

— Ничего. Отошел тихо и смиренно.

— Ты нарушил чин, Никита,— почти шепотом выговорил патриарх протопопу.— Елеосвящение, да к тому ж царю, должны были всемером чинить. А ты?

— Я знаю, владыка, но он не мог ждать и меня лишь звал. Пришлось мне одному. Каб вы чуть ране пришли...

Весть о смерти государя мгновенно облетела дворец, и тут все потянулись к опочивальне прощаться с покойным.

Патриарх Иоаким распорядился привести царевичей. Их поставили рядом — десятилетнего Петра и шестнадцатилетнего Ивана. Все подходили к ним, кланялись и целовали руки. Если Иван сам протягивал руку для поцелуя, то у Петра приходилось боярам брать руку самим, так как он все время норовил ее спрятать за спину. За ним стояла царица Наталья Кирилловна и негромко напоминала сыну:

— Руку, Петенька, подай руку князю.

— У него борода колючая,— говорил мальчик, отдергивая руку и с неохотой протягивая ее очередному желателю.

Пока шло прощание с покойным, Языков помчался к дядьке Петра Алексеевича, к князю Борису Алексеевичу Голицыну.

— Князь, государь скончался,— выпалил он с порога вместо приветствия.

Борис Алексеевич тут же послал за братом Иваном и за Долгорукими, с которыми давно уже была договоренность после Федора возвести на престол Петра.

Вскоре примчались братья Долгорукие: Борис, Григорий, Лука и Яков.

— Ну что, други, приспел час.

— Наверняка Милославские тоже готовятся,— сказал Иван Голицын.

— Может дойти дело до ножей,— заметил Борис Долгорукий.

— Это запросто,— поддержал его брат Григорий.— Надо бы панцири под кафтаны вздеть.

— Это верно. Береженого Бог бережет,— согласился Лука.

Все шестеро надели панцири под рубахи, а за голенища позасунули ножи-засапожники и отправились в Кремль. Борис Голицын распорядился и дворне своей следовать за ними и в случае чего кричать на царство Петра. Собрав их во дворе перед крыльцом, наказывал:

— Вы поняли, олухи, кричать Петра надо!

— Что ж тут неясного, князь, поорем за Петра.

В Кремле на площади уже толпился народ. Князья прошли через толпу, поднялись на крыльцо, проникли и в переднюю. В передней было и того гуще, но все знать высокая. Стоял гул как в улье во время доброго взятка. Все ждали выхода патриарха Иоакима. По смерти царя именно он должен огласить последнюю волю умершего государя.

Наконец-то патриарх появился в своей митре с посохом в сопровождении синклита архиепископов. Он стукнул посохом об пол. В передней сразу стих шум.

— Великий государь Федор Алексеевич скончался, не сказав нам воли своей последней,— начал говорить патриарх.— Давайте решим, кого будем ставить на царство, Ивана Алексеевича или Петра Алексеевича?

После вопроса патриарха тишина в передней удержалась лишь на несколько мгновений. И Борис Голицын, воспользовавшись этим, крикнул:

— Надо спросить людей всех чинов!

— Да, да, да! Всех чинов,— подхватили его сообщники в пять глоток.— Народ у крыльца, его надо спрашивать.

И, на удивление, в передней поднялся одобрительный гул. На предложение Голицына никто не возразил. Или не захотел, или побоялся.

— Ин будь по вашему приговору,— молвил патриарх и направился к выходу на крыльцо. За ним шел весь его клир, успевший собраться к этому часу.

Борис и Иван Голицыны вместе с братьями Долгорукими постарались одними из первых выйти на крыльцо за святыми отцами. Иван по приказу брата спустился вниз к

кучкующейся у нижней ступени голицыной дворне, дабы руководить дружным ораньем.

Когда на верхней ступени крыльца появился патриарх, толпа стала стихать. И дождавшись относительной тишины, которую нарушал только крик галок, круживших у куполов кремлевских, Иоаким громко спросил:

— Люди московские, решайте вы, кого будем звать на царство: Ивана Алексеевича или Петра Алексеевича?

— Петра-а-а...— первым грянул голицынский хор.

И площадь подхватила этот клич:

— Петра-а Алексеевича-а!

Где-то, кажется в единственном числе, выскочил несмелый голосок:

— Ивана Алексеевича.

Но тут же был перекрыт мощным хором:

— Петра-а! Петра! Петра!

И патриарх, воротившись во дворец, благословил на царство Петра и повелел всем присягнуть ему на верность и целовать крест.

Первым к крестоцелованию приступили думные бояре и дьяки. Голицыны и Долгорукие торжествовали победу, на удивление оказавшуюся не такой уж трудной и опасной, как они думали.

А меж тем Хованский помчался к Милославскому.

— Что делать, Иван Михайлович, прокричали Петра!

— Знаю уже,— оборвал его Милославский.— Стрельцов теперь надо подымать.

— Как «подымать»? — удивился Хованский.— Их едва утишили намедни. Их подымешь и сам не рад будешь. Эта палка о двух концах, Иван Михайлович, уж поверь мне.

— Ничего, ничего,— бормотал Милославский, бродя по комнате.— Что-нито придумаем, Ванька, не трусь. Придумаем.

Потом неожиданно остановился, повернулся к Хованскому:

— Ты ж, говорят, Стрелецким приказом ныне командуешь?

— Ну я. Ну что?

— Так тебе, Ваня, и карты в руки.

— Какие карты, Иван Михайлович, стрельцы ныне выпряглись, на них где сядешь, там и слезешь.

— Отчего так-то?

— Им уж сколько жалованья не плачено, да и то, что было, полковниками разворовано.

— Сейчас что во дворце-то делается?

— Присягают Петру, крест целуют.

— Ты уже присягнул, поди?

— Нет еще.

— Ну и молодец.

— Не хвали заране-то, Иван Михайлович. Если они в силу войдут, никуда не денешься, придется присягать, да и тебя, глядишь, заставят.

— Вот чтоб в силу-то не вошли, и возмути какой-нибудь полк.

— Я ж тебе говорю, Иван Михайлович, что стрельцов возмущать опасно. Обжечься можно.

— Трус ты, Ванька.

— Не трус я, а благоразумный, Иван Михайлович.

— Ну ладно. Благоразумный. Сделай так, чтоб какой-нибудь полк отказался присягать Петьке.

— Это другое дело,— начал сдаваться Хованский.— А то — возмущать... Мыслимо ли?!

— У тебя, благоразумный, есть хоть один полковник, который бы послушался тебя?

Хованский задумался, даже глаза под лоб подвел, припоминая, наконец сказал:

— Есть такой. Александр Карандеев.

— Вот и подучи его не присягать Петру вместе с полком.

Да, задал Милославский задачку Тарарую. Легко сказать: «подучи». Подучишь, а там, если все присягнут Петру, Карандеева под кнут отправят за ослушание, он язык развяжет, скажет, мол, начальник Приказа велел. Не миновать тогда Хованскому и отставки, и ссылки, а то и кнута. Милославскому что? Он дядя царский, а кто за Хованского вступится?

— Что, опять трусишь? — поддел задумавшегося Тарарую Милославский.

— При чем тут «трусишь», Иван Михайлович. Надо створить все по-умному

А в Кремле меж тем крестоцелование шло своим чередом, как и положено, без сучка без задоринки. Присягали бояре, дьяки, подьячие и думные, и приказные — все те, кто кормится с государева жалованья. Наталья Кирилловна тут же, едва ее сына провозгласили царем, заготовила грамоты о возвращении всех ее родных Нарышкиных из ссылки. Поскакал поспешный гонец и в Лух, звать на Москву дорогого Артамона Сергеевича Матвеева, в личном письме

которому царица так и писала: «...дабы взять в руки бразды правления державой».

В это время пришла в Кремль неприятная весть: «Полк Карандеева отказался присягать Петру».

— Что им сделал худого Петенька? — удивилась Наталья Кирилловна.

— Это происки недоброжелателей, государыня,— молвил князь Щербатов, случившийся около царицы.

— Константин Осипович, милый,— обратилась к нему Наталья Кирилловна.— Ступай в полк. Уговори. Ведь патриарх же благословил Петю. Народ же единогласно прокричал.

— Хорошо, Наталья Кирилловна, я пойду, но позволь мне взять с собой думного дьяка Емельяна Украинцева. Этот турков сумел уговорить, а уж стрельцов-то...

— Бери кого хочешь, Константин Осипович.

Князь Щербатов помимо Украинцева захватил с собой еще и думного дворянина Змеева Василия Семеновича: «Втроем надежнее, а по примете и удачливее».

Наталья Кирилловна с тревогой ждала вестей из полков. Но Щербатов воротился уже в темноте, с ним вместе ввалились и Украинцев со Змеевым.

— Все в порядке, государыня,— сказал Щербатов.— Полк присягнул.

— Слава Богу,— перекрестилась царица и спросила: — А с чего они упрямились-то?

— Жалованье давно не плачено.

— Ну а при чем Петя?

— Вот и мы ж им это талдонили. Разберемся, мол, и выплатим.

— Худо, матушка-царица,— вздохнул Украинцев.— Во всех стрелецких полках недовольство. Вот и в карандеевском такие вот подметные листки нашлись.— Он протянул царице невеликий лист бумаги.

Наталья Кирилловна взяла лист, прочла написанное: «Стрельцы! Будьте благоразумны, не присягайте Петру до тех пор, пока казна не выплатит вам долги. Если присягнете — забудьте о жалованье».

— А что, казна много должна? — спросила Наталья Кирилловна.

— Это надо Михайлу Лихачева спросить, государыня. Но стрельцы кричат, что их деньги полковники разворовывают.

— А кто пишет эти листы?

— Да уж не твои друзья, государыня. Это точно.

— Листы-то малы, но беда от них может случиться немалая,— заметил Змеев.

— Да,— вздохнула царица,— вы оба правы. Спасибо вам за хлопоты, что за Петеньку постояли, я не забуду услуги вашей. Ступайте, почивайте с Богом.

Самой Наталье Кирилловне нелегко было уснуть в эту ночь. Петенька-царь спал без задних ног, а ее томила тревога. Что-то чуяло ее женское сердце, что-то нехорошее. Но что?

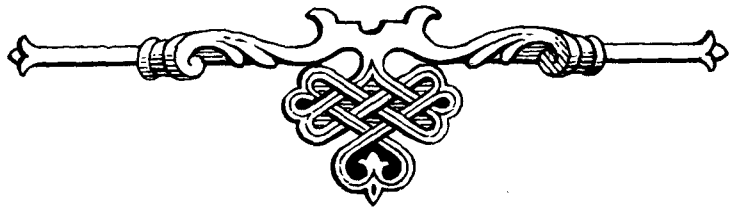
Ах, Русь, и что ты такая уж непутевая? Испокон веков шапку Мономаха не можешь с одной головы на другую благородно возложить, обязательно тебе смута и кровь нужна.

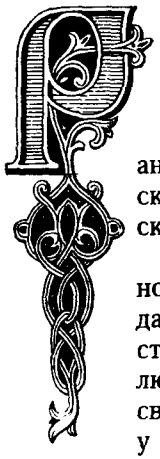
Неужто так и заповедано тебе вовеки? А? Русь?

А. Лавинцев

ЦАРИЦА-ПОЛЯЧКА

РОМАН





I
ГАННОЧКА ГРУШЕЦКАЯ

Ранней неприветливой весной 1675 года по сквернейшему проселку от границы к пауку-Москве двигался боярский поезд.

Видно было, что пробиравшийся из пограничной глуши боярин был не из важных, так, захудалый какой-то, а если и не захудалый, то настолько обсидевшийся в злосчастной и Богом, и людьми забытой мурье, что позабыл там, в своей берлоге, как живут люди на свете. Там-то, у себя, он каков с вида ни был,— всем и хорошим, и важным казался, хотя бы потому, что видней его во всей захолустной округе никого не было; но то, что было хорошо для мурьи, для подмосковских мест, всякие виды видавших, казалось жалким, убогим и смеха достойным.

Боярская колымага была бедная, подправленная, вершники и вся прочая поездная челядь рваные, чуть ли не в лохмотьях, лошаденки тощие, чахлые, будто овса никогда не видали. Поглядеть со стороны — просто срам один.

Однако боярская челядь как будто и не сознавала этого своего убожества. Вершники держались с наглой, вызывающей гордостью и на редких встречных проезжих так орали, требуя очистить дорогу, что у тех лошади шарахались с перепугу, а их седоки, с удивлением взглядывая на убогий поезд, только уже на большом расстоянии догадывались пустить вдогонку ему свое нелестное замечание.

Но всякое недовольство стихало, когда из возка выглядывала на встречного проезжего головка молоденькой красавицы-девушки.

Этот неважный поезд принадлежал московскому дворянину Семену Федоровичу Грушецкому, внуку польского выходца, застрявшего в Москве во время лихолетья. Его отец еще молодым человеком за какую-то дворцовую провинность был отослан Тишайшим на вотчину, то есть попал в опалу. Там, в глуши, он и скоротал свой век и, умирая, завещал своему единственному сыну, тоже успевшему состариться в отцовской опале, во что бы то ни стало восстановить блеск рода Грушецких, еще недавно, при первых Романовых, славного и знаменитого. Но какие хлопоты ни предпринимал Семен Федорович,— все было напрасно. Вокруг Тишайшего во все время его царствования так и кипели дворцовые интриги. Даже самому государю от них несладко жилось. Бояре так и грызлись, стараясь проглотить живьем один другого, и на Москве никому не было дела до сына давно позабытого чужака. Долгие годы опалы уничтожили всякую память о нем у гордых ближних бояр, а о сыне опального старика, понятно, и вовсе некому было думать.

Но в конце концов Семен Федорович, должно быть, надоел своими бесчисленными челобитьями о службе царской, которые он с упорством отчаяния слал на Москву с каждой оказией. Вернее всего, только ради того, чтобы как-нибудь отвязаться от надоедливого челобитчика, ему дали в управление крохотное чернавское воеводство. Впрочем, в том положении, в каком был Семен Федорович после смерти своего опального родителя, и это было хорошо.

Чернавск был хотя и захудалым городишкой, но все-таки он был ближе к Москве, чем медвежий угол на границе Литвы, где была жалованная вотчина Грушецких, и Семен Федорович, даже недолго сбираясь, тронулся на свое воеводство, полный самых радужных надежд на будущее.

Он так спешил, что отправился один, даже свою единственную дочь, красавицу Ганночку, бросил на попечение мамушек да нянюшек — Грушецкий был вдов,— и только спустя порядочное время прислал приказ и дочери, нимало не медля, ехать к нему на житье в Чернавск.

Теперь дочь ехала к отцу, и именно на Ганю-красавицу заглядывались случайные встречные, если им удавалось подловить то мгновение, когда молодая девушка выглядывала из возка, чтобы вздохнуть сырым, но чистым весенним воздухом.

И в самом деле хороша была собою Ганночка Грушецкая!

Предки-поляки передали ей типичную польскую красоту, растворившуюся в русской крови и слившуюся с русской красотой. Тонкие, словно точеные черты лица, русский здоровый румянец полымем во всю щеку, голубые с легкой

поволокой глаза, нежно-золотистые волосы, непокорно выбивавшиеся на высокий лоб кудряшки — все это было стройно-гармонично и притягивало жадный мужской взгляд.

Предки-поляки дали девушке и еще кое-что.

Грушецкие были герба Любеча, но вышли на Русь не так давно, чтобы польский дух, польский склад окончательно вытравился в них. Даже Семен Федорович, бывший по внешности уже настоящим русским, нет-нет да и проявлял кое в чем себя поляком. Единственную любимую дочь он воспитывал далеко не затворницею. Да и, впрочем, в той глуши, где ему пришлось прожить долгие годы, собственно говоря, и затворяться было не от кого.

Грушецкие у себя в поместье жили как в монастыре, часто по несколько месяцев подряд не видя никого постороннего. Может быть, изнывая от тоски, Семен Федорович и задумал воспитывать дочь совсем не так, как обыкновенно воспитывались на Руси девушки того времени.

Он выписал для дочери из Варшавы через знакомых старуху-польку, вдову когда-то богатого шляхтича, и поручил ей воспитание Ганны. Конечно, старая полячка повела дело по-своему и воспитывала Ганночку на родной ей лад. Семен Грушецкий тут не жалел денег. В его берлоге появились не только разные книги, но даже довольно сносные клавесины, и отец очень любил, когда дочь начинала играть в длинные скучные осенние и зимние вечера.

Войдя в девичий возраст, Ганна, благодаря воспитанию на иноземный лад, была сравнительно развитой девушкой. Она умела читать и писать, бегло говорила по-польски, разбиралась в латинских книгах, имела довольно ясное понятие о жизни на Западе и даже понимала, если при ней говорили по-французски.

Впрочем, западные обычаи, вплоть до воспитания детей на новый, чужеземный лад, уже успели проникнуть тогда на старую Русь. Отнюдь не было той дичи среди русских людей, какую стараются изобразить некоторые исторические писатели, откуда-то взявшие, что допетровская старая Русь была страною каких-то дикарей. Нет, этого не было. У русских была своя самобытная культура.

Сразу после падения татарщины началось быстрое сближение России с Западом. Начиная с царя-собирателя, везде по Европе разъезжали русские посольства. Иностранцы тоже свободно проникали на Русь, но вследствие некоторой отгороженности от начинавшего и тогда уже гнить Запада русские люди могли брать оттуда только то, что считали хорошим, и всякая западная скверна огромной волной влилась в нашу многострадальную родину только после петровской ломки русского быта.

Отнюдь не была дикаркой-затворницей и Ганна Грушецкая. Долгий, утомительный путь нисколько не нарушил ее хорошего, ровного настроения. Она, как птичка, вырвавшаяся из клетки, радовалась всему, что видела. Темные дубравы, сквозь которые им приходилось то и дело проезжать, не пугали ее, русский простор приводил в восторженное настроение. Однако к концу пути Ганна начала скучать: не было никаких приключений, и девушка уже не с прежним интересом стала относиться к нему. Она ехала в просторном, тепло обложенном войлоками возке со старухой-мамкой, и это усугубляло ее скуку. Ее воспитательница-полячка побоялась отправиться в глубь пугавшей ее Московии, а старая мамка была такая скучная, что и говорить с ней было не о чем.

— Да посиди ты покойно, Агашенька! — досадливо говорила старуха, которую беспокоило частое выглядывание девушки из возка.— Ну, чего ты там егозишь? Или пустырей не видала? Пожалей мои косточки старые...

— Скучно мне, матушка,— жаловалась Ганночка.

— Скучно, так уснуть попробуй! Сон-то от скуки куда как полезен!.. А не то, ежели хочешь, я сказку тебе расскажу. Хочешь?

— Расскажи, мамушка.

И старуха принималась рассказывать, даже и не замечая, что сказка вовсе не интересует ее питомицу. Все сказки своей мамушки переслушала Ганночка, все начала и концы были известны ей, и если в них было что-либо хорошее для молодой девушки, так только то, что эти сказки скоро сон нагоняли...

И засыпала под мирный старушечий голос молодая красавица. Начинали ей сниться всяческие сны. А известно, что в раннюю весну жизни снится всякой молоденькой девушке. Сны тогда ярко-золотые: снятся юные красавцы, шепчущие дивные слова вечной любви! Редко когда такие грезы становятся явью, но — что же? — хорошо хотя бы только и во сне быть счастливым...

II

ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Ганночка, убаюканная тихим говором старухи-мамки, сладко дремала, как вдруг неприятно-резкий толчок заставил ее открыть глаза.

Возок сперва словно нырнул куда-то, потом накренился набок и сразу замер на одном месте, как будто вкопанный. Девушка слышала кругом сердитые голоса, громкие крики, даже брань. Ржали лошади, суетились люди, и невольный страх охватил душу Ганночки.

Старуха-мамка, тоже дремавшая, мгновенно проснулась.

— Что такое приключилось-то? — далеко высунувшись из бокового отверстия возка, закричала она.— Чего стали-то?.. Волк или заяц дорогу перебежал?

— Полозье, бабушка, сломалось,— подошел к ней один из челядинцев,— вот что.

— Пришла беда нежданно-негаданно,— подтвердил слова первого другой.— И с чего бы, кажись, ломаться ему?..

— Так чего вы спите-то, окаянные? — залилась старуха.— Не зимовать же здесь на поле... Веревками, что ли, подвязали бы...

— Да, говори еще! Подвяжешь полозье веревками,— раздались протесты.

— Так как же быть, голубчики? — смирилась мамка, чувствовавшая, что Ганночка дергает ее сзади за полы кацавейки.— Вы надумали бы там что-нибудь такое...

— А только-то и надумать можно,— подошел старший из челядинцев,— чтобы кому-нибудь из нас на деревню скакать и кузнеца приволочь, ежели запасного полозья на раздобудем!

— А мы-то как? Здесь сидеть должны?

— Придется, ничего не поделаешь!..

— Ай, мамушка! — тихо вскрикнула слышавшая весь этот разговор Ганночка.— Да неужели же среди лесу останемся?.. Страшно-то как!

— Не бойся, глупенькая, не бойся! — поспешила успокоить свою питомицу старушка, хотя и сама-то не на шутку струхнула.— Ежели и придется, так не одни будем... Вон сколько народа... Да и страшного ничего нет! Столько времени ехали, все Бог миловал, и теперь все ладно обойдется. Не пешком же тебе идти, да и то неведомо куда... А что, Гаврилка,— опять высунулась старуха из окна,— может, какая ни на есть деревня близко?

— А кто ее знает? — лениво ответил холоп.— Нам эта сторона совсем неведома... Мы здесь чужедальние...

Он медленно побрел от возка к кучке товарищей, совещавшихся на дороге впереди поезда.

— Нет, видно, ничего тут иного не придумаешь, как поехать вперед да поискать, нет ли жилья какого...

— Видно, что так,— согласились некоторые с этим мнением,— лошади поотдохнут; экую ведь путину без подставы с утра сломали...

— А есть ли какое жилье впереди-то поблизости? — полюбопытствовал один из кучеров.— Может, тот, кто поедет, даром проплутает только...

— Так не назад же ехать! — раздались возражения.— Впереди хоть что-нибудь, хоть избенка какая ни на есть попадется, а назад чего искать? Последнее жилье о полдень видели, почитай, верст двадцать назад переть придется, да потом опять сюда столько же...

— Вестимо, вперед,— поддержал мнение большинства старший из холопов, на котором лежала вся ответственность пред Семеном Федоровичем Грушецким за благополучие в пути.— Да постой, ребята,— воскликнул он.— Вон чего-то Федюшка бежит... Колпаком машет и орет что-то... Беги, милый, беги сюда скорей!

По дороге, плохо наезженной и ухабистой, бежал подросток, действительно спешивший к старшим с какими-то вестями.

— Эй, дяденька,— кричал он,— тут опушка близко, а дальше поле идет, да такое, что глазом не окинешь...

— Ну, вона чем утешил! — недовольно проворчал старик.— С такими вестями и бежать сломя голову не стоило!

— Да погоди, дяденька, не все еще сказал,— прервал его Федор.— На опушке-то изобка стоит, а в изобке кто-то живет, дым курится...

— А-а, вот это — дело! — заволновались челядинцы.— Молодец Федюшка! Боярышню нашу, раскрасавицу писаную, к теплу пристроить можно... Все не под небесами ждать ей придется.

Ганночку все близкие к ней и ее отцу — вся челядь, вся дворня — любили. Ко всем была ласкова молодая девушка, для всех находилось у нее доброе слово, и ради этого все были готовы пойти за свою любимицу не только в огонь, но и в самое пекло.

Поэтому и теперь известие, принесенное Федюшкой, обрадовало всех этих людей, сильно встревоженных тем, что любимицу-боярышню на время поисков подмоги пришлось бы оставить в возке неизвестно на сколько времени.

— И хвалить, дяденька, не нужно,— рассыпался Федюшка,— что приметил, то и говорю...

— За то хвалят, что догадлив ты, парень, вот что! — высказал новую похвалу старик.— Мы вот тут на одном месте топчемся, а ты, не долго думая, слетал, осмотрел все и нас на новые мысли наводишь.

— Да ты что там, Серега, балясы точишь? — раздался со стороны возка сердитый оклик старухи-мамки.— Ты бы лучше дело делал, а наговориться и после успеешь... Ежели есть поблизости какое ни на есть жилье, так Ганночка да я и пешком туда доберемся...

Мамка и Ганночка, заслышавшие радостные крики, сами выбрались из возка и теперь подходили к кучке холопов. Те почтительно расступились пред дочерью своего господина.

— Ты, матушка,— заговорил старик Сергей, обращаясь к девушке,— повременила бы малость; спервоначалу посмотреть нужно, кто в изобке той живет.

— Кто? Уж верно крещеные,— затараторила старуха,— в этой стороне о нехристях и не слышно... И не изволь, Серега, препираться! Проводи-ка нас с Ганночкой вперед, все сразу и посмотрим, как и что! Идем, что ли, голубка моя сизокрылая? — обратилась она к молодой девушке, теперь уже не чувствовавшей страха, а даже радовавшейся этому небольшому дорожному приключению, доставившему ей возможность поразмять ноги прогулкой по лесу — Идем, милая, скорей! — добавила мамка и первая побежала вперед.

Холопам оставалось только повиноваться, и все вершники, ведя на поводу коней, последовали за боярышней.

Идти им пришлось недалеко, немного более полверсты и, пройдя эту недолгую дорогу, путники очутились пред небольшой, но весьма ладной на вид избушкой, стоявшей действительно на краю огромного, только что пройденного поездом леса, пред необозримым, пустынным полем.

Едва они подошли к низенькому крылечку, как двери сеней растворились и на крыльце появилась высокая, далеко еще не старая женщина, удивленно смотревшая на подходивших пешеходов.

Одета она была в крестьянский тулуп и ее голову покрывал редкий тогда в России шалевый турецкий платок, из-под которого выбивались пряди непокорных черных волос.

III

ТАИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Женщина ни слова не произнесла даже тогда, когда подходившие путники были совсем близко от нее, и лишь с любопытством смотрела на них, в особенности на закутанных с ног до головы путниц.

Ганночка тоже глядела на незнакомку из-под платка, глядела с восхищением,— такою красавицею показалась она ей. Глаза этой молчаливой женщины были особенные. Их взгляд, казалось, обладал какими-то невидимыми остриями и так и впивался в того, на кого был устремлен. По крайней мере, молодая девушка почувствовала себя как-то неловко, когда женщина на крыльце вдруг уставилась на нее. Ее взгляд словно жег Грушецкую, и она, не будучи в силах вынести его, невольно для себя потупилась и в то же мгновение услышала, что глядевшая с крыльца женщина засмеялась.

Должно быть, и старуха-мамка тоже почувствовала некоторую неловкость. Она громко запыхтела, закряхтела и воскликнула:

— Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня, чур! Что за ведьма явилась? Сгинь, сгинь, рассыпься, ежели ты не от мира сего.

Но это не подействовало Женщина на крыльце продолжала смотреть своими огромными лучистыми глазами на путников, как будто дожидаясь, чтобы кто-нибудь из них заговорил с нею...

Однако когда старый Серега, почтительно сбросив с головы колпак, начал спрашивать, нельзя ли побыть в дому боярышне с мамкою, а на задворках приткнуться их обозу, пока не будет починено сломавшееся полозье, незнакомка, внимательно выслушав его, вдруг громко-громко расхохоталась и кинулась назад к крылечным дверям.

Это было так неожиданно, что путники даже и не заметили, как она исчезла, и только расслышали громкое хлопанье двери.

— Наваждение дьявольское! — так и взбеленилась старушка-мамка.— И впрямь ведьма! Или просто ума рехнулась?

— Постой, мамушка,— серьезно и даже несколько строго остановил ее Сергей,— может, она кого другого вышлет к нам. Чего ерепениться раньше времени? Ведь худа она нам никакого не сделала, а ежели хохочет, так пусть себе на здоровье, должно, что глупенькая

— Уж глупенькая там или умненькая,— не унималась старушка,— а не гоже боярышне здесь оставаться. Может, тут воровской притон.

— Гоже или негоже,— опять серьезно сказал старик,— а придется остаться, ежели идти больше некуда. А насчет воров тоже бояться нечего· нас немало, да и не с голыми руками мы... А-а, вот еще кого-то Бог дает.

Дверь на крыльце опять распахнулась, и путники увидали на нем безобразную старуху, появившуюся так же неожиданно, как неожиданно скрылась молодая женщина.

Эта старуха была действительно безобразна. Ее лицо было темно, почти черно, большой, длинный нос, слегка загнувшийся крючком, придавал ей вид хищной птицы. На ней был ярко-красный, совсем не по-русски, концами назад, повязанный платок, а на плечах накинута суконная, с громадными медными пуговицами безрукавка, тоже невиданного в то время на Руси покроя.

— Ведьма, совсем ведьма,— закричала неугомонная мамушка и начала торопливо креститься.— Идем, Агашенька, назад, не место нам тут!

— Молчи, божья старушка! — уже сердито крикнул Серега и, смело поднявшись на крыльцо, вступил в объяснения.

Ганночка тоже испугалась, когда увидела эту безобразную женщину, но ее испуг быстро сменился любопытством; притом же и подвечерний холодок давал себя знать, и девушке хотелось забраться в тепло, сбросить тяжелые меховые одежды, растянуться на лежанке и отдаться сладкой неге и дремоте. По лицу Сергея она видела, что переговоры идут вполне удовлетворительно, и радостно заметила, что их старый, преданный челядинец наконец махнул им колпаком, приглашая этим подняться на крыльцо.

— Ну, идем, что ли, Агашенька,— недовольно проворчала мамка.— Делать нечего — и впрямь, куда деваться, ежели другого приюта нет Только ежели что, так Серега и будет в ответе, а не я...

Старушка, тоже прозябшая и в душе очень довольная, что есть возможность побыть в тепле, смело взошла первою на крыльцо. Ганночка последовала за нею; позади них пошли сопровождавшие их вершники, любопытство которых тоже было пробуждено этим таинственным жилищем и этими таинственными женщинами.

— Не бойся, мамушка, ничего,— шепнул старушке Серега, когда та была на крыльце,— живет тут туркиня одна, полонянка — это молодая-то, а старуха при ней — вот как ты при боярышне. Они одни и живут и добрым гостям обрадовались.

— Ну-ну! — проворчала старуха.— Уж и как бы они не обрадовались? Ведь, чай, не простые смерды к ним припожаловали, а воеводская дочь.

Путники были уже в обширных сенях таинственного дома. Было темно, но уже чувствовалась живительная теплота. Но вот, наконец, распахнулась какая-то невидимая сре-

ди тьмы дверь, и сразу просветлело. На пороге стояла прежняя старуха и жестами звала гостей идти за нею. Окончательно набравшись храбрости, мамушка, ухватив Ганночку за руку, двинулась вперед, все-таки крикнув:

— Серега, не отставай!

Перешагнув порог, все трое очутились в просторной горнице с большими, опять-таки необычными для русских жилищ того времени окнами. Стены горницы были увешаны роскошными персидскими коврами, а ее меблировка тоже была необычна для русских: преобладали низенькие, мягкие тахты и только в одном углу стояли русские широкие скамьи да большой стол, покрытый золототканой скатертью.

За столом, когда в комнату вошла Ганночка с мамкой, сидел молодой человек в русском кафтане, богатом, нарядном и свидетельствовавшем, что этот человек был не какой-нибудь простец. Ганночка, входя, уже бросила мимолетный взгляд на него, и этот молодец за столом показался ей прямо-таки красавцем. Да и в самом деле он был очень красив, но выражение его лица было какое-то мрачное,— не злобное, а именно мрачное, суровое, и это портило впечатление, производимое и его правильными, словно точеными чертами лица, и глубокими черными, то и дело поблескивающими глазами. Когда Ганночка взглянула на него еще раз попристальнее, то он уже не понравился ей, и какой-то смутный страх, как предвестник будущих невзгод, вдруг проник в ее душу.

IV
НЕВЕДОМЫЙ ХОЗЯИН

Молодой человек с любопытством смотрел на вошедших.

Так прошло несколько мгновений. Наконец, хозяин словно спохватился, что не приветствовал гостей, и, приподнявшись на скамье, несколько сиплым голосом, сопровождая свои слова легким наклоном головы, сказал:

— Добро пожаловать! Чьи вы будете, не знаю того, но везде у нас на Руси гость в дому — дар Божий. Разоблачайтесь да обогрейтесь с холода-то!..

Мамка словно ждала этого обращения.

— Спасибо на ласковом слове, добрый молодец,— затараторила она.— Чей ты, того и я не знаю, хотя по кафтану вижу, что не простого ты рода. А мы все будем вот ейного,— указала она на Ганночку,— батюшки: государева чер-

навского воеводы Симеона Феодоровича. Чай, слыхал про него?

Глаза молодого человека так и сверкнули недобрым огнем, когда он услышал слова мамки.

— Это Грушецкого, что ли, по прозвищу? — глухо и с оттенком злобы в голосе вымолвил он.— Как же не знать? Знаю! Нов он у нас человек, а знакомы мы... Все друг друга ищем, да найти никак не можем! — и вдруг, как бы спохватившись, что сказал лишнее, он сразу замолк.

— Ежели знакомцы вы с Симеоном Федоровичем,— воспользовалась этим перерывом старушка,— так еще того лучше! Уж будь покоен: Симеон-то Федорович за твою услугу в долгу пред тобой не останется и сторицей отблагодарит.

Молодой незнакомец при этих словах старушки заметно усмехнулся.

Та увидела эту усмешку и рассердилась.

— Не гоже смеяться-то, господин,— заговорила она,— ежели люди в беде и помоги просят!.. Сам же ты сказать изволил, что гость в дому — дар Божий, а и сам ты слышал, что не простые мы люди; так по чести ты и гостей таких принимать должен... Не хочешь — твоя воля, уйдем...

— Нет, бабушка, нет! — спохватился молодой хозяин.— Оставайтесь, сколько вам надобно. Тут у меня бабы есть, так они вам помогут,— напоят, накормят, а захотите — так и спать на вытопленную лежанку положат. Не русского они у меня теста, а добрые... Из персидской земли вывезены, по-нашему, почитай, и не говорят, ну, да это ничего — уж вы-то промеж себя столкуетесь. А я сейчас выйду, посмотрю, нельзя ли чем-либо вашему горю пособить... Это вашего дома холоп, что ли? Ну, пойдем, старый, как тебя там! — обратился он к Сергею и, сейчас же захлопав в ладоши, громко крикнул: — Зюлейка! Ася!

На этот зов из соседнего покоя выбежали и старуха, и молодая женщина, первая встретившая нежданных гостей на крыльце. Ганночка приметила, с каким любопытством оглядела ее с ног до головы молодая, и ей показалось теперь, что во взгляде этих больших черных глаз светились не то испуг, не то жалость.

Старуха не обращала никакого внимания на пришельцев; она даже не кинула на них взгляда, а подобострастно, совсем по-собачьи, смотрела на своего господина, выжидая его приказаний.

Тот заговорил с нею повелительно на каком-то непонятном языке

— Ну, боярышня,— ласково, заметно стараясь смягчить свой грубый, сиплый голос, обратился он затем к Ганночке, — прости, ежели не понравилось тебе что... Уйду я от вас, отдыхайте, а как вернусь, обо всем переговорим толком. Симеон-то Федорович во всей округе дочкой своей хвастает! Умница-разумница, баит, другой такой и не найти... Рад, что судьба нас с тобой свела. Может, и к добру, а может быть...— он оборвался и через мгновение глухо докончил: — Может быть, для кого-нибудь и к худу.

Ганночка вся так и вздрогнула, услышав эти слова.

Она была бойкая, развитая не по своему времени девушка и хотела сама заговорить, нисколько не смущаясь тем, что впервые видит этого молодого красавца, но не успела. Хозяин отвесил ей почтительно-низкий, поясной поклон и большими шагами пошел к дверям, не обратив внимания на няньку.

— Ну, идем, что ли! — крикнул он на ходу Сереге.

Женщины остались одни.

Как только затворилась дверь, молодая кинулась к Ганночке и, что-то лепеча на непонятном для девушки языке, быстро начала распутывать ее. Когда платок был скинут, молодая персиянка, увидав лицо Ганночки, даже вскрикнула от восторга и с пылкостью южанки осыпала девушку бесчисленными поцелуями. В ее лепете послышались уже и русские слова, которые она произносила, уморительно коверкая их. Но уже и это было хорошо. Кое-как Ганночка могла понять, что хотело выразить ей это дитя далекого Ирана, так пылко целовавшее ее и не скрывавшее пред ней своего восторга.

— О, хороша, хороша! — воскликнула персиянка.— Я тебя полюбила, я буду твоей сестрой и стану защищать тебя. Хочешь ты быть моей сестрой?

— Хочу! — ответила Ганночка, сразу же покоренная этой лаской.

— И будешь, и будешь! — захлопала в ладоши персиянка.— Я — Зюлейка, да, я — Зюлейка,— ударяя себя в грудь, прибавила она,— а ты? Как зовут тебя?

— Ганна...

— Ганна! — протянула Зюлейка и несколько раз подряд повторила: — Ганна, Ганна! Какое имя!.. У нас так не называют девушек. Но вы — другой народ, совсем другой... Так Ганна! Теперь я буду помнить, как тебя зовут. Ты не бойся, я всегда буду около тебя... О-о, как я ненавижу его! — вдруг с пылкой злобностью воскликнула Зюлейка и даже сжала кулачки.

— Кого? — встревоженно спросила Ганночка, которой были совершенно чужды такие быстрые смены душевных настроений.— Кого ты ненавидишь?

— Его, который ушел... князя...

— Князя? — вмешалась в разговор мамка.— Да нешто это — князь?

— Да, да! — закивала головой Зюлейка.— Большой князь... могучий... Все может, все!.. Он много зла творит, ой, много, и никого не боится...

— Ой, святители! — взвизгнула мамка, услышавши эти слова.— Да куда же занесло-то нас?.. Уж не к злодеям ли окаянным попали?

Старушка уже успела с помощью безобразной персиянки снять верхние одежды. Тепло сразу растомило ее, и она с ужасом думала, что вот-вот придется одеваться и снова идти на холод.

— Оставь, матушка,— перебила ее причитания Ганночка, и в ее голосе на этот раз даже послышалась строгость.— Слышала ты, чай, что вот Зюлейка говорит: князь — этот добрый молодец — не простец, не смерд, а государев слуга. Так злого на нас он не умыслит. Притом же он знает и про батюшку... Будь, родная, покойна! Побудем здесь, пока полозье поправят, а там и опять с Богом в путь-дорогу.

Зюлейка, слушая эти полные бодрости слова, радостно кивала головой и хлопала в ладоши.

V

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ОБИДА

Старый Серега покорно следовал за молодым красавцем-князем, хотя его сердце было далеко не спокойно. Старик нюхом чувствовал опасность: хотя вокруг него не было заметно ничего угрожающего, но ему сильно не нравился этот заносчиво-дерзкий, надменный молодец, смотревший на все вызывающе, нагло, так нагло, как будто на него во всем Московском государстве и управы не было.

Еще более смутился старик, когда приметил, что хозяин ведет его не в сенцы, откуда были двери на крыльцо, а куда-то в глубь таинственного жилья.

— Позволь, батюшка, слово спросить,— наконец не выдержал Сергей,— куда же ты меня теперь ведешь? Ведь наши возки там у ворот приткнулись, и мне у моих людей место...

Князь глухо засмеялся, а затем грубо сказал:

— Поспеешь еще к своим, старый сыч, допреж этого должен ты мне ответ держать.

— Уж на чем — и не знаю,— недоуменно развел руками Сергей,— кажись, ни в чем пред твоей милостью не провинился.

— Иди, иди! — крикнул в ответ князь и, сам распахнув двери, слегка толкнул в них Сергея.

Они очутились в просторной горнице, светлой днем, а теперь поверженной в сумеречные тени. Ее стены были увешаны тяжелыми медвежьими шкурами, среди которых эффектно выделялись громадные кабаньи головы с оскаленными клыками. Под ними были навешаны рушницы, самопалы, мечи и кинжалы в ножнах с роскошной оправой. Широкие лавки вдоль стен также были покрыты звериными шкурами; в углах стояли светцы, а на столах — жбаны, кубки и чаши, форма которых была заимствована из Немецкой слободы и сделана по-новому — в виде длинных, высоких, на тоненькой ножке стаканов.

— Ну, стань, старый хрыч, вот здесь,— указал хозяин Сергею место против стола, за который он уселся сам, сейчас же небрежно развалившись на широкой лавке.— Отвечай, как попу на духу, и не моги соврать... Солжешь, худо будет.

Произнеся эту угрозу, князь так сверкнул глазами, что по спине бедного Сергея мурашки забегали.

— Воля твоя, батюшка,— с заметной дрожью в голосе проговорил он,— а ежели я ничего дурного не сделал, не тать я ночной, не вор государев разбойный, так и таить мне нечего... Ехали мы к господину нашему Симеону Федоровичу в Чернавск, никого по пути не обижая.

— Довольно! — перебил его хозяин.— Ты давно у Сеньки-вора Грушецкого в холопах?..

Старик встрепенулся. Новая грубость этого приютившего их человека обидела его до глубины души.

— Кто ты, батюшка, будешь, то мне неведомо,— с достоинством ответил он,— а господин мой Симеон Федорович своему царю-государю не вор, а от его царского величества службою пожалован. Ты же вот в лесной трущобе живешь и — кто тебя знает — может, у лесных душегубов атаманствуешь. Мало ли кто теперь лихими делами промышляет!

Старый холоп проговорил все это медленно, твердо, не спуская взора с обидчика.

— А ежели про меня тебе узнать желательно,— продолжал он,— так я тебе скажу, что я батюшке господина моего теперешнего с малолетства служил, ребеночком маленьким, несмышленышем его помню, и на смертном ложе обряжал его, и в гроб клал, и в могилу опускал, а теперь верою и правдою не за страх, а за совесть его сыну служу и чести его в обиду не дам.

— Замолчи! — громко и грозно вскрикнул молодой князь.— Не для того я тебя призвал, чтобы твои песни слушать. Ежели ты вору Федьке Грушецкому служил, так и на Москве с ним был до того, пока его царь-государь от себя на вотчину отослал?

— Был.

— Неотлучно?

— Может, и отлучался, того не припомню...

— А князя Агадар-Коврановского помнишь? — яростно закричал молодой человек и так стукнул кулаком по столу, что стоявшая на нем посуда ходнем заходила.— Помнишь, как он царем вору Федьке головою был выдан? Помнишь, а?

Голос молодого человека переходил в бешеный крик. Его лицо покраснело и на лбу показались капли холодного пота, белки глаз налились кровью, он весь так и трясся от охватившей его ярости.

Очевидно, это была чрезмерно пылкая, страстная, быстро подчинявшаяся впечатлениям натура, которая во всем предпочитала крайности и не признавала уравновешивающей их золотой середины.

В свою очередь припомнил и Серега то, о чем говорил молодой князь.

Это было так давно; десятки лет уже прошли, а старик при первом же воспоминании увидел пред своими глазами, как живого, высокого, с нерусским лицом старика в пышных боярских одеждах, приведенного по царскому велению на их двор «для бесчестья». Гордый, надменный стоял он, этот старик, потомок древнего рода прикаспийских властителей, у крыльца своего ворога и молча, без слова выслушивал сыпавшийся на него град ядовитых насмешек, в которых поссорившийся с ним Федор Грушецкий отводил свою душу за нанесенную ему обиду. Смутно припомнил теперь Серега, что старики поссорились «из-за мест» у царского стола. Сел Агадар-Ковранский выше Грушецкого и места своего ни за что не хотел уступить сопернику, а тот шум поднял и о бесчестье кричал. Агадар-Ковранский в долгу не остался и всяким воровством Грушецкого корить начал, каждое дарение припомнил, которое получил Федор Грушецкий, когда на воеводстве был. Такой тогда шум в столовом покое спорщики подняли, что повелел им великий государь обоим вон выйти. Но они и тут не унялись: на крыльце потасовку завели, Агадар-Ковранский Грушец-

кого за бороду таскал, всю так и вырвал бы, если бы их боярские дети да дворцовые дворяне не развели. А потом царь великий сам разобрал все это дело, и вышло, что не Агадар-Ковранский, а Грушецкий прав. И выдан тогда был обидчик головою обиженному.

Видел Серега гордого князя теперь как живого. Стоит он у крыльца, не шелохнется, только так огнями глаза и взблескивают, да рука сама к поясу по привычке тянется. Хорошо, что нож у него отобрали, а то затуманила бы пылкая южная кровь голову и кончилось бы «бесчестье» смертоубийством.

Только кто же этот молодец? С лица он как будто похож на Агадар-Ковранского: те же сверкающие из-под тонких, точно вычерненных, бровей очи, та же осанка — гордая, властная, та же пылкость без удержу; да и с голоса он похож: говорит глухо, как будто слова откуда-то изнутри вылетают.

— Ну, что,— услышал Серега новый вопрос,— припомнил ли?

— Прости, батюшка,— тихо ответил старик,— господа спорят, так не нам, холопам, разбирать, кто из них прав, кто нет... Не наше это дело холопское! Да и кто ты такой, не ведаю. С чего ты старую свару поднимать вздумал?

— А с того,— так и загремел молодой князь,— что тот Агадар-Ковранский мой дед был, и его позор мне до сих пор душу жжет; как вспомню, так все равно, что полымем охватит. И вот теперь сама судьба привела меня старый долг сторицей заплатить. Неспроста, видно, внучка Федьки в мои хоромы залетела: судьба нанесла ее ко мне. Ха-ха-ха! Умница-разумница, золото, а не девка... Вот посмотрю я, как она у меня запляшет... Вдоволь натешусь, а там будь что будет... Эй, кто там! — и молодой человек громко захлопал в ладоши.

VI

ОТ ГНЕВА К ГНЕВУ

Старый Серега был далек не труслив и видал на своем веку всякие виды, но так и вздрогнул, услыхав это призывное хлопанье в ладоши. Он теперь уже не предчувствовал, а видел беду, и страшился — правда, не за себя, а за свою ненаглядную боярышню, доверенную его попечениям.

— Батюшка-князь! — сдавленным голосом выкрикнул он.— Что ты задумал?

— А вот сам, коли поживешь, увидишь! — загадочно усмехнулся Агадар-Ковранский.

— Смотри, Господь тебя накажет! — снова крикнул окончательно терявший голову старый холоп.— Он-то все видит...

— Накажет? За что? — опять зло и загадачно усмехнулся молодой человек.

— Ежели ты что-либо злое против боярышни Агафьи Семеновны задумал... Гостья она твоя, твоей чести княжеской доверилась... И думать не могли мы, что к разбойнику-атаману попали.

— Молчи! — весь багровея, выкрикнул Агадар-Ковранский, — молчи, или я тебе сейчас глотку заткну!

Он злобно сверкнул глазами и схватился за рукоять заткнутого за пояс ножа; но в это мгновение в покое, из-за дверей, завешенных тяжелой медвежьей шкурой, бесшумно появились двое людей с нерусскими лицами; скулы и узкие, словно прорезанные щели, глаза выдавали их восточное происхождение.

Оба эти человека были высоки ростом, широки в плечах и, очевидно, обладали громадною физическою силою. Они смотрели на князя таким же подобострастно-собачьим взглядом, каким смотрела на него и старуха Ася, приставленная к красавице Зюлейке. Ясно было, что достаточно взгляда повелителя, чтобы эти преданные рабы без рассуждения исполнили всякое, даже самое ужасное дело.

— Болтает холопий язык без разумения,— проговорил князь, видимо сдержав страшным усилием воли свой гнев,— все вы, псы потрясучие, на один лад... Гассан, Мегмет! — обратился он к своим приспешникам.— Возьмите этого сыча, угостите его вместе с другими холопами на славу... Так угостите, чтобы долго, всю жизнь помнил наше гостеприимство!

Дальше он не мог сдерживать клокотавшие в нем ярость и гнев и разразился неестественным, скорее всего истерическим смехом, быстро перешедшим в хохот.

— Ну, пойдем, душа моя,— проговорил Гассан, кладя руку на плечо Сергея,— ты иди, иди себе, не бойся ничего: наш господин куда какой добрый... Он тебя угостить велел... Иди же, а то другие-то твои куда пить лихи, выпьют все, съедят все и тебе, душа моя, ничего не останется...

— Иди, иди,— слегка подтолкнул старика и Мегмет,— а то господин осерчает, тогда худо будет.

Сергей понимал, что сопротивление с его стороны было бы бесполезно.

— Князь! — торжественно проговорил он.— Помни: Господь не попускает злу и наказывает обидчика...

— Иди прочь! С глаз долой! — закричал и затопал ногами Агадар-Ковранский.— Вы что? — сжал он кулаки на своих слуг.— Чего еще язык чесать даете!

В одно мгновение Сергей, словно вихрем выброшенный, очутился за дверью в другом покое.

— Ну, какой ты, душа моя! — укоризненно покачивая головой, проговорил Мегмет.— Ну, зачем тебе господина нашего гневить?.. Ведь никто с тебя шкуры еще не спускает...

— В вашей я воле,— тихо и печально проговорил старик,— делайте, что хотите, ежели креста на вас нет...

Гассан и Мегмет, перемигнувшись между собою, громко захохотали.

— Смейтесь, смейтесь! — воскликнул Сергей, которого морозом по коже подрало от этого хохота.— На том свете за все про все рассчитаетесь...

Его возбуждение пропало, отчаяние уже овладело им. Старик не видел выхода из создавшегося ужасного положения и машинально передвигал ноги, следуя за своими проводниками, все время пересмеивавшимися и весело болтавшими на каком-то непонятном ему языке.

Но каково же было его изумление,— он даже рот с диву разинул и глаза выпучил,— когда после нескольких переходов открылась дверь в длинный, просторный покой, очевидно бывший «людской» в этом странном доме, и там он за столами, уставленными всякими яствами — окороками, пирогами, мисками с варевом и жбанами с питиями,— увидел кучеров своего поезда, двух горничных девок боярышни и мальчугана Федьку, нашедшего это таинственное жилье. С ними были еще незнакомые Сергею люди, очевидно слуги Агадар-Ковранского. Все они весело и беззаботно угощались, на их лицах не было заметно никаких признаков страха. Из челядинцев Грушецкого не хватало только троих вершников. Сергей сразу приметил это, но его удивление было так велико, так сильно, что он на первых порах и слова выговорить не мог.

Между тем челядинцы Грушецкого заметили своего набольшего.

— Эй, дядя Сергей, Серега, кум Сергей,— закричали все они разом,— вот и ты, живые мощи, явился... Куда запропал?.. Ишь, как князенька здешний — дай ему Бог всякого здоровья! — угощает...

— Садись, душа моя, садись скорее за стол! — слегка и даже дружелюбно подтолкнул в бок старика Гассан.— Будь гостем!..

Сергей все еще нерешительно приблизился к столу. Сидевшие на скамьях пораздвинулись, очищая ему место.

«Уж не во сне ли я все это вижу? — подумал старик, опускаясь на скамью.— Может, и в самом деле я понапрасну князя изобидел, может, никакой беде и не бывать?.. А ежели так, то с чего же он, как ерш, ерепенился?»

Однако сердце старого холопа ныло, предчувствия не оставляли его, но он понимал, что в такой обстановке невозможно было выражать подозрения.

Между тем мрачные предчувствия отнюдь не обманывали старого холопа.

Князь Василий Лукич, оставшись один, забегал по покою, как бегает разъяренный зверь по своей клетке. В его душе ревела буря, думы и мысли в его распаленном мозгу словно вихрем крутило и рвало. Горячая южная кровь так и бурлила, кидаясь в голову, туманя ее до того, что князь видел ясно созданные воображением образы.

Дедовское оскорбление, оставшееся в наследство внуку неотмщенным, всегда сушило князя Агадара, всегда давило страшной тяжестью его гордую душу, и теперь сама судьба как бы посылала ему полную возможность отомстить так, как могло подсказать только болезненное, распаленное воображение.

Пылкий князь уже теперь начинал чувствовать прелесть мести. Ему до жуткости сладко было представлять себе, как он будет утолять свою ярость. Он не торопился, а, как тигр, уже захвативший жертву, отдалял решительный миг, наслаждаясь пока тем, что создавал его мозг. По временам из груди князя вырывался дикий хохот, мрачный и грозный. Только почувствовав усталость, он грузно опустился на скамью и, громко свистнув, захлопал в ладоши. На этот зов сейчас же явилась старая, безобразная Ася. Грозно нахмурив брови, заговорил с ней князь Василий на понятном только им одним восточном наречии. Старуха слушала его, то и дело кланяясь.

— А теперь проведи меня к Зюлейкину покою,— уже по-русски крикнул Агадар, покончив с приказаниями,— я хочу видеть ее... Да, видеть, но так, чтобы она меня не приметила...

Ася снова в знак повиновения склонила голову, приложив ко лбу руку. Потом она тихо, по-кошачьи, шмыгнула вперед. Князь последовал за нею.

Покои Зюлейки были отделены от комнаты князя длинным переходом, в конце которого была также завешенная звериной шкурой дверь.

Слегка приподняв эту своеобразную портьеру, Василий Лукич заглянул внутрь покоя. Ганночка сидела на скамье у окна рядом с нежно обнявшей ее Зюлейкой. В глубине покоя у лежанки дремала мамка.

— Как хороша! Ангел небесный! — невольно вырвался у князя Василия восторженный лепет.— Как хороша! — Но на его губах так и змеилась нехорошая злобная улыбка.— Пусть, пусть! Слаще будет моя месть... Да, судьба отдает мне эту красавицу...

VII

ЛЕСНОЕ ЛОГОВО

Должно быть, Ганночка почувствовала на себе чужой горящий взгляд. Она забеспокоилась, зашевелилась и даже привстала со своего места. Князь Василий сейчас же отпрянул прочь и, схватив Асю за руку, потащил ее за собою назад...

— Смотри, ведьма,— прерывисто крикнул он,— чтобы все было исполнено, как я приказал... Весь твой поганый дух вышибу, ежели слукавишь, а теперь убирайся, вернусь ночью!.. Чтобы у тебя все было готово... Вон!

Ася бесшумно, как тень, скрылась.

— Эй, Гассан,— закричал и захлопал в ладоши Агадар,— коня!

— Прикажешь мне быть с тобой, господин? — спросил появившийся на зов, словно из-под земли, Гассан.

— К дьяволу на рога! — закричал на него Агадар.— Один на усадьбу еду!.. У вас здесь свое дело... Что наезжие холопы?

— Угощаются по твоему велению, господин,— было ответом,— все исполнено, как ты приказал...

— То-то! Чтобы к ночи все они замертво перепоены были... Сонного порошка в брагу подсыпь, но чтобы все они пластом лежали, когда я вернусь... Запорю, жилы вытяну, ежели что не так будет...

— Будь спокоен, господин! — ответил Гассан.— Верою и правдою мы тебе всегда служили и теперь послужим. Не наше дело раздумывать, что зачем; что ты приказываешь, должно нам исполнять, не прекословя.

По виду Гассан был совершенно спокоен, но его узкие глаза так и бегали из стороны в сторону. Видно было, что его душа далеко не была так спокойна, как лицо.

— Все, господин, будет исполнено, все! — повторил он еще раз.— Я отвечаю тебе!..

Эти слова были сказаны уже вдогонку Агадар-Ковранскому, быстро вышедшему из покоя. Гассан так ловко шмыгнул, что очутился впереди своего повелителя, и, когда князь вышел на крыльцо, здесь уже ожидал его великолепный горячий конь, которого еле-еле могли сдержать под уздцы двое дюжих конюхов монгольского типа.

Князь легко вскочил в седло. По всему было видно, что он — превосходный наездник. Очутившись в седле, князь огрел коня плетью по крутым бедрам. Тот, храпя и дико озираясь налитыми кровью глазами, взвился было на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника, но напрасно: князь Василий словно прирос к седлу и град ударов нагайкой заставил могучее животное смириться пред человеком. Конь опустил передние ноги и рванулся вперед. Как раз в это мгновенье князь дико гикнул, взвизгнул, и испуганное животное вихрем помчалось вперед, роняя на белый снег хлопья багрово-кровавой пены.

Все это заняло минуты полторы, не более. Трудно было заметить, как скрылся князь за поворотом дороги,— так быстро унес его конь. Конюхи и Гассан стояли на крыльце, как очарованные.

— Лихо, шайтан его пополам разорви! — пробормотал один из них, приходя наконец в себя.

— И вот постоянно он так-то,— ответил другой,— сколько в нем силы да удали молодецкой, что и размыкать где их не знает...

Гассан, слыша эти слова, вздохнул полной грудью и тихо, с явным сожалением в голосе, произнес:

— В степи бы родимые вернуться ему! Там простор по нему, а здесь, в Москве, он — что орел в клетке. А кровь дедовская так вот и играет... Эй, да что... Воля Аллаха такова, и против нее не пойдешь... Идем, что ли, к гостям-то?.. Поди, заскучали без нас!

Он повернулся и побрел в дом.

У дверей Гассан остановился и как-то нехотя сказал:

— Не по сердцу мне затея господина нашего!

— А что? — недоумевая спросил следовавший по пятам за ним конюх.— Будто зло какое затевает: ишь, угощать велел...

— Ну-у! — Гассан раздумчиво покачал головой, махнул рукой и перешагнул порог.

А в это время князь Василий мчался по наезженной дороге. После нескольких минут бешеной скачки он свернул в сторону и, сдержав коня, заставил его войти в кустарник, окаймлявший дорогу. За кустарником вилась чуть заметная тропинка, по ней-то Агадар-Ковранский и направил коня.

Мглистые весенние сумерки уже переходили в ночь. Однако было достаточно светло, когда после довольно долгого пути князь добрался через лес до обширной поляны, со всех сторон окруженной вековыми соснами. Посредине этой поляны стояли богатые — похожие, впрочем, на крепость — хоромы, около которых раскинулись разные службы. Это было поместье Василия Лукича.

Каждый устраивается по своему вкусу, и дикость места, должно быть, в совершенстве соответствовала дикой натуре Агадар-Ковранских, этих недавних выходцев из прикаспийских степей. Они как будто хоронились от людей в этой лесной глуши, и все, по крайней мере и князь Василий, и его отец, и дед, жили двойственной жизнью. На Москве, близ царя, они были совсем другими людьми. Там они сдерживали свои порывы и казались не хуже остальных царедворцев. Но, попадая из Москвы в свое поместье, сразу же обращались в дикарей; все наносное спадало с них, души как будто освобождались от внешних покровов, от всего, что сдерживает порывы, и в своем поместье князья Агадар-Ковранские были тиграми в логовищах.

Князь Василий Лукич являлся последним представителем своего рода. Он был единственным сыном своего отца, уже давно умершего. Матери князь Василий даже не помнил — она умерла, когда он был еще ребенком. Единственной родной душою у него была старуха-тетка по матери, которую он обожал со всей пылкостью своей страстной натуры. Марья Ильинишна, так звали тетку князя Василия, вдова незнатного дворянина, воспитала его, сироту. Она заменила ему мать, но не могла справиться с дикостью и пылкостью племянника в детстве, а потом, когда он вошел в зрелые годы, справляться с ним было уже поздно. Все-таки Марья Ильинишна была во всем мире единственным существом, которое имело хоть какое-нибудь влияние на буйного, своевольного удальца. Старушка была уже дряхла и от лет слаба телом, но ее разум был светел и душа чиста от всякого зла и житейской скверны. Она безвыездно жила в лесном поместье племянника, и благодаря этому всем, кто был около нее, жилось довольно сносно.

К ней-то и помчался из своего дома князь Василий, чтобы поделиться той радостью, какую доставила его душе мысль об отмщении за дедовскую обиду.

Неукротимый нрав молодого князя был хорошо известен его дворне и челяди. Известна была его жестокость в расправах, и это заставляло всех постоянно быть начеку. Едва только конь вынес Василия на поляну, как в хоромах уже заметили его и навстречу кинулись десятки людей. Одни спешили принять коня, другие просто суетились вокруг, третьи рвались, чтобы приложиться к княжеской ручке.

— Государыня-тетушка не легла еще опочивать? — не глядя ни на кого, громко спросил князь, быстро взбегая на крыльцо, и, когда услышал, что Марья Ильинишна только что еще повечерять изволила, отдал новое приказание: — Пусть к ней кто-нибудь бежит и доложит, что, дескать, опять Василий прибыл и позволения просит к ней пойти...

Он остался на крыльце, глядя, как усердные конюхи вываживали перед ним коня.

— Чтобы через час он у меня в порядке был! — крикнул князь.— Я назад поеду.

В это время бегом возвратившийся холоп доложил ему, что государыня-тетушка Марья Ильинишна рада видеть своего племянника и ожидает его.

VIII

РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ БУРЯ

Несколько робея, вошел неукротимый Агадар-Ковранский в покой своей престарелой тетки.

Пред ним, пока он шел по дому, везде распахивались двери, многочисленная челядь и приживальцы — последних у щедрых князей Агадар-Ковранских всегда было множество — отвешивали ему низкие, подобострастные поклоны. Князь Василий не замечал этого.

У дверей тетушкина покоя сидел низенький, дряхлый, седой как лунь, со сморщенным в кулачок, похожим на печеное яблоко лицом, старикашка, единственный, собственно, холоп Марьи Ивановны. Его звали Дротом; хотя крестовое имя у него было совсем другое, но вряд ли он и сам его помнил и откликался только на свою привычную кличку. В качестве не принадлежащего ни к дворне, ни к челяди князей человека, он держал себя самостоятельно и, бывало, не спускал даже князю Василию, и не только перечил ему, но иногда и дерзил, что, впрочем, всегда бла-

гополучно сходило ему: так сумело поставить себя в этом логове «диких князей» это беспомощное, бесправное, дряхлое и хилое существо.

И теперь Дрот, хотя и видел подходящего князя, сделал вид, что даже не замечает его. Он не встал с низенькой скамеечки, на которой сидел у дверей, даже головы не поднял, а остался сидеть, как сидел, и вдобавок ко всему замурлыкал себе что-то под нос.

Князь Василий, подойдя почти к порогу, остановился, нерешительно поглядел на Дрота и несколько заискивающим тоном вполголоса выговорил:

— Ну, здравствуй, что ли, старый пес!

Только услышав эти слова, Дрот поднял голову и прошамкал:

— А, это — ты, забубенная твоя голова? Каким ветром занесло? Небось носился все эти дни, ветер погоняя, или у своей персидской прелестницы торчал, на некрещеную красу глаза пяля?

Князь Василий промолчал. На него, обыкновенно вспыльчивого, эти грубые слова как будто не произвели впечатления.

— Тетушка-то не легла в постель? — спросил он.— Молитвы на сон грядущий не прочитала?

— Тебя ждет,— опять шамкнул старик.— Ты смотри, не гневи тетушку.. Ишь, к погоде, надо полагать, что-то занедужилась она.

— Что с ней? — тревожно спросил князь, его мгновенно охватила боязнь потерять единственное дорогое для него существо.— Дюже немощна?

— Говорю, погоду чует, может статься, оттепель начнется, так и ноют старые кости... Да ты иди, иди, чего растабарываешься попусту? Ведь, поди, ждет она тебя...

— Ну, ин быть так,— даже вздохнул князь Василий,— пойду! — и с этими словами он робко, осторожно отворил дверь в тетушкин покой и перешагнул через порог.

Прямо на него так и пахнуло теплом, лампадной гарью и запахом различных травяных настоек. В покое стояла полутьма; единственным освещением здесь были огоньки многочисленных лампадок у образов, еще не завешенных на ночь убрусами. Неподалеку от переднего угла в глубоком кресле с высокой резной спинкой сидела сама тетушка Марья Ильинишна. В сумраке почти не видно было ее, к тому же она совсем глубоко ушла в кресло, что при малом росте и совершенно тщедушной фигурке делало ее совсем незаметной. Но князю Василию незачем было разглядывать ее. Дорогое сморщенное старушечье лицо всегда было

пред его глазами, и теперь он, едва перешагнув порог, радостно крикнул и с распростертыми объятиями кинулся к креслу.

— Тетушка милая, матушка богоданная,— лепетал он, опускаясь на колена и покрывая поцелуями маленькие морщинистые, сухие руки тетки,— прости ты меня, путаника, за то, что я давно у тебя не бывал...

— То-то,— проговорила с лаской в голосе старушка,— забывать ты меня начал, Васенька! Видно, молодое-то к старому не может липнуть...

— Ой, тетенька родимая,— совсем по-детски говорил князь Василий,— да и как же я могу забыть тебя? Ведь один я одинешенек на белом свете и одна ты у меня кровиночка родимая. Те, что на Москве у нас есть,— только по имени родные, а истинная-то родная у меня только ты одна...

Он продолжал целовать руки Марьи Ильинишны и теперь — обычно неукротимый сорванец, не знавший удержу в своих порывах,— был совсем другим человеком. И в голосе, и в движениях у него было что-то детское, искренне покорное, отражающее неподдельную любовь, душевную ласку.

Старушку тронуло это обращение племянника. Она ласково положила на его голову руку и сказала:

— Ну, так быть по-твоему: прощаю тебя, ежели ты в чем-либо провинился... Господь да пребудет с тобою вовеки, как благословение пребывает с тобою... Говори теперь, что приключилось, зачем в такую позднюю пору летел?

Услыхав этот вопрос, князь Василий вскочил с колен и выпрямился во весь свой рост. Он как бы весь преобразился. На его лице уже не видно было недавнего детски-доброго выражения, оно сделалось прежним мрачно-хищным; его глаза сверкали, он дышал так тяжело, что грудь высоко вздымалась.

Старуха зорко следила за своим племянником.

— Ох, Василий,— промолвила она,— не люблю я тебя таким-то!

— Не любишь? — воскликнул тот со страстной пылкостью.— Не любишь, когда я счастлив? Ха-ха-ха! Такое, тетушка, дело мне судьба послала, что, как сделаю его, хоть и умереть не жалко...

— Что? Какое такое дело? Что у тебя, Василий, случилось? — заволновалась Марья Ильинишна.

— Доброе дело, тетушка. Такая птичка в мою берлогу залетела, что не знаю, какого бога и благодарить за это! —

и он, прерываясь и путаясь в словах и выражениях, рассказывал о появлении в его доме боярышни Грушецкой.

Марья Ильинишна слушала его с большим вниманием.

— Ну что же,— тихо сказала она, когда князь Василий кончил свой рассказ,— чем чудо-то? Гость в дому — дар Божий.

Агадар-Ковранский злобно расхохотался.

— Слыхал я это! — проговорил он сквозь смех.

— И хорошо, ежели слыхал,— прервала его старуха,— ежели так, то чего же гогочешь, как жеребец невыезженный? Поди, боярышня-то и годами молода и собой куда как пригожа?

— Ой-ли, тетушка, как пригожа! — пылко воскликнул князь Василий.— Что ангел небесный!

— Уж и ангел! — усмехнулась старушка.— Вот все-то у вас так! Чуть пригожую девку где увидите, сейчас же и ангел... Видно, защемило сердце-то?

Князь Василий усмехнулся, усмехнулся зло, нехорошо; его красивое лицо так и исказила эта дьявольская усмешка.

— А ты помнишь, тетушка, кто такие Грушецкие? А? Не помнишь? Так я тебе скажу, что мой дедушка, царство ему небесное, вора-деда этой самой Агашеньки Грушецкой за бороду таскал...

— Ну, так что же из того? — спросила Марья Ильинишна, и в ее голосе послышалась тревога.

— А то, что потом мой дед вору-Грушецкому царем головой был выдан, и тот его срамил и позорил, как хотел...

— Давно то было, Васенька,— печально проговорила старушка,— больно давно!

— Верно, тетушка, давно! Старики-то в земле, поди, сгнили, а вот в моем сердце дедовская обида жива. Мутит она меня, жить мне мешает... Как бываю я на Москве да войду во дворец, так и кажется мне, что все-то там старики на меня с укором смотрят, а молодые прямо так и смеются: ведь дедовская обида неотплаченной осталась, честь не восстановлена, память деда от позора не очищена... Как прослышал я, что Сенька Грушецкий в Чернавске, так с тех пор и покоя мне совсем не стало. Дал я зарок великий при первом же случае со злым ворогом рассчитаться, и вот судьба так-таки прямо на меня его дочку нанесла. Раньше, чем я думал, рок мне счастье послал... У-ух! — дико взвизгнул князь Василий.— Уже я не я буду, ежели теперь своего сердца не утолю... С тем и пришел я к тебе, тетушка родимая, чтобы счастьем своим поделиться. Что скажете мне, мама богоданная?

Ответ последовал не сразу.

Князь Василий стоял пред теткой, меча на нее огненные взгляды. Он тяжело дышал, страсти так и кипели в его неукротимом сердце.

— Что я тебе скажу, Васенька? — тихо заговорила наконец Марья Ильинишна.— А то скажу, что вижу я, будто негожее ты задумал. Оставь старые обиды! Ссорились старики, меж них потасовка вышла, они в грехе, они в ответе; что меж них было, то прошло и быльем поросло; отец твой об этом не вспоминал, с чего же ты-то старые дела поднимать из могилы вздумал? Оставь, укротись! В чем повинна пред тобой, а тем паче пред твоим дедом Грушецкая? Ты это мне скажи!

— Ни в чем! — глухо ответил князь Василий.

— Ну, вот видишь, а ты ей зло — какое, не ведаю, а догадываться догадываюсь,— причинить желаешь! Подумай сам, что ты замыслил! Деды дрались, а внуки рассчитывайся...

— Пусть, пусть! — закричал князь Василий.— Что мне она? Мало ли таких-то у меня перебывало? Одной больше, одной меньше,— счета не испортишь... А через нее я Сеньку Грушецкого помучиться да пострадать заставлю, его седую голову навеки позором покрою... Любо мне будет, когда он ужом от муки душевной извиваться будет, узнав, что его дочка единственная к нему покрыткой вернулась... Хороша она, тетушка! Как ангел, говорю, хороша, и Сенька-то поди гадает, что она царицей стать может: ведь царевичу Федору Алексеевичу жениться время приспело, а царь Алексей Михайлович недужится и на ладан дышит; невест собирать будут со всей земли и Агашку Грушецкую на смотр возьмут. То-то позора будет, когда дознаются, что Агашка — покрытка!.. Грязной метлой погонят тогда всех Грушецких с царского двора и любо будет это моему сердцу: вот когда долг платежом станет красен... Не отговаривай, тетушка, не послушаюсь...

Он оборвался. Старушка вдруг, повинуясь порыву, поднялась с кресла.

— Не смеешь ты худо сделать боярышне Грушецкой,— заговорила она задыхающимся голосом,— твоей чести княжеской доверилась она, войдя в дом твой...

— Судьба ее нанесла! — прервал тетку Василий.

— Молчи,— собрав весь свой голос, выкрикнула та,— молчи и слушай! Вот тебе мой сказ: ежели ты только посягнешь на боярышню, то и не подходи ко мне... Прокляну тебя тогда, окаянного, а сама на старости лет возьму Дрота и уйду, куда глаза глядят, из твоего дома... Пусть я замерзну, пусть меня звери лесные разорвут, это тоже твое

дело будет. Я ни малой минуточки не останусь... Прокляну, анафемой будешь!

— Пусть, пусть! — хватаясь руками за голову, не своим голосом закричал князь Василий.— Не могу я жить, пока дедовская обида не отмщена... Как знаешь делай, государыня-тетушка, убей меня завтра, а эта ночь моя... Завтра я, может быть, сам с собою покончу, ну, а теперь... Прощай, прощай!.. Подойти бы к тебе по-прежнему хотел, да не могу: злой дух во мне, он меня не пускает... Родная, прощай!

Князь горько и бурно зарыдал и выбежал из покоя, оттолкнув подвернувшегося ему под ноги Дрота так, что тот далеко отлетел в угол.

Марья Ильинишна бросилась к окну. Внизу у крыльца она увидела при свете смоляных факелов, как князь Василий, выбежав, словно безумный, из хором, вскочил на коня, дико взвизгнул и, нахлестывая своего скакуна нагайкой, исчез, словно злой призрак, в чаще леса.

— Бедная, злосчастная! — едва проговорила старушка и, не будучи в силах справиться с волнением при одной только мысли о том, какая участь ожидает несчастную Ганночку Грушецкую, опустилась без чувств на пол у окна.

IX
ТЕМНЫЙ УМЫСЕЛ

Когда Агадар-Ковранский так бешено умчался из своего лесного домика, там все вдруг повеселели. Люди переменились, разговоры пошли громче, в людской даже кто-то песню затянул... Еще немного — и там, как говорится, «дым коромыслом пошел».

Старый холоп Серега выпил порядочно, но его голова все еще была свежа. Крепок был старик на питье! Старые литовские меда приучили его голову не поддаваться хмелю, да и душа у него в эти часы была все еще настолько неспокойна, что нервное волнение превозмогало опьянение. Серега, как на каменку, лил внутрь себя все, что ему предлагали Гассан и Мегмет, но оставался трезвым.

«И с чего это мне все не по себе? — думалось ему.— Кажись, все благополучно: ишь какое угощение, словно всамделишные гости, а сердце-то так вот тук да тук!»

И чем дальше шло время, тем все более росла тревога старого холопа. Он ясно видел, что угощают их неспроста...

— Пей, душа мой, пей,— то и дело подливал ему в ковш крепкой хмельной браги Гассан,— спать крепче будешь... Ай-ай, какие тебе сны приснятся!.. Молодым себя во сне увидишь, гурий увидишь, целовать их будешь!

И Гассан, лукаво смеясь, дружески толкал старика под бок.

— Да неохота что-то,— отнекивался тот,— довольно уже, премногим благодарны!

— Чего неохота, чего довольно? Пей! Вот как твои-то молодцы стараются...

Действительно, спутников Сереги не мучили никакие предчувствия. Они обрадовались возможности выпить и беззаботно пили без всякой думы о будущем. На них хмель действовал. Обе горничные девки крепко спали и так храпели, что их храп был слышен даже среди шумного разговора нетрезвых мужчин. Да и эти-то были совсем близки к тому, чтобы свалиться под стол.

«А что как нас всех спаивают? — промелькнула мысль у старого холопа.— Ведь похоже на то! Вон и Федюшка совсем посоловел... Ой, западня, чувствует это мое сердце! Что делать? Как быть? Ведь беда-то не нам, а боярышне нашей грозит... Ее спасать нужно, но только как?»

Мозг старика, раздраженный и выпитым хмельным, и не отступавшим от него волнением, быстро-быстро заработал. Как-то так случилось, что ни Серега, ни его спутники ни одним словом не обмолвились о вершниках, которых недоставало среди них. Увлекшись изобильным угощением, они просто-напросто позабыли о товарищах, и только теперь Серега вспомнил об отсутствующих.

«Это хорошо, совсем хорошо! — решил он.— Мы-то здесь в западне, а они на свободе остались... Только как мне весточку подать, чтобы стереглись да не попадались?»

И вдруг новая мысль прорезалась и осветилась в голове старого холопа. Он даже весело улыбнулся, когда его мозг начал работать в том направлении, которое указала внезапно сверкнувшая мысль.

«Была не была, а попробую!» — решил он и, весело подмигнув своему соседу Гассану, задорно выкрикнул.

— А и в самом деле, чего кочевряжиться? Все равно раньше утра не выехать, а, коли добрый хозяин угощает, грех отказываться... Давай, что ли, татарская твоя образина, выпьем!

— Вот и хорошо, душа мой! — словно обрадовался Гассан.— Пить, так пить... Нам вон Коран запрещает, а и то, когда никто не видит, отчего с хорошим человеком не выпить...

— Верно! — ответил холоп.— Во спасение души всегда выпить можно... Наливай, что ли!..

Спустя совсем мало времени он уже говорил заплетающимся языком всякие несуразности, то и дело вскидывал на стол локти и примащивался головою на протянутых руках, как бы одолеваемый дремотой, закрывал глаза, зевал и наконец вдруг замер без движения. Видя все это, Гассан и Мегмет переглядывались между собою и загадочно улыбались.

— Выпьем, что ли, еще, душа мой? — сказал первый и толкнул Сергея.

Тот промычал в ответ что-то несуразное, бессмысленное.

— Готов,— тихо произнес Мегмет.— Ты, Гассан, сильнее его потряси да потолкай.

— Чего еще? Разве не видишь? — отозвался тот, но все-таки последовал совету и сильно затряс Сергея за плечо.

— П-шел! — отмахнулся тот и вдруг скатился с лавки на пол.

Гассан и Мегмет переглянулись.

— Связать его, что ли? — спросил первый.

— Чего там! — отозвался второй.— До утра проспит... И сонного зелья не понадобилось... Вон и те уже готовы!

Действительно, все люди Грушецкого, кто где сидел, там и заснули...

— До утра проспят, не просыпаясь,— проворчал Гассан,— а там вернется господин, скажет, что делать... Теперь пойти к Асе, сказать ей, что и как...

В своеобразном «гареме» князя Василия немедленно после его отъезда начался горячий спор. Как только вернулась от своего господина старая Ася, к ней сейчас же кинулась красавица Зюлейка.

— Что, что он? — так и застрекотала она, обнимая старуху и по-детски нежно ласкаясь к ней.— Сказал что-нибудь?

Ася, сумрачно глядя в сторону, утвердительно кивнула головой.

— Что, что он приказал? — впилась в лицо старухи своим огненным взором красавица-персиянка.— Ну скажи, Ася, не томи меня!..

Ася молчала.

— А, не хочешь говорить! — пылко выкрикнула Зюлейка.— Ты, стало быть, не любишь меня? Разлюбила? Уж верно, об этой русской он тебе приказ отдал? Скажи, о ней?

— Да!

— Ну, я так и знала это. Сердце мое чуяло беду! О, горе мне, горе! В чужой, дикой стране, пленница я горемычная... Одна, никого у меня нет, все недруги только кругом.

Зюлейка как сумасшедшая заметалась по горнице. Она разорвала у себя на груди одежду, царапала ногтями обнажившееся тело, дико визжала, а потом стала прямо-таки выть.

— Перестань! — пробовала уломать ее Ася.

— Не перестану! — упрямо ответила персиянка.— Скажи, что он тебе приказал?..

— Да пойми ты, дитя неразумное, что не могу я: ведь господин приказал ни одним словом не обмолвливаться... Убьет он меня...

— А ежели ты мне не скажешь, так я убью себя. Ну Ася, ну милая, пожалей ты меня! Отца у меня убили, мать сама зарезалась, сестер в Турцию увели, одна ты у меня.. И ты-то меня пожалеть не хочешь?

Она плакала так искренне, ласкалась так нежно, что Ася стала сдаваться.

— Ну, что тебе эта русская девочка? — спросила она.— И чего ты за нее так беспокоишься, голову теряешь, беснуешься... Жалко, что ли, тебе! Пусть господин позабавится, если ему охота на то пришла...

— Позабавится! — воскликнула Зюлейка.— А я-то?

— Ты что же? Ты останешься, как была...

— Кто знает! Хороша эта русская девушка, таких я еще и не видывала... Как я могу ей господина отдать? Он теперь думает, что только позабавиться хочет, а потом ее из сердца легко не выбросит Полюбит он ее, а на меня и глядеть не станет Вот чего я боюсь. Ну, скажи, Ася, скажи! Ты добрая, ты хорошая.. Я знаю, что ты меня любишь! Прости ты меня, если я тебя обидела. Не сердись, скажи мне на ушко, что господин тебе приказал!

Говоря так, Зюлейка все с большей и большей нежностью ласкалась к безобразной старухе. Она крепко обнимала ее, осыпала градом поцелуев, называла разными нежными именами. Ася мякла все более и более.

— Вот пристала-то! — притворяясь сердитой, заворчала она.— Скажи да скажи, что господин приказал! А то он приказал, чтобы и старуху, и молодую опоить сонным зельем, а потом, как девчонка заснет непробудным сном, впустить его к ней... Тебя приказал на эту ночь куда-нибудь подальше убрать...

— И как же, Ася, ты осмелишься поити на это? — спросила Зюлейка, вся дрожа от волнения.

— А разве я могу ослушаться? Я — раба и должна повиноваться своему господину.

— Да, это так,— согласилась персиянка.— Но ты вспомни, что прежде чем быть рабой, ты служила огню, была жрицей в храме огня и тебе ведомы были многие тайны, другим недоступные...

— Да, это так! — вздохнула Ася.

— А теперь ты осмеливаешься начать дело, не зная, угодно ли оно Всемогущему Существу? Ты хочешь, чтобы гнев его обратился на твою голову? Берегись! Всемогущее Существо жестоко покарает тебя... Ты что? Ты стара, но у тебя в твоей стране остались сыновья, дочери. Они будут страдать из-за твоей покорности...

Эти слова произвели на Асю впечатление. Она дрожала всем телом, видно было, что испуг овладел ею.

— Что же мне делать? — простонала она.— Что делать?

— Ты не знаешь? — уже торжествующе спросила Зюлейка.

— Ох, когда бы я знала! — захныкала старуха.— Научи меня, скажи, разум мой помутился...

— Вызови духа огня, спроси его! Пусть он покажет тебе судьбу этой русской, и поступи так, как желает божество. Или твои чары уже перестали действовать?

— Нет, нет! Дух огня благосклонен ко мне, но чтобы узнать, что нам нужно, необходимо присутствие этой русской девчонки.

— Только-то? — воскликнула Зюлейка.— Ну, я помогу тебе, моя бедная, добрая Ася: я приведу ее к тебе, а ты вызови духа огня, и пусть он поведает тебе свою волю.

X

СРЕДИ ЖЕНЩИН

Оставшись одна, старая Ася сперва заулыбалась отвратительной улыбкой, а потом беззвучно засмеялась. От этого она стала еще омерзительнее, еще безобразнее. Ее нос загнулся книзу еще более, беззубый рот зиял, как расщелина, а глаза заблестели, как блещут глаза волка, почуявшего близкую добычу.

— Ой, молодость, молодость,— закивала она в такт шепоту своей безобразной головой,— самонадеянная, бесшабашная молодость! Бедная Зюлейка! Она и впрямь думает, что она и умнее, и хитрее меня... Она теперь уверена, что подцепила старую Асю на удочку, а между тем она сама

же попалась в расставленные мною тенета! Да, да! Господин приказал мне сделать так, чтобы эта русская девчонка полюбила его, полюбила без ума, без памяти, наяву, когда проснется завтра. Я должна сделать заклинания над ней, и непременно не над сонной, а над бодрствующей, и непременно нужно сделать так, чтобы она сама, по доброй своей воле, пришла к моему огню. Она боится старой Аси, а теперь Зюлейка сама приведет ее ко мне..

Наступило молчание. Старуха прислушалась. Кругом царила глубокая тишина.

— Русскую страшит моя старость,— забормотала опять Ася,— и не может она понять, что Ася когда-то была молода и прекрасна, как она, что Асю любили удальцы, прославившие Иран своей храбростью, что певцы слагали ей свои чудесные песни... Да, было время! И Испагань, и Тавриз говорили с восторгом об Асе, прекрасной жрице огня Все прошло! Все унесло злое время. Теперь Ася безобразна, теперь она ненавидит молодость и красоту Она мстит им за то, что они ушли от нее. Да, да! Пусть страдает эта русская девчонка! Я отдам ее господину, он сделает ее несчастной, а проснется она еще более несчастной: она будет томиться любовью к господину, а он, сорвав цветок наслаждения, будет смеяться над ее любовью..

Она остановилась и прислушалась. В соседних покоях было тихо.

Старуха забеспокоилась и заворчала:

— Что же не идет Зюлейка? Где русская девчонка? Гей, мои духи огня, соберитесь на зов вашей повелительницы, послужите мне, как служили прежде!. Зову вас, сбирайтесь со всех сторон света, есть дело! Сбирайтесь, приказываю вам, молю вас!

Выкрикивая все это, старуха кривлялась, корчилась, извивалась; ее всю так и дергало: очевидно, Ася пришла в экстаз и теперь способна была произвести потрясающее впечатление на нервного или суеверного человека.

Послышались шелест тяжелых материй и легкие шаги.

Дверь распахнулась, и в покой вошли, почти впорхнули Зюлейка и Ганночка. Молодая персиянка зорко поглядела на старуху. По всей вероятности, она уже не раз видела Асю в таком состоянии. Ее глаза заискрились, она не удержалась и громко захлопала в ладоши.

— Так, так! — даже слегка припрыгнула впечатлительная Зюлейка и шепнула Ганночке: — Ты — счастливица, сестричка: Асю посетили ее духи огня, и теперь она скажет тебе всю правду... Только не нужно бояться, они не сделают зла.

Ганночка смотрела на безобразно кривлявшуюся и дергавшуюся старуху с отвращением и испугом; она начинала чувствовать, что вокруг нее творится что-то особенное.

Правда, Зюлейка была с нею бурно-ласкова, но Ганночка совсем не привыкла к таким ласкам, и они не на шутку пугали ее. Она очень удивилась тому, что ее мамушка вдруг размаялась в тепле, не могла преодолеть дремоту и заснула столь крепко, что как ни тормошила ее боярышня, а разбудить не разбудила. Старушка что-то мычала во сне, но глаз не открывала и лежала пласт пластом. Ганночке это сперва показалось очень смешным — старушка уморительно морщилась, пыталась разомкнуть глаза; но потом молодой девушке стало и скучно, и грустно. Зюлейка, уговаривавшая Асю, долго не приходила, и Ганночка от души обрадовалась, когда наконец увидела ее. Все-таки это была женщина, молодая, красивая, и притом же она казалась Ганночке и доброй, и полюбившей ее.

Зюлейке было легко уговорить скучавшую гостью пойти узнать свое будущее: ведь девушки так любят всякие гадания, кто из них не поддастся соблазну заглянуть в неведомую даль грядущего и увидеть, что их там ожидает?

— Да может быть, страшно будет? — боязливо спросила Ганночка.

— Нет, нет! — поспешила успокоить ее Зюлейка.— Зачем страшно! Ася — ворожея умелая... Она все тебе покажет... Суженого своего увидишь... А я буду с тобой рядом, никуда не убегу. Я буду тебя за руку держать, и ты меня держи... Вот и не будет страшно...

Ганночка все еще колебалась.

— Идем, идем скорее,— заторопила ее молоденькая персиянка,— а то еще твоя старуха проснется, она тебя не отпустит... Пойдем скорее, пока она спит!

Молодая девушка боязливо поглядывала на спящую мамку и не решалась последовать за своей пылкой подругой.

Та заметила эту нерешительность.

— Ай-ай, какая же ты! — заговорила она.— Ну не хочешь, как хочешь, не пойдем!.. А как Ася гадает-то хорошо! Еще у нас в Испагани все, кто хотел свою судьбу узнать, к ней шли. И всем она правду говорила... Ай, как верно говорила! Расскажет, как на ладони выложит! Так-то верно, так-то верно!

Голос Зюлейки звучал так вкрадчиво, ее убеждения были так соблазнительны, что Ганночка в конце концов поддалась искушению.

— Ну, пойдем, милая, что ли,— сказала она и даже вздохнула при этом.— Только, чур, уговор: ежели очень страшно будет, так я убегу

Зюлейка с радостью осыпала свою молодую гостью градом поцелуев.

— О, ты увидишь, что все хорошо будет,— воскликнула она,— я за тебя рада, ты увидишь все, что тебя ждет в грядущем. Скорее, скорее пойдем!

Что заставляло Зюлейку так радоваться? Пылкая персиянка была искренна в проявлениях своих чувств. Она не считала русскую гостью соперницей себе, не считала, быть может, потому, что не любила князя Василия и даже ненавидела его со всей пылкостью своего горячего, порывистого сердца. Она решила во что бы то ни стало спасти Ганночку, вырвать ее из нечистых объятий Агадар-Ковранского, хотя бы только для того, чтобы досадить ему.

Чем была ей в самом деле эта молоденькая гостья? Так, красивой звездочкой, мелькнувшей в кромешном мраке неволи. Но Зюлейка не думала об этом; для нее было главное во что бы то ни стало разбить замыслы ненавистного ей человека, и ради этого она сама пошла бы на все. Она была уверена в своей власти над старой Асей, единственным живым существом, с которым могла вспоминать свою далекую знойную родину, но вместе с тем знала, что Ася считала себя рабою, и потому воля ее господина была для нее священна. Но для Аси было нечто высшее, чем дикая воля князя Агадар-Ковранского: Ася была огнепоклонницей и веровала, что священный дух огня правит миром и судьбою всех живущих. На родине она была служительницей огня, но и в неволе ее благоговение пред ним нисколько не ослабло, а напротив, еще усилилось, потому что старуха, потерявшая все, только и жила надеждой, что священный огонь возвратит ей потерянную свободу и то, чего лишила ее тяжкая неволя.

Старуха зорко поглядела на молодую гостью и кивнула головою в ее сторону:

— А не испугается девчонка, когда явится дух огня? Страшен его лик, голос его — что гром, пламя его сжигает тех, кто выйдет из зачарованного круга... Смотри,— обратилась она к боярышне Грушецкой,— будь тверда, если желаешь узнать, что ждет тебя... Ты можешь увидеть ужасное, так собери все свои силы и ни шага вперед, ни шага назад! Можешь ты это?

Ганночка чувствовала, как замирает в груди сердце, но отступать ей не хотелось. Разожженное любопытство победило робость.

— Могу! — чуть слышно пролепетала она.

— Ты твердо решилась?

— Да!

— Тогда пойдем!

Старуха с такой живостью вскочила со скамьи, словно к ней вернулись и молодость, и силы.

— Пойдем, пойдем же скорей! — повторила она.— Наступает ночь, кто знает, что случится до утра!

Зловеще прозвучали эти ее слова. Ганночка так и задрожала, услыхав их. Она уже хотела отказаться от гадания, убежать назад к своей старой мамушке, но Ася с удивительной для ее возраста легкостью и живостью вышла из покоя. Зюлейка потянула свою гостью за собой, и Ганночка почувствовала, что у нее не хватает сил для сопротивления...

Вся бледная, с туманом в глазах, следовала она за молодой персиянкой, шептавшей ей на ходу:

— Не бойся, не бойся! Я с тобою... Потом сама меня благодарить будешь... Да и как поблагодаришь-то!

Они шли темным, все понижавшимся переходом, заканчивавшимся крутою лестницей. Было темно, хоть глаз выколи. В лицо Ганночки пахнуло удушливой сыростью. Она поняла, что лестница вела в какой-то подземный погреб; ей хотелось убежать, но вряд ли она нашла бы назад дорогу среди тьмы кромешной. Оставалось только одно: послушно следовать за Зюлейкой...

— Стойте здесь,— раздался в темноте голос Аси,— не двигайтесь, пока я не позову вас!

Последние слова прозвучали откуда-то издалека снизу.

Ганночка чувствовала, что ее голова кружится, в глазах ходили огненные блестки, сердце так и колотилось в груди.

XI

ЛУЧ НАДЕЖДЫ

Старый Сергей был хитер и находчив. Он сообразил, что в том положении, в каком очутились они, силою им ничего не сделать. Осталась только хитрость. Недаром старик вырос среди литовских трущоб и с детства бродил по дубравам, охотясь на их обитателей. Закон приспособления сказался в нем, необходимость выучила его всяким хитростям, развила наблюдательность, приучила ни в каких обстоятельствах не терять присутствия духа. Все это он сохранил до старости, и теперь эти качества пригодились ему.

Он смекнул, что его подпаивают не просто так, ради гостеприимства, а с какой-то особою, пока ему неведомой целью. Поэтому он решил, что раз так, то нужно пойти врагам навстречу. Ему ли, старому холопу, не суметь притвориться! Ведь всю жизнь он только и делал, что притворялся, не один раз господина обманывал и от батогов ускользал, так чего же тут маху давать?

Посидев немного за столом и выпив для виду еще хмельной браги, Сергей, как уже известно читателям, свалился под стол и громко-громко захрапел. Однако это было ловким притворством: старик был трезв, и его мысль работала так быстро, как никогда.

Простодушные Гассан и Мегмет поддались на удочку. Они были убеждены, что Серега допился до бесчувствия, а он из-под стола слышал, что они говорили, и, чуть приоткрыв глаза, наблюдал за выражением их лиц.

Он быстро сообразил, что дело хуже, чем он мог предполагать. его ненаглядной Агафье Семеновне грозила беда.

«Как тут быть, как тут быть?» — вертелся в его мозгу назойливый вопрос, но на него не было ответа.

Серега терялся в догадках; ведь он даже не знал, где его боярышня, как добраться до нее.

Он лежал под столом и страшно мучился, еще никогда не чувствовал себя настолько беспомощным, как теперь.

— А что,— произнес над ним Гассан,— пожалуй, нужно их рядком всех сложить, бок о бок...

— Верно! — согласился Мегмет.— Все они тогда и на виду, и на счету будут..

— Тогда постелим шкуры на пол, да и свалим всех этих пьяниц,— сказал Гассан.— Пусть спят, сколько хотят!

Он крикнул что-то на восточном наречии другим слугам, те дружно засмеялись и принялись готовить постели перепившимся холопам. Потом они довольно-таки бесцеремонно принялись стаскивать их к разостланным шкурам и швырять как поленья дров. Пьяные до бесчувствия люди мычали, бранились, даже отмахивались, но глаз не размыкали и затихали тотчас же, как только попадали на мягкое, пушистое и теплое ложе.

— Этого поосторожнее,— сказал Мегмет, как только очередь дошла до Сереги,— он пил меньше всех, вдруг еще проснется, после опять уложить будет трудно.

Они бережно подняли Сергея; тот, продолжая притворяться пьяным, заметался, забрыкался, замычал что-то непонятное, но глаз не открыл. Гассан и Мегмет громко смеялись. Теперь они окончательно убедились, что и старый холоп спит так же крепко, как и все остальные.

Побыв еще немного в людском покое, все люди Агадар-Ковранского ушли, вполне уверенные, что гости еще долго проспят мертвым сном. И действительно, в покое раздавались громкое храпенье и сопенье на все лады. Серега лежал, не двигаясь; мысли вихрем проносились в его мозгу, но он решительно не мог ничего придумать. Все, что приходило ему в голову, казалось совершенно негодным, неисполнимым, и бедный старик готов был расплакаться от сознания своего полного бессилия.

Вдруг около него что-то зашевелилось и чья-то рука легко и осторожно дернула его за ногу.

— Дядя Сергей, а дядя Сергей! — услыхал он тихий шепот.

Сергей сейчас же по голосу узнал спрашивающего и также чуть слышно шепотом спросил:

— Это ты, Федюнька?

— Я, дяденька, я самый...

— Чего тебе? Я-то думал, что и ты, как остальные, напился...

— Как можно, дяденька! Нешто не знаешь, что я хмельного отродясь в рот не брал?..

— То-то и оно... Уж и удивился же я, увидав, что и ты валяешься...

— А я притворялся. Я ведь по-ихнему понимаю. Помнишь, у нас полоняник-калмычонок жил, так я от него по-ихнему малость насобачился... Калмыки, они из-под Астрахани. Слышь, дядя, плохо наше дело. Неспроста они угощали нас-то: им их князь приказал. Плохо, говорю я, дело: боярышню нашу вызволять надобно. Нас-то тут вином накачивали, а мамку та старая ведьма сонным зельем опоила... Вишь ты, князь здешний до нашей боярышни добирается.

— Что же нам делать, Федюшка? — чуть не в полный голос воскликнул Сергей, приподнимаясь на своем ложе.— Скажи хоть ты... Господь иногда младенцев умудряет...

Федюшка тихо рассмеялся и сказал:

— Я-то, дядя Сергей, не младенец, а, что делать, знаю...

— Что, милый? — заволновался старик.— Говори скорее! Веришь ли, все мое сердечушко изныло. Ну, говори скорее, что делать?

— Что? Да боярышню прежде всего вызволять...

— Тьфу, дурень,— рассердился Сергей,— это я и без тебя знаю... Ты мне скажи, как...

— И это скажу... Добраться до нее нужно... Я-то дорогу приметил... Ежели хочешь, поползем — я впереди, ты за мной... Только так ползти нужно, как змеи ползают, чтобы даже здешняя мышь не почуяла, что мы близко... Вот как! Сможешь?

— Ой, могу! Да чтобы я чего не смог для боярышни ненаглядной?.. Вали, Федя, а я не отстану

— Тш! — шепнул Федька.— Слышь, идут сюда калмыцкие нехристи! — и он проворно юркнул в сторону на свое место.

Федька не ошибался. Дверь хлопнула, и в покой вошли Гассан и Мегмет с коптившими, тускло горевшими светцами.

Было уже совсем темно. Гассан и Мегмет, доверенные люди князя Василия, угощая гостей, и сами выпили, вопреки закону Магомета, а потому их лица были красны, и они даже слегка пошатывались.

— Спят! — проговорил первый, направляя тусклый свет на наезжих холопов.

— Без просыпа,— отметил Мегмет — Все ли?

— Все! — пересчитал спавших Гассан.— Поди, и нам теперь можно вздремнуть до князя... Стеречь их нечего...

— Стоит ли? Пожалуй, господин-то теперь скоро примчится...

— Услышим! Со двора тревогу подадут, а мне спать куда как охота... Ты как там хочешь, а я прилягу...

Он подошел к столу и одним духом осушил большой ковш браги, а потом растянулся на лавке и громко зевнул.

Пример Гассана соблазнил и Мегмета. Он тоже принялся за брагу и осушил целых два ковша, после этого он повертелся, походил по покою, подошел к спавшим гостям, выглянул в окно, где ни зги не было видно, и тоже растянулся на другой лавке. Скоро их храпенье слилось с храпеньем пьяных холопов.

XII

ТРУДНОЕ ДЕЛО

Видевший все это Сергей потерял всякую надежду на успех предприятия. Он лежал, не шевелясь, с лицом, уткнутым в мех шкуры, и слезы так и подступали к горлу: его душило отчаяние, все было потеряно, на спасение боярышни идти было невозможно...

Вдруг Сергею показалось, что тускло мерцавший свет слегка заколебался. Он приподнял голову и увидел, что у стола мелькала какая-то фигура, старавшаяся задуть огонь.

«Федюнька! — решил Сергей.— Старается молодец... Да сгубит всех он нас»,— промелькнула тревожная мысль.

Как раз в это время огонь погас, и покой погрузился в кромешную тьму. Серега от страха дышать даже перестал. Он был уверен, что калмыки сейчас же проснутся и поднимут тревогу, но по-прежнему в людском покое слышалось только храпенье на все лады. Очевидно, Гассан и Мегмет спали так крепко, что их не разбудило даже внезапное наступление темноты.

«Ай да молодец Федюнька!» — подумал Сергей с восхищением и опять почувствовал, что его кто-то тормошит за ногу.

— Это ты, Федюнька? — спросил шепотом старый холоп.

— Я, я, дядя Серега, тише ты! — раздался ответ среди тьмы.— Вот тебе мой ременный пояс, возьми его в зубы и ползи за мной, только помни — как змея... Я дорогу к дверям знаю...

Через мгновенье они уже ползли по полу. Сергей, крепко державший в зубах пояс Федьки, молился всем святым и в то же время восторгался подростком.

«Истинно Господь послал нам такого паренька!» — думал он.

Федюнька осторожно, не произведя ни малейшего шума, открыл дверь и выполз за порог. Сергей последовал за ним. Он не видал, но почувствовал, как затворилась за ними бесшумно дверь. Федя быстро вскочил на ноги.

— Вставай и ты, дядя Сергей,— уже не так тихо произнес он.— Да не бойся, будь посмелей, а то у нас ничего не выйдет.

— А куда идти-то? — спросил, ничего не видя пред собой, Сергей.— Куда, милый?

— Иди за мной! Вынь пояс-то из зубов, в руке держи, да не выпускай!.. Ну, пошевеливайся! Времени у нас мало... Трогайся!

Старик беспрекословно повиновался своему юному товарищу. Он даже и не подозревал, что Федюнька, бывший среди дворни Грушецкого на побегушках, мог оказаться таким смышленым малым. Да и положение было таково, что волей-неволей нужно было подчиниться ему. Сергей послушно шел за Федюнькой. Так они, крадучись вдоль стены, добрались до конца перехода и уперлись в какую-то дверь.

— Стой, дядя,— шепнул Сергею подросток,— обожди малость, я взгляну, что там такое...

Не выпуская ремня, который был путеводной нитью для Сергея, Федя тихонько приотворил дверь. За нею было так же темно, как и в переходе.

— Шагай, дядя Сергей, смело! — проговорил было Федор, но вдруг стремительно метнулся назад, шепча: — Идут, со светом идут!

Они притаились около двери; Сергей горячо молился, чтобы и на этот раз пронесло беду; Федор согнулся, нащупывая на всякий случай за голенищем рукоять ножа.

— Чу,— прошептал он, выпрямляясь,— да там никак беда!

На самом деле, до них донеслись женские голоса.

Это Зюлейка и Ганночка спешили к старой Асе.

Боярышня Грушецкая даже и не подозревала, что так близко от нее находятся беззаветно преданные ей люди; те в свою очередь и на мгновенье не подумали, что их любимица-боярышня находится так близко от них.

Ганночка вся была охвачена суеверным страхом, когда осталась одна пред входом в тот погреб, куда, по словам Зюлейки, удалилась Ася, чтобы произвести свои чародейские заклинания. Как ей хотелось возвратиться обратно, как замирало ее бедное сердечко при одной только мысли, что ее ожидает впереди что-то неведомо-страшное! Она, дрожа всем своим юным телом, ожидала призывного оклика, но его не было долго, очень долго. Девушка слышала, как где-то капала и булькала вода; то и дело из каких-то невидимых отдушин налетал ветер, слышалось его тихое, заунывное посвистывание. Суеверный ужас в душе молодой девушки все разрастался. Наконец среди безмолвия раздался хриплый, визгливый крик старухи. Это Ася звала к себе Ганночку.

XIII

В ТУМАНЕ ГРЯДУЩЕГО

Не помня себя от страха, Ганночка двинулась вперед на призывный оклик.

— Идем, идем! — как во сне, услышала она голос Зюлейки, откликнувшейся на крик старухи.— Все ли у тебя готово, Ася?

Ганночке показалось, что этот голос звучал где-то совсем далеко от нее. В то же время ей казалось, будто не сама она идет, а ее несет вперед, то и дело колыша, какая-то неведомая волна.

Но вот перед ее глазами блеснул яркий, синеватый огонек. Они были в подвале, и Ганночка увидела пред собою небольшой горевший, но не дымивший костер и около него женщину.

Она ни за что не признала бы в этой женщине у костра безобразной Аси, той самой Аси, которая возбуждала в ней и страх, и отвращение.

У костра стояла, гордо выпрямившись, не молодая, но и вовсе не старая и отнюдь не безобразная женщина. На ней был странный, никогда не виданный на Руси балахон, красивый, с позументами, нашитыми на нем так, что издали они казались огненными языками. На голове женщины был высокий остроконечный, украшенный такими же позументами-«языками» колпак, сдвинутый на затылок и открывавший лицо.

От отблеска синего огня в костре это лицо казалось лицом не живого человека, а мертвеца,— так оно было иссиня-бледно. Однако вглядевшись, Ганночка, хотя и с трудом, все-таки признала Асю. Глаза старухи так и горели огоньками, когда она взглядывала на русскую девушку; ее грудь дышала столь порывисто, что по временам казалось, будто Ася задыхается. Из горла то и дело вырывались хриплые, нечленораздельные звуки. Ася что-то говорила, но Ганночка совершенно не понимала ее. В руках у Аси был длинный, тонкий черный жезл, которым она размахивала из стороны в сторону, и при каждом взмахе конец этого жезла вспыхивал синеватыми огоньками.

По всему погребу разливался сильный сладковатый запах. Ганночка, едва войдя, уже почувствовала, что у нее кружится голова. Однако она пересилила себя и храбро ждала, что будет дальше.

Зюлейка была около нее, и боярышня чувствовала, как дрожит в ее руке рука персиянки. Зюлейка тоже ощущала страх, но и она старалась держаться, не показывая вида, что боится.

Войдя, обе женщины остановились у порога; Ася повелительно протянула вперед свой жезл, как бы запрещая им идти далее. Ганночка испугалась, когда пред нею сверкнули синие огоньки с острия жезла. Она так и замерла на месте, ожидая, что теперь потребует от нее это страшное существо.

Ася между тем сделала шаг вперед и начала чертить своим жезлом на полу подвала большой полукруг, вполне достаточный, чтобы в середине его могли поместиться и Ганночка, и Зюлейка. Конец жезла, описавший этот полукруг, оставил после себя синевато-огненный след, слабо мерцавший и слегка дымившийся. После этого Ася повелительным движением указала Ганночке и Зюлейке место в огненной дуге, где они должны были стать, и, когда это было исполнено, острием жезла соединила концы линии,

так что образовался круг, в центре которого очутились теперь обе женщины.

— Мне страшно, страшно! — дрожа всем телом, прошептала Ганночка.— Я хочу уйти...

— Нет, нет! — также шепотом ответила ей Зюлейка.— Это невозможно... Нельзя уйти... Духи огня, подчиненные Асе, уже здесь, они спалят нас, если мы выйдем из круга.

— Долго ли еще будет этот страх? — опять спросила Ганночка.

— Не знаю! — услыхала она дрожащий голос Зюлейки.— Мы должны оставаться, пока нас не выпустит Ася... Тише, тише! Слышишь?

Ганночка пока ничего еще не слыхала.

— Слушай,— заговорила Зюлейка,— духи здесь, я слышу их голоса... Собери свои силы, будь мужественной...

Напрягши слух, Ганночка различила поблизости какое-то бульканье. Казалось, что кипела вода в невидимом для глаз котле. На костре с синим огнем не было ничего, звуки раздавались где-то позади обеих гадальщиц. В них не было ничего страшного, но невидимое всегда пугает, и не одних только робких женщин. А тут как раз Ася подошла вплотную к кругу и устремила свои глаза на Ганночку. Та не могла выдержать этот сверкающий взгляд и закрылась от него рукою.

— Уйди, уйди, проклятая! — довольно громко залепетала она.— Не нужно мне твоего колдовства... Ничего я не хочу знать... Ничего! Сгинь, рассыпься! Да воскреснет Бог!..

Но ничто не действовало: Ася не уходила и продолжала смотреть на русскую девушку. Та чувствовала нечто непостижимое: ей казалось, что какие-то невидимые волны льются из этих страшных глаз прямо в ее душу, льются и мутят остатки разума, заставляют кружиться голову, лишают ее воли...

— Сгинь, рассыпься! — еще раз простонала девушка.— Зачем, зачем это?

Ася водила пред ее глазами своим сверкающим жезлом, и Ганночка начинала чувствовать, что ею овладевает непреодолимая дремота. Она даже на мгновение закрыла глаза, а когда вновь разомкнула их, то увидела, что Ася стоит около своего костра с простертой вперед рукой.

Теперь Ганночке уже совсем не было страшно. Она была спокойна, недавний ужас отошел от нее. Она оглянулась и увидела, что Зюлейка опустилась на колена у ее ног и, закрыв лицо полами платья, вся трепещет.

«Чего это она? — подумала Ганночка.— Я даже вот ничего не боюсь...»

Она забыла о своем недавнем страхе, и теперь только одно любопытство владело ею.

Совершенно спокойно, без дрожи и трепета, смотрела она на то, что происходило у костра.

Пока Ася держала над костром свою руку, синее пламя в нем то и дело вспыхивало длинными, синеватыми язычками. От этих язычков тянулся теперь дым, расплывавшийся сейчас же во все стороны. Сладковатый запах становился все более и более ощутимым — так и щекотал ноздри Ганночки. Ее голова опять закружилась,— дым пахнул прямо на нее, но в это мгновение Ася, сорвавшись со своего места, закружилась вокруг костра в неистово-бешеной пляске. Ее движения были так быстры, что Ганночка не улавливала их. Она слышала дикие взвизгивания кружившейся колдуньи, но почти не различала ее в сгущавшемся все более и более дыму. Так длилось некоторое время.

Наконец огонь в костре ярко вспыхнул и поднялся вверх большим ярко-багровым столбом. Сейчас же пламя опало, и пред глазами изумленной Ганночки была теперь словно завеса из белесоватого тумана.

Ганночка видела, что на этой завесе движутся какие-то неясные тени, весьма похожие на человеческие фигуры. С каждым мгновением эти тени вырисовывались все яснее и яснее. Скоро уже можно было разобрать все. Молодая девушка увидала какие-то постройки. Вглядываясь, она различила терема, палаты, невиданный ею кремль какого-то, очевидно большого, города.

Ей казалось, что она видит постройки этого чудного кремля. Среди них было много храмов с золочеными куполами на большой площади. С одной стороны этой площади она увидала высокие палаты с широким крыльцом, и словно кто-то сказал ей, что это — царский дворец.

Пред ним была масса народа с обнаженными головами, а наверху крыльца, окруженный сонмом бояр, степенных и важных, стоял бледный молодой человек в царском одеянии.

Ганночка вскрикнула, увидав этот призрак, и звук ее голоса глухо прозвучал под сводами погреба. То, что она видела, доставляло ей невыразимое удовольствие.

Девушка чувствовала себя счастливою; ей хотелось, чтобы видение длилось без конца. Но в это мгновение она услыхала болезненный крик, и кто-то не грубо, но сильно схватил ее за руку. Это было столь неожиданно, что нервы Ганночки не выдержали:

— Кто это? Где я? — дрожащим голосом произнесла Ганночка и лишилась сознания.

На дворе у княжеского дома ржали и фыркали лошади, люди кричали на разных языках, мелькали зловеще-багровые огни смоляных факелов; несмотря на глухую уже ночь, весь дом сразу ожил.

XIV

ВЫЗВОЛЕННАЯ БОЯРЫШНЯ

Рука, столь грубо нарушившая очарование, во власти которого находилась Ганночка, была ей не совсем чужая. Это Серега и Федюнька, полные желания во что бы то ни стало вызволить свою красавицу-боярышню от грозившей ей позорной участи, наконец-то нашли ее.

Когда они, испуганные внезапно показавшимся светом и звуками человеческого говора, дрожа и волнуясь, захлопнули дверь, то все-таки — по крайней мере Федюнька — не совсем потеряли свою бодрость и не забыли цели, к которой стремились.

После той до дерзости смелой проделки, которую выкинули они, уйдя из-под носа своих спавших вблизи сторожей, их нервы уже попривыкли к опасности, и страх, этот предвестник близкой беды, минул.

— Дядя Серега! — прошептал Федюнька.— Слышь ты: мимо бабы шли... Да очнись ты, ишь ополоумел! Очнись, скажи хоть словечко...

Сергей взглянул на подростка, и ему стало стыдно Федьки, выглядевшего как ни в чем не бывало и даже улыбавшегося. Только длинный засапожный нож в его руках показывал, что он готов лицом к лицу встретить всяческую опасность.

— Слышь, дядя Сергей, что я говорю,— толкал он старика под бок: — Бабы!

— Может, оборотни! — пробормотал в ответ тот, понимая, что ему в данном случае нужно хотя что-нибудь сказать.

— Чего там оборотни? Какие оборотни? — насмешливо проговорил подросток.— Ежели оборотни, так с ними всегда крестом да молитвой справиться можно. Это — настоящие бабы, как полагается...

Федор вдруг оборвался и на мгновение глубоко задумался.

— Слышь, дядя Серега, что я тебе скажу,— вдруг воскликнул он,— ведь там наша боярышня была!

— Да ну? — даже растопырил руки от удивления старик.— Врешь!

— Чего вру? По голосу узнал...

— Право врешь! И чего ей в чужом доме, ночью, по разным закоулкам шататься?.. Посуди сам, пойдет она?

— А вот пошла,— торжествующе, с сознанием собственного достоинства ответил Федор.— Мало ли что на свете бывает! — с философской рассудительностью закончил он.

Сергей все еще продолжал не верить, и Федор стал заметно волноваться.

— Ну, ты как там желаешь,— сознавая свое превосходство в создавшемся положении, проговорил он с неудовольствием,— хочешь за дверью стоять — стой, твое это дело, попадайся Гассанке с Мегметкой на зубы. А я пойду...

— Куда, куда, миленький? — засуетился Сергей, сильно обеспокоенный создавшейся перспективой остаться одному среди темного перехода совершенно незнакомого ему дома.— Куда ты пойдешь?

— Как куда? Куда шел: боярышню вызволять! — ответил Федор и смело отворил дверь в покой за переходом.

— Стой, Федя, стой, миленький! — засуетился перепуганный старик.— Ежели ты, так и я за тобой. Вот только где твой ременный пояс? — шарил вокруг себя руками.

Федор тихо засмеялся и протянул ему руку, сказав:

— Держись!

Они вошли в неосвещенный покой.

Ночь уже наступила; на небо взошла луна, и ее слабый свет лился внутрь покоя через слегка запотевшие окна. Благодаря этому вокруг смельчаков была не столько темь, сколько таинственная, порождавшая всюду тени полумгла. Кое-как, с большим трудом, но все-таки можно было оглядеться вокруг.

Было мертвенно тихо, и эта тишина, как казалось Сергею, веяла чем-то могильным. Он чувствовал оторопь, но ему стыдно было выказать ее пред подростком, и он старался держаться бодро.

— Ну, вот,— заворчал он,— говорил ты: «идем!». Пришли, пришли, а теперь куда?

— Постой, не торопись! — огрызнулся Федор.— Дай сообразить.

Он начал повертываться во все стороны, потом отошел к двери, через которую они проникли в покой.

— Свет вот с этой, правой, стороны виднелся,— думал он вслух,— стало быть, шли отсюда, так что шли справа налево, выходит, стало быть, что нам нужно налево идти. Там-то дверь непременно должна быть! Поглядим...

Он начал осматривать стену, приходившуюся от него налево, и скоро радостно вскрикнул: он действительно нашел ход!

— Идем, дядя, идем,— потащил он за собой Серегу,— засапожник-то у тебя при себе?

— Нет,— с сокрушением ответил старик,— должно быть, оборонил его, как ползли. Да и не нужно, я голым кулаком не хуже управлюсь...

— То-то! А то ведь идем мы с тобою неведомо куда, кого встретим — тоже неведомо. Может быть, боярышню-то отбивать придется.

— Ладно,— пробормотал старик,— не сдадим!

Они шли тем же понижающимся уступами переходом, по которому пред ними проходили Ганночка и молодая персиянка.

Идти им приходилось очень медленно, цепляясь за стену, переступая шаг за шагом. Сергей скоро почувствовал утомление и должен был то и дело останавливаться. Это страшно злило Федора, но делать было нечего, не мог же он оставить товарища одного в темном переходе.

Наконец, спустившись по мокрым, скользким ступеням, они очутились у входа в подвал, где чародействовала старая Ася. Прежде всего они увидели пелену из дыма, образовавшую как бы стену, за которой им решительно ничего не было видно. Пред этой стеной, выпрямившись во весь рост, стояла с высоко поднятой головой их красавица-боярышня, а у ее ног полулежала молодая персиянка.

— Смотри, смотри,— прошептал на ухо Сергею Федор,— там, за дымом, у окна, старая колдунья лежит...

— Тогда не зевай, парень, возьмем боярышню...

— Возьмем, возьмем, хотя бы силой. А то тут задохнется.

Теперь, уже не думая скрываться, старик и подросток кинулись к своей милой боярышне Агашеньке, и Сергей схватил ее за руку как раз в то мгновение, когда она видела пред собою на высоком крыльце молодого бледного царевича.

— Кто это? — дрожащим голосом проговорила Ганночка — Где я?

— Молчи пока, боярышня милая,— услыхала она в ответ знакомый голос Сергея.— Хотели злые люди погубить тебя, да мы подоспели; уж мы-то тебя в обиду не дадим, скорее жизни лишимся, чем хоть волос с твоей головы упадет.

Он не договорил. Обессилевшая от впечатлений Ганночка лишилась чувств. Она упала бы, если бы старый холоп не успел подхватить ее на руки. Федор не мог оказать ему помощь. Очнувшаяся от своего полузабытья Ася вцепилась в него, визжала, кусалась, царапалась. Федюнька, не будучи

в силах освободиться от нее и не видя помощи от Сергея, быстро пришел в ярость.

— Отцепись, змея подколодная,— крикнул он.— А, ты не хочешь! Так вот тебе!

Он со всей силы ударил старуху по голове рукоятью засапожного ножа. Та тихо вскрикнула и отвалилась от малого; Федор сильно толкнул ее, скорее отшвырнул прочь от себя и кинулся к Сергею, державшему в охапке боярышню и, видимо, положительно не соображавшему, что ему теперь нужно делать. Около них суетилась Зюлейка, очевидно тоже не понимавшая, что происходит вокруг нее. Персиянка что-то лепетала; ни Сергей, ни Федор не понимали ее, но они видели, что эта женщина настроена к ним отнюдь не враждебно, и быстро сообразили, что они могут получить от нее помощь.

— Ну, ну, милая,— ласково заговорил Сергей,— проведи нас скорее, где мамушка нашей боярыни, а то нехорошо ей, воеводской дочери, по подвалам пребывать! Ну, ну, не кочевряжься, показывай, что ли, путь! Куда идти-то? А не то!

Сергей, слышавший поднятую на дворе тревогу и боявшийся всякого промедления, сделал угрожающий жест.

— Да брось ты ее,— остановил старика Федор,— сами выберемся, той же дорогой пойдем. Ишь ты, ведунья проклятая, туда же: нашей боярышне колдовать вздумала! Идем, дядя, идем. Вот тут ихний фонаришко валяется,— ткнул он фонарь, который принесла с собой Зюлейка, и, подняв его, пошел к выходу из подвала, в котором пахучий дым сгущался все более и более.

Зюлейка кинулась вперед; видимо, участь Аси нисколько не трогала ее и она словно позабыла о ней. Позади всех старый Серега нес в своих медвежьих объятиях бесчувственную Ганночку.

Когда они вышли в верхний переход, то тревога и суматоха распространились уже по всему дому.

— Что еще там случилось? — сумрачно проворчал Сергей.— Эх, только бы до мамушки добраться!

Это им удалось вполне благополучно, благодаря путеводительству Зюлейки. В покое, отведенном для гостей, было тихо; мамушка крепко спала на жарко истопленной лежанке. Ее сон был столь крепок, что, когда Сергей попробовал разбудить ее, это не удалось ему.

Они уложили все еще бесчувственную Ганночку на постель, и около нее сейчас же примостилась Зюлейка.

Так прошло несколько времени.

— Идут,— вдруг вся так и взметнулась Зюлейка, заслышав приближающийся шум,— господин идет!..

— Пусть идет,— спокойно проговорил Федор, вытаскивая нож.

Зюлейка тоже вытащила из складок своего платья длинный тонкий кинжал, а Сергей, у которого не было никакого оружия, схватил за конец тяжелую скамью.

Шум становился все ближе и ближе.

XV

В ЛЕСНОЙ ТРУЩОБЕ

Князь Василий себя не помнил, вынесшись от своего родного дома в адски-темный лес. Он хлестал мчавшегося вихрем коня, как будто боясь, что за ним будет погоня, которая опять вернет его назад и снова поставит пред неумолимой, как пробудившаяся совесть, теткой. Князь Василий спешил уйти, потому что боялся Марьи Ильинишны.

Впервые он ослушался ее, вышел из ее воли. Он слышал ее угрозу и понимал, что старушка исполнит сказанное. Но страсть так мощно владела его существом, что даже и угроза боготворимой тетки не могла подавить ее веления.

— Пусть, пусть уходит! — говорил себе князь Василий.— Пусть все уходят, никого мне не нужно, никого! Пусть я один останусь на белом свете, но все-таки дедовская обида будет отмщена...

Однако, едва он подумал об отмщении дедовской обиды, как ему сейчас же пришли на память слова Марьи Ильинишны. И вдруг его охватила невыразимая злоба против старушки, которую он всю жизнь по-детски пылко любил.

«Да, да,— со все возраставшим озлоблением думал он,— не твоя, старая карга, московская роденька обижена, от ворога страдала... Чужая обида, известно, не долга! Пусть бы кто-либо одного из твоих московских петухов тронул, так-то ли бы ты запела, а то чего требуешь? Чтобы я, князь Агадар-Ковранский, да за деда во сто крат не расплатился. Я! Да в моих жилах, может быть, кровь ордынских ханов течет,— оттого-то я так всех московских бородачей и презираю. А тут простить, забыть. Нет, никогда!»

И князь Василий, словно ослепленный, с бешеной яростью принимался нахлестывать и так уже терявшего силы коня, бить его по крутым взмыленным бокам коваными каблуками своих тяжелых сапог. В душе его клокотало безумие, ярость слепила его.

Обуреваемый своими огневыми думами о сладкой мести, князь не заметил того, как метался из стороны в сторону несчастный конь, не понимавший, чего требует от него господин. Он под ударами рвался вперед, наскакивал на попадавшие ему деревья, в диком ужасе отбрасывался от них прочь, садился в снег на задние ноги и снова, побуждаемый градом жестоких ударов, кидался вперед, не разбирая дороги, которую он давно уже потерял...

А князь Василий даже и не замечал этого. Он сознавал, что мчится по лесу, но обычен ли был его путь, о том он даже и не думал.

Кругом стояли вековые ели, сосны, опушенные снегом, сквозь их макушки лила свой слабый, кроткий свет луна. Гигантские слегка колеблющиеся тени лежали на небольших лесных полянках и прогалинах, но ничего подобного не должно было быть на том пути, который вел от лесного поместья Агадар-Ковранского к его заезжему домику на опушке. Князь Василий не замечал даже того, что его измученный конь, делая гигантские скачки, то и дело проваливался в снег, иногда уходя в него выше груди, выкарабкивался опять, кидался дальше; но его силы заметно истощались, прыжки становились все меньше и короче, он начинал часто спотыкаться, а его дыхание перешло уже в сплошное надрывистое храпенье.

Всадник не замечал этого. Упоенный своими думами, теми картинами, какие рисовало ему его расстроенное воображение, он старался представить себе те моменты, когда внучка оскорбителя его давно уже умершего деда очутится в полной его власти. Ни на одно мгновение князь Василий не допускал мысли, что старая Ася осмелится ослушаться его приказаний или случится что-нибудь такое, что помешает ей выполнить их.

Вообще князь Василий не признавал случайностей там, где дело шло об исполнении его воли. Он даже не учитывал их, даже не считал возможным, чтобы его приказание осталось неисполненным и, чем сильнее была уверенность в этом, тем ярче рисовались картины подлого дела, которое с такою отчетливостью задумал он.

Быть может, если бы Ганночка Грушецкая не была так хороша собою, то князь Василий был бы более благороден. Может быть, если бы на ее месте был ее отец, то и наследственная ссора тут же кончилась бы примирением. Но Ганночка пробудила в своевольном князе Василии дикую животную страсть. Он хотел ее всем пылом своей мятежной души, но в то же время знал, что насилие было бы скверной подлостью, которая навсегда легла бы позорным пятном на его честь и честь его рода. Не будучи в силах

справиться со своими дикими желаниями, он подыскивал всевозможные оправдания для задуманного внезапно позорного преступления, и наиболее ярким из них была наследственная обида.

Но как только он переставал думать о мести, переставал рисовать себе картины своего будущего преступления, совесть где-то в тайниках его души начинала громко протестовать против задуманного, и это более всего приводило в ярость Василия. Он спешил подавить, заглушить этот ужасный голос, но ему не удавалось, и он, приходя в неистовую ярость, безумел, даже не соображая того, что путь в лесу уже потерян и что, не будь этого, он уже давно был бы в своем доме на опушке.

Вдруг измученный конь страшно захрапел и остановился как вкопанный. Князь Агадар осыпал его градом бешеных ударов и так рванул удила, что морда коня сразу окровилась. Тогда животное обезумело. Инстинкт предупреждал его о какой-то близкой опасности, но теперь боль пересилила страх.

Конь, страшно храпя, взвился на дыбы; однако всадник удержался и продолжал сыпать удары. Животное, дико заржав, попыталось сделать гигантский прыжок, как бы желая переброситься через что-то, но сила изменила ему. Конь упал на передние ноги и глубоко зарылся в снег.

Князь Василий страшным толчком был выброшен из седла и упал через голову на снег. С проклятиями он сейчас же вскочил на ноги, кинулся к коню, схватил его за поводья, но в следующий же момент невольно отступил назад, и по всему его телу вдруг пробежал холодок оторопи.

При слабом свете луны он увидал поднимающуюся из-под снега чудовищную голову. Ярко горели громадные глаза, лязгали своими клыками страшные челюсти огромной пасти. Из больших ноздрей вырывалось обращавшееся в пар смрадное дыхание. За головой показались огромные плечи, к остолбеневшему князю Василию тянулись толстые, словно обрубки бревен, мохнатые с ужасными когтями лапы. Это выходил из берлоги внезапно потревоженный медведь.

Агадар стоял как вкопанный, крепко ухватив рукоять своего охотничьего ножа, и глядел пред собой.

Чудовище медленно поднималось из своего зимнего логова. Это был медведь-великан, каких и в те времена было немного. Он вытянулся весь из своей берлоги, и, поднявшись на дыбы, медленно переваливаясь, колотя себя лапами по груди, пошел прямо на князя.

Князь Василий понял, какая опасность надвигается на него, и обнажил нож. Чудовище подходило все ближе и

ближе, его смрадное дыхание обдавало князя Василия. В инстинктивном ужасе он подался назад и сейчас же со стоном упал: он чувствовал страшную боль в ноге и понял, что свихнул ее при падении.

XVI

ЗА ПОДМОГОЮ

Три вершника Грушецкого, о которых вспоминал старый Серега, не видя их среди остальной челяди своего поезда, незаметно отделились от него еще в то время, когда обоз подходил к домику Агадар-Ковранского.

Парни действовали на свой риск и страх. Они твердо памятовали то совещание, которое было между ними, когда среди леса у них совершенно неожиданно сломались полозья у кибитки с боярышней, и считали, что ехать на ближнее селение за подмогой — дело уже решенное. Поэтому-то, недолго думая и никому не сказываясь, даже старому Сереге, едва поезд с величайшим трудом двинулся вперед по указанному Федькой направлению, они отделились от него и повернули назад. Оттого-то и не заметил старый Сергей того, как они ушли.

Все трое вершников были молодые, здоровые парни, не любившие ни над чем особенно долго задумываться. Они были литовцы и выросли с лесных трущобах, где всякого зверья было куда больше, чем людей. У себя на родине они находили любую дорогу, там им была известна каждая лесная тропка, но здесь все им было чуждое: даже деревья казались совсем иными.

Но это нисколько не смущало молодцов.

— Ладно,— сказал один из них, когда они углубились в лес (дорога к поместью Агадар-Ковранского была ими примечена, когда они проезжали мимо нее),— не заплутаемся. Не впервой в лесу-то бывать!

— А ночь? — опасливо заметил другой.— Стемнеет — зги не увидишь...

— По звездам путь найдем. Ночью-то звезд и здесь необоримая сила...

— Вестимо так,— поддержал товарищей третий вершник,— не сидеть же нашей боярышне невесть где. Боюсь я, как бы беды какой не приключилось.

— А что? — разом спросили оба вершника.— Какая беда-то? Нешто ты слыхал что?

Ответ последовал не сразу.

Вершники углублялись все далее и далее в густой лес. Деревья-исполины стеной стояли по обе стороны дороги и затемняли слабый свет угасавшего дня. Даже в сердцах привычных людей рождалась невольная жуть. Казалось, и лошади испытывали то же чувство. Они шли неохотно, пофыркивали, храпели.

— Так о какой беде-то ты говорил давеча, Митроха? — нарушив молчание, переспросил первый вершник.— Или прослышал что-то?

— Он там, на ночлеге,— засмеялся второй, Константин по имени,— все с бабами да девками толкался, так у него всяких сплетен, поди, целый воз понабрался...

— Помалкивай, Костька, вместе были,— огрызнулся Дмитрий,— а ежели Ванятка про беду спрашивает,— кивнул он на первого вершника,— так, поди, ты и сам на ночлеге слыхивал, сколь лют здешний князь Василий Агадар-Ковранский.

— Верно, верно, ежели ты про такую беду,— отозвался Константин.— Дюже лют князь Василий до девок и баб; ежели которая помилее, так и на глаза ему лучше не попадайся. Я так полагаю, Митроха: как бы от него нашей боярышне какой проторы не вышло?

— То-то и оно,— произнес опасливый вершник,— ты то сказал, что я подумал.

Иван внимательно слушал, что говорили товарищи.

— А почему вы тут про лютого князя Агадара заговорили? — спросил он.— Ведь к нему в его усадьбу за подмогой едем и его же хулим? Какое он касательство к нашей боярышне иметь может? Ишь, что медведь в лесную чащу забрался. Так что же он нам?

Дмитрий раздумчиво покачал головой, Константин засмеялся.

— Ты — совсем простота, Ванятка,— сказал первый.— Какое касательство? Да нешто боярышня-то наша — коза, а не девка, прости Господи? Нешто она — не красота писаная? Ведь всякий, кто поглядит на не, вовек ее не позабудет, а сам сердцем иссушится.

— Так это,— одобрительно крякнул Иван,— это ты, Митроха, правильно. Вот к нам на границе какие паны наезжали, от Вильны, а то и от Варшавы самой, так, как взглянут на Агафью Семеновну, сразу же и начинают млеть. Ну да не о том сейчас речь. А ты скажи вот, причем этот лютый князь до нас?

— А притом,— поспешил ответить ему Дмитрий,— что, как сказывали нам на деревне, как раз у лесной притулицы

есть у него жилье,— там него персидская баба-красавица под присмотром такой же персидской ведьмы живет; для забавы они, значит, кормятся...

— Слышь,— опять перебил товарища Константин,— из-за персидского моря он их сюда вывез. Там-то он ее на аргамака, что ли, выменял, ну, и здесь забаву себе устроил...

— А в том же жилье у него татар и калмыков нагнано без числа,— перебил Дмитрий,— и все они на него, князя, как на своего бога молятся и во всем его без слова слушают...

— Именно, именно! — воскликнул Константин.— Скажет он им убить кого-либо — убьют! Скажет им церковь Божию сжечь — сожгут, скажет, чтобы примеченную бабу или девку приволочь,— приволокут...

— Да и мало того,— заметил Дмитрий,— княжеские веления исполняя, и сами охулки на руку не кладут. Так вот я и думаю, что беда, ежели лютый князь Василий в том своем логове у персидской бабы прохлаждается, а тут наша раскрасавица-боярышня на глаза попалась...

— Не сдобровать ей! — согласился Константин.— Кажись, Федька-то пострел прямо-таки на княжеское логовище наших и вывел...

Иван ничего не ответил, и в его душу закралась внезапная мысль о грозившей их любимой боярышне опасности.

Воцарилось тяжелое, грустное молчание; слова не шли людям на язык. Лесная дубрава тоже молчала. Слышался только хруст проталого снега под копытами лошадей.

Так прошло несколько времени.

— Вернуться бы,— прервал тоскливое молчание Митроха,— у нас ножи и кистени, а у тебя, Ванятка, вон и пищаль за плечами болтается.

Иван досадливо махнул рукой и произнес:

— Никто, как Бог! А наших там немало. Ежели что, так есть кому за боярышню постоять, да и Серега там верховодит. Уж он-то боярышни не выдаст, горой за нее встанет. И оборониться есть чем: у кучеров и засапожники, и кистени...

— Ну, будь так! — согласился Константин, а Митроха, поглядев вверх на небо, добавил:

— А вот, ребята, туда ли мы идем-то?

Действительно, только теперь они сообразили, что их путь длился непомерно долго. Согласно тому, что им говорили в деревне, где они ночевали, от проезжей дороги до лесной усадьбы князя Агадар-Ковранского верхом немного

больше часу ходу было, а по расчету Ивана они пробирались через лес куда больше двух часов. Да и сама дубрава стала заметно редеть.

— Ой, не туда,— воскликнул Константин и задержал лошадь,— заплутались мы...

— Чего заплутались, каркай, ворона! — крикнул на него Иван.— Видишь, из леса выбираемся, стало быть, какое-нибудь жилье да близко.

Он не ошибался. Когда они выбрались из леса и пробрались сквозь его опушку, пред их глазами раскинулась деревушка. Там были люди, а получить подмогу вершникам было все равно от кого.

— Айда, родные, туда! — крикнул Иван, показывая на деревню рукой.— Поди там крещеные живут. Не откажут подмогой в беде нашей.

Он и на этот раз не ошибся. Вершников с лаской приняли в первой же избе, на которую они поехали, и только покачивали головами, когда узнали, что поезд остановился близ заезжего дома князя Василия.

XVII

ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Поселок принадлежал к вотчинным владениям князя, и люди Василия там так же, как и в других окрестных селениях, изнемогали от его жестокости. А люди здесь жили особенные — лесовые; жизнь среди лесного зверья, в постоянной борьбе с ним и природой наложила на них особый отпечаток; это были не жалкие равнинные рабы, а гордые душой граждане леса.

Когда приютившие вершников люди прослышали о дорожном приключении, они закачали головами, и один из них вымолвил:

— Кто его знает! Может, боярышню-то и не посмеет тронуть, а все-таки лучше бы ей подальше от него...

— Тогда надобно скорее вертаться! — проговорил с тоской Иван.— Кто знает, что там вышло...

Дмитрий и Константин нерешительно переглядывались между собой.

— Будто и ночь уже! — заметил первый.

— Ну, так что же? — сумрачно поглядел на него Иван.— Или ночь не поспать для боярышни трудно!.. Слышь, что говорят здесь?

Дмитрий заметно смутился.

— Ночь не поспать — что! Да еще ежели для нашей боярышни,— ответил он,— а вот с пустыми руками вертаться нам негоже... Ведь кузнеца нам надобно, а поедет ли кто отсюда на ночь глядя? Пожалуй, и человека не найдешь...

— Не даром поедут, заплатим, что следует, да еще прибавим,— возразил Иван.— Или здесь деньги так дешевы, что лежанье на печи куда их дороже?

Его слова оказались правдою. В самом деле, из-за денег нашелся кузнец, да и еще четверо посельчан, знавших лес, как свои пять пальцев, вызвались быть проводниками.

Последнее было очень приятно заблудившимся вершникам; теперь они были уверены, что плутать им по лесу не придется. Они тем временем и закусили, и выпили, и незаметно пришли в самое благодушное настроение.

— Ишь ты, словно на охоту собрались! — даже засмеялся Константин, когда увидел собравшихся провожать их парней.

И в самом деле, те были с топорами у пояса; у каждого было по ножу, а у одного за плечами виднелась даже рогатина.

— Нельзя иначе,— отозвался на замечание вершника парень,— у нас тут всякого зверья видимо-невидимо...

— Волки, что ли? — спросил Дмитрий.— Кажись, волчий вой мы слышали, как сюда ехали; далеко в стороне, и, знать, стая большая была...

— Волки — что! Волки — мелочь. Медвежьих берлог тут много. Сколько мы их тут за зиму подняли,— видимо-невидимо!

— Видели и мы это добро! — отозвался Иван.— Где только этой твари не водится! У нас под рубежом их тоже не занимать стать...

— А у вас с чем на медведя идут? — полюбопытствовал другой парень из лесовиков.

— Разное! С рогатиной, а сперва из пищали бьют...

— Что пищаль! — махнул рукой третий парень.— В пищали верности нет: либо промахнешься, либо осечка... То ли дело рогатина! Принял на нее медведя, пусть себе барахтается, как напорется, только смотри, чтобы за голову тебя не сграбал...

Наезжие вершники быстро докончили предложенное им угощение, живо собрались сами и скоро, несмотря на ночь, все пустились в путь через лес.

Идти теперь было не страшно и не грустно: шли ввосьмером. Лесовики, желая сократить дорогу, повели вершников по им одним известным звериным тропкам. Идти приходилось гуськом. По временам, словно тени, перебегали дорогу путникам всякие зверушки: то юркнет лиса, то прошмыгнет серый русак; на мелкое зверье никто не обращал внимания, и только лошади боязливо прядали ушами да начинали храпеть, когда где-нибудь поблизости мелькала живая тень. Но вдруг всех заставил остановиться и замереть на месте отчаянный, надрывистый крик человека, которому сейчас же словно эхо ответил грозный рев; от него кровь заледенела в жилах даже привычных ко всяким звукам звероловов.

Первым пришел в себя вершник Иван.

— Господи Иисусе Христе и Ченстоховская Божия Матерь! — выкрикнул он.— Да никак это медведь живого человека дерет!

— Похоже! — сумрачно ответил ему лесовик.

Крик, перешедший уже в сплошной вопль, повторился, но снова его заглушило грозное рычание.

— Так чего же мы тут-то стоим? — опомнился вершник Иван.— Не дадим, братцы, христианской душе без покаяния погибнуть... Нас много, кто за мной?

Он сорвал с заплечья пищаль и отпутал от нее сошник.

Вопль и рычание зверя раздавались совсем близко; можно было идти на них, не опасаясь сбиться с направления. Все двинулись разом за Иваном.

XVIII

В ОБЪЯТИЯХ ЛЮТОЙ СМЕРТИ

Кричал князь Василий. Сразу, как только упал, он почувствовал нестерпимую боль в ноге и сообразил всю грозившую ему опасность.

В самом деле, еще никогда его полная всевозможных приключений и неистовств жизнь не висела на волоске так, как висела она в эти мгновения.

Зверь был огромный и, видимо, страшно разозленный неожиданной тревогой. Может быть, счастьем для Агадар-Ковранского было то, что, выпав из седла, он упал в снег.

Медведь не сразу заметил его. Внимание зверя в первые минуты было привлечено конем, отчаянно барахтавшимся и делавшим страшные усилия, чтобы выбраться и умчаться вихрем от лютого чудовища. Но медведь недолго занимался им. Инстинкт подсказал зверю, что поблизости есть враг более опасный, чем это хрипевшее четвероногое,

и лесной гигант стал оглядываться вокруг. Напряженные до последней степени нервы князя Василия не выдержали и он, не помня себя, крикнул, призывая на помощь.

Крик показал страшному зверю, где находится его враг; он страшно зарычал и пошел к своей жертве.

Отчаяние придало силы несчастному Агадар-Ковранскому. Он приподнялся, опираясь на левую руку и пересиливая нестерпимую боль, причем в правой руке зажал обнаженный нож. Но что значило это жалкое оружие? Разве только царапину мог он, истомленный болью, нанести лесному чудовищу! Смерть взглянула прямо в глаза князю Василию, и пред ним вырисовалась вся обуявшая его безумная скверна, вспомнились уговоры Марьи Ильинишны, и ужас охватил его. Он невольно содрогнулся, когда пред ним промелькнули все неистовые ужасы, виновником которых он был на своем веку.

Смерть теперь не шутила с ним, она была неизбежна.

Страшный зверь, рыча и сопя, подвигался все ближе...

В отчаянные мгновения нет такой крепко спящей совести, которая не проснулась бы и громко не заговорила бы в самом загрубелом сердце.

Князь Василий не сомневался, что настал его конец. Он не мог двинуться: страшная боль приковала его к земле, а потому князь лишь махал ножом.

Это раздражало разъяренного зверя. Однако медведь, казалось, был в недоумении и не знал, что значит то обстоятельство, что человек не встает перед ним. Вероятно, у него уже не раз бывали схватки с ожесточенными двуногими врагами, и он знал, что те никогда не ждут его нападения, а всегда сами нападают первыми. Тут же было как раз наоборот: человек не наступал на него, а лежал беспомощно и только раздражал его, махая чем-то пред ним.

Зверь топтался на одном месте, не зная, что ему делать, и только ревел и колотил себя по груди, не осмеливаясь подступить к лежащему. Быть может, это и спасло князя Василия от страшных когтей, но в те мгновения он ничего не соображал; его охватила безумная жажда жизни. Этот свирепый человек, делавший зло ради зла, жалобно молился и ждал чуда...

И чудо свершилось. Князю Василию вдруг показалось, что он слышит людские голоса, а потому, собрав все силы, закричал, призывая к себе на помощь.

Но он сейчас же забыл о голосах: зверь, очевидно, привыкнув к виду лежащего неподвижно на снегу человека,

сообразил, что никакой опасности ему не грозит, что враг совершенно беспомощен, и сделал шаг вперед.

Еще шаг-другой — и лесное страшилище кинулось бы на свою жертву, а тогда князь Василий в одно мгновение расплатился бы за все свои злые дела, совершенные в течение его недолгой жизни. Но как раз в этот момент послышалось словно жужжанье небольшого шмеля, из-за кустов сверкнул огонек, потом грянул выстрел, и как будто какая-то сила швырнула страшного зверя далеко в сторону, и он страшно заревел. Однако теперь в его реве слышалась уже не одна только ярость, а также нестерпимая физическая боль. Пуля достигла своей цели. Медведь завозил лапами по своей огромной морде, видимо стараясь стряхнуть, стереть слепившую его кровь.

Теперь он уже вовсе не понимал, что происходит, откуда получен это неожиданный удар, кто и где были его новые враги.

А они уже стояли пред ним. Трое из них кинулись к лежавшему на земле без чувств князю Василию, а остальные направились к зверю, и лесной гигант, протерев свои залитые кровью глаза и двинувшись вперед, сразу же напоролся на острую рогатину.

— Принял, что ли? — воскликнул вершник Иван и замахнулся топором.

— Принял! — последовал короткий ответ лесовика.— Лобань космача, да смотри шкуры не попорть!

Топор опустился на башку медведя, но скользнул по ней и рассек ее наискось, не нанеся смертельной раны.

Зверь страшно заревел, замахал лапами, стараясь дотянуться до стоявшего пред ним человека, а острая рогатина все глубже и глубже впивалась в его тело.

Лесная тишь была нарушена. Раздавались человеческие голоса, рев раненого зверя. Удары теперь сыпались на него безостановочно. Вот он сделал инстинктивное движение, как бы поняв наконец, что ему не победить в схватке с этими могучими врагами, но было уже поздно: острие рогатины впилось в сердце и разорвало его. Медведь сильно качнулся набок, взметнул лапами, страшно заревел, а потом грузно рухнул на снег, вырвав при падении рогатину из крепких рук охотника, и забился в предсмертной агонии.

— Инда упарился! — снял меховой колпак и отер пот со лба лесовик.— Ишь как возиться пришлось!..

— Н-да,— согласился Иван,— этакая махина... Грузной какой! — и он ткнул затихавшего зверя ногой и даже плюнул на него.

XIX

ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ

— Пойти взглянуть,— проговорил лесовик,— кого из беды вызволить пришлось.

— А знаешь кого? — очутился около них кузнец из поселка.— Да самого нашего лютого князя Василия Лукича!

Лесовик заметно вздрогнул.

— Врешь! — закричал он.— Быть того не может!

— Поди сам погляди, ежели не веришь...

Смельчак-парень надвинул на голову колпак и пошел к кучке товарищей, которые окружили потерявшего сознание Агадар-Ковранского.

— Взаправду князь? — спросил он, подойдя.

— Он самый,— ответили лесовики.

— Кабы знать было то,— отозвался один из них,— так и пальцем не пошевелили бы, пусть бы его на здоровье медведь заломал...

— Вестимо так,— сказал другой лесовик,— медведь меньше зла творит, чем князь Василий; известно — Божья скотина...

— А как князь мучил нас для забавы! А вон теперь лежит и не дрыгается... Видно, зверь-то лесной — не наш брат, лютовать над ним не моги...

Князь Василий, беспомощный, жалкий, без сознания, лежал на снегу среди этих явно враждебно настроенных против него людей.

Пожалуй, и лучше было, что сознание покинуло его... Судьба, вырвав его из когтей одной опасности, кидала в объятия другой, еще более грозной...

— Расступись-ка, братцы! — раздался звучный голос того лесовика, который принял на рогатину медведя.— Дай мне взглянуть на князеньку!

Голос этого смелого человека звучал как-то совсем особенно. В нем ясно слышались и злоба, и тоска, и нестерпимая мука.

Люди расступились.

— Ой, князенька,— прерывисто захрипел лесовик,— вот как нам встретиться пришлось... Бог-то все видит: бывает время, что и богатым поплатиться нужно... Так-то! Дай-кось топор-то! — обратился он к ближайшему из товарищей.

Тот в ужасе попятился.

— Ой, ой! Пришибет он князя-то,— пронесся кругом тихий шепот.

Лесовик злобно засмеялся.

— Миловать не буду,— коротко произнес он и добавил с невыразимой тоской в голосе: — Сестренку, им для забавы замученную, вспомнил... Давай топор!

Тут сказалось все, что накипело на душе у этих измученных людей. Отуманенный клокотавшей в нем злобою, человек видел пред собой тирана и не задумывался совершить кровавое преступление...

— Разойдись, братцы! — выкрикнул лесовик, которому кто-то из товарищей сунул в руки топор.— Я в грехе, я и в ответе, а вы ни в чем неповинны... У-ух! — размахнулся он топором.

Но опустить удар на голову бесчувственного князя Василия ему не пришлось.

— Не трожь! Чего ты? Или Бога позабыл! — раздался около него окрик, и чья-то сильная рука ухватила, как клещами, его руку и отвела в сторону. Это был вершник воеводы Грушецкого, Иван.— Не трожь, не моги,— повторил он,— вспомни, на какое дело идешь!

— Ты чего? Тебе-то что? Наши счеты...

— В них я не встреваю,— твердо ответил Иван,— а у нас на Руси лежачего не бьют... Видишь, князь-то словно мертвый валяется, а ты его такого-то пришибить задумал... Небось, кабы он на ногах был, так не посмел бы... Брось, тебе говорю, топор, не то, смотри, худо будет! — И Иван изо всей силы сжал кисть руки лесовика.

— Ты чужой,— пробормотал тот,— нечего тебе промеж нас встреваться... Небось, не тебя его княжеская лютость коснется... А он, наш князь-то, говорят тебе, хуже зверя лесного...

— Пусть! — столь же твердо, как и прежде, возразил Иван.— Вот очнется он, лютый твой князь, и делай с ним, что тебе душа велит, а до тех пор не трожь, не дам.

— И взаправду, Петюшка,— подошел кузнец,— дурное ты замыслил... Сердце-то ты свое потешишь, а потом каяться придется. И никакой поп тебе такого греха не отпустит. Потому, какой он враг сейчас? Малое дитя и то забрыкается, как топор над собою увидит, а он лежит и не дрыгается...

— Верно, верно он говорит! — раздались со всех сторон голоса.— Брось, Петюха, будет у тебя время с ворогом за все поквитаться... Оставь! Не дадим мы тебе душу свою загубить...

— Так это! — опять заговорил кузнец.— Нет ни в одном нашем поселке и во всей округе никого из подлых людей, кто не хотел бы вот, как ты теперь, ему, князю, топором голову раскроить... И стоит он того, окаянный, но убить-то

его надо в честном бою, а не тогда, когда он даже не поймет, кто его убил... Не примем на себя его крови, ребята! Пусть Петруха на сей раз уймется...

— А-а,— не то застонал, не то заревел Петр,— провались вы все и с князем окаянным вашим,— и он бросил топор.— Делайте как хотите, берегите его на свою голову!.. Мало им в округе девок да баб перепорчено, мало медведями для потехи народа перетравлено?.. Так и еще больше будет! Хотите того — пусть, а мне с вами не дорога... Нянчитесь с окаянным... Эй, вы, проезжие, айда за мной! — и, не обращая внимания ни на князя, ни на товарищей, Петруха пошел прямо через кусты вперед.

Смущенные вершники Грушецкого последовали за ним.

XX

УСПОКОИВШАЯСЯ БУРЯ

Оставшиеся после ухода Петра и вершников лесовики несколько времени стояли молча вокруг своего князя. Удручающе подействовала на них вся предыдущая сцена. В душе каждый сочувствовал Петру и каждый действительно был готов поступить, как намеревался поступить он, но слова чужого человека пристыдили их: им и в самом деле показалось незамолимым грехом убить бесчувственного князя даже в отмщение за все то зло, которое причинял он им.

— Ну и ввалились же мы! В недобрый час из избы вышли,— проговорил один из них, нарушая тягостное молчание.

— И в самом деле,— проворчал другой,— гораздо лучше было бы на печи сидеть.

— А уж если вышли да такое дело приключилось,— выступил третий,— так не сидеть же нам весь век тут...

— А что делать-то? Ну, скажи! — послышались вопросы.

— Как что? Посмотрим сперва, жив или помер князь-то? — и лесовик подошел к князю Василию и потряс его за плечо.

Тот слабо застонал.

— Ишь, жив! — с заметным неудовольствием и даже, вернее, с досадой пробормотал один из лесовиков.— Пойдет теперь перепалка...

— Да его, кажись, и зверь не ломал! — заметил товарищ.

— Значит, таково хорош, что и лесному зверю противен,— многозначительно промолвил первый,— и в аду не надобен.

— Полно вам, братцы,— отошел от князя возившийся около него лесовик,— немощный он, а немощный хоть и враг, но милосердия достоин... Лучше обсудим, что нам делать...

— Что? Да сволочь его в лесное его логово, тут напрямки совсем близехонько, особливо, ежели через чащу!

— Так-то так, а только троим нам не снести! — сказал молодой лесовик, косясь на тушу бездыханного медведя.

— Скажи лучше, шкуру бросить жалко! — заметил ему товарищ.

— И то верно,— согласился тот.— Батюшки, да чего мы думаем? Ведь конь его есть, наезжие холопы его вытянули из берлоги, пока мы тут с князем возились...

Действительно, Митроха и Константин, заметив бившегося почти под землей коня, воспользовались удобным моментом и освободили его.

— Где же конь-то? — водя всюду взглядом, спрашивал лесовик постарше.— Что-то нет его...

Коня и в самом деле нигде не было видно.

— Сорвался да убег, вот тебе и все,— решили лесовики.

Князь между тем беспокоился и стонал. Он все еще не приходил в себя, его стоны были сильны и надрывисты. Видимо, даже будучи в бессознательном состоянии, он сильно страдал.

— Не снести нам его,— твердил лесовик помоложе,— рук мало, да и шкуру здесь оставить нельзя... Попробуй-ка уйти, сейчас лисы явятся, да и волки пожалуют, весь мех перепортят...

— Так оно выходит,— согласился лесовик постарше, которому медвежьей шкуры было гораздо больше жаль, чем своего князя.— Тогда вот что,— предложил он.— Пусть кто-нибудь из нас на усадьбу сходит; и впрямь тут через чащу недалеко, пусть подмогу дают... Чу, слышите!

Где-то в отдалении раздавались человеческие голоса. Издали доносились куканье, кликанье, громкие удары колотушкой по набатному билу.

— Ишь,— даже испугались лесовики,— ищут самого!

Они не ошибались.

Сорвавшийся конь примчался прямо в лесное поместье князя Агадара и переполошил там всех. Через старика Дрота весть о примчавшемся коне была передана Марье Ильинишне, и та, поняв, что с племянником случилось что-то дурное, сменила свой гнев на милость и не на шутку за-

беспокоилась. Как-никак, а она любила князя Василия, как родное дитя, любила его со всеми недостатками, всю жизнь жалела его, а узы такой любви не рвутся в одно мгновение, что бы ни говорил внезапно вспыхнувший гнев.

Всполошилась старушка, куда только и сон девался, откуда и силы взялись. Она загоняла своего старого Дрота, отдавая распоряжение за распоряжением, и глаз больше не сомкнула до рассвета, пока, наконец, разосланные холопы не принесли из лесу стонавшего князя Василия.

По приказанию старушки он был уложен в постель. Страшно страдая, князь то бормотал, то лепетал что-то совсем несуразное. Видимо, ему пришлось пережить сильнейшее потрясение, и он всецело находился под впечатлением его.

Старушка с тревогою смотрела на метавшегося в лихорадочном жару племянника, и слезы проступали на ее глазах.

В усадьбе Агадар-Ковранского был весьма искусный костоправ. Марья Ильинишна немедленно вытребовала его в хоромы, и он ловко вправил вывихнутую ногу князя. Тот, почувствовав облегчение, сейчас же крепко заснул, и только тогда уставшая донельзя старушка удалилась в свои покои.

На свете так уж устроено, что стоит сойтись троим-четверым людям — добрым, честным, дружным между собою — и непременно один среди них окажется сплетником. И не то, чтобы его сплетня была злостная, а просто хочется ему рассказать о том, чего другие не знают еще. Вот и начинает такой человек хвастаться своим всезнайством, болтать, нисколько не думая о последствиях своей болтовни.

Так было и тут.

Когда холопы подобрали князя, то двое лесовиков остались обдирать зверя, а третий, надеясь получить благодарность, увязался за людьми Агадар-Ковранского. Это был молодой и словоохотливый не в меру парень.

Он уже по дороге начал с подробностями, которые только в одном его воображении и существовали, рассказывать, как они, провожая наезжих вершников-холопов, натолкнулись на громадного медведя, готового задрать молодого князя. Когда же малый очутился на кухне и выпил хмельной браги, то его язык уже совсем развязался, благо вокруг него собралось много слушателей. Он рассказывал и как князеньку хотел зарубить сердитый на него за сестру Петруха, и как его руку задержал от рокового удара наезжий холоп воеводы Грушецкого. Не преминул он сообщить и то, что наезжие холопы сильно беспокоились, как бы

князь Василий не попортил их боярышни, а потому так и спешили уйти с места ночного происшествия.

— И ладно, что они Петруху да кузнеца с собой увели,— высказывал свои предположения разболтавшийся лесовик.— Кузнец-то ничего, а Петр, кабы остался, так пришиб князеньку бы!

— Выходит так,— вмешался Дрот,— что они, Грушецкого холопы, нашего князя спасли!

— Выходит, что так! — согласились с ним почти все слушатели.

Тотчас же все подробности этого рассказа через Дрота стали известны Марье Ильинишне. Старушка даже заплакала, слушая их.

— Господи милосердный,— шептала она,— сколь неисповедимы пути Твои! Воистину сказано, что ни единый волос не спадет с головы без воли Твоей... Злое задумал Васенька на наезжую боярышню, а вот как вышло: ее же люди от гибели неминучей его вызволили... Вот пусть светает только, соберусь да поеду сама, погляжу на красавицу...

XXI

НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО

Томительные мгновения пережили и старый Серега, и юный Федька, пока за дверью слышались приближающиеся шаги.

— Не сдавай, Серега,— шепнул старому холопу кравшийся к двери подросток,— все равно где погибать, здесь ли, или в Чернавске у воеводы... Я живым не сдамся.

Старый Серега ничего не ответил, а только еще крепче сжал и выше поднял дубовую скамью. Зюлейка, вынырнувшая из-за полога, так и замерла в ожидании.

Весь этот шум разбудил, наконец, спавшую мамку

— Что вы, что вы, оглашенные! — спросонок заголосила не знавшая, в чем дело, старуха.— Разбойничать в чужом доме задумали?.. Вот я вас! Кыш... окаянные!

— Молчи, бабушка,— тихо, но внушительно проговорил Сергей,— спала ты, а мы в лютую беду попали...

— Что зря мелешь? — выкрикнула мамка.— В какую еще там беду?..

— А в такую, боярышню ты проспала бы, кабы не мы...

Старуха привзвизгнула и, закрыв лицо руками, в немом ужасе присела на пол.

В это время дверь приотворилась, и Федор, согнувшись, как кошка, уже готов был прыгнуть вперед. Однако, радостно вскрикнув, он выпрямился, и нож выпал у него из рук.

— Дядя Серега! — во все горло заорал он,— брось скамью-то: наши там, Константин с Дмитрием и сам Ванятка... пропащие; там еще какие-то, а здешнего хозяина и не видать, и не слыхать...

Действительно, за дверьми были возвратившиеся вершники, но, отстраняя их, вперед продвинулись двое совершенно незнакомых людей.

Один из них, оставшийся позади, был в черной монашеской сутане, выдававшей в нем, как и едва заметная тонзура, католическое духовное лицо.

Другой, красивый молодой человек, скорее — юноша, с гордым и смелым лицом, в богатом польском одеянии, прямо прошел в покой и зорко окинул взглядом всех находившихся там.

На его лице отразилось нескрываемое удивление, когда он увидал и нож, валявшийся у ног Федора, и Сергея, все еще державшего за край скамью, и сидевшую на полу старуху-мамку. Он сразу же понял, что эти двое людей, а с ними и красивая молодая женщина с кинжалом, только что были готовы на отчаянную борьбу для защиты кого-то им дорогого, и только его появление успокоило их отчаяние, укротило их решимость.

В это время Ганночка пришла в себя. Она услыхала шум, голоса и, превозмогши слабость, поднялась с постели и вышла из-за полога. Молодой поляк сейчас же увидал ее и сразу понял, что это-то и было то дорогое существо, ради которого эти люди готовы были пожертвовать своей жизнью. Одежда Ганночки подсказала ему, что это — не простолюдинка, а вполне равная ему по своему общественному положению девушка. Сейчас же на губах юноши заиграла улыбка и, приблизившись к Ганночке, он почтительно склонился пред нею, говоря совершенно чисто по-русски:

— Пан Мартын Разумянский, герба Подляшского, королевский поручик. Прошу прелестную панну не обидеть меня своей милостью и дать мне для привета свою ручку.

Ганночка вся вспыхнула, но, будучи привычной к польскому обращению, с легким поклоном протянула пану Разумянскому руку. Тот припал к ней с почтительным поцелуем.

В покой тем временем все больше и больше набиралось людей. Однако ни холопов Грушецкого, ни приспешников

Агадар-Ковранского не было видно. Новопришедшие и по типу, и по одеждам, и по вооружению все были поляки и литовцы. Тут были и старики, и молодые; они держались свободно, но с соблюдением собственного достоинства.

Вершники воеводы Грушецкого, выйдя из лесу на наезженную дорогу, прямо и натолкнулись на них, словно принесла их сама судьба.

Пан Разумянский в сопровождении иезуита отца Симона Кунцевича и большой свиты из поляков и литовцев ехал по своим делам на Москву. У него — вернее, у его отца — были поместья и под Смоленском, и в Чернавском воеводстве, и молодой человек был послан родителями, чтобы разобраться в имущественных делах после недавней войны.

Дорога через лес не была прямым путем к Белокаменной, но почему-то Разумянский и его товарищи захотели сделать порядочный крюк и направились именно этой дальней, кружной дорогой.

И вот вдруг из-за кустов, прикрывавших пролесок, появилось трое конных и двое пеших, среди поезжан начался было переполох, так как встречных людей путники приняли было за разбойников; много остро отточенных сабель вылетело из ножен, но, к счастью, недоразумение скоро разъяснилось и все обошлось благополучно.

Вершники простодушно рассказали обо всех своих приключениях, расписали, насколько им позволяло воображение, красоту своей боярышни и высказали опасения за ее участь.

— Хоть сам-то здешний князь,— сказал вершник Иван,— в беду попал и двинуться не может, а кто знает, какой он приказ своим холопам дал?

— Может, приказал он им схоронить куда-нибудь нашу боярышню,— заметил со своей стороны Дмитрий,— явимся и не найдем ее.

— А что наши там есть,— вставил слово Константин,— так с ними управиться легко: заснут с устатку, что хочешь с ними, то и делай... Хоть перебей всех.

В свою очередь, лесовик Петруха не поскупился представить проезжим князя Василия в самом мрачном виде.

Разумянский рассеянно слушал Петра, но все-таки время от времени кивал ему головой и говорил:

— Так, так!

Когда рассказ был кончен, Разумянский обратился к своим спутникам:

— Ну что, панове, как вы думаете, что нам делать, как нам быть? Я вижу, что пан Руссов желает что-то ска-

зать,— обратился он к высокому, худощавому молодому литовцу, уже несколько раз пытавшемуся вставить свое слово.— Прошу вас, пан Александр!

Литовец тотчас же обратился к товарищам:

— Прошу извинения, паны, и вашего также, пан Мартын,— поклонился он Разумянскому,— но мне известно, что был на рубеже старый московский дворянин Грушецкий и у него раскрасавица-паненка дочь... Вся округа была от нее в восхищении. Лицом — ангел небесный, и разумом светла... Так и звали у нас красавицу-паненку: разумница! Не про нее ли теперь речь идет? Если только это — она, панна Ганна Грушецкая,— пылко воскликнул Руссов,— то, клянусь всеми ранами святого Севастьяна, я готов ради нее в самое пекло к черту на рога пойти!

— Пан Александр влюблен,— улыбнулся Разумянский.— Он нам друг и добрый товарищ, паны; мы с ним и плясали, и рубились вместе, так теперь разве не обязанность наша последовать его призыву и оградить от беды его даму, хотя бы для этого пришлось взяться за сабли!

— За сабли, за сабли! Виват, Разумянский, виват, Руссов! — раздалось со всех сторон.

Крики долго не смолкали; в воздухе мелькали обнаженные сабли, кто-то выстрелил в воздух. Все было ясно, все было решено: если бы пришлось ради Ганночки брать штурмом логово лютого князя Василия, то разгорячившиеся паны и пред этим не остановились бы.

Они быстро достигли жилья на опушке. Этот шум и слышали Сергей и Федька, когда были в погребе у колдуньи Аси. Они приняли его за возвращение князя Агадара, но тем больше была их радость, когда пред ними оказались друзья, а не лютый враг.

Ганночка тоже поняла, что ей грозила опасность, и только появление этих избавителей предотвратило беду.

XXII

КРОВОПРОЛИТИЕ

Пан Разумянский, после поцелуя руки, с восхищением смотрел на Ганночку. Этот восторженный взгляд смутил ее и даже заставил потупиться.

Собственно говоря, Ганночка даже обрадовалась этой встрече. На нее чем-то привычным, даже родным пахнуло от этих напыщенных фраз молодого поляка, так она при-

выкла к ним, живя в прирубежном имении своего отца. Но в то же время ей стало стыдно, что этот молодой красавец застал ее около готовых к отчаянной драке холопов, и Ганночка подумала, что он непременно осудит ее за это.

Краснея, она пролепетала несколько невнятных слов благодарности.

— Мы прослышали,— слегка поглаживая шелковистые усы, проговорил уже по-польски Разумянский,— что ясновельможная панна попала в гнездо разбойников... Разве не святой долг рыцаря защищать тех, кто в беде? Притом же пан Руссов,— красивым жестом указал Разумянский на литовца,— сказал нам, что панна — дочь знаменитого воеводы Грушецкого...

— Не герба ли Липецка ваш батюшка? — заявил о своем существовании отец Кунцевич.

Очевидно, с каким-то затаенным смыслом он предложил Ганночке вопрос по-русски. Девушка несколько удивленно взглянула на иезуита, который так и пожирал ее взорами, и ответила по-польски:

— Мой предок был из Липецка, не знаю, почему он выселился на Москву...

— И принял там схизму? — ядовито заметил Кунцевич.

Ганночка ничего не ответила.

— Оставим эти разговоры,— заметил Разумянский.— Если кто и в пекле, так далекий предок панны, а она — лучшее украшение рода. Клянусь в том булавой Стефана Батория... Приказывайте нам всем, ясновельможная панна,— обратился он к Ганночке,— нет такого вашего слова, которое не было бы для нас законом. Не так ли, панове?

— Так, так,— загремели кругом голоса и громче других слышался голос литовца Руссова,— умрем за панночку, смерть ее врагам!

— О, в этом отношении мы бесполезны,— с улыбкой проговорил пан Мартын,— за вас, панна Ганна, сама судьба. Она жестоко карает каждого, кто только осмелится помыслить дурное на панну...

— Что, что еще случилось? — испуганно воскликнула молодая девушка.

— Ничего особенного! — пожал плечами Мартын, и в весьма цветистых выражениях рассказал о печальном приключении с Агадар-Ковранским.

Ганночка слушала рассказ, закрыв лицо руками. Ей стало жалко князя Василия, даже несмотря на то, что она видела его только мельком. Ведь он не сделал ей ничего дурного, а напротив того, под его кровом она нашла себе

приют ночью; о замыслах же князя Ганночка решительно ничего не знала и даже не подозревала, какой опасности она подверглась бы в эту ночь, если бы судьба не столкнула почти обезумевшего князя на медвежью берлогу.

О собственном приключении этой ночи Ганночка как-то не вспоминала. Гадание в погребе казалось сном, и ей уже не хотелось теперь наяву вспоминать об этом тяжелом сне.

Между тем оправившаяся от потрясений матушка пришла в себя, и к ней вернулись обычный апломб и бесцеремонность. Она сразу увидала непорядок и, выступив вперед, заголосила:

— И чтой-то, господа бояре, или дети боярские, как величать не знаю, будто и негоже здесь пред девицей кочевряжиться... Прикройся платочком, боярышня, и отвернись к стенке... Пусть вон та, лупоглазая, бельма таращит... А вы бы, бояре, уходили отсюда! Говорю, негоже вам тут будет... Налетели словно летние мухи на мед... Идите, идите себе! Идите, а не то боярышню уведу! — и она энергично схватила Ганночку за руку и накинула на ее лицо платок.

Разумянский иронически улыбнулся, кое-кто из его товарищей весело расхохотался, кое-кто, напротив того, обиделся, и последних было даже больше, так что кругом ясно слышалось довольно громкое ворчание.

— Прошу успокоиться, паны,— крикнул пан Мартын и, обратившись к мамке, с иронической кротостью сказал: — Ты совершенно права, добрая женщина: мы, грешники, не должны бы быть в раю, но попали мы сюда по особым обстоятельствам и готовы уйти немедленно, как только нам прикажет милостивая панна.

Он еще не кончил своих последних слов, когда откуда-то из отдаленных покоев раздался душу надрывающий вопль, затем другой; потом на мгновение все стихло, но после этого раздался отчаянно громкий крик:

— Убил, окаянный, убил!

В доме начался переполох; со всех сторон только и слышалось:

— Держи убивца! Добьем его! Бей!

Все блестящее общество, собравшееся около Ганночки, недоуменно переглядывалось между собою. Некоторые кинулись к окнам, но сквозь них не могли ничего рассмотреть.

— Пойдемьте, панове, узнаем, что там! — предложил Разумянский, которому все это происшествие представлялось преудобным предлогом удалиться из комнаты Ганночки, где они пробыли гораздо дольше, чем позволяли это приличия.— Припадаю к ногам,— низко поклонился пан Мартын Грушецкой,— пусть не гневается панна, если мы покинем ее. Там что-то случилось, и необходимо наше присутствие... Но пусть панна будет уверена, что мы все — ее верные слуги. Пусть лишь прикажет что-нибудь, и она увидит, что только смерть воспрепятствует исполнить нам ее приказание.

Подобострастно вежливо поцеловал пан Мартын руку Ганночки и, низко кланяясь, пошел к дверям; его товарищи стали выходить еще раньше, и наконец покой опустел и женщины остались одни.

— Не иначе, как это — Петруха! — шептал Ивану Дмитрий.— Он всю дорогу бурлил и убить собирался.

— Больше некому,— согласился тот,— побежим посмотрим, взяли его или нет?

Старый Серега и мамушка отошли к окну, в которое уже пробился свет. Серега стал рассказывать о полной событий ночи; к ним скоро присоединился Иван и передал подробности своей поездки за подмогой. Мамушка только ахала; она понимала, что и в самом деле чуть было не проспала своей красавицы боярышни, хотя никак не могла сообразить, откуда у нее столь крепкий сон мог явиться.

А там, дальше этого покоя, около людской кипело оживление. На лавке один, на полу другой валялись облитые своей собственной кровью Гассан и Мегмет, головы которых были страшно изрублены топором. Оба были мертвы. Да и никто не выжил бы после тех зверских ударов, которые были нанесены им.

— Спали он,— рассказывали холопы,— и с чего так крепко, ума приложить нельзя!

Сергей и Федор переглянулись, почему столь крепко заснули оба приспешника лютого князя: они выпили по ошибке ковши с сонным зельем, которое было приготовлено для наезжих холопов, и заснули мертвым сном. Зелье действовало так сильно, что Сергею стоило большого труда растолкать своих людей и горничных девок, не разбуженных даже царившим вокруг них шумом. Проснувшись, они не понимали решительно ничего из того, что происходило вокруг них, и с ужасом поглядывали на окровавленные трупы, прибрать которые пока никто и не думал.

Убийцею был, несомненно, лесовик Петр. Первым увидел совершенное злодеяние кузнец, ладивший полозья к возку Грушецких. Петруха пробежал мимо него, размахивая окровавленным топором. Его вид был столь страшен, что перепуганный кузнец завопил о помощи.

XXIII

СНОВА В ПУТИ

Это кровавое происшествие ускорило отъезд Грушецкой из лесного жилья. Кузнец быстро исправил возок боярышни, и около полудня оба поезда уже снова пустились в дальнюю дорогу.

Разумянский и все его спутники держались по отношению к боярышне в высшей степени предупредительно; никто из них не лез на глаза к ней, и только пан Мартын несколько раз подходил к Ганночке, спрашивая, не надобны ли ей его услуги.

Иезуит Кунцевич во все это время не промолвил ни одного слова. Он был настолько погружен в свои думы, что даже не откликался, когда кто-нибудь пробовал назвать его. Глаза сухопарого иезуита так и взблескивали; по временам на его губах начинала играть полная скрытой загадки улыбка. Видимо, у него назревал какой-то грандиозный план.

— Святой отец что-то думает,— улыбаясь, сказал пан Мартын, подходя к нему,— и держу пари, что я знаю, о чем.

— О чем же, сын мой? — спросил иезуит.

— Конечно же «о вящей славе Божией»!.. О чем же и может постоянно думать духовный потомок великого Игнатия Лойолы?

Отец Кунцевич улыбнулся и ответил:

— О да, сын мой, вы совершенно правы, именно об этом предмете я и думаю сейчас!

— И что же говорят вам, святой отец, ваши думы?

— Многое!..

Пан Мартын хорошо знал отца Кунцевича, который постоянно жил в его семье и был его духовным отцом. Этот слабый с виду человек был полон несокрушимой энергии. Он обладал таким упорством, каким могли похвастаться немногие из его собратьев по ордену. Он был пылким фанатиком и раз задавался какой-либо целью, то неудержимо стремился к ней. На этом пути он не считался ни с преградами, ни с препятствиями. Тут для отца Кунцевича все средства были хороши и дозволены, лишь была бы достигнута цель.

Теперь, видя, что отец Кунцевич что-то серьезно обдумывает, Разумянский даже слегка встревожился, встревожился не за себя, а за Ганночку,— он видел, какие взоры бросал на нее иезуит,— и, чтобы поразведать что-нибудь о замыслах последнего, заговорил с ним:

— А что, святой отец, уж не витает ли в ваших святых мечтах прелестная паненка, которую мы так неожиданно обрели в жилище этого московского дикаря?

— И опять пан Мартын прав,— спокойно заметил иезуит,— именно эта схизматичка и наполняет собою мои думы. Скажу больше — она в центре их...

— Ого! — воскликнул Разумянский, и в тоне его голоса послышалась ни с того ни с сего ревнивая нотка.— Слышите, панове! Наш добрый пан Кунцевич влюбился «для вящей славы Божией»... Не влюбиться ли и нам теперь «для большего посрамления дьявола»? Ха-ха-ха!

Отец Кунцевич спокойно смотрел на юношу.

— Пусть успокоится пан Мартын,— наконец сказал он,— мне нужна не женщина, а пружинка... да, да, пружинка, которую можно надавить и так, и эдак... Успокойтесь!.. Вы, кажется, должны знать, что верить мне можно...

Он отвернулся от Разумянского, и тот замолчал.

Этот разговор происходил уже на дороге. Жилье Агадар-Ковранского было оставлено наспех. Там даже не были убраны трупы Гассана и Мегмета. Их убийца ушел в лес, а растерявшаяся дворня даже не подумала пуститься за ним в погоню.

Отдохнувшие лошади мчали возки с поезжанами. Солнце ярко сияло в небесной синеве. Повевал легкий, с небольшим морозцем ветерок, бодривший тело, хорошо настраивающий душу. О том, что осталось позади, никто не вспоминал. Ганночка словно позабыла о своем ночном гаданье, что сталось с Асей, даже не приходило ей в голову. Теперь, когда все уже прошло, ночное приключение все больше и больше казалось ей сном, а о том, что это был не сон, а явь, некому было напомнить ей. Зюлейка спряталась, когда она уезжала, и никто не видал ее. Сергей и Федька, утомившись ночными приключениями, забились в возок для челяди и отсыпались, а мамка была так смущена своею оплошностью, что предпочитала молчать.

Однако для Ганночки эти события не прошли бесследно.

Сразу двое новых людей прибавилось в ее жизни: князь Василий Агадар-Ковранский и пан Мартын Разумянский. О первом она вспоминала с некоторым содроганием, образ второго вызывал у нее довольно веселую улыбку.

Пан Мартын нравился молодой девушке. Он был столь резким контрастом князю Василию, что не мог не произвести впечатления на Ганночку.

Выглядывая из своего возка, Ганночка ни разу не забыла бросить взор в ту сторону, где, по ее соображениям, должен был находиться пан Мартын. И тот словно чувст-

вовал, что молоденькая путница не на шутку заинтересовалась им. Он уже давно бросил возок, в котором помещался вместе с отцом Кунцевичем и, сев на своего коня, не сходил с него.

Его примеру последовали почти все спутники. Пан Руссов, считавшийся любимцем Разумянского, не отставал от него. Они вместе гарцевали и то перекидывались словами, то обменивались улыбками между собою. Они видели, что Ганночка частенько взглядывает на них, это еще более поджигало их.

— Сто тысяч дьяволов,— вполголоса произнес пан Мартын,— мне это приключение начинает нравиться! А как вам, пан Руссов?

Литовец вдруг ни с того ни с сего как-то особенно заулыбался.

— Чему улыбается пан? — вспыхнув, спросил Разумянский.— Или, быть может, он не согласен со мною?

— О, нет,— поспешил ответить Руссов,— наше дорожное приключение очень интересно, а панна Грушецкая хороша... хороша... Пусть дьявол скажет, как она хороша,— неожиданно докончил он свою фразу,— я не могу, у меня слов не хватает.

Это признание вырвалось у него с таким полным комизма пылом, что Разумянский невольно рассмеялся.

Руссов, вопреки обычной сумрачности литовцев, был большим шутником и, главное, у него была комическая жилка, благодаря которой он был желанным гостем и дорогим другом во всякой компании молодежи.

— Но,— проговорил он, заканчивая свое признание,— глаза мои слишком слепы, чтобы разглядеть все прелести такого солнца, и я предпочитаю лучше любоваться не столь яркими звездами... Их по крайней мере всегда можно иметь у себя под боком...

Разумянский так и насторожился.

— Что хочет сказать пан? — воскликнул он.— Я не уясняю себе его слов...

— Только то, что около каждого солнца бывают звезды! — ответил Руссов.— Солнце — для магнатов, звезды — для бедных шляхтичей... Пан Кунцевич сказал об этом так: «Всякому свое».

Шум, поднявшийся впереди поезда, заставил их прервать беседу. Случилось что-то такое, что заставило даже остановить лошадей, и возки, внезапно заторможенные, зарылись в снег.

Поезд уже давно миновал обширную равнину, стлавшуюся за лесным домиком Агадар-Ковранского, и снова проезжал сквозь лес, настолько большой, что на дороге сразу стало заметно темнее.

Заслышав шум, пан Мартын припустил вперед коня, но осадил его у возка, в котором ехала Ганночка. Молодая девушка тоже услыхала шум и суматоху и поспешила выглянуть в окошечко возка.

Как раз в это время около нее и очутился пан Мартын.

— О, панну все беспокоят! — воскликнул он, обнажая голову и кланяясь Грушецкой.— Клянусь, я сверну голову тому, кто устроил этот переполох...

Ганночка мило улыбнулась в ответ юноше.

Между тем впереди поезда столпились люди; все они громко кричали, махали руками и наконец всей толпою направились в ту сторону, где был пан Мартын.

XIV

ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ

Разумянский, оставшись на коне, смотрел пред собой, наморщив брови и нахмурив лоб, чем старался придать себе величественно-грозное выражение. Но это не удавалось ему: серьезность вовсе не шла к его молодому, красивому лицу; однако пан Мартын считал себя обязанным быть серьезным всегда, когда ему приходилось иметь дело с низшими.

— Что такое? — подоспел к нему пан Руссов.— Кого-то ведут сюда.

В самом деле, впереди кучки людей шел высокий, плечистый лесовик, видимо, оставшийся равнодушным ко всему, что происходило вокруг.

— Убивец он, Петруха,— так и взвизгнул Сергей, увидав подходившего.

Да, это был лесовик Петр, так смело кинувшийся на медведя и вызволивший из-под него князя Василия, потом чуть было не убивший его и, наконец, зарубивший у него в доме Гассана и Мегмета. Теперь он совершенно спокойно предстал пред Разумянским.

— Ты кто такой? — спросил его пан Мартын.— Отвечай без утайки!

Петр ухмыльнулся и переспросил:

— Кто я-то? А об этом ты, батюшка, спросил бы окрестных медведей. Лис да барсуков спрашивать нечего, внимания они не стоят, ну, а матерых волков, пожалуй, еще поспрошать можно... Вон поутру я двоих насмерть поло-

жил, Божий свет от их лютости избавил... Будут помнить на том свете, у нечистого в лапах, Петруху из Кобызевки прилесной!

Все это он проговорил ровно, спокойно, без малейшего выражения страха или сожаления в голосе.

— А-а! — закричал Разумянский.— Так это ты убил тех... там...

— Я.

— И не каешься? — вырвалось у Ганночки, слышавшей весь этот разговор.

Петруха искоса взглянул на нее, а затем произнес:

— Чего там каяться? За такое-то дело мне на том свете больше, чем за паука, грехов простится!

Эти спокойные, хладнокровные ответы вывели из себя пана Мартына.

— Так вот, чтобы у тебя грехов поскорее убавилось,— закричал он, весь краснея,— я тебя сейчас повесить прикажу... Эй, хлопцы!

Петруха и ухом не повел на эту угрозу.

— Что же,— проговорил он совершенно равнодушно,— повесь, коли тебе того так хочется... Твоя сила! Только попомни, что я — московского государя и царя подвластный, а не вашего круля... Меня царь-то государь в обиду не даст. Да и за что ты меня повесишь? Я тебя ничем не обидел, на тебя у меня никакого воровства не было! Вышел я к тебе сам, не со злом каким-либо, а с поклоном...

Чем дальше он говорил, тем более туманилось красивое лицо пана Мартына. Он не мог не признать того, что этот смелый парень говорит справедливо, и против его слов возразить нельзя. Но у сильного всегда бессильный виноват. Этот убийца-парень казался Разумянскому такой незначительной величиной, что и думать о нем было нечего. Уже в том он был повинен, что осмелился дерзко говорить с молодым магнатом, и за это его следовало наказать по заслугам.

Пан Мартын уже был готов подать своим людям знак отвести лесовика подальше в лес и там покончить с ним, как вдруг какая-то закутанная в платок женская фигура, протолкавшись сквозь толпу сбившихся вокруг пойманного людей, стремглав кинулась к нему, упала на колени и залепетала что-то непонятное, но, судя по звукам голоса, долженствовавшее выражать благодарность. Это внезапное появление женщины обескуражило всех. Разумянский молчал, ничего не понимая, Руссов был бледен и смущенно

озирался по сторонам, очевидно, чувствуя себя в эти минуты очень неловко. Только Ганночка не растерялась.

— Да это — Зюлейка! — крикнула она, узнав закутанную женщину.

Это была действительно молодая персиянка.

После того, что произошло в загородном доме Агадар-Ковранского, в котором она была игрушкою чувственных капризов князя Василия, ее ненависть к последнему разгорелась настолько, что даже страх перестал сдерживать ее. Она увидела новых людей, которые нисколько не боялись ее господина. Быть может, если бы князь Василий был налицо, так она не решилась бы исполнить давно задуманную ею выходку: убежать из проклятой неволи, все равно куда, только бы не оставаться около ненавистного человека, только бы не знать его отвратительных ласк. А тут, как на грех, князя Василия не было, и пан Руссов обратил на нее свое благосклонное внимание. Они быстро столковались и, когда поезд Разумянского покидал лесное жилье, в возке веселого литовца, забившись в сено, которым он был устлан, покидала свою роскошную тюрьму и прекрасная пленница-персиянка.

Шум, суматоха, крики, неожиданная остановка в пути пробудили в Зюлейке любопытство. Она увидела Петра, когда его подвели к пану Мартыну. Петра она видела раньше, когда он после своего кровавого дела уходил от Гассана и Мегмета. Сообразив, что грозит ему, она, вся отдавшись внезапному порыву, кинулась вперед, желая во что бы то ни стало спасти его.

— Награду ему дать,— выкрикивала она,— он землю от лютых тигров освободил... Не столько князь, сколько Гассан и Мегмет людей мучили. Столь многие плакали от них, нет, не плакали, а стонали! Они были изверги, палачи! Все от них было... Прости его, награди! — кинулась она к Разумянскому и, схватив его стремя, умоляюще смотрела на него.

— Слышь, пан,— вдруг выступил вершник Иван,— у него, у Петрухи этого, те вороги сестру замучили. Князь испортил ее, а потом им отдал, они девку и замучили. Вот и не стерпел парень страшного лиха: вышел случай, и расчелся...

Пан Мартын внимательно слушал все, что говорилось. Неожиданное появление Зюлейки сперва несказанно удивило его, но, взглянув на Руссова, он сразу все понял.

— Не об этой ли звезде,— слегка кивнул он на Зюлейку, склоняясь к литовцу,— и говорил пан?

Руссов заерзал на седле и в тон Разумянскому ответил:

— Я уже сказал вельможному пану, что «всякому свое»!

— Так, так! — улыбнулся Разумянский.— Ну, об этом мы потолкуем после и выпьем за успехи пана Александра Руссова в любви!

Потом, обращаясь к Петру, он постарался нахмурить погрознее брови и спросил:

— Так это?

— Все — правда! Вешай меня, ежели хочешь!

В этот момент раздался нежный голос Ганночки:

— Пан Мартын, а пан Мартын!

— Что прикажет ясновельможная панна своему рыцарю? — воскликнул поляк.— Прошу помнить, что каждое ее слово — закон для всех нас. Приказывай, божественная!

— Нет, я только прошу пощадить жизнь этого человека. Для меня пощади его, пан Мартын!

Разумянский весь так и вскинулся, будто вдруг вырос.

— Ты слышишь, собачья кровь! — крикнул он, обращаясь к Петру — За тебя просит панночка!

— Спасибо ей,— усмехнулся Петр,— только мне того мало, что вы меня не повесите...

— Мало? Ах, негодяй! Чего еще тебе?..

— Возьми меня, пан, к себе на службу... Ведь ты на Москву идешь? Верно служить буду и не раз пригожусь! А ты меня не выдашь!

Лицо Разумянского прояснилось. Это обращение к его покровительству сильно польстило гордому поляку.

— Скройся с глаз моих! — крикнул он Петру в притворном гневе.— Иди назад в обоз, собачья кровь, москаль негодный, потом потолкуем, что с тобою делать... Да ясновельможную панну благодари! Уж повесил бы я тебя, если бы не она.

Петр усмехнулся, отвесил поклон Ганночке и побрел вдоль вновь двинувшегося обоза.

XXV

ПОСЛЕ БУРИ

Пока совершались эти события и обреченная жертва благополучно избежала грозившей ей опасности, в лесном поместье князя Агадар-Ковранского еще продолжалась драма.

После того как костоправ умело и ловко вправил вывихнутую кость и князь Василий заснул мертвым сном, добрая старушка Марья Ильинишна погрузилась в глубокие думы.

Нежданно налетел вихрь, завертел все, что попало под него. Вспышка неповиновения со стороны всегда покорного племянника затронула Марью Ильинишну за живое, уколола самолюбие любящей женщины, но все-таки подействовала лишь поверхностно. Вряд ли старушка привела бы в исполнение свою угрозу и ушла бы из насиженного гнезда. Этого она, быть может, и не сделала бы, потому что слишком любила князя Василия и понимала, что одного нельзя было оставлять его.

Но теперь, когда старый Дрот передал ей все происшедшее в лесу, в особенности попытку Петра убить князя, старушка почувствовала, как она холодеет от ужаса. Ей сразу представилось, какая бездна ненависти окружает ее несчастного любимца, что покушение освирепевшего лесовика — только начало новых бед и что князю Василию несдобровать, если он останется еще в своей лесной трущобе.

«Нужно вывести его отсюда,— вздыхая, думала Марья Ильинишна,— но как? Не маленький ведь он; пожалуй, и не послушает. Потом нужно эту проклятую ссору прикончить... Эх, пылкая кровь татарская! Деды из рода в род за всякий пустяк отмщали, так вот их-то крови в Васеньке и Москва не охладила. Горячая голова! Того, дурашка, рассудить не может, что если внуки за дедовские обиды будут кровью мстить, так и житья тогда никому на свете не будет... О, Господи, Господи!»

От племянника мысли Марьи Ильинишны как-то сами собою перешли к виновнице всего этого переполоха, боярышне Грушецкой.

«Нанесло, знать, судьбою Агашеньку-то! — думала она.— Выходит это так, а не по-иному... Только это я сгоряча подумала ехать к ней, да, сгоряча! Молода она, чтобы я к ней первою явилась... Вот пошлю за ней, дорожным людям в пути день-другой не расчет, пусть погостит, хоть посмотреть на нее, что она за краса такая. Старого-то Семена Грушецкого я теперь вспоминаю; слюнтяй был, шебарша и пустельга... Ишь, воеводою в Чернавске уселся; кормится, поди, от подвластных в три горла. На границе жил, от дедовских порядков, поди, отвык. Да и то сказать: все Грушецкие на польскую руку тянули, совсем не так жили, как наши исконные живут: телятину жрали и не каждую субботу в баню ходили, и то без жен, вопреки святоотеческому свычаю православному! Поди, и дочка у него такая же вышла».

Пораздумав на эту тему еще немного, старушка решила не откладывать дела в долгий ящик. Но послать холопов

за Ганночкой ей не пришлось. Из прилесного жилья прискакали холопы с недобрыми вестями о гибели Гассана и Мегмета и рассказали о том, что Ганночка уже успела уехать, сопровождаемая наезжим польским поездом.

Марья Ильинишна терпеть не могла обоих калмыков, но все-таки известие об их гибели неприятно поразило ее.

— Уж не последние ли времена настали? — гневалась она.— Всякий сброд лесной против господ пошел!

О том, что сбежала Зюлейка, она и думать не стала: персиянка в ее глазах была хуже паршивой собаки.

Сообщить о всем происшедшем племяннику взялась Марья Ильинишна. Да и кто бы из дворни или челяди осмелился на это? Ведь каждому была дорога своя голова, а князь Василий в гневе не разбирал ни правых, ни виновных.

Отдаляя по возможности минуту неприятного объяснения, старушка решила не будить племянника и начать с ним разговор только тогда, когда он проснется сам.

Князь Василий проспал далеко за полдень. Он пробудился весь разбитый: страшно болела голова, ныли все кости и суставы, побаливал и вывих.

От того, что было в прошлую ночь, остались только смутные воспоминания. Князь помнил, как вылетел из седла, как на него надвинулось лесное чудовище, а потом нить воспоминаний обрывалась; словно завеса какая-то окутывала его мозг, и он сквозь дымку тумана припоминал, что очнулся от боли, которую ему причинил костоправ. Еще несколько туманных отрывков носилось в его мозгу, а дальше опять все было окутано непроницаемой пеленой.

Радость так и охватила князя Василия, когда он увидел доброе лицо Марьи Ильинишны; она в ожидании его пробуждения уселась в высокое кресло около постели и не спускала взора со своего любимца.

— Государыня-тетушка! — чуть не в полный голос закричал князь Василий.— Простила ли ты меня за дерзость мою вчерашнюю?

— А каешься ли? — спросила старушка.

— Как не каяться? Попущение Божие за грех мне было. Ведь уж и не знаю, как от медведя ушел-то, кто от него меня вызволил... Каюсь, государыня-тетушка, каюсь...

— И не будешь больше? Не посмеешь наперед дерзить?

— Да разрази меня Бог, ежели я помыслю впредь о том. И тут не иначе, как дьявол от меня моего ангела-хранителя прогнал...

Очевидно, пережитый смертный страх умиротворяюще подействовал на эту неукротимую душу.

Марья Ильинишна, со свойственной старым людям наблюдательностью, сейчас же подметила это и решила, что не может быть времени удобнее для того разговора, который она затеяла.

— Так-то вот все и выходит, племянничек,— торжественно заговорила она,— ты вот злое умыслил на боярышню Грушецкую — припомни-ка, какое ты дело хотел совершить,— а Бог-то многомилостивый не допустил до того да и вразумление тебе великое послал... Знаешь ли ты, о чем говорю я?..

— Нет, государыня-тетушка, не ведаю я,— смиренно ответил князь Василий.— Не ведаю,— повторил он,— будто и памяти нет, будто всю ее отшибло, как под медведем я лежал...

— Ага! То-то и дело! — воскликнула старушка.— А знаешь ли ты, Васенька, что тебя боярышня Грушецкая спасла от смерти неминуемой, да не единожды, а два раза в ту ночь?..

— Как! — вскрикнул князь Василий.— Да может ли то быть?

— Два раза она тебя от смерти отвела, через людей своих, а ежели ты жив теперь, так ее одну за то благодари! — и старушка подробно рассказала племяннику все события полной тревоги ночи.— Или не видишь ты во всем этом указующего перста Господня,— торжественно закончила она.— Ты старую дедовскую обиду на неповинной внучке хотел выместить, ан нет — она тебе услугу такую оказала, что ты в одну ночь дважды на свет родился.

— Государыня-тетушка,— хватаясь за голову, воскликнул Василий Лукич,— да что же это такое? Сон я, что ли, наяву вижу? Тетушка, родная, одна ты у меня, тебе признаюсь: полюбил я боярышню. Никогда еще не любил никого так, сразу она меня всего в полон взяла... И неистовствовал я оттого, что хотел я любовь свою задавить, опозорить боярышню хотел, чтобы потом и думать забыть о ней. Да тут вон Бог вступился, на зло не попустил и ей же меня обязал неоплатным долгом... А тут промеж нас стародедовская обида легла, и, как теперь мне быть, не знаю... Не могу я любить ее, пока обида не будет покрыта.

— А ты обиду-то возьми и покрой,— произнесла Марья Ильинишна,— вот тебе и весь сказ.

— Как? Научи, родимая!

— Возьми да и женись на свет-Агашеньке...

— Что? Жениться? Да разве она пойдет за меня такого?

— Отчего не пойти?.. Девичьему замужеству — отец хозяин, а ты так сделай, чтобы тебе от отца отказа не было. Он-то, поди, никакой обиды не помнит, а устроить это легко! — и старушка принялась излагать разом зародившиеся в ней планы племяннику.

XXVI

НАРУШЕННОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Пан Мартын Разумянский остался рыцарем Ганночки вплоть до того перекрестка, где дорога, по которой ему предстояло ехать дальше, ответвлялась на Чернавск. Тут оба поезда должны были разъехаться.

У перекрестка стояло большое торговое село, весьма оживленное, так что проезжающих было много, и все они считали своим долгом останавливаться здесь, одни — чтобы накормить, а другие — сменить лошадей. Здесь было много заезжих изб, и каждая из них почти всегда была полна народом.

Ганночка чувствовала себя настолько утомленной всеми пережитыми волнениями, что упросила мамушку побыть на селе подольше. Сказывалась тут и бессонная ночь; не прошел бесследно и тот час, который она провела в подвале, полном всякого чада и смрада.

Но, конечно, среди все этого самым главным было желание несколько дольше побыть в обществе молодого, изящного поляка и всей его веселой компании, такой непринужденной, а вместе с тем и такой деликатной, что Ганночка с ужасом подумала о тех чернавских увальнях, среди которых ей суждено было, может быть, прожить всю остальную жизнь.

Русские и поляки остановились в разных заезжих избах, однако избы были выбраны такие, которые приходились одна против другой. Промеж них раскинулась обширная площадь, гудевшая разряженным народом, так как денек выдался чудный, солнечный, с легким морозцем и притом праздничный.

— Фу, устал я! — воскликнул пан Мартын, очутившись в тепло натопленной избе и освободившись от лишнего платья.— Клянусь рогами ста тысяч дьяволов, что я с удовольствием выпью один целый кубок вина...

— Это хорошо,— воскликнул пан Руссов,— пан Мартын выпьет один, я выпью второй!

— А я — третий, я — четвертый, я — весь пятый! — раздавались вокруг веселые голоса спутников Разумянского.

Молодость — всегда молодость! Ничего не действует на нее: ни беда, ни усталость. Все, решительно все, дает повод к веселью, к смеху... Счастливая пора!

Разумянский хлопаньем в ладоши призвал слуг и приказал им поскорее накрывать на стол. В те времена все запасы путешественники возили с собою, так что всегда могли получить в изобилии свои любимые блюда в привычной сервировке. В один миг на столе избы, занятой поляками, выросли горы всякой всячины: холодные окорока, всякие соленья, печенья и среди всего этого стояли объемистые жбаны с разными винами и старым медом.

— Не будем, панове, забывать, что мы — странствующие рыцари,— провозгласил Разумянский,— а рыцари никогда не забывают дам... Будем просить панну Грушецкую...

— Нет, не будем,— возразил литовец Руссов,— мое слово против пана Мартына. Ведь прелестная панна Грушецкая — московка. У них нет наших свободных обычаев, и не дай Бог, если мы хотя и без умысла, но все-таки обидим даму. Притом же и у них с собой, я знаю, множество всяческих запасов.

— Клянусь набольшим пекла,— вскрикнул пан Мартын,— что литовец прав! Хотя красавица-панна и любит наши обычаи, но та московская свора, которая около нее, так и косится на нас... Действительно, лучше не будем раздражать их, а то одна старуха-мамка способна испортить существование спасенной нами красавицы-панны!

— Так, так,— раздались голоса.

— Но без дам скучно,— лукаво прищурился Разумянский,— не так ли, панове? Так не просить ли нам пана Александра, чтобы яркий луч солнечный украсил нашу ночь. Это в его власти! Неужели он будет столь ревнивым эгоистом, что откажет нам в этом добром деле?

По лицу литовца Руссова скользнуло кисловатое выражение. Он понял, что от него требуют привести сюда, к пирующим, Зюлейку. Хотя он был безусловно уверен в полной корректности своих товарищей, но все-таки предложение Разумянского было ему не по сердцу. Увезя Зюлейку, он вообразил, что к нему перешли все права на нее, а тут на нее предъявляли права и другие. Однако ему не хотелось, да и невыгодно было ссориться с Разумянским, а потому он воскликнул:

— Я знаю, про что вы говорите, шалуны, и хочу доказать вам, что я отнюдь не ревнив! Но я — все-таки эгоист:

я не хочу, чтобы вы умерли с голоду, а это неизбежно, если будет исполнено предложение пана Мартына. Все эти прелести,— он указал на стол,— будут позабыты, когда пред вами замелькает мой луч. Итак, ешьте, пейте, а сладкое, как и всегда, будет последним!

Взрыв хохота и рукоплесканий встретил окончание этой коротенькой речи литовца.

Разыгравшийся аппетит давал себя знать. Не умолкая бренчали ножи, кубки быстро опоражнивались и наполнялись снова. Веселая беседа так и кипела, так и искрилась остротами, шутками-прибаутками. Головы уже начали заметно кружиться, глаза разгорелись, лица разрумянились.

— А что,— вдруг произнес пан Мартын, в голове которого порядочно-таки шумело,— не вспомнит ли пан Александр о своем обещании?

Руссов, тоже порядочно охмелевший, вскочил со своего места и возбужденно воскликнул:

— Идет! Спасибо, пан Мартын, что напомнил. Пусть эта звезда Востока споет нам свои песни и потанцует нам. Сейчас пойду и приглашу ее! — И, полный возбуждения, он кинулся из избы.

Зюлейка была устроена им у хозяев на их половине. Однако Руссов не нашел ее там, и ему сказали, что персиянка вышла к проезжей московской боярышне.

Литовец Руссов не мог похвастаться деликатностью прирожденного аристократа-поляка, да и в голове у него сильно шумело. Стремительно кинулся он через полуосвещенные сени на крыльцо. На пути ему попался какой-то человек. При слабом свете Руссов видел только, что этот встретившийся ему человек одет богато, что у его пояса сабля в богатых ножнах, а красивое лицо бледно, как у только что вставшего с постели больного.

Впрочем, все это Руссов заметил только мимолетно. Он сильно толкнул встречного и кинулся вперед, даже не обратив на него внимания. Незнакомец что-то крикнул вслед, но не погнался за литовцем, а пошел к дверям той горницы, где пировал Разумянский со своими спутниками, и на мгновение остановился у ее порога.

Этот незнакомец был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Крепкий, долгий сон после бурной для него ночи возвратил ему силы. Вывих был мастерски вправлен и почти не давал о себе знать.

Пока Марья Ильинишна говорила о его личных делах, князь Василий все более и более успокаивался. Должно быть, вправду взяла в плен его неукротимое сердце боярышня Грушецкая! Ему был приятен план, предложенный Марьей Ильинишной, взять за себя Ганночку.

В этом случае разом гасло пламя давней дедовской ссоры. В согласии Семена Грушецкого не могло быть и сомнения: куда выше Грушецких стояли князья Агадар-Ковранские и куда более богаты были они, так что породниться с ними было бы честью для простого служилого дворянина.

Но, как только князь Василий услыхал о последующих событиях, от него разом отлетел тихий ангел, и вновь яростный гнев стал жечь его буйную душу. Поезд поляков, убийство слуг, увоз Зюлейки — все это князь Василий принял как жесточайшую кровную обиду.

Но более всего и мучило, и терзало, и палило его то, что наезжие поляки увезли с собой Ганночку Грушецкую. Пожалуй, не будь этого последнего обстоятельства, не так быстро исполнил бы он свое решение, а тут откуда и силы взялись, и боль была забыта. Не подействовали никакие уговоры Марьи Ильинишны. Пылая ярым гневом, князь Василий сорвался со своего ложа. В обширных палатах раздался его грозный клич, созывавший холопов, и немного спустя князь уже мчался к своему прилесному жилью.

Там он нашел полный разгром. Не сдерживаемые никем холопы перепились и, уверенные, что грозный князь не появится, принялись за форменный грабеж. Однако князь Василий даже не стал разбирать дело. В сопровождении десятка вершников он умчался в погоню за наезжими поляками, которых только одних винил во всем происшедшем, и теперь, догнав своих врагов, готов был на все, лишь бы утолить свой гнев.

XXVII

ССОРА

Из-за прикрытой двери до князя Василия ясно доносились веселые клики, звон круговых чаш, смех и хлопанье в ладоши.

«Проклятые! — злобно подумал князь.— Пируют, веселятся! Может быть, и Зюлейка с ними?..»

О Ганночке князь и не подумал. Он, промчавшись через село вихрем, не приметил никаких следов обоза чернавского воеводы. Спросил только о поляках и, узнав, в какой они избе, прямо кинулся туда. Он был уверен, что обоз Грушецкого не остановился в этом селе, а проехал далее.

Воспоминание о Зюлейке словно огнем обожгло его. Не помня себя от ярости, князь Василий так рванул дверь, что по сеням и горнице только грохот пошел, а затем, сделав шаг вперед, остановился у порога и окинул взглядом всю компанию мрачным, полным яростной злобы взглядом.

— Здравствуйте, панове, здравствуйте! — хриплым, вздрагивающим голосом проговорил он.— Видно, не ждали, что я так скоро пожалую?..

Никто из поляков не ожидал появления чужого человека, да притом столь грубо-враждебного. Они, конечно, не могли знать, что это — князь Агадар-Ковранский, так как никогда не видали его в лицо. В первые мгновения они предположили, что к ним ворвался какой-нибудь до бесчувствия перепившийся сельчанин, и повскакали со своих мест, готовые кулаками выбросить его вон.

— Кто ты такой? — весь кипя гневом, кричал пан Мартын.— Отвечай, собачья кровь! Иначе...— и он порывисто сорвался с места и в один прыжок очутился около князя Агадара.

Тот грубо крикнул:

— Потише ты! Чего хайло свое польское распустил?.. Не запугаешь горлом. А кто я, так отвечу: я — князь Агадар-Ковранский. У меня в дому грабители побывали, так вот я за ними гонюсь. А вы, говорят, те самые грабители и есть. Так или нет?

Разумянский покраснел от гнева и, не отступая назад, с ярко блистающим взором произнес:

— Очень рад, что предо мною — не холоп и не смерд, а благородный русский князь; по крайней мере я сам, а не моя дворня, научу русского князя плетью, что нельзя врываться так, как он ворвался к незнакомым людям, нарушать их мирную беседу, наносить им оскорбления. Я уверен, что после моей порки русский благородный князь навсегда будет помнить, что так поступать нельзя, и все те, кому придется путешествовать после меня, уже не подвергнутся его дикой ярости.

Всю эту напыщенную речь Разумянский произнес отчетливо, налегая особенно на те места, которые казались ему наиболее оскорбительными.

Князь Василий слушал поляка молча и терпеливо. Ему как будто доставляли удовольствие эти оскорбления. Но было заметно, что в его душе в эти мгновения клокотал целый ад.

— Хорошо ты говоришь, пан!.. Не знаю, как тебя и называть по имени, но по делам-то я назвал бы тебя разбойным татем...

— Молчать! — перебивая его, закричал пан Мартын.— Или, клянусь всеми дьяволами преисподней, ты немедленно очутишься у них в пекле...

— Молчать, молчать! — хором грянули находившиеся в горнице спутники Разумянского.— Что это в самом деле? Или наши сабли к ножнам приросли, что этот грубиян жив до сих пор? В сабли его, панове, в сабли! За Польшу и короля!

Агадар-Ковранский, слыша эти крики, презрительно рассмеялся.

— Не любите вы, панове, правды! — прогремел он, напрягши голос.— Не любите! Правда-то, видно, глаза колет, а у нас, на Руси, правды-то немало — не всю еще в лихолетье польская свинья съела. Ну, чего взбеленились? Или обрадовались, что я один, а вас много? Только, если бы вас еще столько было, так и то я вас не испугался. Ну, чего саблями махаете? Подходи, что ли, кому жизнь надоела. Э-эх, вот так-то и всегда вы храбры, когда впятером на одного выходите...

Эти гордые слова задели за живое Разумянского.

— Прошу панов,— крикнул он,— вложить сабли в ножны и отойти. Этот человек принадлежит мне; прошу помнить, что я взялся выучить его, и потому прошу не мешать мне. Итак, скажи, князь, чего ты хочешь от нас?

— Перепороть вас всех у меня на конюшне, а потом вздернуть каждого отдельно на первых попавшихся суках.

Крики негодования были ответом на эту оскорбительную выходку. Но Разумянский все еще продолжал сдерживаться.

— Пан князь очень груб,— вздрагивающим голосом сказал он,— он позабыл, что мы — гости в его стране.

— Хороши гости! — захохотал Агадар-Ковранский.— Ехали путем-дорогой, видят дом без хозяина, и ну чужое добро растаскивать...

— Пан! — закричал не своим голосом Разумянский и, обнажая саблю, ринулся было вперед...

Как раз в это время дверь в горницу отворилась и через порог ввалился раскрасневшийся Руссов, ведший за руку Зюлейку.

— Вот и мы, панове,— закричал он,— сейчас красивейшая звезда Востока споет нам... Но что здесь такое? — в изумлении остановился он, услыхав, как дико вскрикнула персидская красавица при виде князя Василия.

— Что же, неправду я сказал! — захохотал последний, указывая на Зюлейку.— Разве не мое добро? Разве не ограбили вы меня?

Он кинул Зюлейке несколько слов по-персидски, и та, вдруг бросившись на пол, поползла к его ногам и припала к ним, князь Василий поставил ногу на ее плечо и окинул всех гордым взглядом.

— Это невозможно! — закричали вокруг.— Вон его, в сабли, убить его!

— А ну-ка, попробуй! — вызывающе произнес Агадар.— Эх, вы! На один крик мастера!

— Пан князь,— заговорил Разумянский,— нанес мне столько обид, что они могут быть смыты только кровью. Клянусь, что эта женщина сама ушла за нами, и мы узнали об этом только уже на пути. Мы не могли отослать ее обратно, потому что считали ее свободной; да и было бы грешно пустить ее одну по снегу через лес. Но пан русский князь, как я вижу, не верит мне. Пусть же сабли наши решат, кто из нас прав. Вызываю русского князя на поединок!

С этими словами он красивым жестом швырнул Агадару прямо в лицо свою перчатку. Князь Василий поймал ее на острие сабли и бросил пану Мартыну.

— Пошла прочь! — закричал он на Зюлейку и толкнул ее в лицо носком сапога.— Будь ты проклята, негодная тварь!.. Сгинь с глаз моих, пока я тебя не прикончил!

Зюлейка с визгом вскочила с пола и кинулась из избы. Через минуту она в истерическом припадке билась у ног перепуганной Ганночки.

До последней уже дошла весть о появлении в селе Агадар-Ковранского. Кипучую ссору, происходившую в заезжей избе, заметили на сельской площади. Холопы князя Василия, спешившиеся с коней и смешавшиеся с толпой, уже успели многим рассказать, в чем дело.

Хотя и сюда дошли слухи и легенды о жестокости и лютости князя, но на этот раз симпатии большинства были на его стороне. Проснулась ли в этом случае неприязнь к полякам, еще жившая в русских сердцах после ужасов лихолетья, или чувства собственников, почуявших нарушение своих прав, или, может быть, просто всех этих праздных и далеко не трезвых людей охватила жажда скандала, но только толпа оказалась враждебно настроенною против польских гостей, и между людьми Разумянского и Агадар-Ковранского уже началась драка.

Появление растрепанной Зюлейки, лицо которой было окровавлено, было встречено грозным ревом толпы. Ганночка слышала это, и ее сердце билось с каждым мгновением все сильнее, старуха же мамка совсем потеряла голову.

— Ой, лишенько, ой, пропала моя голова,— металась она по горнице,— Серега, Федюнька, Митятка, Ванятка, Кенсенсин, закладайте, идолы, лошадей!.. Ехать нужно... Гнать, что есть духа, нужно, уйти от беды неминучей, боярышню увезти... Ох, чует мое сердце, не быть добру! Вон как лупоглазая персидская баба воет, словно пес к покойнику! Ой, да шевелитесь вы, негодники, закладайте лошадей-то, нимало не медля!.. Ужо пожалуюсь на вас государю воеводе-батюшке, так влетит вам, будете знать, как о своей боярышне заботы не иметь! Вот я вас, статуи окаянные!

Однако на старушку никто и внимания не обращал: не до того было. Ганночка суетилась около бившейся в истерическом припадке Зюлейки; холопы убежали на улицу в ожидании, чем все это кончится.

Скоро гудение толпы и крики дали понять Ганночке, что на площади происходит нечто необыкновенное.

XXVIII
ПОЕДИНОК

А на площади происходило действительно нечто необычайное для русского села.

Из заезжей избы, занятой поляками, как угорелый, выскочил Руссов и во все горло заорал, призывая к себе людей пана Мартына. Он звал по-польски и говорил так быстро, что русские ни слова не поняли и были весьма удивлены, когда основательно вооруженные поляки и литовцы стремглав кинулись вперед, оттеснили толпу, и, очистив от нее большое место, окружили его живым кольцом.

Видя это, толпа замерла; она понимала, что готовилось интересное зрелище.

На крыльцо высыпали сильно возбужденные спутники Разумянского. За ними появился и он сам, очень взволнованный, бледный, с горящими ненавистью глазами.

Следом за ним выступил князь Агадар-Ковранский. Он шел с высоко поднятой головой. Его лицо тоже было мертвенно-бледно — без кровинки, но особенного волнения на нем не было заметно. Напротив того, князь Василий улыбался, и в то время как Разумянский заметно вздрагивал, был покоен.

— Вот молодец! — раздались при виде его в толпе восклицания.— Ишь, ястребом так и смотрит!

— Наш,— громко говорили в другой кучке сельчане,— а наши разве когда сдают?.. Крыжа так вон дрожит, а наш себе спокойненько шествует.

В толпе успели заметить, что князь Василий слегка прихрамывает, и те, кто знал его приключение в лесу, даже пожалели его.

Князь Василий действительно ощущал сильную боль в вывихнутой ноге, но его тело было настолько могуче, что он не поддавался болевому ощущению и даже виду не показывал, что сильно страдает.

Выйдя на крыльцо, он приостановился и огляделся своим ястребиным взором вокруг. Вдруг его мрачное лицо просветлело, а на губах замелькала хорошая, светлая улыбка. Он увидел на крыльце противоположной избы Ганночку, и какой-то никогда не испытываемый ранее восторг овладел его вечно печальной и мрачной душой. Словно луч небесного света проник в ее тайники и все озарил там, разгоняя царившую в них кромешную тьму. Теперь князь Василий был готов умереть, и смерть на глазах этой, накануне еще чужой ему, девушки, против которой он замышлял страшное, грязное дело, казалась ему величайшим счастьем. Да, теперь, видя Ганночку Грушецкую, князь готов был на бой, на всякий бой!

Между тем, весь трепеща от волнения и гнева, Разумянский воскликнул:

— Панове, вы все были свидетелями того, какие обиды нанес мне... нам всем князь Агадар... Только кровью смываются эти обиды... Так будьте же свидетелями, что я вызвал обидчика на единоборство, на бой, на жестокий бой...

— Если ты будешь побежден,— кинулся к Разумянскому Руссов,— наши сабли сумеют отомстить за тебя!

Пан Мартын сверкнул на него своими злыми глазами и крикнул:

— Не сметь! Будь проклят тот, кто будет мстить за меня.

— Но отчего же? — не унимался литовец.

— Оттого,— скороговоркой ответил ему Разумянский,— что я призвал этого русского на суд Божий. Если он одолеет меня, стало быть, я был не прав, и мое поражение будет мне небесным наказанием. Но этого не будет: я одолею, за меня Ченстоховская Божья Матерь, пречистое Тело Господне и все силы небесные...

— Скоро болтать кончите там? — раздался с крыльца голос князя Агадара.— Начинать пора, а то еще стемнеет... Или вы этого и ждете?

Кровь бросилась в лицо поляка.

— Выходи, князь! — крикнул он и первым пошел на средину круга.

Холопы князя Василия, увидав своего господина и угадав чутьем, что ему грозит нешуточная опасность, двинулись было ему на помощь, но сам князь Василий поспешил остановить их.

— Эй, вы, прочь! — закричал он, спускаясь с крыльца.— Голову расшибу, ежели кто сунуться посмеет.

Холопы отхлынули назад и смешались с толпой посельчан, вплотную окруживших живое кольцо из людей пана Разумянского.

— Никак биться будут! — говорили в одном месте.

— Если по чести,— высказывались в другом,— то это — Божье дело.

— А ежели не так, ежели с подвохом,— волновались их соседи,— так нашего полякам не выдавать... Чуть что, наваливайся скопом!

Но вдруг все разом стихло, и сотни взоров устремились на середину площади.

Там друг против друга стояли князь Агадар-Ковранский и пан Мартын Разумянский.

Пан Руссов и остальные спутники молодого поляка, сумрачные и нахмуренные, стояли, опираясь на свои сабли — хмель как будто соскочил с них. По крайней мере с виду они были трезвы; удручение же их было вполне понятно: пан Мартын был богат и, путешествуя с ним, они все были избавлены от путевых издержек.

Литовец Руссов был как бы распорядителем боя. По его знаку противники оба одновременно обнажили сабли.

На верхней площадке крыльца появилась черная фигура отца Кунцевича. Он мрачно смотрел на происходившее пред его глазами и очевидно не думал помешать начинавшемуся поединку. Но смотрел он на бойцов с большим любопытством, как будто оценивая их силы и стараясь предугадать, кто из них выйдет победителем.

— Сходись, начинай! — крикнул Руссов.

Разумянский стремительно кинулся на князя Василия, стараясь нанести ему удар своею сверкавшею на солнце саблею, но тот встретил этот стремительный выпад, даже не сдвинувшись с места, и так ловко отбил саблю Разумянского, что она вдруг очутилась за спиной поляка.

Гул одобрения пронесся по толпе.

Это раздражило и распалило Разумянского. Он с бешеной яростью снова кинулся на противника. Опять скрестились сабли, и послышалось их лязганье.

Натиск Разумянского снова был блестяще отбит князем Василием.

Бешеная, яростная схватка утомила поляка. Его глаза налились кровью, грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Пан Мартын прекрасно владел холодным оружием, так как брал уроки фехтования у лучших мастеров Парижа, и был уверен, что если не в Варшаве, то во всяком случае в варварской Московии не найдется никого, с кем бы он не мог справиться. И вдруг, сам того не ожидая, он встретил в лице оскорбившего его князя Василия достойного себе соперника, и притом соперника более спокойного и более сильного.

— Вина! — крикнул Разумянский, и, когда Руссов подал ему кубок с душистой влагой, он, с жадностью приникнув к нему, с неистовой яростью думал:

«Я должен уничтожить этого русского, должен, иначе я потеряю уважение всех этих моих скотов... Если так, то пусть лучше Агадар убьет меня... Смерть лучше, чем позор на всю жизнь!»

Выпитое вино сразу бросилось Разумянскому в голову. И толпа, и избы, и небеса, и земля закружились и завертелись в его глазах. Только один Агадар-Ковранский продолжал стоять по-прежнему. Это ясно видел пан Мартын, и снова бешенство овладело им. Он сознавал, что симпатии большинства зрителей на стороне его противника, и это еще более разъярило его. Не отдохнув как следует, он снова, в третий раз, кинулся на Агадара, и опять залязгали сабли...

— У-ух! — вдруг раздался позади князя громкий крик.— Берегись!

Это крикнул Руссов. Агадар-Ковранский инстинктивно оглянулся назад, и в этот момент пан Мартын, воспользовавшись оплошностью противника, вышиб из его рук саблю.

XXIX

ВЫРВАННАЯ ПОБЕДА

В толпе раздался вой и визг, когда сабля Агадар-Ковранского, описав в воздухе полукруг, брякнулась о землю на порядочном расстоянии, а из кучки поляков послышались громкие аплодисменты, крики «виват» пану Мартыну Разумянскому и радостный смех.

Никто из очевидцев этой дуэли не сомневался, что Агадар-Ковранский погиб. Нечего ему было ждать пощады от разъяренного до безумия Разумянского!

И в самом деле пан Мартын спешил довершить свою победу. Главное уже было сделано — противник обезоружен, теперь оставалось только нанести ему роковой удар, и все обиды будут смыты горячею кровью обидчика. Разумянский, дико вскрикнув, кинулся с поднятой саблею на беззащитного врага.

Но недаром в жилах князя Василия текла русская кровь! Кровь татар и калмыков, его отдаленных предков, дала ему в наследство и непомерную пылкость, и лютость степную, и презрение к жизни, а кровь русских предков, напротив того, внедрила в него стойкость, неустрашимость и стремление, не отчаиваясь ни в каких ситуациях, бороться до конца — до смерти или победы.

В то мгновение, когда Разумянский уже опускал вооруженную саблей руку, чтобы нанести противнику роковой удар, князь Василий стукнул по ней кулаком.

Это была неожиданность для Разумянского. Удар был силен, и пан Мартын, вскрикнув от боли, опустил саблю. Князь Василий воспользовался этим и мгновенно схватил противника-победителя в свои могучие объятия, так что кости у бедняги Разумянского захрустели.

— Пусти, дьявол,— задыхаясь, прохрипел поляк,— это не по правилам! Пусти!..

Но он не успел докончить свою фразу. Агадар-Ковранский поднял его в воздух и, дико взвизгнув, перебросил через голову...

Это было делом одного мгновения, но зато какого мгновения! Редко напряжение в массе людей достигало столь высокой степени. Казалось, вся толпа вздрогнула, когда Разумянский перелетел через голову Агадара и шмякнулся о землю позади него. Толпа только ахнула и бросилась вперед, прорвав кольцо вооруженных холопов и смяв их.

Пан Мартын лежал, распластавшись на земле, без чувств, но и князю Василию недешево достались и спасение, и победа. В пылу борьбы он не чувствовал боли в вывихнутой ноге. Нервное напряжение, дикая злоба и воодушевление покрывали все. Опасение за жизнь пред лицом смертельной опасности удваивало его физические силы, но, как только опасность миновала и победа была достигнута, сейчас же наступила реакция. Страшная, невыносимая боль дала себя знать. Вывихнутая нога уже не

поддерживала утомленного тела. Миллионы невидимых раскаленных острий вонзились в мозг князя и обезумили его. Не будучи в состоянии противиться невыносимой, адской боли, князь Василий зашатался. Его глаза смежились против воли, кровь бурной волною ударила в голову и, слабо вскрикнув, он упал без чувств около своего побежденного врага...

Едва он упал, сразу же исчезло всякое очарование.

Надо полагать, что, пока князь Василий оставался на ногах, он был страшен полякам; когда же он упал и бесчувственный и беспомощный лежал на снегу, к ним сразу вернулись и их воинственный задор, и пылкая храбрость.

— В сабли его! Зарубить! Он бился не по правилам! — раздались враждебные крики польских храбрецов.

Но и толпою уже овладела стихийная вспышка. Сельчане вместе с холопами князя Агадара-Ковранского ринулись на польских холопов. Началась ожесточенная драка, в пылу которой никто не обращал внимания, что делается около недавних бойцов.

А там уже сверкали польские сабли. Пришедшие в неистовство паны готовились зарубить беззащитного, беспомощного врага и зарубили бы, если бы вдруг среди всей этой отчаянной свалки прямо под сверкавшие польские сабли не бросилась Ганночка Грушецкая...

— Не убивайте, пощадите! — кричала она.

Вряд ли она и сама соображала, как могло это случиться с нею. Любопытство привлекло молодую девушку, и она успела пробраться почти к самому кругу поединка. Вместе со всеми другими очевидцами его она почти замирала во все время боя. Когда же сабля была выбита из рук Агадара, Ганночке показалось, что все вокруг заходило ходуном. Ужас застучал в ее сердце. Девушка даже руками за голову схватилась и дико смотрела перед собой, не слыша громких воплей разыскивавшей ее мамки.

Странное дело! Агадар-Ковранский был для Ганночки совсем чужим человеком; мало того — она страшилась его. Пан же Мартын, напротив того, нравился ей; но, глядя на поединок, она более боялась за князя Василия, чем за Разумянского. Может быть, это было следствием того, что она считала Агадар-Ковранского слабейшим и сначала думала, что он осужден на гибель. Но все-таки его безумно отчаянная выходка, когда он один не побоялся кинуться на толпу врагов, поразила и восхитила ее. Князь Василий сразу вырос в глазах молодой девушки в великолепного героя; когда же она увидала, как он закачался и упал, она сама

была близка к обмороку. Не помня себя, Ганночка кинулась под польские сабли, и ее вопль зазвенел среди шума и гама разгоревшейся свалки.

Появление русской красавицы смутило даже остервеневших поляков. Этим моментом воспользовались несколько прорвавшихся вперед холопов князя Василия и выдернули его из-под ног наступавших на безоружного поляков. Ни эти последние, ни Ганночка даже и не заметили, как исчез бесчувственный князь Василий. Смущенные поляки видели только мертвенно-бледную Ганночку, стоявшую пред ними с распростертыми руками.

— Не убивайте, пощадите, беззащитен он,— повторяла девушка,— а не то и меня убейте тут же...

— Панна! — начал было Руссов, красиво салютуя своей саблей.— Каждое ваше слово для нас закон, но...

Он не договорил. Около Ганночки очутилась ее мамка.

При других обстоятельствах вид перепуганной старушки вызвал бы общий хохот· кика совсем сбилась с ее головы, седые волосы растрепались, сморщенное в кулачок лицо было красно от негодования.

— Боярышня Агашенька,— визгливо кричала она,— да как тебе не стыдно? Мужики дерутся, а ты промеж них... Вот ужо батюшке пожалуюсь на тебя... Пойдем, пойдем скорее! Поезд наш уже обряжен, ехать засветло надобно...

Видя, что на Ганночку нашло что-то вроде столбняка, мамка сейчас же схватила ее и чуть не силой утащила прочь.

А драка все разгоралась. Толпа остервенела и была вся захвачена стадностью. Польские холопы были избиты так, что едва живыми ушли от сельчан. Люди князя Василия все исчезли из свалки, наезжие поляки были предоставлены своим силам. Они подобрали Разумянского и поспешно отступили к крыльцу своей избы.

А на верхней ее площадке стоял, совершенно равнодушно глядя на все происходившее, отец Кунцевич. Ни этот поединок, ни драка как будто вовсе не касались его. Черная фигура мрачного иезуита казалась грязным, зловещим пятном на белой стене избы. Его безучастное равнодушие вовсе не гармонировало с бурным движением свалки...

Вероятно, не обошлось бы без крови, и поляки были бы смяты и затоптаны, но среди враждующих явилась жалкая, растрепанная фигура православного священника с крестом в руке. Он бесстрашно кинулся вперед, загораживая собой наезжих, и громко кричал на своих:

— Вот я вас, анафемы! Погодите вы! Причастия лишу, земные поклоны за епитимью бить заставлю...

XXX

ОТЪЕЗД

Если бы не вмешательство отца Иова, священника местной сельской церкви, плохо пришлось бы наезжим нахвальщикам, растрепала бы их в своем стихийном натиске разъяренная толпа. Но вид святого креста, смелые, понятные даже в своей грубости слова пастыря, подействовали на нее. Толпа отхлынула, а затем мало-помалу стал гаснуть ее пыл, умеряться ее ярость. Ворча, бранясь, насмехаясь, отходили люди прочь.

Только немногие видели при этом, как ушел из села поезд чернавского воеводы. Не до того было, чтобы следить за отъезжающими. Внимание разгоряченных сельчан сосредоточилось на поляках, и лишь некоторые сбились у домика отца Иова, куда холопы укрыли князя Василия.

Тот довольно скоро пришел в себя. Возбуждение, поддерживавшее его во все это время, еще не спало, и, если бы ему сказали, что Ганночке доставит удовольствие новый поединок, он не задумался бы кинуться в бой...

Но Ганночка Грушецкая была уже далеко, а боль в вывихнутой и натруженной ноге давала себя знать. Агадар-Ковранский страдал невыносимо, но крепился и решительно ничем не выдавал своих страданий.

Отец Иов, суетившийся около князя, видел его страдания, но старался не подавать виду, что замечает их. Он быстро смекнул, что такие гордые, дикие натуры, как князь Василий, глубоко оскорбляются, если кто-нибудь видит их страдания, а тем более высказывает им свое сожаление.

Однако, несмотря на желание сдержаться, отец Иов все-таки не на шутку взволновал больного:

— Уж кому-кому,— заговорил он, захлебываясь от восторга словами,— а боярышне этой наезжей, чернавского, что ли, воеводы дочке, большая честь и хвала! Вот умница-разумница смелая! Уж тебе, князенька, ни за что не сдобровать бы, кабы она не заступилась.

— Как? Что? — воскликнул князь Василий.— Она за меня заступилась?

— Ну да, выходит так, ежели она под польские сабли, чтобы тебя вызволить, бросилась...

— Меня... она... под сабли? — прерываясь и путаясь в словах, произнес князь.— Она меня спасла? Опять спасла?.. Она?.. А... Тетушка, государыня-тетушка! Спасла она, она!

Из горла больного вырвался прерывистый, хриплый смех, но глаза в то же время сияли счастьем. Он водил по

воздуху вытянутыми руками, как будто стараясь схватить кого-то и привлечь к себе.

Отец Иов испугался и воскликнул:

— Князенька, что с тобою, милый? Испить не хочешь ли?

Князь Василий не ответил: он что-то лепетал, но, что именно, старый священник не сумел разобрать. Очевидно, у больного начинался бред.

— Ахти,— разводил руками отец Иов,— и ума не приложу, что теперь делать: как будто взял силу злой недуг. Позвать, что ли, кого-либо из князевых людишек?.. Попадья, а, попадья?

На этот зов никто не откликнулся: попадья была на площади. Старик двинулся к порогу, но вдруг дверь открылась и в маленькой неуютной горенке православного священника появилась зловещая фигура иезуита отца Кунцевича.

Войдя, он кивнул головою посторонившемуся от неожиданности отцу Иову и шмыгнул к князю Агадар-Ковранскому.

Тот лежал, откинувшись на подушки, его глаза были широко раскрыты, но вряд ли он видел что-либо пред собою. То его губы складывались в блаженную улыбку, то вдруг все лицо искажалось от невыносимой боли. Кунцевич осторожно взял руку больного и прощупал пульс, а потом притронулся к пылавшему лбу князя и слегка покачал головой.

Прикосновение привлекло внимание больного. Князь Василий взглянул на иезуита, и на его лице отразился ужас.

— Кто ты, кто? — закричал он.— Неужели сама смерть! О, не подходи, не подходи! Я не хочу умирать, не хочу! Она пожалела меня, спасла меня, она любит меня... Прочь, прочь! Я жить хочу, жить!

Крик быстро перешел в протяжный, нечленораздельный рев. В ужасе князь Василий забился к стене и вытянул вперед руки, как бы защищаясь от ужасавшего его призрака.

— Прочь, прочь, уйди! — закричал он.

Отец Кунцевич снова покачал головой и, повернувшись, заскользил к двери. На пороге он приостановился и тихо проговорил по-русски:

— Его нужно как можно скорее отправить домой! Здесь ему оставаться вредно... Воздух не повредит, но нужно, чтобы ему было совершенно покойно...

Сказав все это, отец Кунцевич бесшумно выскользнул из горенки, оставив отца Иова в таком изумлении, что слова не шли с его уст.

В таком состоянии и застала его возвратившаяся попадья...

— Тьфу, тьфу, тьфу! — отплевывался отец Иов, опомнившись только с приходом жены.— Ихний крыжаков монашек заявился! Черный весь, словно из преисподней выскочил; говорит — доставить домой князя надобно...

— Лучше чего быть не может,— сказала попадья,— вот только пусть паны уберутся...

— Поскорее бы от них и запаха не осталось! — вздохнул отец Иов.— Уж больно наши-то на них осерчали...

— И молодец же ты, поп! — перебила его своей похвалой попадья.— Ишь, ведь как выскочил, один на всех...

— Господь умудрил! Сразу так мысль явилась...

— И не страшно тебе было так?

— Нет, меня, говорю, Господь умудрил, направил, так чего же страшному быть?.. А вот князя-то действительно обрядить нужно, мается он, сердешный. Ты поди, мать, посмотри, как паны уедут, а я тем временем подводу приготовлю...

Попадья не заставила себя просить. Любопытство кипело в ней. Ей казалось, что на площади не все еще кончено. Однако она ошиблась. Пришедший в себя Разумянский так стыдился своего поражения, что спешил скорее убраться из села.

«Голыми руками взял меня,— с ненавистью думал он про Агадар-Ковранского.— О, на мою шляхтскую честь пятно позора легло, только кровью я могу смыть его... Клянусь не умирать, пока не отомщу!»

Пан Мартын уже приметил, что его спутники, за несколько часов до этого подобострастно заглядывавшие ему в глаза, теперь, когда он взглядывал на них, потупляли взоры; да и их разговоры стали далеко не так пылки и льстивы, как прежде.

Сборы были недолги. Осыпаемые градом насмешек, даже бранью, покинули поляки село, где приняли их так радушно, а провожали столь недружелюбно. Нехорошо у них было на душе; сказывалась горечь обиды. Но в их положении приходилось держаться смирненько: в селе было немало сорвиголов, только и выжидавших предлога к ссоре, чтобы закончить разгром польского поезда, которому помешало внезапное вмешательство отца Иова.

Только отъехав несколько верст, поляки почувствовали себя в безопасности, и к ним начало возвращаться их обычное настроение. Загудели шутки, стал вспыхивать смех. Трунили над литовцем Руссовым, оставшимся без своей «звезды Востока» — Зюлейки. Последняя, будучи

страшно перепугана появлением своего лютого властелина, побоялась остаться с поляками и упросила Ганночку взять ее с собою. Руссов отшучивался, как умел, и, побывав у своего возка, вдруг вернулся к товарищам с новостью: не было Зюлейки, но вместе с нею исчез и отец Кунцевич.

— Где он? Куда он мог деваться? — не на шутку забеспокоился Разумянский, когда ему сообщили об исчезновении иезуита.— Не могли же мы оставить его в этом проклятом гнезде!

Руссов вздумал было пошутить, намекнув, что монах не мог покинуть красавицу-персиянку, но Разумянский посмотрел на него так, что у литовца прошла охота к шуткам.

Однако, несмотря на действительно овладевшее им чувство беспокойства, пан Мартын и не думал возвращаться назад за отцом Кунцевичем. Польский поезд, спеша нагнать потерянное время, шел все быстрее и быстрее, о иезуите скоро перестали говорить.

Между тем, когда из села верховые холопы увозили на поповской подводе князя Василия, верстах в трех расстояния, из лесу на дорогу вышел закутанный во все черное человек. Он попросил позволения присоединиться к поезду, а когда старший из холопов-вершников затруднился дать ответ, он прямо сказал, что жалеет больного князя и пристает к ним, чтобы вылечить его недуг. Тогда согласие последовало, и черный человек примостился около возницы на облучке подводы. Этим черным человеком был иезуит отец Кунцевич.

XXXI

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ

Нервные потрясения, чрезмерное напряжение и физическая боль сломили могучую натуру князя Василия. Недуг овладел им, захватив в свою власть, и долго держал его между жизнью и смертью.

Князь Василий не помнил, как привезли его домой. Он страдал невыносимо, но вряд ли сознавал свои страдания. Только когда на кратчайшие мгновения возвращалось в измученное тело сознание, он, как сквозь дымку тумана, видел вблизи себя доброе старушечье лицо Марьи Ильиншны, чувствовал ее полный душевной тоски и сострадания взгляд.

Рядом со старушкой он видел всю в черном фигуру. Кто это был, князь Василий не знал, а на догадки не хватало времени: сознание возвращалось к нему лишь проблесками.

Была уже цветущая весна, когда могучая натура Агадар-Ковранского одолела наконец тяжелый недуг. Однажды князь Василий вдруг открыл глаза и огляделся кругом.

Яркое весеннее солнце заливало комнату. Окно было приоткрыто, и через него из окружного сада и леса лились в комнату больного дивные весенние ароматы.

Никогда прежде князь Василий не обращал внимания на природу, даже, пожалуй, и не чувствовал ее, но теперь он вдохнул полной грудью этот напоенный запахами весны воздух и невольно потянулся к солнцу.

— Лежите, сын мой! — раздался около него тихий, вкрадчивый голос.— Пока вам не должно шевелиться...

Князь Василий постарался взглянуть туда, откуда раздались эти слова, и там увидел высокую, тощую фигуру в странном нерусском одеянии.

Это был отец Кунцевич.

Агадар-Ковранский видел его мельком, память сохранила лишь смутный образ этого человека, и теперь он, не узнавая его, напрасно напрягал свой слабо работавший мозг, чтобы припомнить, кто это.

— Кто ты? — отчаявшись наконец в своих попытках, чуть слышно прошептал Агадар.— Такого у меня в дворне нет...

— Тише, тише,— прервал его отец Кунцевич,— повторяю, что вам не следует говорить. Молчите и постарайтесь заснуть. Поговорим после, когда вы достаточно окрепнете.

Он склонился над больным, устремив на него внимательный взгляд, в то же время он слегка поводил ладонями пред лицом Агадара, как бы делая гипнотические пассы, и князь Василий почувствовал, словно какая-то неведомая сила заставляет его сомкнуть веки. Прошла минута-другая, и больной погрузился в глубокий сон.

Тогда отец Кунцевич выпрямился, отер со лба проступивший пот и отошел от постели, тихо бормоча:

— Он покорен мне, как овца, и будет во всем поступать так, как я прикажу ему. Это — хорошее приобретение; мой дикарь будет мне надежным сотрудником...

Патер Кунцевич явился в лесное поместье Агадар-Ковранского незваный, непрошеный, никому там не ведомый, но скоро стал для всех желанным человеком. Присоединившись к вершникам, везшим обеспамятевшего князя, он выведал от них, кто теперь будет главным лицом во время болезни Агадара, и, конечно, очень быстро узнал все про тетушку Марью Ильинишну. К ней-то он и явился по прибытии в поместье.

— Ваш молодой князь тяжко болен,— сказал он,— я умею врачевать, и мне жалко стало такого молодца. Если

его не лечить, он умрет. Разрешите мне остаться при нем и, ручаюсь, я подниму его на ноги.

Марья Ильинишна сперва оторопела. Предложение было неожиданно, а внезапно появившийся человек совершенно незнаком ей. Но смущение быстро оставило старушку, когда она рассмотрела отца Кунцевича. По его одежде она быстро сообразила, что пред ней польское духовное лицо.

Русские никогда не были нетерпимы в вероисповедальных вопросах, и только толпа, будучи разожжена в своем тупом массовом организме, изредка высказывала свою неприязнь к католикам и католицизму. Те же, кто стоял повыше, отнюдь не страдали фанатизмом, будучи в религиозном отношении скорее индифферентны. Поэтому и Марья Ильинишна отнеслась к предложению отца Кунцевича без предвзятых «мудрствований лукавых»; напротив того, его сан являлся для нее даже ручательством его добрых намерений. Притом же отец Кунцевич говорил очень вкрадчиво, словами проникал в душу и после двух-трех бесед сумел так войти в доверие к старушке, что она всецело положилась на него.

— Добрейший человек, хоть и крыжатник! — не раз говорила она своему наперснику Дроту.— И притом умеет лечить. Видно, твердо лекарское ремесло знает. Вот бы такого к великому нашему государю приставить! Болеет все пресветлый царь, совсем плох, говорят, стал, а крыжицкий поп, может, его, всемилостивейшего, и поднял бы.

С каждым днем вера старушки в отца Кунцевича все возрастала. Иезуит, конечно, видел это и старался держаться как можно скромнее. Он скоро прослышал, что Марья Ильинишна, в случае если ее ненаглядный Васенька выздоровеет после лечения «крыжицкого попа», собирается сообщить о нем своим московским родственникам, дабы они попробовали провести его к больному царю Алексею Михайловичу, здоровье которого становилось все плоше и плоше. Это, очевидно, входило в расчеты иезуита. Когда он услышал о намерении Марьи Ильинишны, на его губах зазмеилась довольная улыбка.

Князь Василий оправился сравнительно скоро именно благодаря неусыпным заботам отца Кунцевича. После того как сознание вернулось к больному, выздоровление пошло быстро. Скоро Василий Лукич узнал, кто такой ухаживавший за ним черный человек. Вместе с тем он вспомнил все, что произошло. Чувство торжества овладело им при одном воспоминании о том, как он одолел Разумянского;

но вместе с тем радостные слезы проступили на его глаза, когда отец Кунцевич подробно, смакуя каждую фразу, каждое слово, рассказал ему о геройском поступке Ганночки Грушецкой.

— Зачем она так,— не помня себя от счастья, воскликнул князь Василий,— чем я ей столь переболел, что она не побоялась вступиться за меня и от смерти меня вызволить? Скажи мне, поп!.. Ведь вы там у себя только и делаете, что в человеческие души залезаете. Так тебе все должно быть известно. Скажи мне, просвети меня...

Кунцевич, не раз слыша такие вопросы, всегда хитро улыбался.

— Знать, девичье сердце заговорило,— обыкновенно отвечал он.

— Да ведь она почти не видела меня,— воскликнул князь Василий,— да и тогда я с нею неласков был!

— Что же из того, что боярышня Грушецкая тебя, князь, только раз видела! — снисходительно ответил иезуит — Великая природа вложила в человеческие сердца постоянно тлеющие искры любви. Часто бывает так, что достаточно малейшего ветерка, чтобы из маленькой такой искры вспыхнуло великое пламя. Кто знает женское сердце! Быть может, твоя победа над Разумянским и была таким ветерком.

— Значит, по-твоему выходит, что Агаша любит меня?

— Я уже сказал тебе, князь! — уклончиво ответил иезуит — Кто может знать женское сердце? Кто может утвердительно сказать, любит ли она или не любит? Я — не Бог, а только скромный служитель Его алтаря. Ты сам должен узнать это...

— Но как, как? Скажи мне!

— Прежде всего выздоравливай скорее, а потом поезжай в Чернавск, примирись там с отцом юной панны.

— Клянусь, я сделаю это! Давно пора прикончить миром эту дедовскую ссору. Ну, а потом что?

— Потом поступи так, как подскажет тебе сердце...

Князь Василий закрыл лицо ладонями.

— Да, да,— зашептал он,— я знаю, как поступить. Брачные венцы внуков покроют ссору дедов. Не может быть, чтобы Семен Грушецкий не принял моих сватов! Да тогда я его со света сживу. Пусть будет так, возьму Агашу себе женой.

Князь, предавшийся мечтаниям, не видел, какая дьявольская улыбка промелькнула на лице иезуита, слышавшего эти вслух произносимые мечты влюбленного юноши.

XXXII

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Прав был иезуит Кунцевич, когда на полный любовной тревоги вопрос князя Василия ответил философской глубины вопросом: «Кто может знать сердце женское?» Да, кто действительно может знать его, кто проникнет в его бесчисленные тайны, угадает, каким законам оно повинуется, под каким ветром, в какую сторону клонится; сердце женское, да особенно девичье — что тростник прибрежный, что морская гладь над бездонной пучиной. Тихо стоят воды, не шелохнутся и вдруг заколышутся, словно буря налетит нежданная-негаданная и обратит недавнюю тишь в кипучий ад.

Вряд ли и сама Ганночка могла бы ответить на такой вопрос, если бы он был предложен ей. Она была еще так молода, столь многое в жизни было не изведано ею, что ей было не по силам разбираться во внезапно нахлынувших чувствах и решать вопросы, которые даже искушенной жизнью женщине не всегда разрешить по силам.

Без всяких приключений добрался поезд до границ Чернавска, где воеводствовал Грушецкий. Тут была уже ровная дорога, оживленная, людная; сторона была промышленная, здесь часто ходили караваны с различными товарами, воеводу Семена Федоровича и его дочку всюду встречали нижайший поклон и доброе уважение.

Впрочем, последнее, пожалуй, далеко не было следствием того, что Ганночка приходилась местному воеводе дочерью.

— Раскрасавица боярышня-то,— говорили многие встречные, без всякой церемонии заглядывая в возок, где были Ганночка, Зюлейка и старая мамка.— Недаром по всей округе слух идет, что умница-разумница она: на рубеже взрощена и там она всему научилась. Не то, что наши чернавские кувалды, ничего не боится. Ишь, как она за земляка-то вступилась пред польскими нахальщиками! — вспоминали дорожное приключение Ганночки, о котором и сюда уже успела донестись быстролетная весть.

Эти толки долетали до слуха молодой девушки и подчас заставляли ее сильно краснеть. О безумно смелой выходке молодой боярышни к ее приезду говорили уже повсюду в городе. Было много фантастических подробностей, совершенно не соответствовавших действительности; но все толки и пересуды были в пользу Ганночки, а между тем она и сама не понимала, что же геройского в ее поступке, за что следует хвалить ее. Ей ее поступок казался

совершенно уместным, хотя и противоречащим многим тогдашним обычаям. Но Ганночка думала, что иначе она и поступить не могла. Ведь на ее глазах совершалось убийство беззащитного, за которого и заступиться было некому, так как же ей было не сделать попытки вызволить князя Агадар-Ковранского из-под польских сабель?

Тем не менее она сильно побаивалась предстоящей встречи с отцом. Воевода Семен Федорович был человек простодушный, незлобивый, но все-таки и он жил, как жили все его современники, а по их понятиям женщины не должны были слишком выставляться там, где сверкали обнаженные сабли. С замирающим сердцем подъезжала Ганночка к Чернавску. Это был небольшой городок, окруженный деревянными стенами, защищавшими от всяких возможных нападений главный собор и присутственные места, дом воеводы, торговую площадь и склады товаров. В стенах жили немногие особенно именитые и зажиточные чернавские люди. Зато вдоль стен, спускаясь к реке, лепились домики чернавской бедноты. И тогда много было полуголодных, куда больше, чем счастливых богачей!

Когда воеводский поезд подъезжал к Чернавску, было утро праздничного дня. Еще издали слышен был звон немногих колоколов, к которому присоединялись глухие, нестройные, похожие на хаотический шум звуки церковно-набатных бил.

У всех поезжан на душе стало неловко, когда пред их глазами, словно вынырнув из прибрежных холмов, вдруг показался давно желанный Чернавск. Старшой Серега даже шапку бросил оземь и, поскребши в затылке, вполголоса сказал вертевшемуся поблизости от него Федору:

— Ах, мать честная, Федюнька!.. Вишь, приехали.

— Приехали, дядя Серега, приехали,— уныло ответил недавний отчаянный герой.— Что-то теперь будет? Грозен, поди, боярин Семен Федорович, страшна мне его расправа.

— Никто, как Бог! — столь же уныло ответил старик.— Уж как-никак, а мы свое дело сделали, боярышню уберегли, не щадя живота. Что там ни будет, а ехать надобно.

Столь же приуныла и старая мамка. Ведь Сергей и Федор свой долг до конца исполнили, по крайней мере, опасного часа не проспали, а она, старая, примостилась на теплую лежанку да чуть было боярышню и не проворонила.

— Ахти, будет беда! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! — то и дело вздыхая, лепетала старуха.— Ежели у боярина про меня батогов мало, так уж я не виновата. Целую бы рощу о мою старую спину обломать

следовало бы. Как и докладать буду Семену-то Федоровичу — не знаю, а докладать нужно.

Веселее всех в поезде была молодая персиянка. Она беззаботно отдавалась счастью внезапно вернувшейся к ней свободы. Будущее нимало не пугало ее: хуже того, что было, вряд ли и быть для нее могло. Зюлейка верила, что воевода Грушецкий не отошлет ее назад к князю Агадару; у нее создалась уверенность, что Ганночка заступится за нее. И в самом деле, молодая девушка относилась к ней с редкой сердечностью и уже решила упросить отца оставить эту несчастную женщину при ней, в Чернавске.

Ганночка от нетерпения высунулась из оконца возка и не спускала взора с вившейся среди талого снега дороги. Вот она приметила, что впереди показались вооруженные вершники, окружавшие большую зимнюю колымагу, и угадала, что это — отец.

— Батюшка, батюшка! — вскричала она.— Родимый батюшка обеспокоился, навстречу мне выбрался. Серега, кучера, поезжайте живее! Вон там государь-родитель встречает.

Лошади сильно рванули, и Ганночка едва не выпала из возка. Встречные тоже прибавили ходу, и скоро обе партии встретились. Легче птички выпорхнула Ганночка из возка и кинулась на шею красивому старику, простершему к ней свои объятия.

Отец и дочь встретились. Молодая девушка непритворно рыдала, приникнув к груди родителя; проступили слезы и на глазах Семена Федоровича. Кругом моментально собрался досужий народ чернавский, проведавший о том, что воевода Грушецкий выехал встречать дочку. Видя эту нежную картину, многие прослезились, кое-кто стал всхлипывать, а незаметно подобравшаяся мамка со счастья и страха за будущее даже навзрыд плакала.

— Соколик ты наш,— выкрикивала она сквозь слезы,— сподобил меня Господь снова увидать тебя, милостивца! Уж не вели казнить, ежели в чем провинились мы, а коли что заслужили при твоей милости, так не откажи, пожалей бедноту нашу.

Она, обливаясь слезами, целовала руки боярина и наконец от избытка чувств повалилась ему в ноги прямо на снег.

— Ну, полно, полно, старая! — сказал ей Грушецкий, несколько смущенный ее пылом.— Подожди, дай время разобраться, ужо посмотрю — казнить тебя, старую, надобно или жаловать. Эге, да вон и Серега. Невесел что-то старик. Али и ты нашкодил что?

Грушецкий бросил это замечание своему холопу лишь вскользь, только для того, чтобы не обидеть его своим невниманием; но, мимолетно взглянув на своего старшого, он заметил, как лицо у того побледнело. И невольно в голове Семена Федоровича промелькнула тревожная мысль:

«А ведь у них какое-то неблагополучие случилось в пути».

Однако эта мысль только промелькнула и исчезла, будучи поглощена радостью долгожданной встречи с дочерью.

— Государь-батюшка,— воскликнула Ганночка, ласкаясь к отцу,— сколь же долго я не видала тебя! И какой же ты ладный стал! Вот матушка покойная на тебя взглянула бы, то-то обрадовалось бы ее сердечушко! Видно, и ее молитва за тебя, батюшка-родитель, до Господа дошла...

— Ну, ладно, ладно, дочурка милая! — ласково произнес боярин, подводя Ганночку к своему возку — Царство небесное покойнице нашей! Жалею я, что нет ее с нами, а то полюбовалась бы она на тебя Экая ты у меня красавица! Видно, вся в польскую роденьку пошла. Совсем хоть царской невестой быть.

— Что ты, батюшка, что ты! — смущенно проговорила она, потупляя взор — Ни за кого я не хочу идти, век с тобой провекую

— Даже за царя-государя не пойдешь? — ласково засмеялся Семен Федорович.— Ой, девка, не лукавь!

— А на что мне царь-то? — оправившись от смущения, защебетала девушка — Не хочу я его, да и он меня не возьмет У него на Москве красавиц много На что ему я, прирубежная полесовка? Да и старый он Взаправду, батюшка, царь наш помирать собрался?

На лицо Семена Федоровича набежала легкая тень грусти.

— Ладно, дочка,— несколько сумрачно проговорил он,— обо всем том мы с тобой поговорим, как ты после дороги отдохнешь А теперь садись-ка в мою колымагу: в моих хоромах протопоп с молебном ждет Ну, трогай, ребята! — крикнул он, сам забираясь вслед за дочерью в тяжелый экипаж.

XXXIII

ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ КРОВОМ

Совсем незаметно промелькнули для Ганночки первые дни ее пребывания под родительским кровом. Уж очень ласков был к ней Семен Федорович Он не спускал взора

с приехавшей дочки и не задавал никаких вопросов о том, как она свершила далекий путь от рубежа до Чернавска.

Воевода Семен Федорович Грушецкий был на редкость добряк по свойствам своего характера. Московская кровь как будто утихомирила в нем ту пылкость, которая передана была ему его польскими предками. В его внешности не было ничего такого, что хотя несколько напоминало бы поляка. Он был широк лицом, голубоглаз, рус, румян, не особенно склонен к позированию, а больше любил простоту и отличался простодушием и незлобием.

В Чернавске все любили Грушецкого. Он не был ни мздоимщиком, ни лихоимщиком, не грабил подвластного ему народа, правил суд справедливо, и хотя были у него враги, обиженные более всего на то, что новый воевода не потакал их часто нечистым домогательствам, но и те отзывались о нем, как о человеке неподкупном и о таком воеводе, какого уже давно не было в Чернавске.

Вместе с тем Семен Федорович отнюдь не был честолюбив. Если он добивался царевой службы, то лишь потому, что ему казалось стыдным сидеть как опальному без всякого государева дела у себя в вотчине, и хотя чернавское воеводство было незначительно, но тем не менее он был доволен и этим.

Однако и у Грушецкого, как почти у всех русских дворян того времени, была затаенная мысль. Он знал, что его дочь очень красива, знал также, что старший сын царя Алексея Михайловича, наследник престола, царевич Федор Алексеевич, еще не принял брачного венца; стало быть, впереди был неизбежен сбор по всей России невест на царский смотр, и — кто знает? — быть может, и ему, сравнительно мелкому служивому дворянину, улыбнется слепое счастье, и его ненаглядная дочка увидит у своих малюток-ножек платок юного царевича, а, быть может, к тому времени уже царя.

Печальный пример Евфимии Всеволожской как-то был позабыт. Вспоминали только счастливые дни ее отца — Рафа, а о падении его и не думали. У всех пред глазами были нежданно-негаданно выбравшиеся на большую высоту сперва Милославские, а потом Нарышкины, и каждый, у кого была красивая дочь, думал, что и для него возможен такой же шаг на головокружительную высоту, какую занимали царские тести и шурья и прочая родня царицы.

Семен Федорович никогда никому не говорил о своих тайных мечтах; мало того, он даже не считал возможным, чтобы до большого дворца Московского Кремля достигли слухи о красоте его дочери. Еще более того он боялся, что

такое возвышение не сделает его ненаглядную Ганночку счастливою; но все-таки нет-нет да и сверлила его мозг мысль о том, что и он может стать тестем московского царя.

Старик, от природы рассудительный, незаметно наблюдал за дочерью после ее приезда. Он очень скоро согласился на ее просьбы оставить Зюлейку и с виду совершенно равнодушно выслушал рассказ Ганночки и о ночлеге в прилесном жилье князя Василия Агадар-Ковранского, и о приключении в попутном селе. Однако он своим родительским сердцем почувствовал тут что-то недоброе.

Ганночка, конечно, промолчала о гаданье в подвале, но когда она упомянула о князе Василии, то Семен Федорович сейчас же припомнил дедовскую ссору. Сам он был совершенно равнодушен к той обиде, какую нанес его предок предку Агадар-Ковранского; кстати, он никогда в жизни не видал князя Василия и даже не слыхал ничего о нем. Но все-таки полагал необходимым считаться с русскими обычаями, и встреча дочери — внучки обидчика — с внуком обиженного невольно нагнала на него тревогу.

Он часто вглядывался в лицо Ганночки, стараясь прочитать на нем какие-либо затаенные ее мысли, но Ганночка всегда была весела и спокойно, без малейших признаков смущения, выдерживала пристальные взгляды отца. Ведь ей и в самом деле нечего было смущаться; она-то знала, что ничего дурного с нею не произошло и что она ни в чем не провинилась пред родителем.

Именно это и читал Семен Федорович на лице дочери, но все-таки тревога не оставила его. Его немало смущало то обстоятельство, что старый Сергей всегда потуплялся, когда ему приходилось говорить со своим господином. Иногда он даже бледнел. Старая мамка тоже выдавала свое смущение. И все это убеждало старого Грушецкого, что с его дочерью в пути произошло нечто такое, что эти люди хотели скрыть от него. В конце концов он решил произвести опрос и, начав с Сергея, узнал, что произошло в доме Агадар-Ковранского.

Сергей ни в чем не потаился, сказал и о том, как ходила к ворожее боярышня, и как он с Федюнькой, опасаясь, чтобы не случилось какой-либо беды, пробирался по разным переходам в подземный погреб, дабы оберечь боярышню. Он сообщил Семену Федоровичу и о том, что старая мамка заснула непробудным сном, и, конечно, указал, что такой сон старушки явился следствием подсыпанного ей в питье или еду снотворного зелья. После с подробностями, но совершенно правдиво рассказал он и то, что случилось в проезжем селе.

Чистосердечный рассказ преданного холопа успокоил Грушецкого.

«Ну, что ж,— подумал он,— ежели Ганночка гадать ходила, так это пустое, на то и молодость... Ну, слава Богу, вижу теперь, что зла не вышло; Господь отнес. Кто знает, что случилось бы, если бы этот князь дома оставался? Нужно бы Серегу батогами наказать за то, что он завез дочку в такую трущобу... Ну, да Бог с ним! Ежели худа не вышло, так чего с него и спрашивать?»

Он успокоился, но все-таки продолжал наблюдать за дочерью.

Прошло порядочно времени, девушка пообжилась в новом доме родителя, и с нею, как заметил Грушецкий, действительно стало твориться нечто особенное. То она вдруг становилась возбужденно весела, то вдруг на нее словно грусть беспричинная ложилась, и не раз Семен Федорович замечал на ее глазах слезинки.

— Что, Агашенька,— спросил он ее однажды, стараясь быть шутливым,— скажи-ка, милая, какая грусть у тебя на сердце лежит? Примечаю я, будто сама ты не своя.

— Ой, государь-батюшка,— ответила дочь,— да с чего это ты на меня напраслину взводишь? Никакой у меня думы на сердце не лежит, кроме одной — чтобы тебе во всем угодной быть.

— Да, говори! — пошутил Семен Федорович.— Ваше девичье дело отлетное: у отца живете, а сами так на сторону и смотрите.

— И с чего это ты, батюшка, взял? — попробовала протестовать Ганночка.— Кажись, никто за мной ничего не заметил.

— Знаю я вас, девок, видал на своем веку-то! Приглянется вам сатана пуще ясного сокола, вот и томитесь, и не знаете, что с собой делать. Ну, да что ж, так уж вам Богом положено. Ежели люб кто — говори прямо; посмотрю, кто такой, и, коли мало-мальски подходит, перечить не буду, с Богом — честным пирком да и за свадебку. Пора и мне, старику, внучонков понянчить...

Краска залила щеки молодой красавицы, когда она услышала такой разговор отца. Она смутилась, готова была плакать, но когда, оставшись одна, спросила себя самое, что же с ней в самом деле такое, но подыскать ответа не могла. Двое были пред ней — Разумянский и Агадар-Ковранский. Один нравился ей, другого она боялась. Но ее девичье сердце — почему именно, Ганночка и сама не знала,— больше лежало ко второму, чем к первому. Но все-таки это были лишь чувства, весьма далекие от какого бы

то ни было намека на любовь. Когда Ганночка начинала думать о них, то ее сердце молчало. Ей припоминался тогда не Разумянский и не Агадар-Ковранский, а кто-то третий, тот, кого она видела в клубах синеватого дыма около разведенного старухой Асей костра. Этот неведомый образ врезался в ее память, запечатлелся в ней, и хотя тот молодец далеко уступал и поляку, и русскому князю, но все-таки он почему-то был мил девушке и постоянно царил в ее мечтах.

Время же не шло, а летело. Стаяли последние снега, зазеленела земля, птички весело и радостно защебетали; пришла весна благовонная, и непонятною истомою наполнилось сердце Ганны...

Случилось же так, что как раз в это время сразу напомнили о себе и пан Мартын Разумянский, и князь Василий Лукич Агадар-Ковранский; они напомнили о себе тогда, когда о них и вспоминать перестали в Чернавске, у воеводы Семена Федоровича.

От пана Мартына прибыл к воеводе Грушецкому посланец. Это был любимец Разумянского, литовец Руссов. Он приехал якобы для того, чтобы исполнить долг вежливости и осведомиться, благополучно ли добралась ясновельможная панна Ганна до своего батюшки.

Семен Федорович был от души обрадован этим появлением посланца. В нем сказывалась польская кровь, и он любил этих аристократов славянства, как называют теперь поляков; ему не претили ни их напыщенность, ни ходульность. Руссова он принял как самого дорогого гостя, и, конечно, между ними только и разговору было о дорожном приключении, в котором сыграла такую большую роль Ганночка. Руссов умел и прихвастнуть, и поналгать с три короба и изобразил князя Василия лютым зверем, которого отнюдь не жалко было бы убить.

Грушецкий, слушая его, только головой покачивал да пыхтел от негодования.

— Бок о бок с моим воеводством живет, и у меня на него руки коротки? — воскликнул он.— Уж попался бы он, так я показал бы ему, как лютовать. Он у меня по струнке ходил бы и пикнуть не посмел бы.

Руссов, приметивший это негодование старика, постарался распалить его еще более и, конечно, при этом расхваливал Ганночку, рассказывая, как она заступилась за лесовика Петруху и смело бросилась защищать пана Мартына Разумянского от неистовой лютости князя Василия.

Семен Федорович слышал этот рассказ по-иному, но так как Руссов успел внушить ему предвзятые мысли, то

он больше верил его рассказам, чем сообщению провожавших его дочь холопов.

Руссов пробыл немного больше суток и уехал, оставив по себе наилучшие воспоминания. Вскоре после него прибыли послы и из поместья Агадар-Ковранского.

Впечатление от этого посольства было другое, обратно противоположное. Они были посланы не самим князем Василием, а его тетушкой Марьей Ильинишной. Уже это одно неприятно подействовало на Семена Федоровича. Присланы были холопы, и Грушецкому показалось, что подобное посольство было направлено к нему с целью нанести ему обиду. Присланные не сумели объяснить, что князь Василий настолько болен, что даже и не знал об этом посольстве. Они били воеводе поклоны и в один голос твердили, что государыня-тетушка князя, Марья Ильинишна, приказала благодарствовать да еще о здоровье воеводы и боярышни спросить. Да сверх того наказывала она сказать, что приедет, дескать, вскоре в Чернавск сам князь Василий Лукич, так пусть-де его воевода примет честно, как то подобает его княжескому роду.

Эта передача поклонов Марии Ильинишны неумелыми холопами не на шутку оскорбила Семена Федоровича. Он так разобиделся, что даже не стал угощать посланных, а приказал только покормить их да поскорее отправить за околицу — путь, дескать, себе едут назад, злом его, воеводы, не поминая.

Ганночка, конечно, знала и о том, и о другом посольствах и тоже несколько обиделась. Ей хотелось бы, чтобы приехал к ним сам князь Василий, а присыл холопов показался ей как бы подчеркиванием того, что Грушецкие стоят ниже Агадар-Ковранских. Однако, несмотря на неудовольствие, ни отец, ни дочь ни словом не обмолвились о своих впечатлениях и не упоминали о посланцах князя Василия, как будто их и вовсе не было. А тут из Москвы вдруг был прислан гонец с приказом Семену Федоровичу ехать к царю государю, чтобы сказать ему, каковы дела в Чернавске.

Сильно обрадовался этому Грушецкий. Такое приказание было своего рода снятием опалы с него и открывало ему путь к повышениям.

— Вспомнил государь меня, вспомнил! — говорил он.— Понадобился и я ему. Что ж, поеду, нимало не медля, предстану пред его светлые очи. Только Агашеньки своей теперь одной не оставлю здесь. Пусть голубушка со мной едет! Надо и ей на Москву посмотреть; не все ей в здешней мурье киснуть! На Москве, может быть, и жених хороший найдется.

XXXIV

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Родительское сердце не обманывало Семена Федоровича. Если не серьезная опасность, то, во всяком случае, не особенно приятная встреча была близка к его дочери. В то самое время, когда Грушецкий собрался в Москву, к Чернавску чуть не стрелою летел влюбленный князь Василий. Он так жаждал встречи с полюбившейся ему Ганночкой, что ему казался бесконечным путь от его поместья до Чернавска.

Отца Кунцевича с ним не было, тот отпустил его одного. Вероятно, это входило в планы иезуита, так как, отпуская князя, он обещал непременно ожидать его на пути и уже вместе с ним отправиться в Москву, если только не будет ему удачи в сватовстве.

Отец Кунцевич добился своего. Тетушка Марья Ильинишна дала ему грамотки к своим московским родичам, в числе которых оказались большие благоприятели с наставником царских детей, киевским монашком, дворцовым пиитою Симеоном Полоцким.

У иезуита даже глаза заблестели, когда он услыхал это хорошо знакомое ему имя. Это была такая зацепка, что он мог считать задуманный план выполнимым с полнейшим успехом. Крепко зашил отец Кунцевич полученные от Марьи Ильинишны грамотки в нагрудный мешочек и отбыл, благословляемый всеми чадами и домочадцами лесного поместья, видевшими в нем избавителя от лютости князя.

Агадар-Ковранский же мчался с преданными ему холопами в чернавское воеводство. Разные думы вихрем метались в его голове; опять возвращалась к нему прежняя своевольная лютость; недавнее смирение как рукой сняло, и нарождалась даже еще большая свирепость.

«Уж если только не отдаст за меня этот старый хрыч Грушецкий Агашеньки, если и меня осрамит, как его дед моего деда осрамил, так я все его чернавское воеводство разнесу. Жив не буду, ежели не сделаю так!.. Все равно мне погибать без Агашеньки, света моего».

Однако у чернавского воеводы были свои приспешники, прирученные словом и добрым, и ласковым. Они уведомили его, что вырвался на волю хищный волк князь Василий и направил лет свой прямо к нему.

Отеческим чутьем догадался Грушецкий, чего нужно князю. Наскоро собрал он свою ненаглядную Ганночку в

путь-дорогу, окружил ее нянюшками-мамушками, сенными девушками, отобрал наиболее преданных холопов и, опять поставив во главе старого Серегу с Федюнькой. отправил всю эту многочисленную компанию на богомолье в дальний монастырь, а сам остался в одиночестве поджидать незваного гостя.

«Уж я употчую его! — думалось Семену Федоровичу.— Поздно хватился, сокол ясный. Не холопов бы с поклоном да с челобитьями посылать, а самому бы явиться да смирнехонько просить, чтобы я его пожаловал, дедовские обиды ему простил. Ну, а теперь-то путь покрушится. Чернавск — не лесная трущоба, здесь не разгуляться ему; живо укротить сумею!»

А князь Василий, прискакав в Чернавск, кинулся к воеводскому двору. Разлетелся он со своей оравой — глядь, а ворота заперты и стража около них стоит.

— Эй, отворите! — закричал он с коня.— Нужно мне к воеводе по спешному делу.

Старший из стражников, словно нехотя, спросил:

— С Москвы, что ли, будешь?

— С какой там Москвы? Сам от себя! Говорю, что воеводу нужно видеть. Пусть встречать выходит.

В ответ ему раздался смех.

— Чего гогочете? — не помня себя от бешенства, замахал нагайкой князь.— Биты, что ли, давно не были? Так вот я вас! — и он, соскочив с коня, кинулся к набольшому стражи.

— Ну-ну! — легонько отстранил тот его.— Ты, добрый молодец, полегче! Ведь мы — люди царские, нас всякому бить нельзя, на то у нас свои начальники есть. А ежели не пущаем мы тебя, так ты нас не вини: не велено самим воеводою пущать. Ежели из Москвы кто гонцом, так это — другое дело, а ты вон сам от себя.

Чуть не в первый раз в жизни князь остановился, не зная, что делать. Хотя он и грозил разнести весь Чернавск, но эта угроза только сгоряча была, просто обычный пыл сказался. Ведь всякое насилие тут было бы бунтом против царского величества, а за такие дела в то время не миловали.

Пока Агадар-Ковранский стоял, недоумевая, как ему поступить, двери воеводского дворца распахнулись, и вышел сам Семен Федорович в полном парадном одеянии воеводском: тканом кафтане, длиннополом летнике, в высокой шапке. Оглядевшись вокруг гордым взором, он уставился на молодого князя, стоявшего у нижней ступеньки крыльца, и крикнул:

— Что за шум? Эй, стража, что случилось?

— Государь-батюшка воевода,— закланялся набольший стражи,— не нас, а вот его суди,— указал он на князя Василия.— Пришел он неведомо откуда и будто за разбойным делом. Говорит, что сам от себя и тебе о чем-то бить челом желает.

— И не с челобитьем я пришел,— закричал снизу князь Василий.— Незачем мне, природному князю Агадар-Ковранскому, к мелкопоместному столбовому дворянишке с челобитьями ходить.

— А, так это — ты, князь Василий Лукич? — почти ласково заговорил Грушецкий.— А я-то и не знал того. Ну чтоб тебе уведомить меня? Иду, дескать, в гости! Тогда бы и прием был другой.

Он сделал вид, что не расслышал дерзости пришельца, протянул к нему руки, а между тем не сделал ни шагу вперед.

Агадар-Ковранский был весь красен от душившей его злобы. Он весь дрожал, вспоминая, что вот так же, как он теперь, пред отцом этого старика стоял его дед, выданный головою на бесчестье.

Грушецкий словно не замечал; какие чувства волнуют его незваного гостя.

— Милости же просим, князенька,— ласково заговорил он,— уж что поделать: назвался груздем — полезай в кузов! Наехал в гости, иди в дом к хозяину, не погнушайся. Время теперь такое, что обед на столе. Откушай моего хлеба-соли, да кстати я тебя за любезную дочь мою Агафью Семеновну поблагодарю. Жаль, что вот только нет ее здесь: услал я ее к дальним угодникам на богомолье. Ну, да все равно — мою благодарность примешь.

Словно обухом по голове ударили эти слова князя Василия.

«Услали,— подумал он,— пронюхали про меня, окаянные, и встретиться с нею мне воспрепятствовали! Видно, и сватовство мое отвергнуто будет. Нечего тут и голову ломать, и поклоны бить, и дедовскую ссору покрывать не стоит. Все пропало... Еще больше стало зла, чем прежде. Эх, и крыжицкого попа около меня нет, некому посоветовать, как мне быть тут и на своем поставить».

Князь Василий почувствовал, что его горло перехватывает нервная судорога. Он вскочил в седло и, взметнув нагайкой, погрозил ею в ту сторону, где совершенно спокойно стоял Грушецкий.

— У-у, проклятые! — вырвалось у князя, а потом он, передернув поводьями, круто повернул коня, ударил его

нагайкой так, что на бедре остался кровавый след, и неистово помчался от воеводского крыльца. Его холопы, растерянные и смущенные, последовали за ним.

— С чего это он? Что с ним? — развел руками Семен Федорович, как бы говоря сам с собою.— Уж не ума ли рухнулся? Не дай Бог, ежели лютая хворость какая возьмет. Ведь из князей Агадар-Ковранских он последний, знатный род с ним пресечется.

Так он говорил для людей, а сам думал:

«Нет, скорей на Москву ехать, а то еще беды натворит этот сорвиголова. Хорошо я сделал, что Агашеньку услал!»

XXXV

НА МОСКВУ

Пока это неожиданное горе разразилось над головою князя Василия, иезуит отец Кунцевич добрался до того перепутья на дороге в Москву, где он условился свидеться с Агадар-Ковранским. Это был небольшой поселок, в котором редко останавливались проезжие, и потому отец Кунцевич мог быть вполне уверен, что никто ему не помешает день-другой отдохнуть от всего того, что он пережил в эти долгие дни. А в отдыхе он действительно нуждался.

С самого того момента, когда он расстался с Разумянским, этот человек необыкновенной выдержки, преданный фанатической идее всемирного господства папизма, жил в исключительном нервном напряжении. Удивительно, как могли выдержать его нервы столько дней искуснейшего притворства! Во все время нахождения при Агадар-Ковранском отец Кунцевич сплошь играл. Он ненавидел русских за то, что они были схизматиками и не покорялись царствующему Риму; он желал, чтобы и тогда уже громадный народ, весь целиком по учению его религии осужденный на загробные мучения, так или иначе признал Рим главою всех помыслов своей души и обратился в послушное стадо римского первосвященника.

Этой идее отец Кунцевич служил с пылким фанатизмом, забывая, что, прежде чем стать католиком и иезуитом, он сам еще во чреве своей матери был славянином, таким же славянином, как и те, которых он так яростно ненавидел. Может быть, эта ненависть исходила из того, что отец Кунцевич был страстным патриотом, слепо любил свою Польшу и не замечал того, что это могучее государство заметно разлагалось и теряло свои недавние богатыр-

ские силы, тогда как силы Москвы все возрастали, и погибавшей Польше все чаще приходилось терпеть поражения.

То время, которое иезуит предполагал пробыть в попутном поселке, давало ему возможность сбросить все личины и таким образом освежить силы своего духа для предстоявшей ему борьбы.

Он приехал в поселок к ночи. Князь Василий оказался настолько предупредительным, что послал сюда слуг, и в одной из просторнейших изб поселка иезуиту был приготовлен ночлег, где он мог остаться один с самим собою, со своими думами.

Закусив с дороги, отец Кунцевич растянулся на мягкой постели из сена и хотел было заснуть, но сон бежал прочь. Возбужденный мозг иезуита не хотел покоя и работал с обычной быстротой. Почувствовав, что сна нет, отец Кунцевич подошел к окну. Была чудная летняя ночь; немая тишина стояла вокруг поселка, луна серебрила поля, из лесу неслись ароматы, но отец Кунцевич словно не замечал ничего этого.

«Да, да,— думал он,— женщины в таких делах — великая сила, и если этой красивой девчонке суждено послужить на вящую славу Божию, то да послужит она, я заставлю ее идти желаемой для меня дорогой. Она сама даже не будет этого замечать и пойдет, куда направлю я ее. Да она и не может не пойти: ведь в ее жилах течет кровь ее польских предков, добрых католиков, и я заставлю ее быть проповедницей истинной веры среди этих обреченных аду схизматиков. Напрасно этот дикий зверь,— вспомнил он про Агадар-Ковранского,— мечтает, что я для него стараюсь. Уж отказ-то он получит. Мой расчет несомненен, и мне нужно, чтобы он получил его. Он влюбился в эту красивую девчонку и пусть себе пылает! Чем сильнее будет его страсть, тем крепче я удержу ее в своих руках. Он будет для нее дамокловым мечом, и я повешу этот дамоклов меч на волоске над ее красивой головкой. Если понадобится, я без сожаления ради вящей славы Господней оборву этот волосок, и меч поразит ослушницу. А ежели мой безумец-князь выйдет из моего повиновения, осмелится противиться мне или хоть смутно поймет те ходы, какие делаю я, стремясь к своей великой цели, то у меня всегда остается в запасе Разумянский, который ненавидит теперь этого русского волка и сделает все, чтобы загладить позор своего поражения. Когда мне будут не нужны этот русский волк и польский гусенок, я сведу их, и они уничтожат друг друга. Да-да, это так, в моих расчетах не может быть

ошибки. Лишь бы мне-то самому не изменить своей роли!.. Плохо, что я начинаю уже уставать. Поднятое на мои плечи бремя давит меня, дела же впереди много».

Иезуит оборвал свои мысли и несколько времени смотрел в окно. Однако прелесть и тишина дивной ночи, казалось, вовсе не действовали на этого человека: его душа ярилась, мозг по-прежнему был погружен в бездны всевозможных хитросплетений.

«Что же я должен делать там, на Москве? — задумался он.— Прежде всего я, конечно, должен пробраться в покои московского царя. Он умирает, это мне известно доподлинно, однако смерть можно приблизить или отдалить, и я посмотрю, что будет выгоднее. Но старый царь Москвы не нужен мне, мои ходы должны быть направлены на его сына-наследника. Я знаю, что этот юноша — воск мягкий, и из него можно делать все что угодно. Его можно направлять в любую сторону, и он должен послушно идти туда, куда я пошлю его. Вот для того-то, чтобы управлять им, как мне нужно, я и приобретаю средство. Оно уже в моих руках, и в них же скоро будет и наследник московского царства. Но что там? Кто там?» — вдруг оборвал себя он.

Не сужден был отцу Кунцевичу желанный отдых. До его слуха ясно доносились стук копыт и фырканье лошадей. Скоро на поле замелькали фигуры всадников. Иезуит понял, что это спешил к нему возвращавшийся из Чернавска после своей неудачи князь Василий.

Да, он не ошибался. Агадар-Ковранский с малыми передышками промчал весь немалый путь. Усталость хотя несколько умерила его гнев, но зато еще сильнее чувствовалась обида. Он спешил к человеку, которому одному на всем свете верил, от которого одного ждал совета, способного успокоить его. Личина уже снова была на отце Кунцевиче, так как этот фанатик идеи никогда не давал застать себя врасплох и не терялся даже тогда, когда ему приходилось действовать экспромтом. Князь Василий еще не успел подскакать к избе, как отец Кунцевич уже очутился на ее крылечке и приветливо замахал рукой навстречу ему.

— Что случилось? — торопливо спросил иезуит, когда князь соскочил с коня.— Или неудача, или ты, милый сын, не застал в Чернавске воеводы?

— О-о-о!..— почти застонал князь.— Будь они все прокляты там. Пусть этот негодный старик попадет в ваше католическое пекло, и там его разорвут на клочки ваши дьяволы.

Отец Кунцевич принужденно засмеялся:

— Ого-го, я вижу, что случилось нечто особенное, и теперь жалею, что не поехал с тобою. Но оставим пока это! Иди в мой приют, дорогой князь. На столе осталось кое-что от моей скромной трапезы. Подкрепи сперва свои силы телесные, а потом расскажешь мне все, что так огорчило тебя. Иди же, иди скорей! Видишь, эти простые люди проснулись, разбуженные тобой. Пусть они идут себе с Богом, а ты успокойся.

Действительно, шум от появления нескольких всадников разбудил почти все население маленького поселка. Но князя Василия здесь знали, и стоило ему только прикрикнуть погромче, как все поспешили разбежаться под свои кровли.

Глядя на спокойное лицо иезуита, князь почувствовал облегчение; но, когда он, отказавшись от еды, осушил несколько стаканов вина, кровь ударила ему в голову, и он бурно рассказал отцу Кунцевичу все, что произошло в Чернавске. Тот довольно спокойно выслушал его рассказ.

— Ну, что ты мне скажешь, поп? — быстро спросил князь.— Что делать мне теперь? Подскажи мне, как я должен мстить за новую обиду?

— Прежде всего скажу тебе, сын мой,— проговорил иезуит после некоторого раздумья,— что для тебя ничего не потеряно. Ты сам виноват, сам себе все испортил. Грушецкий — старик, про тебя же далеко не хорошая слава идет. Как он мог пустить тебя к себе, не зная, зачем ты заявился? А ты еще прилетел, как вихрь, нашумел, набуянил. Да разве гости делают так?

— Я не мог стерпеть,— отозвался князь Василий, тем не менее понурясь, так как чувствовал всю справедливость замечания отца Кунцевича.

— Ага,— воскликнул тот,— ты и сам сознаешь это! А теперь подумай-ка: ведь воевода не гнал тебя; сам же ты рассказываешь, что он звал тебя к себе хлеба-соли откушать. Я ваши обычаи хорошо знаю; этим Грушецкий как бы показывал, что никакого зла на тебя не держит. А ты?

— Да как же; звать-то он меня звал, а вперед шага не сделал. Заставил меня внизу под собой стоять. Это не обида ли?

— Ну, какая же это обида? — наставительно заметил иезуит.— Грушецкий — старик, а ты молодой. Так не воеводе же было к тебе идти, а ты к нему должен был пойти на зов.

На этот раз князь ни слова не сказал — ему опять пришлось согласиться с доводами отца Кунцевича.

— Так вот и пеняй, милый мой друг, на самого себя и старайся поправить дело своего сердца! — произнес иезуит.

— Да как, как? — пылко вскрикнул князь.

— Да так! Вот ляжем-ка мы теперь спать; ведь утро вечера мудренее, а завтра обдумаем, как твое дело поправить, а на Москве, что надумаем, то и исполним.

Проговорив это, отец Кунцевич зевнул и побрел к своему ложу.

XXXVI

ДУМЫ ЦАРЯ-ПРОФЕССИОНАЛА

Низенькие покои царских палат в Московском Кремле были пропитаны удушливым смрадом перегорелого лампадного масла да терпким запахом всяких лекарственных трав. Сильно был недужен «горазд тихий» великий царь-государь московский и всея Руси Алексей Михайлович. Совсем еще и не стар он был — ему шел только сорок седьмой год, а «сырая натура» давала себя знать. Да и далеко не спокойна была жизнь «горазд тихого» царя. Он любил покой и порядок, свято верил в свое великое назначение на земле, всегда старался быть справедливым, был прекрасным семьянином, но словно злой рок тяготел над ним.

Страдая душой, видел Тишайший, как вокруг него грызлись жадные до власти бояре. Милославские, царская роденька по его первой жене, Марье Ильинишне, грабили народ, спускали с него шкуры, отняв у них сумы. Тиха и кротка была покойная царица, не в роденьку алчную вышла и совсем под пару Тишайшему оказалась, да вот взял ее, праведницу, Господь — видно, Ему там, в горних селениях, такие-то нужны!

Не раз вздыхал больной царь, вспоминая свою свет-Машеньку покойную и сравнивая ее с такой «бой-бабой», какою была его вторая жена, Наталья Кирилловна.

Совсем не московского уклада была эта женщина. Прирубежная вольная жизнь сказывалась в ней. Такой царицы никогда в Москве не было! Разве безбожница Маринка у Самозванца такая-то была. Во все-то дела государевы она свой бабий нос совала, великого царя-государя учить пыталась, порядки такие развела, что не приведи Господи... Это царский сват Артамон Матвеев ее науськивал да на всякие новшества попускал... Вон что пошло: Васенька Голицын во дворец в куцем немецком платье осмелился прийти да еще проклятым табачным зельем надымил... Ох, совсем последние времена наступили!

Ну, да табачное зелье и куцее платье пустое! Вон в Кукуе никто иного платья и не носит да табачным зельем

чуть ли не мальчишки дымят, а худа от этого нет, и гром небесный никого не разражает. Господь словно еще посылает кукуевцам Свои неисчерпаемые милости! Каждый простец там не хуже столбового московского дворянина живет, а бояре дворцовые на Кукуй-слободу то за тем, то за другим частенько из своих палат посылают; добра-то там, видно, куда как много. Стало быть, не противны Господу Вседержителю ни камзолы с короткими полами, ни трубки с дымящим зельем, ни всякие иноземные новшества. Видно, все, что у человека, все — от Бога.

А вот боярская грызня хуже всего; уж она-то от дьявола!

Прежде Стрешневы (матушкина роденька) с Милославскими (жениной роденькой) грызлись да гили разжигали, а теперь Нарышкины ввязались. Милославские да Стрешневы сыты, вдосталь напились крови народной, Нарышкины же еще недавно беднотой были, а потому с голодухи-то так на народ накинулись, что сколько ни кровопийствуют, а все им мало.

И ненавистны же эти кровопийцы народные Москве! Не дай Бог гиль — по клочкам их народ разорвет! И что только будет с государством, когда преставится он, царь-государь?

Тяжело вздыхал больной Тишайший; мрачные думы угнетали его утомленный мозг. С ним-то, законным царем, все эти Стрешневы, Милославские, Нарышкины, Черкасские, Хованские, Морозовы, Ордын-Нащокины, Трубецкие, Пушкины считаются, а все же ему, законному государю, куда как трудно управляться с ними! Круто их не повернешь — недавно еще Романовы на престол московский сели, Тишайший всего только второй царь из их семьи. У бояр-то много и друзей, и приспешников прикормлено; ежели будет смута — Бог знает, кто верх возьмет. Ему, царю, престол оберегать надобно, и все он для него делает. Как он своего собинного друга, патриарха Никона, боярам головой выдал, на худую жизнь, сам, плача, обрек, а разве бояре-то — псы, из-за кости грызущиеся,— поняли это, уразумели, какую великую жертву им государь принес? Какое там! Только и притихли они, когда окаянный Стенька Разин государство на Волге потряс. За свои мерзкие шкуры они испугались и за царя попрятались, а как гроза прошла — опять за свою грызню принялись... Эх, Грозного бы поднять из могилы на эту грызущуюся сволочь!.. Уж он-то показал бы им, что такое есть на Руси царь-государь венчанный!

И чем больше думал об этом больной царь, тем все сильнее захватывал его ярый гнев — тайный гнев! Что бы ни было на сердце, а как придут людишки, показывай им

радостное лицо, глубоко таи, что думаешь. Эх, тяжелы вы, шапка и бармы Мономаха!

А на смену гневу всегда приходили сознание своего собственного бессилия и тоска, жестокая, гнетущая тоска.

Но не о себе тосковал Тишайший, этот пассивный созерцатель, из которого в других условиях жизни, по всей вероятности, выработался бы могучий философ. Он, великий государь, повелитель жизни и смерти миллионов людей, властитель судеб огромнейшего государства, был венценосцем-профессионалом и честно выполнял свои обязанности, как тяжелы они ни были ему. Именно в силу этих профессиональных обязанностей он, могущественный, обладавший всею полнотою власти, был в то же время рабом каждого ничтожного выскочки, пробравшегося к престолу хотя бы окольными путями. Царь Алексей знал, что такое власть, и скорбел за того, кому должен был оставить ее после своей смерти.

— Эх, Лешенька, Лешенька! — с тоскою и сокрушением вспоминал он своего второго сына, царевича Алексея Алексеевича, умершего на семнадцатом году своей жизни,— рано тебя Господь прибрал... Спокойно оставил бы я тебе царство свое! Уж ты-то унял бы боярские свары, ты прикончил бы их грызню! Вот Софьюшка, доченька милая, такая же, да — жаль! — девкой родилась. Для государева дела в девке какой прок? Много их, девок-то, у меня наплодено: Авдотьюшка, Марфинька, Софьюшка, Катенька, Марьюшка, Федорушка первая от покойной Машеньки, касатушки моей, да Федорушка вторая от Натальюшки, да Федосьюшка еще, да свет-Наташенька предпоследняя,— считал по пальцам государь своих дочерей, даже не вспоминая об умершей в младенчестве «второй Авдотьюшке», последнем его ребенке от царицы Марьи Ильинишны, о малолетках-сыновьях Дмитрии, его первом ребенке, и Симеоне.

О царевиче Алексее Алексеевиче Тишайший вспоминал всегда с особенной тоской. Это был юноша, казалось, самой судьбой предназначенный властвовать. Представительный, с твердым, как кремень, характером, он и подростком наводил на бояр такой страх, какой никогда не заставлял их испытывать его кроткий отец.

В московском народе, неведомо какими путями — может быть, именно тем, что умел пристрастить кровопийц-бояр,— царевич Алексей приобрел большую популярность. Последняя быстро распространилась по всем уголкам царства, и Стенька Разин был обязан своими успехами тому, что распространил на Волге слух, что царевич Алексей

вовсе не умер, а был вынужден бежать из Москвы от боярских злоумышлений и он-де, вор Стенька, сбивает народ только на защиту гонимого боярами царевича.

Раз вспомнив о покойном сыне, царь вспомнил и о живых сыновьях.

— О-ох! — вздохнул он.— Всем хорош Феденька-то мой: и разумен, и добр, и всякой премудрости обучен, вот ежели, Бог даст, выживу, пошлю его будто в посольстве за рубеж, пусть посмотрит да поучится, как там добрые люди живут! И хороший из него царь выйдет· на своем он поставить сумеет, когда же нужно, то и поклониться народу православному не затруднится, а вот поди ты — здоровьем слаб: хилый он да сырой, как и я. Не многие лета протянет и Иванушка, дурачок блаженненький. Уж где на этого царство оставить? Ведь его самого без надежного глаза ни на малую минуточку оставить нельзя. Вот разве последыш мой? — И при воспоминании о «последыше», царевиче Петре Алексеевиче, хорошая улыбка так и расплылась по широкому лицу царя.— Вот бы кому на царстве сидеть! Ничего, что ему четвертый годок идет, а видно сокола по полету. У-у, буян милый! Не дойдет только до него царская череда! Федора женить нужно, дети-наследники пойдут, а Петруша, огонь-царевич, в стороне останется... Поздно родился он... последышек милый! А уж кабы он только сел на царство, лихо пришлось бы и Стрешневым, и Милославским, и всей остальной боярской сволочи! Грозный царь из него вышел бы! Вон и девки тоже выходят ой-ой какие бунтарки ядреные! Сонюшка им всем на покрышку, да и Марфинька с Марьюшкой ей не уступят. А Сонюшка-то милая — совсем царь-девка; в пору входит, на Ваську Голицына заглядываться начала. Ох, доченьки, доченьки! И зачем вы у меня народились, себе не на радость? Сколь бы вы красивы ни были, сколь бы вам Господь ума ни дал, а придется вас всех по монастырям распихать. И умрете вы, женского счастья не ведая!

XXXVII

ИНТРИГАНЫ СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ

Не раз и не два, а постоянно терзали и угнетали Тишайшего такие думы А кругом него бурлило море боярских интриг

Не умер еще царь, просто недужил, а окружавшее его алчное воронье дралось из-за будущей добычи. Чуяли эти

стервятники в близком будущем труп, и не было на них никакой управы. Все их помыслы вились около юного наследника.

В особенности волновались Милославские, эти дворцовые выскочки, сознававшие, что все их призрачное могущество висит на волоске. Илье Милославскому юный наследник приходился внуком, и этот боярин-выскочка считал, что у него лично все права на наибольшие почет и власть.

— Совсем несмысленок царевич-то,— не раз говорил Илья Данилович,— дитя малое! Нельзя ему без опоры оставаться, а кому же при нем и опорою быть, как не нам, родному его деду! — И, цепляясь за могущество, плел паутину интриг этот старик, стоявший у самой могилы.— Да, да,— шамкал он беззубым ртом на своем смертном одре,— наше пусть при нас и останется. Не выпускайте царевича!

Умер старый интриган, и во главе его рода стал боярин Иван Михайлович Милославский, более молодой, более энергичный, предприимчивый и с еще большей жадностью добивавшийся власти. Он ясно сознавал, что вовсе не так близок к царской семье, как Илья Данилович, и старался держаться в тени, выжидая того времени, когда замутится вода в московском государстве и можно будет половить в ней для себя всякой жирной рыбки.

Укрепляясь в своем положении, хитрый Иван Милославский оставил в покое недужного царя и ткал свою паутину около юного царевича, стараясь только пока ослаблять влияние Нарышкиных да создавать себе популярность в московском народе и главное — среди его черных сотен, в которых всегда были наиотчаянные гилевщики, не считающиеся ни с какой властью.

Этих буянов и Иван Михайлович, и сплотившиеся вокруг него родственники, и вообще все приспешники и «жильцы», прихлебатели этого рода, старались всеми силами натравливать на новую царскую роденьку — Нарышкиных.

Это натравливание ни для кого в Москве не было секретом.

— О-ох,— говорили на площадях,— умри великий государь, остыть еще не успеет, а литовчане мертвой хваткой возьмут окаянных татарчат!

Род Милославских происходил от литовского выходца Вечеслава Сигизмундовича, прибывшего на Москву в свите Софьи Витовтовны, невесты великого князя Василия, впоследствии «Темного»[1]; мелкие же дворяне Нарышкины, как

[1] В 1590 году, прекратился род Милославских в 1791 году.

уверяли старинные родословные, происходили от крымского татарина-выходца Нарышки, осевшего в Москве с 1463 года. Оба эти рода за свою чрезмерную алчность в выжимании соков народа были нетерпимы и ненавидимы в Москве. От их первоначальных предков и пошли прозвища их придворных партий: «литовчане» и «татарчата». Однако Милославские все-таки были более любы народу, чем новые живодеры Нарышкины, и долгое время на старой Москве слово «нарышкинец» было чуть ли не бранным.

Повинным в такой народной неприязни, скоро перешедшей в ненависть, был Кирилл Полуэктович Нарышкин, отец второй супруги царя Алексея. Он, будучи внове в придворном омуте, интриговал неумело, раздражал дворцовых бояр своей заносчивостью, не только держал руку нелюбимого в Москве ярого западника Морозова, но и подражал ему во всем. Его видели открыто курящим трубку, он подстригал себе бороду, осмеливался появляться в немецком короткополом платье. Всем этим пользовались Милославские и распаляли чернь, подчеркивая ей эти новшества как измену вековечной дедовщине, которой, по всенародному убеждению, была «Москва крепка».

Впрочем, Кирилл Полуэктович мудрил недолго. Новая жизнь, полная всяких непривычных излишеств, быстро сломила его. Он умер, а его сыновья — Иван и Лев Кирилловичи, пожалованные вместе с четырьмя отдаленными родственниками в бояре, ударились в омут интриг, действовали, ничем не стесняясь, так что народная ненависть к ним все разрасталась. Только уважение к больному царю удерживало чернь от гили и расправы с Нарышкиными.

А молодые братья царицы будто и не замечали этого. Они упивались своим построенным на песке могуществом, озорничали, безобразничали, пользуясь тем, что не до них было угнетенному недугами царю. А их сестра-царица, любившая их как сверстников своего невеселого детства, покрывала их во всем, и, выходя сухими из воды, Нарышкины тем самым еще более распаляли народную ненависть.

Были, конечно, и другие честолюбцы, точно так же мечтавшие о власти, но они были сортом помельче и, кроме одного Матвеева, царского свата, никакого значения не имели. Они все были «поддужными» у набольших. Из них Милославские и Нарышкины вербовали своих сторонников. Да они и не домогались высшей власти, для них было совершенно довольно того, что давала им близость к временщикам. Они могли озорничать, как угодно было их низким душам, насильничать, грабить в открытую.

Зато и били же их московские черносотенцы, эти постоянные носители народной свободы в тогдашнем московском государстве! «Черные сотни» тогда были своего рода сословием; они состояли из ремесленников, торговцев, вообще из людей личного труда, не связанных с землей. Их развитие было несколько выше, чем развитие землепашцев, прикрепленных к земле. У них было свое управство: они составляли вполне определенную организацию, с должностными выборными лицами, со своего рода «общим собранием», которое и вершило все их общественные дела.

Правительство даже несколько заискивало у черных сотен, и от них были представители на всех земских соборах. Да и немудрено: черные сотни, настроенные всегда протестующе, почти революционно, всегда готовые к бунту и всяческой гили, были силой, с которою нужно было считаться, в особенности потому, что стрельцы, эти в скором времени «преторианцы третьего Рима», были теми же черносотенцами и при частых гилях не раз принимали сторону последних.

Старые дворцовые интриганы знали это и заискивали у черных сотен, видя в них пособие к выполнению своих замыслов; молодые, напротив того, относились к живой стихийной силе пренебрежительно, ни во что не ставя ее.

И немудрено, что они имели такой взгляд. Ведь для всех этих «новых людей», вынесенных на высоту слепым счастьем и еще недавно пресмыкавшихся в ничтожестве, царь на престоле все еще продолжал казаться земным богом, по слову которого свершается все на земле. Они еще не успели разглядеть в царе человека и верили в царское обаяние. Не замечали они и того, что царю, чтобы управлять хорошо, нужна сила немалая, так как кругом него море, вечно бурлящее и всегда настроенное враждебно против всякой власти. Другими словами, все эти выскочки были наивно уверены в полном могуществе права и были убеждены, что сила всегда смирится пред ним и что существует-то она только для того, чтобы осуществлять веления права.

Старые интриганы, уже достаточно наметавшиеся, ко всему приглядевшиеся, держались других воззрений и действовали сообразно со своими взглядами, стараясь захватить в свои руки и силу права, и дикую силу физической мощи.

Среди выскочек, выброшенных на высоту слепым счастьем, особенно выделялся ненавистный народу своими новшествами царский сват — «Сергеич», как его звал Тишайший, или боярин Артамон Сергеевич Матвеев, человек —

к несчастью для самого себя — намного опередивший свой век. Это был в полном смысле «западник», но западник разумный. Он брал на Западе лишь то, что считал хорошим, и старался пересаживать на свою родину «заморские обычаи», не ломая, впрочем, дедовщины. Он — да один ли он! — был уже свободен от многих старых предрассудков. Его дом точно так же, как и дом другого западника, еще молодого князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на заморский образец. Это были своего рода «салоны» тогдашней Москвы. И к Матвееву, и к Голицыну съезжались москвичи помоложе; они судили да рядили не о том, как бы подковырнуть друга-приятеля, а о том, как живут за рубежом, какой король как там правит. Здесь подготовлялись реформы, которые скоро без всякой ненужной и пагубной ломки внедрились бы в жизнь русского народа. Сюда запросто являлись знатные и незнатные иностранцы. Глава кукуевцев — Патрик Гордон — был здесь своим человеком...

Артамон Сергеевич был большим мастером и по части дворцовых интриг, но вел их не грубо, а «по-европейски», с «подходцами». В глазах старых интриганов Милославских он был опаснейшим врагом, но поделать они ничего не могли: царь был за Матвеева. Царь в одной из вспышек гнева даже за бороду оттаскал Дмитрия Милославского, осмелившегося похаять его «Сергеича». Милославские попритихли, выжидая того времени, когда без промаха можно будет взять мертвой хваткой и ненавистных им Нарышкиных, и худородного Артамона.

А тем временем около Тишайшего, совершенно не замеченная никем, зарождалась новая дворцовая партия, казалось, и надежды на успех не имевшая; это была партия «бой-девки», царевны Софьи Алексеевны.

XXXVIII

СЕСТРЫ-БОГАТЫРШИ И БРАТ-МЕЧТАТЕЛЬ

И в кого только уродились у «горазд тихого» царя Алексея Михайловича, в какого предка, близкого или далекого, такие ненаглядные его свет-доченьки? Все как на подбор богатыршами вышли... Трудно было потом, многие годы спустя, справляться с ними даже все гнувшему, все ломавшему младшему их братцу Петру.

Царевны Марфинька да Марьюшка много крови ему попортили, а о той, что, казалось, всем им на покрышку уродилась — свет-царевне Софьюшке,— и говорить нечего. Ту державный брат-сокрушитель и любил, и ненавидел, и даже в монастыре, за множеством затворов боялся ее...

Богатырь была царевна Софьюшка, всем она удалась: и красотою девичьей, и умом не по-женски мужественным, и энергией несокрушимой. Ничего неизвестно о ее потомстве, а что за могучие люди должны были быть ее дети!

В ту пору, пред кончиной отца, царевне Софье Алексеевне было восемнадцать лет — родилась она в 1657 году. Такие годы для девушки того времени были половиной девичьей весны: рано тогда созревали красные девицы, а царевна Софья в свои восемнадцать лет казалась уже совсем взрослою и чуть ли не перестарком. Высока и статна она была — совсем богатырша с виду, вроде Владимировой Настасьи Микулишны, которой и пятки богатырей Красного Солнышка мало было на одну руку. Все в ней складно было: и плечи могучие, и грудь высокая. А ее личико девичье так красиво было, что кто взглядывал на него, долго позабыть не мог. У нее были косы черные, жестковатые, до пят, брови под высоким и широким лбом крупные, соболиные, румянец здоровый, так жизнью и бивший, во всю щеку, крупные, словно постоянно жаждавшие огненных поцелуев, губы. Но самым чудным в царевне были ее глаза с орлиным, пронизывающим взором. Они постоянно горели, лучились, переливались, своими лучами жгли, как остриями невидимых кинжалов, никогда никого не манили к себе, а властно приказывали. Они не сулили счастья, а говорили о муке среди блаженства, и вряд ли среди дворцовой молодежи много было таких добрых молодцев, которые не были бы готовы безропотно умереть за одну мимолетную улыбку красавицы-богатырши.

Слабые, хилые сыновья Тишайшего — царевичи Федор и Иван, в особенности последний, и в сравнение не могли идти с этой величественной богатыршей, не признававшей над собою ничьей воли, не подчинявшейся ничьему влиянию, стремившейся гнуть все и всех.

К отцу она только снисходила, мачеху терпеть не могла, а по ней не могла терпеть и даже ненавидела всю ее чрез меру зарвавшуюся родню. К своим родственникам по матери — Милославским — царевна Софья относилась свысока и так покрикивала на них, что те ее как огня боялись. С сестрами, в особенности с такими же, как и она, почти богатыршами, Марфой и Марьей, Софья была дружна, а на младшего брата, «нарышкинца Петрушку», она и глядеть не хотела, но только за то, что он был ненавистный ей «нарышкинец». Тут в этой царевне-богатырше уже сказыва-

лась женщина: не будь Петр сыном Нарышкиной, Софья боготворила бы его, как боготворила память брата Алексея, характером и внешностью весьма походившего на Петра. Но в то время никакие честолюбивые помыслы еще не будоражили этой юной души: другие бури бушевали в юном сердце, которому настала пора любить.

Царевич Федор Алексеевич, уже объявленный наследником престола, по складу своего характера был вылитый отец. Он был мечтателем, с тихой, кроткой, женственно-нежной душой. Грубые забавы претили ему. Напрасно старались молодые Милославские и их прихлебатели втягивать царевича Федора в безумные попойки — он чувствовал органическое отвращение к вину. Противны были ему и разные травли, которые часто устраивались на дворах важных бояр: он не мог переносить вида льющейся из свежих ран крови, вообще не мог видеть никакого страдания, а тем более, когда оно являлось потехой.

У его государя-батюшки была одна весьма любимая забава: в день Маккавеев, когда церковью совершается освящение вод, купать бояр, опоздавших к началу водосвятного молебна. Для такого купания даже особый церемониал был выработан, и заранее назначалось, кому сталкивать в воду опоздавшего, кому следить, чтобы тот не утонул, кому принимать из воды. Многие бояре за честь для себя считали посмешить великого государя, барахтаясь в воде. Царевичу же Федору такое зрелище было противно, и он всегда старался отстраниться от него.

Не любил он и охоты соколиной, столь излюбленной его отцом, но зато постоянно тянуло его в сад, в парк, в поле, где он мог быть один, любоваться Божьими цветочками, глядеть в далекие небеса, как бы стараясь отгадать, что там такое кроется. Любил он вдыхать ароматы леса и поля, среди которых, обвеянный ими, он мог размышлять, зачем это так устроено на Божьем свете, что есть цари-государи, которым ничего нельзя, и есть жалкие смерды, которым все можно. Это, пожалуй, были любимые думы юного царевича.

Женщины никогда не являлись предметом мечтаний царевича. Как ни старались окружавшие его придворные развратники просветить Федора Алексеевича относительно всяческой грязи жизни, и сам он, и его мечты оставались целомудренными. Может быть, это было потому, что Федор видел около себя лишь сестер, которые для братьев — не женщины, а товарищи, мать да мачеху, потом разных мамушек, да таких женщин, на которых он с детства привык смотреть, как на близких себе, которых он и сам ни в чем не стеснялся и которые сами его не стеснялись...

Правда, иногда он подумывал о необходимости для себя жениться, но в этих думах о браке чувственность отсутствовала. Федор смотрел на брак, как на обязанность, и в будущей жене видел более доброго товарища, чем необходимую подругу милых бессонных ночей.

В этом отношении царевич Федор, более взрослый, уступал даже своему меньшому брату. В том говорили одни только инстинкты, и, как всегда бывает у подобных субъектов, чувственность у царевича Ивана была не по возрасту повышена.

О предстоящей ему обязанности царствовать Федор Алексеевич думал с большим страхом и сокрушением. Как бы он был счастлив, если бы миновала его «чаша сия»! Ушел бы он в святую обитель и жил бы там на полной волюшке, сам ни в ком не нуждаясь и сам никому не нужный. И зачем это взял Господь братца Алешеньку? Уж тот не помышлял бы о монастыре. Как жаль, что братец Петрушенька столь молоденек! Не дождаться, пока он подрастет. А то, если бы Петр в поре оказался, сдал бы ему он, Федор, все царство! На что ему оно? На что ему призрачная власть необъятная, когда он по своей воле без боярской указки и шагу ступить не может? Вот и отец хотел бы, чтобы Петруша, братец-последыш, царем был. И справедливо желание государя отца! Какой Федор царь, когда далеки от царской чреды его помыслы!

«А скоро, скоро батюшка-государь преставится,— размышлял Федор,— со дня на день ждать нужно, и тогда волей-неволей нужно будет бразды правления принять... Эх, пожить бы ему, голубю, может быть, меня Господь раньше прибрал бы, тогда, минуя братца Иванушку, и приказал бы государь-батюшка царствовать брату Петру; правда, молод он еще, ну, да пока в годы не войдет, за него верные люди поправить могут».

Такие мысли все чаще и чаще посещали голову наследника Тишайшего.

Однажды совсем нечаянно пришлось ему слышать потайной разговор своего отца с Артамоном Матвеевым. Утомленный недугом царь лежал на своей высокой пуховой постели. Матвеев сидел около него на невысоком ставце (табурете), так что его голова приходилась вровень с головой больного царя. Они беседовали, и ни тот, ни другой не слыхали, как вошел в покой царевич Федор. По своей скромности юный наследник остановился поодаль, не желая тревожить беседу и ожидая, чтобы государь первым

сам заметил его. Так ему и пришлось слышать конец наставлений отца.

— Так слышишь, Сергеич,— произнес слабым, прерывистым голосом Тишайший,— исполни, как говорю. Умру — попробуй так повернуть, чтобы Петруше царем быть; ежели с умом это сделать, так возможно... Пойми, что не в нарушение Божеского и дедовского закона о царском наследии приказываю тебе так, а потому, что и за сыночка Федю, и за все царство московское боюсь. Очень большую силу мои грызуны-бояре взяли, Феденька не по ним царь. Им нужно ежели не такого, как я, то такого, чтобы бил их нещадно и непрерывно, а Федя этого не может... Не то он у меня монах, не то красная девица...

Даже не дослушав конца беседы, поспешил уйти царевич Федор. Не было у него на сердце ни горечи, ни обиды, а радость была великая. Мягкое сердце в слабой груди так и прыгало: авось так выйдет, как государь-батюшка желает.

Подстерег царевич Матвеева, когда тот из царской опочивальни выходил, и, остановив его, робко заговорил:

— Ты, Сергеич, того... сделай, как батюшка-государь приказывал тебе.

— О чем ты, государь? — удивился Артамон Сергеевич.— О каком государевом приказе намекать мне изволишь?

— Да вот, слышал я, насчет царства батюшка велел... Братцу Петруше, а не мне его отказывает.

— Ты слышал, государь-царевич? — вскрикнул пораженный боярин.

— Слышал, говорю... Да ты не бойся, Сергеич, я ничего не скажу... А насчет царства, пусть лучше Петрушенька будет; мне не надо, я не хочу. Какой я царь? Мне бы в обитель, Богу за вас молиться...

Смотрел поседевший в интригах боярин на смущенного наследника престола, и невольные слезы проступили на его глазах, невольная дума бередила его мозг:

«Святая, чистая душа!»

XXXIX

СЛУГА ДУШИ И ТЕЛА

Но и этого милого, кроткого, застенчивого юношу однажды опалило дыхание страсти, правда, не своей, а чужой, а все-таки и он тогда понял, что есть на белом свете

сила могучая, которая управляет жизнью человеческой более, чем холодный разум, чем сознание долга.

Это было в то лето, которое стало последним для Тишайшего царя Алексея Михайловича.

Около постели больного вдруг появился новый человек, немало пугавший всех семейных угасавшего царя своею замкнутой серьезностью, своим несколько мрачным видом, а главное своей черной фигурой.

Он появлялся в царских покоях всегда внезапно, и царевич Федор знал, что его приводят к больному украдкой, через потайные двери перехода. Иначе было невозможно.

Этим мрачным человеком был иезуит Кунцевич, и в Москве поднялась бы гиль, если бы там узнали, что у православного царя-государя бывает «пан-крыжак».

Отец Кунцевич попал к больному царю через придворного пиитy, наставника царских детей, разудалого монаха Симеона, по прозванию Полоцкого. Тот наговорил про него много всего хорошего Выходило так, что отец Кунцевич хоть покойника оживить бы смог, такой-де он дельный лекарь.

О таком премудром лекаре доложили царю, и тот пожелал видеть его.

Когда царевич Федор впервые увидел отца Кунцевича, он вдруг не на шутку испугался — так его поразила серьезная мрачность этого человека. Отец Кунцевич в первый раз осматривал царя в присутствии наследника престола. Тут же был и Артамон Матвеев, единственный, на чью скромность в этом случае можно было положиться. Матвеев внимательно следил за новым врачом, и отец Кунцевич произвел на него хорошее впечатление.

— Знает дело лекарь-то! — шепнул он царевичу — И слушает, и мнет, как положено, и постукивает... Я их, лекарей-то, перевидал на своем веку. Все их ухватки знаю.

Царевич Федор тоже не спускал взора с нового лекаря. Его приемы были совсем не те, которыми обыкновенно сопровождали осмотры придворные лекари-немцы Отец Кунцевич не шарлатанил, а действовал с простотою, но уверенно, и это производило впечатление на больного, для которого лекарские осмотры обыкновенно бывали сплошною мукою.

Покончив с осмотром, отец Кунцевич весьма почтительно, но без тени холопского подобострастия стал откланиваться.

— Я ничего сейчас не могу сказать о болезни его царского величества,— сказал он,— мне нужно все сообразить, и только тогда я могу сказать свои предположения

— Так, так! — добродушно одобрил его Тишайший.— Торопиться нечего. Чай не сейчас помру.

— Совершенно верно,— спокойно ответил иезуит.— Каждый человек в воле Господа, смерть всегда у нас за плечами, но я не думаю, чтобы роковой конец наступил раньше середины зимы. Я могу высказать это как предположение, а для более определенного сейчас у меня нет никаких данных...

— Спасибо за правду! — растроганно проговорил Тишайший.— Вот если бы всегда мне так говорили, так, может быть, меньше я и обеспокоен был бы. А то врут все! Говорят, что еще многие лета я жить буду, а сами знают, что меня смерть за ворот держит.

— Не совсем так, государь,— улыбнулся иезуит.— Но я уже сказал вам, что все в воле Божией! Когда я приду в следующий раз, я с полной откровенностью выскажу вашему величеству свое мнение.

Он почтительно поклонился и пошел к Матвееву, бывшему его проводником по дворцовым тайникам. Проходя мимо грустно глядевшего на него царевича, иезуит приостановился и тихо, но внушительно сказал:

— Вашему высочеству тоже весьма необходимо лечиться,— после чего, сделав новый поклон, вышел вслед за Матвеевым из покоя.

— Ну что, как государь? — спросил его Матвеев, когда они были довольно далеко от царской опочивальни.— Плох?

— Да,— ответил иезуит,— он проживет недолго..

— Сколько? — воскликнул испуганный Артамон Сергеевич.— С год или более?..

— Нет, вряд ли его и на полгода хватит... Весь его нестойкий по природе организм уже расшатан и подточен недугом.

— Что же теперь делать? — совсем уже растерялся Матвеев.

— Лечить, и очень серьезно, его наследника,— ответил иезуит,— царевич тоже недолговечен, но лечением можно продлить его жизнь. Если бы мне предложено было,— словно вскользь заметил он,— я взялся бы за лечение его высочества.

— Да как же это сделать? — с сердцем ответил ему Артамон Сергеевич.— Ведь буря поднимется, ежели только узнают, что ты, крыжак, его лечишь.

— Что же? Ради покоя я мог бы лечить его тайно. Разве не может царевич бывать у своего учителя Симеона? Там мы и могли бы встречаться. Никто об этом ничего не

узнал бы, а, может быть, мне удалось бы несколько укрепить силы этого бедного царственного юноши!

Пока отец Кунцевич говорил, Матвеев смотрел на него, не спуская взора. Как-никак, а это доброжелательство поляка до некоторой степени будило в Артамоне Сергеевиче подозрительность. Ведь отец Кунцевич был сыном страны, издавна враждовавшей с Москвой; короли этой страны считали Москву своим достоянием, и вдруг такая заботливость со стороны поляка о московском престолонаследнике!

Иезуит, должно быть, понял, какие мысли бродят в голове этого близкого царю человека, и с улыбкой произнес:

— Не думает ли боярин о том, чего это я принял на себя заботы о его государях? Так мой ответ на это был бы весьма прост. Я — скромный служитель алтаря и ни в какую политику земных властителей не вмешиваюсь. Я — Божий, а не земной... Для меня все люди на земле — дети одного Отца — Творца неба и земли, а потому я, видя, что молодое существо хиреет, и спешу на помощь к нему с теми познаниями, которыми умудрил меня всемогущий Господь!

Матвеев внимательно слушал эту речь иезуита, но вряд ли верил хотя бы одному его слову.

«Да, да,— думал он,— знаем мы, что ты за птица!.. И твоих песен хорошо наслышаны. Слыхали таких-то! Черные вороны. Турнуть бы тебя следовало, да вот лекарь ты и в самом деле знающий. Свет-государя тебе не поднять — не Бог ты, а Феденьку полечи, зачем ему пропадать. Пусть поживет во славу Божию! Пока я тут поблизости, и не такие, как ты, козлы не страшны, а умру я — так уж Божья воля будет».

Заметив, что отец Кунцевич вопросительно смотрит, Артамон Сергеевич круто оборвал свои мысли и сказал:

— Что же, если умудрил тебя Господь, то и нам от твоей помощи нечего отказываться. Сделаешь доброе дело — без награды ни на небеси, ни на земле не останешься... А насчет мниха-пииты ты хорошо придумал. Ходить ты будешь будто к нему, туда же я и царевича приведу.

Знаменитый дворцовый пиита, поэт-лауреат того времени, черноризец Симеон Полоцкий жил в одном из дворцовых флигелей. На смиренного инока он был похож разве только по платью. Это был веселый, жизнерадостный старик, всегда готовый и гульнуть с добрыми приятелями, и попить «до положения риз» зелена вина, и попеть под гусли или бандуру не одни только церковные песнопения, а подчас, когда не было в кружке лишних глаз, готовый, по-

добрав полы рясы, пуститься в отчаянный пляс, заставляя дрожать слюду в окнах от раскатов здорового бурсацкого хохота.

Симеон был украинец, киевский бурсак; в молодости он толкался среди польской знати и по духу скорее был католическим, чем православным монахом. Свое крестовое имя он давно позабыл, а может быть, и никогда не помнил; рясою он отнюдь не тяготился и духовного начальства никакого не признавал. Даже грозный патриарх Никон отнюдь не пугал его. Хорошим в нем было то, что он не впутывался в дворцовые интриги и одинаково был дружен с представителями всех постоянно враждовавших между собою дворцовых партий. У этого-то «светского монаха» и стали происходить встречи царевича Федора с иезуитом Кунцевичем.

Последний был всегда вкрадчиво почтителен с наследником престола. Рассуждал он с ним всегда серьезно и притом всегда о таких предметах, которые были более всего по сердцу юному царевичу. Многое, что говорил отец Кунцевич, было откровением свыше для царевича Федора. Он жадно слушал иезуита и скоро, сам того не замечая, подпал под его влияние.

Однажды, придя к своему старому учителю Симеону, царевич Федор не застал ни его, ни лекаря. Вместо них в просторной, совсем уж не монастырской келье старого сочинителя «Вертограда» был высокий, красивый, с мрачным, несколько злым лицом молодой человек. Это был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Царевич и ранее того видел его несколько раз с отцом Кунцевичем. Он даже знал, что последний с большими усилиями выходил князя от тяжелого недуга. Теперь царевич даже был рад, что этот молодой человек очутился от него так близко и притом с глазу на глаз с ним.

— Князь Василий, а князь Василий, Васенька,— позвал он Агадар-Ковранского, когда тот, низко поклонившись, заспешил к выходным дверям,— да куда ты все торопишься? Посидел бы ты со мной малость, поговорили бы мы... Чай, не страшный я...

Царевич даже улыбнулся, произнеся эти слова. Он рад был разговору со свежим человеком, притом ближе подходившим по возрасту, чем другие, окружавшие его во дворце люди.

Князь Василий, услышав это приглашение, низко поклонился и сказал:

— Чтой-то, царевич, несуразное ты сказал. Ты ли страшен! Да ты все равно, что ангел небесный!

— Оставь,— махнул рукою Федор,— надоели мне хвалы.

— Да я и не хвалю тебя, а говорю, что думаю. Прости, ежели что не по сердцу сказал! Приказывай, какую тебе службу сослужить...

— Ничего я приказывать не буду, а прошу. Вот садись-ка ты против меня на лавку, побеседуем. О себе мне расскажи! Ты ведь на воле живешь, всякое видаешь, а я здесь — все равно, что Божья птичка в клетке. Садись!

Князь Василий присел.

XL

ВОРВАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

Несколько времени они молчали, смущенно переглядываясь друг с другом. Агадар-Ковранский, несмотря на всю дикость своей натуры, просто ополоумел от мысли, что сидит, как равный с равным, с наследником московского престола. Он никогда не воображал, что будущий царь мог быть таким вот, как этот болезненный, с тонкими, женственными чертами лица юноша, столь кротко, без тени какого бы то ни было презрения смотревший на него. Эта нежная красота и кротость никак не вязались с представлениями князя Василия о царе-государе, который, по его мнению, должен был быть и ростом велик, и голосом груб, и на речи дерзок, дабы было в том хотя какое-нибудь отличие между ним и его червяками-подвластными.

Федор же, напротив того, смотрел на князя Василия с великим любопытством. Ведь он крайне мало видал людей, и ему казалось, что все люди, которые находились вне стен дворца и кремля,— совсем другие люди, особливые от тех, которых он видит постоянно вокруг себя. Поэтому-то новый человек возбуждал в нем жгучее любопытство.

— Ну, что ж ты ничего не говоришь, милый? — ласково спросил Федор.— Ты не бойся, скажи что-нибудь!.. Как вы там живете, про веселости ваши расскажи... Я ведь здесь, в четырех стенах-то постоянно сидючи, как есть ничего не знаю! — и он даже засмеялся, вспомнив, как часто воображал себя птичкою малой, запертой в раззолоченную клетку.

Этот смех рассеял смущение князя Агадар-Ковранского. Он опомнился и быстро сообразил, что наступает тот момент, о котором до этого часто-часто шли у них разговоры с иезуитом Кунцевичем. Для него не было сомне-

ния, что эта неожиданная встреча с наследником престола устроена его черным другом. Отец Кунцевич часто брал его, князя Василия, с собой, когда отправлялся к Симеону Полоцкому на потайные свидания со своим пациентом-царевичем. Но, должно быть, все не выпадало ему свести молодых людей так, чтобы они могли очутиться с глазу на глаз и поговорить о разных разностях, позабыв о различии своего положения. Едва только вспомнил обо всем этом князь Василий, как к нему опять возвратилась его обычная дерзость.

— Эх, государь ты наш, свет-царевич! — воскликнул он со своей обычной пылкостью.— Тоже нашел кого о веселостях спрашивать!.. Веселости! Тоска-злодейка так вот и гложет сердце молодецкое, горе неизбывное давит, а ты — веселости.

— Ну расскажи о своем горе! Нам, царям, и ваше горе точно так же, как и веселости, неведомо. Послушаю я, какое на земле горе бывает; такое ли оно, как царское.

— Да нешто вы-то, цари, тоже его знаете? — спросил князь Василий.— Вот уж чему я не поверил бы! У царей да горе!..

— А то нет, что ли? — потупился царевич.— Вон батюшка мой помирает; нешто это — не горе. Нарышкины с Милославскими грызутся — опять-таки горе. Мачеха и не глядит на нас, пасынков и падчериц. За братцем Иванушкой не доглядели — и он чуть у печки не сжегся. Боярину Матвееву комедийное действо поставить как следует не удается. Слышь ты, лицедеи его хмельной браги много выпили, и двух архангелов батогами отодрать пришлось. Все это печалит, спокою лишает... Разве это — не горе?

Князь Василий ничего не ответил. Он вряд ли даже слушал царевича, обдумывая в это время свой ответ.

— Ну вот видишь,— уже настойчиво продолжал говорить Федор,— я тебе все по душе сказал, так и ты не таись. Скажи, какое у тебя горе. Ты не бойся, я никому не скажу, а ежели что смогу, так и посодействую, шепну кому-нибудь там. Может быть, и удастся твое горе в радость обратить.

— Эх, коли так, не буду молчать! — воскликнул Агадар-Ковранский.— Видно, Бог меня вспомнил и с тобою, царевич, свел. Ну, коли так, слушай! Скажи мне откровенно: ты любил кого-нибудь? Или еще не пришла твоя пора, молчит твое сердце?

Федор удивленно посмотрел на собеседника.

— А как же не любить-то? — сказал он.— Вот ты какой чудной! О чем спрашиваешь!.. Да разве есть на белом свете Божием человек, который любви не знал бы? Мы, цари, хотя и помазанники Божие, а все-таки человеки, и, как говорит учитель наш, инок Симеон, и нам ничто человеческое не чуждо.

— Ну так ты, стало быть, знаешь, о чем будет речь моя,— проговорил князь Василий.— Коли ты любил уже, так и горе мое поймешь.

— Да-да,— радостно закивал головою царевич.— Пойму, беспременно пойму. Говори только, да подробнее говори!

— Ну, слушай, царевич! Нет больше недуга, как любовь. Недавно меня медведь чуть было не заломал, потом такая лихоманка с горячкой привязалась, что я Бог весть сколько недель меж жизнью и смертью валялся. Спасибо вон тому лекарю, к которому и ты ходишь; только он меня и выправил, а кабы не он — лежать бы мне под курганом с крестом. Только не на радость мне была поправка. Как выправился я, так и почуял, что новый недуг мною владеет, и куда он горше, чем тот, который меня в могилу тянул. Эх, царевич, царевич!.. Коли ты тем недугом болел, так знаешь сам, что недужному-то и Божий свет не мил, и солнышко на небе не светит, и темь гонит, и лакомый кусок хлеба в глотку не идет, и не любо ничто, что недавно еще так мило было,— ни утехи лихие молодецкие, охота псовая или соколиная, ни пиры-попойки веселые, ни песни, в душу льющиеся, ничего, ничего!.. Ходишь, как в воду опущенный, тоскуешь, как зверь лесной, насмерть раненный!.. Все не мило, все противно, ни на что бы не глядел. Томишься, терзаешься, места себе не находишь, на каждого человека, как на врага себе, глядишь... Куда ни кинешься — вместо отрады да покоя муку себе находишь. А душа-то так и мятется, так и рвется; все так тебя и тянет куда-то, а куда — и сам не знаешь... Вот она, любовь-то, свет-царевич наш, надежда милостивая!

Все это было произнесено Агадар-Ковранским быстро, на повышенных тонах; видно было, что порыв охватил его и что он не столько говорит со своим царственным собеседником, сколько самому себе высказывает мучившие его сокровенные думы. Он даже не видел, как раза два в притворенную дверь выглянула голова иезуита Кунцевича. Хитрый интриган, устроивший это свидание, не пропустил ни одного слова в разговоре молодых людей.

Федор внимательно слушал все то, что говорил Агадар-Ковранский. Порыв, овладевший буйным князем, захватывал собою и нежную душу юного царевича.

XLI

ИСТОМНАЯ НОЧЬ

Царевич открыл окно, и ему прямо в лицо пахнуло ароматами благоуханной ночи. Было уже темновато, чувствовалось близкое наступление осени, но было тепло и тихо. Тишина подействовала умиротворяюще на разволновавшегося царевича Он стоял, облокотившись на подоконник, и жадно вдыхал лившиеся к нему ароматы. Мысли о всеисцеляющей смерти сами собою отошли от него; около вились роем думы о жизни И вдруг царевичу стало грустно именно от этих дум.

И все-то эти «земные мысли» вращались около одного и того же центра — любви О чем бы ни начинал думать Федор Алексеевич, его думы неудержимо неслись к этому центру И вовсе не теплая благоухающая ночь была в том причиною Видно, и прочные стены великолепных дворцов земных владык не уберегают от натисков жизни, от вторжения в их душные покои великих сил природы, видно, и жалкому, тщедушному, болезненному царскому сыну приспело время любить любить и страдать.

«Если люди страдают из-за этой любви,— размышлял царевич,— и все-таки страдая, любят, значит, любовные страдания — счастье Иначе и думать нельзя. Хотелось бы и мне узнать, что такое любовь, отчего непременно нужно страдать и терзаться тому, кто любит»

Едва подумав так, юный царевич почувствовал, что краснеет Ему даже стало совестно самого себя: еще никогда у него не было таких дум, и вдруг явились они незваные, непрошеные, уже и теперь не в меру мучительные.

Большим усилием воли царевич прервал свои думы. В своей девственно-наивной простоте он считал их греховными, «от прелести дьявола», и уже хотел наложить на себя строгую епитимью за то, что дозволил им на миг овладеть собою, когда заметил какую-то смутную тень, промелькнувшую мимо него под деревьями любимого сада.

«Кто это? — родилась у него тревожная мысль.— Уж не тать ли какой ночной?»

Однако тревога, охватившая царевича, быстро прошла, и он даже весело засмеялся

— Знаю, знаю я, что это такое! — тихо промолвил он самому себе — Ох, воистину были у меня мысли от дьявола Только что не хотел ничего думать, только что с самим собою справился, а он, окаянный, вот так и надзуживает,

так в искушения и вводит. Ахти мне, грешному! Пойти скорее в опочиваленку да на молитву стать.

Но напрасно! Царевич в этот момент был и с самим собою неискренен. Он знал, что не пойдет в свою опочиваленку, не опустится на колена пред святыми иконами, а если и заставит себя сделать это, то не чиста, греховна будет его молитва, далеко-далеко унесутся его помыслы от всего святого, что, стоя пред святой иконой, он будет думать только о грешном земном.

Все вспоминался ему разговор с князем Василием, и слова этого бешеного человека о любви так и жгли его душу Странными показались тогда эти слова царевичу.

— Не понимаю я, о чем говоришь ты,— раздумчиво сказал он.— Больно уж чудны твои слова для меня. Видно, у нас, царей, совсем не такая любовь, как у вас, подвластных. Я вон очень люблю сестрицу Софьюшку, хотя она, когда мы были маленькими, пребольно колачивала меня, да и теперь не спускает. Вот тут намедни рассердилась и венецейским блюдечком, что батюшке из-за рубежа посольство привезло, в меня пустила. Расколотилось блюдечко-то на кусочки... Я только взыскивать на ней обиду не стал. Что поделаешь? Старшая сестра! А только, как я ее ни люблю, никакой я муки от того не испытываю.

— Не про ту любовь, царевич, говоришь! — горько усмехнулся князь Василий.— Не серчай на меня, ежели я скажу тебе, что такая любовь для малых детей, а не для взрослых. Есть другая любовь — любовь доброго молодца к красной девице. Вот в этой-то любви и мука. Свободного — она тебя рабом делает!.. Говорят, есть в турецких землях рабы, которые, хоть и люди, а для своих господ хуже подъяремного скота. У нас, на святой Руси, слава Богу, нет таких, да и у турок, проклятых, такими рабами только чужеверные бывают. Так вот, кто любит, тот у своей возлюбленной таким рабом и существует. Что хочет, она с ним сделает. Какие хочешь веревки совьет, а на все любящий человек пойдет. Вот Господь Бог, уж и не знаю за какие грехи, попустил мне таким недугом заболеть. Полюбил я тут девицу одну, отдал ей свое сердце, свою душу, все свои помыслы...

— Так что же, женился бы на ней,— перебил его царевич.— Хочешь, я твоим сватом буду?

Царевичу припомнилось, что он не успел ни договорить сам, ни услышать ответа.

Князь Василий не успел ответить. Внезапно из-за двери выдвинулся отец Кунцевич.

— А, ваше высочество,— воскликнул он, притворяясь, будто и не знал о посещении царевича.— Не заставил ли я вас ждать?

Отец Кунцевич проговорил все это с заискивающей улыбкой.

Появление его было настолько неожиданно, что оба молодых собеседника невольно вздрогнули.

«Подслушивал он или нет? — спросил сам себя Агадар-Ковранский.— Вот человек: нельзя никогда понять, что он думает, и его дьявольских подходов никак не угадаешь!»

Князь Василий, хотя еще весьма и смутно, но все-таки начинал понимать загадочную натуру иезуита. С того самого дня, когда он, придавленный своей неудачею в Чернавске, примчался к отцу Кунцевичу в попутный поселок делиться своим горем, он и отец Кунцевич были неразлучны.

Не возвращаясь домой, в свою лесную трущобу, князь Василий отправился в Москву вслед за своим таинственным другом. В Москве у него был свой дом, обыкновенно пустовавший; в нем они и поселились. Отец Кунцевич оказался великим домоседом; он редко выходил из своего добровольного затвора.

Да ему и не нужно было где-нибудь появляться на Москве: за него действовал искусно направляемый князь Агадар-Ковранский. Именно он разнес среди своей влиятельной родни, а через нее и по всей Москве его славу как искусного лекаря, он же устроил отцу Кунцевичу и знакомство с Симеоном Полоцким, благодаря которому иезуит пробрался и в царские покои.

Но отец Кунцевич сделал ошибку. Если бы он не остался с князем Агадар-Ковранским, не поселился с ним под одной кровлей, где тот мог видеть его постоянно, он так и был бы для князя постоянной загадкой, действовал бы на его воображение. А тут слишком тесная близость показала князю Василию отца Кунцевича в несколько ином виде.

Как ни был духовно могуч иезуит, но все-таки был человеком, и случались моменты, когда с него спадала надетая им на себя личина. Вследствие этого и Агадар-Ковранский, от природы наблюдательный, уразумел, что его «черный благожелатель» — далеко не то, чем он стремился казаться. Попросту говоря, под овечьей шкурою всякой елейности и доброжелательства князь Василий сумел разглядеть и волчьи когти и клыки иезуита. Но было уже поздно разрывать сам собою создавшийся союз, тем более что страсть в сердце князя Василия с течением времени не утихала, а все более и более распалялась. Отец Кунцевич же все время держал себя так, что только с ним одним

Агадар-Ковранский мог делиться своими сокровенными думами и затаенными надеждами.

Сколько князь ни рыскал по Москве, он и следов не находил боярина Грушецкого, а тем более Ганночки, словно в воду канули отец и дочь.

Князь Василий страдал от неудовлетворенной страсти, и только могучая воля отца Кунцевича сдерживала то и дело обращавшиеся в бурю порывы молодого дикаря. Агадар-Ковранский терял голову; он жил только одними надеждами, и как ни устал он ждать, но именно эти надежды еще устраняли от него отчаяние.

Теперь встреча с царевичем, которого князь считал всесильным, снова окрылила его, и ему было даже неприятно думать, что иезуит подслушивал их беседу, а более всего неприятно было то, что появление отца Кунцевича прервало их разговор как раз тогда, когда он, князь, только что хотел открыть своему царственному собеседнику имя своей возлюбленной.

Отец Кунцевич даже и внимания не обратил на неприязненные взгляды, которые бросал на него князь Василий. Он, кланяясь, подошел к царевичу и стал против него, ожидая, что тот скажет.

— Еще раз нижайше прошу прощения вашего высочества,— повторил он свои извинения,— я бы на крыльях прилетел, если бы только мог знать, что вы пожалуете сегодня в эту скромную келью вашего наставника. Но и он сам не был осведомлен об этом...

— Да, да! — воскликнул Федор Алексеевич, оправляясь от некоторого смущения.— Тут я во всем виноват один. Мы уговорились встретиться на завтра, а завтра я иду за крестным ходом вместо батюшки и, быть может, не приду сюда. Поэтому-то я здесь теперь.

— И тем лучше, ваше высочество! — ответил отец Кунцевич.— Я тогда сегодня займусь вами подольше. Меня очень беспокоят хрипы в ваших легких, и я хочу во что бы то ни стало найти причину их происхождения. О, ваше высочество! Опыт научил меня, что при всяком недуге — и телесном, и душевном — всегда нужно искать его причину, и, найдя причину, нужно стараться удалить ее: средства подыскать легко, а с последствиями также легко справиться. Прошу вас снять ваш кафтан...

Он сделал знак Агадар-Ковранскому оставить их одних. Тот низко-низко поклонился царевичу.

— Ну, прощай, князь Василий,— ласково сказал Федор Алексеевич,— я рад, что встретился и побеседовал с то-

бою. Когда мы встретимся еще, ты доскажешь мне про свой недуг все до конца.

Князь Василий с низкими поклонами вышел из покоя.

— Что, ваше высочество,— спросил отец Кунцевич, пока юный царевич снимал верхнее платье,— этот бедняга, кажется, и вам надоедал с тайнами своей неудачной любви?

— Да, он говорил со мною откровенно. Мне очень жалко его и хотелось бы помочь ему, но я не знаю как...

— Вы очень добры, ваше высочество,— ответил, приступая к выслушиванию, иезуит,— но в своих сердечных недугах более всех виноват сам этот молодой человек. Но прошу вас, вздохните поглубже...

Долго и тщательно осматривал иезуит-доктор своего царственного пациента.

— Итак, ваше высочество, вы завтра шествуете за крестным ходом? Осмелюсь спросить — где? — спросил он.

Федор Алексеевич назвал храм, откуда должен был выйти крестный ход, и тот храм, куда он направлялся.

— Да, да, я знаю эти места,— проговорил иезуит,— они находятся под действием сырых ветров, иногда тут встречающихся и производящих как бы воздуховорот. Вам, ваше высочество, следует одеться как можно теплее; вы все время будете как бы на сквозняке. Весьма покорно просил бы вас именно завтра уделить мне немного времени и пожаловать сюда. Я снова осмотрю вас, чтобы определить, какое влияние будет иметь на ваш организм эта жестокая прогулка!

— Я приду,— просто ответил царевич, прощаясь с иезуитом, и даже не заметил, как тот вышел, так как все его мысли были заняты пылким признанием князя Василия о его любви.

«Вот князь Василий Лукич,— вспомнил он теперь свою беседу с Агадар-Ковранским,— думаю я, жестоко страдает. А зачем? Потому что он любит; стало быть, и любовь — мука. Зачем же тогда люди любят? Ведь это значит, что они сами заведомо для себя идут на муку. Непонятно что-то! Никто себе заведомо пальца не обрежет, а тут такое страдание по охоте принимают Что же это такое? Нет, уж я лучше никого, кроме родных, любить не буду!»

Увлекаемый своими мыслями, царевич подошел к окну. Там под ним был сад, любимое место его детских игр. Царевич любил этот уголок, так как он напоминал ему золотые дни детства.

В лицо ему пахнула ночь, полная грешных желаний.

Царевич теперь завидовал князю, его молодому пылкому счастью, его смелой и здоровой любви.

Под впечатлением этих дум он шагал по аллейке, пока его не догнала сестра Софья. Она пошла рядом с ним. Несколько времени брат и сестра молчали.

— Ты что ж, Федор, думаешь? — заговорила первая Софья.— Поди, батюшке доложишь, что нас застал?

— Да уж и не знаю как, Сонюшка,— позамялся Федор Алексеевич,— и тебя-то мне жаль, и пред батюшкой смолчать нельзя...

— Да что ж я тебе сделала? — спросила царевна.— Тебе-то что?

— Как что? — вспыхнул Федор.— Будто уже и не позор для нашего царского рода?.. Царская дочь да с подвластным слюбилась. Вот пару нашла!..

Вся загорелась гневом богатырша-царевна.

— Ах, ты, слюнтяй! — громко, не стесняясь, закричала она.— Недоносок маменькин! Тоже нашел, чем корить! С подвластным! Да, стало быть, хороша я девка, ежели меня любят! Вот тебя, чахлого разиню, поди, никто не полюбит. Кому такие-то, как ты, нужны? У тебя нешто кровь? Рыбья сыворотка у тебя, а не кровь. Вот женят тебя да жену молодую приведут, так ты, что и делать с ней, знать не будешь, а станешь только охать да вздыхать: тут болит, да там болит... А тоже мужчиной прозываешься! «Я, дескать, по образу и по подобию Божию сделан... не из ребра»... Тьфу! Из навоза гнилого ты сделан... А тоже корить: царская дочь с подвластным слюбилась. Да ежели бы ты понять мог, что бывает, когда вся кровь в теле ходуном ходит и огнем пылает! Как тогда человек к человеку стремится!.. А у меня крови много, и откуда она у меня такая кипучая, не знаю. Царская дочь! Да что же мне из-за того, что я — царская дочь, и счастья не изведать?.. Нет, братец милый, без счастья вековать, как государыня-тетушка, я не буду!.. Не такая я... Вот люблю Васеньку и никого не боюсь; жилы из меня тяните — не испугаюсь, а ежели его тронут, то такое натворю, что и сами вы все не рады будете: пошлете его в Березов, так я за ним, как собачонка, побегу. Вот тебе и будет царская дочь!.. Смекнул? Иди, слюнтяй паршивый, наушничай родителю. Иди! Чего стал да бельмы выпучил? У-у, недоносок! Глядеть-то на такого противно!

С этими словами юная царевна-богатырша так толкнула в грудь своего тщедушного брата, что тот едва-едва удержался на ногах. После этого она пустилась бегом к крыльцу палат.

— А ты, царевич,— раздался около Федора Алексеевича мужской голос (это неслышно подошел князь Василий Ва-

сильевич Голицын),— нас не трогал бы с Софьюшкой-то... Мы тебе не мешаем, а любим друг друга, так значит, то Господу Богу угодно... Шел бы теперь почивать. Не царевича дело по ночам любящих ловить...

С трудом добрался до своей опочивальни Федор Алексеевич. Много передумал он в остаток этой ночи и лишь под утро, вспомнив, что ему за крестным ходом нужно идти, забылся тревожным сном.

XLII

В ВИХРЕ ЛЮБВИ

К вечеру после крестного хода, за которым шел царевич, вся Москва Белокаменная была полна толков и нареканий. Эти толки пошли еще накануне, но Москва и в ту пору была столь велика, что понадобилось порядочно времени, чтобы всю ее успела обойти сенсационная весть.

Говорили о совершенно небывалом в Москве происшествии, настолько небывалом при общем затворничестве московских женщин, что, казалось, такого случая и быть бы не могло.

Какая-то боярышня, очень красивая, но не из богатых и в Москве никому не ведомая, когда проходил крестный ход, взглянула на юного царевича Федора Алексеевича, громко вскрикнула и упала без чувств. Ее крик услыхал царевич, и, нарушая благочиние,— чего также никогда не бывало,— оставил крестный ход и бросился к юной красавице на помощь. Однако он только мельком взглянул на нее. Началась вполне понятная суматоха. К месту происшествия кинулась толпа; никто ничего не знал толком, но говорили все. Произошла беспорядочная толкотня, едва не помяли неосторожного царевича, и, пока народ толпился, кричал и суетился, кто-то выхватил и унес бесчувственную девушку.

Когда наступило некоторое успокоение и кое-как был водворен порядок, боярышня как в воду канула. Никто не знал, чья она, откуда взялась, с чего это ее дурман мог взять. Рассказывали только, что кроткий царевич был весь бледен, как полотно, а потом вдруг стал необычайно гневен, когда ему сказали об исчезновении никому неведомой красавицы.

Однако, кое-как совладав с собою и подавив волнение, царевич занял свое место в крестном ходе и проследовал с ним; но все заметили, что он был необычайно рассеян и даже небрежно относился к церковной службе.

Действительно, еще никогда во всей свой жизни Федор Алексеевич не переживал таких минут, таких острых и непонятных ощущений, какие пришлось ему испытать в эти немногие часы. Несмотря на то, что был день, а не ночь, прежние «греховные» мысли не оставили его. Напротив того, они еще более будоражили его душу, жгли, как огнем, его мозг.

То, что он подсмотрел, вернее, подслушал в заброшенной беседке сада, волновало его кровь, заставляло сильно биться его сердце. Разговор с могучей сестрой не успокоил, а распалил его еще более. Он понял, убедился, что действительно есть на свете могучая сила, заставляющая людей в бесконечном страдании находить неземное счастье. Это было совершенно новым для него вопросом, полным всевозможных загадок. Он думал об этих загадках во все утро этого дня, думал, шествуя за крестным ходом, думал как раз в то время, когда совсем близко от него неожиданно раздался громкий женский вопль.

Этот вопль был настолько неожиданным, царевич расслышал в нем столько новых для себя, разнообразных звуков, что положительно не отдавая себе отчета в своих поступках, забыв, что происходит вокруг него, кинулся вперед. Там, среди замершей в исступлении толпы, он увидел мертвенно-бледное, но ангельски-красивое лицо молоденькой девушки, опрокинувшейся на руки заметно перепуганной старушки, голосившей, что было сил в горле, призывая на помощь.

Лицо бесчувственной девушки поразило царевича своей красотой и его черты сильно врезались в память и в сердце. Федору Алексеевичу казалось, будто он видит пред собою сошедшего с неба ангела; он дрожал, как в лихорадке, весь обуреваемый каким-то неизвестным ему, совершенно новым, никогда не изведанным им чувством. Под влиянием — лучше сказать, под внезапным наплывом — этого чувства у царевича вдруг закружилась голова. Он никого и ничего не видал вокруг, пред его глазами было только одно милое лицо с закрытыми под длинными ресницами глазами.

Когда царевич опомнился, красавица уже исчезла. Он даже и не заметил этого и с изумлением глядел на неистово галдевшую толпу, забывшую уже о красавице-девушке и видевшую пред собою близко, совсем близко, своего любимца, царского сына, будущего «великого государя Великия и Малыя Руси».

Опомнившись и видя, что красавицы уже нет, Федор Алексеевич сконфузился. Он заметил, с какой укоризной

смотрит на него духовенство. Кто-то из его среды даже осмелился потянуть его за рукав, понуждая скорее занять место. Царевич не обиделся на это. Он стал на свое место, подал знак, и крестный ход при громких песнопениях двинулся вперед. Навстречу ему несся радостный звон церковных колоколов, тихо качались хоругви, певчие покрывали своими голосами гул толпы, но Федор Алексеевич ничего этого не замечал. Он уже не мог молиться; его думы и помыслы были далеки от небесного, земля всецело завладела им.

Словно в лихорадочном жару он вернулся в свои покои. Первым его встретил «сват Сергеич», на правах близкого больному царю человека постоянно остававшийся во дворце. Когда он взглянул на Федора Алексеевича, то тот прочел в этом взгляде немой укор. Но ему не стало стыдно, как стало бы стыдно прежде. Юноша чувствовал себя совсем другим; в нем словно родился новый человек. Откуда только взялись в дряблой душе силы. Федору Алексеевичу теперь ничего не было страшно...

— Чтой-то, царевич, у тебя за крестным ходом-то вышло? — несколько укоризненно заговорил Артамон Сергеевич Матвеев.— Нешто так возможно царскому сыну? Ведь соблазн-то какой для православного народа!..

Он не договорил. Глаза обыкновенно тихого царевича вдруг блеснули. Словно огонь какой-то загорелся в них. Брови нахмурились, холеные руки в кулаки сжались...

— А ты чего, пес смердящий, на господина лаять вздумал? — напрягая голос, закричал царевич.— Или на наших царских конюшнях батожья мало? Ах, ты, негодник старый!.. Государь-родитель болен, так ты, холопская душа, сейчас и волю забирать. Вон пошел, гадина, чтобы духом твоим около меня не пахло!

В сущности говоря, царевич был смешон в своем гневе. Как-то не шла к нему, кроткому, безобидному, эта гневность. Напускная она была, и это сразу было видно, но Матвеев, более изумленный, чем напуганный, растерялся: чего-чего, а этого он ожидать от Федора Алексеевича не мог.

— Государь-царевич,— дрожащим голосом, страшно бледнея, заговорил он,— верою и правдою многие годы служил я пресветлому родителю твоему и нашему царю-государю, но того не слыхивал. Стар я уже. Пусть великий государь повелит мне отъехать.

Федор вспыхнул еще больше.

— Вон,— затопал он на старика ногами,— вон, чтобы и духом твоим не пахло! Вон, с глаз моих долой!

Матвеев, бледный, весь дрожа и трясясь от гнева и чувства обиды, сделал шаг вперед, в пояс поклонился наследнику и медленно вышел из покоя, не говоря ни слова.

Едва только закрылась за стариком дверь, Федора Алексеевича уже охватила жалость к нему. Ведь этот важный, степенный старик, всеми признанный умница-разумник, преданнейший из преданных его отцу, всегда был ласков с ним, и теперь он, Федя, столько раз засыпавший на его коленах, у его широкой груди, вдруг так дерзостно обидел его! Не будучи в состоянии справиться с собою, царевич кинулся к дверям, распахнул их и по-детски жалобно закричал:

— Сват Сергеич, а сват Сергеич!

Отклика не было — вероятно, обиженный Матвеев был уже далеко.

— Что ж это я наделал, что наделал? — хныкал Федор.— И как это я мог так обидеть Сергеича?..

Но порывы быстро сменялись один другим в слабой душе этого царственного юноши. Скоро чувство жалости, точно так же, как и чувство гнева пред тем, потеряло свою остроту, и Федор Алексеевич забылся в думах о другом — о той красавице-девушке, которую он при таких чрезвычайных обстоятельствах увидел в этот день.

«И хоть бы узнать мне, кто она такая! — раздумывал он.— Если приказать боярским детям разведать, так сейчас по всей Москве гомон пойдет. Скажут: вот царевич-наследник для забавы себе честную боярышню облюбовал. Нехорошо это! Да ежели и сыщут ее... любочку мою,— мысленно произнес никогда еще не приходившее ему на ум слово царевич и при этом вдруг покраснел,— так не скажут, кто она и как ее имечко: Матвеев запретит, он теперь на меня в яром гневе. А узнать нужно: людишки при царе-государе дотошные, одни дядья Милославские чего стоят — изведут милую... у них и яды всякие, и приспешников куча. Так как же быть? Да что я, забыл! — вдруг встрепенулся царевич.— А князь Василий-то? Он — такой ухарь, что все ему нипочем. И меня-то он, кажись, полюбил. Ой, разве пойти к иноку Симеону в келейку? Сказывал я князю Василию, чтобы он пришел туда для беседы. Ой, пойду! Сергеич, поди, теперь, батюшке на меня жалится, так, пока не призвал родитель к ответу, нужно поскорее это дело справить».

Предвидя неприятный разговор с отцом, царевич засуетился. Он послал сказать, что идет навестить своего учителя, и сам сейчас же двинулся вслед за посланцем. Как раз навсегда было уговорено, веселый монах-поэт спешил

пред приходом царевича покинуть свою келью, наскоро приведя в ней все в порядок и довольно неделикатно вытолкав в потайной ход рыжую краснощекую девку, подобранную им где-то в Москве и частенько появлявшуюся у него на целые ночи для выслушивания смиренных и отеческих наставлений. Он же послал в покой князя Василия, и тот явился к нему, как то было приказано царевичем.

— Слышал, поди, княже, что приключилось-то со мной на крестном ходу? — начал свои объяснения Федор Алексеевич.— Вот и прошу я тебя, как собиного друга своего, сделай мне милость...

— Приказывай, государь! — отозвался князь.— В чем твоя воля? А я, холоп твой, не щадя живота своего, все исполню, как сумею...

Федор Алексеевич, краснея, путаясь в словах, разъяснил про свой случай, а потом высказал свои соображения относительно того, что может ожидать бедную девушку. Князь Василий сосредоточенно выслушал рассказ царевича, а затем воскликнул:

— Э-эх, сам знаю, как ущемить может душа красная девица сердце доброго молодца! Ладно, царевич, сослужу я тебе службишку. Но и ты меня не забудь: помоги мне раздобыть мою лапушку...

Появление царского стольника оборвало беседу. Царь Алексей Михайлович настоятельно требовал к себе своего наследника-сына.

— Иду, иду, сейчас! — засуетился не на шутку испугавшийся царевич.

По дороге к опочивальне отца ему преградил дорогу внезапно выступивший словно из-под земли отец Кунцевич.

— Ваше высочество, одно слово,— заговорил чуть не шепотом иезуит.— Запомните: молодая девушка, привлекшая ваше внимание своим обмороком на площади,— дочь чернавского воеводы Семена Грушецкого. Зовут ее Агафьей. Сообщаю вам это, чтобы вы понапрасну не мучили себя.

XLIII

СУЖЕНЫЙ

Имя Ганночки Грушецкой ничего не сказало царевичу: Федор Алексеевич никогда такого имени не слышал и понятия не имел, что за чернавский воевода есть такой на Руси; но опять забилось его сердце. Ранее, чем он мог

ожидать, исполнилось его желание: он знал имя поразившей его девушки.

Словно в сон погрузился царевич. Он забыл, что идет к отцу и что там ему придется расплачиваться на невольную гневную вспышку. Сладостные мечты осенили его, и он вдруг с ужасающей ясностью понял, что он, слабый, тщедушный юноша, любит, любит вот так же, как любит Ваську Голицына его сестра Софья, как любит князь Василий Агадар-Ковранский свою исчезнувшую разлапушку.

Даже пред разгневанным отцом юный царевич не расстался со своими думами. Вряд ли он слышал, что говорил ему отец. И гневные, и убеждающие слова пролетали мимо, скользили только по его возбужденному мозгу, не оставляя в нем по себе следа. Машинально, как заведенный автомат, повинуясь отцовскому велению, подошел царевич к «свату Сергеичу», машинально взял его руку и так же, не думая, что он делает, хотел поцеловать ее, но словно сквозь туман приметил, что Матвеев не допустил его до этого поцелуя.

Артамон Сергеевич, всхлипывая от рыданий, опустился пред юношей на колена и осыпал поцелуями его руки. Хитрый царедворец знал, как должно было ему поступить, чтобы наверняка заслужить расположение царя.

Федор Алексеевич не отнимал своих рук. Ему было все равно — самому ли целовать чьи-либо руки или принимать чужие поцелуи. Так же безучастно, словно сам не свой, облобызал он руку родителя, в пояс поклонился Матвееву и ушел, причем тотчас же позабыл все, что происходило в опочивальне.

«Агафья, Агаша, Ганночка,— так и вертелось в его голове милое имя.— Чернавский воевода Семен Грушецкий!.. Ну, сыщу теперь, да, сыщу... Узнаю все, увижу ее... Может быть, и она меня полюбит!..» — думал он.

Старый иезуит был прав. Он с неутомимой энергией держал в своих цепких руках нити этой грандиозной интриги и знал многое, чего не видели другие.

Молодой красавицей, упавшей в обморок, когда мимо нее проходил крестный ход, была действительно Ганночка Грушецкая.

Сильно был перепуган ее отец, Семен Федорович, выходкой Агадар-Ковранского тогда, в Чернавске. Чего-чего, а этого он уж никак не ожидал от князя Василия. Выходка была ни с чем несообразна по своей дикости.

В глубине своей души Семен Федорович в то время был рад примирению с Агадар-Ковранским: ведь князь Василий был завидной партией для его красавицы Агаши; но

после того, что выкинул князь в Чернавске, старик оскорбился, сообразил, сколь дик был этот добрый молодец и решил, что «слава Богу, ежели Василия прочь отнесло».

По общественному и материальному положению род Грушецких был гораздо ниже рода Агадар-Ковранских, и вот, боясь новых диких выходок со стороны князя Василия, он и увез от него свою красавицу-дочь.

Однако в Москве Грушецкому совсем не повезло. Не исполнилась ни одна из его «золотых надежд». Он появился в столице как раз в разгар болезни Тишайшего. Совсем не до того было его весьма немногочисленным «богомольцам и радельцам», а потому о представлении государю нечего было и думать. Нужно было беречь свое положение чернавского воеводы. И вот Семен Федорович тихохонько, смирнехонько проживал в Москве, где у него был свой домик.

Он старался быть тише воды, ниже травы, боясь привлекать к себе внимание, особенно после того, как узнал, что в Москве появился и князь Василий, сразу же заявивший о себе несколькими буйными выходками, о которых заговорила вся людная столица.

В это время при Семене Федоровиче была уже его Ганночка.

Страшась, как бы она не встретилась с буйным, диким князем, Грушецкий держал дочь взаперти, чуть не «под затворами». И вот в это время около него появился отец Кунцевич.

Воевода издавна привык к этому черному воронью католичества. Еще в Москве он перевидал его многое множество, да и не совсем чужими были они ему, потомку польского выходца. Их религия была религией его предков, их идеалы ярко сияли еще прадеду Семена Федоровича; притом же он считал представителей этого черного народа людьми умными, всякою премудростью книжною богатыми.

Конечно, отец Кунцевич ничего не сказал ему о своей близости к князю Василию; он отрекомендовался воеводе как лицо, близкое к польскому магнату Разумянскому. Когда же Грушецкий узнал, что отец Кунцевич тайно лечит больного царя, то все в нем так и всколыхнулось, иезуит стал казаться ему драгоценностью: ведь через него можно было попасть и в близость к великому государю!

Отец Кунцевич действовал, преследуя свою цель. Он, пожалуй еще более ревниво, чем отец, сберегал Ганночку от встречи с князем Василием, потому что такая встреча была вовсе не в его планах, и тщетностью своих поисков

Агадар-Ковранский был более всего обязан стараниям своего друга-иезуита.

О, если бы он только мог знать это! Но князь Василий даже не подозревал подобного коварства. Он всецело вверился отцу Кунцевичу и ответил бы смехом тому, кто сказал бы, что его черный друг «дьяволит» против него, князя Василия.

Иезуит быстро и легко сумел втереться в доверие и к Ганночке. Молодая девушка перестала бояться его и теперь уже любила беседовать с ним. Отец Кунцевич знал, чем пленить юное девичье воображение. Он рассказал Ганночке о великолепии придворной жизни, о блеске, постоянно окружающем королев и цариц. Кое-что знала об этом и сама Ганночка, но теперь рассказы отца Кунцевича воссоздали в ее воображении весь блеск дворцов, всю пышность и могущество царской жизни.

— Хоть один малый денек пожить так-то! — простодушно восклицала молодая девушка.

Отец Кунцевич улыбался и обыкновенно отвечал:

— Все, дитя мое, в наших руках. Господь дал человеку свободную волю, а Сын Божий сказал: «Просите и дастся вам!»

Он незаметно для Ганночки вселял в ее душу убеждение в том, будто она рождена быть царицею, и с легкомыслием юности молодая девушка уверила самое себя в этом. Нередко она даже сама себя видела на троне, но — увы! — ей рисовались польский, французский троны, а никак не свой, московский.

Но и это явилось в результате бесед с иезуитом.

«Уж если бы я только стала на Москве царицею,— не раз думала девушка,— завела бы я свои порядки... Не хуже бы французской королевы сумела бы показать себя!.. Да не бывать мне на престоле,— вздыхала она,— где уж!»

Она вздыхала, горевала и все чаще и чаще ей вспоминался сон-гаданье в подземелье Агадар-Ковранского в ту смутную ночь, которую она провела в его прилесном доме.

Зюлейки уже не было с ней. Молодая персиянка сперва затосковала в скуке московской замкнутой жизни, а потом ушла. Дикий зверек не перенес московской лютой неволи. Они никому не сказала, куда уходит, и даже не попрощалась ни с Ганночкой, ни со стариком Грушецким, всегда относившимся к ней ласково. Много спустя Ганночке сказали, что Зюлейка живет на польском подворье и не нахвалится своею жизнью. Об этом узнал и Семен Федорович и строго приказал дочери даже никогда не вспоминать о своей подруге. Ганночка подчинилась отцовскому прика-

занию, но жить ей стало так тоскливо, что, просыпаясь утром, она не знала, как ей дождаться темноты, чтобы во сне забыть свою скуку.

Не зная, чем наполнить свое время, Ганночка пошла посмотреть на крестный ход, проходивший неподалеку от их дома. С ней, как и всегда, отправилась проводить ее и присмотреть за нею, как бы кто не обидел, ее старая, быстро одряхлевшая нянька.

Веселый летний день радостно отзывался в юной душе Ганночки. Солнце так ясно горело на небе, такие веселые его лучи лились на землю, что девушка не чувствовала обычной тоски. Давно она не была на людях, а теперь вокруг нее неумолчно гудела, волновалась оживленная, празднично настроенная толпа. Звон колоколов мощной волной вливался в этот веселый шум. Ганночка слушала его, и все веселее и веселее становилось у нее на сердце. Вот заблестели на солнце хоругви, послышались протяжные песнопения. Крестный ход надвигался все ближе и ближе. Толпа вокруг Ганночки заволновалась, загудела все сильнее, потом вдруг стихла, как будто на огромной площади, которую пересекал крестный ход, никого не было.

— Царевич,— пронесся тихий шепот,— вместо государя-царя за крестным ходом...

Ганночка вся обратилась в зрение. Она еще никогда не видала никого из царской семьи, и женское любопытство всецело овладело ею.

«Где же, где царевич? — спрашивала она самое себя.— Хотя бы глазком взглянуть на него, каков он таков?»

— Вон, вон он, государь наш батюшка,— словно угадывая мысли Ганночки, зашептал кто-то около нее.— Да какой же щупленький он! Будто и не добрый молодец, а красная девица, прости Господи! Где уж такому-то с волками Милославскими да голодными псами Нарышкиными будет управиться?..

— Сгрызут они его,— подхватил эту мысль сосед говорившего,— как пить дать, сгрызут... И не подавятся, ироды.

— Где, где царевич-то? — волнуясь, спросила Ганночка у соседа.

— Да вот видишь, боярышня,— последовал ответ,— вот тот, хорошенький-то...

Ганночка взглянула и обомлела. Совсем-совсем близко от нее был тот царственный юноша, на которого чары старой Аси указали ей, как на суженого.

Да, да, это — он, девушка узнала его. Тогда она видела призрак, теперь же пред ней был живой человек. Так вот

ее суженый, вот кого приготовила ей судьба! Господи! Да он глядит, глядит на нее, на Ганночку!..

Девушка не выдержала внезапно овладевшего ею волнения; голова закружилась, дыхание сперло, и она лишилась чувств...

Пришла в себя Ганночка же дома. Около нее хлопотали, приводя в себя, мамка и горничная девка.

Старушка, заметив, что Ганночка очнулась, накинулась было на нее с вопросами. Она не постигала, что случилось с ее питомицей; казалось, не произошло ничего такого, из-за чего девушка могла бы чувств лишиться. Но что ей могла ответить Ганночка? Она и сама не понимала, что довело ее до обморока; она только чувствовала, что ее сердце так и замирает, а неясные, но светлые грезы роем витают вокруг, будя в ней надежды на неведомое счастье...

Скоро после того мрачнее непроглядной зимней ночи вернулся домой и Семен Федорович. Он уже слышал про случай на крестном ходу, и кто-то даже сказал ему, что это его дочь упала в обморок при виде царевича. Поэтому, придя домой, он сейчас же призвал к себе ее мамку.

— Вот что, старая,— тоном приказания сказал он ей,— нужно Агашку вон из Москвы убрать, иначе худо будет. Вор Агадар-Ковранский, Васька, как волк, кругом ходит. Сам я видел, как он побоище устроил с поляками пана Разумянского. Здорово ему, негоднику, попало, да жаль, что мало. Так вот и приказываю я, чтобы в ночь вы все в Чернавск убрались... Слышишь?

— Слышу, батюшка,— ответила мамка,— все по-твоему будет.

— То-то, ступай, собирайся!

Но не одного князя Агадар-Ковранского страшился старый Грушецкий.

«О-ох,— думал он,— сказывают, что сам царевич Агафью увидал. Вот в чем беда-то! Прознают о том Милославские, побоятся, что он Агашу супругою себе возьмет, и сживут ее раньше времени со света белого!»

XLIV

НА ЦАРСКОЙ ЧРЕДЕ

Мелкое личное дело чернавского воеводы скоро потонуло в налетевшем вихре таких дел, которые закружили все государство с неокрепшей еще на престоле династией Романовых.

Московскому царству грозила смута, и только уважение к дышавшему на ладан Тишайшему сдерживало бояр, в особенности Милославских, эту отчаянную свору гилевщиков и смутьянов, в беспредельном своеволии, в их неудержимом стремлении к совершенно ненужным интригам и проискам.

Как ни «горазд тих» был великий государь царь Алексей Михайлович, а дворцовые интриганы все-таки не на шутку побаивались его. Они хорошо знали, что у этого кроткого человека под напускной мягкостью были скрыты такие «ежовые рукавицы», что даже им боязно было открыто супротивиться его царской воле. палачей в застенках у Тишайшего было много, а леса вокруг Москвы на виселицы для грызшейся боярской клики стояло видимо-невидимо.

И сдерживались всякие смутьяны, рассчитывая, что свое они наверстают, когда после смерти «горазд тихого» царя станет на царство его болезненный, с дряблой душою, сын-наследник Федор Алексеевич.

А бедный цесаревич растерялся, когда ему волей-неволей пришлось заменить страждущего отца во всех его государственных делах. От природы он был сметлив и, присутствуя с отцом на суждениях по докладам бояр, царевич сумел приглядеться к механике царского дела. Он был достаточно образован и начитан, чтобы суметь сделать верный вывод из того, что ему говорили, и подобрать наиболее подходящее решение, но врожденное безволие всегда давало себя знать.

Царевич, а впоследствии и царь, не мог не согласиться с тем, что ему подсказывали. Он никогда не был в состоянии поставить на своем, и в результате часто в один и тот же день, а иногда в один и тот же час, являлись совершенно противоречащие, уничтожавшие друг друга царские резолюции.

Это вносило и распаляло смуту. Каждый «на законном основании» делал то, что ему было угодно. Частенько выходили драки и потасовки между мелкими агентами высшей власти, приводившими по одному и тому же делу различные законы и не знавшими, как им иначе разрешить явное недоразумение. Приближенные к царю пользовались безволием Федора Алексеевича с грубой беззастенчивостью. Бывали случаи, что «царского великого жалованья» удостаивались заведомые воры и тати, пытанные в застенках, иуды-предатели народные, а в то ж время добрые и честные или на за что ни про что попадали в застенки, или ссылались в дальние города. Все это сеяло смуту; народ волновался, видя явную неправду. Разнуздавшиеся насильники-бояре бросались с царским войском «укрощать» его. Происходило избиение невинных. Развращалось стрелецкое войско: стрельцы, участвуя в экзекуциях за не совершенные народом преступления, привыкали к своевольству, чувствовали, что они — сила, и среди стрелецких слобод уже зрело семя тех кровавых бунтов, которые вскоре потрясли неокрепшую еще Россию.

Тишайший царь-государь Алексей Михайлович скончался 29 января 1676 года, горько оплакиваемый народом и всеми, кто в его царстве был неподкупно честен. Те же, кто был безудержно своеволен, для кого великое государство было только «дойною коровою», кто грабеж народа ставил в доблесть,— те не плакали, а были веселы; для этих мерзких котов наступала широкая масленица.

И действительно, сейчас же, как только успели похоронить Тишайшего, вокруг молодого царя началась неистовая вакханалия сильно разнузданного своевольства. Насильники и грабители Милославские, пред которыми их предшественники Стрешневы оказались «мальчишками и щенками» в деле всякого грабительства народа, неистовствовали вовсю. Не было такого грабительского дела, на которое они постыдились бы пойти.

Царь Федор любил своего брата Петрушу — огневого, хотя болезненного мальчика, а своевольствовавшие бояре заставили государя отослать Петра в Преображенское на житье, с приказом не появляться на Москве.

«Сват Сергеич», этот любимый покойным царем человек, осмелился после кончины Алексея Михайловича заикнуться о том, что покойный желал, чтобы ему, вместе с сыном Федором, наследовал и сын Петр. Матвеев только передал предсмертное желание царя и очутился под опалой в Пустозерске.

Охраняя возможность своевольничать и угнетать народ, Милославские заподозрили в ковах против себя духовного отца юного царя, безобидного попа Андрея Савинкова, и духовный сын упрятал его, по их настоянию, в Нижнеозерский монастырь. Даже одряхлевший в Ферапонтовом монастыре бывший патриарх Никон, жертва интриг объединившихся Стрешневых и Милославских, казался последним опасным, и юный царь, по их настоянию, перевел его в Кирилло-Белозерский монастырь, что было равносильно чуть не убийству знаменитого государственного деятеля, сотрудника его отца. Всюду были видны следы губительного влияния Милославских. Они разжигали гили, вели народ с челобитными к царским палатам и тут приказывали стрельцам уничтожать людей, не замышлявших ничего дур-

ного. Волнение разрасталось, день ото дня увеличивалось недовольство молодым царем. Да и немудрено: ведь все преступления бояр совершались от его царского имени.

Бедный одинокий царь вряд ли соображал это. Он верил тому, что ему нашептывали его мерзавцы-родственники, и отдавал приказы, не размышляя, какое впечатление произведут они на массы. Если бы только знал он, каково от таких его указов народу! Но он не знал этого, даже не думал, что его инициатива может иметь иные последствия, чем он предполагал.

Увлеченные своим могуществом, вернее — возможностью своеволия, Милославские, разогнав всех, кто был им страшен, все-таки проглядели, что года через три после восшествия на престол у юного царя появились друзья, верные, преданные, полюбившие его как человека, не искавшие у него ничего, а по-своему желавшие добра и родной стране, и родному народу. Это были царский думский постельничий Иван Максимович Языков и стольник Алексей Тимофеевич Лихачев.

Это были пожилые, серьезные русские люди, с большим жизненным опытом и порядочною по тому времени образованностью. Языков был видным московским юристом: при царе Алексее Михайловиче он был первым судьею Большого дворца судного приказа, нечто вроде современного министра юстиции. Стольник Лихачев бывал с посольствами за рубежом и даже ездил в Италию к «флорентийскому дуку с государя-царя благодарностью». Это был русский патриот до мозга костей, из числа тех, которые выдвигают Сусаниных, тех, величавый образ которых создала чистая, как кристалл, фантазия народная. Алексей Тимофеевич был историком, и у него немало сочинений исторического характера, к сожалению, ныне не сохранившихся.

Оба этих умных и честных человека, приблизившись к юному царю, незаметно, но быстро открыли ему глаза на то, что творилось вокруг, открыли умело, не наставляя и не поучая его, а заставляя его самого увидеть то зло, какое расплодили вокруг неистовые Милославские.

Мало-помалу влияние Языкова и Лихачева на царя все росло, а Милославские не замечали этого: вероятно, царские дяди и не догадывались, что можно любить родную страну, а не грабить, как грабили и душили ее они.

Был и третий близкий человек у юного царя: все тот же постоянно тихий, скромный, державшийся всегда в стороне иезуит Кунцевич.

Теперь никто не узнал бы в нем прежнего отца Кунцевича. Иезуит носил московское платье, отпустил себе по-

московски бороду и волосы. Словом, внешним видом он не напоминал бесстрашного воина черной рати Игнатия Лойолы, а казался заурядным москвичом, человеком, который не в состоянии и воду замутить.

Милославские его-то совсем просмотрели, лучше сказать, даже и не видели его.

Между тем отец Кунцевич был ближе всех к царю Федору. Их свидания происходили почти тайно. Бесшумно скользила темная фигура по тайным дворцовым переходам, проникала, никем не замеченная, в царскую горенку, где и затягивалась их долгая-долгая беседа.

Языков и Лихачев знали об этих посещениях, но никогда не препятствовали им. Отец Кунцевич незаметно успел очаровать их и привлечь на свою сторону, и они сами очень любили беседовать с умным, всесторонне образованным иезуитом.

Между тем в конце четвертого года своего царствования царю Федору несладко пришлось от своих «дядьев». Милославские решительно принялись за него, заставляя жениться.

— Да что же это такое? — настаивали то тот, то другой, налетев на юного царя.— Ведь ежели царь холостой, то добру от того не быть. Сколь еще времени престолу наследника законного ждать? Что и будет только, ежели нарышкинский выпороток на престол сядет? — стращали они царя ненавистным для них, но не для него, царевичем Петром.— Жениться тебе, государь, нужно и откладывать женитьбу не нужно. Нечего откладывать! Соберем невест, такие кралечки на примете есть, что так ты и растаешь, яко воск от лица огня!..

Но, сколько ни приставали дядья, царь в этом вопросе не уступал.

— Рано еще,— отвечал он,— поживу так! А что до невесты, царицы вашей будущей, так я и без смотрин себе супругу найду.

Дядья пытались выспрашивать, кто именно — избранница царского сердца, но юный царь упорно молчал. Знал он, где живет его лапушка, да сказать боялся. В этой боязни поддерживал его и отец Кунцевич, справедливо указывая на печальный пример Евфимии Всеволожской. И в самом деле, от Милославских всего можно было ожидать. Но время все-таки шло, женитьба становилась уже необходимостью, долее тянуть было нельзя. Не знал Федор Алексеевич, как поступить ему тут; и опять к нему пришел на помощь его любимый советчик отец Кунцевич.

— Вызови, государь, чернавского воеводу,— присоветовал он,— как бы для твоего государева дела, да предупреди, что, может быть, назад в Чернавск он и не вернется, вот он и приедет тогда с дочкой своей...

Такой совет пришелся по душе юному царю. Он через Кунцевича знал многое о Ганночке,— знал о том, что она отказывается замуж идти, и жалобно замирало его сердце, когда он думал:

«Не из-за меня ли!»

XLV

ЖДАННЫЙ СВАТ

Разве только сердце подсказало бы юному Федору Алексеевичу, если бы он увидел Ганночку теперь, спустя четыре года, что эта пышная красавица — именно та девушка, почти девочка, только что распустившаяся из подростка, которую он видел в памятный день крестного хода.

Ганночка давно похорошела в эти быстро промелькнувшие годы. Не одно мужское сердце сохло по ней, да и старик Грушецкий был без ума от красавицы-дочери. Одно печалило и сушило его: много славных и богатых людей сваталось за его дочку, но она наотрез отказывалась идти замуж. Семен Федорович голову терял в догадках, с чего бы это, однако не настаивал. Дочь он растил не по-московски, а свободно, не стесняя ее девичьей воли. Он всегда оберегал ее от всяких бед и, если бы избранник Ганночки вдруг оказался недостойным ее, Семен Федорович, вернее всего, не дал бы своего благословения, но в том, что «девка подрасти хочет», он ничего особенного не видел: старик был уверен, что его ненаглядная дочка вековушкой-перестарком не останется.

— Ой, милая,— иногда попугивал он Ганночку,— будешь разборчива не в меру, как бы вековушей тебе не остаться? Бывает с вами, девками, это.

— Не бойся, батюшка, не останусь,— бойко и задорно отвечала Ганночка.— Придет, родимый, и мне череда...

— Ой, девка,— покачивал головою старик,— ждешь ты кого-то, вижу я это.

— Жду, батюшка...

— А кого? Которого короля или пана?

Ганночка смеялась в ответ, кидалась на шею отцу, душила его в своих объятиях и тихо шептала ему на ухо:

— Уж такой-то мой суженый-ряженый, что ты, батюшка родимый, ахнешь, когда про него узнаешь!..

Старика эти постоянные ответы дочери приводили в удивление.

«Ну, уж и народ пошел! — думал он, раскидывая мыслями о том, кого это готовит ему в зятья его дочка.— Ведь вот и девки, а на все сами лезут. Нет того, чтобы, как прежде, отцы их замужеством располагали да мужей им выбирали... О-ох, отживают старики свой век!»

Сколько он ни ломал головы над мучившим его вопросом о замужестве дочери,— ответа все не было. Не было даже малейших указаний, кого наметила себе в мужья красавица Ганночка.

Иногда он вспоминал об Агадар-Ковранском, но о последнем не было ни слуха ни духа: он словно в воду канул после того, как подрался в Москве с паном Мартыном Разумянским, и, где он был, что с ним,— никто не знал. Семен Федорович даже подсылал своих людишек в его лесное поместье к старушке Марье Ильинишне, но и там ничего не знали о князе Василии. Впрочем, там не особенно беспокоились, так как хотя и не частые, но зато долгие, длившиеся годами отлучки князя бывали и ранее.

Один только раз мелькнула у старого Грушецкого надежда на то, что его любимица-дочь покончит со своим девичеством...

Пан Мартын Разумянский заслал было свата, вернее — посла, который прежде всего должен был разведать, как принято было бы его сватовство. Партия была и подходящая, и желательная для Грушецкого. Ему, потомку польского выходца, не противна была «крыжацкая вера», да и сама Ганночка как будто серьезно отнеслась к этому брачному проекту.

Но тут, будто прознав о сватовстве, вдруг явился в Чернавск отец Кунцевич. Он нередко наезжал к воеводе, и дружба между ним и Семеном Федоровичем поддерживалась по-прежнему добрая. Конечно, старый Грушецкий поспешил высказать иезуиту свои мысли о возможном и желательном союзе.

— Так уславливается,— рассказывал он,— пусть они здесь повенчаются по нашему обряду, а как уедут в Польшу, на них моя воля кончается; тогда пусть дочь, ежели пожелает, в вашу крыжацкую веру идет. Я погляжу, погляжу, да и сам за рубеж отъеду. Делать мне здесь нечего. Видно, службишка моя и молодому царю не нужна, как и его батюшке, царство ему небесное, вечный покой!

Отец Кунцевич, слушая его, головою покачивал.

— Не делай этого, воевода,— серьезно ответил он,— веры все одинаковы, кто в какой родился, тот в ней и оста-

вайся. Да притом же, кто кроме Господа будущее знает? Вон царь молодой жениться хочет, собирать невест будет. Или тебе царским тестем стать неохота?

— Куда уж нам? — махнул рукою Грушецкий, а у самого словно маслом душу полили.

Ганночка тоже беседовала с иезуитом, о чем именно, старик не знал, но после этой беседы она наотрез отказалась от замужества с Разумянским, и подосланный разведчик уехал из Чернавска ни с чем...

Снова потянулся день за днем; снова беспокойство о судьбе дочери-упрямицы мучило состарившегося воеводу.

Вдруг в Чернавск прибыл из Москвы царский посланец, да не простой какой-нибудь, каких обыкновенно посылали, а сам думский стольник Алексей Тимофеевич Лихачев, ближний к царю боярин, свой человек в его покоях.

С великой честью постарался встретить его чернавский воевода. Ему никогда столь близко и быть не приходилось от царедворцев, а тут — накось! — эдакая особа у него в хоромах очутилась.

Алексей Тимофеевич держался важно, но был ласков. Грушецкий и не знал, что это может значить. Он смекал, что неспроста явился боярин, но спрашивать не осмеливался и с замиранием сердца ждал, что скажет ему царский посланец.

А тот медлил, и в конце концов старик заметил, что слишком уж пристально приглядывается боярин к его Ганночке, и не всегда пристойно приглядывается, как будто мысленно проникает своим взором во все, что ее наряды скрывали от взгляда мужского.

Такое разглядывание несколько оскорбляло старика Грушецкого, но делать было нечего: слишком уж высоко поставлен был думский стольник Лихачев, чтобы смел на него обижаться какой-то захолустный воевода.

Несколько дней Лихачев молчал о цели своего приезда; но наконец настал такой момент, когда важный царедворец, многозначительно крякнув и лукаво подмигнув Семену Федоровичу, произнес давно жданное:

— А ну, воевода, поговорим по душам!

Грушецкий даже побледнел от волнения, когда услышал эти слова. Он понял, что их разговор будет весьма серьезным. Лихачев потребовал, чтобы ни одна живая душа не слыхала, о чем они будут беседовать.

— Так вот что, воевода,— заговорил первым боярин Лихачев, и тон его голоса стал весьма серьезен: — Поди, смекнул уж ты, что неспроста я к тебе в Чернавск припожаловал.

— Думалось мне о том, боярин дорогой,— простодушно ответил Грушецкий,— невдомек мне только было, какое у тебя столь важное дело ко мне случилось...

— А вот послушай какое. В Писании сказано: последние да будут первыми. Нужно тебе на Москву собираться.

— А зачем, милостивец? — воскликнул Грушецкий. — Что мне там делать, если служба моя государю царю не нужна?

— Постой, не пой! Говорю, что нужно, так нужно. Ну, не буду обходами лясить. Только пока молчок обо всем, что скажу, не то все дело попортишь. Ведь злых людей в наши времена много. Так, о чем бишь я? Да, на Москву тебе надобно, и не одному: дочку вези с собою! Счастье великое вам, Грушецким, привалило: восхотел великий государь твою Агафью в супруги для себя взять!

Когда прежде мечтал об этом самом Семен Федорович, то у него слюнки от счастья текли и душа восторгом наполнялась, а теперь, когда мечты наяву сбывались, он до крайности испугался.

— Да за что же мне такое-то? — воскликнул он.

Алексей Тимофеевич засмеялся и спросил:

— Или не любо? Брось, воевода, не притворствуй! Коли счастье привалило, хватай его. Ну, да любо или не любо, твое дело, но воли твоей в том нет. Приедешь в Москву, будто по царскому вызову о здешней службе, а там сейчас твою Агафью в терема возьмут, будет она сказана царской невестой и станут ее готовить к брачному венцу.

— Как Рафову дочку! — невольно вырвалось восклицание у Грушецкого, вспомнившего печальную участь Евфимии Всеволожской.

Лихачев заметно нахмурился.

— Брось скулить! — с досадой произнес он.— Тогда одно было, теперь другое. Под особливой охраной дочь твоя будет: сам я да думский стольник Иван Максимов, сын Языков, беречь ее будет. Ты только сам пока не болтай, а то пожалуй Евфимьину участь и в самом деле накликаешь. Ну вот, сказал я тебе, что надобно. А свадьбу скрутим живо; враги-нахвальщики и глазом не моргнут, опомниться не успеют, как станет твоя дочь над нами царицею, а тогда им ничего не поделать...

— Так ты, боярин, царским сватом, что ли, приехал?

— Сватом не сватом, а одни лишь вороны прямо летают,— уклонился от прямого ответа Алексей Тимофеевич.— Ну, коли сказ кончен, так и ко щам идти надобно, у тебя их вкусно готовят...

Как сонный, повел Семен Федорович посланца-свата в столовую; в глазах у него стлался туман, мозг так и зудила неотвязная мысль:

«А что, если и теперь Ганночка заупрямится?»

Но этого не случилось, и сильно удивлен был этим Грушецкий.

Вопреки приказу боярина Лихачева, он в тот же день рассказал дочери, в чем дело и какую участь приготовила ей судьба. Так и вспыхивало лицо девушки, когда она слушала отца, глаза блестели, а высокая грудь так ходуном и ходила. Вдруг она кинулась на шею отцу, прижалась к его широкой груди и сквозь слезы залепетала, чего Семен Федорович и ожидать никак не мог:

— Батюшка дорогой! Да ведь Феденька-то мой и есть тот самый суженый и ряженый, о ком я тебе столь много раз говорила.

Тут уже старик от изумления руками развел и только и нашел, что сказать:

— Ну и девки же ноне пошли! Сами себе женихов добывать начали! Последние времена пред антихристовым в мир пришествием!

Как чудную сказку слушал он, что дальше рассказывала ему дочь. А она не скупилась на подробности. Поведала она батюшке, что нагадала ей старая ведьма Ася в ту ночь, когда она пришла к ней в погреб в доме Агадар-Ковранского, рассказала, что и в обморок-то она упала при крестном ходе только потому, что узнала в юном царевиче-наследнике своего суженого-ряженого. Полюбился он ей, и ждала она его все эти годы, а ее любовь родилась из жалости.

— Уж больно он несчастненький с вида,— сказала Ганночка в порыве откровенности,— что былиночка придорожная: какой ветер пахнет, туда и клонится. За худобу и убожество полюбила я его, и знала я, сердцем чувствовала, что пришлет он за мной, соколик любимый!

Девушка с такой спешностью и оживлением принялась за сборы, что Лихачев, подмечавший все это, однажды с добродушною, но грубою усмешкою сказал Семену Федоровичу:

— Ишь, воевода, как у тебя девка-то засиделась! Видно, невмоготу стало, так приспичило, что и дождаться честного венца не может.

Все свершилось по плану Лихачева. Он сам сопровождал Грушецких в столицу, а там сейчас же Ганночку взяли в терема, как царскую невесту.

Сильно всполошились царские дядья Милославские, прознав об этом. У них была своя кандидатка в супруги Федору Алексеевичу, и вдруг выходило совсем не так, как они надумали. Их добыча-царь выскальзывала из их цепких рук; интриги не помогали, царь даже и слушать не хотел своих недавних советчиков.

XLVI

ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ГАДАНИЕ

Счастливые дни переживал Федор Алексеевич. Сразу для него наступила радостная весна.

Был апрель. Пышно развертывалась воскресавшая после зимы природа; всюду был дивный праздник воскресения. И в душе царя тоже был праздник воскресения любви.

Да, юный царь Федор Алексеевич любил, любил, как любят только один раз в жизни Страсть уже родилась в его сердце из любви.

Прежние дедовские порядки уже давно были поколеблены. Обычаи соблюдались лишь внешне, московские люди во многом жили по-новому, «по-иноземному», как тогда говорили. Порядки Кукуевской слободы были у всех на глазах, жизнь москвичей быстро менялась, хотя старые устои как будто и оставались, но люди старались не замечать, что они уже подточены мощно врывавшимися в жизнь новшествами и должны были рухнуть, унося с собой в бездну забвения весь старый бытовой строй.

Затворничество женщин существовало только по названию. Московские дамы того времени и флиртовали, и блудили не менее западных женщин. Сохранялось внешнее ханжество и затворничество, а на самом деле под этой маской скрывалась самая разнузданная свобода. Словом, всюду так и веяла все сильнее и сильнее новая жизнь.

Царь также воспользовался такой свободой. В один из прелестных весенних дней он навестил свою невесту, которую до того близко видел всего лишь раз в жизни.

Не как царь-повелитель всемогущий явился к своей невесте Федор Алексеевич, а как трепещущий влюбленный, для которого во всем мире одно только солнце, одно божество, одно счастье — его возлюбленная...

Войдя в покои невесты, он остановился, как вкопанный, и даже зажмурился слегка, словно яркое солнце вдруг ударило ему в глаза.

Неземным существом показалась ему невеста. И сама Ганночка была чудно-красива, а грезы, все эти годы распалявшие царское сердце, придавали ей еще более красоты в глазах царя.

Несколько времени влюбленные смущенно молчали.

— Агаша, милая,— чуть слышно проговорил Федор Алексеевич,— так ты вот какая!

В этих словах, в тоне их слышался неописуемый восторг, и Ганночка женским чутьем поняла его.

— Какой Бог уродил, государь, такая я и есть,— потупясь, кокетливо проговорила она,— не нравлюсь ежели, отпусти меня к родителю!

Она так говорила, а сердце, трепеща, словно шептало ей: «С чего ты? Ведь знаешь, что люба ты ему, пуще всего на свете люба. Чего даром сушишь доброго молодца!»

Федор даже вскрикнул, когда услышал слова Ганночки.

— Бог с тобой, разлапушка ненаглядная! — воскликнул он, подходя к молодой девушке и беря ее за руки.— Ты ли не люба мне! Грех это сказать тебе было бы, если бы ты мне в душу заглянуть могла. С того самого дня — помнишь крестный ход? — неотстанно все о тебе думаю. Как увидел я тебя, так словно разума лишился. Только ты одна пред глазами моими была, во сне мне виделась, на святой молитве чудилась... Ты, только ты! Как ты люба мне, я сказать словами не могу...

Он глядел, любуясь Ганночкой, в ее голубые очи, весь трепетал, как будто лихорадка вдруг приключилась у него; его так и тянуло непреодолимой силой к этой чудной красавице, но в то же время врожденная дряблость отталкивала его прочь, душила его мужскую смелость, и вместо страстных жгучих поцелуев царь чувствовал, как слезы подступают к его горлу.

— Сядем, милая,— с трудом выговорил он, — о многом нам с тобой поговорить нужно.

— Поговорим, государь! — покорно согласилась Ганночка.— Такое мы с тобой дело затеяли, что без разговора нам никак невозможно.

Они сели рядышком, не разнимая рук.

— Спрашивай, государь,— предложила Ганночка,— и верь тому, что таиться от тебя я не стану. Все выложу, что на душе есть. Спрашивай же!

Федор Алексеевич смущенно мялся, не знал, с чего начать разговор.

— Правда твоя,— наконец заговорил он,— такое дело, как мы затеяли, без разговора вершить нельзя, и, прежде чем повершить его, нужно, чтобы наши души были друг

другу известны, как на ладони, а то и лада между нами не будет николи. Так вот какой спрос от меня будет; отвечай, не таись и ничего не бойся! Неволею или волею ты за меня идешь? Люб я тебе или не люб?

— Кабы не люб ты мне был, Федор,— серьезно ответила Ганночка,— так не была бы я здесь вовеки. Никто моей воли в этаком деле не снимал; на рубеже я росла, всегда вольная; если б не люб ты мне был да силком меня к тебе потащили, так на своей косе задавилась бы я, а все-таки тебе меня как ушей своих не видать бы. Вот тебе каков мой сказ на спрос твой!

Глаза молодого царя загорелись.

— А тебе от меня такой сказ будет,— чуть не закричал он.— С той самой поры, как увидел я тебя, полюбилась ты мне... пуще света белого, пуще солнца красного, пуще жизни земной полюбилась. Говорю тебе: сном я засыпаю — ты мне, любезная, мерещишься, будто живая, предо мною стоишь. Не посылал я столько времени за тобою потому, что боялся, как бы вороги тебя со света не сжили. Ой, сколь много зла около нас с тобою, Агашенька, будет... Болото трясинное! А я, видишь, какой? И телом слабый, да и душа у меня совсем не царская. Кабы мне можно было с престола уйти, ушел бы я. Взял бы тебя и ушел бы, куда глаза глядят, только бы от всяческого здешнего зла, да распрей, да грызни подале быть. Тяжко мне, Агашенька, тяжко на великой царской чреде! Один я, никто меня не пожалеет, никто в душу мне не посмотрит!.. Сестры, что чужие, убожеством меня корят, дядья и братья двоюродные — кровопийцы, изверги, своевольники; мачеху с братом и сестрами я по их воле выгнал, а я зла от нее не видывал. Всех, кто любил да жалел меня, я по дальним городам под опалу разогнал и остался один, как олень загнанный, среди волчьей стаи людей. Теперь ежели ты мне жить да царствовать не поможешь, так хоть со света мне долой...

Голос молодого царя перешел в надрывистый крик; горе, обиды, постоянно затаиваемые, так и рвались теперь наружу. И вдруг Федор Алексеевич почувствовал, как две нежные, теплые руки обвили его шею, и теплота молодого женского тела обожгла его. Словно палящий огонь влил в него жгучий поцелуй, первый поцелуй женщины в его жизни!

— Милый, желанный,— слышался ему шепот,— ведь и ты мне грезился постоянно, тебя я ждала все эти годы!.. Какой ни на есть ты, а люб ты мне, как я тебе. И буду я тебе другом из верных верным. Сильна я и духом, и телом;

всех наших врагов мы сокрушим и будет нами народ православный вовеки доволен!

Юному несчастному царю казалось, что он уже не на земле, а высоко-высоко — на седьмом небе; страстные поцелуи пепелили его, кровь бурлила и кипела, дух мутился, дыхание спиралось.

«Так вот она какова, любовь-то! — металась в его голове огненная мысль.— Вот он, Бог-то, страдать заставляющий. И взаправду за такое страдание умереть не жалко».

Еще никогда не изведанное чувство опьяняло юного царя. Роскошное молодое женское тело разливало в нем теплоту жизни. Он слышал и чувствовал, как около его сердца бьется другое сердце, и, опьяненный, забывал все, весь мир, самого себя, в тумане своей первой любви.

А кругом влюбленных мутилась скверная боярская грязца, сгущались тучи клеветы, змеились двуногие ядовитые змеи в горлатных шапках, но пока еще не жалили, а только шипели, чувствуя, что бессильны со всеми своими замыслами. Любовь пока побеждала зло.

Ганночка в семье царя одерживала победу за победой; как-то совсем незаметно она стала большой приятельницей с сестрами царя; даже богатырше-царевне Софье она по сердцу пришлась, хотя вызвала у этой неукротимой девушки весьма своеобразную характеристику.

— Хороша девка, слов нет,— отозвалась как-то с обычной грубоватой прямотою Софья Алексеевна,— и рожей, и кожей взяла, и умом крепка: впрямь умница-разумница. Она у нас царем-то будет, а слюнтяй Федька-брат при ней царицей... Вот помяните мое слово: не он ее, а она его в баню поведет!

На такой отзыв царевны, которая и сама была умницею-разумницею, можно было вполне положиться. Софья по-своему очень любила своего хилого брата, но все-таки не могла простить ему случайное вмешательство в ее сердечные дела. Она не поняла, какой порыв толкнул его на это, не знала, что он сам тогда весь горел жаждою любви, и думала, что он хочет разлучить ее с свет-Васенькой, в котором она с каждым днем все более и более души не чаяла.

Наскоро приглядевшись к невесте брата, она стала по-своему благоволить ей и мощно сдерживала интриганов Милославских от всякого поползновения устранить Ганночку.

Наконец, одна маленькая капелька заставила выплеснуться наружу океаны боярской грязи: Ганночка посетила опальную царицу Наталью Кирилловну. В этом случае она обставила дело умно: сами царевны-сестры посоветовали

ей посетить вдову Тишайшего, но Милославских это как холодной водой обдало, и Ганночка сразу приобрела себе в них заклятых злейших врагов, от которых ей не приходилось ждать пощады.

— Нарышкиница лупоглазая! — говорили потайно царские дядья, строя планы, как устранить прочь девушку — Ишь, какой прыщ вскочил нежданно-негаданно! Засапожный бы ей нож в бок..

— И не пристало ей на московском престоле сидеть,— злобно высказался Дмитрий Милославский,— польского она порождения. Что и будет, ежели царица-полячка над православными воссядет? И так всякого разврата у нас много развелось, совсем в упадке древнее отеческое благочестие, а тут еще всякие новшества пойдут· понедельники, среды, пятницы соблюдать перестанет народ, с женами в баню ходить не будут... Последние времена пред светопреставлением!

— А то еще возьмет царица-то полячка да антихриста породит,— разжигал брата младший Милославский.

— Верно,— ответил тот — Нужно будет о сем на базарных площадях да в стрелецких слободах и в царевых кружалах слух пустить, а ежели не подействует, так другое у меня на примете есть. Как ни вертись полячка оглашенная, а от своей судьбы не уйти ей Не с того, так с этого бока свое получит

Но любовь царя оберегали преданные ему Языков и Лихачев.

Устроено было так, что, вопреки обычаю, Федор Алексеевич был скороспело обвенчан с Агафьей Семеновной. На русский престол воссела царица-полячка, и православный народ радостно принял ее

XLVII

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Сразу повеяло новым духом над Москвою и над Русью после женитьбы царя Федора Алексеевича.

Чуток народ православный, умеет разбираться он в том, кто ему — друзья, кто — враги. Понял он, что молодую царицу Бог ему послал в ограждение от всяких врагов-нахвальщиков да лютых бояр, грабителей и угнетателей.

Ганночку, или теперь уже царицу Агафью Семеновну, все в Москве полюбили, а по ней полюбили царя. Недовольство последним стало уменьшаться в народе, тем бо-

лее что все Милославские притихли, и если грызлись, то только со своими врагами Нарышкиными, которые тоже по большей части попритихли. Это успокоение враждовавших бояр и их приспешников народ приписывал влиянию царицы на своего царственного супруга. Да, пожалуй, так и было. Слабовольный Федор Алексеевич всецело подпал под влияние своей супруги, и права оказалась царевна-богатырша Софья Алексеевна, когда сказала, что царем будет Агафья, а Федор при ней — царицею. Однако царь Федор Алексеевич даже и не замечал, что жена возымела на него столь большое влияние. Если бы кто-либо со стороны сказал ему об этом, он не поверил бы. Умело действовала Агафья Семеновна. Она была истинной хозяйкой в государстве, но, любя своего слабого и хилого мужа, все-таки выдвигала его вперед; и выходило так, что действовал сам царь Федор, и это сильно возвышало его в глазах народа. Он был милосерд: ангельски чиста была его душа, и он действительно стремился сделать счастливым свой народ.

Но влияние разумной супруги сказывалось не в одном этом. В царских палатах завелись многие новшества, которые до того никому и во сне не снились. Многие придворные — и не легкомысленная молодежь, а важные пожилые бояре — стали свои бороды подстригать и табачным зельем в открытую дымить, а кое-кто из них и в короткополое немецкое платье нарядился. Князь же Голицын свой дом совсем на зарубежную ногу поставил и жил не как русский боярин, а как пан-варшавяк какой-нибудь. И пиры у него шли по-заморскому, музыка роговая играла или пляски шли нерусские. На пирах боярские жены всегда присутствовали — и что уже совсем срамно было — так по примеру царевны Софьи Алексеевны и боярские дочери также показывались и по-заграничному веселились.

Все это бояре Милославские пробовали использовать против молодой царицы; они хотя и затихли, а своего дела не упускали.

— Полячка-царица всю святую отеческую веру кочерыжит,— неслось по всем площадям из десятков и сотен уст людей, преданных этому боярскому роду.— Телячьей убоиной царя кормит и под праздники с ним спит. Быть худу!.. Недаром звезда хвостатая по небу бродила!.. Вот она царицу-полячку на нас и намела.

Такие же толки распускались и в кружалах стрелецких слобод,— но — странное дело! — они как будто и не трогали легко воспламеняющейся толпы. Еще совсем недавно Милославским совсем легко удалось поднять буйную гиль из-за сущих пустяков; эта гиль разрослась в крупный бунт,

и даже сам царь тогда был в опасности. Но теперь, что ни говорили разосланные повсюду смутьяны, как ни подстрекали они народ, ничего из этого не выходило.

— Что ж, что она — полячка? — обыкновенно отвечали подстрекателям.— Ведь она и в церковь ходит, и Богу по-православному молится, и память покойного царя-батюшки почитает. Со всей родней царской она почтительна и угодлива, а своих в мироеды-бояре не тянет. Патриарх ею доволен и священство тоже. А ежели у нее что с мужем не так и не по Писанию, так это — их супружеское дело. Кто там знать может? У них в опочивальне ночью никто не бывает, так ежели они в грехе, то и они же в ответе.

Милославские злились без конца, но вскоре им стало ясно, что путем ложных клевет и всяческих подвохов им гиль против Ганночки не вызвать. Им приходилось искать нового средства.

— Что ж похвалялся-то? — как-то в минуту пылкого озлобления сказал Дмитрию Милославскому его брат.— Помнишь, говорил ты, что у тебя какое-то верное средство есть? Ну, так вот, где оно? Давай его сюда! Упустишь время — назад не вернешь. Слышь ты, за Никона-пса распинается, настраивает царя, чтобы он простил старого черта да на Москву вернул.

— Крепок старый пес! — сумрачно проговорил Дмитрий.— Другой бы давно у Кирилла Белозерского скопытился, а он ничего себе, не дохнет. Заправду худо нам всем придется, ежели он на Москву возвратится! Народ-то за него, сметет он нас.

Заточенный титан, патриарх Никон, был по-прежнему страшен стае хищных дворняжек даже и в своем заточении.

О своем средстве Дмитрий Милославский промолчал на этот раз и продолжал молчать еще несколько времени. Наконец он однажды позвал к себе брата, и когда тот явился, то увидал в столовом покое молодого, но страшно изможденного человека, видимо только что перенесшего долгое заключение в сырой темнице.

— Вот мое средство-то! — шепнул Дмитрий брату.— Знаешь ли ты, кто это? Погляди, погляди, может, и припомнишь?

— А кто? — недоумевал младший Милославский.— По облику как будто и знакомый, а признать не могу. Ну-ка, кто?

— Ага, не признал!.. Да это — князь Василий Лукич Агадар-Ковранский, вот кто! Припомнил теперь? Я его ради нашего дела из узилища вытянул. Уж теперь-то мы с проклятой полячкой справимся. Не из таких князь Василий, чтоб обиды без мщения оставлять.

— А, помню теперь. Его еще без вести пропавшим считали.

— Ну вот-вот, он самый. Пойдем скорее к нему.

Братья пошли в покой, где был их гость.

Это был действительно князь Василий Лукич.

Как страшно изменился он в эти годы!.. И узнать было бы нельзя в этом живом трупе былого мрачного красавца, отчаянного забияку, буяна, каких немного было на Москве.

С ним случилось ужасное, такое ужасное, что князь Василий и представить себе не мог, как все это произошло

Когда молодой царевич-наследник дал ему лестное поручение во что бы то ни стало разыскать столь заинтересовавшую его девушку, князь Василий и ног под собой не чуял, спеша услужить царевичу. Лестно ему было исполнить поручение, которое поставило бы его в близость к наследнику престола. Он не считал такого поручения трудным и был уверен, что не далее как к вечеру принесет царевичу желанную весточку Но судьба располагает людьми, и часто малые причины мешают исполнению великих замыслов. Спеша к тому месту, где произошел случай с царевичем, князь Агадар-Ковранский не разбирал, кто ему попадается навстречу. Он пошел пешком, рассчитывая, что так скорей доберется до места, и шел без разбора и толкал всех, кто мешал ему

Вдруг ему попался какой-то высокий человек в нерусском одеянии.

Князь Василий и его толкнул довольно грубо, так что встречный даже пошатнулся.

— Ты чего, песья кровь, без толку тычешься? — раздался как будто знакомый Агадар-Ковранскому голос. — Вот я тебя, лайдака, выучу! — И в тот же момент здоровенный сокрушительный удар по уху свалил его с ног

В следующий момент князь Василий уже был на ногах и, хрипло ревя, как разъяренный зверь, выхватил из-за сапога нож и кинулся на обидчика. Однако удар, еще более сильный, чем первый, пришедшийся уже ниже виска, свалил его с ног и лишил чувств.

Когда князь Агадар-Ковранский очнулся, то он был уже крепко-накрепко связан, лучше сказать — весь обмотан веревками, и его куда-то везли в закрытом возке. Во рту был кляп, так что он даже и мычать не мог Но его уши оставались свободными и он ясно слышал, что вокруг него раздавалась польская речь. Однако и это не давало ему никаких объяснений.

Его куда-то привезли, закутали голову и понесли на руках. Несли долго. Князь Василий чувствовал, что вокруг

него пахнет погребной гнилью и сыростью. Наконец он очутился в каком-то подземелье. Тут ему голову раскутали. Он увидел чужих, незнакомых людей, а среди них — коваля с молотком и цепями. Кричать он не мог даже тогда, когда его оковали цепью вокруг пояса и вокруг горла и концы цепи оказались заклепанными в железное кольцо, укрепленное в стене. Лишь тогда ему были развязаны руки и рот.

Из толпы выступил тот самый высокий человек, который побил его при встрече на улице. Князь Василий теперь узнал его. Это был тот самый литовец Руссов, которого он видел в свите пана Мартына Разумянского при встрече-поединке в придорожном поселке.

— Ты — пес смердящий,— заговорил громко Руссов,— и хотел укусить господина. Так тебе следует не на свободе гулять, а на цепи сидеть. Вот и посиди, пока не смилуется над тобой господин. Псу и житье псовое. Лай, сколько угодно, но, если твой лай надоест, ты будешь бит, а смотреть за тобой вот он будет! — и Руссов указал на выступившего вперед сумрачного богатыря-парня.

Князь Василий сейчас же узнал его, и на душе у него стало неловко. Этим парнем был лесовик Петруха, мстивший ему за свою загубленную сестру.

Князь понял, что поручения царевича теперь ему не исполнить.

Более четырех лет просидел на цепи несчастный князь Василий. Только его титанически-могучее здоровье могло выдержать адские муки! Трудно и вообразить, как он не сошел с ума. Во всяком случае, это была месть более ужасная, чем смерть. Уже убийственно было само сознание того, что великая избавительница — смерть — не приходит, и нет никаких средств призвать ее с ее великою тайною.

Иногда в подвал спускался пан Мартын Разумянский. С изобретательностью «цивилизованного» человека он всячески издевался над бессильным пленником и всегда заканчивал свои издевательства ударом плети, с которой приходил к несчастному князю.

Это было страшной, невыносимой пыткой, но князь Василий всегда переносил ее молча; зато когда Разумянский уходил, и шум его шагов затихал, он разражался диким ревом и бился на своей цепи, как сумасшедший.

Удивляло его только то, что приставленный к нему стражем Петр вовсе не пользовался своим положением, чтобы мстить ему за прошлые обиды, а был добр и ласков по отношению к нему. Никогда не вспоминал он о своей замученной сестре, а напротив того, всячески старался, конечно по-своему, облегчить его существование. Это было

единственное существо, которое хорошо относилось к князю Василию в тяжелые для него годы.

Обиженный князем Василием лесовик и спас его.

— Вот что, князь Василий Лукич,— как-то особенно внушительно сказал он ему однажды,— не может моя душа более терпеть, чтобы польское отродье православного терзало. Довольно тебе, как псу, на цепи сидеть!

— Избавь, освободи меня! — взмолился Василий Лукич.— Ничего для тебя не пожалею.

Петруха как-то особенно усмехнулся, а затем произнес:

— Сестры-то замученной все равно не вернешь мне. Да и не нужно мне никакого твоего награждения. Сестра мне, тобой замученная, почитай каждую ночь снится и все за тебя просит. И вот на ее просьбы я и склонился. Освобожу я тебя, благо время для того выпало приспешное — нет наверху никого из поляков. Удирай с цепи! Да, вот что. Поди, знаешь на Москве бояр Милославских? Так вот допреж всего к ним лыжи навостри. Они тебя помнят и помочь тебе хотят. К ним и иди!

— А ты? — робко спросил князь Василий.

— Что я-то?

— Здесь останешься?

— Обо мне какая тебе забота? — снова мрачно усмехнулся Петруха.— Заботься о своей голове...

Он ушел, оставив князя Василия в смутном ожидании свободы.

Петруха исполнил все, что сказал. Спустя несколько дней он разбил цепи и, выведя князя, одел его с ног до головы вместо обветшалых лохмотьев в новое добытое им платье. Он сам проводил его до палат бояр Милославских и здесь сумрачно простился с ним.

— Не поминай меня лихом! — сказал он князю на прощание.— Бог даст, больше не встретимся...

С этими словами Петр быстро отошел прочь, оставив князя Василия одного.

XLVIII

ПОД ВЛАСТЬЮ ЛЮБВИ

У Милославских князь Василий был встречен, как жданный гость. Братья, и в особенности на первых порах Дмитрий, окружили его всяческим уходом. Агадар-Ковранскому казалось, будто и они пришли в великое негодование, когда он рассказал им про свое ужасное заключение.

— Что и говорить,— сказал старший Милославский,— теперь полякам большая воля. В кабале у них московское государство; что хотят они, то и делают.

— Да с чего же это? — пробовал допытываться Агадар-Ковранский, но Милославские уклонялись от ответа.

Одно только он и узнал от них, что нет более в живых царя Алексея Михайловича, и что царствует сын его Федор Алексеевич.

Теперь, когда он был свободен и от него отошла прежняя мука, в его сердце вскрылась прежняя рана; ему вспомнилась Ганночка и снова заклокотала в нем любовь и ревность.

— Где-то она, ласточка-касаточка моя, теперь? — вспоминал князь Василий про Ганночку.— Поди, замужем уже, счастлива и никогда не вспоминает меня. Да и то подумать: за что ей вспоминать-то меня? Малого слова меж нами по сердцу сказано не было. Ну, что же, ежели мне счастья не суждено, пусть она, ненаглядная, будет счастлива во веки вечные!

Слезы подступили к горлу князя Василия, когда он подумал так; тихая, кроткая печаль нисходила в его душу.

Однако вдруг ревность, а вместе с нею и адски кипучая ненависть, насильно пробужденная извне, вспыхнула с прежней свирепой дикостью в душе князя Василия. Об этом постарались Милославские, решившие сделать князя орудием злобы против ненавистной им юной царицы Агафьи Семеновны!

Царские дядья узнали о заточенном русском князе от его тюремщика Петра. Сам перестрадавший свое горе и простивший его, Петр уже давно хлопотал о том, как бы избавить от мук своего несчастного господина, и обратился с этим к тем, кого, по его мнению, сильнее в Москве не было — к Милославским. Дмитрий Милославский, подробно расспросив Петра, быстро сообразил, что князь Василий Лукич может быть весьма полезен им, и тотчас заюлил пред добродушным Петрухой. Парень поверил и привел к Милославским польского пленника.

Теперь оба брата решили, что время им приступить к исполнению своих мрачных замыслов, и умело повели свое дело.

Они с яростью, вполне способной распалить воображение ревнивца, долго рассказывали князю Василию, как вышла замуж Ганночка (о ней они все, что им было нужно, узнали от Петра), так изобразили ему ее «измену», что прежний яростный гнев закипел в душе Агадар-Ковранского. Наконец князю Василию было сообщено, чьей супругой

стала Агафья Семеновна, и этому ее замужеству был придан вид хищнического расчета, а никак не свободно проявившегося чувства.

— Эх,— воскликнул младший Милославский,— уж если бы со мною такое было, ни за что не стерпел бы я! Нож бы в бок этой змее подколодной всадил, хотя она и царица! Поди, теперь подсмеивается она над тобою, Васенька!

Во время этой беседы кубки с вином не сходили со стола. Князь Василий, давно не видавши вина, пил с остервенением и с каждым глотком становился все мрачнее и мрачнее.

— И все-то это дело устроил крыжацкий пан Кунцевич,— словно вскользь заметил Дмитрий Милославский.— Задумал он нашего царя и весь народ в свою веру перевести, вот и подставил государю в супруги полячку богопротивную...

— Он? — прерывая хозяина, вне себя от ярости, закричал князь Василий и так ударил кулаком по столу, что все кубки и бокалы запрыгали.

— Он, все он,— зашипел хозяин,— а теперь она, полячка проклятая, изменница твоя, поди, целует да милует муженька-царя, да над тем, кто из-за нее пострадал и сохнет, насмехается...

— Эх,— проговорил словно в раздумье Агадар-Ковранский,— ежели бы мне теперь нож отточенный, да подойти только поближе, уж за все про все расплатился бы я...

— А за чем дело стало? Хорошему человеку в этаком деле мы всегда помочь рады. Ножей много, не жаль этого добра, а о том, чтобы провести тебя, так для этого такой у нас человек есть, что прямо на окаянную полячку наведет, и делай с нею, что твоей душе будет угодно.

Сильно нетрезвый Агадар-Ковранский слушал эти речи и как-то особенно улыбался.

— Ну, чего же думаешь? — приставали к своему гостю оба Милославские.— Пойдешь? Идти, так идти...

— А ну вас,— словно от назойливых мух, отмахнулся от них князь Василий,— ежели так, ведите!

Нетвердо помнил князь Василий, что было дальше. Милославские не скупились на угощение. Вино было безмерно крепкое, голова же Агадар-Ковранского после заточения слабая. Словно туманной дымкой застлало все в его глазах. Смутно помнил князь Василий, что его куда-то везли, потом вели по каким-то темным переходам, и наконец он очутился в небольшом, ничем не освещенном покое.

— Вот и жди здесь,— шепнул ему чей-то голос,— в стене щелочка есть, как свет увидишь, загляни, полюбуйся на свою змею подколодную, на полячку окаянную...

Агадар-Ковранский остался один и прежде всего ощупал себя. За поясом у него торчал длинный нож.

— У-у, идолы! — рассмеялся с чего-то он.— Аспиды и василиски. Какое дело задумали! Ладно, посмотрим, что я там еще увижу. Я уж за обиду разочтусь, над собой надсмехаться никому не дам...

Прошло еще немного времени.

Вдруг в темной стене засветился огонек. Бесшумно скользнул вперед князь Василий и припал к ней глазом. За стеною был ярко освещенный восковыми свечами покой, посреди него стол, накрытый на два прибора. Невдалеке от него, в глубоком кресле, сидела царица Агафья Семеновна. Она слегка задумалась, но ее лицо не отражало печали. Ясен и безобиден был ее взор. Агадар-Ковранский смотрел на нее, и слезы текли из его глаз. Он не замечал их; его душа всколыхнулась при виде этой чудной красоты. По округлости стана царицы он понял, что скоро на свет Божий явится новая жизнь, и эта новая жизнь, поднявшись и окрепнув, послужит на добро и на славу той православной Руси, которую угнетали они, Агадар-Ковранские, и грабили такие, как Милославские...

Отворилась одна из дверей покоя, и вошел сам царь Федор Алексеевич. Это был уже не прежний заморышюноша, хилый и чахлый; теперь он возмужал, был весел, румян. Безмятежное счастье укрепило его, пересоздало в славного русского доброго молодца...

Царица поднялась с кресла и, в силу своего положения несколько тяжело ступая, пошла навстречу к простиравшему ей объятия царю.

Дрожь пробежала по всему телу князя Василия, видевшего всю эту сцену. Подступившие к горлу слезы давили его. Не помня себя, он зарыдал и наобум кинулся к дверям из покоя.

Что было тогда в его сердце, князь Василий не соображал. На него словно опрокинулось что-то, но это «что-то» вовсе не было тяжелым, давящим, угнетающим, а напротив того, он чувствовал восторг и умиление при воспоминании о той мимолетной сцене, которой он был свидетелем. Но вдруг он остановился: ему пришло в голову, что он перепутал переходы и теперь ему не выйти из этих дворцовых тайников...

В самом деле, он оказался в незнакомом ему месте. Это был какой-то узел дворцового лабиринта. Переходы здесь

скрещивались, расходились в разные стороны, и князь Василий положительно не знал, куда ему идти, как выбраться из этой ловушки, в которую он был, очевидно, умышленно заведен.

— Окаянные,— задыхаясь шептал он,— смекнул я теперь, в чем дело. На зло меня наталкивали, хотели, чтобы ее, ненаглядную мою, я погубил, а после того и сам бы попался. Да нет, вот не вышло по-вашему!

Он радостно вскрикнул — один из переходов показался ему знакомым даже при слабом свете, кое-где мелькавшем в тайниках. Князь знал этот переход и уже не раз видывал его. Это был проход в так называемые кельи царского учителя, Симеона Полоцкого. Бывая у него для встреч с Федором Алексеевичем, князь Василий в тех случаях, когда ему приходилось дожидаться одному царевича, нередко выбирался из богатого помещения развеселого монаха-пииты и прокрадывался по коридорам то в ту, то в другую стороны. Бывал он и в этом переходе и теперь сразу же узнал узел лабиринта, откуда можно было пробраться чуть ли не в любое помещение дворца.

«Ну, и везет же мне! — подумал он.— Этого-то Милославские не сообразили, что мне ходы здесь известны. Ну, что ж, значит, судьба такая, не погибнуть мне. Ладно, попробуем! Авось инок Симеон за наваждение бесовское меня не примет».

Князь смело двинулся по знакомому переходу. Тут уже было значительно темнее, и Агадар-Ковранский старался идти так тихо, что его шагов совсем не было слышно. Вот и знакомая дверь роскошной кельи Симеона Полоцкого. Она была не прикрыта, и князю Василию достаточно было слегка толкнуть ее, чтобы попасть в знакомые покои. Но он не сделал этого. До него донесся говор голосов, и один из них показался ему знакомым. Несколько прислушавшись, Агадар-Ковранский так и замер на месте: он узнал этот голос! В покое монаха-пииты был иезуит Кунцевич, которого князь все еще считал своим наилучшим другом. С ним был еще кто-то другой, и, только прислушавшись более внимательно, князь вспомнил и этот второй голос. Он принадлежал Ивану Михайловичу Милославскому, царскому дяде.

— Ты уж, пан,— произнес Милославский,— как там хочешь, а на нас не сердись. Не по нутру нам эта царица-полячка. Осетил ты государя нашего, попустил на то Господь. Мы, его верноподданные, должны порадеть о его здоровье и избавить его от дьявольского наваждения...

— При чем же я-то тут, боярин? — будто удивляясь, произнес отец Кунцевич.— Моего старания тут ни к чему приложено не было...

— Ну, полно, говори там! — оборвал его Милославский.— Разве не ты ее Федору-то подсватал? Ведь мы тоже хоть и на Москве живем, а не лыком шиты!.. Не ты, что ли, князя Василия Лукича Агадар-Ковранского в погреба поляка Разумянского упрятал? Одного лишь ты боялся, что помешает он твоим замыслам, а сам так змеею в ангельскую душу юного нашего царя и забирался, невесту ему подыскивал. Эй, вы, клопы черные!

— Постой, боярин! — перебил его отец Кунцевич.— Что ты говоришь, того я не ведаю. Никогда я не боялся князя Василия. Весь он всегда в моих руках был и, что я указывал ему, то он лишь и делал. Государь же ваш сам увидел свою невесту и сам прельстился ею...

— А ты ему сказал, кто она такая и где ее разыскивать?

— Сказал,— бесстрастно согласился отец Кунцевич.— Отчего же не сказать-то? Нешто они — друг другу не пара? — Голос иезуита дрогнул как-то особенно, видимо, его всего охватил порыв — страстный порыв восторга пред самим собой. И он вдруг заговорил с особенной пылкостью, заговорил не столько для своего единственного слушателя, сколько для самого себя: — Да-да! Разве не пара друг другу эти молодые люди? Сознаюсь: я отдал их одного другому... Да, боярин, я сделал это, всех вас перехитрив. Но из этого великое благо произойти может — не для Польши моей, а для вашей же Московии.

— Ну, какое еще там благо? — буркнул Милославский.— Лаешь, сам не зная что, пес потрясучий!

Отец Кунцевич будто не слыхал этого оскорбления, на которые никогда не были скупы Милославские, а прежним тоном воскликнул:

— Да-а, великое дело, великое дело! Большой народ погибает в кромешной тьме и уготован аду, преисподней, погибает и должен погибнуть, если только не просветится истинным светом и не воссоединится с великою римскою церковью, склонившись пред властью наместника Христа на земле. Об этом воссоединении и хлопочу я. Ради него и действовал я, ради него вырвал я Агадар-Ковранского из когтей смерти, когда он был болен, и держу его теперь в своей власти, как держат цепную собаку до того времени, когда ее нужно спустить на злого ворога.

— Ой, смотри, не спустишь! — выкрикнул, захохотав, Милославский.— Не хвались заранее...

— Спущу, боярин, когда нужно будет,— твердо произнес иезуит.— Покорен мне князь Василий во всем и жизнь отдаст по слову моему.

— Ан не отдам! — раздался выкрик, и обезумевший Агадар-Ковранский ворвался в покой, где происходила беседа.

Он был страшен. Вся та ярость, которую разожгли в нем Милославские и которую успокоила было подсмотренная им идиллическая сцена в царской столовой, вдруг вспыхнула в этом легко воспламенявшемся человеке. Признание отца Кунцевича в том, что он сам отдал Ганночку другому, заставило князя позабыть всякое благоразумие. Не помня себя, он очутился пред иезуитом, и его вид был таков, что даже Милославский отступил прочь в ужасе.

— Окаянные, окаянные! — вопил Агадар-Ковранский.— Что вы сделали оба? Вы оба, как коршуны, терзаете Русь несчастную, и не дорог вам ее народ, а оба смеете кричать, что о добре ее радеете.

— Ну, полно, полно! — попробовал остановить его Милославский.— Чего ты, князь, так разобиделся? Сделал ли дело свое удачно?

— Сделал, сделал,— словно в забытье, несколько раз выкрикнул князь Василий.— Да так сделал удачно, что никогда вам и во сне не снилось.

— Так вот теперь отмсти за себя! — указал Милославский на иезуита.— Ведь это он — всех твоих бед заводчик. Он тебя на столько времени в смрадный погреб посадил. Кабы не он, так женился бы ты на Агафье Семеновне и жил бы теперь припеваючи. Ну, что ж, вот и рассчитайся теперь, ежели случай выпадает.

Голова князя Василия закружилась. Он выхватил поясной нож и кинулся было на иезуита.

Однако тот давно уже поднялся с кресла и теперь стоял пред ним, бесстрастный, недвижимый, готовый к роковому удару.

— Ну, что ж,— произнес он,— убей, князь Василий, меня, который тебя от смерти спас! Ну, рази, что ли?!

Что-то звякнуло о пол. Это Агадар-Ковранский выпустил из рук нож.

— Не могу, не могу,— воскликнул он, закрывая лицо ладонями.

— Чего там не могу? А ты попробуй! — сильно толкнул его Милославский, а сам взмахнул рукой.

В следующий же момент отец Кунцевич грузно рухнул на пол. Князь Василий Лукич вскрикнул, но Милославский, ухватив его за плечи, потащил к двери.

— Брось, не думай! — шептал он ему на ухо.— Черная собака и без нас кончится. А теперь, ежели ты свое дело сделал, так обоим нам улепетывать надобно.

На другое утро в Большом дворце начался переполох. В покоях, которые занимал бывший учитель царя, Симеон Полоцкий, нашли зарезанного насмерть человека. Это был иезуит Кунцевич. Чья рука поразила его, так и осталось неизвестным.

Солнце счастья сияло над молодыми царем и царицею. Свое счастье они, светлые, любящие, распространяли вокруг себя. Но недолговечно счастье людское, всюду сторожит людей горе, крадется оно за ними и настигает тогда, когда менее всего ожидают его люди. Недолго оно светило и царю Федору Алексеевичу и его дорогой жене, Агафье Семеновне.

КОММЕНТАРИИ

МОСИЯШ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ родился в 1927 году в Новосибирске. С 1944 по 1952 год служил в армии. Затем работал на заводе, учился в вечерней школе. Поступил в заочный пединститут. После окончания института жил в Алма-Ате, работал в издательстве. Затем уехал в Гомель, работал на телевидении. Последнее время жил в Кишиневе.

Первая книга вышла в 1956 году, это были стихи для детей. Всего у С. П. Мосияша 16 стихотворных книг и 10 прозаических, среди которых несколько на историческую тематику: «Без меня баталии не давать» — о Петре I, «Александр Невский» — о великом русском князе Александре Невском и другие.

Роман «Великий государь Федор Алексеевич» печатается впервые.

Стр. 9. *Матвеев Артамон Сергеевич* (1625—1682) — государственный деятель, дипломат. В 1654 г. входил в состав русской делегации на Переяславской Раде, в 1656—1657 гг.— посольства в Польшу. С 1669 г. возглавлял Малороссийский приказ, с 1671 г. руководил одновременно Посольским приказом и рядом других центральных учреждений. После смерти царя Алексея Михайловича был сослан (1676). В 1682 г. вернулся из ссылки. В том же году участвовал в подавлении восстания стрельцов и сам стал жертвой восставших.

Языков Иван Максимович — боярин. В 1676 г. пожалован в думные постельничие. В 1680 г. стал окольничим, ведал Оружейной, Золотой и Серебряной палатами. Со смертью царя Федора Алексеевича был удален от двора Нарышкиными, в 1682 г. убит во время Московского восстания.

Стр. 11. *Иоаким* (1620—1690) — девятый Патриарх Всероссийский, из рода можайских дворян Савеловых. В 1662 г. стал архимандритом Чудова монастыря, сблизился с царем Алексеем Михайловичем. С 1672 г.— митрополит Новгородский. В 1674 г. возведен на патриарший престол. Вел активную борьбу с раскольниками.

Татьяна Михайловна (1636—1706), *Ирина Михайловна* (1627—1679), *Анна Михайловна* (1630—1692) — дочери царя Михаила Федоровича.

Софья Алексеевна (1657—1704) — дочь царя Алексея Михайловича от М. И. Милославской. В 1682—1689 г. была правительницей Русского государства при двух малолетних царях, ее братьях Иване и Петре. Была свергнута Петром I и заключена в Новодевичий монастырь.

Лихачев Алексей Тимофеевич (?—1729) — комнатный стольник, затем постельничий царя Федора Алексеевича, ранее был учителем царевича Алексея Алексеевича. В 1682 г. после Московского бунта был сослан, но уже через год возвращен из ссылки и пожалован в окольничие. В 1700 г. Петр I поручил ему ведать приказом Рудокопных дел. Алексей Тимофеевич слыл «человеком доброй совести, исполненным великого разума и самого благочестивого состояния». Он был книголюб и писатель. Автор «Жития» царя Федора Алексеевича, которое, к сожалению, не сохранилось.

Лихачев Михаил Тимофеевич (?—1706) — брат Алексея Тимофеевича, считался «человеком великого разума». Так же, как и брат, был любимцем Федора Алексеевича, имел должность казначея при его дворе. После Московского бунта сослан, но вскоре возвращен. В 1686 г.— думный дворянин. В 1706 г. управлял Оружейной палатой.

Стр. 12. *Наталья Кирилловна* (1653—1694) — вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.

Иван Алексеевич (1666—1696) — сын царя Алексея Михайловича и М. И. Милославской. 26 мая 1682 г. Дума объявила Ивана — первым, а Петра — вторым царем, причем их старшая сестра Софья была провозглашена правительницей. В 27 лет Иван Алексеевич был разбит параличом. 29 января 1696 г.— скончался.

Стр. 15. *Долгорукий Юрий Алексеевич* (?—1682) — князь, государственный деятель. Участвовал в составлении Соборного Уложения (1649 г.). Будучи воеводой, одержал ряд побед во время русско-польской войны 1654—1667 гг. Участвовал в подавлении восстания под предводительством Степана Разина. Был близок к царю Алексею Михайловичу, назначен опекуном к Федору Алексеевичу, но отказался в пользу своего сына Михаила Юрьевича. Убит вместе с сыном во время Московского восстания 1682 г.

Хованский Иван Андреевич (?—1682) — начал службу в царствование Михаила Федоровича. Был стольником, воеводой в Туле,

Вязьме, Пскове, Новгороде. Участвовал в войнах с Польшей, Швецией, Турцией. Во время Московского восстания 1682 г. оказался на стороне восставших стрельцов. Казнен в с. Воздвиженском под Москвой.

Неприязнен ко всем Нарышкиным... «Выскочки смоленские»...— Кириллл Полуэктович Нарышкин (1623—1691), отец Натальи Кирилловны, служил стрелецким головой в Смоленске.

Стр. 17. *Милославский Иван Михайлович* (?—1685) — боярин, возглавлял борьбу против Нарышкиных, один из организаторов Московского восстания 1682 г.

Стр. 19. *Ванька не оставит нас в покое.*— Имеется в виду боярин Иван Кириллович Нарышкин, брат Натальи Кирилловны.

Никон (1605—1681) — церковно-политический деятель России XVII века, Патриарх Русской Церкви с 1652 г. По инициативе правительства начал проведение церковных реформ, суть которых заключалась в унификации норм церковной жизни и Православной Церкви. Исправление обрядов богослужебных книг по греческим образцам нарушило сложившиеся традиционные русские формы церковных обрядов. Реформы были враждебно встречены большей частью духовенства, выступавшей против нововведений. В Церкви возник раскол. Никон и светская власть преследовали раскольников. Признанным лидером противников Никона стал протопоп Аввакум.

Недовольство в придворных кругах властностью Никона привело к тому, что Церковный собор 1666—1667 гг. снял с него сан патриарха. Никон был сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь. В 1681 г царь Федор Алексеевич разрешил Никону вернуться и жить в Новоиерусалимском монастыре, но в дороге Никон умер.

Стр. 20. *Никона-то за что выслали? Он решил выше царя возвыситься...*— Властный и честолюбивый, Никон стал называть себя «великим государем» и демонстративно подчеркивал превосходство духовной власти над светской. Никон становится соправителем царя, подминает боярскую Думу и во время отсутствия царя полностью его заменяет. Даже в приговорах появилась формулировка, дублирующая царскую: «Светлейший патриарх указал и бояре приговорили».

Стр. 26. *Алексей Алексеевич* (1654—1670) — старший сын царя Алексея Михайловича от М. И. Милославской. Смертью царевича воспользовался Степан Разин и распустил слух, что царевич жив и бежал к нему от сурового отца и жестоких бояр.

Стр. 30. *Матвеев Андрей Артамонович* (1666—1728) — сын Матвеева Артамона Сергеевича. Государственный деятель, дипломат. Сподвижник Петра I. С 1696 г.— посол в Гааге, Вене. Ему принадлежат «Записки» о событиях конца XVII века.

Симеон Полоцкий (1629—1680) — общественный и церковный деятель, писатель, публицист. Был наставником царевичей Алексея и Федора, царевны Софьи. В 1678 г. открыл при царском дворе типографию. Активно участвовал в полемике с идеологами раскола (Аввакумом и др.). Симеон Полоцкий выступал за расширение светского образования, участвовал в подготовке проекта создания Славяно-греко-латинской академии. Полоцкий — зачинатель русской силлабической поэзии и драматургии.

Стр. 36. *Апраксин Петр Матвеевич* (1659—1728) — стольник и окольничий. Был воеводой в Новгороде, губернатором в Астрахани, Казани. Получил графский титул. С 1722 г.— президент Юстиц-коллегии.

Апраксин Федор Матвеевич (1661—1728) — генерал, граф. Был начальником Адмиралтейского приказа, президентом Адмиралтейств-коллегии. С 1726 г — член Верховного тайного совета, сторонник А. Д. Меншикова.

Стр. 45. *Марфа Алексеевна* (1652—1707) — дочь царя Алексея Михайловича от М. И. Милославской.

Святополк Окаянный (ок. 980—1019) — старший сын Владимира I, князь киевский (1015, 1017—1019 гг.). Убил трех братьев: Бориса, Глеба и Святослава и завладел их уделами. Изгнан с киевского престола Ярославом Мудрым.

Стр. 47 *...с 1654 года Украина воссоединилась с Россией.*— 8 января 1654 года на Переяславской Раде Богдан Хмельницкий провозгласил воссоединение Украины с Россией.

...а сам герой через три года... умер.— Богдан Хмельницкий умер 27 июля 1657 г.

Стр. 48. *...битвах при Желтых Водах...*— Богдан Хмельницкий разбил близ урочища Желтые Воды польский авангард 6 мая 1648 г

Дорошенко Петр Дорофеевич (1627—1698) — гетман Правобережной Украины в 1665—1676 гг. При поддержке Турции и Крымского ханства пытался овладеть Левобережной Украиной. В 1676 г сдался в плен русским войскам, после чего был назначен русским правительством воеводой в Вятку (1679—1682). Позже жил под Москвой.

Самойлович Иван Самойлович (?—1690) — гетман Левобережной (1672—1687) и Правобережной (с 1674 г.) Украины. Выступал за воссоединение обеих частей Украины, боролся против Дорошенко. В 1687 г. сослан в Сибирь.

Серко Иван Дмитриевич (?—1680) — кошевой атаман Запорожской Сечи, активный участник освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг.

Даже Киев по Андрусовскому трактату должен стать польским.— Андрусовское перемирие (1667) было заключено между Россией и Речью Посполитой на тринадцать с половиной лет. Это перемирие завершило русско-польскую войну 1654—1667 гг. Речь Посполита возвратила России Смоленское и Черниговское воеводства.

признала воссоединение Левобережной Украины с Россией. Запорожская Сечь объявлялась под совместным управлением России и Речи Посполитой. Киев же с небольшой округой передавался России лишь на два года. Впоследствии «Вечный мир» (1686) закреплял за Россией Левобережную Украину, Запорожье, Северскую землю и Киев. За Киев Речь Посполита получила компенсацию в 146 тысяч рублей.

Стр. 49. *Ромодановский Григорий Григорьевич* (?—1682) — князь, боярин, воевода. Участник Переяславской Рады (1654), русско-польской войны (1654—1667). Возглавлял Чигиринские походы 1677—1678 гг. В 1670 г. участвовал в подавлении восстания Степана Разина. Убит во время Московского восстания 1682 г.

Стр. 50. *Разин Степан Тимофеевич* (ок. 1630—1671) — донской казак, предводитель Крестьянской войны 1670—1671 гг. Выдан казацкой старшиной, казнен в Москве.

...Когда Киев освящен, окрещен нашим русским князем Владимиром Святым.— Владимир I (?—1015), великий князь киевский, принял крещение в 988 г. Провозгласив христианство государственной религией Руси, Владимир начал массовое крещение с киевлян.

Ян Собеский (1629—1696) — король Речи Посполитой с 1674 г. Заключил «Вечный мир» с Россией (1686).

Стр. 51. *Многогрешный Демьян Игнатович* (ум. не ранее 1696) — гетман Левобережной Украины (1668—1672). Активный участник освободительной войны украинского народа 1648—1654, 1668—1672 гг. В 1672 г. казацкая старшина обвинила его в тайных связях с Дорошенко и турецким султаном. Многогрешный был заключен в Иркутскую тюрьму. Освобожден в 1688 г. В 1696 г. постригся в монахи.

Стр. 52. *Северин Наливайко* (?—1597) — руководитель антифеодального крестьянско-казацкого восстания 1594—1596 гг. на Украине и в Белоруссии.

Стр. 58. *Рейтары* (от *нем.* reiter — всадник) — вид тяжелой кавалерии в европейской армии XVI—XVIII вв. В России с XVII в., преимущественно из наемников немцев.

Стр. 61. *Голицын Василий Васильевич* (1643—1714) — князь, боярин, государственный и военный деятель. Сторонник сближения с Западом, разрабатывал государственные реформы. Выдвинулся при царе Федоре Алексеевиче. Во время Московского восстания 1682 г. выступал на стороне Милославских и царевны Софьи Алексеевны, фаворитом которой был. Падение правительства Софьи Алексеевны (1689) повлекло и опалу В. В. Голицына.

Стр. 64. *Мытник* — сборщик государственной пошлины с торговли.

Стр. 89. *Хмельницкий Юрий Богданович* (ок. 1641—1685) — гетман Украины, сын Богдана Хмельницкого. Разорвал союз с Россией, подписав с Польшей Слободищенский трактат (1660). В результате народного восстания отказался от гетманства. В 1670-х гг. перешел на сторону Османской империи.

Стр. 100. *Морозова Феодосия Прокопиевна*, урожд. Соковнина (?—1675) — боярыня. Ярая сторонница протопопа Аввакума и старообрядцев. Возвратившись в 1664 г. из ссылки, Аввакум жил у Морозовой. После вторичной ссылки Аввакума переписывалась с ним. Ее конфликт с официальной Церковью беспокоил высшее духовенство и царя. После того как на нее не подействовали уговоры, подверглась преследованиям. В 1671 г. Морозова и ее сестра, тоже сторонница раскола, А. Урусова были арестованы. В 1673 г. их перевели в Боровский монастырь и посадили в земляную яму, где они умерли, не изменив своим убеждениям.

Стр. 104. *Юрий Долгорукий* (1090?—1157) — великий князь киевский. При нем впервые упоминается под 1147 г. Москва.

Владимир Мономах (1053—1125) — один из авторитетнейших великих князей. Боролся против братоубийственных распрей.

Александр Невский (1220—1263) — великий князь владимирский. Прославился победами над шведами (Невская битва, 1240 г.) и немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 1242 г.)

Стр. 106. *Царевич Дмитрий* (1582—1591) — младший сын Ивана Грозного. В 1584 г. отправлен с матерью М. Ф. Нагой в Углич. Погиб при неясных обстоятельствах. Под его именем выступали в 1604—1612 гг. несколько самозванцев.

Стр. 154. *«Зараза Аввакумова».*— Аввакум Петров (1620?—1682) глава старообрядцев, протопоп, писатель. Выступал против реформ Никона. В 1653 г. сослан с семьей в Сибирь. Через десять лет возвращается в Москву и продолжает борьбу с официальной Церковью. В 1664 г. сослан в Мезень. В 1666—1667 гг. осужден Церковным собором и сослан в Пустозерск, где 15 лет провел в земляной тюрьме, написал там «Житие» и другие сочинения. По царскому указу сожжен.

Стр. 182. *Был период в Смутное время, когда поляки хозяйничали в Москве.*— Имеется в виду период правления Семибоярщины (1610—1613). Тогда «правители» просили поляков выступить на Москву и защитить ее от Лжедмитрия II, а заодно помогли бы подавить крестьянское движение. Поляки выдвинули требование посадить на царский престол сына Сигизмунда Владислава. Бояре приняли это требование. Но многие русские города отказались присягать католику. Тогда Сигизмунд решил сам сесть на русский престол. Поляки заняли Кремль и разграбили Москву.

Стр. 199. *Мазепа Иван Степанович* (1644—1709) — гетман Украины (1687—1708), стремился к отделению Украины от России. Во время Северной войны (1700—1721) перешел на сторону шведов. После Полтавской битвы (1709) бежал вместе с Карлом XII.

Стр. 230. *Шереметев Василий Борисович* (1622?—1682) — один из выдающихся русских государственных деятелей XVII в. Был воеводой в Смоленске, Тобольске, Киеве. Участвовал в войне с Польшей. Добился подписания договора с Польшей, но поляки нарушили договор. Шереметев был выдан татарам и провел 20 лет в плену.

Стр. 264. *...пели часы по старым книгам.*— Часы — богослужение 1, 3, 6, 9 часов дня.

Стр. 269. *Аутодафе* (*исп.* и *португ.* auto de fe, букв.— акт веры) — торжественное оглашение приговора инквизиции в Испании, Португалии, а также само исполнение приговора, главным образом публичное сожжение осужденных.

Стр. 270. *Лазарь, Епифаний, Никифор* — сподвижники протопопа Аввакума, вместе с ним были преданы анафеме, сидели в земляной тюрьме, а затем по решению Церковного собора были сожжены.

Стр. 318. *Могила Петр Симеонович* (1596?—1647) — деятель украинской культуры, церковный писатель. С 1632 г.— митрополит Киевский и Галицкий. Добился у польского короля легализации Православной Церкви и передачи ей ряда униатских монастырей.

Стр. 319. *Юрий Крижанич* (ок. 1618—1683) — писатель, сторонник идеи «славянского единства», главную роль в осуществлении которой отводил Русскому государству. В 1659 г. прибыл в Москву. Выдвигал программу преобразований в Московском государстве. Сослан в Тобольск. Вернуться из ссылки смог только после смерти Алексея Михайловича (1676).

Стр. 321. *Соломон* — третий царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—928 до н. э.). Изображен в ветхозаветных книгах величайшим мудрецом всех времен, герой многих легенд.

Стр. 331 *...Как Добрыня новгородцев крестил.*— Добрыня — воевода Владимира I, брат его матери Малуши. Получив от Владимира управление Новгородом, Добрыня вместе с киевским воеводой Путятой стали насаждать в Новгороде насильственным путем христианство. Новгородцы, подстрекаемые жрецами, сопротивлялись крещению. Тогда Путята вступил с ними в борьбу, а Добрыня поджег их дома. Новгородцы смирились, и христианство было водворено. Отсюда пошла поговорка: «Путята крестил мечом, а Добрыня — огнем».

ЛАВИНЦЕВ А. И.— псевдоним Красницкого Александра Ивановича — родился в 1866 году в Москве. Начал свой творческий путь как журналист, сотрудничал во многих газетах и журналах.

А. И. Красницкий — автор около 100 романов, в основном авантюрно-приключенского характера. Как правило, это произведения, не претендующие на оригинальность, с широко распространенными, отработанными сюжетами. В автобиографии писатель сознавался: «Горы написанного мною вряд ли останутся каким бы то ни было памятником моим». Среди романов, написанных на историческую тему, наибольшую популярность завоевали: «В тумане тысячелетия» (1896), «Гроза Византии» (1898), «В дали веков» (1901), «Оберегатель» (1911), «Царица-полячка» (1911).

Умер А. И. Красницкий в Петрограде в 1917 году.

Текст печатается по изданию: Лавинцев А. И. Царица-полячка. СПб., 1911.

Стр. 380. *...отослан Тишайшим на вотчину...*— «Тишайшим» называли царя Алексея Михайловича, слывшего «гораздо тихим», однако такая оценка характера Алексея Михайловича ошибочна. «Тишайший» — это, скорее всего, перевод на русский язык традиционного титула западноевропейских государей: «clementissimus» — милостивейший.

Стр. 381. *Начиная с царя-собирателя.*— Имеется в виду Иван III (1440—1505), великий князь московский. Во время его правления сложилось территориальное ядро единого Российского государства. Он присоединил Ярославль, Новгород, Тверь, Пермь и другие города. Вырос международный авторитет Российского государства. Произошло оформление титула — великий князь «всея Руси».

Стр. 445. *...после недавней войны.*— Здесь говорится о русско-польской войне 1654—1667 гг.

Стр. 446. *...ранами святого Севастьяна.*— Севастьян — христианский великомученик. Во время гонений Диоклетиана помогал братьям-христианам, был схвачен и подвергнут жестоким пыткам, от которых умер.

Стр. 450. *Игнатий Лойола* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов (1534).

Стр. 482. *Царь Давид* — царь Израильско-Иудейского государства (10 в. до н. э.), ветхозаветное повествование придает ему черты эпического героя, царя-воителя.

Стр. 485. *Евфимия Всеволожская* — дочь Федора-Рафа-Родиона Всеволожского Амфимья (Евфимия); в 1647 г. была избрана невестой царя Алексея Михайловича, но в результате дворцовых интриг признана «порченой» и сослана вместе с отцом в Западную Сибирь. Ходили слухи, что это дело рук Б. И. Морозова, воспитателя Алексея Михайловича: он выбрал воспитаннику в жены Марию Милославскую, а себе — ее сестру Анну.

Стр. 497. *...безбожница Маринка у Самозванца.*— Марина Мнишек (ок. 1588 — не ранее 1614), авантюристка, дочь польского

магната Юрия Мнишека. Жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Умерла в заточении.

Кукуй — иноземная слобода XVI — начала XVIII в. в Москве. Центр поселения иностранцев различных профессий.

Стр. 498. *Гиль* — смута, мятеж.

Стр. 501. *Милославский Илья Данилович* (ум. 1668) — боярин, стольник, тесть царя Алексея Михайловича.

Софья Витовтовна (1371—1453) — дочь великого князя литовского Витовта, жена великого князя московского Василия I Дмитриевича.

Стр. 502. *Морозов Борис Иванович* (1590—1661) — воспитатель царя Алексея Михайловича, впоследствии его свояк. Имел сильное влияние на своего подопечного, фактически руководил русским правительством в середине XVII в. Управлял приказами Большой казны, Стрелецким, Аптекарским, Новой честью. Его финансовые реформы вызвали Московское восстание 1648 г. Был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, но вскоре возвращен в Москву. Политическое влияние сохранял до конца 1650-х годов.

Стр. 504. *Патрик Гордон* (1635—1699) — родился в Шотландии, служил в польской и шведской армиях. С 1661 г. на русской службе. Участвовал в Чигиринских (1676—1678) и Крымских (1687, 1689) походах. В 1689 г., командуя Бутырским полком, перешел на сторону Петра I, чем способствовал его победе над Софьей.

Стр. 545. *Федор Алексеевич был скороспело обвенчан с Агафьей Семеновной.*— Венчание состоялось 18 июля 1680 г.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1661 год

30 мая — рождение Федора Алексеевича, сына царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской.

1674 год

1 сентября — Федор Алексеевич объявлен наследником московского престола.

1676 год

30 января — смерть царя Алексея Михайловича.
Федор Алексеевич становится царем.

1676—1681 годы — русско-турецкая война.

1678 год

Проведена общая перепись населения.

1679 год

Введено подворное обложение.

1680 год

18 июля — венчание царя с Агафьей Семеновной Грушецкой.

1681 год

Между Москвой, Турцией и Крымом заключено перемирие на 20 лет.
Царь разрешает вернуться из ссылки патриарху Никону, но тот умирает в пути 17 августа.
11 июля — рождение в царской семье сына Ильи.
14 июля — смерть царицы Агафьи Семеновны.
20 июля — смерть младенца Ильи.

1682 год

14 февраля — царь венчается с Марфой Матвеевной Апраксиной; уничтожение местничества.
27 апреля — смерть царя Федора Алексеевича.